

# МЕМУАРЫ ДЕКАБРИСТОВ

Южное общество

















Университетская  
библиотека

Редакционная коллегия:

Л. Г. Андреев (председатель),  
А. К. Авеличев, С. С. Дмитриев, Я. Н. Засурский,  
А. Ч. Козаржевский, Ю. С. Кукушкин,  
В. И. Кулешов, В. В. Кусков, А. И. Метченко,  
П. А. Николаев, В. И. Семанов, А. А. Тахо-Годи



# МЕМОУАРЫ ДЕКАБРИСТОВ

Южное общество

Собрание текстов и общая редакция  
проф. И. В. Пороха и проф. В. А. Федорова

Издательство Московского университета  
1982

ПЕЧАТАЕТСЯ ПО ПОСТАНОВЛЕНИЮ  
РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКОГО СОВЕТА  
МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

*Рецензент* —  
доктор исторических наук В. А. Дьяков

**Мемуары декабристов. Южное общество.** Под ред. И. В. Пороха и В. А. Федорова. М., Изд-во Моск. ун-та, 1982, 352 с.

В книгу включены воспоминания членов Южного общества Н. В. Басаргина, М. И. Муравьева-Апостола, А. В. Поджио, содержащие ценные сведения о формировании идеологии декабристов, деятельности тайных обществ, следствии по делу декабристов и событиях декабристской каторги и ссылки.

М 4700000000 — 181  
077(02) — 82 189 — 82

© Издательство Московского университета, 1982 г.



## ПРЕДИСЛОВИЕ

Декабризм как историческое явление чрезвычайно многогранен. Он включает в себя идеологию дворянских революционеров, оказавшую значительное влияние на общественное сознание передовой России первой половины XIX в.; практическую легальную и нелегальную деятельность членов тайных обществ 20-х годов; их открытое выступление с оружием в руках против царизма; мужественное поведение на следствии и суде, увенчанное ореолом мученичества казненных и сосланных в Нерчинские рудники; беспримерную стойкость в преодолении всех жизненных испытаний, выпавших на долю «государственных преступников» во время каторжных работ и пребывания на поселении; благородную просветительскую деятельность в Сибири и активную общественно-политическую позицию по возвращении их после амнистии в 1856 г. в Европейскую Россию — позицию, которая свидетельствует о верности «апостолов свободы», как называл декабристов Герцен, своим высоким идеалам поры революционных исканий и действий. Многие из декабристов были крупными деятелями отечественной культуры.

Родоначальники идейно осознанной и организованной политической борьбы против самодержавия и крепостного права, декабристы навечно вошли в историю России. С Сенатской площади и заснеженных полей Украины дворянские революционеры шагнули в бессмертие. В благодарной народной памяти о героях первого революционного подвига особым уважением и любовным ореолом овеяны воспоминания самих декабристов, поведанная ими летопись «о времени и о себе».

Мемуары декабристов, безусловно, относятся к числу выдающихся памятников особого рода русской литературы, которые содержат в себе большой заряд эстетического и воспитательного воздействия на читателей. Вместе с тем мемуары декабристов являются ценнейшими источниками по истории освободительного движения в России первой половины XIX в. Однако не следует забывать, что мемуары — специфическая форма личностного осмысления событий, они носят в себе неизгладимый отпечаток авторской субъективности. Заклучая в себе важные сведения о декабристском движении и его участниках, которые зачастую отсутствуют в официальных документах, воспоминания участников тайных обществ

первой четверти XIX в. не лишены подчас определенной заданности и тенденциозности. Поэтому мемуары вообще, и декабристские в том числе, требуют к себе очень осторожного, аналитического отношения.

Публикация мемуарных произведений декабристов в дооктябрьский период — отличительная черта деятельности передовых русских издателей. Первым, кто по достоинству оценил исключительное значение декабристских мемуаров, был А. И. Герцен, высоко поднявший революционные традиции деятелей тайных обществ 20-х годов XIX в. Он с величайшей признательностью заявлял: «Декабристы наши великие отцы... Мы от декабристов получили в наследство возбужденное чувство человеческого достоинства, стремление к независимости, ненависть к рабству, уважение к Западу и революции, веру в возможность переворота в России, страстное желание участвовать в нем, юность и непочатость сил»<sup>1</sup>.

Настойчиво обращаясь к своим тайным корреспондентам с просьбой присылать ему мемуары декабристов и их художественные произведения, А. И. Герцен характеризовал их как «единственное святое наследство, которое наши отцы завещали нам, всякая строка дорога нам»<sup>2</sup>.

С благодарностью сообщая 1 сентября 1862 г. в «Колоколе» о том, что «первая присылка записок получена», А. И. Герцен торжествовал: «Наконец-то выйдут из могил тени великие первых сподвижников русского освобождения, и большинство, знавшее их по Блудову и по Корфу<sup>3</sup>, узнает их из их собственных слов. Мы с благочестием средневековых переписчиков апостольских деяний и жития святых принимаемся за печатание «Записок декабристов»; мы чувствуем себя гордыми, что на долю нашего станка досталась честь обнародования их»<sup>4</sup>.

Вольной русской типографией в Лондоне были опубликованы сочинения М. С. Лунина «Взгляд на русское тайное общество с 1816 до 1826 года» и «Разбор донесения, представленного российскому императору тайной комиссией в 1826 году», в составлении которого принимал участие Н. М. Муравьев, «Записки» И. Д. Якушкина и С. П. Трубецкого, мемуарный очерк Ф. Ф. Вадковского «Белая Церковь» и др. А. И. Герцену принадлежали самые прочувствованные и политически острые некрологи на смерть И. Д. Якушкина, И. И. Пущина, Н. В. Басаргина, Г. С. Батенькова, А. Н. Муравьева, Н. Р. Цебрикова. На основе «Записок» И. Д. Якушкина, С. П. Трубецкого и воспоминаний Н. А. Бестужева Герцен в «Исторических очерках о героях 1825 года и их предшественниках...», написанных в 1868 г., воссоздал великолепные портреты многих декабристов. В обстановке, когда общественное движение в России пошло

<sup>1</sup> Герцен А. И. Собр. соч. в 30-ти т. М., 1954—1965; т. XX, 1960, с. 346. Далее в книге ссылки даются по этому изданию.

<sup>2</sup> Герцен А. И. Т. XV. М., 1958, с. 226.

<sup>3</sup> Герцен имел в виду «Донесение Следственной комиссии», написанное Д. Н. Блудовым, и книгу М. Корфа «Восшествие на престол императора Николая I», отмеченные верноподданническим настроением и ненавистью к декабристам.

<sup>4</sup> Герцен А. И. Т. XVI. М., 1959, с. 237.



на спад, Герцен продолжал воспевать подвиг героев 14 декабря, призывая следовать их примеру, и тем самым боролся против духа аполитизма и пассивной покорности, охватившего значительную часть русской интеллигенции.

В публикации и распространении мемуарных творений декабристов много сделали в 70—80-е годы XIX в. М. И. Семевский и П. И. Бартенев. Так, П. И. Бартенев впервые издал в 1872 г. «Записки» Н. В. Басаргина.

Однако по-настоящему научное воспроизведение мемуарных источников без многочисленных цензурных купюр началось уже после Великой Октябрьской социалистической революции и успешно продолжается по настоящее время. Декабристская проблематика неисчерпаема, и важное место в ней принадлежит мемуаристике как особому разделу декабристского ведения.

В настоящий том мемуаров декабристов вошли воспоминания Н. В. Басаргина и А. В. Поджио, а также очерковые воспоминания М. И. Муравьева-Апостола, посвященные некоторым примечательным событиям 10—20-х годов прошлого столетия. Побудительной причиной к их опубликованию послужило прежде всего то обстоятельство, что все названные мемуарные произведения, изданные свыше пятидесяти лет тому назад, в настоящее время стали библиографической редкостью. Потребность же в них ощущается весьма настоятельная. Выбор мемуаров для данной книги не случаен. Он продиктован тематической направленностью издания и ценностью воспоминаний как исторического источника. При всем индивидуальном своеобразии публикуемых в томе произведений они имеют достаточно серьезную объединяющую основу. Авторы их принадлежали к Южному обществу и в своих воспоминаниях освещают разные стороны истории этой организации. Нелишне отметить, что они представляли все три управы Южного общества: Н. В. Басаргин — Тульчинскую, М. И. Муравьев-Апостол — Васильковскую, А. В. Поджио — Каменскую.

Записки Н. В. Басаргина отличаются насыщенностью фактическим материалом и высокой степенью достоверности. Взявшись за перо, мемуарист руководствовался принципом «писать только то, в чем [...] сам участвовал или чему был свидетелем»<sup>5</sup>. Особую ценность представляют сведения, сообщаемые Н. В. Басаргиным о Тульчинской управе Союза благоденствия и о возникновении Южного общества. Этот важнейший момент из истории декабристского движения мемуарист воссоздал «в лицах». Очень хорошо показана в записках решающая роль П. И. Пестеля как организатора и идеолога «южан». Немало тонких зарисовок и метких персональных характеристик содержится при описании правительственной расправы над декабристами.

Воспоминания Н. В. Басаргина являются одним из самых обстоятельных и значительных источников, содержащим многие уникальные данные

---

<sup>5</sup> Записки Н. В. Басаргина. Пг., 1917, с. 120.

о пребывании декабристов в Чите, об их пешем переходе в Петровский завод, о проживании там в специально выстроенной для них тюрьме, о дружеской артели материальной взаимопомощи, о той роли, которую играли в их судьбе «русские женщины» — героические жены декабристов, приехавшие к своим мужьям на каторгу, о жизни на поселении и о просветительской деятельности в Сибири. С большой любовью описывая богатейший и тогда еще совершенно не освоенный край, Н. В. Басаргин пророчески предсказывал ему мощный расцвет, который мы видим в наши дни.

Записки Н. В. Басаргина написаны с откровенно антикрепостнических и антисамодержавных позиций. Кроме того, их автору не откажешь в глубоком психологическом истолковании поведения как подследственных (например, М. П. Бестужева-Рюмина), так и тех, кто был причастен к решению их судьбы (особенно генерал-адъютанта графа А. И. Чернышева и священника П. Н. Мысловского).

К сожалению, Н. В. Басаргин не смог осуществить своего намерения написать политическое обозрение царствования Александра II (хотя определенные шаги в этом направлении им и предпринимались) и включить в мемуары обзор эпохи падения крепостного права. Однако последнее обстоятельство не снижает значения «Записок» Н. В. Басаргина как первоклассного источника по истории освободительного движения.

Оригинальны по своим жанровым особенностям мемуары Матвея Ивановича Муравьева-Апостола, родного брата руководителя Васильковской управы Южного общества и организатора восстания Черниговского полка Сергея Ивановича Муравьева-Апостола, казненного 13 июля 1826 г. на кронверке Петропавловской крепости в числе пяти декабристов, поставленных Верховным уголовным судом, по указке Николая I, «вне рядов».

Мемуарные сочинения М. И. Муравьева-Апостола состоят из отдельных самостоятельных очерков-воспоминаний, а также критических замечаний на первый том книги П. Дирина «История лейб-гвардии Семеновского полка» (СПб., 1883) и на биографический очерк М. Балласа о С. И. Муравьеве-Апостоле. При всей внешней обособленности каждого очерка они в совокупности выразительно повествуют о целой эпохе с конца XVIII в. до каторжно-поселенческой эпопеи декабристов.

Среди мемуарных очерков М. И. Муравьева-Апостола выделяются воспоминания о войне 1812 г., о «семеновской истории» 1820 г. и о восстании Черниговского полка. В них приводятся важные фактические сведения, подкрепленные авторитетом непосредственного участника событий. Мемуарист упоминает множество лиц, с которыми он был в близких отношениях или о которых просто много знал.

М. И. Муравьеву-Апостолу принадлежит известное высказывание афористического свойства, которое емко и образно выражает отношение декабристов к Отечественной войне русского народа против Наполеона. «Мы,— заявил М. И. Муравьев-Апостол, имея в виду своих товарищей по

тайному обществу,— были дети 1812 г.». В очерке мемуарист мозаикой конкретных деталей сумел рельефно показать трудности военных будней, а также героизм защитников России.

Очерк, посвященный событиям, происшедшим в октябре 1820 г. в Семеновском полку, свидетельствует о том, какую громадную роль играла «семеновская история» в личной судьбе М. И. Муравьева-Апостола, в судьбах его товарищей и современников, в судьбе декабризма в целом. В очерке масса ценных фактических сведений о поведении высшего генералитета, полковых офицеров и солдат во время бунта.

Интересно вспомнить, что в III книге «Полярной звезды» за 1857 г. была помещена статья под названием «Семеновская история (1821)», которая заставляет думать, что к ее написанию был причастен М. И. Муравьев-Апостол. Важным аргументом в пользу такой атрибуции являются сюжетные, а также многочисленные смысловые и текстуальные совпадения очерка, доподлинно принадлежащего М. И. Муравьеву-Апостолу, и безымянной статьи-воспоминания из III книги «Полярной звезды». И в том и в другом сочинении одинаково говорится об отказе семеновских офицеров участвовать в денежной подписке, проведенной Аракчеевым; о денежном ущербе для солдат, связанном с насильственными действиями полковника Шварца; о начале возмущения первой «государевой» роты, принесшей ночью 16 октября жалобу своему непосредственному командиру капитану Кашкарову; об аресте роты; о требованиях солдат или освободить первую роту, или посадить весь полк вместе с ней в крепость; о посылке австрийским посланником графом Лебцельтерном курьера с донесением Меттерниху и о задержке в Петербурге на три дня П. Я. Чадаева, которому было поручено сообщить Александру I о восстании Семеновского полка.

Перечень аналогичных совпадений можно было бы продолжить. Однако и приведенные примеры говорят в пользу предположения о причастности М. И. Муравьева-Апостола к написанию статьи «Семеновская история (1821)».

Отсюда логически следует, что уже в первые годы издательской деятельности Герцена М. И. Муравьев-Апостол, по всей видимости, прямо или опосредствованно стал его корреспондентом.

Первостепенное значение для восстановления фактической стороны предыстории и самого хода восстания Черниговского полка имеет другой очерк М. И. Муравьева-Апостола, где описывается само событие и даны замечания по поводу биографии С. И. Муравьева-Апостола, написанной М. Балласом. Немало интересного и важного содержится в записке о пребывании М. И. Муравьева-Апостола в Петропавловской крепости и сибирском периоде его жизни.

Отмечая главные качества мемуарных очерков М. И. Муравьева-Апостола, следует указать, что им присущи внутреннее единство в оценке декабристского движения и полемическая заостренность в стремлении установить истину. Последнее обстоятельство повышает достоверность

сообщаемых в них сведений и тем самым придает им еще большую ценность как историческому источнику.

Третий мемуарный памятник, включенный в данный том, — «Записки» А. В. Поджио, которые разительно отличаются от обычной декабристской мемуаристики. Они являют собой своеобразное сочетание биографического очерка (что типично для мемуаров декабристов) с попыткой историко-философского осмысления политического состояния России в прошлом и в начале XIX в. В соответствии с авторским замыслом в «Записках» очень много отступлений, различных исторических экскурсов, сравнительных характеристик, в которых выявляется логическая глубинная связь истории и современности.

При этом сам А. В. Поджио считал свои отступления естественными, а не надуманными. Наиболее яркими примерами сказанного могут служить страницы, посвященные в воспоминаниях Поджио Петру I, его характеру и деятельности.

Отдавая дань незаурядной личности царя-реформатора, грандиозности его замыслов, А. В. Поджио одновременно разоблачал жестокость и варварство «ломовика-преобразователя», как он именовал Петра I. В оценке деятельности Петра I Поджио в значительной мере был солидарен со славянофилами.

Вместе с тем отношение Поджио к русской истории в целом значительно отличается от славянофильской концепции. Поджио не склонен приукрашивать или тем более идеализировать прошлое Русского государства. «Записки» Поджио интересны целым рядом историко-психологических портретов, и это несмотря на исполненную скромности оговорку Поджио, что психология для него всегда оставалась *terra incognita*. Важной чертой умозаключений и личностных характеристик различных государственных деятелей, предлагаемых мемуаристом, является то, что эти люди объясняются и анализируются Поджио исходя из обстоятельств общего характера. В том или ином поступке и событии Поджио стремится и умеет видеть проявление социально-нравственной закономерности. А. В. Поджио, как и подавляющее большинство декабристов-мемуаристов, не считал себя писателем, а свои «Записки» — литературным произведением. Но стиль его воспоминаний оригинален и неповторим. Горячий темперамент, «пылкость», которую отмечали в Поджио его современники и близкие, остро чувствуются в интонации каждой фразы его «Записок». Поджио подчеркивает важнейшие принципиальные положения декабризма.

С гордостью и любовью говоря о своих товарищах — единомышленниках, членах декабристской организации, мемуарист рисует их мужество, патриотизм, чувство гражданского достоинства, проявленные и в годы революционной деятельности, и в тяжелые дни заточения. Поджио с пафосом пишет о решительном намерении декабристов освободить крестьян и об аграрном проекте П. И. Пестеля как о высочайшем достижении политической мысли первой четверти XIX в.



Высказывания А. В. Поджио о П. И. Пестеле значительно обогащают декабристскую историографию. Резко выступая против умышленного замалчивания заслуг вождя Южного общества, мемуарист с гневом писал: «...вырвать такую славную страницу из нашего дела, отнять у Пестеля единственную праведную славу, одному ему принадлежащую,— не есть ли это вероломное искажение исторической истины и не есть ли это явный грабеж ума и сердца! Многие ходили у нас проекты и мысли относительно освобождения крестьян, и все принимали личную свободу при вознаграждении денежном владельцам, но мысль освобождения крестьян с землею принадлежала Пестелю одному» (с. 254 наст. изд.).

Преклоняясь перед Пестелем как теоретиком, А. В. Поджио выражал тем самым свои демократические взгляды на решение крестьянского вопроса.

Очень образно, с уничтожающим сарказмом описаны в записках главные действующие лица политического процесса над декабристами: военный министр граф А. И. Татищев, «всегда безмолвный и, вероятно, углубленный в свои министерские дела»; Александр Николаевич Голицын, «вынужденный заглаживать грехи старого усердия грехами нового»; Александр Христофорович Бенкендорф, не способный «отделять долг привязанности личной от долга к родине, хотя для него и чужой»; Павел Васильевич Кутузов, «бывший забулдыга».

Эти личностные характеристики напоминают ядовитые оценочные высказывания П. В. Долгорукова о придворной камарилье в знаменитых «Петербургских очерках» или общей настрой сатирического стихотворения Ф. Ф. Вадковского «Наш следственный комитет 1825 г.».

«Записки» Поджио остались незавершенными. В отличие от других мемуаров они не очень фактологичны, но зато представляют большую ценность как один из немногих мемуарных памятников, позволяющих познакомиться с идеологией декабристов-южан с учетом ее дальнейшей эволюции.

Тексты публикуемых мемуаров сверены с рукописными подлинниками (Н. В. Басаргин), авторитетными рукописными копиями (А. В. Поджио), а также с наборными вариантами прижизненных изданий (М. И. Муравьев-Апостол). Разночтения между подлинником и печатным текстом предшествующего издания учтены в публикуемой редакции с соответствующей оговоркой в комментариях. В случае, если имеются беловая и черновая редакции подлинника, существенные разночтения между ними (включая печатный текст, как это имеет место с записками Н. В. Басаргина) регистрируются в примечаниях.

Композиция тома определяется временем вступления каждого из мемуаристов в Южное общество.

В комментариях широко использованы новые архивные материалы и учтены достижения советской исторической науки в области изучения движения декабристов.

В нашей научной литературе имеется «Алфавит декабристов» (Восста-

ние декабристов, т. VIII. М.—Л., 1925), снабженный подробными биографическими сведениями о каждом из привлеченных к следствию членов тайных обществ. Кроме того, в начале 1981 г. вышел в свет том «Мемуары декабристов. Северное общество» (М., Изд-во Моск. ун-та), где откомментировано множество имен декабристов, связанных как с Северным, так и с Южным обществом. Исходя из этого, составители настоящего издания в принципе не комментируют как таковые имена декабристов, упоминающиеся в воспоминаниях Н. В. Басаргина, М. И. Муравьева-Апостола, А. В. Поджио. Соответствующие пояснения о них даются в связи с какими-то определенными событиями.

*И. В. Порох*

# ВОСПОМИНАНИЯ Н.В.БАСАРГИНА





# ЗАПИСКИ

## I

В 1819 г., будучи произведен по экзамену в офицеры Генерального штаба и прослужа в Москве год преподавателем при корпусе колонновожатых\*, я отправился в 1820 г. на службу в южную Россию, в м. Тульчин Каменец-Подольской губернии, где находилась главная квартира тогдашней второй армии<sup>2</sup>.

Главнокомандующим был известный граф Витгенштейн<sup>3</sup>; начальником главного штаба — генерал Киселев, нынешний министр государственных имуществ<sup>4</sup>, тогда молодой еще человек и любимец покойного императора Александра.

Приехавши туда, я вскоре познакомился со всеми тогдашними сослуживцами моими. Некоторые из них теперь уже государственные люди.

Тульчин, польское местечко, принадлежавшее в то время графу Мечиславу Потоцкому, населено евреями и польскою шляхтою. Кроме военных и чиновников главной квартиры, не было там никакого общества.

Будучи ласково принят начальством, я скоро сблизился со всеми молодыми людьми, составлявшими общество главной квартиры. К нему принадлежали: адъютанты главнокомандующего, начальника главного штаба и прочих генералов, офицеры Генерального штаба и несколько статских чиновников.

Направление этого общества было более серьезное, чем светское или беззаботно-веселое. Не избегая развлечений, столь естественных в летах юности, каждый старался употребить свободное от службы время на умственное и нравственное свое образование. Лучшим развлечением для нас были вечера, когда мы собирались вместе и отдавали друг другу отчет в том, что делали, читали, думали. Тут обыкновенно толковали о современных событиях и вопросах. Часто рассуждали об отвлеченных

---

\* Основанном покойным ген.-майор. Н. Н. Муравьевым и в котором я воспитывался. Впоследствии я намерен изложить некоторые воспоминания мои об этом учебном заведении<sup>1</sup>.

предметах и вообще делили между собою свои сведения и свои мысли\*.

Вот имена лиц, составлявших это юное общество главной квартиры: генерал князь Волконский, молодой Витгенштейн — сын главнокомандующего, Пестель, Юшневский, князь Барятинский, Крюков 1-й, Ивашев, Рудомоев, Клейн, Будберг, князь Салтыков, Барышников, Аврамов 1-й, Чепурнов, Языков, Бурцев, князь Трубецкой, князь Урусов, граф Ферзен, барон Меллер-Закомельский, Штейбен, адъютанты главнокомандующего, начальника штаба и начальника артиллерии (кроме Юшневского, занимавшего должность генерал-интенданта), два брата Бобрищевых-Пушкиных, Лачинов, Колошин, Горчаков, Крюков 2-й, Аврамов 2-й, барон Ховен, Черкасов, барон Ливен, Пушкин, Петров, барон Мейндорф, Фаленберг, Филипович, фон Руге, Новосильцов, Львов, Юрасов, Комаров и еще некоторые офицеры Генерального штаба\*\*, военные медики Шлегель и Вольф.

Из всех этих лиц наиболее отличался своими способностями Пестель. Генерал-интенданта Юшневский, у которого мы все очень часто собирались, был человек с прекрасным образованием и сведениями. Бурцев, впоследствии убитый в чине генерал-майора в Турецкую войну 1829 г., был тоже очень замечательный молодой человек, не столько по своему уму, сколько по своей деятельности и своей любознательности. Он был адъютантом начальника главного штаба и пользовался репутацией отличного и дельного офицера.

Не лишним считаю описать также некоторые замечательные личности того времени, как я понимал их тогда и сколько помню и понимаю теперь.

Граф Витгенштейн, герой 12-го года, был вполне добрейший и отличный человек. Он пользовался во всей России и в Европе огромной военной репутацией. Эта репутация была, может быть, несколько преувеличена; впрочем, я не раз слышал от Пестеля, который был при нем во время кампании 12-го года, что он действительно имел верный военный взгляд и замечательную храбрость. В это время он был уже в преклонных летах и мало занимался службою, предоставляя все управление армией начальнику главного штаба. Сверх того он был не очень любим покойным императором Александром. Некоторые приписывали это его огромной народности, что будто бы не нравилось государю; но я думаю скорее потому, что граф пренебрегал службою в мирное время и не умел быть царедворцем. Во время командования второю армиею он жил более в

---

\* Все, о чем теперь так гласно пишут и рассуждают и что в тогашнее время только говорили в дружеской, задушевной беседе между одномыслящими людьми, служило большею частью предметом наших разговоров и суждений. Разумеется, что сорок лет тому назад многое, что теперь считается азбукою для людей сколько-нибудь мыслящих, было совсем неясно для юношей, только что кончивших свое далеко не полное образование. Весьма естественно, что эти юноши пламенно и ревностно предавались новому для них взгляду на вещи и общественные отношения, взгляду, который открывал для них целый ряд новых истин и идей, согласных с их чувствами и правилами.

\*\* Многие из них приехали в Тульчин уже около 1820 г.<sup>5</sup>.

своем поместье, находившемся в 70 верстах от Тульчина, и с увлечением занимался хозяйством, уделяя неохотно самое короткое время на дела служебные. Вообще его все любили, и он готов был всякому, без исключения, делать добро, нередко даже со вредом службе. Сын его Людвиг был очень добрый и благородный молодой человек. Он был членом нашего общества\*.

Начальник главного штаба, генерал Киселев, был личностью весьма замечательною. Не имея ученого образования, он был чрезвычайно умен, ловок, деятелен, очень приятен в обществе и владел даром слова. У него была большая способность привязывать к себе людей и особенно подчиненных. По службе был взыскателен, но очень вежлив в обращении, и вообще мыслил и действовал с каким-то рыцарским благородством. Со старшими вел себя скорее гордо, нежели униженно, а с младшими — ласково и снисходительно. Он решительно управлял армией, потому что главнокомандующий ни во что почти не мешался и во всем доверял ему. Сверх того, он пользовался особенным расположением покойного императора Александра. Не раз я сам от него слышал, как трудно ему было сделаться из светского полотера (как он выражался) деловым человеком и сколько бессонных ночей он должен был проводить, будучи уже флигель-адъютантом, чтобы несколько образовать себя и приготовиться быть на что-нибудь годным. Весьма естественно, что такой молодой человек не только не противился, но поощрял то серьезное направление, которому следовала тульчинская молодежь.

Павел Иванович Пестель был человек высокого, ясного и положительного ума. Будучи хорошо образованным, он говорил убедительно, излагал мысли свои с такою логикою, такою последовательностью и таким убеждением, что трудно было устоять против его влияния. С юных лет посвятив себя изучению и обсуживанию политических и общественных вопросов, он в особенности был увлекателен, когда рассуждал об этих предметах.

Прочие члены нашего общества были добрые, большею частью умные и образованные молодые люди, горячо любившие свое отечество, желавшие быть ему полезными и потому готовые на всякое пожертвование. С намерениями чистыми, но без опытности, без знания света, людей и общественных отношений, они принимали к сердцу каждую несправедливость, возмущались каждым неблагородным поступком, каждою мерою правительства, имевшею целью выгоду частную, собственную вопреки общей.

Здесь надобно заметить, что в то время политическое положение европейских государств много содействовало неудовольствию благомыслящей и неопытной молодежи и было причиною повсеместному почти образованию тайных политических обществ.

---

\* Жена главнокомандующего, графиня Витгенштейн, урожденная Снарская, была женщина с большим умом и имела влияние на мужа.

Исполнинская борьба Европы с Наполеоном была окончена. Европейские государства, чтобы с успехом противостать его могуществу и его военному гению, должны были обратиться к инстинктам народным и если не обещать положительно, то по крайней мере породить в массе надежды на будущие улучшения в ее общественном быте. Император Александр, по заключении мира, в Париже, в Лондоне, на Венском конгрессе говорил и действовал согласно этим правилам и тем подал надежду в самой России на будущие преобразования в пользу народа.

Станным кажется теперь, что тогдашние главы правительств, действуя таким образом, не предвидели, что многозначачие слова их найдут отголосок не только в людях мыслящих, но и в самой массе; что надежды, ими внушаемые, породят ожидания, требования и волнения. Не думаю, впрочем, чтобы, поступая таким образом, они умышленно хотели обмануть народ ложными обещаниями, а полагаю, что, не предвидя последствий, они воображали спокойно приступить к некоторым маловажным преобразованиям и уверяли себя, что народ будет мирно выжидать то, что будет сделано для него, и удовольствуется незначительными уступками правительств. Конечно, это была важная с их стороны ошибка, за которую дорого должны были поплатиться отчасти и они сами, но гораздо более — управляемые\*.

Не вхожу в рассуждение, как и почему это случилось; но только вслед за окончанием борьбы с Наполеоном и в то время еще, когда главы правительств не переставали торжествовать благополучный для них исход ее и делить Европу, как свое достояние<sup>6</sup>, народы начали изъяслять свои требования и волноваться, не видя скорого исполнения своих ожиданий. Это произвело совершенную реакцию в мыслях и поступках государей: они усмотрели свою ошибку (а может быть, и необходимую меру, вызванную обстоятельствами) и стали действовать противно тому, что прежде обещали и говорили. С своей стороны народы, убедясь, что нечего ожидать им от правительств, стали действовать сами; а умы нетерпеливые, которых всегда и везде найдется много, решились ускорить и подвинуть общественное дело образованием и распространением тайных обществ. Во

---

\* Не нужно, кажется, доказывать, что при основании каждого общественного или государственного изменения должно рассчитывать и быть готовыми на неизбежные препятствия и затруднения, как со стороны противников этого изменения, так и со стороны горячих и малоопытных его приверженцев. Гениальный и твердый в своих убеждениях преобразователь не смутится этими препятствиями и пойдет смело и прямо к цели своей, несмотря на временные беспорядки и затруднения. Он уничтожит их или добросовестною, искусною политикою или даже вещественною силою. Но гении редки. Большую частью правители и государственные люди, в самых благодетельных и чистых намерениях своих, часто останавливаются при малейшем затруднении и возвращаются к старому порядку, не думая о жертвах, которые должны погибнуть при реакции и которые вызваны были их начинаниями.



Франции, Германии, Италии учредились таковые под разными наименованиями: Карбонариев, Тугендбунда и т. д.<sup>7</sup>

Россия не могла избежать влияния соседственных государств, и особенно в такое время, когда сношения с ними порождались самыми событиями, войною и дальнейшими ее последствиями. Многие молодые люди, возвратившиеся после кампании из-за границы, большею частью военные, покрытые еще дымом исполинских битв 1812—1814 гг., внесли с собою новые идеи, начали серьезно думать о положении России и прилагать к ней теории общественных учреждений, или существующих уже в других государствах, или изложенных в замечательных политических творениях тогдашнего времени<sup>8</sup>.

Сначала, действуя в этом смысле, они основывались на намерениях самого покойного императора Александра; но потом, когда он изменил им и предался реакции, то решились образовать тайные общества и этим средством думали достигнуть своей цели.

Так называемая Зеленая Книга—плод юношеских, но чистых побуждений первых учредителей Союза Благоденствия—объясняла явную цель общества. Тайная же подразумевалась и необходимо дополняла то, чего не сказано было в ней прямо, что было известно сначала только одним учредителям, а потом главным членам общества<sup>9</sup>.

В составлении Зеленой Книги в первоначальном учреждении общества участвовали: П. И. Пестель, А. Н. Муравьев (впоследствии оставивший общество и теперь служащий ген.-майором), брат его М. Н. Муравьев (нынешний член Государственного совета и сенатор),

---

\* Здесь надобно заметить, что в России, несмотря на приобретенную ею военную силу счастливым исходом войны с Наполеоном, внутренняя ее организация, ее администрация, общественное и нравственное ее положение, ее правительственные формы и, наконец, ее малое развитие в отношении умственного образования явно бросались в глаза каждому просвещенному и благомыслящему человеку и невольно внушали ему желание изменить или по крайней мере исправить по возможности этот порядок. Все, что оказывается и оказалось ныне вредного и порочного, во всех отраслях ее гражданского быта, существовало и тогда, с тою только разницею, что замечалось меньшим числом лиц, чем ныне, и что правительство смотрело иначе на все эти недостатки, или не думая, или не решаясь приступить к их преобразованию. Прибавьте к этому, что и понятия тогдашнего времени были гораздо грубее и одностороннее, чем ныне, и потому все, что делалось, представлялось еще возмутительнее тем из немногих, которые мыслили и поступали вследствие других идей и правил. Мудрено ли, что эти люди, большею частью юные летам, охотно отделялись от массы и с увлечением готовы были посвятить себя на пользу отечества, ни во что ставя личную опасность и грозящую невзгоду в случае неудачи или ошибочного расчета. Конечно, малое число юных последователей новых идей сравнительно с защитниками старого порядка, между коими находилось, с одной стороны, закостенелое в невежестве большинство, а с другой—предпочитавшие всею личными выгоды и занимавшие высшие должности в государстве, было почти незаметно. Не менее того, не сообразив ни своих сил, ни средств, они не только сильно, но с увлечением и (почему не сказать!) с ошибочною надеждою вступили в тот путь, где должны были пасть в неравной борьбе и сделаться первыми жертвами.

Н. И. Тургенев (живущий за границей), С. П. Шипов (ныне сенатор и генерал-адъютант) и многие другие\*.

В Тульчине, когда я прибыл туда, членами этого общества были: П. И. Пестель, И. Г. Бурцев, князь С. Г. Волконский, П. Н. Комаров, А. П. Юшневский, М. А. Фонвизин, В. П. Ивашев, П. В. Аврамов, князь А. И. Барятинский, Ф. Б. Вольф. Впоследствии были приняты два брата Бобрищевых-Пушкиных, Черкасов, Аврамов 2-й, Лачинов и некоторые другие.

Меня принял Бурцев\*\*. Мы часто собирались вместе, рассуждали, спорили, толковали, передавали друг другу свои задушевные помыслы, желания, сообщали все, что могло интересовать общее дело, и натурально нередко очень свободно, скажу более, неумеренно говорили о правительстве. Предложениям, теориям не было конца. Разумеется, в этих собраниях первенствовал Пестель. Его светлый логический ум управлял нашими прениями и нередко соглашал разногласия.

Даже и в таких беседах, где участвовали посторонние, т. е. не принадлежавшие к обществу, разговор более всего обращен был на предметы серьезные, более или менее относящиеся к тому, что занимало нас. Нередко генерал Киселев участвовал в подобных беседах и хотя был душою предан государю, которого считал своим благодетелем, но говорил всегда дельно, откровенно, соглашался в том, что многое надобно изменить в России, и с удовольствием слушал здравые, но нередко резкие суждения Пестеля<sup>12</sup>.

Так прошел 1820 г. Между тем в Европе волнения не прекращались. В Испании, в Неаполе, Пьемонте учреждались, противу желания королей, конституционные правительства. Тайные общества, и в особенности карбонарии, действовали весьма деятельно. В самой Германии происходили беспрестанные колебания. В некоторых второстепенных государствах вводились, по необходимости, самими правителями представительные правления. Во Франции убийство герцога Беррийского было причиною реакции, падения либерального министерства и образования министерства ультрароялистского<sup>13</sup>. Неудовольствие либеральной партии увеличилось, и тайные общества стали действовать решительнее. Восстание греков еще более запутало дела Европы<sup>14</sup>. В общем мнении оно оправдывалось и

---

\* Упомянув о первых учредителях, не беру на себя ответственности за ошибку. Сколько мне помнится теперь, я слышал об этих лицах от самого Пестеля, Бурцева и других: они называли мне и еще некоторых, но не надеюсь на свою память и боюсь ошибиться<sup>10</sup>.

\*\* Бурцев был одним из самых деятельных членов Союза Благоденствия, принял много членов и впоследствии, когда общество открылось, очень счастливо избавился от суда. Его продержали только шесть месяцев в Бобруйской крепости, а потом, лишив его полка, отправили на Кавказ. Там он отличился, получил опять полк, был произведен в генералы и славно погиб в 1830 г. под Байбурутом<sup>11</sup>. Я подозреваю, что его тяготила мысль об участии товарищей, из коих многие были его друзьями и им приняты в общество. Эта мысль заставляла его, вероятно, бросаться в опасности с намерением погибнуть или отличиться так, чтобы иметь право на особенное внимание государя и тогда просить о сосланных товарищах своих.

внушало всеобщую симпатию. Главы правительств опасались, с одной стороны, явно противостать ему, чтобы не лишиться совершенно нравственного влияния на подданных и не обесславить себя в их глазах; с другой — не смели и не хотели также принять явно сторону греков, чтобы не ослабить уважения к законной власти, которая представлялась в этом вопросе турецким султаном. Одним словом, дошло до того, что первоклассные государства — Австрия, Пруссия, Россия, Франция — должны были решиться на что-нибудь окончательное или оставаться равнодушными зрителями распространяющегося восстания народов против указанных властей и со временем ожидать того же самого в собственных владениях, или силою оружия и мерами строгости остановить либеральное направление Европы.

Англия, как представительное государство, нисколько не опасалась господствовавших мнений и основательно полагалась на свои коренные учреждения, а потому не вмешивалась в этот вопрос, смотрела на события равнодушно, признавая везде ту власть, которая устанавливалась. Франции было не до того, чтобы вступаться в чужие дела: она озабочена была домашними волнениями партий. Пруссия за себя не опасалась: отеческое правление короля Фридриха-Вильгельма<sup>15</sup> и некоторые уступки, своевременно сделанные, в особенности торжественное обещание ввести представительство, обеспечивали спокойствие этого государства и удерживали порывы нетерпеливых. Оставались Австрия и Россия. Первая, составленная из разнородных элементов, держащаяся одною только политикою, страшилась за свои итальянские владения, готовые каждую минуту от нее отторгнуться и несшие с негодованием чужеземное иго. Россия, опасавшаяся распространения либеральных идей, видела восстание народов у самых границ своих. В это время первенствующий австрийский министр граф Меттерних<sup>16</sup> возымел большое влияние на ум императора Александра, представляя ему везде и во всяком действии либеральной партии кинжалы убийц, готовых покуситься на жизнь государей. Поступок Занда (следствие политического фанатизма) явился, как угрожающий призрак, перед его глазами и напоминал ему ужасное событие, лишившее его отца<sup>17</sup>.

При таком положении дел Австрия и Россия тесно соединились, чтобы противостать либеральной партии в Европе; это был настоящий смысл Священного союза<sup>18</sup>. Австрия послала войска в Неаполь, а Россия обязалась помогать ей. Одному из корпусов нашей армии (генерала Рудзевича) предназначено было следовать в Италию. Повеление было прислано в начале 1821 г., и войска стали сосредоточиваться на австрийской границе. Этот поход произвел двойное влияние на тульчинскую молодежь. С одной стороны, следование в Италию и боевая жизнь радовали сердца юношей, не видавших еще огня; с другой же — цель похода противоречила их мнениям, тем более что русские, особенно военные, не любят вообще австрийцев. Поход этот, однако ж, не состоялся.

В это именно время в тульчинском отделе Союза Благоденствия

произошло изменение, имевшее большое влияние на будущий ход его действий. Бурцеву, ехавшему в отпуск в Москву, поручено было понудить членов московского отдела к большей деятельности; но вместо того он, возвратившись, объявил нам, что московские и некоторые петербургские члены, бывшие в то время в Москве, решились прекратить самое существование Союза Благоденствия и что, с своей стороны, приняв их решение, он тоже оставляет общество. Примеру его последовал П. Н. Комаров.

Надобно знать, что поступок Бурцева и членов московского отдела имел сокровенную цель. Они заметили, что Пестель получил большой вес и влияние в Южном обществе и что некоторые из его идей, с которыми они не были согласны, приняты в южном отделе. С одной стороны, задетое самолюбие, а с другой — опасение, что общество может быть открыто правительством и что от него не утаится тогда сокровенная цель его, т. е. учреждение в России нового образа правления и ограничения верховной власти, побудили их на время остановить ход общества и выжидать благоприятного для этого времени<sup>19</sup>. Между собою, в Москве, они уговорились (что сделалось известным впоследствии и что сам Бурцев сказывал мне потом) не отказываться вовсе от участия в Союзе Благоденствия (в особенности же, если им удастся уменьшить влияние Пестеля) и только временно приостановить деятельность его членов.

Весьма естественно, что когда Бурцев, собравши всех членов тульчинского отдела, объявил им о том, что сделано было в Москве, то поступок этот оскорбил нас и возбудил общее неудовольствие. Все, исключая Комарова (человека не совсем чистых правил), решились остаться. По удалении Бурцева и Комарова Пестель и Юшневский избраны были директорами, а прочие члены дали слово продолжать действия общества, несмотря на опасность подвергнуться преследованию правительства. Для того же, чтобы показать московским членам совершенное равнодушие к их поступку, не входя ни в какие прения, объявлено было Бурцеву, что, узнав их решение, они уже более не считаются членами Союза Благоденствия. Далее, из предосторожности предположено было приостановить на время действие тульчинского отдела, тем более, что в это время правительство начинало уже подозревать его существование\*.

---

\* Около этого времени у нас в армии, в 16-й пехотной дивизии, которою командовал генер. Орлов (Михаил Федорович), бывший тоже членом общества, случилось происшествие, едва не открывшее правительству существование тайного общества. Дивизионной ланкастерской школой<sup>20</sup> заведовал там майор Раевский, тоже член общества. Он действовал не совсем осторожно в смысле цели Союза Благоденствия, навлек на себя этим подозрение корпусного командира Сабанеева, и тот арестовал его и запечатал его бумаги, а самого перевез в Тирасполь, где находилась корпусная квартира, и приказал произвести строгое следствие. В бумагах Раевского были некоторые намеки на существование Союза Благоденствия и даже список некоторых членов. Стали допрашивать его самого, но твердости его характера общество было обязано тем, что не было открыто прежде. Все то, что делалось по этому следствию, и с Раевским, передавал нам бывший адъютант Сабанеева Липранди (после

С этих именно пор прекращается особенное участие мое в действиях тульчинского общества. Служебные обязанности брали у меня много времени; сверх того здоровье мое было очень плохо: у меня открылось кровохарканье, и я должен был ехать на некоторое время в Крым. Возвратившись, хотя я и нашел всех бывших членов общества в Тульчине, но большая часть из них как-то охладела. Оставаясь между собою столь же дружными, мы уже не так горячо говорили о том, что так занимало нас прежде. Этому был причиною несколько и сам Пестель. Со всем его умом и даром убеждения у него не было способности привязывать к себе; не было той откровенности характера, которая необходима, чтобы пользоваться общою доверенностию. Нам казалось, что он скорее искал сеидов, нежели товарищей. Ему же, вероятно, представилось, что мы стараемся уклоняться от него и не доверяем чистоте его намерений<sup>22</sup>. Одним словом, я сам не могу дать себе отчета, почему и как, но я и некоторые из моих друзей—Ивашев, Вольф, Аврамов 1-й и еще другие—с половины 1821 г. по самое то время, как арестовали нас, не принимали уже прежнего участия в обществе и не были ни на одном заседании.

А между тем от 1821 до 1825 г. прошло более четырех лет. Служебные занятия, частые путешествия по расположению армии и в Москву, наконец, женитьба моя в 1824 г.—все это отвлекло меня от участия в обществе. Скажу более, самые мысли мои относительно сокровенной цели Союза Благоденствия, т. е. ограничение самодержавной власти, несколько изменились. Не переставая смотреть теми же глазами на все, что было худо, негодовать на злоупотребления, я нередко спрашивал себя, будет ли лучше, если общество достигнет своей цели, и поймет ли Россия выгоды представительного правления? Я сознавался внутренне, что гораздо бы лучше было, если бы само правительство взяло инициативу и шло вперед, не задерживая, а поощряя успехи просвещения и гражданственности. Тогда бы я первый стал под хоругвь самодержавия. Но, к несчастью, не таково было направление идей покойного императора Александра: в либералах он видел убийц, в законной оппозиции—возмущение, во всяком возражении и неодобрении действий правительства—дух безначалия, в просвещении масс—опасность для правительства. Одним словом, имея от природы доброе, человеколюбивое сердце, он покорился влиянию политиков-эгоистов и поступал совершенно по их внушениям.

Некоторые события и эпизоды моей жизни в продолжение этого времени стоят того, чтобы упомянуть об них. В 1823 г. случилось

---

известный генерал), коротко с нами знакомый. До самого восшествия императора Николая Раевский находился под арестом и привезен вместе с нами в крепость. Мне случилось сидеть в каземате против него, и он мне рассказал подробности своего дела. Орлов был тогда же удален от начальства над дивизией, а следствие об Раевском было представлено государю, где лежало нерассмотренным до смерти императора Александра. Раевский был потом осужден вместе с нами<sup>21</sup>.

происшествие, породившее много толков и наделавшее много шума в свое время. Это дуэль генерала Киселева с генералом Мордвиновым; я в это время был адъютантом первого и пользовался особенным его расположением. Вот как это происходило.

В нашей армии назначен был командиром Одесского пехотного полка подполковник Ярошевицкий, человек грубый, необразованный, злой. Его дерзкое, неприличное обращение с офицерами было причиною, что его ненавидели в полку, начиная от штаб-офицеров до последнего солдата. Наконец, вышед из терпения и не будучи в состоянии сносить его дерзостей, решились от него избавиться. Собравшись вместе, офицеры кинули жребий, и судьба избрала на погибель штабс-капитана Рубановского. На другой день назначен был дивизионный смотр. Рано утром войска вышли на место, стали во фронт, и дивизионный командир генер.-лейт. Корнилов, прибыв на смотр, подъехал к одному из флангов. (Одесский полк был четвертый от этого фланга.) Штабс-капитан Рубановский с намерением стоял на своем месте слишком свободно и даже разговаривал. Ярошевицкий, заметив это, подскакал к нему и начал его бранить. Тогда Рубановский вышел из рядов, бросил свою шпагу, стащил его с лошади и избил его так, что долгое время на лице Ярошевицкого оставались красные пятна. Офицеры и солдаты, стоявшие во фронте, не могли выйти из рядов до того времени, пока дивизионный командир не прискакал с фланга, где он находился, и не приказал взять Рубановского.

Разумеется, что это дело огласилось, и наряжено было следствие. Официально было скрыто, что все почти офицеры участвовали в заговоре против своего полкового командира. Пострадал один только Рубановский, которого разжаловали и сослали в работу в Сибирь; но частным образом сделалось известным как главнокомандующему, так и генералу Киселеву и об заговоре, и о том, что бригадный командир Мордвинов знал накануне происшествия, что в Одесском полку готовится какое-то восстание против своего командира. Вместо того, чтобы заранее принять какие-либо меры, он, как надобно полагать, сам испугался и ушел ночевать из своей палатки (перед самым смотром войска стояли в лагере) в другую бригаду.

Обо всем этом не было упомянуто в официальном следствии; но генерал Киселев, при смотре главнокомандующего, объявил генералу Мордвинову, что он знает все это и что, по долгу службы, несмотря на их знакомство, он будет советовать графу, чтобы удалили его от командования бригадой.

Так это и сделалось: Мордвинов лишился бригады и был назначен состоять при дивизионном командире в другой дивизии. Тем дело казалось оконченным. Но неприятели Киселева, а он имел их много, и в том числе генерала Рудзевича (корпусного командира), настроили Мордвинова, и тот, полгода спустя, пришел к нему требовать удовлетворения за нанесенное будто бы ему оскорбление отнятием бригады.

В главной квартире никто не подозревал неудовольствия Мордвинова

против Киселева. Будучи адъютантом последнего, я часто замечал посланных от первого с письмами, но никак не думал, чтобы эти письма заключали в себе что-нибудь особенное.

В один день, когда у Киселева назначен был вечер, я прихожу к нему обедать вместе с Бурцевым и опять вижу человека Мордвинова, дожидющегося ответа на отданное уже письмо. Эти частые послания показались мне странными, и я заметил об этом Бурцеву.

Пришедши в гостиную, где находилась супруга Киселева и собрались уже гости, мы не нашли там генерала, но вскоре были позваны с Бурцевым к нему в кабинет. Тут показал он нам последнее письмо Мордвинова, в котором он назначал ему местом для дуэли м. Ладыжин, лежащее в 40 верстах от Тульчина, требовал, чтобы он приехал туда в этот же день, взял с собою пистолеты, но секундантов не брал, чтобы не подвергнуть кого-либо ответственности.

Можно представить себе, как поразило нас это письмо. Тут Киселев рассказал нам свои прежние переговоры с Мордвиновым и объявил нам, что он решился ехать в Ладыжин сейчас, после обеда, пригласив Бурцева ему сопутствовать и поручив мне, в том случае, если он не придет к вечеру, как-нибудь объяснить его отсутствие.

Войдя с нами в гостиную, он был очень любезен и казался веселым; за обедом же между разговором очень кстати сказал Бурцеву, что им обоим надобно съездить в селение Клебань, где находился учебный батальон, пожурить офицеров за маленькие неисправности по службе, на которые жаловался ему батальонный командир.

Встав из стола, простясь с гостями и сказав, что ожидает их к вечеру, он ушел в кабинет, привел в порядок некоторые собственные и служебные дела и потом, простившись с женою, отправился с Бурцевым в крытых дрожках. Жена его ничего не подозревала.

Наступил вечер, собрались гости, загремела музыка и начались танцы. Мне грустно, больно было смотреть на веселившихся и особенно на молодую его супругу, которая так горячо его любила и которая, ничего не зная, так беззаботно веселилась. Пробило полночь, он еще не возвращался. Жена его начинала беспокоиться, подбегала беспрестанно ко мне с вопросами об нем и, наконец, стала уже видимо тревожиться. Гости, заметив ее беспокойство, начали разъезжаться; я сам ушел и отправился к доктору Вольфу, все рассказал ему и предложил ехать со мной в Ладыжин. Мы послали за лошадьми, сели в перекладную, но, чтобы несколько успокоить Киселеву, я заехал наперед к ней, очень хладнокровно спросил у нее ключ от кабинета, говоря, что генерал велел мне через нарочного привезти к нему некоторые бумаги. Это немного ее успокоило, я взял в кабинете несколько белых листов бумаги и отправился с Вольфом.

Перед самым рассветом мы подъезжали уже к Ладыжину, было еще темно, вдруг слышим стук экипажа и голос Киселева: «Ты ли, Басаргин?» И он и мы остановились. «Поезжай скорее к Мордвинову,—сказал он

Вольфу,—там Бурцев; ты же садись со мной и поедем домой»,—прибавил он, обращаясь ко мне.

Дорогой он рассказал мне все, что произошло в Ладыжине. Они приехали туда часу в шестом пополудни, остановились в корчме, и Бурцев отправился к Мордвинову, который уже дожидался их. Он застал его в полной генеральской форме, объявил о прибытии Киселева и предложил быть свидетелем дуэли. Мордвинов, знавший Бурцева, охотно согласился на это и спросил, как одет Киселев. «В сюртуке»,—отвечал Бурцев.—«Он и тут хочет показать себя моим начальником,—возразил Мордвинов,—не мог одеться в полную форму, как бы следовало!»

Место поединка назначили за рекою Бугом, окружающим Ладыжин. Мордвинов переехал на пароме первый, потом Киселев и Бурцев. Они молча сошлись, отмерили 18 шагов, согласились сойтись на 8 и стрелять без очереди. Мордвинов попробовал пистолеты и выбрал один из них (пистолеты были кухенрейтеровские и принадлежали Бурцеву). Когда стали на места, он стал было говорить Киселеву: «Объясните мне, Павел Дмитриевич ...», но тот перебил его и возразил: «Теперь, кажется, не время объясняться, Иван Николаевич; мы не дети и стоим уже с пистолетами в руках. Если бы вы прежде пожелали от меня объяснений, я не отказался бы удовлетворить вас».—«Ну, как вам угодно»,—отвечал Мордвинов,—будем стреляться, пока один не падает из нас».

Они сошлись на восемь шагов и стояли друг против друга, опустил пистолеты, выжидая каждый выстрел противника. «Что же вы не стреляете?»—сказал Мордвинов.—«Ожидая вашего выстрела»,—отвечал Киселев.—«Вы теперь не начальник мой,—возразил тот,—и не можете заставить меня стрелять первым».—«В таком случае»,—сказал Киселев,—не лучше ли будет стрелять по команде. Пусть Бурцев командует, и по третьему разу мы оба выстрелим».—«Согласен»,—отвечал Мордвинов.

Они выстрелили по третьей команде Бурцева. Мордвинов метил в голову, и пуля прошла около самого виска противника. Киселев целил в ноги и попал в живот. «*Je suis blessé*» [Я ранен (*фр.*)].—*Сост.*],—сказал Мордвинов. Тогда Киселев и Бурцев подбежали к нему и, взяв под руки, довели до ближайшей корчмы. Пуля прошла навылет и повредила кишки. Сейчас послали в местечко за доктором и по приходе его осмотрели рану; она оказалась смертельною.

Мордвинов до самого конца был в памяти. Он сознавался Киселеву и Бурцеву, что был подстрекаем в неудовольствии своем на первого Р. и К.<sup>23</sup>, и говорил, что сначала было не имел намерения вызывать его, а хотел жаловаться через графа Аракчеева<sup>24</sup> государю; но, зная, как император его любит, и опасаясь не получить таким путем удовлетворения, решился прибегнуть к дуэли. Вольф застал его в живых, и он скончался часу в пятом утра.

Подъезжая с Киселевым к Тульчину, мы встретили жену его в дрожках, растрепанную и совершенно потерянную. Излишним нахожу описывать сцену свидания ее с мужем.



Приехавши в Тульчин, Киселев сейчас передал должность свою дежурному генералу, донес о происшествии главнокомандующему, находившемуся в это время у себя в деревне, и написал государю. Дежурный генерал нарядил следствие и распорядился похоронами. Следствие было предоставлено по начальству императору Александру.

Киселев в ожидании высочайшего решения сначала жил в Тульчине, без всякого дела, проводя время в семейном кругу \*, а потом отправился в Одессу. Я поехал с ним; там он пробыл более месяца и, наконец, получил от генерала Дибича<sup>26</sup>, бывшего тогда начальником Главного штаба, письмо, в котором тот извещал его, что государь, получив официальное представление его дела, вполне оправдывает его поступок и делает одно только замечание, что гораздо бы лучше было, если бы поединок был за границей.

Вместе с тем ему предписывалось вступить в отправление должности и приехать для свидания с государем в г. Орел, где назначен был смотр находившимся там войскам. Этим окончилось это происшествие, которое, как ожидали недоброжелатели Киселева, должно было изменить к нему расположение императора\*\*.

В это именно время в Одессу прибыл граф Воронцов, назначенный генерал-губернатором Новороссийского края<sup>28</sup>. Когда он приехал, мы

---

\* В это время генер. Нарышкин, Лев Александрович, старый товарищ Киселева по службе, приехал свататься за сестру Киселевой, графиню Ольгу Потоцкую, жившую у Киселева, и безвыездно бывал у них. Здесь кстати сказать, что обе сестры были замечательной красоты и чрезвычайно милы и любезны. Супруга Киселева, Софья, была олицетворенная доброта, очень умна, веселого, открытого характера, но с тем вместе неизменно рассеянна и не обращала внимания ни на какие светские условия. Сестра ее, Ольга, имела характер более положительный и славилась красотой. Между ее обожателями находился известный генер. Милорадович<sup>25</sup>, бывший тогда уже пожилым человеком. Она смеялась над его страстью к ней и заставляла его, вместе с сестрою своею, делать много смешного для его лет. Раз как-то в Петербурге я зашел поутру в гостиную Киселева и застал жену его играющею на фортепиано, а Милорадовича, в полном мундире и звездах, танцующего перед нею мазурку. Киселева при этом помирала со смеху и кричала ему: «Ce n'est pas ça, ce n'est pas ça; mais comme vous dansez mal!» [Это не то, это не то; но как плохо вы танцуете! (фр.)—*Сост.*] Я было хотел удалиться, но Киселева остановила меня, и я поневоле был свидетелем этой смешной сцены.

\*\* В Орел поехал с Киселевым Бурцев, и вот что он мне рассказал по возвращении своем. Через два дня по прибытии их в Орел приехал туда и государь. Все высшие военные и гражданские власти ожидали его величества в приемной зале, для него приготовленной. Киселев также находился тут. Генералы (между коими были два корпусных и несколько дивизионных начальников) и прибывшие наперед генерал-адъютанты свиты его величества (Чернышев и Ожаровский)<sup>27</sup> обошлись с ним очень сухо, как с человеком опальным, и, видимо, избегали даже с ним говорить, так что он все время сидел один у окна. Когда приехал государь, то, проходя через залу, он только поклонился присутствующим и удалился во внутренние покои переодеваться. Вскоре камердинер его позвал к нему Киселева, который потом и вышел вместе с его величеством, весьма милостиво с ним разговаривавшим и часто к нему с особливою благосклонностью обращавшимся. Надобно было видеть перемену, которая произошла в царедворцах! Когда государь опять ушел, всякий из них наперерыв старался оказывать ему самое дружеское внимание.

находились уже там. Беспрестанные балы, концерты, вечера, обеды так утомляли меня, что я с нетерпением ожидал возвращения в Тульчин. С Воронцовым прибыло очень много умных и образованных молодых людей: Левшин, барон Бруннов<sup>29</sup>, барон Франк и другие\*. Первый — теперь товарищем министра внутренних дел, а второй — посланником.

Возвратясь в Тульчин, мы стали готовиться к высочайшему смотру, который назначен был в начале октября. Киселев отправился в Орел и, возвратясь в Тульчин, по случаю предстоящего смотра, деятельно занялся службою. Дела и нам было много, так что мы не видели, как наступил октябрь.

Перед приездом государя\*\* я был послан в Бессарабию, чтобы приготовить ему ночлег и караул, не упомяну теперь, в каком-то маленьком местечке, где сначала он было не думал останавливаться. Я также должен был узнать от генерала Дибича, куда государь прибудет: в Тульчин или прямо в расположение 7-го пехотного корпуса, в 40 верстах от главной квартиры. За день до его прибытия я приехал в местечко, приготовил лучшую квартиру и послал за стоявшею вблизи сотнею донских казаков. Начальник их, какой-то казачий старшина, так потерялся, что объявил мне, что он никак не явится перед царем и не подаст ему рапорта, если я при этом не буду находиться. Делать было нечего, и я поневоле должен был показаться государю. Приехавши, он спросил, заметив меня, зачем я нахожусь тут, и, сказав несколько слов, вошел в свою комнату. Я отправился в другую, к генералу Дибичу. Во время моего с ним разговора вошел государь. Узнав, в чем дело, сказал, что прибудет прямо в с. Кирносовку, где расположен 7-й корпус, и поручил мне приготовить ему при въезде в деревню какую-нибудь квартиру, в которой он мог бы переодеться. Дибич написал Киселеву несколько слов и приказал мне ехать как можно скорее, чтобы вовремя привезти известие о том, куда они прибудут.

Припоминаю теперь, что на обратном пути случилось одно обстоятельство, которое чрезвычайно меня напугало. Скача ночью сломя голову на перекладной и будучи очень утомлен, проведя две ночи сряду без сна, я нехотя задремал. Жандарм мой сделал то же самое. Вдруг чувствую, что мы остановились, и спрашиваю, что это значит? Ямщик-молдаван, не говоривший по-русски, что-то бормотал, но я ничего не понимал. Жандарм тоже не мог ничего объяснить. Наконец, догадываюсь, что мы сбились с дороги и мой молдаван не знает, куда ехать. Можно

---

\* В Одессе я встретил также нашего знаменитого поэта Пушкина: он служил тогда в Бессарабии при генер. Инзове. Я еще прежде этого имел случай видеть его в Тульчине у Киселева. Знаком я с ним не был, но в обществе раза три встречал. Как человек он мне не понравился. Какое-то бретерство, *suffisance* [высокомерие, зазнайство (*фр.*)]. — *Сост.*] и желание осмеять, уколоть других. Тогда же многие из знавших его говорили, что рано или поздно, а умереть ему на дуэли. В Кишиневе он имел несколько поединков, но они счастливо ему сходили с рук<sup>30</sup>.

\*\* Он возвращался с Веронского конгресса через Австрию<sup>31</sup>.

вообразить себе мое положение: государь должен был выехать чем свет, а мне надобно было попасть в Тульчин по крайней мере четырьмя часами ранее его. Видя, что с ямщиком делать нечего и что мы едем степью, а не дорогою, я приказал жандарму взять вожжи и ехать наудачу прямо, чтобы попасть в какое-нибудь жилье. К счастью, так и случилось; через полчаса мы приехали в какую-то деревушку, где я взял проводника до большой дороги, находившейся в 10 верстах. На все это я потерял более часа и очень был рад, что тем отделался. Поздно ночью проезжал я Могилев на Днестре. Тут встретилась опять помеха. На станции мне сказали, что генерал-адъютант Чернышев (теперешний князь) приказал мне явиться, в котором бы я часу ни проезжал. Нечего было делать: я побежал к нему, не переодеваясь. Прихожу на квартиру, где он остановился. Все спят мертвым сном. Бужу хозяина, тот, в свою очередь, камердинера, а этот, наконец, генерала. Меня вводят к нему в спальню. Нельзя представить себе моего удивления. Я ожидал найти молодого, красивой наружности человека, каким в то время все его знали и каким я сам видал его, и что же? Нахожу что-то вроде старухи, с чепцом на голове, с седыми почти усами и с обритыми седыми волосами, выглядывающими из-под чепца. Я не верил глазам своим. Он спросил меня, когда выезжает государь и когда будет в Могилеве. Ответив ему то, что об этом знал, я побежал от него, внутренне браня его за то, что он лишил меня нескольких дорогих минут, чтобы посмотреть на его вовсе непривлекательную фигуру. Я не предчувствовал, что вижу в нем будущего своего судью, и судью неумолимого, пристрастного и — дерзкого.

В Тульчин я возвратился около 4 часов после обеда. Вся главная квартира ожидала моего прибытия, и все сейчас собрались в Кириноску. Туда мы прибыли около шести часов, а в восемь приехал государь. Он остановился на несколько минут для переодевания в приготовленной для него квартире, при въезде в селение. Эту квартиру занимало семейство генерала Удома, который очень был рад очистить для него комнату. Государь был ими встречен при выходе из коляски, подарил, после смотра, жене генерала прекрасный бриллиантовый фермуар, который я сам отнес к ней, за что она осталась мне очень признательною. Дочь генерала Удома, девушка замечательной красоты, сделана была фрейлиною.

Как теперь помню ту минуту, когда государь вышел к собравшимся в приемной зале помещичьего дома генералам и штабным офицерам. Нас было тут человек шестьдесят. Он так поклонился всем, что каждому показалось, что этот приветливый поклон особенно относится к нему. С главнокомандующим и Киселевым был он особенно любезен.

На другой день был смотр 7-го корпуса\*, а вечером мы были уже в

---

\* После смотра был обед в лагере генерала Рудзевича. Когда сели за стол, накрытый полукругом, середину коего занимал государь, то он, получив перед самым выходом к столу с фельдгером письмо от Шатобриана, бывшего тогда французским министром иностранных дел, сказал, обращаясь к сидевшим около него генералам: «Messieurs, je vous félicite: Riego

Тульчине, где представляли ему штаб и разные команды. По осмотре на следующий день 6-го корпуса генерала Сабанеева назначены были маневры. Они продолжались два дня. Вся вторая армия участвовала в них, и зрелище действительно было великолепное: до 70 т[ыс]. под ружьем с кавалерией и артиллерией маневрировали на пространстве 4 или 5 квадратных верст. Маневры кончились на второй день, часу в первом пополудни. Все войска пришли к назначенному для обеда месту и образовали каре в три фаса. Четвертый фас этого каре занимал нарочно устроенный полукруглый павильон, где накрыт был стол человек на 300. По концам павильона поместились музыканты всех полков армии, а подле них устроены были в три яруса скамьи для почетных зрителей и дам. Артиллерия заняла место на высотах позади пехоты, а кавалерия — часть одного из фасов. В середине каре было устроено место для молебна. К прибытию государя все уже было в порядке. Отслужив молебен, во время которого, при многолетии, артиллерия и пехота сделали оглушительный залп, пошли к обеду в павильон. Тогда войскам приказано было стоять вольно, и вся эта стотысячная масса рассыпалась в разных направлениях и перемешалась так, что для глаз представила какое-то странное, необыкновенное зрелище. Позади фронта приготовлены были для солдат и офицеров столы с яствами и напитками.

Государь был очень весел и доволен. Когда же главнокомандующий провозгласил тост за его здоровье, то, по данному несколько прежде сигналу, войска в одну минуту пришли в прежний свой порядок: из всей этой нестройной массы образовалось опять то же самое правильное каре. При этом тосте загрела артиллерия, пехота начала стрельбу, заиграла вся музыка, и все войско крикнуло громогласное «ура!» Государь был тронут и прослезился. Тут те, которые были около него (в том числе и я), могли видеть и убедиться, что сердца государей могут так же чувствовать, как и сердца простых людей. Почему несчастная политика, привычка властвовать, а всего более гнусная лесть и раболепие так сильно искажают природу земных владык, что заставляют их стыдиться, когда они невольно последуют влечению сердца? Вслед за маневрами посыпались милости и награды. С горестным чувством должен, однако, сказать, что эти милости и награды касались только тех, которые всего менее нуждались в них. Крест, чин, аренда, удовлетворяя минутное тщеславие или временные нужды, немного прибавляли к счастью тех, которые получали их. Те же, коим всего более нужно было милосердие государя, были им отвергнуты. Генерал Киселев, в числе прочих представителей, просил о смягчении участи разжалованных офицеров. В нашей армии их

---

est fait prisonnier» [Господа, я вас поздравляю: Риго схвачен <sup>32</sup> (фр.). — *Cocm.*]. Все отвечали молчанием и потупили глаза, один только N.N. воскликнул: «Quelle heureuse nouvelle, Sir!» [Какая счастливая новость, государь! (фр.). — *Cocm.*]. Эта выходка так была неуместна и так не согласовалась с прежней его репутацией, что ответом этим он много потерял тогда в общем мнении. И в самом деле, зная, какая участь ожидала бедного Риго, жестоко было радоваться этому известию.

было человек до сорока, и в одной этой просьбе было ему отказано. Тут не нужно рассуждений!

Государь, осмотрев вторую армию и будучи ею очень доволен, пригласил Киселева ехать с собою в поселенные войска Украинского поселения<sup>33</sup>. Там ждал его граф Аракчеев. Киселев взял меня с собою, но как при генерале Дибиче не было адъютанта, то он попросил его прикомандировать меня на время смотра военных поселений к нему.

Мы ехали с государем и прибыли вместе в Вознесенск. Там застали Аракчеева. Трудно объяснить то влияние, которое он имел на покойного Александра. Смешно было даже смотреть, с каким подобострастием царедворцы обходились с Аракчевым. Я был свидетелем его стычки на словах с Киселевым, который его не любил и не унижался перед ним, и где он его славно отделал. Услышав от государя, как он остался доволен 2-ю армией, и, вероятно, будучи этим недоволен, Аракчеев в первое свидание с Киселевым, когда государь ушел в кабинет, обратился к нему, при оставшемся многолюдном собрании, с следующими словами: «Мне рассказывал государь, как вы угодили ему, Павел Дмитриевич. Он так доволен вами, что я желал поучиться у вашего превосходительства, как угождать его величеству. Позвольте мне приехать для этого к вам во 2-ю армию; даже не худо было бы, если б ваше превосходительство взяли меня к себе в адъютанты». Слова эти всех удивили, и взоры всех обратились на Киселева. Тот без замешательства отвечал: «Милости просим, граф; я очень буду рад, если вы найдете во 2-й армии что-нибудь такое, что можно применить к военным поселениям. Что же касается до того, чтобы взять вас в адъютанты, то, извините меня,—прибавил он с усмешкою,—после этого вы, конечно, захотите сделать и меня своим адъютантом, а я этого не желаю». Аракчеев закусил губу и отошел.

Вот одно из доказательств значения Аракчеева у императора Александра. С ним был в это время побочный сын его—Шумский, молодой прапорщик гвардейской артиллерии, шалун, пьяница и очень плохо образованный юноша. Во время случавшихся маневров его обыкновенно ставили с батареей на какое-нибудь видное место. Государь, зная, кто он, нередко подъезжал к нему и разговаривал с ним. Аракчеев, чтобы более и более обратить на него высочайшее внимание, обыкновенно брал его с собою, когда бывал с докладом у государя, извиняясь, что делает это потому, что не может по слабости зрения сам читать доклады. Однажды нас пригласил на вечер один из адъютантов графа Витта<sup>34</sup>. Шумский был там же и так напился, что едва мог стоять на ногах. Вдруг прислал за ним граф, чтобы идти с докладом к государю. Мы принуждены были облить ему несколько раз голову холодной водой, чтобы хотя несколько протрезвить, и в таком положении он отправился. Впоследствии он был сделан флигель-адъютантом. Государь сам прислал ему мундир и эполеты с нарочным фельдъегерем. В следующее царствование его исключили за пьянство и перевели, кажется, в гарнизон.

Две недели мы пробыли в военных поселениях, и я каждый раз имел

случай видеть государя, а нередко и обедал с ним\*. Он имел много привлекательного в обращении и, как я мог заметить, не сердился, когда обходились с ним свободно, даже когда, случалось, противоречили ему. По крайней мере генерал Киселев не унижался и вел себя с достоинством, не теряя этим его расположение. Раз как-то государь спросил его, почему он, будучи небогат, не попросит у него никогда аренды или денег? «Я знаю, что вы охотно даете, государь,— отвечал он,— но не уважаете тех, которые принимают от вас дары. Мне же уважение ваше дороже денег». Ответ прекрасный, но и придворный. Надобно сказать, впрочем, что Киселев чрезвычайно был ловок и знал хорошо характер покойного императора.

Возвратившись в Тульчин, я вскоре поехал в отпуск. Мне нужно было переговорить с родными и получить их согласие на союз мой с девушкой, которую я давно полюбил. Это была первая любовь моя и любовь глубокая. Она не имела состояния, хотя и была аристократической фамилии; я сам тоже был небогат, и потому надобно было устроить дела так, чтобы нужда не отравила нашего обоюдного счастья. Как я мог заметить, она была ко мне расположена, и я почти не сомневался ни в ее согласии, ни в согласии ее родителей. Я уговорился с Бурцевым и его женою из Москвы писать им и просить их передать будущей теще моей, княгине Мещерской, мое предложение.

В Москве я пробыл всего недели две; туда приехал также и Киселев с женой. Мы вместе отправились в Петербург. Жизнь петербургская была не по мне. Несмотря на приглашения Киселева посещать с ним кое-кого из знатных того времени и аристократические вечера их, я более сидел дома или делил время с некоторыми прежними товарищами своими по корпусу, служившими тогда в Петербурге. В это время приехал туда и Пестель. Впоследствии узнал я, что цель поездки его состояла в том, чтобы убедить петербургское общество действовать в смысле южного, в чем он успел<sup>35</sup>. Но мне он ничего об этом не говорил, и я все это узнал в Сибири\*\*.

Киселев, обласканный государем, отправился с женою за границу, в Париж, а я возвратился в Тульчин, получив через Бурцева согласие покойной жены и ее матери на мое предложение.

\* Вот еще один пример немилосердия императора Александра к разжалованным. В Елизаветграде, где был штаб одной из поселенных дивизий, генерал Храповицкий, его начальствующий, предложил государю зайти посмотреть заведенную им юнкерскую школу. В его присутствии стали экзаменовать одного из юнкеров, который так хорошо и свободно отвечал, что царь был в восхищении и приказал его тотчас произвести в офицеры и выдать 500 [руб] на обмундирование. Юнкер обратился к нему и почти со слезами сказал: «Государь, если вам угодно наградить меня—облегчите участь моего отца, служащего рядовым». Государь не отвечал и вышел недовольный. Юнкер был произведен, деньги ему выданы, но отцу не сделали ничего.

\*\* Бывая в Петербурге у одного из моих товарищей по корпусу, офицера гвардейского генер. штаба Корниловича<sup>36</sup> я имел случай встретить у него раза два К. Ф. Рылеева. Хотя я не знал тогда, что он был членом общества, но его разговор, его пылкая, живая натура мне очень понравились.

Приехавши в Тульчин, я вскоре соединил свою судьбу с тою, которая дала вкусить мне истинное на земле счастье. Союз наш был кратковременный, но одиннадцать месяцев такого счастья достаточно, чтобы усладить прежними воспоминаниями горечь тридцатилетней ссылки и неразлучные с ней нравственные и физические лишения.

Перед женитьбою моею я открыл будущей жене своей, что принадлежу к тайному обществу и что хотя значение мое в нем неважное, но не менее того может и со мной последовать такое бедствие, которое ей трудно будет переносить. Она отвечала мне, что идет не за дворянина, адъютанта или будущего генерала, а за человека, избранного ее сердцем, и что в каком бы положении человек этот ни находился, в палатах или в хижине, в Петербурге при дворе или в Сибири, судьба ее будет совершенно одинакова. Этот ответ успокоил меня совершенно, мою совесть.

В это время старший брат мой, женатый, находился с своей ротой близ Тульчина. Мы часто виделись с ним, и в жизни моей мне ровно ничего не доставало. Небольшой круг близких родных, добрых, умных и образованных знакомых, уважение и расположение начальства, небольшие, но достаточные средства к семейной жизни, одним словом, все, казалось, улыбалось мне. Но туча была недалеко, и первый удар грома должен был разразиться надо мною. С возвращением Киселева я назначен был старшим адъютантом в главный штаб 2-й армии. На этой должности занятия мои были определеннее, и я мог с большими удобствами располагать своим досугом. Окончив часу во втором пополудни служебные занятия, остальную часть дня я мог посвящать семейной жизни и тем развлечениям, которые согласовались с моим характером и характером моей жены. Помню, что однажды я читал как-то жене моей только что тогда вышедшую поэму Рыльева «Войнаровский»<sup>37</sup> и при этом невольно задумался о своей будущности. «О чем ты думаешь?» — спросила она. — «Может быть, и меня ожидает ссылка», — сказал я. — «Ну, что ж, я также приду утешить тебя, разделить твою участь. Ведь это не может разлучить нас, так об чем же думать?» — прибавила она с улыбкой. Воображал ли я тогда, что чрез несколько месяцев она будет в земле, а я через полтора года в Сибири?

Кто-то сказал: счастливы не знают времени<sup>38</sup>, для них нет прошедшего, и им нечего говорить о себе. Так было и со мной.

В августе 1825 г. кончина жены моей после благополучных родов, от простуды, разрушила основание моего счастья. Не стану говорить ни о болезни, ни о том, что происходило со мной и что я переживал при ее потере. Этим я не могу и не хочу делиться ни с кем. Да и какое дело постороннему, кто станет читать эти строки, знать все, что происходило в сердце, в мыслях, в чувствах, одним словом, во внутреннем мире такого незначительного лица, как я, этой незаметной песчинки в мире созданий?<sup>39</sup>

Весь сентябрь я был болен: у меня отнялись ноги. В октябре же взял отпуск и отправился в Москву к родным и другому брату моему, жившему

во Владимире. По окончании отпуска, в декабре месяце, я выехал из Владимира. На дороге к Москве, в г. Богородске, остановясь на несколько минут у одного родственника своего, я узнал, совсем неожиданно, о кончине императора Александра.

В Москве, когда я приехал, все уже присягнули Константину Павловичу. Прожив там несколько дней, я поехал в Тульчин через Смоленск и Могилев на Днепре. В Дорогобуже я прочел в газетах отречение Константина и вступление на престол Николая<sup>40</sup>. Приехал в Могилев; меня потребовали к главнокомандующему первой армией графу Сакену, полагая, что я еду из Петербурга. Тут я узнал о восстании 14 декабря.

Это было в самое Рождество Христово. Сакен оставил меня обедать у себя. За столом все толковали только о 14-м. Старики генералы ужасались, бранили мятежников, превозносили нового государя. Молодежь молчала и значительно переглядывалась между собою. Я заметил в некоторых симпатию к побежденным. Впоследствии оказалось, что между ними было несколько членов нашего общества<sup>41</sup>.

По дороге к Житомиру, не помню, на какой-то станции, вечером, я встретил фельдгегеря, ехавшего в Петербург. С ним вошел человек огромного роста, закутанный в шубу; увидев меня, он остановился в углу почтовой комнаты. На столе стояла только одна свеча, и нельзя было хорошо рассмотреть его лицо, обвязанное шарфом. Мне показалось, однако, что он походил на капитана Майборода, которого я знал в нашей армии. Действительно, как я узнал потом, это был он. Вслед за фельдгегерем ехал генерал-адъютант Чернышев. Первый заготавливал ему лошадей и предъявлял дорожную. Я узнал об этом от смотрителя станции, по отъезде фельдгегеря. Не зная ничего о доносе Майбороды, я очень удивился встрече с Чернышевым и с человеком, похожим на Майборода. В Бердичеве я встретился с Пестелем, но не мог говорить с ним, потому что он находился в другой комнате, и фельдгегерь не отходил от него. Мне сказал об этом знавший его смотритель. Тут же я убедился, что в Тульчине арестуют тоже некоторых членов общества, и полагал, что это вследствие происшествия 14 декабря.

В Летичеве, ночью, я встретил двух братьев Крюковых<sup>42</sup>. Они уже выезжали со станции, когда я приехал, и потому я не мог ничего расспросить у них; с ними был тоже фельдгегерь.

Я спешил приехать скорее в Тульчин, чтобы узнать, что там делается. К вечеру 27 числа я туда прибыл и остановился у Вольфа, которого застал дома. Он рассказал все, что там без меня происходило: донос Майбороды\*, приезд Чернышева из Таганрога, арест Пестеля, Юшневского, Бяратинского и др.

---

\* Майборода служил капитаном в полку Пестеля и показывал всегда большую к нему преданность. Отчасти я был причиной поступления его в Вятский полк. Пестель просил Киселева назначить к нему хороших фронтовых офицеров из других полков, и я, зная несколько Майбороду, служившего тогда в 34-м егерском полку, рекомендовал его Пестелю,



На другой день, рано утром, я отправился к Киселеву. На дороге встретил князя Урусова, его адъютанта.

После первых приветствий он сообщил мне, что имя мое находится тоже в списке членов общества, представленном при доносе Майбороды, и предложил скрыть мои бумаги, если есть такие, которые могут мне повредить. При этом он упрекал меня, что, будучи так короток с ним, я не принял его в общество, даже просил принять его теперь. Усмехнувшись, я отвечал ему, что вместо упрека он должен благодарить меня.

Пришедши с Урусовым к Киселеву, я был позван им сейчас в кабинет. Вот мой с ним разговор. «Вы принадлежите к тайному обществу,—сказал он мне, как только мы остались одни,—отрицать этого вы не можете. Правительству все известно, и советую вам чистосердечно во всем признаться». Тон, которым он говорил мне, и «вы», на которое он как будто нарочно ударял, удивили меня. «Я бы желал знать, ваше превосходительство,—отвечал я,—как вы спрашиваете меня: как начальник штаба, официально, или просто, как Павел Дмитриевич, с которым я привык быть откровенным». — «Разумеется, как начальник штаба», — возразил он. — «В таком случае,—сказал я,—не угодно ли будет вашему превосходительству сделать вопросы на бумаге, я буду отвечать на них. На словах же мне и больно и неприятно будет говорить с вами, как с судьей, и смотреть на вас просто как на правительственное лицо». Он задумался и потом сказал: «Хорошо, вы получите вопросы». Я поклонился и хотел удалиться, но, когда подходил к двери, он вдруг сказал, переменяя тон: «Приходи же обедать к нам, либерал; мы с тобой давно не видались». Тон, с которым он произнес эти слова, меня тронул. «Я обедаю сегодня с родными и потому не могу воспользоваться вашим приглашением, а позвольте лучше придти к вам вечером», — отвечал я.

От Киселева я пошел к дежурному генералу. Тот принял меня ласково, даже дружески, и просил немедленно вступить в должность. Отобедав со своими и проведя с ними несколько часов, я отправился вечером к Киселеву. В гостиной я застал одну его супругу. Мы с нею были очень хороши, и она обрадовалась, увидевшись со мною. «M-g B.,—сказала она с чувством,—vous savez bien tout l'intérêt que je vous

---

который, действительно, нашел в нем отличного фронтовика. Впоследствии он принял его в общество и доверился ему. В 1825 г. он отправлен был Пестелем в Москву для приемки из комиссариата полковых вещей и каких-то сумм. Промотав там деньги и видя, что ему предстоит гибель, он решился на донос, отправив его императору Александру в Таганрог. По восшествии Николая, Майборода был переведен в гвардию тем же чином. Вскоре должен был, однако, выйти в армию, где ему тоже было плохо, так что, наконец, он вышел в отставку. Вступивши через некоторое время опять в службу на Кавказ, он там в припадке сумасшествия перерезал себе горло, вероятно, от угрызения совести. Другому доносчику, Шервуду-Верному, также не посчастливилось. Он должен был кинуть службу, надоед государию своими наглыми требованиями, десять лет содержался в крепости и, наконец, жил в Москве в крайней бедности. Мне случалось в 1858 г. встретиться с ним в одном магазине. По обращению с ним знавших его лиц, по его одежде, наружности нельзя было не заметить, что он находится в самом незавидном положении<sup>43</sup>.

porte; et bien, il faut que vous vous decidiez à prendre votre parti. J'étais présente à toutes les conversations de mon mari avec le g-l Tchérnicheff; et je puis vous certifier que tous ceux qui veulent être sauvés, n'ont qu'à se jeter aux pieds de l'Empereur et lui avouer franchement leur participation à la Société». — «М-me, — отвечал я, — vous me conseillez une chose qui repugne à ma conscience et que j'envisage comme une lacheté». — «Je m'attendais à cette reponse, — сказала она, — vous périrez, mais vous périrez en honnête homme, et croyez que mon estime pour vous n'en sera qu'augmenté» \*.

Вскоре пришел генерал и еще кое-кто из военных. Мы провели вечер, как будто ничего не было особенного. Он был со мною так же добр и любезен, как и прежде. Говорили более о посторонних вещах, и после ужина я ушел, довольный тем, что не ошибся в моем об нем мнении.

На другой день, придя на службу в главный штаб и садясь за свой стол, я открыл ящик, чтобы посмотреть бывшие там бумаги. Между ними, совсем неожиданно, я нашел паспорт за границу, которым я мог воспользоваться без всякого сомнения в успехе. Вот как он очутился тут. Месяца четыре назад, не помню, в июле или августе, дивизионный наш доктор Шлегель (бывший потом президентом Медицинской академии) пришел однажды ко мне и просил дать ему совет, как вытребовать паспорт для жившего у него француза, которого он во время кампании 1813 г. взял мальчиком лет одиннадцати под Лейпцигом и держал до этого времени без всякого вида. Теперь же этот молодой человек пожелал возвратиться на родину в г. Лион, и для этого ему нужен был паспорт. Я сказал ему, что пусть он объявит все это на бумаге, подпишет ее, засвидетельствует все подписью 12 лиц из служащих и потом представит при рапорте дежурному генералу, который вытребует от себя паспорт от одесского французского консула. Все это сделано было, консул прислал паспорт дежурному генералу, оставив пробелы для отметки месяца и числа и вписания примет. Он поступил ко мне в отделение для исполнения, а между тем француз раздумал отправиться на родину и остался опять у Шлегеля. Паспорт сохранился в столе и был совершенно забыт до того времени, как я нечаянно отыскал его, и тогда только об нем вспомнил. Признаюсь, долго я думал о том, чтобы, выставив свои приметы, воспользоваться им для избежания ареста. Тульчин находится в 250 верстах от границы. В одни сутки мне легко было уже быть вне всякого преследования. Отлучиться не только на день, но на два, на три я мог, не подавая никакого подозрения. Стоило только сказать дежурному генералу, что я еду повидаться с Аврамовым или Бурцевым, стоявшими с своими полками в

---

\* «Г-н Басаргин, — сказала она мне, — вы прекрасно знаете мое сочувствие вам; нужно, чтобы вы решились. Я присутствовала при разговорах моего мужа с генералом Чернышевым и могу вас уверить, что все, кто хотят быть спасены, должны только броситься к ногам императора и откровенно признаться ему в своей принадлежности к обществу». — «Сударыня, — отвечал я, — вы мне советуете сделать то, что противоречит моей совести и что я считаю низостью». — «Я ожидала этого ответа от вас, — сказала она, — вы погибнете, но погибнете честным человеком, и уважение мое к вам только увеличится от этого» [фр.]

окрестностях Тульчина. Из Петербурга обо мне еще не было никакого распоряжения.

Но мысль оставить родину в такое время, когда угрожает опасность, отделить свою судьбу от судьбы товарищей и навлечь подозрение, а может быть, и негодование правительства на моих начальников, от которых кроме ласки и благосклонности я ничего не видел,—все это вместе заставило меня отказаться от первого помысла, и, чтобы избавиться навсегда от искушения, я тут же изорвал и сжег паспорт.

Вскоре Киселев должен был ехать в Петербург с присягою от армии. Перед отъездом его я пришел с ним проститься. «Любезный друг,—сказал он мне,—не знаю, до какой степени ты замешан в этом деле; помочь я тебе ничем не могу; не знаю даже, как я сам буду принят в Петербурге. Все, в чем я могу уверить тебя, это в моем к тебе уважении, которое не изменится, что бы ни случилось с тобою». Мы обнялись, и с тех пор я уже более не видал его.

Утром 8 января 1826 г. я, по обыкновению, пришел в штаб и сел за свое дело. Дежурный генерал позвал меня и, показавши предписание военного министра, объявил мне, что вместе со многими другими велено меня арестованного привезти в Петербург. Это он говорил почти со слезами и потом спросил меня, увидимся ли мы? Я отвечал: «Бог знает». Подумавши, он сказал на это: «Ведь у вас нет ничего на бумаге? В таком случае: нет, нет и до конца нет, и мы еще свидимся. Завтра я приеду запечатать ваши бумаги, будьте готовы. Отправляться же можете, когда хотите; вы, вероятно, еще не отдохнули от дороги; можно повременить несколько дней».—«Чем скорее, тем лучше, ваше превосходительство,—отвечал я,—неизвестность хуже всего. Позвольте мне ехать послезавтра и, если можно, вместе с Вольфом». Он охотно согласился на это.

Грустно было для меня все это время, а особенно при воспоминании о прежней счастливой жизни моей. Я находил утешение в ласках и сочувствии родных жены моей, вместе с которыми тогда жил, и в дружеском внимании сослуживцев, которые не принадлежали к обществу и, следовательно, не опасались быть арестованными.

Наконец, настал день отъезда. Последний вечер я пробыл у матушки жены моей. Тут собрались кое-кто из близких друзей наших, приезжал проститься и дежурный генерал. Отужинали, грустно простились и обнялись в последний раз. Я сел с Вольфом в одну повозку, два жандарма—в другую, и мы отправились, напутствуемые их благословениями. Как теперь помню, меня растрогала очень меньшая сестра покойной жены, 11-летняя умненькая и очень острая девочка. Она плакала неутешно и, видя, что я укладываю в чемодан две английские книги, спросила меня: «Зачем это?»—«От скуки буду учиться в крепости по-английски, мой друг,—сказал я.—«Боюсь, братец, что вы забудете там и русский язык»,—возразила она, и при этом слезы градом полились из ее глаз.

Дорогой мы встречали нередко арестованных с фельдъегерями и жандармами. Видеться мы не могли ни с кем из них. Мы уговорились с

Вольфом при допросах молчать и не говорить ничего, чтобы не запутать товарищей. Это было неблагоразумно и бесполезно<sup>44</sup>.

Наконец, мы прибыли в Петербург. Нас привезли в главный штаб. Там принял нас старший адъютант, сколько помнится, Яковлев. Он что-то записал и приказал вести нас на дворцовую гауптвахту.

Когда мы вошли туда и жандарм из главного штаба, отправленный с нами, подал записку дежурному офицеру, тот послал за плац-майором, а сей последний распорядился отправлением наших людей и вещей в назначенное место; потом обыскал нас, отобрал деньги и рассадил порознь в какие-то небольшие темные комнаты со стеклянными дверями. Тут случилось маленькое происшествие, затруднившее коменданта и плац-майора и которое доказало преданность ко мне человека моего, мальчика лет 18-ти. Плац-майор, обыскав меня и посадив в темную комнату, приказал ему ехать с повозкой, куда скажет жандарм. Мой Василий отвечает ему, что он приехал с господином своим для услуг и что без моего приказа он не оставит меня. Плац-майор закричал было на него; но тот, не теряясь, очень спокойно отвечал то же и прибавил, что, исполняя свою обязанность, он не думает грубить этим его высокоблагородию. В это время вошел комендант Башуцкий (известный своею простотою)<sup>45</sup>. Плац-майор рассказал ему, в чем дело, и тот, подойдя к моему человеку, приказывает ему исполнить распоряжение плац-майора. Ответ и ему был тот же. «Как ты смеешь так говорить со мной! — вскричал Башуцкий. — Ты видишь, кто я?» — «Я ничего не сказал противного, ваше превосходительство, — возразил мой человек. — Вижу, что вы генерал, и то, что говорю вам, готов повторить всякому». — «Каковы господа, таковы и люди!» — заметил Башуцкий. Я был свидетелем этой сцены за стеклянными дверями. Видно было, что Башуцкий и плац-майор были в затруднении, как поступить. Наконец, поговоря между собою, решились обратиться ко мне, отворили дверь и сказали, чтобы я приказал моему человеку повиноваться их распоряжениям. «Делай, что прикажет генерал, — сказал я ему, — любезный Вася. Ты не можешь оставаться со мной». У него полились слезы из глаз, и он едва мог проговорить: «Слушаю-с». Тогда я обратился к Башуцкому и попросил его позволить мне из отобранного у меня бумажника дать несколько денег моему мальчику: я мог догадаться из разговора их между собою, что человек мой должен будет оставаться в Петербурге до окончания нашего дела. Комендант охотно согласился на это, подал мне бумажник мой, и я, вынув сто рублей, отдал их моему Василию, обнял его и вошел опять в свою темную комнату<sup>46</sup>.

В продолжение дня привезли еще несколько человек арестантов. Некоторых я прежде видал в Москве. То были полковник Граббе и Муравьев Ал. Ник.<sup>47</sup>; их посадили тоже в отдельные комнаты. Вечером меня повели во дворец, в покои государя, для допроса. В комнате, где посадили меня за ширмы, беспрестанно бегали люди с подносами и чашками. Минут через пять офицер фельдъегерского корпуса взял меня

за руку и повел в большую залу, увешанную картинами. Я узнал Эрмитажную галерею. У стены раскрыт был небольшой столик, за которым сидел генерал Левашев<sup>48</sup>, пред ним чернильница и несколько листов белой бумаги. Он предложил мне сесть против него, но вдруг вошел тот же фельдъегерь и доложил о прибытии князя Волконского (члена общества, генерал-майора). Тогда Левашев очень учтиво извинился, что должен отложить до завтрашнего дня допрос мой. Меня опять отвели в прежнюю комнату на гауптвахту.

Утром на другой день повели меня опять к допросу. Левашев сидел на прежнем месте, и я только что успел сесть против него, как вошел государь в сюртуке без эполет. Я встал и поклонился ему. «Говорите всю правду,—сказал он мне сурово,—если скроете что-нибудь, то пеняйте на себя». С сими словами он вышел в противоположную дверь. Левашев указал мне опять на мое место и начал допрос: «Когда вы вступили в общество и кем были приняты?»—спросил он, приготовляясь записывать мои ответы.—«Ваше превосходительство,—сказал я,—не считая себя членом тайного общества, решительно не знаю, что сказать вам».—«Стало быть, вы ничего не хотите говорить?»—возразил он.—«Подумайте, это только может повредить вам. Правительству и без вас все известно». Я молчал. «Вы, господа, не хотите довериться милосердию государя и заставляете его поступать с вами со всею строгостью наших законов. Пеняйте, как он сам вам сказал, на себя». После этого он написал какую-то записку, на минуту вышел, потом, отдавая ее фельдъегерю, приказал мне идти за ним. Эта записка, вероятно, была к коменданту крепости, подписанная государем.

Многие, может быть, обвинят нас в упорстве и подумают, что этим мы отняли у самих себя доступ к милосердию государя. Судя по характеру покойного, я убежден, что не только откровенное признание истины с соблюдением собственного достоинства и безукоризненного поведения в отношении товарищей, но даже самое чистосердечное раскаяние не смягчило бы его сердца и политики. Намерения его в нашем деле были еще им обдуманы и определены заранее. Восстание 14 декабря, при его политике и самодержавной власти, заградило в сердце его путь к милосердию и состраданию. Последствия доказали это, и некоторые из наших товарищей, прибегнувшие к откровенности и раскаянию, испытали это на себе, подвергшись одной участи с нами. Что же касается нескольких лиц, которых он простил, как-то: молодого Витгенштейна, Суворова, Лопухина, Шипова и Орлова,—то тут действовала политика<sup>49</sup>, и это еще более доказывает, как хладнокровно он мог рассуждать и поступать при разборе нашего дела и в применении правосудия к лицам, участвовавшим в тайном обществе. Лучшее же доказательство его непреклонности, находится в собственных его словах при кончине своей наследнику престола<sup>50</sup>.

Обращаясь к рассказу. Зайдя на гауптвахту и взяв кое-какие вещи свои, я отправился с фельдъегерем в крепость. Там он представил меня

коменданту и вручил ему записку Левашева. Генерал Сукин<sup>51</sup> велел позвать плац-майора и сдал меня ему; мы отправились с ним и с плац-адъютантом в Кронверкскую куртину и какими-то темными коридорами дошли до назначенного мне каземата—маленькой в четыре шага длины и ширины комнатки, у которой окошко было вымазано мелом и где находились лазаретная кровать, столик и небольшая железная печь. Тут плац-майор совершенно раздел меня, осмотрел все, что было на мне, отобрал даже обручальное кольцо и взял это с собой, оставив мне две рубашки, сюртук, брюки и лазаретный халат. По выходе его дверь снаружи заперли. В коридоре ходил часовой и часто поглядывал ко мне в прорубленное у двери окошечко, завешанное с его стороны холстом.

Тот, кто не испытал в России крепостного ареста, не может вообразить того мрачного, безнадежного чувства, того нравственного упадка духом, скажу более, даже отчаяния, которое не постепенно, а вдруг овладевает человеком, переступившим за порог каземата. Все его отношения с миром прерваны, все связи разорваны. Он остается один перед самодержавной, неограниченной властью, на него негодующей, которая может делать с ним, что хочет, сначала подвергать его всем лишениям, а потом даже забыть о нем, и ниоткуда никакой помощи, ниоткуда даже звука в его пользу. Впереди ожидает его постепенное нравственное и физическое изнурение; он расстается со всякой надеждой на будущее, ему представляется ежеминутно, что он погребен заживо, со всеми ужасами этого положения. После тридцати лет ссылки, исполненных множеством испытаний, я до сих пор без содрогания не могу вспомнить о первом дне, который я провел в каземате Петропавловской крепости. Удивляюсь, как в наше время, когда филантропические идеи не считаются мечтою, утопиями, когда сами правители и земные владыки более или менее стараются согласовать с ними свои действия, когда пытка везде уничтожена и признается всеми бесполезною жестокостью, существует еще крепостное одиночное заключение. Эта нравственная пытка, более жестокая, более разрушительная для человека, нежели пытка телесная.

То, что я испытал и перечувствовал в первый день заключения моего в каземате, описать невозможно. С одной стороны, воспоминания прошедшего, еще столь свежие, с другой—весь ужас настоящего и безнадежное будущее. Ночью я несколько раз вскакивал с своего жесткого ложа и не понимал, где нахожусь. Сна не было, а какая-то тягостная дремота, еще более волновавшая мои расстроенные мысли. Я с нетерпением ждал дневного света и воображал уже, что помешан в рассудке. Утро застало меня совершенно изнуренным\*.

Часов в девять поутру отперли каземат и принесли булку, два куса сахара, чашку и чайник с очень жидким чаем. Помню, как я обрадовался

---

\* Я уверен, что нервная болезнь, которую я до сих пор страдаю, возымела свое начало в крепости и потом развилась с годами.

этому. Первая мысль моя была: стало быть, меня не забыли, помнят, что я жив, заботятся о моем существовании. Я стал пить чай, а сторож в это время убирал кое-что в каземате; на вопрос мой о чем-то он не отвечал. Я спросил сквозь дверь у часового, который час,—то же молчание. Отвечали сами часы: в эту минуту на Петропавловской колокольне пробило девять.

Сознаюсь откровенно, что в продолжение первых двух недель моего заключения я так ослаб нравственно, так упал духом, что до сих пор благодарю Бога, что меня в это время не звали в Комитет<sup>52</sup>. Немудрено, что, будучи в этом состоянии, я легко бы сделал такие показания, которые бы тревожили и теперь мою совесть.

Эти две недели мне все представлялось, что я помешался или по крайней мере должен скоро сойти с ума. Каждое свое движение, каждое действие я считал несообразным с здравым смыслом. Если я обращался с вопросом к сторожу или требовал от него услуги, мне сейчас приходило на мысль, что это неестественно, что в моем положении человек с ясным рассудком не стал бы заниматься такими пустяками. Если, забывшись, я напевал какой-нибудь знакомый мотив, то мне сейчас воображалось, что это признак помешательства. Наконец, даже самая эта мысль о помешательстве, от которой я никак не мог отделаться, стала тревожить меня. Мне казалось, что именно на этой-то мысли я и могу сойти с ума и что, не имея силы отогнать ее от себя, я уже начинаю терять рассудок.

Благодарю тебя, Создатель мой, что Ты дал мне возможность и силу преодолеть это гибельное настроение моих мыслей. Проведя таким образом более двух недель, я однажды с решимостью подумал о том, как бы выйти из такого положения. Я понял, что единственное средство не думать об этом состояло в том, чтобы найти себе какое-нибудь занятие. Но какое занятие мог я найти в этом тесном, душном и темном жилище? Книг мне не давали, ни бумаги, ни пера, ни чернил не позволяли иметь. В первое время я не мог ни с кем разговаривать. Часовой не отвечал даже на вопросы мои и ходил по коридору, как автомат, поднимая каждую четверть часа навешанный кусок холстины и наблюдая, что я делаю. Сторож понемногу начинал ко мне привыкать; но видно, что боялся вступить со мной в разговор, опасаясь без надобности оставаться у меня. Одним словом, я всячески ломал себе голову и, наконец, придумал следующее.

В голове моей еще было свежо все то, чему я учился. Память у меня тогда была хорошая, и вот я вздумал задавать себе вопросы по всем отраслям познаний, в которых я имел некоторые сведения, обсуживать и решать эти вопросы, как задачи или как предложения, которые я должен был приводить в исполнение. Вопросы эти были нередко чисто нравственные или религиозные; иногда задачи математические, иногда планы военных действий, административных мер, политических учреждений, промышленных предприятий. Я сначала определял данные, которые служили основанием моих соображений, и потом рассуждал и решал, как

бы я распорядился и действовал этими данными для достижения такой-то цели. Я достал маленький обломок стекла, и он служил мне для того, чтобы отмечать на окошке, стене или столе то, что мне нужно было припомнить. Таким образом я проводил по несколько часов и мог продолжать свои занятия даже в темноте. Вставши поутру и помолившись мысленно Богу (потому что мне неприятно было наблюдение часового), я убирал сам постель и каземат, звал сторожа, пил чай, который он мне приносил обыкновенно в одно и то же каждый день время, потом приступал к своим занятиям до самого обеда. Отобедавши, ложился уснуть и, вставши, опять принимался за свое дело, начиная с того именно вывода, заключения или пункта, на котором остановился. В каземате я легко понял, как слепые или глухонемые научаются читать, говорить, слышать. Непостижимым покажется для тех, которые не испытали этого, как изощряются физические органы и умственные способности человека при тех случаях, когда отняты способы легкого и удобного отправления тех и других. Впоследствии многие из нас, проведя некоторое время в заключении, изобрели способ знаками сообщаться между собою чрез каменную, огромной толщины, стену, не обращая на себя внимание соглядатаев, с помощью такой азбуки, которую не легко даже придумать и объяснить на словах, а тем более передать ее другому (посредством легкого стука в стену); а потому употреблять ее для разговора.

С этих пор мысли мои начали приходить в обыкновенный порядок, даже стали некоторым образом яснее, и страх сойти с ума, ослабевая мало-помалу, совсем прекратился. Духом я сделался даже покойнее, а убеждение, что эта временная жизнь ничего не значит в сравнении с тем, что ожидает нас в будущем мире, и что не стоит даже думать о ней, окончательно укрепило мои нравственные силы.

В конце января месяца меня позвали в Комитет к допросу. Это было ночью, часу в одиннадцатом. Я уже спал, когда вошел плац-майор и велел мне одеваться. Мне завязали глаза, на голову надели колпак, чтобы я ничего не мог видеть, взяли за руку и таким образом вывели меня из куртины. Мы доехали в санях до комендантского дома; плац-майор ввел меня по лестнице в небольшую комнатку и посадил за ширмы. Я слышал, как около меня ходили, говорили шепотом, и, наконец, кто-то, подойдя ко мне, взял меня опять за руку и велел следовать. «Снимите повязку»,— сказал он мне, останавливаясь. Я снял с глаз платок и увидел перед собой священника. Мне вдруг было пришло на мысль, что нас тайно расстреливают и что священник должен приготовить меня к смерти, но в ту же минуту я понял всю неоснованность моей мысли. Пришедший со мной господин был какой-то аудитор<sup>53</sup>. Он сейчас удалился. Священник, протоиерей (Казанского собора) Мысловский, с которым многие из наших товарищей впоследствии очень сблизились и которого до сих пор они считают человеком, принимавшим в нас искреннее сердечное участие, чего, однако ж, в отношении меня я нисколько не заметил и в чем, признаюсь откровенно, я очень сомневаюсь<sup>54</sup>,—пригласил меня сесть на



диван и начал беседу, уверяя, что он совсем не с тем видится со мною, чтоб стараться возбудить во мне раскаяние и уговаривать к сознанию; что хотя это именно поручено ему Комитетом и составляет его обязанность, но что он хорошо понимает, что такое поручение должно необходимо возбудить наше к нему недоверие; что, не менее того, для него было бы чрезвычайно утешительно истребить в нас эту недоверчивость, чего, впрочем, он и надеется достигнуть своим к нам сердечным расположением: тогда бы мы вполне убедились, что он ничего более, как ревностный служитель алтаря, посланный Богом для утешения нас в нашем грустном заключении. К этому он присовокупил, что он может быть тоже и полезен нам, передавая просьбы наши Комитету и стараясь в нашу пользу у лиц, от которых зависит удовлетворение их; что это именно есть единственная цель, которая заставила его принять на себя поручение государя и Комитета. Немудрено, что я ошибаюсь, но я тогда не поверил и теперь не верю этим словам. Я бы мог сказать и некоторые причины моей недоверчивости к нему; но, слышав впоследствии очень много в его пользу от некоторых из моих товарищей, я боюсь быть несправедливым и оставляю вопрос, чисто ли, прямо ли действовал он в отношении нас или лицемерно, нерешенным. Его уже нет на свете, и, конечно, он или достойно награжден за свое сострадание, за свою любовь к ближнему или отдает строгий, но справедливый отчет в своей двуличности.

Я тогда отвечал ему довольно холодно, может быть, даже с заметною недоверчивостью. Беседа наша продолжалась недолго, и впоследствии он был у меня в каземате только один раз для исповеди великим постом. Более этого я не видал его. Меня отвели от него тем же путем и посадили опять за ширмы. Вскоре, однако ж, повели куда-то и велели снять повязку. Вдруг я увидел себя в ярко освещенной комнате, перед столом, покрытым красным сукном, около которого сидели все члены нашего Комитета в мундирах и регалиях. Президентское место занимал генерал Татищев<sup>55</sup>; по левую руку его находились князь А. Н. Голицын<sup>56</sup>, генералы Дибич, Чернышев, Бенкендорф<sup>57</sup>; по правую — великий князь Михаил Павлович<sup>58</sup>, с.-петербургский генерал-губернатор Кутузов<sup>59</sup>, генералы: Левашев, Потапов<sup>60</sup>, флигель-адъютант Адлерберг<sup>61</sup>. В стороне сидел Блудов (теперешний граф, бывший делопроизводитель Следственной комиссии)<sup>62</sup>. Вся эта обстановка должна была произвести внезапный и необходимый эффект на приведенного с завязанными глазами арестанта. И действительно, он был произведен на меня! Я несколько смутился, очутясь вдруг пред трибуналом, состоящим из таких высоких по своему значению лиц, и стоял безмолвно, ожидая вопроса. Генерал Чернышев, глядя на меня сурово, взял какую-то бумагу и сказал, обращаясь ко мне: «Такой-то, такой-то и такой-то (все это он лгал) показывают, что вы принадлежите к тайному обществу, имевшему целью изменить в России существующий порядок государственного управления; говорите все, что вы знаете, и говорите правду!». — «Я не считаю себя членом южного общества, — отвечал я, не оправившись еще совершенно от первого

впечатления.— Правда, что я был в 1820 г. членом Союза Благоденствия, но с 1821 г. не принимал никакого участия, и потому мне известно очень немного, да и то отчасти вышло у меня из памяти. Если вашему превосходительству угодно будет спросить меня о том, что я знаю, то я буду отвечать со всею откровенностью в отношении себя и умолчу только о том, что касается других, считая это бесчестным».— «Вы, сударь, не имеете понятия о чести,— возразил он, крутя усы и с тем же суровым видом,— тот, кто изменяет присяге и восстает противу законной власти, не может говорить о чести». Отвечать на это было нечего. Я молчал. «Знаете ли вы что-нибудь о «Русской Правде»<sup>63</sup>,— продолжал он,— этом произведении превратного ума?— «Не знаю ничего»,— сказал я твердо.— «Вас закуют в кандалы и заставят говорить, если не хотите признаваться добровольно»,— вскричал он с горячностью. В это время великий князь и прочие члены молчали; некоторые сидели, понутив голову, другие перешептывались между собою. Адлерберг что-то отмечал карандашом. Кутузов дремал, но, услышав слово «кандалы», протер глаза и повторил: «Да, да, в кандалы». Это так меня возмутило, что, позабыв всю мою от них зависимость, я обратился к Кутузову и сказал: «Ваше превосходительство были так утомлены, что, вероятно, не могли слышать, о чем спрашивал меня генерал Чернышев, а, между тем, разделяете его гнев на меня: спрашиваю вас самих, справедливо ли это?» Великий князь усмехнулся, некоторые из членов стали шептаться живее, генерал Дибич обратился к князю Чернышеву и с жаром сказал: «Нельзя же, Александр Иванович, всех заковывать в кандалы; может быть, г. Басаргин говорит правду». Я с признательностью посмотрел на него. Чернышев несколько успокоился и сказал мне с видом менее суровым: «Ступайте, вам пришлют вопросы, отвечайте на них как можно откровеннее, вы видите, как снисходительно поступают с вами». Блудов вывел меня в другую комнату, где сидело и писало много чиновников. Один из них принял меня от него и сдал плац-майору, и тот свез, тем же порядком, обратно в каземат. Хотя вся эта история первого моего допроса продолжалась не более полутора часа, но она меня чрезвычайно утомила, и я даже был рад, входя в свое грустное жилище.

На другой день плац-адъютант принес мне запечатанный конверт и чернильницу с пером. Это были вопросы Комитета<sup>64</sup>. Они не были никем подписаны, и мне сказали, чтобы я писал ответы на другом белом полулисте той же бумаги. Плац-адъютант не отходил от меня во все время, покуда я писал, и поминутно меня торопил. Когда же я закончил, то он взял от меня ответы и вопросы. Отвечая без всякого приготовления, я только думал о том, чтобы не повредить кому лишним словом. Меня потом оставили на некоторое время в покое.

Жизнь моя в каземате шла однообразно. Сторож привык ко мне и даже меня полюбил. Часовые перестали бояться и не только отвечали на вопросы, но даже сами начали разговор. Каждый день посещали меня при обходе плац-майор и плац-адъютанты. Я мог по вечерам разговаривать с

соседом моим майором Раевским<sup>65</sup> и, таким образом, мало-помалу освоился с этою однообразною и грустною жизнью.

Каземат мой был чрезвычайно сыр, будучи построен наскоро перед тем, как меня туда посадили. Со стен текло, темнота не позволяла мне делать никакого движения. Будучи от природы слабого здоровья, перенеся уже многие серьезные болезни, к тому же испытал сильное душевное потрясение, немудрено, что я не мог выдержать все это. Я занемог грудною болью и кровохарканьем. Крепостной лекарь дал мне какие-то порошки и предписал давать к обеду полбутылки пива; наконец, объявил плац-майору, что в этом каземате я не поправлюсь и что меня надобно перевести туда, где не так сыро и где бы можно было делать движение. Вследствие этого меня перевели на другой конец куртины и поместили в каземат более просторный, но зато столь темный, что, пришедши туда, я долго не мог различить предметы, в нем находящиеся, пока глаза мои не освоились с мраком. Тут соседями моими были известный Бестужев-Рюмин, осужденный потом на смерть, и гвардейский офицер Андреев. Мы не замедлили познакомиться и, как только запирали наши казематы и кончался вечерний обход офицеров, то начинали беседовать между собою и разговаривали часто за полночь. Часовые и сторожа не мешали говорить и более или менее познакомились с нами. Сторожа же (гвардейские солдаты) так привыкли к нам и так привязались, что даже готовы были подвергнуться взысканию, лишь бы только чем-нибудь угодить нам. Мне тогда приходило на мысль и теперь даже сомнительно, не подслушивали ли наших разговоров лица, подсылаемые нарочно правительством. Но в таком случае надобно предположить, что наши сторожа и часовые были с ними в заговоре, а это трудно подумать, потому что я имел не один раз несомненные доказательства преданности ко мне моего сторожа и благорасположения к нам всех нижних часовых, содержавших караулы в этой куртине.

Бестужев-Рюмин был очень молодой человек с самым пылким воображением; сердце у него было превосходное, но голова не совсем в порядке. Иногда он был необыкновенно весел, а в другое время ужасно мрачен. Преданный душою и телом Сергею Муравьеву-Апостолу, он был одним из самых деятельных и самых неосторожных членов общества. Он содержался в кандалах, его беспрестанно водили в Комитет и присылали каждый день новые вопросы. Я полагаю, что по своей пылкости и неосторожности он без умысла мог запутать своими ответами много таких лиц, которые без этого легко бы скрыли от Следственной комиссии свое участие. Расскажу один случай здесь, который покажет, какие средства употреблял Комитет, чтобы открывать виновных в предполагаемых им умыслах против правительства. Раз как-то Бестужев получает бумагу, в которой его спрашивают, действительно ли он говорил в Киеве полковнику Нарышкину о том, чтобы ввести в России республиканское правление, что будто бы сам Нарышкин это показывает и что Комитету нужно в этом его откровенное признание<sup>66</sup>. Было уже под вечер, когда получил он

эту бумагу, и потому он не мог сейчас ответить. Когда же нас заперли, то он сообщил ее содержание и просил нашего совета—как поступить? Он горько жаловался на Нарышкина, что тот путает себя этим показанием и вредит им только себе, потому что в отношении его, Бестужева, он нисколько не прибавит его виновности, ибо Комитету давно уже известно, что он постоянно имел эту идею и сообщал ее всякому, кто только хотел его слушать. «Я решительно не помню,—прибавил он,—когда был у меня об этом разговор с Нарышкиным, но он мог быть, если он это сам показывает».—«Но точно ли он показывает это,—возразил я,—не хочет ли Комитет воспользоваться подтвердительным ответом вашим, чтобы заставить потом Нарышкина согласиться с действительностью разговора с вами?»—«Не может быть,—отвечал он,—в таком случае Комитет ни от кого бы не мог знать, а я имел с ним свидание в Киеве, при котором нас было, как мне помнится, только двое. Во всяком случае я напишу там, что этого хорошо не помню, но что если точно он сам это показывает, то я согласен, ибо с моей стороны подобный разговор мог быть весьма легко. Видите ли,—прибавил он,—отречься мне нельзя, будет тогда очная ставка с Нарышкиным, а мне уже эти очные ставки так тяжелы, что Бог знает, в чем готов согласиться, лишь бы избегнуть их. Они совершенно изнуряют меня нравственно. Боже мой,—продолжал он,—когда это кончится! Вы не поверите, как я страдаю, когда бываю в Комитете, где так безжалостно обращаются со мною, и в особенности при очных ставках. Слушаю грубости, вижу презрительные улыбки членов Комитета и читаю в глазах товарищей, которых, быть может, я вовлек во многое, упреки в малодушии. Вам известно положение, в которое я поставлен этим следствием, и то, как я внутренне страдаю».

Утром на другой день он послал свой ответ, а после обеда его повели в Комитет. Возвратившись, он бросился на постель свою и долго не мог произнести ни одного слова. «Вы не знаете, что я испытал сегодня,—сказал он нам наконец.—Вы сомневались справедливо. Нарышкин ничего не показывал, и я не могу постичь, от кого Комитет узнал об моем с ним свидании. Когда меня привели, то Чернышев спросил, готов ли я на очной ставке с Нарышкиным подтвердить свое показание».—«Я не понимаю,—сказал я,—какая тут может быть очная ставка, когда я согласен на то, что показывает Нарышкин».—«Но дело в том,—возразил Чернышев, что он не сознается в этом разговоре, и вы должны его убедить».—«Но ведь я в том только случае согласился, если Нарышкин сам это показал. Ведь я сказал тут же, что не помню этого разговора».—«Стало быть, вы солгали,—сказал Чернышев,—или, лучше сказать, оклеветали». Меня так поразили его слова, этот ложный смысл, который он придал моему ответу, что я с отчаянием перебил его: «Думайте обо мне, что хотите, называйте меня чем угодно, но я не принимаю очной ставки с Нарышкиным и впредь соглашаюсь с тем, что он показывает; если нужно подписать даже, что я согласен, я и на это готов». После этого меня вывели, и я едва мог дотащиться до каземата».

В начале нашего заключения посещали нас, по приказанию государя, генерал-адъютанты: Мартынов, Сазонов и Стрекалов<sup>67</sup>. Они заходили на минуту в каждый каземат и спрашивали, не имеет ли кто какой просьбы и довольны ли мы содержанием. Просьб, кроме разрешения курить табак, получать письма от родных, разумеется, никаких не было. Жалоб тоже не могло быть! Должностные лица в крепости обращались с нами довольно вежливо, а в отношении пищи, вероятно, никто и не думал об ней. Правда, кормили нас плохо. Телячий жиденький суп и кусочек жареного, тоже телятины,—вот в чем состоял обед наш, и всегда одно и то же; притом мясо, большею частию, несвежее. Мне так опротивела эта пища, что, кроме чая с булкой, которая была превосходна, и сушеного черного хлеба с водою, тоже очень вкусного, я почти ничего не ел. Впрочем, в этом отношении нельзя обвинять правительство, потому что оно очень достаточно отпускало на содержание арестантов: генералу полагалось в сутки 5 р. асс., штаб-офицеру — 3, а обер-офицеру — 1 р. 50 [к.].

Но, вероятно, как это бывает всегда у нас в России, вследствие злоупотреблений со стороны тех, на кого возложено было наше продовольствие, более половины отпускаемой суммы шло в собственные их карманы. По привычке курить табак я почувствовал необходимую потребность и потому сказал о том генералу Мартынову. Мне позволили иметь трубку и стали давать по четверти фунта в неделю сносного курительного табаку.

Наступил светлый праздник Воскресения Христова; грустно встретил я его в моем заключении. Какая разница между тем же праздником год тому назад! Хотя я уже начал привыкать к своему положению и укрепился духом, но все-таки не мог равнодушно сравнить прошлое с настоящим. В четверг на Святой неделе меня потребовали в Комитет для очной ставки с Пестелем<sup>68</sup>. Мне прочли его показание; оно состояло в том, что в заседании 1821 г. им говорено будто бы было об учреждении в России республиканского правления и что бывшие тут члены Союза Благочестия, не принявшие решения московских членов, согласились с его мнениями. Я отвечал, что у нас никакого не было заседания\*, но действительно мы были собраны Бурцевым, который объявил нам решение московских членов; что, по удалении его, мы согласились остаться в обществе и потом говорили о разных предметах; что, сколько мне помнится, я в это время ходил по двору с молодым Витгенштейном. Что же говорил Пестель, не могу решительно припомнить теперь и, следовательно, не могу тоже ни отвергать, ни подтверждать его показания. «Стало быть, вы согласны,—сказал Чернышев,—в таком случае очная ставка не нужна; подпишите только эту бумагу». Я подписал<sup>69</sup>. Грустно при этом поглядел на меня генерал Бенкендорф, тут находившийся. Впоследствии я понял, почему он так посмотрел на меня. Наше собрание у Пестеля в 1821 г. Комитету угодно было превратить в

---

\* Повторяю здесь после 30 лет, что в этом случае я говорил сухую правду.

форменное заседание и простой разговор, которого, по совести скажу, я даже теперь не припомню, был он или нет,— в положительное предположение со стороны Пестеля и в согласие на него с нашей стороны. Вот то ужасное преступление, то намерение против царя и царской фамилии, за которое я и подобные мне осуждены на 20 лет в работу и потом на вечную ссылку в Сибирь. Скажу в этом случае откровенно, как перед судом Божиим. Мы много говорили между собою всякого вздора и нередко, в дружеской беседе за бокалом шампанского, особенно когда доходил до нас слух о каком-либо самовластном, жестоком поступке высших властей, выражались неумеренно о государе, но решительно ни у меня, ни у кого из тех, с которыми я наиболее был дружен, не было и в помыслах какого-либо покушения на его особу. Скажу более, каждый из нас почел бы обязанностью своею защитить его, не дорожа собственной жизнью. Я и теперь убежден, что сам Пестель и те, которых Комитет обрисовал в донесении своем такими резкими, такими мрачными чертами, виновнее более в словах, нежели в намерении, и что никто из них не решился бы покуситься на особу царя. В этом случае разительный для меня пример представляет Бестужев-Рюмин. Он сам мне сознавался, что никто более его не говорил против царской фамилии, что пылкость его характера не допускала середины и что в обыкновенных даже сношениях своих, при известии о каком-либо дурном поступке, особенно когда дело шло об угнетении сильным слабого, он возмущался до неистовства. А между тем, сколько я мог его понять, это был самый добрый, самый мягкий, скажу более, самый простодушный юноша, который, конечно, не мог бы равнодушно смотреть, как отнимают жизнь у последнего животного\*.

---

\* Здесь не могу не заметить, что Комитет поступал, по желанию ли самого государя или по собственному неразумному к нему усердию, вопреки здравому смыслу и понятию о справедливости. Вместо того, чтобы отличать действия и поступки от пустых слов, он именно на последних-то и основывал свои заключения о целях общества и о виновности его членов. Им не принимались в соображение ни лета, ни характер обвинения, ни обстоятельства, при которых произносимы были им какие-нибудь слова, ни последующее его поведение. Достаточно было одного дерзкого выражения, чтобы обречь на гибель человека, который во многих случаях являл положительные доказательства самых умеренных и благородных поступков и правил. Конечно, поступив по совести и справедливости, нельзя бы было обвинить такого числа лиц и так исказить цель общества, а именно этого-то и хотелось и государю и Комитету. Надобно было во что бы то ни стало представить намерения и действия тайного общества в самом неблагоприятном виде, а потому и старались давать такое значение пустым словам, сказанным иногда на ветер. Но последствия доказали, что, взявши на свою совесть гибель многих лиц, Комитет, или, лучше сказать, горсть бездушных царедворцев, его составлявших, не достигла своей цели. Общественное мнение отвергло его воззрения и восстановило истину. Оно сопровождало своим сочувствием обвиняемых и не наложило на них клейма бесчестия. Наконец, после 30 лет и само правительство отдало им справедливость, возвратив им прежние их места в обществе, которые никто не подумал у них оспаривать. Лучшее же доказательство того, как неосновательно было следствие, состоит в том, что вслед по обнародовании отчета Следственной комиссии правительство запретило собственное свое сочинение и даже старалось уничтожить ходившие в публике экземпляры<sup>70</sup>. Теперь трудно даже добыть печатный экземпляр отчета следственной комиссии, он сохраняется, как редкость, в некоторых частных библиотеках<sup>71</sup>.

Этим окончились все мои допросы. Наступала весна. Тело покойного государя привезли в Петербург и схоронили в Петропавловской церкви. Я не мог видеть ни его похорон, ни похорон покойной императрицы<sup>72</sup>. До меня доходил только гром пушечных выстрелов. Окошко, или, лучше сказать, амбразура, моего каземата выходило на какой-то двор, где сохранялись дрова. При сотрясении от пушечной пальбы у меня разбилось несколько старых тусклых стекол, и когда вставили новые, то у меня сделалось посветлее прежнего.

Расскажу теперь об одном прекрасном поступке нашего русского крестьянина или мещанина, которого я даже не знаю и по имени. Раз как-то, после Святой, вошел ко мне после обеда сторож и спросил меня с участием, отчего я так скучен. При этом он всегда мне говорил: «Знаю, что темно сидеть в каземате, да куда же деваться?» В этот день, признаюсь, я задумался об очень неважном предмете. Будучи большим охотником до фруктов и живя в южном климате, я легко удовлетворял мою страсть к ним, так что во всякое время года я, каждый день после обеда, ел обыкновенно какие-нибудь плоды. В особенности же любил свежую малину. Усмехнувшись, я отвечал ему, что думаю о том, с каким бы теперь удовольствием я съел несколько ягод малины. Он предложил мне сейчас же сбегать в Милютины лавки и купить малины на имевшийся у него четвертак. Как я ни отговаривался, сторож мой ничего не хотел слушать, выпросился у плац-адъютанта за какою-то надобностью в город и побежал в Милютины лавки. Через час он возвратился ко мне с большой корзинкой, наполненной разными фруктами. Тут была тарелка целая малины, другая — вишен, несколько апельсинов, лимонов и груш. В такое время года все это могло стоить по крайней мере двадцать пять рублей, а может быть, и более. Я очень удивился и хотел было выговорить ему, что он употребил, вероятно, все свои деньги на удовлетворение моей прихоти и тем поставил меня в затруднительное положение, потому что я не знаю сам, буду ли иметь возможность отдать их ему. «Кушайте на здоровье и не беспокойтесь ни о чем, я не истратил на это и своего четвертака: вот он, видите!» — сказал сторож. — «Да откуда же ты достал все это?» — спросил я. — «Вот как это случилось», — отвечал он. — «Прихожу в Милютины лавки и прошу в одной из них дать мне на четвертак малины. Купец подает мне на листочке несколько ягодок; я прошу его прибавить и говорю: «Если бы ты знал, кому я покупаю, то, верно, не поскупился бы». — «Кому же?» — спрашивает он меня. — «Одному из господ, заключенных в крепости; ведь и четвертак-то мой: им не позволяют иметь денег». — «Что же ты сейчас не сказал мне, для кого покупаешь? Возьми назад свои деньги и отнеси ему от меня все это», — прибавил он, укладывая и подавая мне корзинку. — «Да и впредь приходи ко мне брать полакомиться ему. Тяжко им там, бедным, да и вина-то их такая, что Бог ее лучше рассудит, чем мы». Когда я пошел от него, он опять взял с меня слово заходить в лавку всякий раз, как буду в городе. «Вот видите ли, как Бог милостив к вам: только захотели, и сейчас

же все явилось! — прибавил он с самодовольством. — Свет не без добрых людей».

Я прослезился, слушая его рассказ. И точно — много добрых людей на земле русской. Если бы только правительство пожелало действовать в духе народном, если бы несчастное придворное раболепство и эгоизм не ставили между государем и народом такой завесы, через которую трудно проникать его оку, то, конечно, и сам он, и народ его были бы и счастливее, и теснее, крепче связаны между собою! 12-й год и последняя война с англо-французами<sup>73</sup> явно доказывают, на какие жертвования готов русский народ, как мало он думает о своем достоинстве, о своей жизни, когда дело идет об отечестве. Дайте ему только хороших, честных вожатых, покажите, что вы имеете в виду его благо, его пользу, и тогда ведите его куда угодно: он заплатит вам за каждое сделанное для него добро неограниченною преданностью, самым бескорыстным усердием.

Разделив подарок купца между ближними товарищами заключения моего и отослав каждому из них понемногу с моим сторожем, я с большим наслаждением съел остальное, вспомнил свой юг, свой Тульчин, где я так безоблачно был счастлив! Впоследствии, когда сторож мой шел по своей надобности в город, он всегда спрашивал меня, не зайти ли ему к нашему купцу. Но я решительно запрещал это, и, надо сказать правду, он не нарушал моего запрещения. Раз как-то нечаянно встретился он на Невском проспекте с нашим купцом (как мы его называли всегда), тот сейчас узнал его и спросил, здоров ли я и почему он не заходит к нему в лавку. Ответ был, что я здоров, но что, приняв с благодарностью его подарок, я ему запретил пользоваться впредь его добротой. «Вот какой деликатный, — возразил он, — однако видно, что хороший человек».

Наконец, дело наше подходило к концу. В Комитет же водили редко. Нам позволяли иногда выходить на полчаса в сени. Вскоре принесли обыкновенные вопросы для подсудимых: который кому год? какого исповедания? и т. д. Вслед за тем стали водить каждого, поодиночке, для утверждения подписью своего дела. Для этого назначена была особая Комиссия, в которой председательствовал генерал-адъютант Балашев<sup>74</sup>. Членами были: граф де Ламберт, еще один какой-то генерал и двое сенаторов, мне неизвестных. Тут находился также и генерал Чернышев\* для могущих встретиться пояснений. Расскажу при этом то, что случилось со мною. Это показывает, до какой степени пристрастно действовали наши судьи. Когда меня привели в эту Комиссию и дали пересмотреть мое дело, то я заметил, что в нем не находилось бумаги, в которой я требовал очной ставки с молодым Витгенштейном и подполковником Комаровым. На этой очной ставке я надеялся убедить Комитет, что я вовсе не разделял мнения ввести в Россию республиканское правление и желал только ограничения верховной власти представительными собраниями. Балашев попросил

---

\* Который вел себя в продолжение всего следствия с самою возмутительною дерзостью, жестокостью и пристрастием.



Чернышева объяснить ему это обстоятельство. Тот отвечал, что действительно я писал и просил об этом Комитет, но как я уже согласился прежде на показания Пестеля, то Комитет не счел нужным удовлетворить мою просьбу и что потому именно и бумагу мою не приобщили к делу. «В таком случае,—сказал я,—мне нельзя подписать моего дела: бумага эта заключала в себе мое оправдание, а ее тут нет».—Вы этим только повредите себе,—возразил Балашев,—без подписи дела вас нельзя будет судить, но вы останетесь в крепости; а лучше ли это, сами рассудите? Впрочем, мне кажется, можно вас и удовлетворить. Подпишите дело и пришлите от себя объяснение; оно будет приложено к прочим вашим бумагам. Я вам ручаюсь в том». Что мне оставалось делать? Я согласился и подписал, присовокупив, что прилагается мое объяснение. Когда я уходил, приказано было какому-то аудитору идти со мною в каземат и взять от меня бумагу. Оно действительно было приложено, потому что в отчете Верховного Уголовного Суда сказано было, что трое из осужденных представляли объяснения, но они не могли быть приняты в уважение. Вероятно, этой участи подверглось и мое.

Прошел еще месяц; наступил июль. 11-го, после обеда, заходил к Бестужеву протоиерей Мысловский, а после него привел плац-майор фельдшера и спросил его, не желает ли он обречься\*. Бестужев согласился и был обрит в присутствии плац-майора. Потом его повели гулять в комендантский сад. Возвратившись с прогулки, он рассказал мне все, что с ним происходило, и удивлялся, что вдруг к нему сделались так внимательны. «Я предчувствую,—прибавил он,—что это недаром. Не кончилось ли наше дело, и не увезут ли меня сегодня ночью в заточение на всю жизнь? Если вас освободят, то дайте знать обо мне родным и друзьям моим. Бога ради, оправдайте меня перед теми, об которых я вынужден был говорить во время следствия. Они могут подумать, что я с намерением старался запутать их. Вы были свидетелями, как меня измучил Комитет. Теперь желаю только одного, чтобы меня не разлучили с Сергеем Муравьевым, и если нам суждено провести остаток дней в заточении, то по крайней мере чтобы мы были вместе». Желание его исполнилось: его не разлучили с Муравьевым-Апостолом; но ему ни разу не приходило на мысль, что обоим им предстоит смертная казнь.

Проснувшись поутру на другой день, я услышал большую суматоху в коридоре. Отворяли и затворяли казематы. Плац-адъютанты, сторожа, часовые бегали то в ту, то в другую сторону. Вошедший ко мне сторож мой знаками дал мне знать, что выводят Бестужева, и вдруг я услышал его голос. «Adieu, chers camarades! Je vais entendre ma sentence, je vous laisse un bout de papier comme souvenir». [До свидания, дорогие друзья! сейчас я услышу мой приговор, я оставляю вам клочок бумажки на память (фр.).—*Сост.*] Это был на четвертушке перевод его Муровой

---

\* Его не брили все время, и он ходил с бородой; на руках же до самой сентенции носил цепи.

мелодии<sup>75</sup>: «La musique» [Музыка (фр.).— *Сост.*] Мне его отдал после него сторож наш\*.

Не прошло и четверти часа, как взошел ко мне плац-адъютант и велел одеваться в Комитет. Окончив наскоро туалет свой, я вышел вместе с ним, и мы отправились в комендантский дом. Меня уже вели не с завязанными глазами.

Войдя в какую-то комнату, я нашел там человек двадцать моих товарищей в разных костюмах. Кто был в мундире и полной форме, кто во фраке, кто просто в халате. Между ними были и мои друзья и знакомые: Вольф, Ивашев, двое Крюковых. Некоторых я знал по слуху или видел их в обществе, иных совсем не знал. Одним словом, тут был второй разряд осужденных<sup>76</sup>. Все мы были очень веселы, здоровались, обнимались, говорили друг с другом и решительно позабыли, какая ожидает нас участь. Все радовались даже минутному свиданию после шестимесячного одиночного заключения.

Вскоре пришел плац-майор с какой-то бумагою и, соображаясь с нею, стал устанавливать нас по порядку. Окончив это, он велел нам идти в этом порядке, друг за другом, в другую комнату, а потом и далее. Отворив двери третьей комнаты, мы вдруг очутились в большой зале, перед всеми членами Верховного Уголовного Суда, сидевшими на скамьях в два яруса около большого стола, покрытого красным сукном и установленного покоем (П). Их всех тут было человек сто. Посреди стояло зеркало<sup>77</sup>, а против зеркала сидело духовенство, митрополиты и епископы (члены Синода), потом члены Государственного Совета и сенаторы<sup>78</sup>. Перед столом, по эту сторону зеркала, стояло нечто вроде наоя, за которым экзекутор<sup>79</sup> или секретарь Сената прочел громогласно сентенцию каждого из нас. Мы решительно ничего не слушали и смотрели только друг на друга: так были обрадованы нашим свиданием. Я заметил, что духовные особы привстали, чтобы посмотреть на нас, потому что зеркало мешало им нас видеть. В той стороне, где досталось мне стоять, сидел за столом М. М. Сперанский<sup>80</sup>. Он был знаком с моим батюшкой и со всем нашим семейством. Я сам раза два был у него, когда был в Петербурге. Мне показалось, что он грустно взглянул на меня, опустил голову, и как будто

---

\* При отправлении моем в Сибирь этот клочок бумажки затерялся, и мне было очень жаль, что я не сохранил его. Вот мой собственный перевод этой мелодии с английского: 1-е. Когда в жизни, исполненной горестей, потерявши все, что делало ее счастливою, до слуха случайно коснутся любимые нами в юности звуки, о, с какою радостью мы их приветствуем! Сколько уснувших давно мыслей пробудят они! Каким пламенем зажгут потухшие наши очи, привыкшие к слезам! 2-е. Эти благодетельные звуки, с которыми мы свыклись в счастливые дни жизни, подобны свежему ветерку, играющему между душистыми цветами. Напитанный их запахом, он его сохраняет еще и в то время, когда цветы уже поблекли. Так точно, когда исчезнут радость и сновиденья жизни, память об них сохраняется в звуках музыки. 3-е. О музыка! Как слаб наш ничтожный дар слова перед твоими чарами! Зачем чувство объяснять словами, когда ты так легко выражаешь всю душу! Сладкая речь дружбы может быть притворна, слова любви бывают ложны. Одни только звуки музыки улаживают без обмана наше сердце.

слеза выпала из глаз его. По прочтении сентенции Николай Бестужев хотел было что-то говорить, но многие из присутствовавших зашикали, и нас поспешили вывести в противоположные двери.

Я уже не попал в прежний каземат мой. По просьбе нашей плац-майор посадил меня рядом с Ивашевым в лабораторной; третий товарищ наш был лейтенант Завалишин, дальний родственник Ивашева, которого прежде этого я не знал.

Весь этот день провели мы с Ивашевым в каком-то чаду, нисколько не думая о сентенции. Мы не могли наговориться, пересказывали друг другу все случившееся с нами с тех пор, как расстались, а расстались мы около года тому назад. Он оставил меня в Тульчине, еще до кончины жены моей. Лейтенант Завалишин передал нам тоже всю историю своего участия в обществе, и таким образом мы проговорили не только весь день, но и всю почти ночь.

Мы так еще были молоды, что приговор наш к двадцатилетней каторжной работе в сибирских рудниках не сделал на нас большого впечатления. Правду сказать, он так был несообразен с нашею виновностью, представлял такое несправедливое к нам ожесточение, что как-то возвышал нас даже в собственных наших глазах. С другой стороны, он так отделял нас от прошедшего, от прежнего быта, от всего, что было дорого нам в жизни, что необходимо вызвал в каждом из нас все силы нравственные, всю душевную твердость для перенесения с достоинством этого перехода. Я теперь уверен, что если бы правительство вместо того, чтобы осудить нас так жестоко, употребило бы меру наказания более кроткую, оно бы лучше достигло своей цели, и мы бы больше почувствовали ее, даже, может быть, больше бы сожалели о той доле значения в обществе и преимуществе прежнего нашего положения, которое теряли. Лишив же нас всего и вдруг поставив на самую низкую, отверженную ступень общественной лестницы, оно давало нам право смотреть на себя как на очистительные жертвы будущего преобразования России; одним словом, из самых простых и обыкновенных людей делало политических страдальцев за свои мнения, этим самым возбуждало всеобщее к нам участие, а на себя принимало роль ожесточенного, неумолимого гонителя<sup>81</sup>.

Перед зарею нам велено было приготовляться, а с первым лучом света вывели всех из казематов, собрали на крепостной площади около церкви и, окружив караулом, повели вон из крепости. Мы догадались, что исполнялась сентенция. Пришедши на какой-то луг позади Кронверкской куртины, где под ружьем стояло войско, толпился кое-где народ и где в отдалении разъезжали верхом несколько генералов, около каких-то столбов с перекладинами (то были виселицы, о назначении которых никто из нас не догадывался), отделили тех, которые служили по гвардии, и повели для исполнения приговора к полкам, в которых они числились. Все прочие, между коими находились армейские и артиллерийские офицеры, гражданские чиновники и отставные, остались на месте, и сентенцию над

ними приводил в исполнение санктпетербургский обер-полицеймейстер. В моем отделе были Финляндского полка полковник Митьков, гвардии капитан Пушин, штабс-капитаны: Назимов, Репин; поручики: Розен, Цебриков, Андреев, Лаппа и я. Нас подвели к гвардейской егерской бригаде, которую командовал генерал Головин<sup>82</sup>.

По прочтении опять каждому из нас его приговора ломали над головою шпагу, снимали мундир и тут же сжигали, потом надевали лазаретный халат, и по окончании всей этой церемонии повели обратно в крепость. Костюмы наши были очень смешны. Разбирать халаты было некогда: иному на маленький рост попался самый длинный, и он едва мог переступить в нем; другому на большой — коротенький; толстому доставался узкий, так, что он едва напяливал его на себя. Мы невольно улыбались, глядя друг на друга.

Меня опять посадили в лабораторную с Ивашевым, но место Завалишина занял полковник Муравьев, осужденный, но помилованный государем и назначенный на жительство в Сибирь, без лишения чинов и дворянства<sup>83</sup>. Войдя в каземат свой с убеждением, что все мои отношения и расчеты с миром окончены и что остальная жизнь моя должна пройти в отдаленном, мрачном краю (тогда Сибирь не так была известна, как теперь, и об ней говорили с ужасом), в постоянных страданиях и лишениях всякого рода, я не считал уже себя жильцом этого мира и обратил все помыслы мои на то, чтобы, сколько возможно, перенести с достоинством этот переворот судьбы, не ослабнуть нравственно и, как можно лучше, приготовить себя к будущей жизни. В отношении себя собственно я был как будто не недоволен этим переворотом, потому что он, казалось, приближал минуту моего соединения с покойной женой моей и позволял мне не так оплакивать ее потерю. Будучи слабого и плохого здоровья, я никак не думал прожить долго, а настоящее положение мое было самое желательное для смертного часа. Оно не допускало меня жалеть об этой жизни и искупало много перед правосудием Всевышнего.

Император Николай показал в нашем деле такое противу нас ожесточение, такое нечеловеколюбивое понятие о самодержавной власти<sup>84</sup>, а вместе с тем и такое опасение к либеральным идеям, ко всему, что имело тень оппозиции против правительства, что можно было наперед предугадать всю последующую его политику, весь ход его царствования. Видя в целой России себя только одного, он все относил к себе и считал только то справедливым, только то согласным с выгодами России, что казалось выгодным для него собственно, что согласовывалось с его желаниями и что упрочивало его самовластие. Надобно заметить также, что дело наше, из которого он вышел победителем и которое показало ему все раболепие, всю ничтожность высших государственных сановников, поселило в нем преувеличенное о себе понятие и усилило его власть, его самонадеянность. Люди, безусловно преданные правительству, помышлявшие только о собственной пользе, старались друг перед другом льстить, раболепствовать ему, угождать ему во всех его самовластных удоволь-

ствиях и превозносить каждое его слово, каждый поступок. Люди робкие боялись даже подумать о происшествии; наконец, те, на которых падало какое-либо подозрение в симпатии к нам\*, старались преданностью своею и одобрением всех мер правительства истребить это недоразумение и восстановить себя в его мнении. Стало быть, он никогда и ни в каком действии своем не мог ожидать и иметь не только сопротивление, но даже противоречие. Уста истины закрылись, глас ее замолк, и в продолжение всего тридцатилетнего своего царствования он имел дело не с людьми, а с безгласными, униженными орудиями своего самовластия. Вот, по моему мнению, главная причина, почему в годину испытаний, когда России понадобились люди, явились простые неискусные машины, испорченные долговременным худым употреблением<sup>86</sup>. Вот почему также, не привыкнув встречать препятствий, он сам как будто растерялся и, разочарованный в своем всемогуществе, не перенес этого разочарования. Обвинять его не смею и считаю даже несправедливым\*\*. Кто бы на его месте не поддался чарам самовластия и окружающей лести! Редкий бы не поверил своему назначению свыше, не счел бы себя чем-то необыкновенным, видя в продолжение тридцати лет одну только удачу и имея постоянно перед глазами своими завесу, сотканную из раболепной преданности, лести, эгоизма, скрывшую от него все то, что было худо! Для того, чтобы поступать иначе, нежели поступал он, надобно быть гением, и гением с великодушным любящим сердцем, а такие гении редки, и он им не был.

---

\* В числе их Сперанский, Мордвинов, частию Киселев, Ермолов и некоторые другие<sup>85</sup>.

\*\* Мне кажется, что в неумеренной строгости, с которой он поступил с нами, у него была мысль восстановить в глазах подданных своих и особенно в высшем классе значение государя и его верховной власти, которая могла ослабнуть от случавшихся так часто заговоров в протекшее столетие русской жизни. Нельзя допустить, чтобы он не понимал, зная так хорошо все наше дело, что ни у кого не было намерения покуситься на особу царя и что все то, что говорилось, были пустые слова, без всякой цели. Но он, кажется, воспользовался этим случаем, чтобы повысить идею о государе, и обрел для этого несколько жертв. Нельзя также сказать, чтобы мы и сами в продолжение дела нашего все вообще вели себя так, чтобы возбудить в нем невольное уважение. Конечно, многие, не думая о своем спасении, без затруднения, без страха говорили перед ним и Комитетом правду о том, что касалось России, правительства, и указывали на существование злоупотреблений, лихоимства, угнетения слабых сильными. Но были и такие, которые ослабели духом, у которых одиночное заточение и гнев самодержавного владыки отняли всю твердость, которые думали наружными знаками раскаяния заслужить себе прощение. Характеры не все одинаковы, обвинять последних нельзя. Чувствую по себе, как я уже сказал и прежде, что можно находиться в таком нравственном упадке духа, что будешь поступать не только вопреки убеждений, но даже самого простого здравого смысла. Уединение, материальные лишения, физические страдания неодинаково действуют на нравственность всех людей. Одни переносят их твердо, покойно, не подчиняют их влиянию свою нравственную стихию, другие не могут избежать этого влияния и поддаются ему совершенно. Первые не должны гордиться, вторых нельзя винить. И те и другие—создания Божии, поставленные им в разные положения, обстоятельства,—являлись в мире с разными организациями, получили неодинаковое воспитание, неодинаковые понятия о вещах. Правда и то, что государь мог бы понять это, смотреть в нашем деле на одни только побуждения, заставившие каждого из нас вступить в общество, но для этого надо было иметь человеколюбивое сердце и менее эгоизма в характере.

В день исполнения нашей сентенции, после обеда, пришел ко мне мой прежний сторож из Кронверкской куртины, принес с собою кое-что из оставленных там вещей моих и сообщил мне о последних минутах пяти казненных товарищей наших. Это была неожиданная и грустно поразившая меня новость. По выслушании приговора их всех посадили в Кронверкскую куртину: Пестеля—в номер Андреева, Сергея Муравьева-Апостола—в бывший мой, Рылеева—в другую комнату, в номер, который занимал до этого Бобрищев-Пушкин 1-й, а Каховского тут же, в номер Розена. Бестужева-Рюмина привели в прежний свой. Им позволили написать к родным. К четверым прислали протоиерея Мысловского, чтобы приготовить к смерти, а к Пестелю—пастора. Все они были очень покойны, отказались иметь последние свидания с родными (Рылеев—с женой и дочерью), чтобы не расстроить их и себя. Говорили немного между собою и ожидали последнего часа с твердостью. Их вывели рано, до свету, заковав прежде в железа. Выходя в коридор, они обнялись друг с другом и пошли, сопровождаемые священником и окруженные караулом, к тому месту, где мы видели столбы. Тут их поместили на время в каком-то пороховом здании, где были уже приготовлены пять гробов, и потом, по окончании нашей сентенции, исполнили приговор Верховного Уголовного Суда. Исполнением этого приговора распоряжался генерал Чернышев. Протоиерей Мысловский был при них до последней минуты. У двоих из них<sup>\*87</sup> оборвались веревки, и они упали живые. Исполнители потерялись и не знали, что делать; но, по знаку Чернышева, их подняли, исправили веревки и снова не взвели, а уже взнесли на эшафот. Потом, когда уверились, что все пятеро уже не существуют, сняли трупы и отнесли туда, где находились гробы, и, положивши тела в них, оставили их тут до следующей ночи. Потом свезли тайно в ночное время на устроенное для животных кладбище (называемое Голодай) и там, неизвестно где, закопали.

Тут рассуждений не нужно—факт сам говорит за себя. Так окончили жить пять первых политических наших страдальцев. Они проложили в России новый путь, усеянный терниями, опасностями, но ведущий к высокой цели<sup>89</sup>. Вероятно, будут и еще жертвы, но, наконец, путь этот когда-нибудь уладится и по нем безопасно уже пойдут будущие их последователи. Тогда и их имена очистятся от отрицающего мрака и, освещенные благоговением потомства, озарят то место, где положили их прах.

Говорили, что будто бы протоиерей Мысловский хотел было воспротивиться второй казни двух упавших, но что Чернышев настоял на этом; что государь, опасаясь возмущения войск при исполнении приговора, уехал в Царское Село и велел каждые четверть часа присылать к себе фельдъегерей с известием о происходящем на месте казни. Некоторые

---

\* Я не мог положительно узнать, у кого: одни говорили мне, что у Пестеля и Каховского, а другие утверждали, что у Рылеева и Муравьева-Апостола<sup>88</sup>.

утверждали, что он сам, переодевшись, был тут не узнанный никем. Наконец, также носился слух, что Верховный Суд не решался на смертную казнь и только потому так осудил, что ему под рукою дано было знать, что государь желает самого строгого приговора, чтобы тем разительнее было его милосердие; что светлейший князь Лопухин (бывший председатель Государственного Совета)<sup>90</sup>, принеся государю этот приговор, не мог скрыть своего ужаса, когда увидел, что он хочет утвердить четвертование; что государь заметил его невольный ужас, спросил, что это значит, и что тогда будто бы Лопухин сказал ему причину строгого осуждения Верховного Уголовного Суда и что в России такая казнь неслыханна; что император задумался и написал «повесить». Правда ли все это или нет, знают только те, между коими все это происходило, и я помещаю эти слухи и толки для того, чтобы показать, какое тогда мнение имели многие о характере покойного государя и об исполнителях его воли.

Мы ожидали, что после сентенции нас отправят сейчас в Сибирь, и действительно восемь человек первого разряда были вскоре увезены туда. Всю почти первую категорию разослали в разные финляндские крепости. Прочие остались в Петропавловской. Государь, окончив наше дело, отправился на коронацию в Москву. Родные наши надеялись, что в это время будет общая амнистия или по крайней мере значительное облегчение нашей участи.

С окончанием нашего дела и с отъездом императора из Петербурга присмотр за нами несколько смягчился. Нас каждый день водили гулять по двору под надзором дежурного унтер-офицера. Мы могли разговаривать между собою, не опасаясь подвергнуть ответственности сторожа или часового. Родным позволялось иметь с нами свидание в комендантском доме в присутствии плац-адъютанта и доставлять нам некоторые вещи, как-то: платье, белье, книги и съестные припасы. У меня в Петербурге родных не было, и потому я лишен был утешения их видеть. По отправлении полковника Муравьева меня с Ивашевым перевели из лаборатории в Невскую куртину, где опять поместили рядом. Для обоих нас это было большим облегчением. Мы целый день толковали о былом, настоящем, будущем, старались взаимно поддерживать один другого и не давали друг другу хандрить. Читали книги, доставленные Ивашеву его родными, и не один раз, когда вечером запирали нашу куртину и часовые не опасались обхода крепостных офицеров, сходились вместе в одном из наших казематов. Против нас сидел князь Одоевский, очень молодой и пылкий юноша — поэт. Он, будучи веселого, простосердечного характера, оживлял нашу беседу, и нередко мы проговаривали по целым ночам. Так прошло два месяца. Государь возвратился из Москвы. В коронацию нам убавили пять лет работы. Многие были уверены, что наша ссылка в Сибирь отменена, что нас продержат года два в заточении, что в это время государь при каждом случае будет уменьшать сроки нашей работы и что, наконец, позволят нам возвратиться в недра своих семейств. Но они



рассчитывали без знания характера государя. В уме его уже было решено наше вечное исключение из общества, вечное разлучение с родными, наш угрожающий пример для всех тех, которые захотели бы следовать нашим путем.

Впоследствии оно так и было. В продолжение его царствования Сибирь населялась тысячами политических изгнанников.

Не помню теперь, по какой причине перевели меня опять в Кронверкскую куртину и разлучили таким образом с Ивашевым. Там я занял уже не прежний свой номер, а опять какой-то маленький каземат, подобный моему первому жилищу. Соседями моими были Лунин и Кожевников. Первый был уже немолодой человек. Он начал службу свою в кавалергардском полку, вместе с нынешним графом Орловым, был известен своим независимым характером, своею любезностью, разными забавными выходками с своим полковым командиром Депрерадовичем и с самим великим князем Константином, который его очень любил и при котором в последнее время он служил. Второй был еще юноша, кажется, подпоручик лейб-гренадерского полка. Он не был судим, а переведен только за какой-то вздор, во время 14 декабря, тем же чином в армию и оставлен на шесть месяцев в крепости. Я скоро познакомился с обоими. Тут я опять попал к прежнему сторожу.

После сентенции на пищу осужденным правительство отпускало только полтину асс. в сутки, но у кого припасены были свои деньги или кому доставляли потом родные, те получали ежедневно от плац-майора небольшую на издержки сумму, смотря по их надобностям. У меня отобрали 1700 руб. асс.; следовательно, не имея даже родных в Петербурге, я долгое время мог удовлетворять небольшие свои потребности. Плац-майор обыкновенно каждую неделю присылал мне по пяти рублей, и этих денег мне доставало и на табак, и на белый хлеб, и на проч. Посредством сторожа моего я даже абонировался в книжном французском магазине и брал оттуда книги. В крепости я прочел все романы того времени Вальтера Скотта, Купера<sup>91</sup> и тогдашних известных писателей. Сверх того пользовался от ближних товарищей моих теми книгами, которые они получали от родных. Таким образом, я почти всегда был занят и не имел времени скучать. Я пробовал также сочинять стихи, но они выходили у меня никуда негодные, и, убедясь, что поэзия не мое дело, я прекратил это занятие. С Луниным и Кожевниковым мы свободно разговаривали. С первым каждый день после обеда я играл в шахматы. У него и у меня были занюмерованы доски, и у каждого своя игра в шахматы. Сговорясь играть, расставляли их каждый у себя и потом передавали по очереди один другому сделанный ход. Иногда игра длилась два и три часа, но тем была занимательнее, что не могло случиться необдуманных ходов или так называемых промахов. Мы оба в этой игре были равносильные, и оттого еще более она занимала нас. Нас водили также каждый день гулять: или около куртины, или в сенях, когда бывала дурная погода. Тут мы встречались иногда с некоторыми товарищами,



занимавшими отдаленные номера, и обменивались несколькими словами.

Раз как-то зашел ко мне дежурный унтер-офицер, которого мы все любили за его к нам преданность и услужливость. Вид его показывал, что он хочет что-то сообщить мне. «Жаль мне вас, господа, от всего сердца,—сказал он наконец, осмотрев сначала, не подслушивают ли его из коридора,—хотелось бы очень кому-нибудь из вас помочь, чем могу, а могу я многое, как вы сами уверитесь. Могу даже доставить вам возможность вырваться из этих стен и уплыть на корабле в Англию».— «Каким это образом, любезный друг?»—спросил я с недоверчивостью.— «А вот как,—отвечал он,—разумеется, для этого надобны деньги, тысяча пять—шесть сначала довольно, потом родные пришлют туда. Ну, да мне и самому пришлось бы с вами отправиться: оставаться здесь мне после этого нельзя. Слушайте, как можно все это устроить. Я бы переговорил сначала с капитаном купеческого иностранного судна, они беспрестанно теперь приходят и уходят из Петербурга. Во всем условился бы с ним. Тут затруднения не будет. Конечно, надобно заплатить ему порядочную сумму. Корабли обыкновенно выходят ночью, потому что тогда удобнее разбирать на Неве мост. В известный день, когда судну придется выходить, под вечер, по обходе плац-адъютанта, я бы пошел с вами гулять, вывел бы за крепость и спрятал бы вас на полчаса в дровах».— «Но как бы мы вышли с тобой из крепости, когда при каждых воротах караул?»—спросил я.— «А вот не хотите ли полюбопытствовать когда-нибудь,—отвечал он,—так хоть, для примера. Потом,—продолжал он,—воротясь один в куртину, я сам бы осмотрел и запер казематы, а ключи отнес бы плац-майору. У вас на постели можно заранее приготовить так, чтобы часовому, если ему вздумается посмотреть в окошечко, показалось, что вы лежите и спите. По окончании всего, когда совсем потемнеет, я бы явился к вам, и через несколько минут мы оба были бы на судне. Тут капитан спрятал бы нас до прохода через Кронштадтскую брандвахту. Эту брандвахту корабли обыкновенно проходят перед светом, а с наступлением дня мы были бы совершенно безопасны. В каземате же не хватились бы вас до девяти часов утра на другой день, т. е. до тех пор, пока не станет ходить плац-адъютант. Да и тогда не знали бы, что делать и где вас искать. Разумеется, скоро бы догадались, что это моя проделка; но им и в ум бы не пришло, что мы спаслись на корабле; а если бы и пришло, наконец, так в это время мы были бы уже далеко и вне погони. Видите, как это легко,—сказал он,—но для этого нужны деньги и решимость. У меня ее станет. Я уже предлагал это одному из ваших, и он бы очень мог, потому что богат, и родные его в Петербурге\*, но вы все, кажется, не потеряли надежду на милость государя, а я так совсем не надеюсь на нее для вас—не такой он человек».

Все, что он говорил, как я сам убедился потом, было дельно и

---

\* Я узнал впоследствии, что он точно предлагал это Н. М. Муравьеву, который сам мне рассказывал об этом предложении.

удобоисполнимо. Раз даже, гуляя со мной, он, для доказательства, вывел меня из крепости без всякого затруднения. Караул, стоявший при крепостных воротах, не обратил даже на нас внимания. Но у меня не было ни средств, ни желания воспользоваться его предложением. Я и теперь считаю, что было бы малодушно, нехорошо, если бы кто-нибудь из нас захотел отделить свою судьбу от судьбы своих товарищей. Из всех нас никто не подумал даже уклониться бегством от предстоящей ему участи. Один только Тургенев отсутствием своим избежал заключения и ссылки, но он был за границею, когда умер покойный император Александр и началось наше дело; зная же наперед, как оно будет обсуждено, не явился ни к суду, ни после осуждения своего. Следовательно, он не прибегал к бегству, а только воспользовался случайным и счастливым для него обстоятельством\*.

Наступила глубокая осень—никого из нас еще не отправляли. Я сделался болен: у меня отнялись почти ноги и возобновилось кровохарканье. Плац-майор предложил мне перейти в лазарет; но я не согласился, опасаясь, что, пока буду там лечиться, товарищей моих увезут всех в Сибирь, а меня оставят потом в крепости. Это опасение было для меня хуже болезни, которую по этой причине я старался скрывать даже от лекаря: во время его посещений я уверял его, что мне лучше и что если я буду на воздухе, то скоро совсем поправлюсь.

Долгие осенние и зимние вечера и нескончаемые ночи особенно утомительны в заключении. Я это испытал на себе. Без движения хорошего сна не могло быть, тем более что грудная боль и ломота в ногах не позволяли мне долго оставаться в одном положении. Как ни любил я чтение, но целый день, и в особенности вечер, при тусклом свете тоненькой сальной свечи или вонючего ночника, читать постоянно было невозможно. С соседями своими мы переговаривали все, о чем можно было говорить; да и сверх того, по слабости и грудной боли, я не мог громко и долго говорить. Шахматы тоже не так уже развлекали меня и даже утомляли. Одним словом, я с нетерпением ожидал какой-нибудь перемены и молил Бога, чтобы скорее отправили меня в Сибирь. От родных своих я не имел никакого известия. Я знал, что никому из них нельзя было приехать в Петербург. Писем также не надеялся получить от них: им нельзя было знать, где я нахожусь после сентенции и позволено ли иметь переписку с нами. Я даже не желал, чтобы братья писали ко мне, потому что боялся за них, если бы они вздумали показать особенное во мне участие.

---

\* Впоследствии Тургенев издал во Франции свои записки—сочинение очень посредственное и не совсем прямодушное, в котором он как будто старается оправдать свое участие в обществе. Нисколько не завидую его участи, мне кажется странным, что ему одному только при амнистии возвратили все и что он это не только принял, но, как кажется, даже об этом хлопотал. Прожив тридцать лет очень покойно, тогда как в это время товарищи его страдали, скитаясь по Сибири,—его как будто еще вознаградили за это перед прочими<sup>92</sup>.

Была уже зима, и прошел праздник Рождества. После Крещения 1827 г. я узнал, что некоторых из нас стали куда-то увозить, и нетерпеливо ожидал своей очереди, не без боязни, однако же, чтобы не отправили в какую-нибудь крепость. Раз как-то, около 20 января, вошел ко мне плац-майор и спросил, есть ли у меня что-нибудь теплое. «Не хотят ли меня отправлять, Егор Михайлович?» — спросил я. — «И нет, батюшка, — возразил он. — Куда отправлять, разве по домам (надобно знать, что он каждому из нас при всяком посещении своем повторял одно и то же: что нас простят непременно). Я спросил об этом у вас для того, что теплое платье необходимо для прогулок, — прибавил он. — Видите, какой холод!» — «У меня ровно ничего нет, — отвечал я, — кроме этого сюртука и двух подушек». — «Не беспокойтесь, все это будет», — сказал он. Тогда я спросил, на какие же деньги, и у него ли те, которые отобрали у меня на дворцовой гауптвахте. «Об деньгах не заботьтесь: были бы здоровы, деньги будут», — отвечал он, поспешно выходя из моего каземата.

Я был уверен, что меня скоро отправят; и в самом деле, вечером он опять явился ко мне в сопровождении сторожа, несшего небольшой чемодан и кое-какие вещи. «Вот вам и белье, и тулуп, — сказал он, указывая на сторожа. — Одевайтесь потеплее». Я открыл чемодан, нашел в нем две пары шерстяных носок, теплые сапоги, шапку, перчатки и три довольно толстые рубашки. Жиденький тулупчик, покрытый нанкою, куртка и брюки из толстого солдатского сукна дополняли этот гардероб. Надев наскоро и при помощи сторожа (потому что я был очень слаб) теплую обувь и принесенное платье, а сверх него тулуп, я отправился вместе с плац-майором, поддерживаемый сторожем, в комендантский дом. Другой сторож нес за нами чемоданчик с остальными вещами. Войдя из передней во вторую комнату комендантского дома, я нашел тут трех моих товарищей: Фонвизина, Вольфа, Фролова. С первым я был знаком еще в Тульчине: он командовал тогда бригадой. Со вторым был очень дружен, а третьего совсем не знал. Мы дружески, но грустно поздоровались. Вскоре вошел комендант, генерал Сукин, с бумагою в руках. Он был без ноги и ходил на деревяшке. Ловко повернувшись на деревянной ноге своей, он громко сказал: «Государь император приказал исполнить над вами приговор Верховного уголовного суда и отправить вас в Сибирь». Потом, быстро повернувшись опять, в ту же минуту ушел. Тогда плац-майор дал знак стоявшему тут поручику гарнизонной артиллерии Глухову. Тот вышел и воротился вскоре с фельдъегерем и с солдатом, несшим цепи. Нас посадили, надели кое-как железа, сдали фельдъегерю и вывели на крыльцо, где ожидали уже четыре жандарма и пять почтовых троек в открытых санях.

Ночь была темная. На крыльце плац-майор сунул мне что-то в руку, завернутое в бумажку. Мне пришло в голову, что это оставшиеся мои деньги, и признаюсь, я удивился такой с его стороны честности. Когда я сажился в сани с одним из жандармов, меня кто-то крепко обнял, «Я адъютант военного министра, знаком хорошо с батюшкой покойной

супруги вашей,—сказал он мне шепотом.— Не хотите ли через меня что поручить вашим родным?» — «Дайте знать им о том, что вы сами видели и что знаете о нашем будущем; я же ровно ничего не знаю, ни куда меня везут, ни где я буду»,—отвечал я, усаживаясь в повозку. Между тем все уже были готовы—и поезд наш тронулся с места.

Выехав из Петербурга, где все было погружено во мрак, мы прибыли ночью на первую станцию и вышли обогреться в комнату смотрителя. Мне это в особенности было нужно, потому что легонький тулуп мой худо защищал меня от январского мороза. Товарищи мои тоже вышли. Фельдъегерь (он оказался мне знакомым и бывал прежде моим подчиненным, когда я был старшим адъютантом, а он приезжал с бумагами в Тульчин) обходился с нами очень вежливо, и действительно, как мы убедились впоследствии, был очень добрый человек. Железа нам очень мешали и не давали свободно ходить. Мы, по совету его, подвязали их и уладили сколько возможно удобнее для ходьбы. Тут я вспомнил о данной мне плац-майором завернутой бумажке. Можно представить себе мое удивление, когда я нашел в ней вместо оставшихся моих денег десять серебряных гривенников. Вот все богатство, с которым я отправился, слабый и больной, в сибирские рудники, за шесть с лишком тысяч верст от своего семейства. Нельзя сказать, чтоб такое положение представляло что-нибудь утешительное. Когда мы сели отдохнуть около стола, а фельдъегерь вышел распорядиться лошадьми, смотритель сделал знак Фонвизину, и тот сейчас вышел. Его ожидала на этой станции жена. Они успели до возвращения фельдъегеря (который, вероятно, все знал, но не хотел показать то) видеться несколько минут в сенях. Когда он вышел к нам и объявил, что лошади готовы, мы стали медленно собираться, чтобы дать время Фонвизиним подольше побыть вместе. Наконец, надобно было отправляться. Я сел с Фонвизиним в одну повозку, на что фельдъегерь охотно согласился. Он сам видел, как плохо я был одет для зимнего путешествия. На Фонвизине же была медвежья шуба, и сверх того у него для ног было теплое одеяло. Сидя с ним вместе, мне легче было предохранить себя от холода.

Дорогой Фонвизин рассказал мне, что жена его узнала и сообщила ему, что нас везут в Иркутск, и передала 1000 руб., которых достанет нам и на дорогу, и на первое время в Сибири. Вторая станция была Шлиссельбург. Признаюсь, я невольно подумал, не сюда ли в заточение нас везут, и до тех пор не был покоен, пока не проехали поворот к крепости. На станции мы опять вышли из повозок. Ночь еще продолжалась; фельдъегерь был на дворе; зачем-то я вышел в другую комнату, и только что успел переступить через порог, как очутился вдруг в объятиях трех женщин, которые плакали навзрыд, осыпали меня вопросами и предлагали свои услуги, деньги, белье, платье и т. д. Я отвечал им, что мне ничего не нужно, что всего у меня достаточно, искренно благодарил их за участие и сострадание. Это была какая-то помещица, с двумя дочерьми ехавшая в Петербург. Мы родственно обнялись и простились.

Они же все благословили меня и напутствовали самыми искренними благопожеланиями.

На другой день мы проезжали Тихвин. Днем везде собирался народ смотреть на нас и оказывал самое сострадательное участие. В Тихвине некоторые из простого народа и купцов предлагали свои услуги и помощь. Фельдъегерь наш, как добрый человек, распоряжался и поступал с нами так, чтобы только самому не подвергнуться ответственности за слабый надзор, не прибавляя ничего лишнего с своей стороны. Не помню, которого числа, мы прибыли в Ярославль и остановились в гостинице. Пока запрягали новых лошадей, нам подали чаю, и человек, вошедший с подносом, указал знаком на дверь смежной комнаты. Мы подошли к ней и узнали, что там находится Надежда Николаевна Шереметева, теща одного из наших товарищей, Якушкина, ожидавшая тут со своею дочерью, а его женою, проезда зятя своего. Мы обменялись с нею несколькими словами, а когда выходили садиться в повозки, то встретили ее вместе с дочерью, державшею на руках грудного младенца, в коридоре, посреди толпы собравшихся любопытных. Они обняли, благословили нас и все время не осушали глаз. Жена Якушкина была тогда 18-летняя молодая женщина, замечательной красоты. Нам было тяжело, грустно смотреть на это юное, прекрасное создание, так рано испытывающее бедствия этого мира и, может быть, обреченное своею обязанностью, своею привязанностью к мужу на вечную жизнь в сибирских рудниках, на разлуку с обществом, родными, детьми, со всем, что так дорого юности, образованию и сердцу<sup>93</sup>.

Из Ярославля через Кострому, Вятку, Пермь и Екатеринбург приехали мы в Тобольск. Ехали скоро, но иногда останавливались ночевать. Фельдъегерь, заметив, что железа мешали нам спать, был так внимателен, что позволил на ночь снимать их. Жандармы нам прислуживали. Ему, впрочем, как он сам говорил, приказано было обходиться с нами вежливо и, не выходя из границ данной инструкции, оказывать всякое снисхождение. По приезде в Тобольск нас поместили в доме полицеймейстера, где и отдохнули мы суток трое. Тут мы расстались с нашим фельдъегерем, который отправился в Иркутск один, а нас сдал губернатору Бантыш-Каменскому (родственнику Фонвизина)<sup>94</sup>.

Не знаю, по этому ли случаю, или просто по человеколюбию, но только полицеймейстер Алексеев так принял, угощал и покоил нас в продолжение этих трех дней, что я счел обязанностью моею, по прошествии десяти лет, когда я ехал из-за Байкала на жительство в Туринск и проезжал Тобольск, где он жил отставным чиновником, быть у него и поблагодарить его за оказанное нам тогда человеколюбивое внимание. Отдохнув трое суток, мы отправились в сопровождении тобольского частного пристава, но с прежними жандармами, на обывательских лошадях, в Иркутск. В Тобольске Фонвизин купил повозку, и мы избавились от хлопот перекладываться на каждой станции. Запаслись еще теплым одеялом, и, следовательно, я не опасался холода. Движение и

воздух так благотельно действовали на меня, что день ото дня здоровье мое становилось все лучше, так что в Тобольске я был уже совсем здоров и так же крепко ходил и стоял на ногах, как прежде.

Через три недели по отъезде из Тобольска мы прибыли в Иркутск, проехав города: Тару, Ишим, Каинск, Колывань, Томск, Ачинск, Красноярск, Канск и Нижнеудинск. По дороге везде мы встречали неподдельное участие, как в народе, так и должностных лицах. В Каинске, например, городничий Степанов, пожилой мужчина, огромного роста и объема, бывший прежде фельдгегерем, пришел к нам в сопровождении двух человек, едва тащивших огромную корзину с винами и съестными припасами всякого рода. Он заставил нас непременно все это есть и частицу взять с собой, предлагая нам даже бывшие с ним деньги следующими удивившими нас словами. «Эти деньги,—сказал он, вынимая большую пачку ассигнаций,—я нажил с грехом пополам, не совсем чисто, взятками. В наших должностях, господа, приходится делать много против совести. И не хотелось бы, да так уже заведено исстари. Возьмите эти деньги себе: на совести у меня сделается легче. Лучшего употребления я не могу сделать: семейства у меня нет. Право, избавьте меня от них, вы сделаете доброе дело». Хотя мы не согласились принять это предложение, но тем не менее эта откровенность, это добродушие грубой, не отесанной резцом образования натуры нас очень тронуло, и, прощаясь с ним, мы от души и с признательностью пожали ему руку.

В Красноярске губернатор, и тоже Степанов, угостил нас с искренним радушием. Во всех почти городах, где мы останавливались, чиновники приходили к нам; сначала не смели к нам приступить, заговорить с нами, но всегда кончали предложением услуг и изъявлением чувств. На станциях являлись обыкновенно этапные офицеры с подобными же предложениями, а простой народ толпился около повозок, и хотя, видимо, боялся жандармов, но нередко те, которые посмелее, подходили к нам и бросали нам в повозку медные деньги. Я до сих пор храню, как драгоценность, медную денежку, которую я взял у нищей старухи. Она вошла к нам в избу и, показывая нам несколько мелких монет, сказала: «Вот все, что у меня есть; возьмите это, батюшки, отцы наши родные. Вам они нужнее, чем мне». Мы прослезились, и я, выбрав у нее одну самую старую монету, положил к себе в карман, благодаря ее от самого искреннего сердца.

Чем далее мы подвигались в Сибири, тем более она выигрывала в глазах моих. Простой народ казался мне гораздо свободнее, смысленнее, даже и образованнее наших русских крестьян, и в особенности помещичьих. Он более понимал достоинство человека, более дорожил правами своими. Впоследствии мне не раз случалось слышать от тех, которые посещали Соединенные Штаты и жили там, что сибиряки имеют много сходства с американцами в своих нравах, привычках и даже образе жизни. Как страна ссылки, Сибирь снисходительно принимала всех без разбора. Когда ссыльный вступил в ее границы, его не спрашивали, за что и

почему он подвергся каре законов. Никому и дела не было, какое он сделал преступление, и слово «несчастный», которым звали сибиряки сосланных, очень хорошо выражает то понятие, которое они себе составили о них. От него требовалось только, чтобы на новом своем месте он вел себя хорошо, чтобы трудился прилежно и умел пользоваться с умом теми средствами, которые представляло ему новое его отечество. В таком случае по прошествии нескольких лет ожидало его не только довольство, но даже богатство и уважение людей, с которыми ему приходилось жить и иметь дело. Кстати, расскажу здесь разительный этому пример. Приехав на какую-то станцию в Нижнеудинском округе, мы остановились в лучшей квартире одного большого селения. В двухэтажном доме было несколько чистых комнат, убранных хотя не роскошно, но довольно опрятно. Все показывало довольство. Нас встретил крестьянин лет сорока, в синем армяке, угостил чаем и вкусным обедом, за которым было даже виноградное вино. Как теперь помню, звали его Ермолай. Недалеко от дома строилась церковь. Я как-то спросил его, где же старая и как строится новая, обществом или другими средствами. «Это я строю, батюшка,—был его ответ,—прежняя сгорела от грозы. Насилу добился разрешения на постройку. Нам, поселенцам, везде затруднение, даже в богоугодных делах». Узнав, что он из ссыльных, я с удивлением посмотрел на него, и он, заметив это, продолжал: «Вы, может быть, не поскучаете послушать мою историю, я охотно ее рассказываю всякому». Мы все попросили его об этом, и он с заметным удовольствием начал рассказ свой: «Я был крепостным человеком господина N. N. Барин мой был единственный сын у матушки своей, женщины строгой, но благочестивой. Я служил у него камердинером, и как он считался по гвардии, то мы жили с ним в Петербурге, а матушка в орловской деревне своей. Они были очень богаты, и барин очень меня любил. Житье мне было хорошее, привольное, денег всегда вволю, а в молодые лета им цены не знаешь, и мы с барином-таки порядочно тратили на всякую всячину. Вдруг объявлен был поход под француза в Австрию. Гвардия выступала, а с нею и мой господин. Он отправил меня с своими лошадьми, коляской и многими вещами, всего будет более чем тысяч на пять, к матери своей, приказав все это доставить ей и, взявши от нее денег, приехать к нему на австрийскую границу. Я доехал до Орла, откуда оставалось только верст 200 до нашей деревни. В Орле я остановился отдохнуть и для развлечения пошел в трактир. Там немного подгулял, меня завели в какой-то дом и начисто обыграли в карты. Коляску, лошадь, вещи я все проиграл пьяный. Утром, когда я проснулся и пришел в себя, побежал было к разбойникам, но их и след простыл. В доме сказали мне, что я говорю вздор и что я тут не был даже. Что было делать? Я не знал имени тех, кто играл со мной, и едва мог бы признать в лицо. Однако же, я объявил обо всем полицеймейстеру. Тот посадил меня под арест и отправил к барыне по пересылке, произведя, между тем, розыски. Барыня сильно прогневалась на меня и сослала на поселение.

Конечно, если бы в это время был сам молодой барин, то он не сделал бы так, а, отечески наказав, простил бы меня. Вот таким образом,— продолжал он,—я попал в Сибирь. Пришедши с партией в Нижнеудинск, меня назначили в это селение. Тогда у нас здесь был исправником, дай Бог ему царствие небесное, Лоскутов. Вы, конечно, об нем слышали, и если не слыхали, то услышите. Это был человек редкий, необыкновенный, каких мало на свете и каких надобно в Сибири. Строг был, но зато справедлив, и не один из нашего брата поселенцев обязан ему всем своим достоянием и молит за него Богу. При нем, бывало, бросьте кошелёк с деньгами на большой дороге, никто не тронет или сей же час объявят. Вот и призывает меня Лоскутов к себе. «Ты назначен,—говорит он,—в такое-то селение, место привольное; если не будешь пить, а будешь трудиться, то скоро разбогатеешь. Смотри, не ленись, работай прилежно: через шесть месяцев я заеду к тебе, и если найду, что ты ничего не приобрел, ничем не обзавелся, запорю до смерти. Если же увижу, что ты трудишься хорошо, то не откажуся сам помогать тебе». — «Батюшка, ваше высокоблагородие,—отвечал я,—усердия у меня достанет, да и работать я рад, но тяжело будет подняться, не имея ничего; придется ведь долго жить в работниках, пока не скоплю деньжонок». — «За деньгами дело не станет,—сказал он.—Вот тебе 100 руб. Распоряжайся ими с умом; но знай, что я их тебе даю взаймы и не только потребую назад деньги свои, но и отчета в твоём хозяйстве». Я взял деньги не без страха и вышел от него. Ровно чрез шесть месяцев, приехав по какому-то делу в наше селение, он пошел посмотреть мое хозяйство, велел даже принести на показ крынки с молоком и, оставшись доволен, позволил мне еще держать данные им мне деньги. В продолжение этих шести месяцев я женился, обзавелся домком, посеял хлеба, завел лошадь, две коровы и овец. Бог помог мне выручить порядочную сумму от охоты за козулями. Я, по примеру здешних старожилов, сделал в лесу две засады, и Богу было угодно, чтобы в засады мои попалось этого зверя гораздо более, чем у прочих, так что я в первый год продал мяса и шкур рублей на 200. Вот как я начал. Правда, трудился я с женой денно и нощно; но Бог, видимо, помогал моим трудам. Лоскутов, бывало, не нарадуется, взойдя ко мне: «Ай да Ермолай, молодец, люблю таких». Лет через десяток я завел большую пашню, стал держать работников, пускать в извоз лошадей, у меня начали останавливаться кяхтинские приказчики с чаями. Одним словом, я разбогател по крестьянскому быту. Мог бы еще больше разбогатеть, стоило только пуститься в казенные подряды, меня не только приглашали, и насильно втягивали чиновники; да сам не захотел: тут не всегда делается на честных правилах, надобно давать, а чтобы давать, надобно плутовать, воровать у казны, да и концы уметь хоронить. Мне этого не хотелось; пусть уж другие от этого богатеют, а не я. Мне Бог позволил нажить копейку честным образом. Велика была Его милость ко мне грешному, надобно было стараться загладить прежние грехи. У меня это не выходило из головы. Вот, как только случились лишние деньжон-



ки, я написал письмо к бывшему барину, вложил 5000 рублей асс. и отослал их к нему, прося у него прощения и уведомляя о своем житье-бытье. Матушка его давно скончалась, барин же мне отвечал и приглашал меня воротиться в Россию; вот и письмо его,—прибавил он, вынимая из шкафа бумагу.— Но мне уже было здесь так хорошо, что я и не подумал о возвращении. К тому же Бог благословил меня семейством. Лоскутов, узнав, что я отослал барину деньги, при целом обществе поцеловал меня и сказал: «Вот, ребята, берите пример с Ермолая, и тогда все будете людьми». Потом я хотел, из благодарности за милость Божию ко мне, выстроить Ему храм, приготовил нужные материалы и долго хлопотал о разрешении у преосвященного. Наконец, получил его, когда старая ветхая церковь сгорела от грозы. Пашни у меня более 100 десятин, две заимки, держу около сорока работников. Все здешние крестьяне со мной советуются, и я дал обещание никому не отказывать в помощи и не спрашивать у просящего, кто он и на что ему. Вот еще недавно, нынешней осенью, еду я на заимку верхом, встречаю несколько человек беглых. «Куда путь держите?»—спросил я их.—«К Ермолаю на заимку,—отвечают они.—Он, говорят, добрый человек, поможет нам».—«Ермолай-то добрый человек,—говорю я,—да законы-то строги, а у него на заимке много работников, ну как они вас задержат, да представят? Пойдемте-ка лучше к нему в дом». Они пошли за мной, я накормил их, дал белье и снабдил кое-чем на дорогу. Рассуждаю так: дело правительства ловить беглеца; мое—накормить и помочь человеку».

Мы с удовольствием смотрели на этого необыкновенного человека, удивляясь его простой, но здоровой философии, и от всего сердца обняли его. Вот вам преступники, господа сочинители и исполнители уголовных законов и общественных учреждений! Вы скажете, это исключение\*. Да, исключение; но кто вам-то дал право отнимать все будущее у подобного вам? Это дело одного Бога. Вы же можете быть одними только нравственными врачами. Лечите, старайтесь лечить как можно искуснее, не вредя здоровых органов, и когда вылечите, возвратите обществу его члена, который может быть для него полезнее многих других, и в особенности своим примером, а не клеймите его вечным позором.

В Восточной Сибири существует обыкновение, которое показывает, какими глазами сельское народонаселение смотрит на беглых, оставляющих нередко места своих работ или ссылки вследствие тяжких работ, дурного обращения местного начальства или худого содержания. В каждом селении при домах вы увидите под окнами небольшие полки, на которые кладут на ночь ржаной хлеб, пшеничные булки, творог и крынки

---

\* Я бы мог привести здесь еще один пример человека, совершившего ужасное преступление, которого потом не только я, но и все те, которые были с нами знакомы, знали за добродетельнейшего и честнейшего человека. Не смею ни назвать его, ни говорить о нем, потому что он еще жив, и я боюсь, чтобы как-нибудь случайно эти записки не растравили его раны.

с молоком и простоквашею. Беглые, проходя ночью селение, берут это все с собою, как подаяние. Это обыкновение вместе с тем избавляет жителей от воровства, ибо от недостатка в пище беглецы поневоле должны прибегнуть к покушению на собственность.

Простясь с добрым и умным нашим Ермолаем, мы отправились далее. Верст за 200 от Иркутска, на одном из этапов, явился к нам только что выпущенный из Академии военный медик, очень милый и добрый юноша. Он только что прибыл к своей должности и очень жаловался на судьбу свою, которая предназначила ему жить в отдаленном краю и в таком месте, где нет ни общества, ни способов к занятиям, ни развлечения для человека, сколько-нибудь образованного. Я нарочно упоминаю здесь об этой встрече, чтобы показать, как мало заботятся у нас о том, чтобы по окончании воспитания доставлять молодым людям средства к дальнейшему своему образованию и предохранить их от пагубных следствий скуки, бездеятельности и одиночества. Проезжая это же селение чрез 10 лет, когда мы с Ивашевым ехали из Петровского завода в Туринск, к нам явился тот же медик, но уже не тот человек. Он вошел к нам нетрезвый, с распухшим лицом, в изорванном сюртуке, который едва влез на его толстую, можно сказать, безобразную фигуру. Я позабыл было о первой моей с ним встрече, и хотя нам вовсе неприятно было его присутствие, тем более, что тут была супруга Ивашева, но из вежливости мы пригласили его напиться с нами чаю. Когда мы несколько разговорились с ним, я узнал в нем прежнего юношу и напомнил ему о первом нашем свидании. Лишь только я об этом упомянул, он, бедный, залился горькими слезами. «Боже мой,—вскричал он,—как изменился я с тех пор, что я теперь, на что гожусь? Ни за что бы не пришел к вам, если б знал, что мы виделись прежде. Мне совестно даже самого себя, а всему причиною проклятое это место; сколько я ни просил, как ни старался, чтобы меня перевели отсюда, начальство не обращало внимания на мои просьбы. Скука погубила меня: никакого занятия, никакого развлечения и никакого общества. Один только этапный офицер, и тот из солдат, грубый, нетрезвый. Придешь к нему—сейчас водка. Я стал пить, женился на крестьянке и теперь уже совершенно освоился с своим положением, так что, если бы и захотели меня перевести отсюда, я бы не согласился. В другом месте, в другом обществе я уже не гожусь». Вскоре он вышел от нас, извиняясь, что беспокоил, и прося нас пожалеть о нем. Сколько погибает таким образом дельных и умных людей, которые при другой обстановке, и в особенности в первое время молодости, были бы полезными членами общества!

Наконец мы прибыли в Иркутск. Это было поздно вечером. Нас подвезли к острогу и поместили в особой комнате. Сейчас явился полицеймейстер, обошелся с нами очень вежливо, спросил, не имеем ли мы в чем надобности, и распорядился нашим ужином. У меня дорогой сделался флюс, от которого я очень страдал, будучи беспрепятственно на холоду, и я попросил его переговорить с доктором. Он обещал свозить

меня к нему на другой день утром. Отведенная нам комната была обширна, но очень неопрятна; около стен были нары, на которых мы расположились ночевать. Утром, лишь только мы напились чаю, приехал опять полицеймейстер и городской голова купец Кузнецов, впоследствии сделавшийся известным своим богатством и огромными пожертвованиями на пользу общественную. Полицеймейстер предложил мне ехать с ним к инспектору врачебной управы. Мы отправились. Инспектор, старичок, с простодушной физиономией, лишь только узнал мою фамилию, бросился обнимать меня. Оказалось, что он некогда, до моего еще рождения, был домашним медиком в доме моего деда и знал все наше семейство. Он плакал, смотря на меня, и с большим усердием оказал мне необходимую помощь. Продержав меня более часа и снабдив лекарствами и советами, он трогательно, с участием, простился со мной. Вскоре по возвращении моем в острог прибыл к нам генерал-губернатор Восточной Сибири Лавинский<sup>95</sup>, ласково обошелся с нами, предложил зависящие от него услуги, но при разговоре старался избегать слова «вы», а говорил с нами в третьем лице, обращаясь более к бывшим тут чиновникам, а не к нам. Это было и странно, и смешно, даже неловко ему самому. Может быть, возвратясь только из Петербурга, он имел особенные приказания насчет нас от государя и, соображаясь с ними, хотел в присутствии чиновников показать, что мы потеряли уже право на принятые в образованном обществе условия. Странно только было то, что высший государственный сановник мог думать о таких мелочах.

Мы прибыли в Иркутске около недели. Тут узнали мы кое-что о распоряжениях правительства на счет наш. Узнали, что назначен и что уже прибыл в Читу, Нерчинского округа, определенный собственно к нам комендант, генерал Лепарский<sup>96</sup>, с некоторыми другими должностными лицами из военных, что в Чите наскоро приготовлено для нас помещение, обнесенное тыном, и что некоторые из прежде отправленных наших товарищей находились уже там. Все эти сведения были для нас не совсем приятны; одно только было утешительство знать, что все мы будем вместе, а на людях и умереть красно, как говорит пословица.

Из Иркутска отправили нас с казацким сотником и четырьмя казаками в Читу. Тут мы расстались с провожавшими нас жандармами и тобольским частным приставом. Все они так были с нами вежливы, так внимательны к нам, что мы не могли нахвалиться ими и не оставаться им признательными. Частный пристав не иначе называл Фонвизина, как превосходительным, и не хотел слушать, когда мы говорили ему, что лишены чинов и всех титулов. В Иркутске мы встретили также нашего фельдъегеря, которому приказано было, оставив нас в Тобольске, догнать прежде отправленную партию, в которой находился Завалишин, взять его одного и доставить в Иркутск. Решительно не понимаю причины этого распоряжения<sup>97</sup>.

Много возни у нас было с нашим сотником, несмотря на то, что он очень хорош был с нами. К несчастью, он имел страсть к горячим

напиткам и взял с собой целый бочонок водки, из которого на каждой станции тянул неумеренно, предлагая беспрестанно и нам следовать его примеру. Ни советы, ни просьбы наши, ни увещания ничего не помогало, и мы должны были покориться необходимости, ожидая с нетерпением прибытия в Читу.

Мы приехали туда вечером, довольно поздно, не застав ни коменданта, ни плац-майора: они были в это время в Нерчинских заводах, где находились первые восемь человек наших товарищей, отправленных туда сейчас после сентенции. Принял нас поручик Степанов и поместил в какое-то небольшое деревянное здание, окруженное тыном. Все это здание состояло из двух небольших комнат, разделенных сенями, и третьей, очень маленькой, отгороженной в самых сенях. Нас поместили в одной из них. В другой находились прежде прибывшие товарищи наши: два брата Муравьевых, Анненков, Свистунов, Завалишин, Торсон и два брата Крюковых. Мы слышали, как они говорили между собою, но нам не позволено было в этот вечер с ними видаться. Офицер Степанов освидетельствовал наши вещи, обошелся довольно грубо, поставил караул и, уходя, запер из сеней дверь, отдав ключ часовому. Никогда не видел я такого сходства в наружности, как у этого офицера, с гр. Аракчеевым. Оно так было поразительно, что впоследствии мы не иначе звали его, как Аракчеевым, и сомневались, не побочный ли он его сын. Оставшись одни, без огня, мы кое-как поместились на бывших тут нарах и легли спать вовсе не с утешительными мыслями. Мы опасались, что и здесь нам будет воспрещено сообщаться свободно с товарищами, и очень обрадовались, когда на другой день утром, лишь только отворили нашу дверь, все они вошли к нам, радушно нас приветствовали и пригласили в свою комнату пить чай. Вслед за нами стали приезжать и другие. Каждые три дня прибывала новая партия из трех или четырех человек. Сначала помещали их в наш домик, а потом, когда сделалось уже очень тесно, в другой, устроенный таким же образом, на противоположном конце селения. К концу зимы, т. е. к апрелю месяцу, съехалось нас более 70 человек. Половина занимала один дом, а другая поместилась в другом. В это время приехали уже и несколько дам. Жена Муравьева первая, потом Фонвизина, Нарышкина, Ентальцева. Они жили в наемных квартирах у жителей, и им позволено было видаться с мужьями два раза в неделю в казематах, в присутствии офицера. Комендант тоже вскоре прибыл из Нерчинска, был у нас и обошелся ласково, хотя и официально.

Помещение наше было чрезвычайно тесно. В первой комнате, аршин восьми длины и пяти ширины, жило человек 16; во второй, почти того же размера,— тоже 16, а в третьей, маленькой,— 4 человека. В другом домике было, кажется, еще теснее. На нарах каждому из нас приходилось по три четверти аршина для постели, так что, перевертываясь ночью на другой бок, надобно было непременно толкнуть одного из соседей, особенно имея на ногах цепи, которых на ночь не снимали и которые при всяком неосторожном движении производили необыкновенный шум и чувстви-

тельную боль. Но к чему не может привыкнуть, чего не может перенести молодость! Мы все спали так же хорошо, как на роскошных постелях и мягких пуховиках.

Теснота эта была еще ощутительнее днем. Пространства для движения было так мало, что всем нам не было никакой возможности сходить с нар, притом шум от железа был так силен, что надобно было очень громко говорить, чтобы слышать друг друга. Сначала нам позволяли гулять только по двору, но потом не воспрещено выходить днем, когда вздумается. При такой тесноте это дозволение было почти необходимо: в противном случае, без воздуха и движения, могли открыться поварельные болезни. Двор был небольшой, обнесенный высоким тыном, около которого на каждой стороне находился часовой, а в воротах — два; следовательно, опасаться было нечего.

При посещении дамами мужей своих выводили всех тех, кто помещался в комнате, назначенной для свидания. Разумеется, в хорошую погоду мы уходили сидеть или гулять по двору, но в худую собирались все в другую и тогда решительно помещались в ней, как сельди в бочонках. Обед нам готовили общий. Он обыкновенно состоял из супа или щей и из каши с маслом. Приносили все это в деревянных ушатах, откуда мы уже брали кушанье в тарелки. В обеденное время вносились в комнату козлы, на них клались доски, покрывались кое-как салфетками и скатертями, и на этом столе становилось кушанье. Садились же мы где было только можно: и около стола, и на нарах, одним словом, в самом разнообразном беспорядке. Ужинали тоже кое-как, и стоя, и ходя. Всякий брал свой кусок вареного мяса и ел, как и где хотел. Часто случалось, что, улегшись ночью на узенькой постели своей, состоявшей из войлока, вдруг почувствуешь что-то твердое под боком и вынешь кость, оставшуюся после ужина или обеда.

Правительство назначало нам на содержание шесть копеек меди в сутки и в месяц два пуда муки, по общему положению всех ссыльно-рабочих. Разумеется, этого не могло доставать не только на все содержание, но даже и на одну пищу. Но как некоторые из нас привезли с собою деньги, отданные ими коменданту, к тому же дамы с своей стороны радушно уделяли часть своих денег, то из всего этого составила артельная сумма, которая расходовалась на общие наши потребности.

Кроме того, дамы присылали нам кофе, шоколад и различные кушанья, служившие нам вроде лакомства. Из книг, привезенных каждым из нас, составила порядочная библиотека, которою все могли пользоваться, и это было одним из самых приятных наших занятий, самых полезных и действительных развлечений.

Нам назначены были дни работы. Каждый день, исключая праздников, нас выводили за конвоем, на три часа поутру и на два после обеда, засыпать какой-то ров на конце селения. Мы были очень рады этим работам, потому что они позволяли нам видаться с товарищами нашими из другого каземата. Работать же нас не принуждали: свезя несколько тачек

земли, мы обыкновенно садились беседовать друг с другом или читали взятую с собой книгу, и таким образом проходило время работы... Ров этот, не знаю, кто-то из нас назвал Чертовой могилой, и говорят, что он до сих пор носит это название. Впоследствии придумали нам другую работу: устроили ручную мельницу в несколько жерновов и водили туда молоть хлеб. Но и там мы почти ничего не делали, толковали, читали, играли в шахматы и только для виду подходили минут на десять к жерновам и намалывали фунта по три такой муки, которая ровно никуда не годилась. Должно отдать в этом случае справедливость коменданту, который по доброте своей смотрел на все это сквозь пальцы и поступал с нами вообще очень снисходительно и человеколюбиво.

Нам воспрещено было писать самим к нашим родным. В этом отношении, как во многих других, касающихся до ограничения свободной воли человека, нас подчинили одинаковым правилам с простыми ссыльно-рабочими; в иных же случаях лишали и последнего остатка той свободы, которою они пользовались. Приезд и пребывание дам много облегчили судьбу нашу. Им нельзя было воспретить писать, и они с удовольствием приняли на себя обязанность наших секретарей, т. е. писали от себя, по поручению и от имени каждого из нас к родным и тем восстановили переписку и поддерживали родственные связи наши. Не прошло и трех месяцев, как большая часть из нас стали получать от родных письма и пособие.

С другой стороны, даже и в отношении нашего тюремного быта, нашего содержания, обращения с нами должностных лиц присутствие их было истинно благотельно. Через них мы могли говорить с комендантом как люди свободные, не подвергаясь ответственности в нарушении той зависимости, на которую обрекал нас приговор наш. Они были свидетелями, можно сказать, участницами нашей жизни и вместе с тем пользовались всеми правами своими, следовательно, не только могли жаловаться частным образом родным своим, но даже самому правительству, которое поневоле должно было щадить их, чтобы не восстановить против себя общего мнения, не заслужить упрека в явной жестокости и не подвергнуться справедливому осуждению истории и потомства<sup>98</sup>. Не раз, по своему незнанию гражданских и уголовных законов, не признавая той неограниченной власти, которую правительство имеет над осужденными, основываясь только на чувстве справедливости и человеколюбия, они вступали, при какой-нибудь стеснительной в отношении нас мере, в борьбу с комендантом и говорили ему в глаза самые жестокие, самые колкие слова, называя его тюремщиком и прибавляя, что ни один порядочный человек не согласился бы принять на себя эту должность, иначе как только с тем, чтобы, несмотря на последствия и на гнев государя, облегчить сколько возможно участь нашу; что если он будет поступать таким образом, то заслужит не только уважение их, наше, но и уважение общее и потомства; в противном же случае они будут смотреть на него как на простого тюремщика, продавшего себя за деньги, и он оставит по себе

незавидную память. Такие слова не могли не иметь влияния на доброго старика, тем более, что по сердцу своему он находил справедливыми их. «Au nom de Dieu, ne vous échauffez pas, Madame,—отвечал, бывало он им на подобную выходку.—Soyez raisonnable, je ferai tout ce que depend de moi, mais vous exigez une chose qui doit me compromettre aux yeux du gouvernement. Je suis sûr que vous ne voulez pas, qu'on me fasse soldat, pour n'avoir pas suivi mes instructions».—«Eh bien, soyez soldat, general,—отвечали они,—mais soyez honnête homme»\*. Что ему было делать с ними после этого?

С другой стороны, он вскоре должен был почувствовать и к нам не одно только сострадание, но и некоторое уважение. Отложив в сторону всякое самохвальство, можно по совести сказать, что мы вели себя скромно и с достоинством. При первом его посещении, когда он упомянул нам о том зависимом положении, в которое мы поставлены нашим осуждением, все отвечали ему, что мы это знаем очень хорошо, что готовы сносить с терпением все лишения, подчиняться беспрекословно всем распоряжениям, всем стеснительным противу нас мерам, но что об одном только просим его и наперед объявляем, что в этом отношении мы готовы будем лучше лишиться жизни, чем переносить хладнокровно. Эта единственная просьба наша состояла в том, чтобы не оскорблять нас дерзким обращением, но обходиться с нами, как с людьми, у которых осуждение не могло отнять их прежних понятий и их чувств.

Местность Читы и климат были бесподобны. Растительность необыкновенная. Все, что произрастало там, достигало изумительных размеров. Воздух был так благотворен, и в особенности для меня, что никогда и нигде я не наслаждался таким здоровьем. Будучи, как я уже говорил, слабого, тщедушного сложения, я, казалось, с каждым днем приобретал новые силы и наконец до такой степени укрепился, что стал почти другим человеком. Вообще, все мы в Чите очень поздоровели и, приехавши туда изнуренные крепостным заточением и нравственными испытаниями, вскоре избавились от всех последствий перенесенных нами страданий. Конечно, к этому много способствовала наша молодость, но, в свою очередь, климат оказал большую помощь. Отсутствие всяких телесных недугов имело необходимое влияние на расположение духа. Мы были веселы, легко переносили свое положение и, живя между собою дружно, как члены одного семейства, бодро и спокойно смотрели на ожидавшую нас будущность. Каждый из нас, более или менее, старался заниматься чем-нибудь. Иные с помощью книг и товарищей учились неизвестным для них языкам: французскому, немецкому, английскому, по-латыни, по-

---

\* Бога ради, не горячитесь, сударыня, будьте благоразумны: я сделаю все, что от меня зависит; но вы требуете такую вещь, которая может меня компрометировать в глазах правительства. Я уверен, вы не хотите, чтобы меня разжаловали в солдаты за то, что я нарушил данное мне приказание.—Ну что ж, будьте лучше солдатом, генерал, но будьте честным человеком (*фр.*).

гречески, даже по-еврейски; другие занимались математикою, поэзиею, историею, живописью, музыкой и даже ручными ремеслами. Мы устроили на дворе палатку, просиживали там по целым дням с книгою и с грифельною доскою (писать на бумаге не позволялось) и не видели, как шло время. Вечера обыкновенно ходили кучками и толковали о разных предметах. Но всего превосходнее было то, что между нами не произносилось никаких упреков, никаких даже друг другу намеков относительно нашего дела. Никто не позволял себе даже замечаний другому, как вел он себя при следствии, хотя многие из нас обязаны были своею участью неосторожным показаниям или недостатку твердости кого-либо из товарищей. Казалось, что все недоброжелательные помыслы были оставлены в покинутых нами казематах и что сохранилось во всех одно только взаимное друг к другу расположение.

Помню, что в первое время нашего пребывания в Чите мы очень много толковали о возможности освободиться из нашего заключения, и вспоминаю об этом потому более, что в настоящее время предположение наше плыть по Амуру до Сахалина вполне оправдалось<sup>99</sup>. Дело состояло в том, чтобы обезоружить караул и всю команду, находившуюся в Чите, задержать на время коменданта и офицеров и потом, присоединив к себе тех, которые согласятся пристать к нам, и запасясь провиантом, оружием, снарядами, наскоро построить барку или судно, спуститься реками Аргунем и Шилкою в Амур и плыть им до самого устья его, а там уже действовать и поступать по обстоятельствам. Этот план, я уверен, очень мог быть исполнен. Нас было 70 человек, молодых, здоровых, решительных людей. Обезоружить караул и выйти из казематов не представляло никакого затруднения, тем более, что большая часть солдат приняла бы сейчас нашу сторону. Вся команда состояла из ста с небольшим человек, и можно наверное предположить, что половина присоединилась бы к нам. Офицеры и комендант не могли бы нам противиться. Пока дошло бы сведение о действиях наших в Иркутск и пока приняли бы меры против нас, мы легко могли построить судно, нагрузиться и уплыть в Амур, следовательно, быть вне преследования. В Чите мы нашли бы необходимое — провиант, снаряды, и оружие — в достаточном количестве для нашего путешествия. Плавание по Амуру, как оказалось это впоследствии экспедициею генерал-губернатора Муравьева, совершалось бы без особенных препятствий. Одним словом, вероятности в успехе было много, более чем нужно при каждом смелом предприятии. Но с другой стороны, представлялись и затруднения: неожиданное сопротивление со стороны команды, следовательно, необходимость прибегнуть к силе оружия, погубить, может быть, несколько невинных жертв, одним словом, взять на совесть пролитие крови единственно для своего только освобождения. Притом непредвидимые случайности, например, нечаянное, преждевременное открытие нашего намерения комендантом или офицерами, недостаток решимости в ком-либо из нас в последнюю минуту. Наконец, вопрос, как поступить с дамами: оставить их (на что, вероятно, они бы не согласились)



в руках раздраженного правительства или, взявши с собою, подвергнуть всем лишениям, всем опасностям нашего дерзкого, неверного предприятия. обстоятельно поразмыслив обо всем этом и находя возражения некоторых более осторожных наших товарищей основательными, пылкая молодежь должна была согласиться с ними и перестала думать и толковать об освобождении своем.

В это время случилось в нашем каземате происшествие, которое могло иметь очень худые для нас последствия, где выказалось благообразие и расположение к нам коменданта. Раз как-то г-жа Муравьева пришла на свидание с мужем в сопровождении дежурного офицера. Офицер этот, подпоручик Дубинин, не напрасно носил такую фамилию и сверх того в этот день был в нетрезвом виде. Муравьев с женой остались, по обыкновению, в присутствии его в одной из комнат, а мы все разошлись: кто на дворе, кто в остальных двух казематах. Муравьева была не очень здорова и прилегла на постели своего мужа, говорила о чем-то с ним, вмешивая иногда в разговор французские фразы и слова. Офицеру это не понравилось, и он с грубостью сказал ей, чтобы она говорила по-русски. Но она, посмотрев на него и не совсем понимая его выражения, спросила опять по-французски мужа: «Qu'est ce qu'il veut, mon ami?» [Чего он хочет, мой друг? (фр.) — *Сост.*]

Тогда Дубинин, потерявший от вина последний здравый смысл свой и полагая, может быть, что она бранит его, схватил ее вдруг за руку и неистово закричал: «Я приказываю тебе говорить по-русски». Бедная Муравьева, не ожидавши такой выходки, такой наглости, закричала в испуге и выбежала из комнаты в сени. Дубинин бросился за ней, несмотря на усилия мужа удержать его. Большая часть из нас, и в том числе и брат Муравьевой, гр[аф] Чернышев, услышав шум, отворили из своих комнат двери в сени, чтобы узнать, что происходит, и вдруг увидели бедную женщину в истерическом припадке и всю в слезах, преследуемую Дубининым. В одну минуту мы на него бросились, схватили его, но он успел уже переступить на крыльцо и, потеряв голову, в припадке бешенства закричал часовым и караульному у ворот, чтобы они примкнули штыки и шли к нему на помощь. Мы, в свою очередь, закричали также, чтобы они не смели трогаться с места и что офицер пьяный, сам не знает, что приказывает им. К счастью, они послушали нас, а не офицера, остались равнодушными зрителями и пропустили Муравьеву в ворота. Мы попросили старшего унтер-офицера сейчас же бежать к плац-майору и звать его к нам. Дубинина же отпустили тогда только, когда все успокоилось и унтер-офицер отправился исполнять наше поручение. Он побежал от нас туда же. Явился плац-майор и сменил сейчас Дубинина с дежурства. Мы рассказали, как все происходило; он просил нас успокоиться; но заметно было, что он боялся, чтобы из этого не вышло какого-нибудь серьезного дела и чтобы самому не подвергнуться взысканию за излишнюю к нам снисходительность. Коменданта в это время не было в Чите. Его ожидали на другой или на третий день. До приезда его

нас перестали водить на работу для того, чтобы мы не могли сообщаться с прочими товарищами нашими, и вообще присмотр сделался как-то строже. По возвращении своем комендант сейчас пошел к Александре Григорьевне Муравьевой, извинился перед нею в невежливости офицера и уверил ее, что впредь ни одна из дам не подвергнется подобной дерзости. Потом зашел к нам, вызвал Муравьева и Чернышева, долго говорил с ними и просил, в лице их, всех нас как можно быть осторожнее на будущее время. «Что, если бы солдаты не были так благоразумны,—прибавил он,—если бы они послушались не вас, а офицера? Вы бы могли все погибнуть. Тогда скрыть происшествие было бы невозможно. Хотя офицер и первый подал повод, и он тоже подвергся бы ответственности, но вам какая от того польза? Вас бы все-таки осудили, как возмутителей, а в вашем положении это подвергает бог знает чему. Я уже тогда, кроме бесполезного сожаления, ничем бы не мог пособить вам.» Далее уверил их, что происшествие это он кончит домашним образом, не донесет о нем никому, а переведет только Дубинина в другую команду.

Своим офицерам, а особенно плац-майору, который был его родной племянник, он порядочно намылил голову за то, что они не смотрят за дежурными и допускают их отправлять эту обязанность в нетрезвом виде. Тем кончилось это происшествие. Если бы комендант был недоброжелательный, злой человек, он бы и в этом случае мог подвергнуть нас большим неприятностям, в особенности если бы дело представлено было в превратном смысле.

Между тем, в продолжение лета 1827 г. нам строили другое временное помещение. Я говорю потому временное, что в то же время в Петровском чугунном заводе, в расстоянии 600 верст от Читы, созидался большой тюремный замок, куда правительство намерено было перевести нас, что впоследствии и было исполнено. Это помещение в Чите окончено было к осени, и нас всех перевели туда. Оно заключало в себе две половины, разделенные между собою теплыми сенями или широким коридором. Каждая половина состояла из двух больших комнат, не имевших между собою сообщения. Вход в каждую из них был из коридора. В каждой комнате помещались от 15 до 20 человек довольно свободно. У всякого из нас была особая кровать и подле ночной столик. Посередине оставалось достаточно места для большого стола и для скамеек вокруг него. За этим столом мы обедали, пили чай и занимались. В одном из прежних казематов наших оставлено было человек 15, а другой назначен был для лазарета, на случай болезни кого-либо из нас. Туда водили также на свидание мужей с их супругами. Вскоре, впрочем, стали отпускать первых на собственные квартиры их жен, под конвоем. Офицер уже не присутствовал при их свидании после происшествия с Дубининым.

Осенью и зимою 1827 г. стали прибывать и остальные из наших товарищей, находившиеся в финляндских крепостях. Равным образом привезли и тех 8 человек, которые отправлены были сейчас после сентенции в Нерчинские заводы. С ними приехали и жены двух из них,

княгини Трубецкая и Волконская. Отправившись вслед за мужьями своими в Сибирь, они жили с ними во время их пребывания в заводах. К концу зимы все осужденные на работы находились уже в Чите, исключая Батенкова, Кюхельбекера 1-го, Поджио 1-го, которые, неизвестно, по какой причине, оставлены были в крепостях. Первый пробыл в заточении около двадцати лет, а два другие — около десяти<sup>100</sup>.

Приезд новых товарищей наших, рассказы каждого из них о том, что было с ним после сентенции, о том, что каждый испытал, как провел последнее время и т. д., весьма естественно доставляли предметы разговора в наших беседах. Сверх того, мы, через дам наших, стали получать газеты и журналы. Тогда была война с Персией и потом с Турцией<sup>101</sup>. События этих войн не могли не интересоваться нас. Мы еще не могли забыть военной службы, не могли быть равнодушными к успехам нашего оружия, знали более или менее почти всех действующих лиц наших, от главнокомандующих до последнего генерала. Многие из отличившихся в эти кампании были нашими товарищами, иные даже друзьями. Следовательно, мы с участием следили за каждым успехом русских войск, за каждым подвигом кого-либо из наших знакомых или бывших друзей. Многие из них теперь уже государственными сановниками, известными генералами, администраторами, и я уверен, что до сих пор они сохранили сердечное о нас воспоминание. По крайней мере те из них, с которыми мне случилось видаться, не только не забыли меня, но встретили с прежнею любовью, с прежнею откровенностью, как будто бы между нами не существовало никакого различия в общественном положении. Спасибо им за это, и от души спасибо! Это служит мне доказательством, что я не ошибался в выборе моих юношеских привязанностей. Ныне даже, когда я пишу эти строки, я получил знак душевного воспоминания и дружбы одного из прежних друзей моей молодости, с которым я расстался и не видался более тридцати лет.

Вскоре мы устроили некоторые общие занятия, общие поучительные беседы. Каждое воскресенье многие из нас собирались по утрам читать вслух что-нибудь религиозное, например, собственные переводы знаменитых иностранных проповедников — английских, немецких, французских, проповеди известных духовных особ русской церкви и кончали чтением нескольких глав из Евангелия, Деяний Апостолов или Посланий. Два раза в неделю собирались мы тоже и на литературные беседы. Тут каждый читал что-нибудь собственное или переводное из предмета, им избранного: истории, географии, философии, политической экономии, словесности, поэзии и т. д. Бывали и концерты или вечера музыкальные. Звучные и прекрасные стихи Одоевского, относящиеся к нашему положению, согласные с нашими мнениями, с нашею любовью к отечеству, нередко пелись хором и под звуки собственного сочинения кого-либо из наших товарищей-музыкантов.

Знаменитый наш поэт Пушкин прислал нам в это время свое послание<sup>102</sup>:

Во глубине сибирских руд  
Храните гордое терпенье:  
Не пропадет ваш скорбный труд  
И дум высокое стремление.

Несчастью верная сестра,  
Надежда в мрачном подземелье  
Разбудит бодрость и веселье,  
Придет желанная пора:  
Любовь и дружество до вас  
Дойдут сквозь мрачные затворы,  
Как в ваши каторжные норы  
Доходит мой свободный глас;  
Оковы тяжкие падут,  
Темницы рухнут — и свобода  
Вас примет радостно у входа,  
И братья месь <sup>103</sup> вам отдадут.

Здесь, кстати, помещаю прекрасные стихи покойного товарища нашего поэта Одоевского, написанные в альбом княгини М. Н. Волконской 25 декабря 1829 года, в день ее рождения:

Был край, слезам и скорби посвященный,  
Восточный край, где розовых зарей  
Луч радостный, на небе там <sup>104</sup> рожденный,  
Не улаждал страдальческих очей;  
Где душен был и воздух вечно ясный,  
И узникам кров светлый докучал,  
И весь обзор, обширный и прекрасный,  
Мучительно на волю вызывал.

Вдруг ангелы с лазури низлетели  
С отрадою к страдальцам той страны,  
Но прежде свой небесный дух одели  
В прозрачные, земные пелены,  
И вестницы благие Провиденья  
Явились, как дочери земли,  
И узникам с улыбкой утешенья  
Любовь и мир душевный принесли.

И каждый день садились у ограды,  
И сквозь нее небесные уста  
По капле им точили мед отрады.  
С тех пор лились в темнице дни, лета;  
В затворниках печали все уснули,  
И лишь они страшились одного,  
Чтоб ангелы на небо не вспорхнули,  
Не сбросили покрова своего <sup>105</sup>.

В этих стихах Одоевский так верно, так прекрасно высказал тогда общие наши чувства, что я не считаю нескромностью украсить ими мои воспоминания.

Я бы мог поместить здесь многое из того, что я узнал тогда от товарищей моих, собравшихся вместе, в отношении нашего общества, нашего дела, так и в отношении действий правительства при восстании 14

декабря, во время следствия и после него; но, предположив себе писать только то, в чем я сам участвовал или чему был свидетелем, я ограничиваюсь одними собственными моими воспоминаниями.

В апреле месяце 1828 г. последнему разряду сосланных в работу окончился срок (они были осуждены на два года, а в коронацию им убавили еще год), и потому их отправили на поселение. Прежде еще взяты были присланными из Петербурга фельдъегерями Толстой, Корнилович и отвезены служить на Кавказ солдатами.

Вот имена отправленных в этот год на поселение: Кривцов, Аврамов 2-й, Чернышев, Лисовский, фон Бриген, Ентальцев, Тизенгаузен, Лихарев, Загорецкий, Черкасов и Выгодовский. Им назначены места для водворения в самых северных частях восточной и западной Сибири — в Туруханске, Березове и Пелыме.

Впоследствии некоторым из них разрешено было вступить в службу солдатами на Кавказ, а других перевели на юг, в места, более удобные для жительства.

Горестно нам было расставаться с ними, да и им мало представлялось утешительного в будущей одинокой жизни в северной Сибири, в особенности тем из них, кто не надеялся иметь достаточных способов, у кого не было близких родных или у кого родные были небогатые люди. Дамы наши и в этом случае явились благодетельными гениями. Они по возможности снабжали неимущих отъезжающих бельем, платьем, книгами и деньгами.

По отъезде их опростался и тот каземат, где они оставались при переводе нашем в новое здание. Его занимали теперь, по собственному желанию, Муханов, Ивашев и Завалишин.

При нашей тюрьме был обширный двор, обнесенный тыном. На этом дворе позволено было некоторым из нас построить себе комнаты; другие, в том числе и я, устроили для лета палатки. Мы удалялись туда днем, чтобы свободнее заниматься и избавляться на время от постоянного шума в наших комнатах, необходимого следствия многочисленности и носимых нами цепей.

Еще в 1827 г. прибыла к одному из наших товарищей, Анненкову, невеста его из России. Она была француженка и лично просила государя позволения ехать в Сибирь и соединить с ним свою судьбу, заранее соглашаясь на все условия<sup>106</sup>. Государь удовлетворил ее просьбу. Ей дали подписать бумагу, в которой она отрекалась от прав своих и подчинялась всем ограничениям, всем мерам, которые могут быть приняты в ее отношении при выходе замуж за государственного преступника. Она приехала в Читу летом и дня через три была обвенчана в Читинской церкви. Это была любопытная и, может быть, единственная свадьба в мире. На время венчания с Анненкова сняли железа и сейчас по окончании обряда опять надели и увели обратно в тюрьму и потом поступали с ними, как с другими женатыми, т. е. давали им два раза в неделю свидание на квартире госпожи Анненковой.

Перейдя в новое здание, мы с разрешения коменданта устроили несколько хозяйственную часть свою. Избрали на время хозяина, который заведовал кухнею, заготовлением припасов, покупкою сахара, чая и т. д., и назначили двух смотреть за огородом. Сверх того, в каждой комнате двое из нас по очереди дежурили. Обязанность их состояла наблюдать за чистотой, готовить к обеду стол, брать от хозяина кухни на свою комнату кушанье, готовить к чаю самовары и разливать чай. Во всем этом помогали им нанятые, для каждой комнаты по одному, мальчики. Они носили кушанье, воду, ставили самовары, убирали комнаты и употреблялись на посылки.

Мы пробыли в Чите до июля месяца 1830 г., стало быть, более трех лет. Нам было уже давно известно, что в Петровском Заводе строился для нас тюремный замок и что скоро всех нас туда переведут. Комендант раза два уже ездил туда, чтобы осмотреть и ускорить работы; наконец, сами офицеры объявили нам, что летом этого года мы будем перемещены из Читы.

Хотя читинская тюрьма и не совсем была удобна для нас, особенно зимою, когда наступали жестокие холода и когда надобно было сидеть целый день в не совсем теплой комнате, с маленькими замерзшими окнами, через которые едва проходил свет, и в которой в три часа пополудни было уже так темно, что надобно было зажигать свечи\*; хотя шум от хождения и разговора живших в одной комнате 20 человек мало давал покоя и не позволял заниматься ничем серьезным, но мы так было привыкли к этой жизни, что с сожалением помышляли о предстоящей перемене.

Наконец, комендант объявил нам, чтобы мы собирались к походу в Петровский Завод. Идти туда мы должны были пешком, делая каждый день по одной станции от 20 до 30 верст и пользуясь в три дня одним днем отдыха. Тем, которые были слабого здоровья, и в том числе и мне, позволялось иметь на двух человек собственную повозку, для того чтобы можно было иногда присесть и под которую назначалась обывательская лошадь. Под вещи наши приготовлены были также подводы. Все мы разделены были на две партии. Первая выступила тремя днями ранее. При каждой партии находились офицеры и конвой. Комендант и плац-майор ехали сами по себе и навещали, по усмотрению своему, ту и другую партию. Дамы могли отправляться вперед в Петровский Завод или следовать за нами в собственных экипажах и на свой счет.

В Чите я имел утешение получать письма от родных моих и некоторое пособие.

---

\* Цепи с нас были сняты по Высочайшему повелению осенью 1828 г. вследствие какого-то торжественного события в царской фамилии. По существующим указаниям не следовало нам и носить их, потому что ссылаемые в работы разжалованные дворяне избавлены от ношения цепей, и только при вторичном преступлении, т. е. когда они уже не пользуются правами дворянства, с ними поступают, как с простолюдинами. Но государю угодно было подвергнуть нас и этой мере наказания.

Один из моих братьев находился в турецком походе, писала ко мне жена его. Другой, отставной, живший в деревне, поспешил отвечать на письмо одной из наших дам. Я получил также известие и от родных покойной жены. Оно было горестное: оставленная мною у них пятимесячная дочь моя, единственный залог моего кратковременного союза, скончалась полутора годов. Это последнее известие сильно поразило меня.

Перед выходом нашим из Читы с другом моим Ивашевым случилось такое событие, которое видимо показало над ним благодать Провидения. Я, кажется, упомянул уже, что он, Муханов и Завалишин, по собственной просьбе, остались в прежнем маленьком каземате. Им там было свободнее и покойнее. Я нередко, с разрешения коменданта, бывал у них и просиживал по несколько часов, другие товарищи также посещали их. В свою очередь, и они ходили к нам. Сверх того, мы виделись почти каждый день во время работы. Ивашев, как я замечал, никак не мог привыкнуть к своему настоящему положению и видимо тяготился им. Мы часто об этом говорили между собою, и я старался сколько можно поддержать его и внушить ему более твердости. Ничто не помогало. Он был грустен, мрачен и задумчив. Раз как-то на работе Муханов отвел меня в сторону, сказал мне, что Ивашев готовится сделать большую глупость, которая может стоить ему жизни, и что он нарочно решил мне сказать об этом, чтобы я с моей стороны попробовал отговорить его. Тут он мне объявил, что он вздумал бежать, и сообщил все, что знал о том.

Вот в чем состояло дело. Ивашев вошел в сношение с каким-то бегло-ссыльно-рабочим, который обещался провести его за китайскую границу. Этот беглый завтра же должен был придти ночью к тыну их каземата. Тын уже был подпилен, и место для выхода приготовлено. По выходе из острога они должны были отправиться в ближний лес, где, по словам беглого, было уже приготовлено подземельное жилище, в котором они должны были скрываться, покуда не прекратятся поиски, и где находились уже необходимые на это время припасы. Когда же прекратятся поиски, то они предполагали отправиться к китайской границе и там действовать смотря по обстоятельствам. Этот план был так неблагоразумен, так нелеп, можно сказать, исполнение его до такой степени невозможно, что я удивился, как мог Ивашев согласиться на него. Не было почти никакого сомнения, что человек, соблазнявший его побегом, имел какие-нибудь другие намерения: или выдать его начальству и тем заслужить себе прощение\*, или безнаказанно убить его и завладеть

---

\* Подобное обстоятельство было с известным поляком Высоцким. Один из беглых уговорил его бежать с завода, на котором он находился, и обещал провести в Монголию. Тот поверил ему, и они отправились; но беглый завел его на какой-то островок реки Ангара, так что ему некуда было уйти оттуда, там его оставил, а сам дал знать о его побеге начальству и привел посланный отряд к острову. Из этого сделали блистательное дело храбрости отряда и преданности беглого: офицер, командовавший отрядом (адъютант генерал-губернатора), был переведен в гвардию, солдаты награждены, а беглый прощен. Высоцкого, который и не думал защищаться, взяли, судили и строго наказали<sup>107</sup>.

находящимися у него деньгами; я же знал, что у него они были: приехавши в Читу, он не объявил коменданту 1000 руб., которые привез с собою, и сверх того тайным образом получил еще 500 руб. Об этом сам он мне сказывал.

Выслушав Муханова, я сейчас после работы отправился к Ивашеву, сказал ему, что мне известно его намерение и что я пришел с ним об этом переговорить. Он очень спокойно отвечал мне, что с моей стороны было бы напрасным трудом его отклонять, что он твердо решил исполнить свое намерение и что потому только давно мне не сказал о том, что не желал подвергать меня какой-либо ответственности. На все мои убеждения, на все доводы о неосновательности его предприятия и об опасности, ему угрожающей, он отвечал одно и то же: что уже решил, что далее оставаться в каземате он не в состоянии, что лучше умереть, чем жить таким образом. Одним словом, истощив возражения, я не знал, что делать. Время было так коротко, завтрашний день был уже назначен, и оставалось одно только средство остановить его — дать знать коменданту. Но быть доносчиком на своего товарища, на своего друга — ужасно! Наконец, видя все мои убеждения напрасными, я решительно сказал ему: «Послушай, Ивашев, именем нашей дружбы, прошу тебя отложить исполнение твоего намерения на одну только неделю. В эту неделю обсудим хорошенько твое предприятие, взвесим хладнокровно *le pour et le contre* [за и против (*фр.*) — *Сост.*], и если ты останешься при тех же мыслях, то обещаю тебе не препятствовать». — «А если я не соглашусь откладывать на неделю?» — возразил он. — «Если не согласишься, — воскликнул я с жаром, — ты заставишь меня сделать из любви к тебе то, чем я гнушаюсь, — сейчас попрошу свидания с комендантом и расскажу ему все. Ты знаешь меня довольно, чтобы верить, что я это сделаю и сделаю именно по убеждению, что это осталось единственным средством для твоего спасения». Муханов меня поддерживал. Наконец, Ивашев дал нам слово подождать неделю. Я не опасался, чтобы он нарушил его, тем более, что Муханов жил с ним и мог за ним наблюдать.

На третий день после этого разговора я опять отпросился к Ивашеву, и мы толковали об его намерении. Я исчислял ему все опасности, все невероятности успеха. Он настаивал на своем, как вдруг входит унтер-офицер и говорит ему, что его требует к себе комендант. Ивашев посмотрел на меня; но, видя мое спокойствие, с чувством сказал мне: «Прости меня, друг Басаргин, в минутном подозрении. Но что б это значило? — прибавил он. — Не понимаю». Я сказал, что дождусь его возвращения, и остался с Мухановым.

Ивашев возвратился не скоро. Комендант продержал его часа два, и мы уже не знали, чему приписать его долгое отсутствие. Опасались даже, не открылось ли каким образом нелепое намерение бегства. Наконец, приходит Ивашев, расстроенный, и в несвязанных словах сообщает нам новость, которая и нас поразила. Комендант присылал за ним для того, чтобы передать ему два письма: одно его матери, а другое матушки



будущей жены его, и спросил его, согласен ли он жениться на той девушке, мать которой писала это письмо. Оно адресовано было к матери Ивашева. В нем г-жа Ледантю открывала ей любовь дочери к ее сыну, говорила, что эта любовь была причиною ее опасной болезни, в продолжение которой, думая умереть, она призналась матери в своей к нему привязанности, и что тут же мать дала слово дочери, по выздоровлении ее, уведомить об этом г-жу Ивашеву и, в случае ее согласия и согласия сына, дозволить дочери ехать в Сибирь для вступления с ним в брак. В этом письме она упоминала также, что дочь ее ни за что не открыла тайны своей, если бы Ивашев находился в прежнем положении, но что теперь, когда его постигло несчастье и когда она знает, что присутствием своим может облегчить его участь, доставить ему некоторое утешение, то не задумывается нарушить светские приличия — предложить ему свою руку. Мать Ивашева отправила это письмо, вместе с своим, к графу Бенкендорфу, и тот, с разрешения государя, предписывал коменданту спросить самого Ивашева, согласен ли он вступить в брак с девицею Ледантю.

Ивашев просил коменданта повременить ответом до другого дня. Мы долго рассуждали об этом неожиданном для него событии. Девицу Ледантю он очень хорошо знал. Она воспитывалась с его сестрами у них в доме, и в то время, когда он бывал в отпусках, очень ему нравилась, но никогда он не помышлял жениться на ней, потому что различие в их общественных положениях не допускало его останавливаться на этой мысли. Теперь же, припоминая некоторые подробности своих с ней сношений, он должен был убедиться в ее к нему сердечном расположении. Вопрос о том, будет ли она счастлива с ним в его теперешнем положении, будет ли он уметь вознаградить ее своею привязанностью за ту жертву, которую она принесет ему, и не станет ли он впоследствии раскаиваться в своем поступке, очень его тревожил. Мы с Мухановым знали его кроткий характер, знали все его прекрасные качества, были уверены, что оба они будут счастливы, и потому решительно советовали ему согласиться. Наконец, он решился принять предложение. Разумеется, после этого решения не было уже и помину о побеге. Я даже не знаю, куда девался его искуситель и как он от него отделался. Не возьми я от него слова подождать неделю, легко могло бы случиться, что эти письма не застали бы его в Чите и пришли, когда делались бы о нем розыски, следовательно, не только бы брак его не состоялся, но и сам он по всем вероятностям непременно бы погиб тем или другим образом. Так иногда самое ничтожное обстоятельство, по воле Провидения, спасает или губит человека.

Свадьба Ивашева была уже в Петровском Заводе, и потому я буду говорить о ней в своем месте.

В июле, не помню, которого числа, мы выступили из Читы. Я находился в первой партии; мы с сожалением простились навсегда с местом, где прожили более трех лет и которое оставило в памяти моей

много приятных впечатлений. Небольшое число жителей Читы так полюбили нас, что плакали, расставаясь с нами, и провожали до перевоза, более трех верст от селения. В особенности мы пользовались расположением жены читинского горного начальника г-жи Смольяниновой. Она каждый день присылала нам во время работы завтраки своей стряпни, старалась каждому быть чем-нибудь полезною, но преимущественно расположена была к Анненкову и Завалишину. Дед первого со стороны матери, генерал Якоби, был когда-то генерал-губернатором в Сибири и оказал услугу отцу Смольяниновой. Она не могла этого забыть и считала священным долгом отплатить внуку за благодеяние деда. Прекрасная черта в простой, необразованной женщине. Она даже пострадала за Анненковых и нисколько не сожалела об этом. Письмо, отданное ей г-жою Анненковой и отправленное ею секретно к кому-то из родных Анненкова в Москву, попало в руки правительства. Из него узнали, что оно шло через Смольянинову, и приказали коменданту арестовать ее на неделю. Завалишин впоследствии женился на ее дочери и по окончании своего тюремного заключения жил с ними в Чите.

Поход наш в Петровский Завод, продолжавшийся с лишком месяц в самую прекрасную летнюю погоду, был для нас скорее приятною прогулкою, нежели утомительным путешествием. Я и теперь вспоминаю о нем с удовольствием. Мы сами помирали со смеху, глядя на костюмы наши и наше комическое шествие. Оно открывалось почти всегда Завалишиным, в круглой шляпе с величайшими полями и в каком-то платье черного цвета своего собственного изобретения, похожем на квакерский кафтан. Будучи маленького роста, он держал в одной руке палку гораздо выше себя, а в другой книгу, которую читал. За ним — Якушкин в курточке *à l'enfant*, [детской (*фр.*)]. — *Сост.*], Волконский в женской кацавейке; некоторые в долгополых пономарских сюртуках, другие в испанских мантиях, иные в блузах; одним словом, такое разнообразие комического, что если б мы встретили какого-нибудь европейца, выехавшего только из столицы, то он непременно подумал бы, что тут есть большое заведение для сумасшедших и их вывели гулять. Выходя с места очень рано, часа в три утра, мы к восьми или к девяти часам оканчивали переход наш и располагались на отдых. Останавливались не в деревнях, которых по Бурятской степи очень мало, а в поле, где заранее приготовлялись юрты. Место выбирали около речки или источника на лугу и всегда почти с живописными окрестностями и местоположением. В Восточной Сибири, и особенно за Байкалом, природа так великолепна, так изумительно красива, так богата флорою и приятными для глаз ландшафтами, что, бывало, невольно, с восторженным удивлением, прстоишь несколько времени, глядя на окружающие предметы и окрестности. Воздух же так благотворен и так напитан ароматами душистых трав и цветов, что, дыша им, чувствуешь какое-то особенное наслаждение. При каждой партии находился избранный нами из товарищей хозяин, который отправлялся обыкновенно с служителями вперед на

место отдыха и к приходу партии приготавливал самовары и обед. По прибытии на место мы выбирали себе юрты и располагались в них по четыре или пять человек в каждой. Употребив с полчаса времени на приведение в порядок необходимых вещей и постелей наших, мы отправлялись обыкновенно купаться, потом садились или, лучше сказать, ложились пить чай и беседовали таким образом до самого обеда. Ивашев, Муханов, двое братьев Беляевых<sup>108</sup> и я располагались всегда вместе, в одной юрте. К нам обыкновенно собирались многие товарищи из других юрт. Один из пятерых обыкновенно дежурил по очереди, т. е. разливал чай, приносил обед, приготавливал и убирал посуду. После обеда часа два-три отдыхали, а с уменьшением жара выходили гулять и любоваться местоположением. Потом пили чай, купались и опять беседовали до вечера.

Вечером маленький лагерь наш представлял прекрасную для глаз картину, достойную кисти художника-живописца. Вокруг становилась цепь часовых, которые беспрестанно перекликались между собою; в разных местах зажигались костры дров, около которых сидели в разнообразных положениях проводники наши — буряты, между которыми были и женщины, с своими азиатскими лицами и странными костюмами. В юртах наших светились огни, и в открытый вход их видна была вся внутренность и все то, что происходило в каждой из них. Почти всегда в это время большая часть из нас ходила кучками внутри цепи, около костров, толковали с бурятами и между собою. Вид всего этого был бесподобный, и я часто проводил целые часы, сидя на каком-нибудь пне, восхищаясь окружающею меня картиною. Особенно приятен для нас был день отдыха. Тогда мы оставались на одном месте почти два дня и, следовательно, имели время и хорошенько отдохнуть, и налюбоваться природой, и побеседовать между собою. Лишь только начинало светать, нас обыкновенно будили, и в полчаса мы были уже готовы к походу. Пройдя верст 12 или 15, мы на час останавливались у какого-нибудь источника и завтракали. Рюмка водки, кусок холодной телятины и жареной курицы всегда был в запасе у кого-либо из женатых и радушно предлагался всем. Во время похода многие отходили на некоторое расстояние в стороны и занимались ботаническим исследованием тамошней флоры или сбором коллекции насекомых. Последним предметом любили заниматься братья Борисовы<sup>109</sup>. Они составили за Байкалом и в Сибири огромную и очень любопытную коллекцию насекомых, которую послали, кажется, знаменитому профессору Фишеру<sup>110</sup>. Ботаником нашим был Якушкин.

В партии нашей находился Лунин. Он, по своему оригинальному характеру, уму, образованию и некоторой опытности, приобретенной в высшем обществе, был человек очень замечательный и очень приятный. Большая часть из временщиков того времени (Чернышев, Орлов, Бенкендорф и т. д.) были его товарищами по службе. С Карамзиным<sup>111</sup>, Батюшковым<sup>112</sup> и многими другими замечательными лицами он был в

самых близких отношениях. Мы с любопытством слушали его рассказы о закулисных событиях прошедшего царствования и его суждения о деятелях того времени, поставленных на незаслуженные пьедесталы. Князь Волконский и Никита Муравьев, бывшие тоже в нашей партии, очень занимали нас также своими любопытными разговорами. Первый — член высшей русской аристократии, бывший флигель-адъютант и генерал с 23 лет от роду, отлично участвовал в кампании 1812 г. и находился или при самом государе, или при главнокомандующих, был часто употребляем для исполнения важных поручений и потому много видал и много знал. Говорил он прекрасно, с одушевлением, особенно когда дело шло о военных действиях<sup>113</sup>. Второй — сын воспитателя императора Александра и великого князя Константина, известного Михаила Никитича Муравьева<sup>114</sup>, — был человек с разнообразными и большими сведениями. Он занимал не последнее место в аристократическом петербургском кругу. В доме его матушки, вдовы покойного М. Н., собирались все замечательные люди того времени: Карамзин, Уваров<sup>115</sup>, Оленин<sup>116</sup>, Панин<sup>117</sup> и т. д. Много любопытного, почерпнутого из их рассказов, мог бы я поместить здесь, но удерживаюсь, не желая нарушить принятого мною правила.

Во время путешествия нашего приехали к нам еще две дамы: жена Розена и Юшневская. Последняя, проживая в Тульчине, сообщила мне некоторые сведения о родных покойной жены моей, с которыми она жила в одном месте. Они по отъезде ее собирались ехать на жительство в Петербург, где служил брат жены моей, выпущенный после меня уже из лица.

Наконец, мы стали приближаться к Петровскому Заводу. Прошли г. Верхнеудинск и, следуя далее, останавливались уже в старообрядческих селениях. Вообще они живут в этом краю очень привольно и достаточно. Переведенные туда из России в царствование Екатерины и будучи народом трудолюбивым, трезвым, они скоро разбогатели в своих новых местах. Некоторые из их селений удивляли нас своею величиною и постройкою. Нас принимали они радушно, и мы очень покойно помещались у них во время наших ночлегов.

Верст за сто от Петровского дамы наши уехали вперед для приготовления себе квартир. Некоторые из них (Муравьева, Трубецкая и Анненкова) имели уже детей. Три их дочери, рожденные в Чите, теперь уже замужем и находятся в России с мужьями своими. Вероятно, они уже забыли о месте своего рождения и той обстановке, которая сопровождала их появление на свете и их младенчество.

На последнем ночлеге к Петровскому мы прочли в газетах об июльской революции в Париже и о последующих за ней событиях<sup>118</sup>. Это сильно взволновало юные умы наши, и мы с восторгом перечитывали все то, что описывалось о баррикадах и трехдневном народном восстании. Вечером все мы собрались вместе, достали где-то бутылки две-три шипучего и выпили по бокалу за июльскую революцию и пропели хором

«Марсельезу». Веселые, с надеждою на лучшую будущность Европы, входили мы в Петровское.

Петровский Завод, большое заселение с двумя тысячами жителей, с казенными зданиями для выработки чугуна, с плавильнею, большим прудом и плотиною, деревянною церковью и двумя- или тремястами изб показалось нам, после немногочленной Читы, чем-то огромным. Входя в него, мы уже могли видеть приготовленный для нас тюремный замок — обширное четвероугольное здание, выкрашенное желтой краской и занимавшее, вместе с идущим от боков его тыном, большое пространство; жилое строение, т. е. то, где находились наши казематы, занимало один фас четвероугольника и по половине боковых фасов. К ним примыкал высокий тын и составлял две другие половины боковых фасов и весь задний. Пространство между тыном назначалось для прогулок наших. В середине переднего фаса находились гауптвахта и вход во внутренность здания.

Все здание разделялось на двенадцать отделений; в каждом боку находилось по три; в наружном же фасе, по обеим сторонам гауптвахты, — шесть. Каждое отделение имело особый вход со двора и не сообщалось с другим. Оно состояло из коридора и пяти отдельных между собою номеров, из которых выходы были в общий коридор. Этот коридор был теплый, и из него топились печи, гревшие номера. Перед самым входом с гауптвахты на дворе было еще особое строение, заключавшее в себе: кухню, кладовую и обширную комнату, предназначенную для общего стола. Сверх того внутри здания были отдельные дворы, окруженные тыном, так что для четырех отделений: 1-го, 2-го, 11-го и 12-го (если начинать считать их с последнего из боковых) — были особые дворы; для 3-го, 4-го, 5-го — один общий; для 8-го, 9-го и 10-го — тоже общий; а для двух средних, 6-го и 7-го, находившихся по бокам ворот, — один большой двор, общий с кухонным строением.

Нас разместили сейчас же по приходе в наши казематы. Нескольким из нас, по недостатку номеров, досталось жить по двое. Комнаты наши было довольно просторны и высоки, но без окон. Свет проходил в дверь, которая была прямо против коридорного окошка, так что мы должны были помещать столы наши у этой двери, оставляли только проход и занимались чтением или другим чем-нибудь, сидя прямо против нее. Для этого она и оставалась целый день отворенною. На ночь нас запирали, но не поодиночке каждого в своем номере, а целое отделение со двора. При каждом отделении был сторож, инвалидный солдат.

В Петровском Заводе я провел шесть лет и всегда с удовольствием, с признательностью ко всем товарищам моим вспоминаю об этом времени. Не могу даже не быть благодарным и доброму коменданту, старику Лепарскому, и всем офицерам, назначенным для надзора за нами. Постараюсь изложить и нашу там жизнь, и те события в нашем маленьком обществе, нашем отдельном номере, которые сохранились у меня в памяти.

По прибытии в Завод нас некоторое время не водили на работы, а дали отдохнуть от похода и устроиться в новом нашем жилище. Мужьям позволили прожить несколько дней с женами в их домах. Говорю, в их домах, потому что каждая из дам, живши еще в Чите, или построила себе, или купила и отделала свой собственный домик в Петровском Заводе. Это исполнили они не сами, а поручили, с согласия коменданта, кому-то из знакомых им чиновников, так что, по прибытии их туда, дома для всех были уже готовы. Одни только две новоприехавшие Юшневская и Розен не имели собственных домов и поместились в наемных квартирах. В первые дни в нашей общей тюрьме было вроде хаоса: раскладывались с вещами, заказывали какую-нибудь необходимую мебель, придумывали, как лучше поместиться в своей комнате, чтобы пользоваться коридорным светом, бегали из одного номера в другой, отыскивали товарищей, осматривали отделения и все внутренние постройки тюремного замка, сходились в общую залу к обеду и к ужину, пили чай по разным местам, потому что у каждого не было ни особого самовара, ни собственного сахара и чаю. Но это продолжалось недолго и подало мысль к устройству общей артели, которая в продолжение всего нашего пребывания в Петровском так обеспечивала нашу материальную жизнь и так хорошо была придумана, что никто из нас во все это время не нуждался ни в чем и не был ни от кого зависим. Я не лишним считаю поместить здесь полный устав нашей большой артели. Он объясняет подробно как цель, так и весь механизм этого вполне оправдавшего себя учреждения. Разумеется, что все это делалось с ведома коменданта и было им одобрено. Женатые не пользовались ничем из артели, подписывая между тем значительные ежегодные взносы: Трубецкой — от 2 до 3 т. ассиг., Волконский — до 2 т., Муравьев — от 2 до 3 т., Ивашев — до 1000, Нарышкин и Фонвизин — тоже до 1000 рублей.

Те из холостых, которым присылали более 500 р[уб] в год, вносили в полтора раза или вдвое противу получаемого ими из артели, кто 800, а кто и 1000. Остальные, по уставу, отдавали все присылаемые деньги, так что не было ни одного года, в который бы не доставалось каждому члену артели пятисот рублей ассигнациями. Из экономической суммы и из суммы маленькой артели, о которой я буду говорить ниже сего, отъезжающие на поселение получали временное пособие от 600 до 800 [руб] на каждого человека.

## УСТАВ АРТЕЛИ

### I

#### *Цель учреждения артели*

§ 1. Опыт нескольких лет удостоверил нас в необходимости иметь всегда налицо определенную сумму денег, которая могла бы служить как для обеспечения общественных издержек, так и для удовлетворения

потребностей каждого лица. Положительное назначение суммы на наступающий год, во-первых, доставляет хозяину возможность располагать ею с большою выгодною для артели и сделать годовые и срочные закупки; во-вторых, может некоторым образом отвратить затруднительное положение, в каком вся артель и каждый участник иногда находились от замедлительной присылки денег.

## II

### *Средства к учреждению*

§ 2. Для достижения сей цели составляется годовая общественная сумма.

§ 3. Составление этой суммы производится следующим образом:

- a) Подпискою на взносы.
- b) Жалованьем от казны.
- c) Суммою от продажи экономической муки.

§ 4. Подписка на содержание артели должна быть кончена к 1-му числу февраля.

§ 5. Сумма из пятисот рублей ассигн. принята за необходимую на полное годовое содержание каждого потребляющего лица, и на основании этого она производится таким образом:

- a) Все участники артели, получающие 500 р., подписывают их сполна.
- b) Получающие менее 500 р. подписывают все, что получают.
- c) Получающие более 500 р. подписывают непременно 500, а свыше сей суммы по желанию.

§ 6. При подписке означаются вероятнейшие сроки взносов.

§ 7. Подписная сумма обращается в действительную следующим образом:

- a) Подписавшие 500 р. и менее вносят их немедленно по получении.
- b) Подписавшие свыше 500 р. вносят их, если возможно, в сроки, ими назначенные.

## III

### *Назначение сумм*

§ 8. Сложность общественной суммы разделяется на три части: на хозяйственную, частную и экономическую.

- a) *Хозяйственная сумма* назначается на продовольствие всех участников артели в совокупности.
- b) *Частная сумма* назначается на удовлетворение частных потребностей каждого лица отдельно.
- c) *Экономическая сумма* назначается частью заимообразно на хозяйственные артельные обороты и частью для выдачи отъезжающим из тюрьмы.

§ 9. *Хозяйственная сумма* определяется наибольшим количеством денег, назначаемых на годовое продовольствие одного лица, помноженным на число потребляющих лиц.

§ 10. *Частная сумма* составляется от остающейся от определенной на полное годовое содержание, по вычету из оной всей хозяйственной суммы.

§ 11. *Экономическая сумма* составляется:

- а) из пяти процентов общественной суммы, немедленно отделяемых по переводе денег из собственности подписавшихся лиц в общественную сумму;
- б) из избытка действительной суммы над определенною на полное годовое содержание артели и
- с) из экономии хозяйственной суммы.

§ 12. *Экономическая сумма* разделяется: на *закупную* и *запасную*:

- а) *Закупная сумма* составляется: 1) из пяти процентов подписной суммы, 2) из половины избытка действительной суммы над определенною на полное годовое содержание артели и 3) из половины экономии хозяйственной суммы.  
*Закупная сумма* назначается заимообразно на хозяйственные обороты и должна состоять в наличности к 1 февралю каждого года.
- б) *Запасная сумма* образуется: 1) из другой половины избытка действительной суммы над определенною на полное годовое содержание и 2) из другой половины экономии хозяйственной суммы. *Запасная сумма* назначается для выдачи отъезжающим из острога и должна быть всегда в наличности.

#### IV

##### *Свойство наличной суммы*

§ 13. Всякая подписная сумма, поступившая в наличность, становится безвозвратно общественною собственностью.

#### V

##### *Разделение наличных сумм*

§ 14. Разделение наличной общественной суммы на хозяйственную и частную бывает правильным и неправильным.

- а) Правильное разделение наличной суммы должно быть соразмерно определенному в смете годовому разделению сумм, а именно на сей 1832-й год (по исключении пяти процентов в экономическую сумму) 237 рублей на каждого участника в хозяйственную и 248 р. 80 к. в частную.
- б) Неправильное разделение есть несоразмерное годовому разделению сумм.



§ 15. Если на удовлетворение хозяйственных потребностей достаточно будет суммы, отчисленной по правильному разделению, то оно и должно быть правильно: если же недостаточно, то в таком случае оно становится неправильным и производится сообразно с прилагаемой таблицей, составленной на текущий год.

*Таблица допускаемого неправильного разделения сумм (1832).*

Месяцы	Хозяйственная сумма		Участковая сумма	
	Что следует	Что можно выдать	Что следует	Что можно выдать
Март	19.75	40	20.73	0
Апрель	19.75	24	20.73	16
Май	19.75	16	20.73	24
Июнь	19.75	16	20.73	24
Июль	19.75	18	20.73	22
Август	19.75	20	20.73	22
Сентябрь	19.75	21	20.73	20
Октябрь	19.75	20	20.73	20
Ноябрь	19.75	20	20.73	20
Декабрь	19.75	16	20.73	24
Январь	19.75	14	20.73	26
Февраль	19.75	12	20.73	30.80
Итого	237	237	248.80	248.80

## VI

### *Движение сумм*

§ 16. Хозяйственная наличная сумма обращается единственно на хозяйственные закупки.

§ 17. Частная сумма наличная разделяется на равные участки по числу лиц, состоящих в артели, и поступает навсегда в неприкосновенную собственность каждого участника.

## VII

### *Управление суммами*

§ 18. Годовое управление общественными суммами и обороты оными зависят от двух комиссий.

- а) От временной, которая дает суммам годовое направление, т. е. утверждает смету, составленную хозяином на наступающий хозяйственный год, начинающийся с 1-го марта и продолжающийся по 1-е число того же месяца следующего года.
- б) От постоянной комиссии, называемой хозяйственной, которая заведывает распределением и движением сумм на основании сметы, утвержденной временною комиссией.

§ 19. Временная комиссия, составленная из пяти избранных членов, собирается обыкновенно перед выборами хозяина и казначея и, сверх утверждения сметы, имеет целью:

- а) Проверку общественных счетных книг.
- б) Рассмотрение устава и предложение необходимых в оном изменений на общее разрешение.
- с) Распоряжение при выборах в общественные должности.
- д) Передачу хозяйства новоизбранным лицам.

§ 20. Временная комиссия по исполнению помянутых обязанностей немедленно расходуется.

§ 21. Хозяйственная комиссия состоит из трех ежегодно избираемых лиц: *хозяина, закупщика и казначея*, которые имеют голос и во временной комиссии, при составлении и утверждении смет.

§ 22. В хозяйственной комиссии хозяин есть блюститель хозяйственных общественных выгод, закупщик — частных, а казначей — посредник между ими обоими.

§ 23. Хозяйственная комиссия распределяет общественную сумму на хозяйственную и частную; обращает часть хозяйственных сумм на гуртовые закупки, разрешает на ссуды из запасной суммы; предварительно рассматривает условия и контракты, заключаемые хозяином и закупщиком, поверяет ежемесячно частные и общественные книги, и по окончании поверки два члена сей комиссии, хозяин и закупщик, подписывают счета, ими рассмотренные. Комиссии вменяется также в обязанность заботиться о размене звонкой монеты, если она прислана будет на имя кого-либо из участников артели. Наконец, пред истечением хозяйственного года комиссия делает оценку припасам, оставшимся от годового продовольствия, и причисляет их ценность к экономической сумме.

## VIII

### *Должность хозяина*

§ 24. Хозяин, избираемый на год, принимает по описи от своего предместника все, входящее в состав общественного хозяйства.

§ 25. Хозяин составляет смету на наступающий год и представляет ее временной комиссии на утверждение.

§ 26. Если по непредвидимой дороговизне припасов цены будут превосходить смету, то недостаток сумм, происходящий от повышения цен, вознаграждается соразмерным уменьшением выдачи чаю и сахару. Но ни в каком случае хозяин не может выйти из пределов, поставленных в смете.

§ 27. Приступая к хозяйственным гуртовым закупкам сахара и чая, хозяин обязан спросить, не желает ли кто выписать их и на собственные деньги.

§ 28. При том же самом случае он обязан тоже спросить, не пожелает ли кто за свою долю чаю и сахару получить деньгами.

§ 29. Выдача чаю и сахару производится хозяином в общей комнате в день, им заранее объявленный.

§ 30. Хозяин избирает выгодное время для продажи экономической муки и извещает письменно казначея о количестве вырученных денег.

§ 31. Хозяин ведет валовую домашнюю книгу прихода и расхода и сообщает ее казначею для выписки за два часа до оной.

§ 32. Хозяин обязан вести очередь наблюдающим за чистотою на кухне и уведомляет за неделю до того, чья очередь наступает.

§ 33. Все служители, состоящие при кухне и бане, находятся в полном распоряжении хозяина: он обязан при найме сих служителей объявить им, что они немедленно должны исполнять всякое частное приказание, имеющее целью услугу для внезапно заболевшего в ночное время кого-либо из участников артели.

§ 34. Каждый хозяин обязан представить временной комиссии, к первому заседанию по открытии оной, подробный отчет о всех бывших закупках:

а) в какое время, в каком количестве, каких товаров, по каким ценам и на какие деньги, займом ли добытые или иным образом, были сделаны большие закупки, и

б) были ли закупки выгодны или невыгодны, и по каким причинам.

§ 35. В случае кратковременной болезни хозяина исправляет должность его казначей; в случае же продолжительной болезни того или другого приступают к новым выборам по установленному порядку.

## IX

### *Должность закупщика*

§ 36. Закупщик ходит в лавку два раза в неделю и сверху того один раз посылает сторожа.

§ 37. Никто не может требовать от закупщика покупки товаров в долг.

§ 38. Закупщик ведет одну книгу всем сделанным им закупкам.

§ 39. Закупщик показывает и раздает вещи в общественной зале в известный день и час, им самим назначенный, единожды на целый год при вступлении его в должность. Покупающие, по получении товаров от закупщика, обязаны по его требованию выдать ему уплатные записки.

§ 40. Закупщик ведет очередь всем выходящим на казенную работу. Если дежурный офицер объявит закупщику, что не все вышли на работу, в таком случае он представляет ему список очереди находящимся на работе. Если же по какому-нибудь случаю потребуется большее число на работу, тогда он отсчитывает из следующей очереди требуемое число лиц, по порядку списка, и извещает их о том. На другой день очередь начинается уже с первого, оставшегося в сей очереди.

§ 41. Закупщик должен иметь в конторе (см. § 81) свой стол для отправления дел и хранения общественной книги, большой шкаф для помещения товаров и ящик под замком для записок о покупке товаров.

§ 42. В случае кратковременной болезни закупщика исправляет его должность хозяин; в случае же продолжительной — приступают к новым выборам.

## Х

### *Должность казначей*

§ 43. Казначей начинает отправление своей должности собранием подписки на наступающий год и представляет ее временной комиссии на рассмотрение, для утверждения по ней сметы.

§ 44. Он переводит подписанные деньги из собственности лиц в общественную сумму, немедленно по присылке их, получив предварительное согласие подписавшихся на сумму свыше 500 и без предварительного согласия на 500 руб. и менее. Причем во всяком случае он извещает о том подписчика.

§ 45. По разделении наличной частной суммы на участников казначей каждое 25 число объявляет каждому лицу о сумме, причитающейся на его месячную долю, означив оную на черной доске в общей комнате.

§ 46. Никто, кроме казначей, не имеет права выписывать из общественных сумм, и по этим общественным суммам только он входит в сношение с горным начальством.

§ 47. Казначей делает выписки из всех сумм, входящих и не входящих в состав общественной суммы, т. е. хозяйственной, участковой, экономической и личной.

§ 48. Казначей производит выписку три раза в неделю.

§ 49. Из хозяйственной суммы казначей выписывает по запискам хозяина, а из участковой наличной суммы по запискам закупщика и частных лиц, которые обязаны доставлять ему сии записки по крайней мере за два часа до выписки.

§ 50. Если кто желает не расходовать своего участка и оставляет его временно в общественной частной сумме, то казначей обязан потребовать от него означение положительного срока, когда он хочет получить свой участок в свое распоряжение, и ранее сего срока казначей не может выдавать ему оный.

§ 51. Для отвращения застоя в одной сумме и задержки выдачи из другой казначей может переводить из кредита одного счета в дебет другого, с тем, однако, чтобы сумма, поступающая в дебет, была совершенно обеспечена подпиской.

§ 52. Казначей не может переводить деньги из одного участка в другой без письменного согласия самого участника.

§ 53. Казначей не обязан входить в личные сделки и записывать, кто кому должен.

§ 54. Он получает от хозяина переплетенные счетные книги.

§ 55. Казначей должен вести книги по двойной бухгалтерии, соответственно утвержденной форме, при сем прилагаемой.

Под № 1 форма книги общественной подписки.

— » 2 ———— общ. прихода и расхода.

— » 3 ———— » хозяйственной.

— » 4 ———— » частной, составленной из тетрадей, по числу участников под №№ и при алфавитном списке имен.

— » 5 ———— » кассового журнала.

*Примечание.* Казначей, если образуется запасная или закупная сумма, обязан иметь еще 6-ю и 7-ю книгу.

§ 56. Каждую субботу, от 3 до 6 часов пополудни, счетные книги, за исключением алфавитной, означенной под № 4, должны находиться в общей комнате для желающих сделать какие-либо справки.

§ 57. Казначей обязан показывать тетради, составляющие алфавитную книгу, желающим справляться с ними два раза в неделю, в том месте и в те дни и часы, которые он сам назначит единожды на целый год при вступлении своем в должность; впрочем, справляющимся лицам он показывает только тетради их собственного прихода и расхода.

§ 58. Казначей должен иметь в конторе (см. § 81) свой стол для отправления дел и хранения артельных книг и ящика под замком для уплатных записок.

## XI

### *Должность огородника*

§ 59. Сверх трех главных общественных лиц избирается еще огородник.

§ 60. Когда наступает время для выбора в огородники, хозяйственная комиссия приступает к этому по установленному порядку для выборов.

§ 61. Обязанность огородника заключается в составлении сметы огородных издержек, и по утверждении сей сметы хозяйственной комиссией он получает сумму, ему назначенную. При засеве огородник соглашается с хозяином о том, каких и сколько овощей будет нужно на общественное продовольствие. Пока овощи на грядках, он располагает ими независимо от хозяина, но уведомляет его за несколько дней до снятия, сколько и каких овощей можно будет собрать для общественного стола.

## XII

### *Правила общие*

§ 62. Артель управляется по правилам, составленным временной комиссией и утвержденным положительным большинством голосов; но никакое предложение, хотя бы и принятое большинством голосов, если будет сделано не через посредство временной комиссии, не имеет обязательной силы для лиц, не соглашающихся на оное.

§ 63. Все участники артели имеют равные права на общественную сумму.

§ 64. Все артельные заведения учреждаются и поддерживаются общественными суммами. Хозяину возбраняется всякого рода подписка на общественные издержки.

§ 65. Всякий почитается обязанным нести общественные должности, за исключением тех лиц, которые не пользуются выгодами, доставляемыми артели отправлением сих должностей.

§ 66. Несший единожды какую-либо общественную должность по выбору имеет право отказываться от подобной должности в течение трех лет.

§ 67. Каждый имеет право делать во всякое время вклады, в какую ни пожелает отрасль общественной суммы. Употребление же сих добровольных вкладов будет подчинено правилам, постановленным для каждой отрасли особенно.

§ 68. На содержание каждого лица определяется при достаточном сборе 500 р[уб], при недостаточном же—сколько произойдет от разделения всей суммы на число потребляющих лиц.

§ 69. Каждому из отъезжающих лиц артель обязывается выплатить все, что, за исключением употребленных на него издержек, останется от полного годового содержания.

§ 70. Когда запасная сумма сделается действительною, то выдача из оной отъезжающим должна быть назначаема по единогласному определению хозяйственной комиссии.

*Примечание.* В случае внезапного отъезда кого-либо из участников артели хозяйственной комиссии разрешается выдать отъезжающему из запасной суммы до 300 руб.

§ 71. Плата за мытье белья будет производиться не из хозяйственной суммы, но каждым участником из своего участка, по причине разности в количестве белья, отдаваемого тем или другим участником.

§ 72. Всякому предоставляется право делать замечания на устав артели и на исполнение общественных должностей. Сии мнения вносятся в хозяйственную комиссию, которая хранит их для передачи временной комиссии. Если же число подобных замечаний по одному и тому же предмету возрастет до одной трети всех участников, то хозяйственная комиссия обязана немедленно собрать временную, которая по исследовании сих мнений представляет их на общее разрешение.

§ 73. Никто не имеет права требовать от хозяйственной комиссии, чтобы она представила на общее рассмотрение замечания, поступающие от одного лица и не относящиеся к артельному устройству; но если оные поступят за подписью более одной седьмой ( $\frac{1}{7}$ ) всех участвующих в артели, то комиссия обязана представлять подобные предложения на общее разрешение.

§ 74. Все предположения хозяйственной и временной комиссии должны быть выражаемы таким образом, чтобы каждый мог отвечать на них словами «да» или «нет».

§ 75. Замечания или оговорки, делаемые каким-нибудь лицом на

предложения временной или хозяйственной комиссии, должны быть принимаемы не иначе, как на особом листе, и непременно относиться прямо к предложенному вопросу.

§ 76. Если предложенный вопрос состоит из нескольких пунктов, то оные должны быть представлены отдельно, чтобы на каждый из них можно было отвечать словами «да» или «нет».

§ 77. Общественные лица не подают голоса на вопросы, относящиеся к исполнению их обязанностей.

§ 78. Всякий имеющий надобность до трех общественных лиц обязан сноситься с ними только в те дни и часы и только в том месте, которые будут ими самими определены.

§ 79. Каждый выписывающий деньги должен означить на уплатной записке, из какой суммы он выписывает: из личной или из участка.

§ 80. Общественная зала состоит под надзором хозяина.

§ 81. Зала разделяется на две части: в одной из них, меньшей, должна быть устроена контора хозяйственной комиссии, другая, большая, остается для общественных нужд, как-то: богослужения, баллотировки, классов и пр.

§ 82. Подлинник Устава хранится у хозяина, и сверх того две копии для выдачи в частные руки.

### ХІІІ

## О ВЫБОРАХ

### *Избрание временной комиссии*

§ 83. Хозяйственная комиссия оповещает всех участников в артели о предстоящем избрании во временную комиссию и просит каждого отвечать, будет ли подавать голос; потом число избирателей делит на пять отделов, по порядку номеров, причисляя остаток, если есть, к последнему отделу.

§ 84. Члены хозяйственной комиссии порознь обходят отделы, с особенным пакетом для каждого отдела и с числом билетов по числу избирателей. Сии последние пишут на билетах, под своими собственными именами, имя лица, ими избираемого, и вкладывают оные в пакет своего отдела.

§ 85. Хозяин, закупщик и казначей рассматривают билеты. Получивший положительное большинство в своем отделе (в четном числе избирателей половину сего числа плюс один голос) объявляется членом временной комиссии.

§ 86. После третьего неопределенного выбора в каком-либо из отделов избиратели оного выбирают в члены временной комиссии уже между кандидатами других отделов. Если ни один из них не получит положительного большинства в сем отделе, тогда предлагаются им на выбор два

кандидата, имеющие большее число голосов. Если же и в сем случае голоса разделяются поровну, то решает жребий.

§ 87. На следующий день по выборе все новоизбранные члены временной комиссии собираются в зале и взаимно поверяют свои полномочия.

#### *О выборе и баллотировке в срочные общественные должности*

§ 88. При выборе и баллотировке хозяина и казначея распоряжается временная комиссия.

§ 89. При выборе и баллотировке закупщика и огородника распоряжается хозяйственная комиссия, если выбор их не совпадает с выборами хозяина и казначея.

§ 90. Когда все выбираются в одно время, то наблюдается следующий порядок: сначала выбирают хозяина, потом казначея, далее закупщика и, наконец, огородника.

#### *О производстве выборов*

§ 91. За два дня до выборов комиссия, распоряжающаяся оными, извещает всех, в какую должность предстоит выбор.

§ 92. Она собирает посредством своих членов голоса по правилам вышеизложенным.

§ 93. Неподание голоса означает согласие с положительным большинством остальных избирателей.

§ 94. Кто получит положительное большинство, тот избран.

§ 95. Если никто не имеет положительного большинства голосов, то два лица, соединившие большее сравнительное число голосов, становятся кандидатами и баллотировуются.

§ 96. Если, по причине равенства голосов, два кандидата не будут определены, то между имеющими равное число оных решает баллотировка.

#### *О производстве баллотировки*

§ 97. Накануне баллотировки комиссия извещает о именах двух кандидатов и уведомляет о том порядке, который будет соблюдаться при производстве баллотировки.

§ 98. Все, подававшие голоса при избрании, находятся и при баллотировке; кто же не придет, тот располагает письменно своими шарами, через одного из членов комиссии.

§ 99. Только те имеют право баллотировать, которые избирали.

§ 100. В зале в день баллотировки один из членов комиссии раздает шары, выдавая каждому баллотирующему порознь белый и черный на каждого баллотирующегося.

§ 101. Получивший шары подходит к двум сосудам, поставленным для принятия шаров; другой член комиссии, при них стоящий, объявляет, который сосуд для кого назначен.

§ 102. Положившие шары отмечаются в алфавитном списке имен.



§ 103. Когда же все шары положены, комиссия считает перед всеми число белых и черных каждого кандидата. Получивший положительное большинство голосов в отношении к числу баллотирующих и сравнительное относительно к другому кандидату объявляется избранным.

§ 104. Если оба имеют положительное большинство, но равны между собою, то снова баллотируются. По третьей неопределенной баллотировке решает жребий.

§ 105. Если оба не будут иметь положительного большинства белых шаров, то баллотирующие приступают к новым выборам.

#### *Прибавление*

§ 106. Общественные счетные книги за 11 месяцев, т. е. по 1-е февраля, должны быть представлены отдельно, к 10-му числу сего месяца, дабы после 1-го марта оставалось поверять счета только за один месяц.

\* \*  
\*

Это благотельное учреждение избавляло каждого от неприятного положения зависеть от кого-либо в отношении вещественном и обеспечивало все его надобности. Вместе с тем оно нравственно уравнивало тех, которые имели средства, с теми, которые вовсе не имели их, и не допускало последних смотреть на товарищей своих как на людей, пользующихся в сравнении с ними большими материальными удобствами и преимуществами. Одним словом, оно ставило каждого на свое место, предупреждая, с одной стороны, тягостные лишения и недостатки, а с другой — беспрестанное опасение оскорбить товарища своего не всегда уместным и своевременным предложением помощи. Маленькая артель была учреждена именно с тою целью, чтобы доставлять отъезжающим на поселение некоторое пособие, необходимое на первое время их прибытия на место. Сумма, которою она распоряжалась, составлялась из добровольных вкладов и пожертвований. Участниками в ней были все те, которые вносили часть получаемых ими денег, и те, кто отдавал 10-й процент с той суммы, которую получал ежемесячно на свои расходы из большой артели.

Быт наш в Петровском Заводе, или, лучше сказать, в тюремном замке, с устройством артели и принятыми мерами, чтоб обеспечить по возможности на первое время отъезжающих на поселение, материально гораздо улучшился. Каждый имел собственные способы, мог, как хотел, располагать ими, обзавестись необходимым хозяйством, мог даже употреблять избыток или на пользу общую, отдавая его в маленькую артель, или на удовлетворение некоторых привычек прежней жизни, сделавшихся для многих почти необходимостью. Обедать в общую залу мы не собирались, найдя это неудобным, а имели стол по своим отделениям в коридоре. Сторож приносил с кухни кушанье, приготавливал и убирал обед и ужин, кормился тут вместе с нами, мыл посуду, ставил самовары, топил

печи и получал за это от нас ежемесячно жалованье, которым был вполне доволен. Между нами был медик—доктор Вольф, и медик очень искусный. В случае серьезной болезни к нему обращались не только мы сами, дамы наши, но и комендант, офицеры и все, кто только мог, несмотря на то, что правительством назначен был собственно для нас должностной врач. Но этот врач, молодой человек, только что выпущенный из Академии, понял вскоре все превосходство Вольфа над собою и прибегал, при всяком пользовании, к его советам, опытности и знанию. Слава об искусстве Вольфа так распространилась, что приезжали лечиться к нему из Нерчинска, Кяхты и самого Иркутска. Комендант, видя пользу, которую он приносил, дозволил ему свободно выходить из тюрьмы в сопровождении конвойного. В одном из номеров, нарочно для того назначенном, подле номера Вольфа, помещалась наша аптека, в которой были все нужные медикаменты и прекрасные хирургические снаряды. Все это вместе, с известными творениями и лучшими иностранными и русскими журналами по медицинской части, выписывалось и доставлялось Вольфу дамами. Одним словом, со стороны врачебных средств нам не оставалось ничего желать.

Мы выписывали также много иностранных и русских журналов, тоже через посредство и с помощью дам. Из французских: «Journal des Debats», «Constitutionnel», «Journal de Francfort», «Revue Encyclopedique», «Revue Britanique», «Revue des deux mondes», «Revue de Paris»; немецкие: «Preussische Staatszeitung» «Гамбургского Корреспондента», «Аугсбургскую газету»; русские почти все журналы и газеты. Все это мы читали с жадностью, тем более, что тогдашние события в Европе и в самой России, когда сделалось Польское восстание, не могли не интересоваться нас<sup>119</sup>. При чтении журналов и газет введен был порядок, по которому каждый ими пользовался в свою очередь, и это наблюдалось с большой строгостью и правильностью. На прочтение газеты определялось два часа, а для журнала—два и три дня. Сторожа наши беспрестанно разносили их из номера в номер с листом, где отмечалось каждым из нас время получения и отправки.

Библиотека наша также неимоверно увеличилась, так что не могла быть уже общею, и потому каждый держал свои собственные книги у себя и брал у других то, что было ему нужно. В особенности женатые, и между ними Муравьев Никита Михайлович, имели огромное количество книг, в которых никому не отказывали, хотя нередко их богатые издания подвергались от неосторожности чтецов не только повреждению, но и совершенному истреблению.

И всем этим, по справедливости говоря, мы обязаны были приезду наших дам. Они точно и во всем смысле выполняли обет и название свое. Это были ангелы, посланные Небом, чтобы поддержать, утешить и укрепить не только мужей своих, но и всех нас на трудном и исполненном терния пути.

В первое время нашего пребывания в Петровском дамы по собствен-

ному желанию, чтобы не разлучаться с мужьями, были с ними в казематах и ходили на свои квартиры только утром, на несколько часов, чтобы распорядиться хозяйством, обедом и туалетом своим. Для большего удобства их помещения мы с радостью уступили им еще по номеру для каждой, так что женатые занимали два рядом номера, а некоторые из холостых разместились по два в одном. По вечерам в номерах их собиралось иногда маленькое общество, и странно было видеть людей, одетых скорее бедно, нежели изящно, беседующих в темной, тесной комнате, при самой простой обстановке, со всеми условиями лучшего общества и соблюдающих все приличия, все утонченности высшего образования. Пребывание дам в общей тюрьме продолжалось около года. Здоровье их, видимо, страдало от неудобства казематной жизни, от частых переходов к себе на квартиру в дурное или холодное время, особенно же от недостатка света в номерах. Многие даже из нас подвергались глазным болезням и испортили зрение. Об этом как дамы, так и мы упоминали нередко в письмах к родным. Полагаю даже, что и комендант, с своей стороны, доносил о том правительству. Оно вынуждено было, наконец, обратить на это обстоятельство внимание и на другой год прибытия нашего в Петровский Завод предписало прорубить в каждом номере по окошку и вместе с тем отштукатурить внутренние стены. Летом 1831 г. начались эти работы. Разумеется, дамы переехали на свои квартиры; мужьям позволили жить вместе с ними, а нас, холостых, разместили по несколько человек вместе и переводили из неотделанного отделения в отделанное до тех пор, пока кончилось совсем исправление. Оно продолжалось более двух месяцев, и потом каждый из нас занял опять свою комнату. Дамы наши после этого исправления не переходили уже в тюрьму. Вскоре позволили мужьям бывать у них, когда пожелают, и только ночевать в номерах, а под конец разрешено было и им постоянно жить в домах своих вместе с женами\*.

Здесь я нелишним считаю поместить одно обстоятельство, которое в свое время чрезвычайно меня поразило и обратило мое внимание на нравственность ссыльно-рабочего населения заводов тамошнего края. Я уже сказал, что в Петровском было около двух тысяч жителей. Четвертую часть этого населения составляли чиновники, горные служители, служащие и отставные разночинцы, солдаты горного ведомства, старики, выслужившие сроки в работах, и т. д. Остальные, т. е.  $\frac{3}{4}$ , были ссыльно-рабочие или каторжники, сосланные за важные преступления и наказанные кнутами, со штемпельными знаками, одним словом, люди, по своему преступлению и в особенности по наказанию исключенные

---

\* Я не уверен, что не ошибся, сказав, что после отделки наших казематов дамы уже не жили в них. Припоминая теперь, мне кажется, что некоторое время (хотя очень недолго) Ивашева жила с мужем в тюрьме, когда уже в комнате их было окно. Не ручаюсь в совершенной точности и других мелких подробностей. Разумеется, что если Ивашева жила в каземате, то и другие дамы точно так же, потому что дозволение жить по домам своим было общее.

навсегда из общества, а потому и естественные враги его. Эти ссыльно-рабочие употреблялись не только на выделку чугуна и добывание руды, но и в другие работы: кузнечные, плотничные, столярные, колесные и т. д. Многие из них были очень искусные и трудолюбивые ремесленники, которые вступали с нами в сношение, потому что каждому из нас необходимы были и кровать, и стол, и кое-какая мебель, одним словом, их услуги. Мы платили им очень хорошо, а в некоторых случаях помогали в их нуждах, и, следовательно, они были нами очень довольны. Тюремный наш замок строился ими, и когда приказано было прорубить окошки и штукатурить стены, то употребили для этого их же. Эту работу занимались по крайней мере человек 60, чтобы скорее кончить, и когда нас переводили по очереди из своего номера в другой, то, не желая перетаскивать на короткое время вещи, мы брали с собою только постель, а остальные вещи оставляли в своем каземате, сложив все посредине комнаты и накрыв простынями или коврами. Так как у каждого из нас не было ни денег, ни хороших вещей, то мы и не заботились о пропаже. Стало быть, рабочие в продолжение двух месяцев имели возможность брать из наших пожитков все то, что им было угодно. И тем не менее ни у одного из нас не пропало даже булавки. Как объяснить этот факт? Я очень помню, как он меня поразил. С этих пор я обратил особенное внимание на этот класс заводских жителей и убедился многими доказательствами в их честности и их признательности за оказываемые им услуги. До прибытия нашего у них был начальником какой-то горный чиновник, человек злой и несправедливый, который поступал с ними самым жестоким образом. В его время, как было нам известно, ни он сам и никто из чиновников горного ведомства не смели выходить ночью с квартиры. Лишь только делалось темно, запирались у всех окна и брались все предосторожности от злого умысла ссыльно-рабочих. В наше же время начальником был горный офицер Арсеньев, добрый и справедливый человек; он обходился с ними человеколюбиво, выдавал им все положенное, занимался улучшением их быта, хотя был и строг, когда требовала этого необходимость. При нем всякий мог безопасно ходить по заводу в глубокую полночь без всякого оборонительного оружия. Мне самому не раз случалось возвращаться в тюрьму ночью в сопровождении одного конвойного и встречать на пустырях по пятку и десятку ссыльно-рабочих, иногда не совсем даже трезвых. Они мирно проходили мимо, снимая шапки, вежливо приветствуя. Во все продолжение моего пребывания в Петровском о воровстве я никогда не слыхал. Этого преступления как будто не существовало, и не раз нам возвращали кое-какие вещи, оставленные нами или в бане, или во время прогулок. Одним словом, я тогда убедился и убежден теперь, что ссылаемые в работу за важные преступления, убийство, святотатство и т. д. гораздо нравственнее тех, которые ссылаются на поселение за воровство или другие не так важные проступки. Первые могли быть побуждены к сделанному ими преступлению сильными страстями, непреклонностью характера, мщением или

изуверством, но не потеряли всех нравственных оснований, и, следовательно, если бы обратить только на них внимание и заняться умеючи их исправлением, то я уверен, что большая часть из них могла бы сделаться не только порядочными, но даже очень полезными гражданами; тогда как сосланные на поселение за кражу, обман, подлоги, утаение чужой собственности, скрывание ворованных вещей и т. д., доведенные до этих преступлений постоянным развитием дурных наклонностей, постепенно ухудшающейся нравственностью, не так легко могут исправиться, как первые. Во всяком случае правительство сделало бы величайшее благодеяние, можно сказать, высокий нравственный подвиг, если бы занялось этими последними ступенями общественной лестницы; если бы не загромождало им навсегда пути к восстановлению себя; если бы действовало, одним словом, как искусный врач, а не как неумолимый, непреклонный мститель.

Кстати, расскажу здесь для соображения моралистов один резкий пример железной воли, твердости характера и равнодушия к телесным истязаниям одного из ссыльно-рабочих. В Восточной Сибири существует обыкновение между каторжными в летнее время отлучаться из заводов месяца на три в окрестные леса, чтобы, как говорят они, погулять на свободе, подышать свободным воздухом. Разумеется, что с их стороны это преступление, тем более, что при этих отлучках совершаются многими иногда новые противозаконные поступки. С наступлением холодного времени большая часть из них возвращаются в Завод, где их наказывают за побег и потом употребляют опять в работу. Не имея достаточных средств, чтобы воспрепятствовать этим побегам, горное начальство принимает, однако же, некоторые меры; и одна из них состоит в том, что платит за каждого пойманного каторжного десять рублей ассигнациями тому, кто приведет его. В случае же, если он будет при поимке убит, то не только не преследует лишившего его жизни, но платит ему тогда *пять* рублей. Буряты, зная об этом распоряжении, сделали из него род промысла. Летом они отправлялись верхами с оружием для поимки беглых и, когда завидят в лесу одного или двух, то, подъезжая на некоторое расстояние и приготовив лук и стрелы, закричат им, чтобы остановились. Если они послушаются, тогда бурят велит им следовать по пути к Заводу, а сам едет за ними поодаль с направленным против них ружьем или стрелою и таким образом приводит их и получает следующую ему награду. Если же они не послушаются его и захотят убежать, то убивает их и получает награду вполтину менее. Весьма естественно, что это служит причиною непримиримой вражды ссыльно-каторжных с бурятами. Один из первых, по прозванию Масленников, бывший орловский мещанин, негодуя на бурят, решился объявить им войну и каждый год в летнее время отправлялся в поход, чтобы, в свою очередь, убивать их. Когда же наступали морозы, он возвращался в Завод и сам объявлял начальству, сколько ему удалось истребить так называемых им неприятелей. Часто даже брал на себя преступления других. Его заковывали, судили, секли

кнутом, держали некоторое время в остроге, но, наконец, выпускали, и в первое же лето он опять повторял то же самое. В продолжение 10 лет шесть раз делал он такие походы, убил человек до 20 и шесть раз был нещадно сечен кнутом. Наконец, это упорство, эта неисправимая злоба принудили начальство взять решительные меры. В последний раз, когда следовало его наказать сто одним ударом, начальник, человек строгий и безжалостный, заранее приказал палачу засечь его насмерть. Дня за два до исполнения приговора слух о таком приказании разнесся и достиг до одного отставного ссыльно-каторжного, старика набожного и по своему образу жизни всеми уважаемого. Он идет к начальнику и просит его отменить его приказание, обещая уговорить Масленникова дать слово не бегать и отказаться от войны с бурятами и ручаясь в том, что если он даст это слово, то сдержит его. Долго не соглашался начальник, но, наконец, убежденный стариком, которого он сам уважал, решается на этом условии отменить свое приказание. Старик, пришедши к Масленникову, сказал ему об условии, которое может сохранить его жизнь, и просит дать слово. Тот долго не решался на это, целый день борется сам с собою, наконец, самосохранение одерживает верх, и он дает требуемое обещание. Его наказывают. Железное тело его выдерживает наказание. Он выздоравливает и после этого живет на Заводе примерным образом. Повиновением, деятельностью заслуживает благосклонность начальства и делается, не говоря нравственным, но порядочным человеком. Когда мы прибыли в Завод, он уже несколько лет жил на свободе, своим домом; при нас вел себя все время хорошо и однажды, работая в моем каземате, сам рассказал мне, как до сих пор бояться его буряты. Нередко, говорил он, при встрече с бурятом он, не зная меня, спрашивал у меня же, жив ли неприятель их Масленников, и рассказывал мне прежние мои с ними проделки. Характеры, подобные Масленникову, могут быть и величайшими злодеями, и великими людьми! Все зависит от воспитания и обстоятельств.

Летом 1831 г. приехала невеста Ивашева, молодая, милая, образованная девушка. Он успел приготовить дом и все, что нужно для первоначального хозяйства. Она остановилась у княгини Волконской и прожила у нее до свадьбы своей, которая совершилась дней через пять по приезде ее<sup>120</sup>. Я радовался, видя его вполне счастливым, и нашел в его супруге другого себе друга. Им позволили прожить у себя дома около месяца, и, глядя на них, я невольно вспоминал бывшее. По прошествии этого месяца она, по примеру других дам, перешла с мужем в его номер и оставалась тут до тех пор, пока всем женатым позволили жить у себя. Свадьба Ивашевых не была уже так оригинальна, как Анненковых.

По переходе женатых в дома свои я занял номер Ивашева. Мы остались в этом отделении только трое: Муханов, Пестов и я. В продолжение этого времени некоторым из нас вышли сроки, и они были отправлены на поселение. Не помню, по какому-то случаю, кажется в рождение одного из великих князей, нам убавлено было три года работы,

а в рождение последнего из сыновей государя—еще два года. Первые уехавшие из Петровского на поселение были Кюхельбекер 2-й и Глебов, потом Розен, Репин, Вегелин и Игельстром<sup>121</sup>.

В 1832 г. я был избран хозяином. Эта должность сопряжена была с большими хлопотами, тем более, что каждому, кого выбирали, желалось угодить своим товарищам и соблюдать, сколько возможно, общие интересы, удовлетворяя вместе с тем и частные требования. Помню, что меня очень затрудняли распоряжения на счет кушанья. Не имея понятия в гастрономии, я часто не знал, какие выдумывать обеды для разнообразия нашего скромного стола, и нередко прибегал к советам повара, которые не всегда были удачны. Помню, как, бывало, досадовал я на себя при каком-нибудь худом обеде или ужине и, наоборот, как доволен оставался, когда гастрономические мои соображения удавались и все были довольны.

Впрочем, и нелегко было удовлетворить, с маленькими средствами нашими, вкусу и требованиям семидесяти человек, более или менее привыкших к хорошему столу. Но и в этом случае те из нас, которые более понимали в гастрономии и более имели прав судить о ней, обыкновенно молчали, покоряясь необходимости, и не обращали внимания на материальную часть нашей жизни. Случайный ропот происходил иногда между молодыми товарищами нашими, не имевшими такого образования, как другие, и служившими прежде в армейских полках. Год этот был тем более для меня труден, что здоровье мое не соответствовало моей должности. Зимой надобно было ходить по Заводу, для разных закупок, отпускать припасы, быть по целым часам на кухне и потом из жару выходить прямо на холод. Я часто простуживался и с этих пор не так уж стал здоров, как прежде.

Первый случай смертности между нами оказался в нашем отделении и очень поразил нас всех, тем более, что это случилось внезапно. У соседа моего Пестова сделался на спине простой веред, который его несколько беспокоил, но он ходил и даже вздумал идти в баню\*. Это было накануне Рождественского сочельника. Я было отговаривал его, но он не послушался. На другой день, сидя со мной за чаем в коридоре, он очень жаловался на боль и сожалел, что нельзя будет идти в Рождество вместе со мной к Ивашевым. Утром, в день праздника, я зашел к нему в комнату узнать об его здоровье. Он лежал еще в постели и сказал, что чувствует небольшой озноб. Тогда я ему посоветовал послать за Вольфом; он сначала было не соглашался, говоря, что это пустая болезнь и пройдет без медицины; но к обеду ему стало хуже, и он пригласил Вольфа. Между тем я ушел к Ивашевым; мы еще сидели за обедом, как я получил записку Вольфа, который извещал меня, что Пестов при смерти, что у него карбункул, и начался уже антонов огонь в спинной кости. Я побежал домой и застал больного в совершенной памяти, но ужасно слабым. Ему не говорили об

---

\* В баню нам позволялось ходить каждую неделю. Мы содержали ее на свой счет, она много способствовала к сохранению нашего здоровья.

опасном его положении, и вечером, часу в 12, он скончался в полном сознании, разговаривая с окружающими его товарищами и не подозревая приближающейся смерти. Только за несколько минут до кончины он перестал говорить и потерял зрение.

Это грустное событие опечалило всех. Мы оплакали его и похоронили приличным образом на погосте Петровской церкви. Всем нам позволено было сопровождать его тело, которое мы сами несли до церкви, переменяясь поочередно. Опустивши гроб в могилу и отдавши последний долг его праху, мы грустно возвратились в тюрьму свою. Он первый из нас явился к пятерым казненным нашим товарищам.

Вскоре после кончины Пестова смерть избрала новую жертву\* и жертву самую чистую, самую праведную. А. Г. Муравьева, чувствуя давно уже общее расстройство здоровья своего (следствие нравственных волнений и преждевременных родов), старалась скрыть ненадежное положение от мужа и продолжала вести обыкновенную жизнь, не принимая, как советовал ей Вольф, особенных предосторожностей. Она ходила иногда в зимнее время, легко одетая, из каземата на свою квартиру по несколько раз в день, тревожилась при малейшем нездоровьи своего ребенка и, сделавшись беременною, крепко простудилась. Долго боролась ее природа, искусство и старание Вольфа с болезнью (кажется, нервическою горячкою). Месяца три не выходила она из опасности, и, наконец, ангельская душа ее, оставив тленную оболочку, явилась на зов правосудного Творца, чтобы получить достойную награду за высокую временную жизнь свою в этом мире. Легко представить себе, как должна была поразить нас всех преждевременная ее кончина. Мы все без исключения любили ее, как милую, добрую, образованную женщину, и удивлялись ее высоким нравственным качествам: твердости ее характера, ее самоотвержению, ее безропотному исполнению своих обязанностей. Бедный супруг ее был неутешен. Она оставила ему после себя залогом своей нежной неограниченной любви четырехлетнюю дочь. Две старших, рожденные в России, находились в Москве, у мужниной матери, вдовы М. Н. Муравьева. Тело ее предано земле на погосте Петровской церкви, и постоянно теплящаяся лампада в устроенном над нею склепе служит в мрачную ночь, как очень хорошо выразился один из наших товарищей, посетивший лет через 15 Петровское, путеводною звездою для путешественников, приближающихся к Заводу.

Обе эти утраты, и в особенности последняя, навели облако скорби на нашу отшельническую жизнь. Горесть остальных дам наших о потере достойной подруги их еще сильнее давала нам чувствовать это общее, так сказать, семейное несчастье. При каждой болезни кого-либо из них мы страшились новой потери.

---

\* Не ручаюсь, чтобы я не ошибся здесь в последовательности. Пестов и А. Г. Муравьева скончались в одну и ту же зиму: первый на Рождество, она же—прежде или после него, теперь не помню хорошо.



В конце 1832 г. нам всем убавили по несколько лет работы, и вследствие этого четвертому разряду, т. е. тем, которые были осуждены на 8 лет, окончился срок. В этом разряде находились: Фонвизин, Нарышкин, Лорер, Бобрищев-Пушкин [-2-й, Павел Сергеевич.— *Сост.*], Абрамов, Фаленберг, два брата Беляевых, Одоевский, Муханов, Мозган, Иванов, Шишков и Александр Муравьев\*. Они отправились в начале 1833 г., и с отбытием их тюрьма наша как-то опустела. Нас осталось менее 50 человек, и, следовательно, тогда не только каждый имел особую комнату, но даже осталось несколько номеров незанятых.

Еще в продолжение нашего пребывания в Чите поместили к нам несколько человек, совсем не принадлежавших к нашему делу. То были: брат Завалишина и бывшие офицеры Оренбургского корпуса — Колесников, Таптиков и Дружинин<sup>122</sup>. По прибытии уже в Петровский Завод прислали туда слепого старика Сосиновича (из поляков) и какого-то разжалованного майора Кучевского<sup>123</sup>. Мы приняли их радушно, не обращая внимания и не спрашивая, за что они попались к нам; и как все они не имели никаких способов, то и участвовали в общей нашей артели на том же положении, как мы сами.

Комендант Лепарский посещал нередко нашу тюрьму и обращался с нами самым вежливым образом. Он никогда, бывало, не войдет в затворенную комнату, не постучавши и не спросивши, можно ли войти. Если заметит, бывало, чернильницу, то улыбнется и скажет: «Я этого не вижу». Все просьбы наши (разумеется, они были не важны и не подвергали его ответственности) исполнял он с удовольствием, и если был недоволен каким-либо поступком одного из нас, то никогда не выговаривал ему, а принимал какую-нибудь общую против всех в смысле поступка меру, чтобы дать знать виновнику, что этим вредит он не только себе, но и всем товарищам. Этим средством он вернее достигал своей цели. Плац-майор ежедневно обходил нас, принимал от нас просьбы (они большею частью заключались в дозволении выйти куда-нибудь из тюремного замка) к коменданту и был с нами не только ласков, но и почтителен. Прочие офицеры следовали примеру своих начальников. Бывало, нам самым странно было слышать, как унтер-офицер, обходя казематы, говорил: «Господа, не угодно ли кому на работу?» Кто хотел, тот выходил, а нежелающие оставались покойно дома. Эти работы были неумоимельны и очень часто прекращались на месяц и на два, под самыми пустыми предлогами: или по случаю сильного холода, сильного жара, дурной погоды, или существования повальных болезней. Они были те же, как и в Чите, т. е. молонье на ручных жерновах муки, и точно так же, как и там, приходившие на работу садились читать книги, газеты или играть в шахматы.

В Петровском нас посетили бывшие генерал-губернаторы Восточной Сибири: Сулима и Броневский<sup>124</sup>. Каждый из них, обходя казематы,

---

\* Он отказался и просил остаться до отъезда брата.

чрезвычайно вежливо обошелся с нами, спрашивал о здоровье и о том, не имеем ли мы особенных просьб или жалоб. Разумеется, ни тех, ни других не было. Приезжали тоже по службе генерал Чевкин (теперешний главный управляющий путями сообщения) и полковник Багговут (ныне генерал-лейтенант)<sup>125</sup>, но мы их не видели, потому что они не имели и поручения осматривать тюрьму нашу. Первый имел свидание в доме коменданта с Арт. Зах. Муравьевым, а последний останавливался у Ивашевых, которым он был родственником.

Я получил в это время горестное известие о кончине старшего брата моего, артиллерийского штаб-офицера, только что возвратившегося из турецкой кампании. Он оставил семейство, жену и двух дочерей, судьба которых меня озабочивала. Письменные сношения мои с родными покойной жены, ее матушкой, сестрою и братьями, были самые дружеские. Они жили тогда уже в Петербурге. В 1834 г. я сильно занемог воспалением в мозгу. Болезнь была опасная и мучительная. Вольф и Арт. Зах. Муравьев (он тоже занимался медициной и очень удачно пользовал) прилагали, с дружеским усердием, все искусство свое, чтобы помочь мне. Благодаря их стараниям я выздоровел. Товарищи во время болезни моей не отходили от меня. Каждую ночь дежурили четыре человека и не спали по очереди, чтобы услуживать мне и давать лекарство. Ивашев с женою почти каждый день меня навещали и приготавливали мне у себя на дому кушанье и питье. Одним словом, нигде бы я не мог найти таких попечений, такого ухода, такой предупредительной заботливости, как в Петровской тюрьме. Мудрено ли после этого, что в течение 10 лет нашей тюремной жизни мы потеряли одного только Пестова, и то больше от собственной его неосторожности.

Я имел большое утешение в семействе Ивашевых, живя с ними, как с самыми близкими родными, как с братом и сестрой. Видались мы почти каждый день, вполне сочувствовали друг другу и делились между собою всем, что было на уме и на сердце. Приближалось время нашего поселения, и мы желали только одного, чтобы не разлучаться по выезде из Петровского. Это желание впоследствии исполнилось. Родные Ивашева просили о том графа Бенкендорфа, и он удовлетворил их просьбу. У них родился сын, мой крестник, и это событие, можно сказать, удвоило их счастье. Хотя впоследствии, потеряв его на втором году, они испытали все то, что родительская нежность может испытать в таких случаях, но вскоре рождение дочери, тоже моей крестницы, утешило их и мало-помалу залечило их сердечные раны. Зная подробно все их семейные отношения, я невольно удивлялся той неограниченной любви, которую родители Ивашева и сестры его питали к нему. Во всех их письмах, во всех их действиях было столько нежности, столько заботливости, столько душевной преданности, что нельзя было не благоговеть пред такими чувствами. Последствия доказали, что тут не было ничего искусственного. По смерти родителей Ивашева и его самого с женою сестры отдали трем детям его все состояние, которое следовало на долю отца, если бы он

осуждением не потерял прав своих, и которое по закону принадлежало уже им, а не его детям.

Наконец, наступил и наш срок к отъезду. В конце 1835 г. второму разряду убавлены остальные шесть месяцев; но как не было сделано распоряжения, в какие места мы назначались, то, пока происходила переписка, мы оставались в тюрьме и выехали из Петровского ровно через 10 лет после сентенции, т. е. в июле 1836 г. Прочим товарищам нашим 1-го разряда оставалось пробыть еще три года. В нашем разряде находилось 19 человек: 2 брата Муравьевых, Волконский, Ивашев, Лунин, Свистунов, Анненков, Штейнгель, Громницкий, Митьков, Киреев, Тютчев, Фролов и я. Некоторых поселили в Иркутской губернии, других—в Енисейской, а нас с Ивашевым, по просьбе матери его, назначили в г. Туринск Тобольской губернии.

Приготовления к отъезду, разлука с товарищами, неизвестность будущего—все это занимало и озабочивало нас. Может быть, мне не поверят, но, припоминая прежние впечатления, скажу, что грустно мне было оставлять тюрьму нашу. Я столько видел тут чистого и благородного, столько любви к ближнему, что боялся, вступая опять в обыкновенные общественные занятия, найти совершенно противное, жить, не понимая других, и, в свою очередь, быть для них непонятым. Благодарительно, с пользою прошли эти 10 лет для моего нравственного, умственного образования; но они не только не подвинули меня ни на шаг в опытности житейской, а, скорее, заставили забыть и то, что было приобретено прежде. Понимая все это, страшно было явиться опять на свет лишенным всяких внешних преимуществ, всего, чему поклоняется толпа, и с такими правилами и убеждениями, которые могли показаться не только безрассудными, но даже вредными господствующим понятиям. Меня утешало только, что я буду жить вместе с Ивашевыми и, следовательно, буду иметь два существа, близкие мне по сердцу, которые всегда поймут меня и не перестанут мне сочувствовать.

Пока продолжалась переписка о нашем назначении, нам позволено было выходить из тюрьмы, когда пожелаешь. Пользуясь этим правом, мы каждый день посещали женатых, обедали у них, в ожидании разлуки проводили вместе время с ними и с прочими товарищами. Случалось иногда выпить и бокал шампанского в дружеской, душевной беседе.

Наконец, наступило время отправления нашего. Холостым назначили ехать в Иркутск всем вместе, а женатым каждому особо. Так как я назначен был в одно место с Ивашевыми, то мне позволили отправиться вместе с ними. Мы остались до отъезда холостых и, проводив их, простясь с ними, стали сами готовиться к выезду.

В день отправления я утром пошел проститься с комендантом. «Генерал,—сказал я ему,—в течение десяти лет вы доказали вашим обращением с нами, что можно соединить человеколюбие с обязанностями служебными. Вы поступали с нами как человек добрый и благородный и много облегчили этим наше положение. Несколько раз я хотел было

выразить вам искреннюю мою признательность, но считал это неуместным, пока был под надзором вашим, и отложил это до дня моего отправления из Петровского. Этот день настал. Благодарю вас от души; я уверен, что вы не усомнитесь в искренности моих слов теперь, когда мы, вероятно, расстаемся с вами навсегда». Он прослезился. «Ваши слова,— отвечал он,— лучшая для меня награда, но, и с моей стороны, я должен отдать вам должную справедливость. Вы все, господа, вели себя так, что если бы на вашем месте были все Вашингтоны<sup>126</sup>, то и они не могли бы лучше вести себя. Мне ни одного разу не случилось прибегать к мерам, несогласным с моим сердцем, и вся моя заслуга состоит в том только, что я понял вас и, вполне на вас надеясь, следовал его внушениям». Мы обнялись и в последний раз простились с ним. Через год по отъезде нашем он скончался, в престарелых уже летах, и погребен в Петровском. Могила его, А. Г. Муравьевой и Пестова останутся навсегда памятниками нашего там пребывания. По смерти генерала Лепарского к оставшимся товарищам нашим назначен был новый комендант, полковник Ребиндер (мой родственник), новый плац-майор Казимирский и другие плац-адъютанты. Прежний плац-майор, полковник Лепарский, и прежние офицеры возвратились в Россию, получив большие награды за их службу в Сибири.

Прощальный обед наш был у Волконского. Тут собралась большая часть товарищей наших. С теми же, которые не могли присутствовать, мы простились в казематах. Шумно и грустно провели мы последние часы. Тостов было много. Наконец, мы крепко, со слезами, обнялись друг с другом, простились со всеми и, разместившись в экипажи, оставили Петровский. Проезжая мимо церковного погоста, вышли поклониться праху доброго товарища и достойной, примерной женщины, бывшей нашим ангелом-утешителем; потом, пустившись в путь, долго еще смотрели на удалявшийся Петровский, пока не скрылся последний предмет — купол и крест колокольни.

Здесь оканчиваю первый отдел моих воспоминаний. То, что случилось со мной по отъезде из Петровского, во время 20-летнего пребывания моего в Западной Сибири, относится более ко мне одному и, следовательно, не может быть так интересно. Постараюсь, однако же, хотя вкратце изложить в следующем отделе то, что касалось всех нас и нашей жизни по разным местам обширной Сибири в этот длинный период времени, и заключу рассказ мой моими наблюдениями этой любопытной страны и моим воззрением на правительственные распоряжения и политическое направление последнего царствования.

## II

Окончив рассказ мой о том, что касалось собственно до меня и всех нас, проживших в Сибири большую половину жизни, я не могу не сказать несколько слов об этой замечательной стране, бывшей предметом долговременных моих наблюдений и размышлений.

Сибирь на своем огромном пространстве представляет так много разнообразного, так много любопытного, ее ожидает такая блестящая будущность, если только люди и правительство будут уметь воспользоваться дарами природы, коими она наделена, что нельзя не подумать и не пожалеть о том, что до сих пор так мало обращают на нее внимания. Хотя в последнее время самый ход событий много подвинул ее во многих отраслях народного благосостояния и внутреннего устройства, но она все еще находится на низших ступенях общественного быта, все еще ожидает таких мер и преобразований, которые бы могли доставить то, чего у ней недостает, и тем бы дали ей возможность развить вполне свои силы и свои внутренние способы. Тогда нет никакого сомнения, что она мало бы уступала Американским Штатам в быстрых успехах того материального и политического значения, которые так изумительны в этой юной республике, и в отношении достоинства и прав человека (я разумею здесь вопрос о невольничестве) превзошла бы ее.

Вот чего недостает Сибири: внутренней хорошей администрации; правильного ограждения собственности и личных прав; скорого и строгого исполнения правосудия, как в общественных сделках, так и в нарушении личной безопасности; капиталов; путей сообщения; полезных мер и учреждений в отношении просвещения и нравственности жителей; специальных людей по тем отраслям промышленности, которые могут быть с успехом развиты в ней; наконец, достаточного народонаселения.

Первый из этих недостатков бросается в глаза каждому мыслящему обитателю Сибири. Управление края находится в руках людей, не имеющих никакого понятия о гражданском благоустройстве. Эти лица, не обладая ни теоретическими познаниями, ни практической опытностью, не имея стремления к общей пользе, думают только о собственных ничтожных выгодах, об улучшении своего личного вещественного быта, об удовлетворении чувственных наслаждений или мелких честолюбивых видов. Они действуют не в смысле той пользы, которую общество вправе от них требовать, а, напротив, считают, что управляемые, т. е. общество, созданы для того, чтобы устроить их личное благосостояние. От этого происходит, что при отправлении своих служебных обязанностей они имеют в виду самих лишь себя и ни во что ставят пользу общественную и справедливость. Из каждого административного распоряжения высшей власти они извлекают только то, что им выгодно, и в этом смысле стараются привести его в исполнение. Искаженное ими, а иногда и худо понятое управляемыми, оно редко достигает своей цели, если же и достигает, то далеко не оправдывает ожиданий.

Для устранения этого губительного направления должностных лиц в Сибири правительству необходимо обратить особенное внимание на выбор и нравственность определяемых им туда чиновников. Бесспорно, что при настоящем порядке вещей и вообще всего общественного быта в России эта задача весьма трудная, которую вдруг и вполне разрешить невозможно, но полагаю, что время и строгое, постоянное наблюдение за

действиями судебной и исполнительной власти в Сибири, внимание правительства к истинным заслугам должностных лиц, как бы ни маловажно было их значение, и соответственные этим заслугам награды, особенно же обеспечение их вещественного быта, могли бы постепенно искоренить или по крайней мере значительно уменьшить стремление к лихоимству и много улучшить нравственность чиновников. Пример нижнеудинского исправника Лоскутова ясно показывает, как много может принести пользы для края самое незначительное правительственное лицо, понимающее свою обязанность и действующее, может быть, без особого сознания на пользу общественную. В таком крае, как Сибирь, где огромные пространства отделяют не только верховную власть, но и высшие инстанции от управляемых, необходимо существует много произвола, и жалобы притесненных редко и с трудом доходят до того места или лица, которые могут защитить их.

Тот, кто хотя несколько обратил внимание на ход общественного быта в этом крае, не может не согласиться со мною, что, как в отношении администрации, так и в отношении всех других вопросов общественного быта, много бы принесло пользы для Сибири учреждение наместничества с такими правами, которые бы позволяли доверенному лицу, облеченному в эту должность, действовать в некоторых случаях, не ожидая разрешения высшей власти, и в особенности, если бы это лицо было одним из членов царской фамилии или одним из самых высших сановников империи, лицо, которое, пользуясь полным доверием государя, не опасалось бы брать на свою ответственность такие распоряжения или такие административные меры, на которые не смеет решиться простой генерал-губернатор. Независимо от пользы, которую бы такой наместник оказал личным своим присутствием в Сибири, где он сам мог бы видеть и соображать то, что нужно для края, и где распоряжения его исполнялись бы без всякого замедления, благотельно было бы также его постоянное пребывание в отношении выбора и назначения должностных лиц. Нет сомнения, что за ним охотно бы последовало на службу в этот отдаленный край много хороших и деловитых людей, имея в виду заслугами своими обратить на себя его внимание и получить достойные за то награды. При нем гражданская служба в Сибири не имела бы одну только корыстолюбивую денежную цель, а могла бы быть основана на побуждениях более возвышенных. С другой стороны, угнетенные находили бы в нем близкого защитника, и жалобы их легко бы могли доходить до него.

Учреждение двух департаментов Сената — гражданского и уголовного, а также и высшего учебного заведения принесло бы тоже несомненную пользу для Сибири. Ныне каждое гражданское и уголовное дело, поступающее в Сенат, тянется иногда более 10 лет, и окончательное решение воследует тогда уже, когда в гражданском процессе тот предмет, о котором шло дело, до такой степени уменьшится в своем значении, что не вознаградит даже расходов продолжительного иска. В уголовном же деле осуждение виновного по долговременности суда

никогда почти не достигает своей цели, ибо, вместо того, чтобы служить примером справедливой строгости законов за содеянное преступление и удовлетворением общества за нанесенное ему зло, оно возбуждает одно только сострадание к виновному, так долго томящемуся под судом за давно уже забытый всеми поступок. Нельзя не согласиться, что в делах гражданских скорость судебного решения в высшей степени необходима, как для сохранения и ограждения частной собственности, так и для обеспечения общественных сделок и договоров, на которых основаны успехи промышленности, торговли и развитие народного богатства. В делах же уголовных она не менее значительна, как в отношении преступника, так и самого общества. Первый (не говоря уже о том, если подсудимый должен быть оправдан) чем скорее подвергнется наказанию, тем справедливее оно будет казаться всем и тем сильнее пример его будет действовать на других; а последние вместо сострадания к виновному будут видеть в его осуждении справедливое возмездие за соделанное им преступление.

С открытием высшего учебного заведения в каком-либо из центральных сибирских городов образование молодых людей всех сословий, поступающих по окончании своего воспитания или на служебное поприще в Сибири, или избирающих промышленные и торговые занятия, принесло бы величайшую пользу краю. В особенности же, если бы при этом высшем заведении учреждены были специальные обучения, согласные с местными требованиями. Недостаток в образованных, а тем более в дельных специальных людях так ощутителен в Сибири, что иногда самые выгодные для страны и для частных лиц предприятия, для которых найдутся и капиталы, и желающие заняться ими, потому только не могут состояться, что нет людей, способных привести их в исполнение. Выписывать таких людей из России или из-за границы иногда невозможно, как по значительности требуемого ими содержания, так и по сомнительности в их знании и их нравственности. Мне самому случалось видеть, как иногда самое выгодное промышленное фабричное предприятие не имело успеха и вовлекало в огромные убытки именно оттого только, что вместо дельного и знающего человека употребляли какого-нибудь словоохотливого хвастуна, обманувшего рассказами о своих познаниях и обещаниями выполнить то, о чем он не имел никакого понятия. Самая золотопромышленность, которая так обогатила многих, а других пустила с кошельком, принесла бы в тысячу раз более выгоды и стране и самим золотопромышленникам, если бы с самого начала нашлись люди, которые бы понимали это дело, и если бы занимающиеся ею не принуждены были действовать более или менее ощупью. Во всех других отраслях промышленности недостаток специальных людей еще более ощутителен. Удивительно даже, как некоторые заведения при таких невыгодных условиях могут приносить пользу своим учредителям, и это можно объяснить только местными удобствами и природным богатством края. Нередко случается видеть, что промышленное заведение, хоть сколько-нибудь

согласное с требованиями и произведениями той местности, где оно учреждено, несмотря на недостаток сведений учредителя, на всевозможные неудачи, приносит иногда в Сибири большие выгоды, и я не раз был свидетелем, как таковые заведения после продолжительных попыток и неудач обогащали, наконец, своих владельцев. Что же было бы, если бы с самого начала принялись за них со смыслом и знанием дела. При таком недостатке дельных людей, разумеется, редкий, который решится пожертвовать небольшим капиталом своим на дело, ему неизвестное, и одни только богатые капиталисты могут быть исключением в этом отношении. При тех естественных богатствах, которыми наделена Сибирь, при той дешевизне первых потребностей и того разнообразия произведений [так в тексте.—*Сост.*] различных местностей нет никакого сомнения, что с необходимыми капиталами и сведущими людьми вся Сибирь вскоре бы покрылась бесчисленными промышленными заведениями, соответствующими местным потребностям, удобствам и произведениям.

Хоть недостаток капиталов и сказывается теперь в Сибири, но это обстоятельство не так еще важно, и ему легко можно пособить. Во-первых, при тех условиях, в которых находится теперь общественный быт в Сибири, большая часть местных капиталов остается в бездействии. Большие сибирские капиталисты—некоторые из них золотопромышленники и откупщики—живут большею частью в России и употребляют все то, что доставляет им Сибирь, не в самом крае, а вне его. Маленькие—боятся пускать свое достояние в такие обороты, где опасаются первой неудачи, и занимаются только тем, к чему привыкли, чем занимались исстари и что приносит хотя небольшой, но верный доход. Между ними есть даже и такие, которые, нажив небольшое состояние, совсем бросают занятия, опасаясь потерять приобретенное. С лучшим устройством страны, с положительным обеспечением собственности, с уверенностью в скором правосудии по гражданским искам и в несомненном покровительстве правительства, равно как и в возможности находить дельных и знающих людей для всякого промышленного предприятия, все эти капиталы необходимо обратятся в действие и поступят в капиталы производительные.

Кроме того, весьма было бы полезно, если бы правительство не только не воспрещало, но содействовало своими узаконениями основанию разного рода частных компаний, как на акциях, так и по условиям или договорам. Тогда могли бы образоваться огромные капиталы для таких предприятий, к которым невозможно приступить одному частному лицу, как бы ни велико было его состояние.

Учреждение местных банков с обеспечением предъявленного ими капитала недвижимою собственностью, например, застрахованных от огня домов и заведений в главных городах Сибири, могло бы также увеличить местные способы и обратить в производительные капиталы такую собственность, которая остается теперь без всякого производительного движения.



Пути сообщения необходимы для Сибири более, нежели где-либо. При разнообразии ее климата, местностей и произведений внутренняя и внешняя торговля ее не иначе может получить успешное развитие, как при удобствах сообщения. Самое даже благосостояние жителей этого обширного края зависит от того. В продолжение моего долговременного пребывания в разных местах Сибири я был не раз свидетелем, до какой степени недостаток сообщений лишил тот край, где я находился, или выгодного сбыта излишнего, или возможности приобрести необходимое. Например, до 1835 г. в Забайкальском краю, равно как и в других местах Иркутской губернии, при хорошем урожае какого-либо произведения этих стран, как-то: хлеба, орехов, табаку и т. д., товар этот продавался за самую низкую цену, потому что потребность в деньгах и некоторых необходимых предметах принуждала небогатых жителей сбывать излишек за какую бы то ни было цену. Несколько зажиточных купцов скупали эти произведения за бесценок и выжидали такого года, когда оказывались на какой-либо из купленных ими предметов неурожай, и тогда сбывали его по неимоверным ценам, в десять и более раз дороже. Таким образом, несколько лиц быстро обогащались, а весь край страдал.

В Тобольской губернии до 1850 г. цены на хлеб были так низки, что не вознаграждали трудов земледельца, между тем как в то же время в Томске и Красноярске они возвысились до такой степени, что разоряли золотопромышленников, принужденных платить от пяти до шести рублей за пуд ржаной муки и по 12 и 15 рублей за пуд мяса, тогда как ту же говядину в Тобольской губернии и в Киргизской степи можно было иметь по рублю и менее за пуд. В течение последних десяти лет сообщение между Тобольской и Томской губерниями, по случаю заведения двух или трех пароходов, по рекам Иртышу и Оби и несколькими полноводным немного улучшилось, и от этого небольшого улучшения как в той, так и в другой губернии цены на их местные произведения почти что уравнились. Мне кажется, что по географическому положению Сибири железная дорога от Тюмени до Перми и водяное сообщение посредством пароходства по рекам Иртышу, Оби, Енисею, Ангаре, Лене, Амуру, Байкальскому морю, озеру Зайсану и в Киргизской степи по реке Ише удовлетворят настоящие требования Сибирского края в отношении всех отраслей промышленности и торговли.

Здесь, разумеется, я только поверхностно могу коснуться тех улучшений, которых ожидает Сибирь, и не вхожу ни в какие подробности, для объяснения которых нужно иметь и более данных и более сведений, нежели имею я. Частный человек, какое бы он ни имел стремление к пользе общей, не может изучить совершенно все потребности такой обширной страны, как Сибирь, и указать с положительным знанием дела, как и что надо сделать. Для этого недостаточно целой жизни, и сверх того надобно обладать такими сведениями, для приобретения которых независимо от средств нужно бы было еще другую жизнь. Достаточно и того, если с полным усердием к общественной пользе граждан, любящий свое

отечество, совестливо сообщит благонамеренному правительству общие свои идеи, которые оно имеет более средств обсудить в подробностях и применить к делу.

Если бы действительно правительство пожелало подвинуть успехи благосостояния этой страны и для этого вознамерилось ознакомиться с ее настоящим положением, то оно легко могло бы исполнить это, учредив в губернских сибирских городах несколько комиссий и возложив на них обязанность представить ему подробный и совестливый отчет о состоянии каждой из них в отношении административном, так и в отношении общественного местного ее быта вместе с проектом тех улучшений и преобразований, которые могут оказаться нужными для края. Я бы посоветовал только в этом случае не возлагать учреждение этих комиссий на местные власти. Они, не в укор будет им сказано, составят их из своих приближенных, которые весьма естественно постараются одобрить все прежние распоряжения своих начальников, доказать, что край пользуется самыми благодетельными учреждениями и что следует изменить только то, что не согласуется с собственными их видами. Почему бы не отправить в каждую губернию по одному доверенному лицу из деловых и благонамеренных людей и дать им полномочие составлять таковые комиссии под своим председательством из лиц, избранных ими на месте тех сословий и людей, которые окажутся наиболее для того способными и полезными? Эти комиссии могли бы действовать независимо от местных властей и имели бы право требовать от них те сведения, которые им нужны и которые могут быть им доставлены. Сии комиссии не имели бы права приступать ни к каким исполнительным распоряжениям, а только бы занялись точным исследованием настоящего положения губернии, верным и отчетливым изложением оного, для соображения высшей власти, и своими предположениями для улучшения в ней всех отраслей гражданского и общественного быта—предложениями, основанными на общей пользе, на знании края и обстоятельств. Правительство, получив отчет этих комиссий, могло бы правильно и более или менее безошибочно сообразить общие и местные узаконения, меры и учреждения, которые бы могли наиболее согласоваться с выгодами этой обширной страны.

В заключение скажу несколько слов о сибирском народонаселении и тех мерах, которые, по мнению моему, могли бы служить к его просвещению и к улучшению его нравственности.

В Сибири общественные элементы относительно разделения народонаселения на сословия или касты несколько различны с Россией. В ней нет дворянства, нет крепостного состояния, исключая очень немногих и весьма незначительных помещиков (их всего наберется едва ли десятка два), перевезенных на пожалованные предкам их в прежние царствования земли крепостных людей из России. Но, с другой стороны, есть два лишних разряда—поселенцев и ссыльно-каторжных. Первые пользуются совершенно свободой и лишены только некоторых незначительных прав в сравнении с крестьянами, а последние живут по казенным заводам и

употребляются в самые тяжелые работы, находясь в совершенном распоряжении правительства и местных начальств. От этого изменения в составе народонаселения происходят значительные различия в общественном устройстве того или другого края. Отсутствие крепостного состояния благотворительно действует на быт низшего класса, т. е. крестьян. Здесь, в Сибири, они гораздо смышленнее, гораздо зажиточнее, гораздо выше в общественном значении, нежели крестьяне русские. Их разделяет меньшее расстояние от высшего сословия, они гораздо независимее, свободнее в сношениях с ними, и переход из одного сословия в другое совершается гораздо легче. Нельзя также не признать, что полезно для края и то, что в нем дворянства или, лучше сказать, помещиков нет. Это избавляет его от значительного числа непроизводительных лиц и капиталов, скорее затрудняющих, нежели поощряющих успехи народного богатства, и часто примером своим и своими исключительными привилегиями вредно действующих на общественный быт. Но с другой [стороны]—это самое лишает Сибирь некоторого общественного надзора за действиями должностных лиц и позволяет последним прибегать к произволу и уклоняться от правосудия и законности, не имея над собою, так сказать, постоянного косвенного контроля.

Два излишние разряда сибирского народонаселения, поселенцы и ссыльно-рабочие, приносят, в свою очередь, и пользу и вред здешнему обществу. В отношении нравственности они много вредят ему, ибо постоянно поддерживают худые наклонности человека между низшими сословиями и умножают преступления против собственности и личной безопасности. Но зато хотя понемногу, сравнительно с пространством края, но все-таки увеличивают постепенно народонаселение и доставляют обществу много способных, смышленных, хотя и не весьма нравственных, людей, которых, впрочем, действуя с осторожностью и благоразумием, можно всегда употребить с пользою\*.

---

\* Не излишним считаю сказать здесь мое мнение на счет поселенцев и ссыльно-рабочих, ежегодно прибывающих в Сибирь. Система, принятая в отношении их правительством, не совсем полезна для края и требует много лучшего. Поселенцы худую нравственностью своею много вредят обществу и не только портят нравы туземцев, но часто даже вовлекают их в преступления. Мне кажется, что гораздо лучше было бы, если бы некоторое время по прибытии в Сибирь они не пользовались тою свободою, которая им теперь предоставляется, и находились бы в это время под особым надзором и только по прошествии известного срока и по испытании их причислялись к волостным и получали те права, которыми теперь пользуются и тотчас по прибытии своем. Почему бы не избрать в Сибири какой-нибудь малонаселенный округ и помещать туда новоприбывших поселенцев? Этот округ мог бы иметь особое управление, и надзор за ссыльными мог бы также быть особенный. Там бы можно было также учредить, под ведением нарочно назначенных для этого должностных лиц, некоторые ремесленные и земледельческие заведения, где употреблялись бы ссыльные. По прошествии известного срока и по засвидетельствовании начальства о хорошем поведении ссыльные поступали бы оттуда на совершенную свободу и причислялись бы к крестьянским обществам. Неисправимые же оставались бы там навсегда. Ежегодно главный начальник этого округа представлял бы список тех из ссыльных, которых бы он нашел достойными освободить и водворить крестьянами. От этого, я уверен, очень бы

Лихоимство и система откупов суть два величайших врага общественного быта в Сибири. Первое до такой степени развилось во всех слоях общества, что заразило без исключения все сословия, начиная от правительственных мест до последнего крестьянина. Кто только может, тот и берет в Сибири, и берет с такою наглостью, с таким отсутствием всякого приличия, с такою вопиющею несправедливостью, что решительно нет такой общественной сделки, нет такого дела, как бы оно ни было ничтожно и справедливо, которое бы обошлось без взяток. Всего же грустнее видеть, что это проникло в самые даже низкие слои общества; крестьяне, которые наиболее терпят от него, в свою очередь, так им заражены, что когда кто-либо из них поступит на общественную должность в своей волости, то необходимо становится отъявленным взяточником и готов всеми средствами притеснять своих собратий, чтобы иметь повод к лихоимству. В городах то же самое. Едва купец или мещанин избран обществом головою, старостою или каким-нибудь членом городского управления, он в ту же минуту забывает прежний свой быт и становится чиновником, со всеми его дурными свойствами и сверх того без всякого знания дела\*.

выиграла нравственность низших классов сибирского народонаселения и очень бы уменьшились преступления против личности и собственности. Независимо от местного надзора высшие правительственные лица Сибири могли бы посещать этот округ и лично видеть, так ли все исполняется, как желает правительство.

Относительно ссыльно-рабочих на рудниках и заводах тоже можно сказать многое. Во-первых, по моему мнению, нравственность их гораздо удобнее к исправлению, нежели нравственность поселенцев, о чем я, кажется, уже говорил. Вследствие этого я считаю, что ни в каком случае не должно на них смотреть как на неисправимых членов общества. Наказание, которое налагает на них вечное клеймо и навсегда исключает из общества, по всей справедливости, должно быть отменено — быт их должен быть улучшен, работы положительнее, определеннее, управление ими смягчено; произвол их начальников сколько можно ограничен, и сверх того необходимо дать им возможность хорошим поведением заслужить облегчение их участи. Почему бы, например, не предоставить местным властям тех из них, которые своим усердием и улучшением своей нравственности заслужат внимание начальства, представлять к освобождению от работы и к переводу в округ поселенцев, откуда они могли бы поступить даже и в крестьяне.

\* Помещаю здесь несколько случаев взяточничества и поступков должностных лиц, за достоверность которых могу поручиться, потому что жил там, где они происходили.

1) Один зажиточный крестьянин, будучи на охоте, убил вместо дикого дворового гуся, принадлежащего другому крестьянину, тоже зажиточному. Оба они за это поссорились. В это время в волость приехал заседатель, и обиженный принес ему жалобу. Заседатель, узнав, что оба мужика богаты, обещал ему, если он подарит ему 50 рублей, не только взыскать за убитого гуся, но и наказать крестьянина, его убившего. Тот, из желания поставить на своем и отомстить своему сопернику, согласился дать деньги. Тогда заседатель посадил первого крестьянина в волостную тюрьму и продержал его некоторое время, дав ему знать через волостного писаря, что если он даст ему сто рублей, то будет выпущен, а противник его будет посажен на его место. Этот тоже согласился — был выпущен, а второй крестьянин посажен. Эти попеременные аресты продолжались до тех пор, пока оба крестьянина не убедились, что их дурачат за их же деньги. А между тем заседатель приобрел от обоих 800 рублей. Когда же увидал, что уже более нельзя получать, то призвал к себе обоих мужиков и помирил их. Но что всего удивительнее и показывает, до какой степени может простирается наглость, — это то, что тот же самый заседатель, не называя себя, рассказывал

Трудно, весьма трудно будет благонамеренному правительству искоренить это зло. Для этого необходимо и большое терпение, и большое искусство, и много помощи со стороны людей нравственных, бескорыстных и преданных отечеству. Необходимы также и многие правительственные меры, узаконения, более согласные с пользою общественною и иногда противоречащие принятым понятиям о самодержавии. Распорядительный и вполне понимающий административное дело наместник, о котором говорено было выше, может принести в этом отношении большую пользу и мало-помалу ослабить эту всеобщую заразу. Взяться за это надобно с большою осторожностью и большим хладнокровием. Во время пребывания моего в Сибири я сам был свидетелем, как недостаточно одной строгости, одного желания исправить лихоимство, чтобы достигнуть предполагаемой цели. Некоторые из генерал-губернаторов, преследуя без разбору взяточничество, делали более вреда, нежели пользы, и, губя мелких, еще не опытных чиновников, попадавших по собственной оплошности, при первом иногда случае, таких чиновников, которые еще могли легко исправиться и быть порядочными исполнителями их распоряжений, находились в совершенном ослеплении на счет самых отъявленных лихоимцев, которые искусно управляли ими, пользуясь некоторыми из их слабостей, и которых они считали за самых честных, благонамеренных людей.

эту историю в обществе нескольких лиц, которым она не была известна, как пример умного и ловкого лихоимца.

2) Каждое следствие, как бы оно ни было маловажно, служит поводом к лихоимству следователей. Если даже нужно сделать простой повальный обыск, то и тут не обойдется без значительной взятки с того селения, до которого это касается. Заседатель, стряпчий, исправник, например, дает знать, что такого-то числа он будет для спросу, и чтобы весь народ был в сборе. Если ему поднесут значительный подарок, то он придет в свое время и кончит как следует свое дело. В противном же случае народ в волости прождет его неделю, две, а он отзовется, что не мог прибыть к назначенному им самим времени по какому-либо особенному непредвиденному случаю. Но как крестьянам, особенно в рабочее время, каждый день очень дорог, то они охотно решаются, чтобы не потерять больше, платить следователю за каждое, даже пустое, дело.

3) Мне самому случилось избавить одну деревню от значительного расхода по требованию какого-то землемера. Раз как-то приходит ко мне знакомый крестьянин, поставивший мне дрова, и просит моего совета, дать ли приехавшему в их деревню землемеру 500 руб., настоятельно им требуемых. «А зачем он к вам приехал?» — спросил я. — «Проверять план, батюшка, — отвечал крестьянин, — этот самый план был два года тому назад составлен другим землемером, которому мы уже подарили. Он же говорит, что если мы не дадим ему пятьсот рублей, то проживет у нас более месяца и каждый день потребует 10 подвод и человек 20 рабочих. Теперь же сами знаете — страдное время. Чего это нам будет стоить?» Я подумал и отвечал ему: «Делайте, как знаете, но я бы ни за что не дал и лучше бы перенес эту тягостную повинность. Сверх того я что-то сомневаюсь, имеет ли он такое поручение, а если и действительно имеет, то, вероятно, оно дано ему именно с тем, чтобы покормиться около вас. Если вы дадите нынешний год, немудрено, что на следующий или через год опять прислан будет к вам новый землемер и потребует новых 500 р., так что этому и конца не будет. Если же выдержите, то, может быть, окончится одним разом. Впрочем, опять повторяю, делайте, как хотите, я не советую, а говорю просто, как думаю». Крестьянин ушел; недели через две, увидевшись со мной, рассказал мне, что они поступили,

Второе, еще большее зло, потому что оно действует и на нравственность и на материальное благосостояние самого многочисленного класса народонаселения,—система винных откупов, составляющих вместе с тем один из значительнейших источников государственного дохода,—так явно противоречит всем понятиям о благоустроенном и нравственном обществе, что излишним бы было повторять то, что известно и самому правительству, и каждому сколько-нибудь рассуждающему гражданину. Напрасно первое, т. е. правительство (и в этом должно отдать ему справедливость), старалось в разные времена улучшить эту систему, напрасно предполагало оно согласовать ее хоть сколько-нибудь с нравственностью. Каждый раз оно должно было убедиться в невозможности, развивая ее, увеличивать государственный доход и улучшать в то же время народные нравы. И действительно, каким образом может усиливаться источник дохода, основанного на сбыте такого предмета, потребность которого уничтожает достоинство человека, без вредного влияния на его нравственное состояние? Тут, сколько я полагаю, ложно самое основание, и потому какую бы хитрую систему ни создали на этом основании, какой бы ни старались придать ей нужный вид, одним словом, в какое бы платье ни одели ее, она была и будет всегда гибельна для народного благосостояния и народных нравов.

Неужели правительство, или, лучше сказать, государственные люди, составляющие проекты откупов и занимающиеся этим источником государственных доходов, не понимают, что откупщики, принимающие на себя обязанность удовлетворять народную потребность в спиртных напитках, заключали и заключают с правительством при каждой системе откупов

---

как я говорил, ничего не дали землемеру, и тот, пробыв у них дней пять, уехал, не поверяя план свой.

4) У одного из моих знакомых купцов один чиновник занял деньги и дал закладную на свой дом. По прошествии срока и по несостоятельности должника купец подал закладную ко взысканию. Дело очень простое; стоило только поступить согласно самому ясному из законов. А между тем оно продолжалось около четырех лет, и до сих пор не окончено. В просьбе не отказывают, но пересылают ее из окружного суда в губернское правление, оттуда в губернский суд, потом обратно опять в окружной суд и нигде не полагают окончательного решения.

5) Каждое имущество, поступающее по какому-либо случаю в опеку, или до окончания спора, или до совершеннолетия, особенно в первом случае, почти совершенно уничтожается вследствие нерадения, злоупотреблений и т. д. Я сам испытал это на себе. Имение жены моей было в споре и находилось в опеке. При начале тяжбы оно состояло по весьма худо составленной и неполной описи на сумму 60 тыс. ассигн. Тяжба продолжалась восемь лет, и, когда последовало окончательное решение, мы получили всего едва 4 тыс. рублей серебром.

В том городе, где я жил, все члены окружного суда были, наконец, отданы под суд за растрату нескольких опекунских имуществ. Этот суд над ними, если бы он скоро был окончен и виновники подверглись бы справедливому наказанию, мог бы служить благотельным примером, но, к несчастью, он продолжался столько времени, что, за исключением одного, все успели умереть, не дождавись конца, и на них уже смотрели не как на виновников, а как на страдальцев. Преемники же их забыли уже и думать о том, что их ожидает, если будут поступать точно так же.

такие условия, которых они не могут выполнить, если будут действовать в смысле заключенного договора. Они только потому и соглашаются на все ограничения, что наперед уверены в том, что будут иметь возможность не стесняться своими обязательствами и действовать более или менее произвольно. Для этого они сами или доверенные их весьма естественно прибегают к подкупам лиц, от коих зависит надзор за их действиями, и, стало быть, распространяют лихоимство, и без того уж столь повсеместное. Само правительство, т. е. даже те главные члены его, которые по своему положению и по своим правилам не причастны этой заразе, по необходимости должны смотреть сквозь пальцы на противозаконные действия откупщиков, ибо в противном случае сии последние могут оказаться несостоятельными и, следовательно, лишить казну значительной части ее доходов.

Вот почему мы всюду замечаем, и в особенности в Сибири, что откупщики имеют большой вес в главных правительственных местах и что там, где откуп не доволен мелкими должностными лицами, иногда ему противодействующими, или по независимому своему характеру, своим честным правилам, но чаще потому, что недовольны получаемым от него окладом, он весьма легко выхлопывает их увольнение или перевод в другое место. От этого происходит то, что люди, желающие быть честными, не хотят занимать таких должностей, где они необходимо навлекут на себя неудовольствие и даже преследование высшего начальства. Те же из них, которые не могут существовать без службы и, следовательно, совершенно зависят от нее, поневоле делают сделку со своею совестью и подчиняются общепринятым относительно откупов правилам, т. е. получают от него оклады и содействуют ему в противозаконных действиях. Мне самому не раз случалось слышать от некоторых чиновников, которые по многим отношениям заслуживали уважение, что они берут от откупа именно потому, что во всяком случае должны смотреть сквозь пальцы на его действия и что если бы они поступили иначе, то не остались бы и месяца при своих должностях. Следовательно, не бравши от откупщиков, они лишили бы себя только способов, не принося никакой этим пользы в служебном отношении. Таковые мнения и таковые, можно сказать, вынужденные сделки с совестью имеют вредное влияние на бескорыстие и честность чиновников. Один раз допустивши себя к некоторого рода лихоимству и находя оправдание в самом положении обстоятельств, тот чиновник, который бы, может быть, никогда не решился на взятки, мало-помалу изменяет свои понятия о бескорыстии и, видя вокруг себя беспрестанные лихоимства, делается вскоре и сам отъявленным лихоимцем.

Но откупы еще вреднее действуют на нравственность и вещественный быт низших сословий народонаселения. Распространяя, с одной стороны, пьянство и сопутствующие ему пороки и даже преступления, они, так сказать, подрывают самое основание общественного благосостояния и имеют гибельное влияние на народные нравы. Я уверен, что если

рассмотреть хорошенько все уголовные дела, то окажется, что большая половина преступлений были совершены или в пьяном состоянии, или по причине страсти к вину. С другой стороны, они значительно истощают материальные способы низших сословий. В Сибири, где труд землевладельца и ремесленника так щедро вознаграждается и самою природою, и местными удобствами, крестьяне могли бы быть гораздо богаче, одним словом, решительно благоденствовать, если бы не тратили и деньги, и время, и здоровье на гибельную наклонность к пьянству. Они даже и теперь в несравненно лучшем положении, нежели крестьяне России. Что же бы было, когда бы они сохраняли все то, что издерживается ими в пользу откупов, и когда бы истребилась в них мало-помалу эта вредная и безумная страсть к горячим напиткам?

При нынешней системе откупов правительство не может принять никаких благодетельных мер к искоренению в народе этой страсти. Оно должно довольствоваться тем только, что само поощряет ее, хотя и должно смотреть сквозь пальцы на все то, что делается во вред общественных нравов \*. К несчастью оно должно даже иногда противиться благонамеренным усилиям частных лиц в этом отношении. Так, например, воспрещено было обществу трезвости, которое начинало было учреждаться, по примеру Англии и Соединенных Штатов, в Остзейских губерниях <sup>127</sup>.

Но мне возразят, может быть, что легко осуждать этот источник государственных доходов, но не так легко заменить его и что недостаточно того, чтобы указать на необходимое и всем известное зло, надобно вместе с тем объяснить, как устранить его без ущерба казне. Будучи частным, а не правительственным лицом, я не могу знать все отрасли государственных доходов, которые бы могли заменить этот грязный источник, но было бы, мне кажется, гораздо выгоднее, справедливее и полезнее, если бы все то, что правительство получает от откупов, шло к нему прямо от тех, кто доставляет возможность откупщикам не только исполнять свои обязательства с правительством, но обогащаться самим и издерживать огромные суммы на подкупы и на управление питейными сборами. Тогда бы все расходы и все то, что наживают так скоро и так несправедливо откупщики, осталось бы чистою прибылью для народа, и вместе с тем и нравственная польза много бы приобрела от этого. Не странно ли, не грустно ли видеть теперь, каким почетом пользуются у правительства люди, нажившие в самое короткое время огромные состояния? Как эти люди за какие-нибудь вздорные пожертвования на пользу общую из того, что они приобрели такими грязными путями, превозносятся и восхваляются органами правительства как самые лучшие граждане отечества! К чему служит тогда честность, прямота, бескорыстие, все

---

\* В Петербурге как-то вышла очень остроумная карикатура. Представлен крестьянин, и по одну сторону его церковь, а по другую — питейный дом. Министр государственных имуществ тащит его за руку в первую, а министр финансов за другую — в последний, и таким образом разрывают мужика на две части.



нравственные достоинства, когда можно приобрести и почет, и уважение, и даже известность, идя таким путем, где отсутствуют лучшие принадлежности человечества?

Указать, как обратить в прямой налог или в разные косвенные налоги государственный доход от откупов, я не имею возможности. Это дело тех людей, в руках которых находятся бразды правления. Во всяком случае, мне кажется, что если бы нужно было пожертвовать частию доходов и для этого сократить некоторые государственные издержки, то и тогда не следовало бы задумываться. Правительство со временем выиграло бы от того не только в одном нравственном отношении, но и в отношении будущих своих способов, основанных всегда на народном благосостоянии.

Наконец, самое сильное, самое действительное орудие для улучшения народной нравственности есть, без сомнения, религия, которая имеет тем больше влияния на человека, чем ум и сердце его простее, чем понятия его ближе подходят, как сказал сам Спаситель, к понятиям детей. И действительно, у нас в России духовенство могло бы оказать величайшие услуги народной нравственности, если бы действовало согласно своему назначению в этом мире. К несчастью, и особенно в Сибири, не так поступает оно и не тому направлению следует. Занятое исключительно, по одностороннему образованию своему, внешними церковными обрядами и личными материальными выгодами, в которых так нуждается по своему общественному положению, оно не приносит десятой доли той пользы, которую могло бы приносить, и часто своим примером и своим корыстолюбием служит соблазном для мирян. Если благонамеренное правительство захочет иметь в нем благодетельного и сильного помощника к нравственному улучшению своего народа, то необходимо должно обеспечить вещественный быт его и деятельно заняться его образованием, как умственным, так и религиозным. Тогда только духовенство вполне поймет свое назначение в этом мире и сделается достойным орудием к достижению той высокой цели, которая предназначена всему человечеству.

### III

Десятилетняя тюремная жизнь моя окончилась. Я вступил опять в сношение с людьми, начинал пользоваться кое-какими правами, не скажу гражданина, но человека. В продолжение этих 10 лет (мне было уже 36 лет) я много приобрел в разных отношениях, мог обсудить и поверить мои убеждения и окончательно утвердиться в них, мог положить прочное основание своим правилам и религиозным понятиям. Много прочел с пользою и многому научился. Но одного недоставало во мне. Это опытности житейской, которая в каждом из нас, в эти десять лет, скорее уменьшилась, нежели увеличилась. Но этот последний недостаток не мог иметь влияния на наши нравственные элементы; он мог вредить нам во

внешней жизни нашей. В сношениях наших с людьми мы могли обманываться, заблуждаться, принимать позолоту за чистый металл; но все это не могло поколебать твердости наших правил и наших убеждений. Одним словом, в большей части из нас стихия нравственная была более или менее обеспечена от всякого внешнего и нового влияния. Здесь я считаю обязанностью отдать справедливость и выразить мою признательность правительству. Размести оно нас сначала по разным заводам, отними у каждого общество товарищей, лиши возможности поддерживать друг друга, смешай с простыми ссыльно-рабочими, подчини местному начальству и общим заводским правилам, легко могло бы случиться, что большая часть из нас, будучи нравственно убиты своим положением, без всяких материальных средств, не имея сношения с родными и находясь еще в таких летах, когда не совсем образовался характер, когда нравственное основание не так прочно, а ум легко подчиняется страстям и прелести воображения, легко могло бы случиться, говорю я, что многие потеряли бы сознание своего достоинства, не устояли бы в своих правилах и погибли бы безвозвратно, влача самую жалкую, недостойную жизнь. Поступив же таким образом, как оно поступило, соединив нас вместе, отделив от массы и назначив для надзора за нами людей добрых, оно доставило нам средства не только удержаться на прежней ступени нравственного достоинства, но даже подняться выше. Правда, что нелегко нам было отказаться для этого от последней частицы свободы, которую пользуются все даже ссыльные, жить в продолжение 10 лет строже, чем живут монахи, не иметь ни собственной воли, не располагать даже ни одним шагом своим; но когда эти 10 лет прошли, когда все эти лишения остались только в воспоминаниях и сохранились благодетельные результаты, тогда нельзя не признать, что для нас было бы гораздо хуже, если бы правительство предоставило нас общей участи осужденных.

Путешествие наше от Петровского до Байкала летом, в прекрасную погоду, так было интересно для нас, природа этого края так величественна, так красиво представлялась глазам нашим, что, невзирая на грустные наши думы о разлуке с друзьями и о неопределенной будущности, нас ожидающей, мы, как дети, восхищались разнообразием и красотой тех местностей, которыми проезжали. Особенно великолепны берега Селенги. Мы нередко выходили из экипажа и шли пешком версты по две и по три, чтобы вполне насладиться прелестным зрелищем природы. Иногда глазам нашим представлялись огромные развалины старинных зимовок самой фантастической архитектуры. Это были прибрежные скалы, до такой степени красиво расположенные, что мы невольно предавались обману зрения и, подходя к ним, старались отыскивать, вопреки рассудку, следы архитектурного искусства каких-нибудь древностей, может быть, допотопных обитателей этих стран. Бархатные луга по обоим берегам реки испещрены миллионами разного рода цветов, которым не отказали бы место в оранжереях, и ароматические травы распространяли повсюду благоухание в воздухе и казались

обширным искусственным садом. Растительность была изумительная. Одним словом, забайкальская природа, особенно местность Читы и берега Селенги, оставили во мне такие впечатления, которые никогда не изглаждаются.

Переехав через Байкал на судне, мы прибыли в Иркутск; прожили там около недели, очень ласково были приняты генерал-губернатором Броневским и всеми жителями, с которыми случилось нам иметь сношение. Проведя это время с некоторыми из товарищей наших, выехавших из Петровского и оставшихся по разным причинам в Иркутске, мы отправились в путь к месту нашего назначения тою же самою дорогою, которою ехали десять лет тому назад. В некоторых местах встречали прежних знакомых и везде находили радушие, приветливость и готовность оказать услугу. В Красноярске прожили мы дней десять. Там нашли Фонвизина, Бобрищевых-Пушкиных и Краснокутского. Исправление экипажей доставило нам удовольствие пробыть с ними несколько дней. Местные власти не торопили нас выездом. Два казака, нас провожавшие, были в полном нашем распоряжении. В это время начались в Енисейской губернии кое-какие открытия золотых приисков, и потому общее внимание обращено было на этот предмет, который исключительно занимал все умы и служил основой всех разговоров и суждений. Дешевизна съестных припасов и овощей в это время была необыкновенная. Я помню, как она поразила меня. Я попросил хозяина купить мне к обеду свежих огурцов и, соображаясь с петровскими ценами, дал ему 20 копеек серебром. Мне привезли целый воз, по крайней мере сотни три. Хлеб был также неимоверно дешев. Кто мог ожидать, что через два года цены на эти предметы увеличатся в 10 раз и более? Многие предусмотрительные люди составили себе впоследствии огромные от того капиталы.

Проехав Томск и несколько уездных городов, мы прибыли в половине августа в Тобольск. Отсюда я поехал в Туринск уже один, потому что Ивашевы должны были остаться тут недели на две, по болезни ребенка и чтобы самим отдохнуть от дальней дороги. Мне же хотелось скорее прибыть на свое место и окончательно устроить свой быт.

Нелегко, однако же, казалось мне, устроить его. Помню, что эта мысль тогда сильно беспокоила меня. Помощи у правительства я просить не хотел. Обратиться к товарищам я считал неприличным: мне было бы тягостно сделать это. Брат мой был небогат, и я не знал, будет ли он иметь возможность присылать мне что-нибудь. Правда, что в Петровском я кое-что получал от него, но весьма неаккуратно и не в известное время. Следовательно, я не мог положительно знать, сколько могу проживать ежегодно. Выезжая из Петровского Завода, я получил из маленькой артели 700 руб. ассигн. и истратил дорогою только 100 р.; остальные привез с собою. При моей умеренности этих денег могло достать надолго, тем более, что жизнь в Туринске дешева; но все-таки, рано или поздно, они должны были издерживаться, и тогда как быть? Я придумывал разные средства приобретать самому кое-что трудами своими, но должен был

убедиться, что из этого никакого не будет толку. Ремесленником, земледельцем я быть не мог: ни способности, ни здоровье мое, ни самые привычки не позволяли мне и думать о том. Промышленных занятий я также не мог предпринять: для этого нужен капитал, которого я не имел. Одним словом, как я ни думал, ничего не мог придумать дельного и потому решил сократить сколько можно издержки свои\*, предоставить это времени и обстоятельствам, стараясь между тем ознакомиться хорошенько с краем и местными способами. Провидению угодно было вывести меня из этого затруднительного положения. Вскоре брат мой известил меня, что он будет присылать мне ежегодно 400 рублей ассиг. Этого уже было довольно для меня; а потом добрый родственник мой, Барышников, доставил мне одновременно 4000 рублей, стал присылать сверх того ежегодно 1000 рублей. Сделавшись, сверх чаяния моего, не только вне всякой нужды, но даже относительно богатым, я перестал думать о своем вещественном быте и мог устроить свой образ жизни, согласно своему желанию и своим привычкам. Я упоминаю здесь об этом, чтобы показать, как много я обязан и брату моему и в особенности Барышникову, которые вывели меня из затруднительного положения и, обеспечив материальные нужды мои, приобрели право на искреннюю, душевную мою признательность.

По приезде Ивашевых мы стали жить в Туринске очень покойно. Жители скоро ознакомились с нами и полюбили нас. Чиновники обходились с нами вежливо, приветливо и даже с некоторым уважением. Не входя ни в какие городские сплетни, пересуды, не принимая участия ни в их служебных делах и отношениях, мы жили собственной жизнью, бывали иногда в их обществе, не отталкивали их от себя, но уклонялись от всякого с ними сближения. Это избавило нас от неприятных столкновений и мало-помалу дало нам такое значение в их мнении, что они стали высоко ценить знакомство с нами. К этому много способствовало также, независимо от нашего собственного поведения, обращение с нами высших властей. Губернаторы при посещении города обыкновенно бывали у нас и обходились с нами самым предупредительным образом. Губернские чиновники, приехавшие по делам службы, сейчас старались знакомиться с нами и проводили у нас большую часть времени. Все это, в глазах уездных чиновников и вообще всех жителей, придавало нам какое-то значение.

Так было почти во всех местах, где поселены были прочие наши товарищи. Редко, очень редко встречались исключения. Поведение наше,

---

\* Я еще в Петровском Заводе думал о том, что ожидает меня на поселении, и нарочно хотел испытать себя, могу ли перенести самый строгий образ жизни, как в отношении пищи, так и других необходимых потребностей. Я решил в продолжение шести месяцев питаться одним черным хлебом, молоком и яйцами, отказавшись от чая, говядины, рыбы, куренья табаку, и выдержал этот срок, не чувствуя больших лишений и не замечая, чтоб здоровье мое от того потерпело. Испытав себя таким образом, я спокойнее стал смотреть на ожидавшую меня будущность.

основанное на самых простых и строгих нравственных правилах, на ясном понятии о справедливости, честности и любви к ближнему, не могло не иметь влияния на людей, которые, по недостаточному образованию своему и искаженным понятиям, знали только материальную сторону жизни и потому старались только об ее улучшении, не понимая других целей своего существования. Их сначала очень удивляло то, что, несмотря на внешность, мы предпочитали простого, но честного крестьянина худому безнравственному чиновнику, охотно беседовали с первым, между тем как избегали знакомства с последним. Но потом, не раз слыша наши суждения о том, что мы признаем только два разряда людей — хороших и худых, и что с первыми мы очень рады сближаться, а от вторых стараемся удаляться, и что это — несмотря на внешность их, на мундир, кресты, звезды или армяки и халаты, они поняли, что наше уважение нельзя иначе приобрести, как хорошим поведением, и поэтому старались казаться порядочными людьми и, следовательно, усвоили некоторые нравственные понятия. Можно положительно сказать, что наше долгое пребывание в разных местах Сибири доставило в отношении нравственного образования сибирских жителей некоторую пользу и ввело в общественные отношения несколько новых и полезных идей. Присоединив к этому влияние, которое имело открытие золотых приисков, успехи промышленности и торговли, привлечение в Сибирь множество дельных и умных людей (много, правда, и дрянных, безнравственных аферистов), неудивительным покажется, что в продолжение последних 20 лет в этой стране так много изменилось к лучшему.

Действия правительства в отношении нас были двоякого рода. С одной стороны, оно не хотело показаться к нам особенно жестоким, не имея на то никакой причины; с другой — ему не хотелось, чтобы мы приобрели какое-нибудь значение, не хотелось ослабить в общем мнении важности нашей вины против него и показать, что оно само предает ее забвению. Одним словом, ему хотелось, чтобы мы служили постоянно угрожающим примером для тех, кто вздумает восстать против правительства или ему противодействовать. Имея в виду обе эти цели, оно согласовало с ними свои меры в отношении нас, и потому меры эти никогда не были определены. В них высказывалось желание как можно ниже поставить нас в общественном мнении, лишить нас всяких средств иметь влияние на общество и вместе с тем не обнаружить своего к нам равнодушия, не показать явно, что оно поступает для этого вопреки существующих узаконений. В иных случаях оно считало даже нужным явить к нам некоторое милосердие, некоторую снисходительность. Так, например, многим дозволено было служить рядовыми на Кавказе, другим разрешено было вступить в гражданскую службу в Сибири канцелярскими служащими. Удовлетворялись также все почти просьбы о переводе из одного места в другое... Посланные на Кавказ служили там нижними чинами по 8 и более лет; многие лишились жизни от пуль горцев или от климата, а дослужившиеся до офицеров возвратились на родину в преклонных уже

летах. Поступившим в гражданскую службу затруднялось также производство и не дозволялось занимать сколько-нибудь значительные должности. Жившие в Сибири не имели права отлучаться от места своего жительства далее 30 верст, не позволялось им вступать ни в какие частные должности, ни в какие общественные сделки, ни в какие промышленные или торговые предприятия. Одним словом, отнимались у них все те права, которыми пользуются вообще ссылаемые на поселение в Сибирь. Письма наши должны были идти через правительство. Материальные пособия тоже были ограничены. Холостым не позволялось получать более 300 руб. сер. в год, а женатым — 600 р., и хотя эта мера не достигала цели, потому что частным образом мы без затруднения получали все то, что могли присылать родные наши, и нередко даже из рук самих генерал-губернаторов Западной и Восточной Сибири, но все-таки это показывает, как занималось нами правительство. Ясно было, что ему очень хотелось, чтобы местные власти поступали с нами строго, без излишнего снисхождения, не доводя этого, впрочем, до той степени, чтобы высшая власть должна была вмешиваться и быть судьей между исполнителями своей воли и угнетенным лицом, на которое оно хотя и негодовало, но на стороне которого могли быть справедливость и общественное мнение.

Во всех своих действиях относительно нас правительство в продолжение нашего долговременного пребывания в Сибири руководствовалось одним произволом, без всяких положительных правил. Мы не знали сами, что вправе были делать и чего не могли. Иногда самый пустой поступок влек за собою неприятные розыски и меры правительства; а в другое время и важнее что-нибудь не имело никаких последствий. Так, например: снятие некоторыми из нас дагерротипных портретов с тем, чтобы послать их к родным, побудило правительство к запрещению не только снимать с себя дагерротипы, но даже и обязало нас подпискою не иметь у себя никаких дагерротипных снимков. К счастью еще нашему, что орудия правительства, т. е. исполнители его воли, принимали в нас участие и оказывали его во всех случаях, где не могли подвергнуться ответственности за особенное к нам снисхождение. Это много улучшило наш быт, который без того был бы очень незавиден. Сверх того, мы были под непосредственным ведением и надзором учрежденного императором Николаем корпуса жандармов и III отделения собственной его канцелярии. Это, впрочем, говоря правду, скорее служило к пользе, нежели ко вреду нашему. Лица корпуса жандармов, с коими случалось нам иметь сношения, оказывались людьми добрыми и внимательными к нашему положению. Через них и через III отделение мы могли доводить до сведения государя наши просьбы и наши жалобы и, следовательно, иметь всегда возможность защитить себя в случае какого-либо явного, незаконного притеснения. Правда, что до этого никогда не доходило, и мы не имели надобности жаловаться; но все-таки это могло удерживать многих от несправедливого на нас нападения или от ложных доносов<sup>128</sup>.

В 1842 г. всем женатым товарищам нашим предложено было отпра-

вить детей своих, рожденных в Сибири, в разные учебные заведения России со всеми правами прежнего звания их родителей, но с одним условием, чтобы изменить их фамилии. Предложение странное и столь же затруднительное, как и обидное для родителей и детей, когда они войдут в лета. С одной стороны, родителям больно было лишить своих детей всех выгод воспитания и прав преимущественных сословий; а с другой—также прискорбно совершенно отказаться от них, сознать себя недостойными передать им свою фамилию, лишить их, так сказать, законности рождения и подвергнуть обидным упрекам—иметь родителей, не носящих с ними одной фамилии.

Кроме Давыдова, все вообще отказались от этой милости, и она не достигла своей цели. Правда, что впоследствии правительство настояло на своем и по смерти некоторых женатых товарищей наших, возвратив детей в Россию, поместило их, с переменою фамилий, в разные учебные заведения.

Через три года по выезде нашем из Петровского отправилась оттуда и последняя категория, так что уже там никого не осталось. Комендант и все прочие офицеры возвратились в Россию. Тюремный замок наш обратили в помещение простых ссыльно-каторжных, подвергнувших себя одиночному заключению. Товарищи наши первого разряда поселены были, подобно нам, в разных городах и селениях Сибири.

Не лишним считаю упомянуть здесь, кто и где в это время находился. За Байкалом в Чите—Завалишин 1-й. В Селенгинске—двое братьев Бестужевых и Торсон. В Баргузине—два брата Кюхельбекеры. В с. Кабанском—Глебов. В Петровском Заводе остались на поселении, по собственному желанию, Горбачевский и Мозган. В Иркутске и в близлежащих селениях—два брата Муравьевых, Волконский, Трубецкой, Юшневский, Панов, Вольф, два брата Поджио, Вадковский, Сутгоф, Бечасный, Быстрицкий, Громницкий, Муханов, два брата Борисовых и Артамон Муравьев. В г. Каинске Енисейской губернии—Щепин-Ростовский, Соловьев и Арбузов. В городе Красноярске—Митьков, Давыдов и Спиридов. В г. Минусинске—Киреев, два брата Крюковых, Фролов, Тютчев, Фаленберг, два брата Беляевых и осужденный прямо на поселение Мозгалеvский. В Туруханске—Аврамов 2-й и Лисовский. В Енисейске—Якубович. В г. Тобольске—Свистунов, Штейнгель (переведенный из Красноярска по собственному желанию), Фонвизин, два брата Бобрицевых-Пушкиных и Краснокутский. В г. Кургане—Нарышкин, Лорер, Лихарев, Розен, фон Бриген, Фохт, Швейковский и Назимов. В Ишиме—Одоеvский. В Туринске—Ивашев, Пущин, Оболенский, Анненков и я. Я жил сначала в Туринске, вместе с Ивашевым. Туда же потом приехали Анненков и Пущин. Когда Ивашев и жена его скончались, а Анненков переведен в Тобольск, то и мы с Пущиным просили перевода: Пущин—в Ялуторовск, а я—в Киренск. Прожив в Киренске пять лет, меня зачислили в гражданскую службу, и потому должен был я переехать в Омск, откуда, по просьбе моей, был переведен окончательно в Ялуто-

ровск, где и находился до возвращения в Россию. В Ялуторовске — Муравьев-Апостол, Якушкин, Тизенгаузен, Ентальцев и Черкасов. Впоследствии многие отправились на службу рядовыми на Кавказ, а некоторые переведены, по просьбе своей, в другие места. В военную службу поступили: Сутгоф, Беляевы, Игельстром, Вяземский, Загорецкий, Кривцов, Чернышев, Нарышкин, Лорер, Лихарев, Розен, Назимов, Одоевский, Черкасов и некоторые другие. Одни из них дослужились до офицерского чина и возвратились в Россию, другие умерли на Кавказе от болезней или были убиты горцами.

Несмотря на рассеяние наше по всей Сибири и на отправление некоторых на Кавказ, мы все составляли как будто одно семейство: переписывались друг с другом, знали, где и в каком положении каждый из нас находится, и, сколько возможно, помогали один другому. Редко, очень редко случалось нам слышать что-нибудь неприятное об ком-либо из товарищей. Напротив, все известия, доходившие до нас, были самые утешительные; все мы вообще, в тех местах, где жили, пользовались общим уважением, с достоинством шли тем путем, который Провидению угодно было назначить каждому из нас<sup>129</sup>. Я уверен, что добрая молва о нас сохранится надолго по всей Сибири, что многие скажут сердечное спасибо за ту пользу, которую пребывание наше им доставило. Неудивительно после этого, что все искали нашего знакомства и что некоторые из прежних наших сослуживцев, увидя кого-либо из нас после 20—30 летней разлуки, забывали различие взаимных общественных положений наших, встречались с нами с прежнею дружбою и откровенно сознавались, что во многих отношениях мы счастливее их.

Но между тем время шло обычным путем своим и для нас шло так скоро, что из молодых людей мы сделались стариками. В продолжение 20-летней жизни моей в Тобольской губернии большая часть товарищей моих оставила этот мир. В последние годы смертность между ними особенно увеличилась. В 1840 г. я потерял друзей моих Ивашевых. Жена умерла прежде от простудной нервической горячки. Ровно через год, и в тот же самый день, скончался и муж от апоплексического удара. Маленьким сиротам их, сыну и двум дочерям, позволено было ехать в Россию к родным, которые впоследствии устроили их судьбу. Также и из других мест доходили до меня часто грустные известия о кончине кого-либо из наших. Фонвизину, Тизенгаузену и двум Бобрищевым-Пушкиным позволено было возвратиться в Россию к своим семействам. К концу царствования Николая Павловича оставалось нас в Сибири не более 25 человек. В минуту смерти покойный государь не мог не вспомнить ни дня вступления своего на престол, ни тех, которых политика осудила на 30-летние испытания...<sup>130</sup>.

Помещаю здесь одно весьма странное и до сих пор необъяснимое для меня обстоятельство. Рассказ мой может быть интересен как факт, который для тех, кто не усомнился в моей правдивости, послужит доказательством, до какой степени в прошедшие времена<sup>131</sup> трудно было



найти правосудие и как мало была обеспечена частная собственность, когда она попадала в руки сильных этого мира. В излагаемом мною случае кто могли быть эти сильные и имело ли правительство обо всем этом сведение, мне неизвестно. Передаю только то, что знаю и за достоверность чего ручаюсь всем, что есть свято. Если бы нынешнее правительство захотело исследовать это обстоятельство, то нет сомнения, что оно могло бы теперь открыть истину и найти виновных.

В 846, 47 и 48 годах, когда я жил в Омске, там находился на жительство, под надзором полиции, статский советник князь Грабе-Горский<sup>132</sup>. В 825 г. он был вице-губернатором на Кавказе. За что был смнен, не знаю, но событие 14 декабря застало его в Петербурге, куда он приехал оправдываться или искать нового места. Когда войска вышли на площадь, Грабе-Горский явился туда, не принадлежа нисколько к обществу, и был арестован, как участник в бунте. Хотя следствие доказало его непричастность, но как в ответах своих Комитету он выражался довольно дерзко и сверх того был на замечании у правительства за свою строптивость, то его хотя и не судили, но послали в одно с нами время в Сибирь, под надзор полиции. Сначала ему назначили местом пребывания Березов, а потом перевели в Тару. Тут опять он попал под следствие, был арестован, судим, оправдан и отправлен на жительство в Омск, где я и застал его. В это время ему уже было лет под 70. Это был видный, красивый старик, говоривший всегда с жаром и любивший рассказывать свои военные подвиги. Действительно, в кампании 812 года он очень отличился, получил много орденов, в том числе и Св. Георгия, и был переведен в гвардейскую артиллерию. Гражданская служба его была не так блестяща, как военная: репутация его как чиновника была незavidна. Известно только было, что он имел большие деньги, а как он нажил их и откуда они достались ему, знал только он сам и его собственная совесть.

В Омске он жил скромно, даже бедно. Получал от правительства 1200 руб. сер. в год и, кажется, не имел других способов. Он был везде принят, но не пользовался общим расположением по своему строптивому характеру, по страсти рассказывать одно и то же, т. е. или свои военные подвиги, или жалобы на несправедливость и притеснения разных правительственных лиц. Вместе с тем он не пользовался также и большим доверием к своим рассказам.

Зная о нем сначала понаслышке, я, признаюсь, старался избегать его знакомства. Но он сам посетил меня. Вежливость требовала, чтобы я его принял и заплатил визит. Не знаю, почему, даже против моего желания, он сделался так расположен ко мне, что стал нередко заходить и просиживать у меня по целым часам, толкуя о том, что для меня было вовсе не интересно и чему во многом я не слишком ему верил. Часто приходилось мне зевать при его рассказах, а иногда, увидя, что он идет ко мне, я не сказывался дома.

Раз как-то зашла речь об Таре, о следствии, которому он там подвергся. Он стал подробно рассказывать о нем, но как мне показалось,

что он говорит вздор, то я невольно выразил мое сомнение. В самом деле, трудно было поверить, чтобы, живя в Таре, он обладал такими огромными средствами, как выходило из его слов, и чтобы тамошние чиновники, желая воспользоваться его достоянием, обвинили его в вымышленном ими самими заговоре, хотя я вместе с тем и знал, по окончании его тарского дела, что он точно был обвинен несправедливо и что некоторые из тех лиц, которые ложно донесли на него, преданы были суду и обвинены. Но я предполагал, что они сделали донос из желания выслужиться перед правительством и по негодованию на него за какую-нибудь с его стороны дерзость. Видя его в нужде и бедности и сомневаясь в его правдивости, мог ли я поверить, чтобы у него было несколько миллионов? Да и откуда ему, казалось, их взять, и как все это случилось в Таре?

Заметив мое сомнение, он сказал мне: «Вижу, что вы мне не верите. Теперь пока я объясню вам, как получил я эти богатства, а потом представлю и доказательства. До сих пор я их никому не показывал из опасения, чтобы меня их не лишили. У нас ведь все можно делать властям. Но вам, надеясь на вашу скромность и дорожа вашим мнением, я решаюсь их показать».

Вот его рассказ:

«Фамилия наша в Польше пользовалась большим значением. Она даже находилась в родстве с последним королем, Станиславом Понятовским<sup>133</sup>, и я сам начал службу его пажем. Мы имели в Польше большие имения, по которым и теперь продолжают у меня процессы. В дошедшей мне в разное время движимости, состоявшей из денег, билетов опекунского совета, долговых обязательств, драгоценных вещей и т. д., заключалось более 6 миллионов рублей ассигнациями. Эта движимость, когда меня арестовали в Петербурге, находилась у моей жены. При окончании дела моего она была больна, но дочь посещала меня в больнице, где я лежал некоторое время, до отправления моего в Сибирь. Через нее я дал знать жене, чтобы она переслала мне при случае это имущество туда, где я буду находиться.

В Березове я жил без всяких средств. Жена и дочь хлопотали, чтобы меня оттуда перевели, и наконец, через два года они успели выхлопотать мой перевод в Тару. По прибытии в Тобольск тамошний полицеймейстер объявил мне, что губернатор давно меня ожидает и поручил ему немедленно меня к нему привести. Этот губернатор был Сомов, только что прибывший из России, с которым я прежде вместе служил и находился в дружеских отношениях. Он встретил меня как старого приятеля и товарища, повел сейчас в кабинет и, взяв все предосторожности, чтобы никто не помешал нам, объявил, что при отъезде из Москвы виделся с моей женою, которая поручила ему передать мне все мое движимое имущество. «Если тебе нужны наличные деньги,—прибавил он, вручая мне билеты опекунского совета,—то я с удовольствием разменяю тебе один из них». И действительно, я тогда взял у него 30 тысяч рублей вместо одного из билетов на такую же сумму.

Вот как это состояние дошло до меня в Сибирь.

Приехавши в Тару, разумеется, я начал жить довольно роскошно по сравнению с тамошними чиновниками, и особенно при тогдашней дешевизне.

Чиновники эти были, более или менее, люди дурные. Они с завистью смотрели на меня, и так как я не был лишен ни своего звания, ни чина, то и в этом отношении я стоял выше их и мог отклонять всякое их намерение сделать мне неудовольствие.

Покуда Сомов был губернатор, никто из них не смел ко мне привязываться. Но вам может быть известно, что он вскоре умер; тогда они видимо переменились. Я, впрочем, не обращал на это внимания, зная, что никакого вреда они мне сделать не могут; а от личного оскорбления я был огражден своим званием.

В это время два раза в неделю проходили через Тару многочисленные партии ссыльных, между коими большею частию были тогда ссылаемые за возмущения. Все они были в самом бедственном положении, изнуренные и без одежды. По чувству сострадания, мне пришло на мысль по возможности быть им полезным. Средства у меня были, и я распорядился таким образом, чтобы к приходу каждой партии иметь в готовности некоторые предметы из одежды, как-то: полушубки, сапоги, валенки, рубашки и т. д., которые и раздавал нуждающимся. Сверх того у меня заказывался для них сытный обед человек на 100 и более. Это продолжалось всю осень и, разумеется, возродило в городе различные толки о моем богатстве и вместе с тем подало мысль враждебным чиновникам погубить меня и воспользоваться моим достоянием. Они составили донос, что я имею намерение возмутить край с помощью ссыльных, что с этой целью я помогаю им и трачу на это большие суммы, которые, вероятно, доставляются мне тайным образом от врагов русского правительства. Донос этот был отправлен к генерал-губернатору Вельяминову<sup>134</sup>, и вследствие этого началось мое тарское дело. В Тару приехал сейчас же исправлявший должность губернатора А. Н. Муравьев<sup>135</sup>. Он арестовал меня и взял с собою в Тобольск. Имущество мое было запечатано и отправлено вместе со мною.

В Тобольске сделана была ему подробная опись, и оно было у меня отобрано. Опись эта была составлена в двух экземплярах. Один, за подписью плац-майора и генерал-губернатора, отдан был мне; а другой, за моей подписью, плац-майор взял с собой вместе с имуществом.

Опись, мне выданная, хранится у меня и служит явным доказательством справедливости того, что я вам говорю.

Дело продолжалось, как вы знаете, около 4 лет. Как ни старались найти что-либо преступное в моих действиях, но ничего не могли отыскать. Меня оправдали совершенно и перевели на житье в Омск. Чиновников, сделавших донос, предали суду и решили отставить от службы и впредь никуда не определять.

После этого, разумеется, я стал требовать возвращения моего

достояния. Обращался к генерал-губернатору, князю Горчакову<sup>136</sup>, писал шефу жандармов<sup>137</sup>, князю Голицыну<sup>138</sup> и т. д., но везде встречал одно молчание. На бумаги мои мне не отвечали. При личном моем свидании с Горчаковым он покачал головою и советовал мне оставить это дело без дальнейшего розыска. Словом, я видел ясно, что мне не хотят возвратить его. Опись, у меня находящуюся, я не решился представить потому, что могли ее уничтожить и лишить меня всякого доказательства. Она и теперь у меня, и я боялся даже показать ее кому-либо; но вам когда-нибудь покажу, чтобы истребить в вас всякое сомнение. Сверх того, надобно вам сказать, что в это время мне назначили от правительства 1200 р. в год и утвердили в княжеском достоинстве, как будто бы хотели этим меня задобрить».

Сознаюсь, что, слушая, хотя и со вниманием, этот рассказ, я не поверил ему. Характер и репутация князя Грабе-Горского возбуждали во мне большое сомнение в истине его странной истории. Сомов действительно был губернатором в Тобольске и умер там же, не прослужа даже году. И то было совершенно справедливо, что относилось к доносу тарских чиновников и до арестования Горского Муравьевым. Но можно ли было поверить, чтобы такое огромное имущество могло исчезнуть без вести? Нельзя, чтобы о нем не знали многие из служащих лиц. Да и сам бывший генерал-губернатор Вельяминов пользовался заслуженной репутацией честного человека и, конечно, не захотел бы участвовать в похищении чужой собственности. Муравьев также известен за человека бескорыстного. Одним словом, как я ни соображал все обстоятельства, убеждение мое оставалось то же, что и прежде, т. е. что Горский, по неудовольствию своему на правительственные лица, выдумал всю эту историю без всякого основания. Последствия еще более утверждали меня в этом мнении. Прошло несколько месяцев, но он не показывал обещанной описи и даже не упоминал о ней, ни о деле своем. Я так был уверен, что весь рассказ его вымышлен, что никому даже не говорил об этом, боясь показаться доверчивым простаком. Наконец, я и сам перестал об этом думать. Сам же Горский возбуждал во мне после этого какое-то неприятное чувство, ибо я видел в нем человека, желавшего очернить репутацию таких лиц, которые оказали ему правосудие в деле его. В начале 1848 г. я собирался ехать из Омска на жительство в Ялуторовск. Мы с женою укладывали поутру кое-какие вещи для отправления с обозом, как вдруг явился Горский.

«Я приехал к вам проститься,—сказал он, входя в залу.—Может быть, вам не удастся ко мне заехать или вы меня не застанете дома. Мне же надобно, при отъезде вашем, истребить ваше ко мне недоверие и попросить доброго совета. Я привез показать вам опись, о которой говорил. Вот она; уверен, что она удивит вас и уничтожит всякое сомнение. Прочитайте и скажите по совести: что мне делать?» — прибавил он, подавая мне бумагу в несколько сшитых листов.

Совсем некстати было его посещение: время было для меня дорого, и

он мешал нам. Я должен был, однако, взять бумагу и прекратить прежнее занятие. Пригласив его сесть, я, как теперь помню, стал читать вслух с прежним недоверием и с убеждением, что эта бумага мне ничего не докажет. Жена моя была всему свидетельницей. Вот что читал я:

— Опись имуществу, принадлежащему стат. советнику Грабе-Горскому (тогда он не был еще утвержден князем), отобранному у него тобольским плац-майором, полковником Мироновым, по распоряжению генерал-губернатора Запад. Сибири, ген. от инфантерии Вельяминова 1-го, в Тобольске, такого-то года, месяца и числа.

1) Билеты Московского и С.-П. Опекунского Советов, следуют суммы и номера, с означением годов и чисел. Всего без процентов на сумму более 2 м[иллионов] ассигнац.

2) Заемные, частные обязательства, от кого и на какую сумму, более миллиона.

3) Драгоценные вещи; 3 больших солитера, по оценке самого Грабе-Горского, с чем-то 600 т.

4) Портрет короля Станислава, осыпанный бриллиантами.

5) Потом исчисление разных других вещей: табакерок, часов, колец и проч. Всего же на сумму более миллиона.

6) Турецких шалей, платков и проч., на сколько, не упомню.

7) Батистового белья и еще что-то. Затем следовали еще разные предметы, с оценкою и без оценки.

Вся опись помещалась на 2½ листах, и в конце подведен итог деньгам—с чем-то 6 мил. рублей. Потом было подписано:

— Означенные билеты и документы и все вещи от статского советника Грабе-Горского приняты, и в его присутствии опись сия составлена такого-то года, месяца и числа в г. Тобольске. Подписал: тобольский плац-майор полковник Миронов. Далее:

— Означенные в сей описи билеты, документы и вещи от тобольск. плац-майора полк. Миронова для хранения получил генерал-губернатор Зап. Сибири генерал от инфантерии Вельяминов 1-й».

Последняя подпись была написана собственною рукою генерал-губ. Вельяминова, которую я очень хорошо знал, имея случай часто видеть прочие бумаги в Главном управлении Западной Сибири.

Можно представить себе мое удивление, когда я кончил читать опись и когда убедился, что она была точно подписана Вельяминовым. Руки плац-майора я не знал, и признаюсь, что если бы опись была подписана им одним, то я все-таки остался бы при прежнем мнении и, скорее, подумал бы, что Горский все это сам составил. Но рука Вельяминова была хорошо мне знакома, подписаться под нее было невозможно, тем более, что нужно бы было писать не одну фамилию, а целых три строки мелким письмом. Если бы Горский решился на такой поступок, тогда бы, вероятно, кроме фамилии, остальное он написал бы другою рукою, как это и делается в официальных бумагах. Все это вполне убедило меня, что опись справедлива. Я стоял несколько секунд в удивлении и потом показал

подпись жене. Горский видимо торжествовал и опять повторил: «Ну что, убедились ли теперь? Скажите же, что мне с этим делать?» — «Отправить прямо к государю». — «Но дойдет ли она до него, и вместо удовлетворения не пошлют ли меня опять в Березов? Или, что еще хуже, не посадят ли в сумасшедший дом, как безумного или ябедника? Уничтожить опись недолго. Тогда чем мне доказать справедливость моей жалобы? А ведь жаловаться мне надобно на людей сильных, всемогущих в житейских делах».

Я не знал, что на это отвечать, и сказал ему, что решительно не могу дать никакого дельного совета. «Все, что я могу сказать,—прибавил я,—ограничится тем, что остаюсь совершенно убежден в истине всего и прошу извинения в сомнении, которое до сих пор имел». — «На этот раз с меня и этого довольно,—сказал он мне, пожав руку.—Я рад, что по крайней мере один честный человек будет знать, что, обвиняя моих гонителей, я говорю правду и имею право их обвинять. Если не доживу до того времени, что мне позволят возвратиться в Россию, то обращаюсь с этой бумагой к правосудию царя».

Три года после этого он умер в Омске, не дождавшись нового царствования, которое, может быть, доставило бы ему возможность отыскать свою собственность.

\* \* \*

В настоящее время, когда поднято столько общественных вопросов, когда и правительство и мыслящая часть публики обращают свое внимание на положение низших сословий, когда самые даровитые писатели наши, изучая быт и нравственные качества народа, знакомят с ними своих многочисленных читателей, я не считаю лишним прибавить к их художественным и красноречивым рассказам несколько воспоминаний из моей долговременной жизни в таком краю, где я имел время и возможность коротко ознакомиться со всеми его общественными слоями.

В этих воспоминаниях стоят не на последнем плане несколько отдельных лиц из простого народа, поразивших меня в свое время свойствами и чертами характера. Теперь, когда начинается некоторая разумная связь высших сословий с низшими, первые легко поймут, что и между последними, даже в самой отверженной части общества, могут быть такие личности, которые при других обстоятельствах, при других условиях жизни и при другой обстановке могли бы занять видное место между своими соотечественниками.

Хотя по летам моим я принадлежу к старому поколению и далеко отстал от нового во всем, что входит в круг современного образования, но как прежде, так и теперь я вполне сочувствую успехам не мнимого, а настоящего просвещения, основанного, по моему мнению, на неизменной любви к ближнему и справедливости. Следуя всегда этому правилу, столько же по рассудку, сколько и по чувствам моим, я считаю, что в

человеческой природе не может быть никакого примера исключительного преобладания зла над добром и что в мире не найдется такого злодея, в котором бы не было чего-нибудь хорошего, такой струны, которая бы не издала сочувствующего добру звука. Согласно с этим, я всегда смотрел на дурные поступки людей как на нравственные болезни, а на самых даже закоснелых преступников—как на людей нравственно больных, которых следовало бы лечить с особенным вниманием и любовью, а не преграждать им все пути к выздоровлению. Я убежден, что с успехами просвещения и гражданственности люди будут иначе смотреть на нравственные недуги своих собратий и что даже в уголовных законодательствах наших исчезнет мало-помалу средневековое правило возмездия, на котором большею частью они основаны.

Весьма рад буду, если мои рассказы возбудят, хотя в нескольких лицах, живое участие к такому разряду людей, на которых до этого времени смотрели или как на отверженных, или как на не стоящих внимания членов общества.

Во время пребывания моего в Москве в 1820 г. я был неожиданно действующим лицом в одном событии, которое оставило глубокие следы в моей памяти. Теперь, когда крепостное состояние отживает свой век, когда через некоторое время все безобразные следствия сделаются одними преданиями, в справедливости которых могут усомниться наши потомки, я не лишним считаю рассказать это событие, как факт, изображающий, с одной стороны, порочную закоснелость помещичьих нравов тогдашнего времени, а с другой—беззащитную зависимость крепостного сословия, подвергавшую его самым ужасным и возмущающим следствиям произвола. Этот факт, в достоверности которого не усомнятся, надеюсь, все те, кто хотя несколько меня знают, послужит неопровержимым доказательством противу защитников прежнего порядка, не перестающих до сих пор находить и проповедовать какое-то воображаемое ими сходство между крепостным состоянием и патриархальным бытом древности.

Тогда в Москве жили многие мои родные, с которыми я делил время моего отпуска. Между ними находилась одна из моих двоюродных сестер. Это была замужняя молодая женщина, с которою я был очень дружен. Она жила с мужем у его родной тетки—старушки доброй, но несколько своенравной и преданной донельзя набожности. Не имея собственного состояния, они совершенно от нее зависели и должны были снисходить всем ее странностям. Впрочем, надобно сказать, что эти странности не выходили из границ и искупались ее к ним любовью и вниманием. Я почти каждый день бывал у них. Старушка, не знаю, почему, как-то полюбила меня. В доме их я встречал беспрестанно монахов, монахинь, странниц и странников.

Здесь надобно заметить, что старушка была коротко знакома с известной и богатой г-ней О. Набожность той и другой и одинаковый взгляд на вещи их сблизили. Обе они жили недалеко друг от друга и часто видались.

Однажды после обеда я приехал к сестре и, как домашний человек, вошел без доклада в гостиную. Все они сидели за круглым столом, перед самоваром. Кроме тетки, сестры и ее мужа тут находились два незнакомые мне лица. Это были очень молоденькие девушки, одетые в черном костюме, похожем на одежду монастырских послушниц. Привыкнув встречать у них подобные личности, я не обратил на них большого внимания, но не мог не заметить, что внезапное мое появление смутило несколько и тетку и сестру. Вскоре старушка, сказав со мною несколько слов и допив свою чашку, встала с дивана и увела с собою девушек.

Когда они ушли, я спросил у сестры своей, что это за новые у них лица, откуда они и неужели такие молодые девушки ходят за сбором. Сестра и муж ее дали мне знать, чтобы я говорил тише. Первая потом прибавила: «Я после расскажу тебе, cousin, их историю—теперь же некогда, тетушка сейчас возвратится, и ей, может быть, покажется неприятным, что мы об них говорим с тобой. Пока это еще секрет».

В самом деле, вскоре тетка возвратилась одна, и мы продолжали беседовать; но разговор как-то не клеился. Видно было, что их всех что-то занимало и что я был лишний. Заметив это и посидев с четверть часа, я сказал, что мне нужно ехать куда-то на вечер, и стал прощаться. Они меня не удерживали. Сестра же, провожая меня, сказала потихоньку, что при первом удобном случае она мне все объяснит и что я услышу невероятные вещи.

Разумеется, что все это меня заинтересовало. Возвратившись домой, я старался отгадать, какая могла быть тут тайна, но потом подумал, что из пустяков не стоит ломать себе голову и что вскоре сестра расскажет мне все, и перестал этим заниматься.

На другой день я встал довольно поздно, и человек, войдя ко мне, подал мне записку, присланную от сестры. Вот ее содержание: «Mon cousin, мы ожидаем тебя сегодня утром. Я пишу по поручению тетенки, которая сама расскажет тебе все, что касается до двух девушек. Мы обе очень бы желали, чтобы ты не отказался участвовать в таком деле, для которого нам нужен человек, как ты. Приезжай».

Напившись чаю, я отправился к ним, ожидая с нетерпением объяснения тайны. Когда я приехал, старушка повела меня к себе в комнату, что делалось только в чрезвычайных случаях и с людьми, к которым она была особенно расположена. Там мы с нею и сестрою уселись на диван, и вот что узнал я.

Обе девицы были крепостные дворовые богатого помещика [действительного] [с[татского] с[оветника] Т. Имение его находилось в Т. губернии, где он постоянно жил. Они были сестры и его незаконнорожденные дочери от крепостной девки. Таких, как они, было у него и еще много. Все они записывались в ревизию и жили в довольстве, не употребляясь на работу. Им даже давали некоторое образование: учили грамоте, иных даже музыке, и всякого рода рукоделиям. По достижении известного возраста они предназначались к тому же, чем были некогда их матери, а



потом, смотря по обстоятельствам, или выдавались замуж с маленьким приданым за каких-нибудь приказных, мещан и т. д., или оставались на пенсии в числе дворни. Матерям было строго запрещено говорить им, кто был их отцом.

Эти две девицы, однако, знали об этом. Мать их, женщина набожная, несмотря на строгость своего господина, устрашилась сделаться как бы сообщницею в преступном кровосмешении и предупредила дочерей. Тогда все они стали придумывать, как избавиться от угрожавшей им опасности, и, наконец, решились обратиться к игуменье ближнего женского монастыря, с которою мать была знакома. Эта игуменья была женщина хорошая, богобоязненная. Сначала она испугалась принять участие в таком деле, которое подвергало ее гневу и преследованиям человека сильного и безнравственного, но, с другой стороны, страшилась отказать в помощи, принять тяжкий грех на душу. Вот на что она, наконец, решилась. Будучи несколько знакома с г-ней О., она обещалась написать ей об них письмо по почте, а им сказала, что если они надеются потихоньку уйти и добраться до Москвы, то графиня, без сомнения, защитит их. Главное дело состояло в том, чтобы попасть в Москву, не возбудить подозрений во время приготовлений к побегу и потом избежать преследований. В этом случае помогла им мать. Так как она была свободна располагать своими действиями, могла даже отлучаться, и надзора за ней не было, то она взялась устроить их побег, нанять лошадей и т. д. Разумеется, что потом участие ее не могло скрыться, и она подвергала себя всем следствиям гнева раздраженного помещика, но в этом случае она не задумалась обречь себя на жертву и исполнила с высоким самоотвержением то, что внушали ей совесть, религия и материнская любовь.

Когда все было готово, обе сестры отправились в темную зимнюю ночь, напутствуемые благословениями несчастной матери. Путешествие окончилось счастливо, хотя нет никакого сомнения, что на другой же день, когда побег их сделался известным, послана была за ними погоня. Г-ну Т. не могло, однако, притти в голову, чтобы они поехали прямо в Москву. Там никого не было, кто бы мог скрыть их. О графине же О. он не мог и подумать. Вероятно, поиски ограничились близлежащими местами.

Добравшись кое-как до Москвы, они сейчас же явились к гр. О. Отыскать ее было нетрудно; письмо игуменьи дошло до нее гораздо прежде, и потому она уже была предупреждена. Графиня, как известно ее современникам, была женщиной, исключительно предавшейся набожности. Все ее богатство шло на добрые дела, церкви, монастыри и т. д. Конечно, в ее образе жизни много было восторженного, не совсем рационального, но нельзя было отказать ей в больших нравственных достоинствах, нельзя было сомневаться в чистоте ее убеждений, в ее добродетельных деяниях и в искренности религиозных чувств. Она как будто обрекла себя, как искупительная жертва, памяти своего родителя. Все время свое она посвящала молитве, поклонению св. угодникам и

беседе с духовными лицами обоего пола, из которых некоторые не совсем прямодушно пользовались ее особенною склонностью и неограниченною доверенностью. При дворе она была очень уважаема и, как я уже выше сказал, находилась в хороших отношениях с теткой моей сестры.

Весьма естественно, что, предуведомленная письмом игуменьи, она заинтересовалась судьбою обеих девушек. Вероятно, в письме этом объяснялся весь ужас их положения, собственные же их мольбы, слезы и изъявленное ими желание провести жизнь в монастыре еще более действовали на ее религиозные чувства и утвердили в намерении спасти их от преследования порока и сохранить для служения Богу эти два чистые, невинные создания.

В этом деле она поступила чрезвычайно осторожно. Опасаясь оставить их у себя, чтобы не подать повод к разным преувеличенным толкам и огласке, она, переговора с теткой сестры моей, поместила их у нее, отправив к г-ну Т. письмо с предложением внести за их отпускные значительную сумму.

Когда я увидел их в первый раз, они уже более недели находились в Москве, и графиня ожидала с часу на час ответа на свое предложение. Предполагая, что г. Т. сам придет в Москву и что ей придется иметь с ним объяснение, она желала найти человека, которого бы могла с уверенностью употребить для переговоров по этому щекотливому делу. Тетка сестры моей, с которой она об этом посоветовалась, взялась найти такого человека, и ее выбор пал на меня.

Старушка окончила занимательный для меня рассказ свой предложением, или лучше сказать просьбою, быть посредником в этом добром деле. Разумеется, что я охотно согласился, и мы тут же решили, не теряя времени, ехать к графине. Она взялась представить меня ей и уверила, что графиня с удовольствием даст мне полномочие действовать ее именем для успешного окончания этого дела.

Я был чрезвычайно вежливо и любезно принят графиней. Для меня было лестно ее доверие и очень интересно видеть вблизи такую замечательную личность того времени. Она одобрила мои намерения, как действовать при переговорах с г. Т., и в отношении цены выкупа просила не затрудняться, хотя бы это перешло за 10 т. рублей.

Дня через два после этого получен был ответ г. Т. Он решительно отказывался отпустить своих крепостных девушек, за какую бы то ни было цену, уверял графиню, что они ее обманывают и что, употребляя во зло ее доброту, хотят безнаказанно воспользоваться плодами своего преступления. Далее он говорил, что, учинив побег, они унесли у него деньгами и вещами на несколько тысяч рублей и что об этом подано уже им явочное прошение в тамошнюю полицию; что он очень жалеет, что не может сделать ей угодное, но что в этом случае и совесть и закон требуют от него исполнения обязанности справедливого и строгого помещика; что вслед за этим письмом он сам придет в Москву и остается уверенным, что графиня не захочет скрывать у себя преступниц.

Дело принимало оборот довольно серьезный. Право и закон были на стороне г. Т., и если бы графиня О. не имела такого значения в обществе и при дворе, то пришлось бы, конечно, скрепя сердце, предоставить обе жертвы плачевной их судьбе. Но именно в этом случае весьма было кстати, что сильные этого мира могут безнаказанно стать вне закона. Когда по получении этого письма я был позван к графине на совещание, то предложил ей дать мне право при решительном несогласии г. Т. отпустить девушек объявить ему, что графиня ни в каком случае ему их не выдаст, а, описав их положение и объяснив все, поручит их покровительству и защите вдовствующей императрицы<sup>139</sup>.

Видно было, что графине очень не хотелось прибегать к такой крайней мере, но должно отдать ей справедливость, что она не задумалась на нее согласиться и только просила меня, чтобы я сначала употребил все возможные убеждения, увеличил бы, как хотел, сумму выкупа и даже, если бы нужно было, просил г. Т. сделать это, как личное ей одолжение. Уговорясь, как действовать, я с нетерпением ждал прибытия г. Т. Графиня при первом его посещении не должна была принимать его, но попросить оставить свой адрес и дать ему знать, что на другой день утром явится к нему ее доверенный.

Через несколько дней тетка сестры моей, у которой я бывал почти каждый день, известила меня о приезде г. Т. и вручила мне его адрес. На другой день рано утром я отправился к нему в гостиницу «Лондон» в Охотном ряду, где и теперь она еще существует. Он занимал один из лучших номеров.

Приказав доложить о себе, я в ту же минуту был приглашен и, войдя в первую из прихожей комнату, нашел г. Т., совсем уже готового принять меня. Это был человек пожилой, но хорошо сохранившийся, высокого роста брюнет, с аристократическими манерами. Он чрезвычайно вежливо встретил меня и сейчас же приступил к делу, прося меня объяснить ему, каким образом две бежавшие его девушки очутились вдруг у графини О. и какая причина заставляет ее принимать в них такое незаслуженное ими участие. Я отвечал, что мне об этом ровно ничего не известно, что я не знаю также, как и почему она принимает в них такое участие, а что я приехал к нему только с тем, чтобы передать предложение графини и договориться с ним в цене их выкупа. «До известной суммы,—прибавил я,—мне дано право согласиться; но если требование ваше будет превышать ее, то я сообщу о том графине. Вот почему,—сказал я в заключение,—потрудитесь объявить мне, сколько вы желаете получить за их отпускные».

«Мы смотрим, кажется, на это дело с разных сторон,—возразил он,—и к тому же вы крайне ошибочно обо мне судите. Скажу вам просто и коротко, что в деньгах я не нуждаюсь. Если бы я любил их, то, конечно, обрадовался бы такому случаю. Но я ставлю свои правила и обязанности выше денег и, следовательно, смотрю на это дело иначе. Две крепостные девки мои бежали, совершив преступление, кражу. Вы хотите,

чтобы вследствие необдуманной прихоти знатной женщины, которую они обманывают, я согласился вместо заслуженного наказания наградить их. Спрашиваю вас, какой тут нравственный смысл, и какие могут быть от того последствия? После этого все мои две тысячи душ захотят делать то же, да и не у одного меня, а у всех помещиков. Да это просто явное нарушение всех общественных законов. Это первый шаг к безначалию, к ниспровержению всякой законной власти. И чтобы я в мои лета, в моем звании, согласился из каких-нибудь денежных выгод на такое незаконное дело! Никогда, положительно говорю, никогда этого не будет. Вы еще так молоды, что слишком легко судите об обязанностях, лежащих на человеке, прослужившем 30 лет государю и отечеству и достигшем некоторого общественного значения. Эти обязанности для меня священные, и я исполню их, хотя бы этим и навлек на себя, к моему сожалению, неудовольствие такой особы, как графиня, которую я вполне уважаю. Слава Богу,—прибавил он,—мы живем не в Турции и не в эпоху безначалия, а управляемся положительными законами, которые защитят и меня и права мои от всякого насильственного посягательства со стороны кого бы то ни было. Конечно, мне весьма будет неприятно иметь дело с графинею, и я бы очень был рад избежать этого; но я не виноват в том: справедливость и закон на моей стороне, и я уверен, что ни ее знатность, ни богатство, ни общественное значение не в состоянии будут сделать из черного белое и лишить меня моих прав и моей собственности».

Я внимательно слушал, не перебивая его; он же говорил с таким жаром, с таким, как мне казалось, прямотушием, что я начинал уже сомневаться в справедливости наших об нем сведений. Более полутора часа продолжалась моя беседа с ним. Одно только мне показалось странным: он как будто старался вызвать меня на более откровенные объяснения в отношении обеих девиц. Это внушило мне недоверчивость к его протестациям и заставило решиться на последнее средство, которое могло возбудить в нем справедливое негодование, если бы совесть его была чиста.

«Итак,—сказал я наконец,—вы решительно отвергаете предложение графини. То ли я должен заключить из нашего разговора? Потрудитесь сказать мне это в двух словах, чтобы не было недоразумения».

Он как будто смешался, но потом, оправившись, отвечал: «Совершенно так. И в самом деле, пора уже прекратить этот неприятный для меня разговор. Потрудитесь передать его графине. До завтрашнего утра я буду ждать ее согласия выдать моих беглянок. Если же не получу их, то приступлю немедленно к законным средствам, хотя это, повторяю, и очень будет для меня неприятно».

«С графинею вы дело иметь не будете,—возразил я.—В случае окончательного вашего несогласия на ее предложение она уже решилась, как поступить ей, и уполномочила меня объявить вам это. Сегодня же обе девушки с ее письмом будут отправлены в С.-П. к вдовствующей императрице, которой она объяснит их положение, ваши на них права, а

также и их — на ваши к ним обязанности, одним словом, все то, что ей известно и что, конечно, ясно обнаружится, если государыня не откажет в своем им покровительстве. Стало быть, графиня будет в стороне, и вы будете иметь дело не с нею, а с императрицей. Это и для вас будет, конечно, лучше, если вы почувствуете себя совершенно правым».

Я встал и взялся за шляпу. Последние слова мои, видимо, его поразили. Он начал скоро ходить по комнате и, когда я стал прощаться с ним, он с заметным волнением сказал мне: «Прошу вас оставить это дело до завтрашнего дня. Приезжайте ко мне утром, и я вам дам решительный ответ. Теперь же этот разговор так утомил меня, что я ничего не могу сказать положительно. Во всяком случае уверьте графиню в моем желании сделать ей угодное».

Я вышел, оставив его в большом смущении. Передав мой разговор с ним тетке моей сестры, которая в тот же день должна была сообщить его гр. О., я рано утром на следующий день отправился к г. Т.

«Видите ли,—сказал он, встречая меня,—как я сговорчив, когда дело идет, чтобы угодить даме. Вы, конечно, не ожидали так скоро и так дешево окончить со мною дело. Вот обе отпускные моим беглянкам. Дай Бог, чтобы они не заставили раскаиваться графиню в принятом ею участии. Денег за них мне не надобно. Если я, поступая вопреки убеждению, и нарушаю свою обязанность, как помещик, то по крайней мере не из денег, а из одного желания исполнить требование графини. Мне бы хотелось, однако, самому вручить ей эти бумаги. Можно ли будет это сделать?»

Я так был удивлен неожиданным оборотом этого дела и так был рад успешному его окончанию, что не знал, верить ли мне его словам. Я боялся, не было ли тут с его стороны какого-либо обмана или насмешки, и потому, взяв со стола отпускные, прочел их. Уверившись в их действительности и оправившись от первого впечатления, отвечал ему, что не нахожу никакого возражения против его желания отдать лично отпускные графине, но что прошу его только дать мне время известить ее о его посещении.

Уговорившись, чтобы он отправился к ней часов в двенадцать, я поскакал с радостною вестью к моей старушке, рассказал ей все случившееся и просил ее немедленно передать графине счастливый результат моего посредничества и приготовить ее к посещению г. Т.

Далее все кончилось, как следует. Он сам вручил графине обе отпускные и, несмотря на все ее убеждения, никак не хотел взять денег. Обе девушки помещены были в какой-то монастырь, и как я вскоре оставил Москву, то и не знаю, что потом с ними сделалось. Не знаю также и об участи их матери. Впоследствии, среди развлечений, собственных тогдашним моим летам, я нередко с горьким чувством вспоминал об этом эпизоде моей жизни. Он оставил во мне непреодолимую ненависть к крепостному состоянию.

И в самом деле, если мы обсудим без предубеждения, с должною

снисходительностью к человеческим слабостям, это грустное следствие крепостного состояния, одно из тысячи ему подобных, то убедимся, что виною всему само учреждение, а не люди, которые действуют в нем более или менее согласно с его духом. Человек—вещь. Этою вещью всякий пользуется, смотря по тем понятиям, которые он усвоил, по влечению своих страстей, наклонностей, под влиянием своего воспитания, своих привычек, своего темперамента и характера. Этот г. Т. при других обстоятельствах, при другой внешней обстановке, при другом воззрении на подобных себе, при других общественных условиях был бы, вероятно, совсем иным человеком и, может быть, даже человеком замечательным по уму и нравственным качествам. Даже в этом случае это бескорыстие меня удивило, и хотя далеко не примирило с его порочною натурою, но как-то отрадно отзывалось при моих воспоминаниях об этом событии. А мать этих девушек, показавшая такое самоотвержение, такое христианское понятие о своем долге, сама ли она виновна в той участи, на которую обрекло ее крепостное состояние? Наконец, эти девицы, изъявив желание провести жизнь в стенах монастырских, не были ли они вынуждены к тому их безвыходным положением и теми обстоятельствами, в которых находились и которые без крепостного состояния не могли бы существовать?

Вот ряд мыслей и вопросов, которые представлялись мне всегда при воспоминании об этом давно прошедшем событии, и признаюсь, что чем более я рассуждал об этом, тем снисходительнее делался к лицам и тем враждебнее становился к самому учреждению, имевшему такое губительное влияние на всю общественную и частную жизнь в нашем отечестве. Оно лежало тяжелым гнетом на нравственных понятиях всех сословий и искажало лучшие принадлежности человеческой природы, не допуская их свободного развития. Радуюсь, что я дожил до того времени, когда это безобразное чудовище находится при последнем уже издыхании...

## ВОСПОМИНАНИЯ ОБ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ ДЛЯ КОЛОННОВОЖАТЫХ И ОБ УЧРЕДИТЕЛЕ ЕГО ГЕНЕРАЛ-МАЙОРЕ НИКОЛАЕ НИКОЛАЕВИЧЕ МУРАВЬЕВЕ <sup>140</sup>

Недавно случилось мне прочесть краткую биографию г.-м. Николая Николаевича Муравьева<sup>141</sup>, изданную в 1852 г. некоторыми из бывших его воспитанников<sup>142</sup>. Она была напечатана в немногих только экземплярах и предназначалась как предмет воспоминания для тех, кто находился некогда в его учебном заведении. Будучи одним из воспитанников этого заведения, я с особенным удовольствием прочел эту маленькую брошюрку, напомнившую мне давно минувшее былое. Вместе с тем она подала мне мысль изложить некоторые собственные мои воспоминания о незаб-

венном для меня корпусе колонновожатых и достойном его основателе и начальнике.

Сорок три года тому назад я приехал в Москву семнадцатилетним юношей, чтобы начать свое служебное поприще. Не имея определенной цели, без всякой протекции, при весьма поверхностном образовании и при материальных средствах самых ничтожных, но с пламенным желанием посвятить себя умственному и полезному труду я некоторое время не знал, на что решиться и как начать свой трудный путь самостоятельной жизни. Матери у меня не было (я лишился ее три года тому назад), и с ее кончиною прекратилось мое ученье. Три лучшие года юности я, как говорится, бил баклуши у отца в деревне. Он был человек пожилой, чрезвычайно добрый, но с устарелыми помещичьими понятиями и считал образование скорее роскошью, чем необходимостью. Я сам, уже достигнув 17-летнего возраста, должен был позаботиться о том, чтобы сделать из себя что-нибудь годное. Когда я передал отцу мое намерение ехать в Москву, он не противился, с чувством благословил меня и снабдил небольшою суммою денег.

Прибыв в столицу, я сообразил мои финансовые средства и, уверившись, что при строгой экономии можно прожить ими год-другой, решился поступить вольным слушателем в Московский университет, чтобы потом держать экзамен. Являсь к тогдашнему ректору И. А. Гейму<sup>143</sup>, я получил от него записку о дозволении посещать лекции. На другой день утром рано я пошел уже в класс, но, пришедши гораздо прежде преподавателя, так был возмущен неприличным поведением и дерзостью некоторых подобных мне юных слушателей, что с прискорбием должен был отказаться от университетских лекций и возвратился домой, не зная, что с собою делать.

Я уже было хотел определиться на службу в Сенат и оставить намерение докончить свое воспитание, но, встретясь случайно с А. А. Т.<sup>144</sup> только что произведенным тогда из пажей в офицеры квартирмейстерской части, и узнав от него о существовании корпуса колонновожатых, в котором находился тогда родной его брат, я решился поступить в это заведение. Добрый Т. по просьбе моей согласился охотно сам представить меня генералу Муравьеву.

На другой день утром мы отправились с ним к Николаю Николаевичу. С первых слов этого достойного человека нельзя было не почувствовать к нему сердечного влечения. Расспросив меня с участием обо всем, до меня относящемся, и вникнув в подробности моего положения и моего воспитания, он с отеческою заботливостью объяснил мне все, что требуется для поступления в его корпус и что ожидает каждого из его воспитанников при хорошем или худом прилежании и поведении. К счастью моему, объяснив ему откровенно мои скромные познания в русском и французском языках, в истории, географии и арифметике, я был им обнадежен, что они достаточны, чтобы выдержать экзамен для поступления в его учебное заведение, и он тут же согласился принять

меня учащимся с тем, чтобы, по представлении свидетельства о дворянстве, допустить к испытанию в колонновожатые.

В следующее утро я уже сидел на классной скамейке. Преподававший офицер (Н. Ф. Бахметев) был предведомлен генералом и, сделав мне легкое испытание в арифметике и русской грамматике, объявил, что я поступаю в его класс, т. е. последний или, лучше сказать, малолетний.

В этом классе я был старше всех летам, и признаюсь, мне было как-то совестно сидеть с детьми. Всех нас было человек около тридцати. Наш класс был самый шумный и далеко не отличался прилежанием. Преподавателю стоило немало труда объяснять ученикам предмет свой и наблюдать за тишиною в классе. Юные товарищи мои, из коих некоторые были богатые матушкины сынки, не очень боялись своего наставника, который, в свою очередь, был еще так молод, что легко понимал их невнимательность к его увещаниям и потому снисходительно извинял многое. Самое главное наказание было: оставление в классе без обеда. Редко проходил день, чтобы кто-нибудь не подвергался этому наказанию.

Помню, с каким бывало уважением мы смотрели на воспитанников высших классов и как завидовали, смотря на двери, до начатия лекций, на учащихся 3-го класса, когда они повторяли свои уроки, чертя мелом на черной большой доске геометрические фигуры или решая алгебраические задачи. Все это казалось нам недоступною премудростию. И как благодарны мы были, когда кто-нибудь из них приходил к нам и с самодовольною улыбкою объяснял какое-нибудь нехорошо понятое нами правило арифметики!

В корпусе было всего пять классов: четвертый класс, или самый последний (в брошюрке он назван приуготовительным), 2-е отделение третьего класса, 1-е отделение третьего класса, второй и первый. В год проходилась весь курс математики, необходимой для офицерского экзамена, так что колонновожатый, который выдерживал каждый раз переводной из класса в класс экзамен, мог пройти весь курс в один год и удостоиться испытания в офицеры. Но если кто хотя один раз оставался в прежнем классе, тот уже только в следующий год мог быть выпущен. Вот почему юные товарищи мои в 4-м классе не слишком заботились об учении. По летам их нельзя было произвести в офицеры, и потому они не старались переходить в высшие классы. Что же касается до меня, то, сознавая всю пользу и собственную выгоду в прилежном учении, я решился, во что бы то ни стало, выдерживать каждый раз переходные экзамены, и как я вступил в корпус при начале курса, то и надеялся в течение года пройти все, что требовалось для офицерского экзамена.

Кроме математики преподавались и другие науки. В 4-м проходила или, лучше сказать, повторялась русская грамматика, священная история, кроме того мы писали под диктовку по-русски и по-французски и занимались черчением и ситуационною рисовкою. В 3-м — российская и всеобщая история, география, полевая фортификация и рисовка. Во 2-м — долговременная фортификация, всеобщая история, черчение и рисо-



вание планов, правила малой и средней съемки с объяснением употребления инструментов. Наконец, в 1-м — тактика, краткая военная история, геодезия, правила большой съемки \*. Военную историю и тактику читал сам генерал, и надобно было видеть, с каким всегда удовольствием шли к нему в класс. Объяснял он чрезвычайно ясно, говорил увлекательно, примешивая в свою лекцию множество любопытных и поучительных анекдотов из своей долговременной военной жизни, и все это передавалось им с таким добродушием, с таким знанием дела и понятий каждого из его слушателей, что его лекции считались не учением, а, скорее, отдохновением и приятно поучительною беседою.

Сначала мне было очень трудно не отставать от преподавания и идти вместе с теми, которые слушали его во второй и третий раз. Я просиживал целые ночи за учебными книгами и за грифельною доскою. Во 2-е отделение 3-го класса я выдержал испытание хорошо и был переведен, но в этом классе, где по части математики все было для меня ново, требовались с моей стороны большие усилия, чтобы не отставать от преподавания. Напряженные занятия, ночи, проводимые без сна, тревожная забота, чтобы выдержать предстоящий экзамен, — все это действовало на мое слабое и без того здоровье. К этому присоединилась простуда, и я серьезно занемог грудною болезнью и кровохарканьем.

Делать было нечего, следовало лечиться и оставаться дома \*\*. Но и тут я не хотел запускать ученье и оставлять надежды на переход в следующий класс. Подружившись с некоторыми из колонновожатых высших классов, я просил одного из них ежедневно навещать меня и повторять со мною каждую новую лекцию, без меня пройденную. Вместе с тем я обложил себя учебными курсами и таким образом на болезненном одре следил за преподаванием. Надобно заметить здесь, что в нашем заведении между взрослыми воспитанниками существовала такая связь и такое усердие помогать друг другу, что каждый с удовольствием готов был отказываться от самых естественных для молодости удовольствий, чтобы передавать или объяснять товарищу то, что он или нехорошо понимал, или когда случайно пропускал лекцию. Сами даже офицеры на дому своем охотно занимались с теми, кто просил их показать что-нибудь непонятное им. Случалось даже обращаться за пояснениями к самому генералу, и он всегда с удовольствием удовлетворял нашу любознательность. Этот дух товарищества и взаимного желания помогать друг другу был следствием того направления, которому он умел подчинить наши юные умы.

В это время помощником генерала и инспектором классов был его

---

\* Распределение предметов преподавания впоследствии несколько изменилось, как видно из упомянутой брошюры, а равно часы преподавания и другие подробности.

\*\* Жили мы по своим домам и ежедневно ходили в классы, в дом генерала. Колонновожатые — как юнкера — не имели права ездить, а должны были ходить пешком, и только в 15° морозу позволялось им надевать шинели. Я строго соблюдал эти правила (с конца января 1818 г. я был уже колонновожатым) и простудился, путешествуя четыре раза в день, в одном мундире, от Каменного Моста на Большую Дмитровку и обратно.

сын, шт.-кап. гвардейского генерального штаба М. Н. Муравьев, нынешний министр государственных имуществ<sup>145</sup>. Он заметил, что некоторые из колонновожатых в низших классах иногда ложно сказываются больными и пропускают лекции, свободно гуляя по столице. Для прекращения этого беспорядка он испросил у отца своего разрешение отправлять показывающихся больными в военный лазарет. Это распоряжение сильно оскорбляло наше самолюбие, и мы считали его в высшей степени несправедливым. Как нарочно, я занемог в это самое время и получил записку от дежурного офицера, что если завтра не явлюсь в классы, то буду отправлен в больницу. Такая строгость сильно меня огорчила. Мне казалось, что приложением моим я представил достаточное ручательство в моем ревностном желании учиться и что распоряжение, относящееся более до малолетних учеников, не следовало бы применять ко мне. Сверх того, по общему понятию отправление в больницу унижало меня в глазах прочих. К тому же в лазарете я не мог продолжать своих домашних учебных занятий, да и товарищ мой не мог уже посещать меня. Все это ужасно как меня взволновало, и, не зная, как поступить, я решился отправиться прямо к генералу и объяснить ему мое положение. Хотя тогда мне уже сделалось несколько лучше, но я был еще так слаб, что едва мог одеться. По бледному, исхудалому лицу моему можно было судить о моей тяжелой болезни. Идти пешком я не мог и, на этот раз, считал себя вправе нарушить запрещение ездить. Закутавшись в шинель, сел я на извозчика и велел ехать прямо к Николаю Николаевичу. Это было после обеда. Я подъехал к крыльцу; никого не встретив и войдя в залу, попросил дежурного доложить о себе; генерал сейчас же вышел и, увидев меня, с сожалением и участием спросил, что мне надо. С волнением, почти со слезами, рассказал я ему об оскорблении, которое чувствовал, и о том, как мало заслужил подобную строгость. Добрый Николай Николаевич, видя, что я говорю правду и что лицо мое служит явным этому доказательством, старался меня успокоить, обещая до совершенного моего выздоровления оставить меня дома, не требуя никаких донесений и доказательств моей болезни. Он обещал вместе с тем сказать об этом сыну и в заключение взял с меня слово не выходить с квартиры до тех пор, пока совсем не оправлюсь.

Успокоенный его словами и участием, я возвратился домой в веселом расположении духа. Как будто целая гора свалилась с плеч моих. После этого я продолжал лечиться и по-прежнему заниматься. Когда же выздоровел, то наступила уже масленица и в классах начались экзамены. Явясь к генералу, я рассказал ему, что в продолжение болезни учебные занятия мои не прекращались, и просил дозволить мне вместе с прочими держать экзамен в 1-е отделение 3-го класса, с тем, однако ж, чтобы мой экзамен отложить до первого дня великого поста, потому что в свободные дни масленицы я успею еще лучше себя к нему приготовить. Он охотно согласился на это, и таким образом, благодаря снисходительности Николая Николаевича, его участию к моему положению, а вместе с тем и

радушному усердию моего товарища, я перешел в свое время в высший класс.

Все это я говорю для того только, чтобы показать, как добр и снисходителен был Николай Николаевич, как он знал каждого из своих воспитанников и как умел привлечь к себе их сердца. Найдутся, конечно, люди и теперь, а тогда их было еще больше, которые утверждают, что одною только строгостию можно дойти до хороших результатов при воспитании юношества. Генерал Муравьев и его учебное заведение служат неопровержимым доказательством противного. Без преувеличения можно сказать, что все вышедшие из этого заведения молодые люди отличались—особенно в то время—не только своим образованием, своим усердием к службе и ревностным исполнением своих обязанностей, но и прямою, честностью своего характера. Многие из них теперь уже государственные люди, другие—мирные граждане; некоторым пришлось испытать горькую чашу испытаний<sup>146</sup>, но все они—я уверен—честно шли по тому пути, который выпал на долю каждого, и с достоинством сохранили то, что было посеяно и развито в них в юношеские лета.

При поступлении моем в корпус колонновожатых штаб его был следующий: начальником—ген.-майор Н. Н. Муравьев, помощником—его сын, гвардии Генерал. штаба штабс-капитан М. Н. Муравьев; офицерами-преподавателями: гвардии подпоручик Петр Иванович Колошин, квартирмейстерской части подпоручик Христиани, Вельяминов-Зернов и Бахметев. Вскоре был второй выпуск. Из вновь произведенных были оставлены в корпусе прапорщики Зубков, Крюков и князь Шаховский. Бахметев же и Вельяминов-Зернов выбыли из корпуса. В 4-м классе математику преподавал сначала Бахметев, а потом Зубков и временами кн. Шаховский. В обоих отделениях 3-го класса—Крюков и князь Шаховский, во втором—Христиани, в первом—Колошин. Тактику читал сам генерал, полевую и долговременную фортификацию—Колошин. Он же и Шаховский—всеобщую и русскую историю и географию. Рисование и черчение сначала Христиани, а потом прикомандированный к корпусу капитан Диаконов. Сверх того, Колошин и Христиани исправляли по временам должность помощника инспектора, а прочие офицеры по очереди дежурили по корпусу. Летом 1818 г. колонновожатый Лачинов, бывший в Персии с генералом Ермоловым, был произведен за отличие и оставлен при корпусе.

С ноября до начала мая корпус находился в Москве. Классы и чертежная помещались во флигеле дома, принадлежавшего генералу, на Большой Дмитровке. Самый дом был тогда занят Английским клубом, и одну из пристроек его на дворе занимал Николай Николаевич. Все колонновожатые и офицеры жили на своих квартирах. Первые получали по 150 руб. асс. в год жалованья, а последние—по чинам их. Классы начинались в летние месяцы в 8 часов утра, а в зимние—в 9 и продолжались до 12 и до часа. После обеда же—от 2 до 6. Следовательно, учились всего восемь часов в день. Математические лекции были

ежедневно по одной для каждого класса, но иногда и по две. Рисовальный общий класс—тоже каждый день. Прочие—по три раза в неделю, но иногда случалось, что и последние преподавались ежедневно. Вообще на это не было положительного правила. Так как все предметы преподавались по программе, то случалось иногда, что в одном предмете преподаватель оканчивал курс, а в другом он же, или другой, был еще далеко от конца. Тогда лекции последнего учащались. Наблюдали только, чтобы к приблизительно назначенному времени преподавание всего, что входило в программу каждого класса, оканчивалось одновременно, и тогда начинались переводные экзамены. Те, которые выдерживали их, поступали в высший класс, а с оставшимися и вновь поступившими из низшего класса начинался прежний курс. В мае месяце колонновожатые отправлялись под надзором офицеров в село Осташево—имение генерала Муравьева в 100 верстах от Москвы, по Волоколамской дороге. Там размещались они в деревне по крестьянским квартирам. В то же время приезжал туда и сам генерал. Тут начинались летние занятия, фронтовое ученье, съемка и т. д. Для прочих классов, кроме второго, научные занятия с приездом в Осташево прекращались, по 2-му классу преподавание продолжалось до окончания всего классного курса. Те из колонновожатых этого класса, которые оказывались, по экзамену, достойными к переводу в первый, предназначались, вместе с находившимися уже в нем, к офицерскому экзамену, и им всем около половины сентября, т. е. в то время, когда кончались летние занятия, начиналось преподавание предметов, входящих в программу первого класса. В Осташеве обыкновенно оставались до начала зимы, или лучше сказать, до окончания всего курса первому классу [так в тексте.—*Сост.*]; так что по возвращении в Москву первоклассные колонновожатые в корпусе уже не учились, а занимались у себя повторением всего пройденного в продолжение года и приготовлением к офицерскому экзамену, который, смотря по обстоятельствам, бывал иногда в декабре, иногда в январе и феврале месяцев\*.

Вообще жизнь в Осташеве и летние занятия очень нам всем нравились. На квартирах у крестьян мы помещались по двое и по трое. Каждый избирал себе в товарищи того, с кем он был более близок, кто более сходил с ним в характере и в образе мыслей. При этом входили в расчет и обоюдные финансовые средства. Богатые обыкновенно жили по одиночке или с такими же богатыми. Имевшие ограниченные способы находили равных себе по состоянию. Хотя многие из колонновожатых были люди зажиточные, даже богачи и знатного аристократического рода, но это не делало разницы между ними и небогатыми, исключая только неравенства расходов. В этом отношении надобно отдать полную справедлив-

---

\* То, что я говорю здесь, относится к 818 и 819 годам, когда я был в корпусе сначала колонновожатым, а потом офицером и преподавателем. После меня, т. е. от марта месяца 820 до 824 года, делаемы были некоторые изменения, а наконец и самый корпус переведен в Петербург.

вость тогдашнему корпусному начальству. Как сам генерал, так и все офицеры не оказывали ни малейшего предпочтения одним перед другими. Тот только, кто хорошо учился, кто хорошо, благородно вел себя, пользовался справедливым вниманием начальства и уважением товарищей. Замечу здесь, что всего чаще даже попадались под взыскания молодые аристократы. Имея более средств, они иногда позволяли себе юношеские шалости, за которые нередко сажали их под арест. Между нами самими богатство и знатность не имели особого весу, и никто не обращал внимания на эти прибавочные к личности преимущества. Да и сами те, которые ими пользовались, нисколько не гордились этим, никогда не позволяли себе поднимать высоко голову перед товарищами, которые, в свою очередь, не допустили бы их глядеть на себя с высоты такого пьедестала.

Вот порядок, который был заведен во время пребывания нашего в деревне. Все колонновожатые были разделены на несколько отделений, человек по 10 и по 12. Начальником каждого назначался один из старших колонновожатых первого класса. Обязанность его состояла в том, чтобы наблюдать за воспитанниками своего отделения. В 9 часу вечера он должен был собрать и вести свое отделение на перекличку к дежурному офицеру и потом, по пробитии зари и по сигналу из пушки, обойти в 10 часов всех своих колонновожатых, осмотреть, дома ли каждый из них, и потушить у них огонь. Потом все начальники отделений вместе отправлялись к дежурному офицеру и рапортовали ему или об исправном состоянии всего, что подлежало их надзору, или доносили о том, если что оказывалось не в должном порядке, например, если кого из колонновожатых не было дома, или когда собравшиеся вместе отказывались разойтись и тушить огонь. Дежурный офицер, по получении рапортов от начальников отделений, шел к генералу, в свою очередь, обо всем доносил ему. На другой день в 8 часов, также по пушечному сигналу, начальники опять вели свое отделение к старому дежурному, который сдавал дежурство новому, а сей последний, сделав перекличку, объявлял колонновожатым их занятия на этот день. Потом все расходились по квартирам и, напившись чаю, собирались отделениями к новому дежурному, который в 9 часов, и также по пушке, вел их в дом генерала для предназначенных им занятий.

Эти занятия состояли в лекциях, в рисовке планов, в черчении и в одиночном и фронтовом учении, для чего нарочно назначался в корпус на летние месяцы знающий свое дело унтер-офицер. В 12 часов утренние классы кончались, и колонновожатые под надзором дежурного офицера возвращались на свои квартиры. В два часа, также по сигналу и тем же порядком, они шли опять к своим занятиям, а в шесть прекращали их.

Эта жизнь в деревне, исключавшая все другие светские развлечения, кроме общества своих товарищей и таких удовольствий, в которых всякий мог участвовать, чрезвычайно как сближала молодых людей между собою и способствовала к основанию самых прочных между ними союзов.

Многие из колонновожатых, находившиеся в одно время в корпусе, остались впоследствии на всю жизнь в самых близких и дружеских между собою отношениях, несмотря даже на различие их общественных положений. Сверх того, она много содействовала к возбуждению особенного рвения к учению и полезным занятиям. Пример прилежных, старательных воспитанников, заслуживших безукоризненным поведением своим внимание начальства, не мог не действовать благотворительно на юные умы и нравственность остальных.

Справедливость требует сказать, что добрый начальник наш умел всегда отличать тех, кто того заслуживал. Но он делал это таким образом, что самолюбие других не было оскорблено. Всякий видел в его особенном расположении к кому-нибудь справедливую дань прилежанию и нравственным качествам, так что большею частью тот, кого он отличал, был в то же время любимцем и своих товарищей. Странная вещь — молодежь по какому-то инстинкту почти всегда очень верно судит и делает свои заключения о каждой личности из своей среды. От безотчетного ее наблюдения не скроются никакие недостатки, как бы ни старался иной таить их самым тщательным образом. Последствия всегда оправдывали то мнение, которое составлялось в нашем учебном заведении об каждом из воспитанников. Мне самому случилось встретить, после весьма продолжительного времени, некоторых из моих товарищей по корпусу, и я был удивлен, найдя в пожилых уже людях, в отцах семейства, в важных общественных лицах те самые черты и особенности характера, на которых мы основывали некогда свое об них мнение.

Нельзя, чтобы не случалось иногда между 70 юношами каких-нибудь шалостей, каких-нибудь предосудительных поступков. Безнаказанно не проходило ничего. Но тут поступало было Николаем Николаевичем с величайшим тактом, с большою осмотрительностью и совершенным знанием юношеской природы. Принималось в соображение не столько самый поступок, сколько причина, побудившая к нему. Если эта причина не имела в себе ничего противного правилам нравственности, если это было увлечение, следствие прежнего неправильного воспитания, пылкого характера, необдуманности, резвости, одним словом, если провинившийся не сделал ничего такого, что бы унижало его, — наказание было легкое, иногда ограничивалось простым выговором или увещанием. Но зато когда поступок показывал испорченность характера, явный предосудительный порок, тогда взыскивалось очень строго, и виновный подвергался иногда исключению из заведения. В этом случае генерал Муравьев как будто предугадывал правила будущего царственного руководителя общественно-го воспитания в России, который впоследствии с такою любовью, с такою отеческою снисходительностью поступал не раз с провинившимися воспитанниками русских учебных заведений<sup>147</sup>. Воображаю, как бы порадовался наш добрый бывший начальник теперешней системе воспитания и тому, что делается с некоторого времени для блага России.

В настоящее отрадное время молодые люди, выпущенные из корпу-

сов и служащие в учебных заведениях и в войсках, конечно, уже хорошо понимают всю пользу справедливого, кроткого обращения с подчиненными, не только из дворян, но даже из простого сословия. Но еще не так давно, а тем более сорок лет тому назад, надобно было иметь слишком высокое образование и особенную твердость и в характере и в убеждениях, чтобы действовать вопреки господствовавшей системе военного воспитания. Надевая тогда мундир, юноша должен был отказываться от своей личности, смотреть на все глазами начальника, мыслить его умом, делать без рассуждений все, что ему приказывалось. Горе было тому юноше, который осмеливался отступить хотя сколько-нибудь от этого правила. Потеря всей карьеры и нередко и тяжелое наказание на всю жизнь было его уделом. Не так поступал с своими питомцами Николай Николаевич. Он иногда радовался даже, когда замечал проявление самостоятельной личности, и, не стесняя юный рассудок, старался только направить его на все полезное, на все возвышенное и благородное.

Свободное от занятий время мы посвящали дружеским беседам; сходились по несколько человек у кого-либо из своих товарищей, где была попросторнее квартира, читали вслух, играли в шахматы (карты воспрещались) или, закутив трубки, толковали о том, что могло иногда занимать нас. Собирались также и с тем, чтобы вместе повторять то, что нам преподавалось. Тут каждый охотно помогал другому и объяснял, в чем тот затруднялся. По праздникам и воскресным дням ездили верхами по окрестностям, играли в мяч, в городки и в бары<sup>148</sup>. Помню, что последняя игра очень нам нравилась. Она могла быть конная и пешая. Конная была гораздо занимательнее. Мы скакали друг за другом по всему пространству обширного луга, примыкавшего к деревне, и для глаз это была прекрасная картина. Но она не всегда оканчивалась благополучно. Случались нередко падения и ушибы, и оттого она дозволялась нам только при участии офицеров, которые наблюдали за порядком и не допускали играющих очень горячиться. Пешая же была безопасна и имела следствием одну усталость. Весною пребывание наше в Осташеве было непродолжительное. В конце мая мы все разъезжались на съемку Московской губернии. Съемка была трех родов: большая, средняя и малая. Две первые предназначались для составления общей тригонометрической сети. В первой употребляли повторительный круг, а во второй — теодолиты. Малая, или топографическая, производилась астролябиями и планшетами при 100- и 250-саженном масштабе на английский дюйм<sup>149</sup>. На большую и среднюю назначалось по офицеру с несколькими колонновожатыми, а на малую — несколько партий, состоящих от 10 до 12 человек каждая под начальством офицера. При всяком инструменте малой съемки находился один из старших колонновожатых и один или два из младших. Кроме того, для носки цепи, кольев и инструментов давалось каждой партии от 20 до 25 нижних чинов из команды, которая высылалась к нам сейчас по прибытии в Осташево на все летнее время стоявшею вблизи бригадою. Таких партий на малую съемку отправлялось три или четыре.

В первый год, когда я был еще колонновожатым, досталось мне быть в партии, снимавшей окрестности Москвы. Офицером у нас был В. Х. Христиани, и пребывание его было в Москве. Мне дали планшет, двух помощников и четырех солдат. Съёмка была очень подробная, 100 сажен в дюйме. Я трудился усердно и в продолжение лета снял до 20 планшетов, или около сотни квадратных верст. Название некоторых мест я уже теперь забыл, но припоминаю Царицыно, Останкино, Архангельское и деревни Верхние и Нижние Котлы. Помню также, как встревожила наша съёмка крестьян. С каким любопытством и недоверчивостью они смотрели на наши занятия! Им вообразилось, что у них отбирают земли, и они всеми средствами старались затруднить наши работы: весьма неохотно отводили квартиры и давали подводы, а иногда очень грубо отказывались от всякого пособия и даже стращали изломать инструменты, а нас попотчевать кольями. Но после некоторого времени все это уладилось. Мы платили им за все не только исправно, но даже щедро, и под конец они даже полюбили нас.

С каким, бывало, удовольствием, по окончании дневного труда и ходьбы, возвратишься на квартиру, напьешься чаю, поешь щей, каши, молока и уляжешься отдыхать с трубкою и книгою в руках! Жуковский \*, Батюшков, русская история Карамзина, записки военного офицера Глинки, трагедия Озерова и «Вестник Европы» Каченовского с жадностью читались нами<sup>150</sup>. Для доказательства, как восприимчива наша память в юные лета, скажу здесь, что даже теперь в моей памяти сохранилось гораздо более из того, что я прочел в то время, нежели то, что я читал, хотя и с большим вниманием, впоследствии. Целые страницы из стихов Жуковского, Батюшкова, Озерова я могу прочесть наизусть без ошибок, хотя с тех пор не заглядывал в их сочинения.

К концу августа мы возвратились в Осташево, и тогда начались опять классы. Занимались много также и отделкою планов нашей съёмки, вычислением треугольников для большой и средней тригонометрических сетей, равно как и прокладкою их. Эти занятия хотя и были довольно скучны, но весьма полезны как применение теории к практике. Я в это время был уже в первом классе, выдержав весною в Москве экзамен из 1-го отделения 3-го класса во второй, а в Осташеве, при отправлении на съёмку, из 2-го в 1-й. Вникнув хорошо в математику, я уже шел вперед без больших усилий и был уверен, что выдержу офицерский экзамен не хуже других. В Осташеве стоял я вместе с колонновожатым первого класса Самойловичем, отличным математиком, и как мы были с ним очень хороши, то он с удовольствием объяснял мне всякое затруднение. Я много ему обязан в своих успехах.

Вообще весь первый класс был между собою очень дружен, и это

---

\* Жуковский находился в приятельских отношениях с Муравьевым и его старшими сыновьями. См. о Муравьеве в Сочинениях Жуковского, изд. 1857 г., т. XI, в статье о привидениях.



выразилось на деле, когда Самойловича, бывшего начальником отделения, хотели посадить под арест за то, что он не привел одного колонновожато-го на перекличку. Все мы отправились к генералу и почти со слезами просили его извинить ему это упущение по службе. Генерал был тронут таким доказательством наших дружеских между собою отношений и удовлетворил нашу общую просьбу. Тогда мы, по окончании класса, с триумфом принесли на руках Самойловича на его квартиру. Но после этого он отказался от отделения, и я был назначен начальником на его место.

Существовавшее тогда мнение, что неизбежные расходы колонново-жатых были так значительны, что одни только богатые люди могли отдавать детей своих в заведение, было совершенно несправедливо, и лучшее доказательство я сам. Средства мои были весьма ограничены, я мог издерживать едва тысячу рублей ассигнациями в год. Этой суммы мне было, однако же, очень достаточно на все. Разумеется, что при этом надобно было жить расчетливо. Были богачи, которые проживали тысяч по 10, по 15. Тянуться за ними было нельзя, да и не для чего. Они курили или, лучше сказать, жгли табак в 25 р. фунт. Мы же употребляли двухрублевый и нисколько этого не стыдились. Они издерживали в конфектной лавке во время пребывания в Осташеве на одни сладости по тысяче и по две, мы же в нее и не заходили. Они держали по несколько человек прислуги, по несколько верховых и упряжных лошадей, мы же ограничивались одним человеком, а лошади и вовсе не имели. Одним словом, итог ежегодного расхода зависел собственно от нас самих, а не был необходимым, одинаковым условием для каждого из колонновожа-тых.

К началу декабря месяца мы возвратились в Москву, а в начале января назначены были первому классу офицерские экзамены. Стало быть, нам оставалось с лишком месяц на приготовление. Весь курс учения был нами пройден, и мы ходили только часа на два в день в чертежную, а иногда на лекцию к генералу, доканчивавшему с нами стратегию. Это время было для нас самое тревожное. Мы по целым дням и ночам сидели за учебными книгами; повторяли и поодиночке и вместе, делая по программе друг другу испытания. Когда станешь, бывало, повторять, все, кажется, знаешь, но лишь только положишь книгу и отойдешь от доски, представляется, что и то не твердо, и другое. Помню, что я обыкновенно приказывал своему человеку будить меня в три часа, и будить непременно, так что если я разосплюсь и не стану вставать, то, несмотря ни на что, обливать даже меня холодной водою. Человек у меня был почти одних со мною лет, недалежного ума, но очень ко мне преданный. Он всегда *à la lettre* [буквально (*фр.*)—*Сост.*] исполнял то, что было ему приказано, и не отставал от меня, пока я не встану с постели, а раза два употреблял даже и воду. Сердиться за это на него я не имел права.

Такая бессонная и тревожная жизнь могла иметь вредное влияние на здоровье, а занемочь во время экзаменов было бы большим несчастьем.

Сверх того, утомляясь беспрестанными повторениями одного и того же, затмевалось само знание, а потому недели за две до начатия испытаний я оставил все занятия, чтобы дать голове освежиться и не истощать напрасно физические силы. Это, я думаю, послужило мне в пользу, ибо Самойлович, знавший математику лучше меня, но не поступивший так же, как я, с меньшею против меня ясностью отвечал на офицерском экзамене.

Наконец, в половине января 819 года начались эти экзамены. Всех первоклассных было 21 человек. Экзаменаторами были наши офицеры, и из них составлялся комитет под председательством генерала. Ежедневно, кроме праздников и воскресений, экзаменовали по два человека: одного — от 9 до 12, а другого — от 3 до 6 после обеда. Каждый колонновожатый должен был выдержать два испытания: сначала из математических наук, а потом точно таким же образом из остальных. На этих экзаменах могли бывать и университетские профессора, и всякий военный офицер ученого рода войск. Некоторым почетным лицам посылались пригласительные билеты, а к высшим сановникам, как, например, к московскому главнокомандующему графу Тормасову<sup>151</sup> и к корпусному командиру графу Толстому<sup>152</sup>, ездил с приглашением сам генерал.

Я был седьмым по списку в классе и с трепетом ожидал своей очереди. Первые шесть выдержали экзамен прекрасно, когда же наступил мой день, и я пришел в восемь часов утра к генералу, то он с веселым видом сказал мне, что предшественники мои так отвечали, что уже лучше нельзя, но что он желает, чтобы и я выдержал не хуже их. Наконец, пробило 9 часов, и я стал у доски. Не знаю, почему, но, против моего ожидания, я нисколько не оробел, свободно отвечал на вопросы и так же свободно решал предлагаемые задачи. Припоминаю, что при выводе одной большой формулы из геодезии, переписывая ряд алгебраических величин, я ошибкою поставил не ту букву. Хотя экзаменаторы это заметили, но меня не предупредили, и я продолжал делать выводы, не замечая сделанной ошибки. Когда же потом у меня вышла не та окончательная формула, то я сейчас понял, отчего это произошло, и, обращаясь к экзаменаторам, без всякого смущения объяснил им, почему именно оказывается такая разность моего вывода с настоящею формулою. А как переписанная мною строка не была еще стерта, то я и указал на ошибочную букву. Это очень понравилось экзаменаторам, и они тут же сказали мне, что хотя и заметили мою ошибку, но не указали на нее, желая узнать, как я потом выпутаюсь и объясню окончательный вывод.

По окончании экзамена добрый Николай Николаевич обнял меня и сделал самое лестное приветствие. В экзаменском листе моем везде стояло «отлично». Это значило даже выше полных баллов. С восхищением я пришел домой и потом стал исподволь готовиться к другому экзамену — в военных и других науках, который должен был наступить для меня недели через три.

Второй экзамен я выдержал также хорошо и получил полные баллы, но Самойлович отвечал лучше моего и имел везде «отлично», так же как я

в математике. Между тем в математических науках он был сильнее меня, а военные и историю я знал лучше его. Это может объясниться только тем, что каждый из нас менее обращал внимания на те предметы, в знании коих он был уверен\*.

К концу февраля наши экзамены кончились, и представление о нашем производстве пошло в Петербург. Мы все тогда занялись приготовлением офицерской амуниции. Ходили по лавкам, закупали шарфы, эполеты, аксельбанты, заказывали мундиры, шинели и т. д., ожидая с нетерпением вожделенного приказа. Всякий, кто был когда-нибудь военным, испытал в свое время наши тогдашние чувства и наши ожидания. С каким, бывало, удовольствием, вставая поутру, мы предавались невозмутимому *far niente* [ничегонеделание, пустяки (*ит.*)—*Сост.*] и всем сладостным фантазиям нашего воображения. Посещая беспрестанно друг друга, мы условливались в неизменной дружбе и в постоянной переписке. С каким уважением смотрели на нас оставшиеся в корпусе колонновожатые, завидуя нашему счастью, которого могли ожидать только через год! И как внимательно рассматривали мы один у другого мундиры и офицерские вещи! Это время можно считать одним из счастливейших даже в самой юности.

Теперь, когда стоишь на краю могилы, все это кажется обыкновенным следствием несозревшего рассудка, юности, не вкусившей еще горьких плодов житейского опыта. Но и теперь не те же ли мы юноши с сединами? Вот этот сановник, занимающий важный пост, который так неутомимо трудился и сгибался всю свою жизнь, или этот дряхлый богач, так счастливо и с таким умением наживший огромное состояние, наконец, эта чиновная старушка, так ловко и так выгодно составившая блестящие партии своим дочерям,—не все ли они своего рода дети, как бы ни высоко стояли они во мнении других и своем собственном? Пройдет год, два—покрытая богатой парчой колесница отвезет их на общее для всех пристанище, и тогда все, что они создавали, все эти плоды их опытности, их ума, их расчета, к чему они послужат для них? Не такими ли они кажутся детьми, гонявшимися за призраками, но с тою только разницею, что юноша хотя и увлекается игрушками, но увлекается с побуждениями более чистыми, более возвышенными и не столь себялюбивыми?

10 марта мы были произведены прапорщиками в свиту Е.И.В. по квартирмейстерской части, исключая двух, назначенных в армейские полки. Приказ о производстве привез генералу князь Меншиков<sup>155</sup>, бывший в то время генерал-адъютантом, но числившийся по Генеральному штабу и находившийся в это время в Москве. Помню, что я и человека

---

\* На этом экзамене моем присутствовал бывший флиг.-адъют. полковник Михайловский-Данилевский<sup>153</sup>. Он спросил меня, знаю ли я что-нибудь из истории знаменитых осад этого и прошлого столетий. Хотя в программе этого не было, но из рассказов генерала и собственного чтения я кое-что знал и отвечал ему, что могу рассказать осаду Сарагосы<sup>154</sup>, что и сделал довольно удовлетворительно, так что потом генерал благодарил меня. Мне же это была лучшая награда.

три из колонновожатых находились в тот день у генерала в чертежной. Как только Николай Николаевич объявил нам о производстве, мы бросили наши занятия и поскакали домой, отправив с радостною вестью гонцов ко всем товарищам. Через час или два все мы уже явились в новых блестящих мундирах к генералу. Он весело нас встретил, поздравил каждого и тут же объявил, что я и еще трое из вновь произведенных остаемся на год при корпусе преподавателями. Это было весьма лестно для нас и согласовалось вполне с нашим желанием—жить в Москве, вблизи родных, и служить при начальнике, которого мы любили. Вечером почти все мы явились в театр, заняв почти целый ряд кресел, что, конечно, заставило публику догадаться о новом выпуске из Муравьевского училища, как тогда называли наше заведение.

Кроме нас четверых, остальные товарищи наши назначались кто в 1-ю армию, кто во 2-ю, кто на Кавказ. С месяц они еще прожили и повеселились в Москве, а потом отправились по своим местам. Грустно мне было расставаться с некоторыми, но мы дали слово писать друг к другу и надеялись в будущую зиму встретиться опять в Москве, куда многие из них обещались приехать в отпуск. Мы же четверо, спустя несколько дней, занялись службою в заведении. Меня назначили преподавателем во 2-е отделение 3-го класса, самое тогда многочисленное после 4-го класса.

Перед Святой я поехал на 28 дней в отпуск к отцу в деревню. Старик был в восхищении, увидевши меня с небольшим год после разлуки нашей в блестящем мундире и так скоро достигшим цели своих желаний. Он признавался мне, что никак не ожидал, чтобы вышел какой-нибудь толк из намерения моего проложить самому себе путь, без всякой протекции, и что, отпуская меня, страшился, чтобы вместо чего-нибудь доброго не вышла бестолочь и не пострадала вся моя будущность. В глазах всех родных моих я также много выиграл и приобрел их выгодное о себе мнение. Меня это чрезвычайно радовало и удовлетворяло очень естественное юное мое самолюбие.

В мае по обыкновению мы отправились опять в Осташево и оттуда на съемку. Не стану повторять здесь того же порядка занятий и надзора за воспитанниками. Собственно для меня разница состояла в том только, что я уже не подчинялся правилам, установленным для колонновожатых, а наблюдал вместе с другими офицерами, чтобы они в точности исполнялись ими. Мы по очереди дежурили, делали переклички, водили их в классы, ходили с рапортами к генералу и читали каждый в своем классе в назначенное время лекции. Нам было очень нетрудно исполнять наши обязанности, потому что вообще, исключая обыкновенных незначительных резвостей, все колонновожатые вели себя примерно и нас любили. С своей стороны каждый из нас, т. е. из офицеров, старался приобрести их уважение и любовь как своим поведением и обращением с ними, так и готовностью помогать им в учении. Между собою мы были также очень дружны, и никаких раздоров и интриг между нами не было.

Меня назначили на малую съемку и дали человек двенадцать колонновожатых, с командою нижних чинов и, кажется, пятью инструментами. Съемка моя была около Нового Иерусалима, верстах в 40 или 50 от Осташева. Я жил в деревне с одним из съемщиков и объезжал два раза в неделю работы других. Когда кто-либо из них оканчивал планшет или план, снятый астролябией, то привозил ко мне, я же поверял эти планы с местностью, сводил с другими, а потом уже отвозил в Осташево, с своим удовлетворением в точности съемки. Когда оказывалось при моей поверке, что съемка была неверна, то, сделав выговор старшему колонновожатому, я заставлял его переснять ту же местность. Но это случалось очень редко, раз или два в продолжение всего лета.

Самая главная забота наша состояла в сохранении миролюбивых отношений между колонновожатыми и крестьянами. Первые по молодости лет не всегда были осторожны и не очень терпеливы, а вторые отказывались часто исполнять даже законные их требования, недоверчиво смотрели на их занятия, и от этого часто происходили неприятные столкновения и жалобы. Впрочем, все это улаживалось, и особенных неприятностей и историй не было. В праздничные и воскресные дни все колонновожатые, находившиеся у меня под начальством, приезжали ко мне, и мы вместе проводили время.

По возвращении в Осташево начались обычные учебные занятия и переводные из класса в класс испытания, на которых мы были экзаменаторами. После вечернего рапорта генерал почти всегда оставлял дежурного у себя ужинать, а в праздники приглашал всех офицеров к обеду. Нельзя представить себе, как занимательна была его беседа. Он выбирал всегда какой-нибудь поучительный предмет для разговора или рассказа, примешивал множество забавных и любопытных анекдотов, описывал с такою верностью события прошедшего времени и известные исторические лица, в них участвовавшие, что, бывало, боишься пропустить каждое его слово. И все это говорилось так просто, с таким добродушием, хотя иногда и с шутливыми замечаниями, которые придавали еще более занимательности его рассказам. После всякого вечера, проведенного у него, каждый из нас выходил с новым знанием чего-нибудь полезного, любопытного и в самом веселом расположении духа.

Со мною случилось в это время неважное происшествие, которое осталось у меня навсегда в памяти. Один раз в глубокую осень 819 года, будучи дежурным и проведя вечер у генерала, я после ужина возвращался на квартиру свою. Путь мой лежал сначала через сад, а потом саженой 200 по мелкому кустарнику, который кончался у проспекта, ведущего в деревню. При самом выходе из кустарника стояла гауптвахта. В это время так как команда, назначаемая к нам на летнее время, была уже отправлена в свое место, то здание оставалось пустым. Дня же за три до того утонул какой-то осташевский крестьянин, и тело его положили до приезда земской полиции в одну из комнат гауптвахты. Я это знал и, приближаясь в лунную, светлую ночь к этому месту, почувствовал невольный страх.

Устыдясь внутренне своей робости, я тут же решился преодолеть ее: войти в комнату, где лежал утопленник, и посмотреть на него. Вошел я довольно смело, луна светила в окно, но лишь только я приподнял покрывку с обезображенного трупa, меня вдруг обдало таким запахом, что в ту же минуту мне сделалось дурно, и я едва выполз из комнаты. Чистый воздух несколько освежил меня, но все-таки со мной началась рвота. Кое-как дошел я до своей квартиры и всю ночь ужасно страдал. Фельдшер, за которым я послал и которому рассказал случившееся, поил меня всю ночь мятой и клал припарки к животу. Только к вечеру на другой день я совершенно оправился. Товарищи очень смеялись, узнавши обо всей этой истории; но на меня этот случай так подействовал, что до сих пор я избегаю смотреть на утопленников.

Из Осташева приехали мы в Москву уже по санному пути. Тут начались приготовления к новому выпуску. Мы с своей стороны, сколько могли, помогали тем из колонновожатых, которые были назначены к офицерскому экзамену. Повторяли с ними и делали им пробные испытания. Так как эта зима была последняя, которую мы проводили на службе в Москве, потому что с производством новых офицеров нам следовало отправляться в какую-либо из армий или на Кавказ, то мы и спешили насладиться всеми тогдашними удовольствиями столицы: ездили в театры, в собрания и по бальным вечерам. Одним словом, собственно для меня эта зима была самая шумная во всей моей жизни.

В этих воспоминаниях моих кроме самого генерала я не упоминаю о других лицах, хотя многим из моих старых товарищей по корпусу я обязан большою признательностью за сохранение их теплых ко мне чувств. Но и в этом случае даже я считаю, что Николай Николаевич был главным виновником такой прочной нравственной связи между своими воспитанниками. Он умел поддерживать и развивать в них все, что служит к укреплению близких, дружеских отношений между благомыслящими людьми, в каких бы ни находились они положениях.

Наконец, наступило время проститься и с Москвою, и с корпусом. В марте 820 года новый выпуск был произведен, а мы четверо, и вместе с нами Лачинов, командированы во 2-ю армию. Я выпросился на месяц в отпуск и провел его у отца, куда в это время приехали и два служившие мои брата. В конце же апреля отправился к своему назначению.

В заключение скажу, что Николай Николаевич не переставал следить за службою своих воспитанников и после того, как они выбывали уже из корпуса. Когда приедешь, бывало, в Москву в отпуск и явишься к нему (а каждый из нас считал это за неременную обязанность), с какою ласкою встретит он, с каким участием станет расспрашивать он обо всем, что касается до каждого из нас! Как он радуется, когда кто отличится чем-нибудь и получит награду! Как всегда, видимо, утешительно ему было слышать, что воспитанники его везде считаются за людей дельных и пользуются особенным вниманием своих начальств! И всегда, бывало, кончит приглашением посетить заведение. «Ну, теперь сходи, братец, в

классы,—скажет он,—покажись старым твоим товарищам и новобранцам—это будет и тебе и им приятно, а многим из них сверх того и полезно. Увидавши тебя, каждый из них подумает, как бы скорее быть тем же, и постарается лучше учиться.» Иногда даже сам поведет туда, чтобы показать все, что было им вновь придумано и введено для улучшения корпуса.

Мир праху твоему, человек добрый и гражданин в полном смысле полезный! Ты положил немалую лепту на алтарь отечества, и нет сомнения, что потомство оценит тебя и отдаст справедливость твоим бескорыстным заслугам. Память же о тебе в сердцах воспитанников твоих сохранится, я уверен, доколь хотя один из них будет оставаться в этом мире!





ВОСПОМИНАНИЯ  
И ПИСЬМА  
М. И. МУРАВЬЕВА-АПОСТОЛА





## ВОСПОМИНАНИЯ ДЕТСТВА<sup>1</sup>

1793 года [так в тексте.— *Сост.*] отец мой написал русскую комедию «Ошибки, или Утро вечера мудренее». Комедия имела некоторый успех, и в 1814 г., когда гвардия возвратилась из заграничных походов, она представлялась в Петербурге. В 1793 г., служа в Измайловском полку, отец получает пригласительный билет в Эрмитажный театр. Комедия его представлялась. По окончании представления государыня<sup>2</sup> подзывает отца и благодарит за удовольствие, которое его комедия доставила ей. Государыня назначила отца моего кавалером при двух ее старших внуках<sup>3</sup>.

В год смерти Екатерины II батюшка был дежурным кавалером при Константине Павловиче. Однажды великому князю вздумалось проехать верхом по Петербургу. Дежурный кавалер обязан был сопутствовать в прогулке великих князей. На Царицынском лугу они встречают конно-гвардейский полк. Константин Павлович подскакивает к полку, берет над ним начальство и производит полное полковое учение. Великий князь был уже женат<sup>4</sup>. Кавалерам предписано было государынею не допускать ее внуков вмешиваться в дела гвардейских полков, в которых они числились. На другой день, сменившись с дежурства, отец сообщает Салтыкову<sup>5</sup>, воспитателю старших внуков государыни, о случившемся на его дежурстве. Салтыков говорит отцу, что государыня будет очень недовольна, что ее приказания не исполняются. В самое то время, когда батюшка выслушивает это замечание, его приглашают в Гатчину к наследнику<sup>6</sup>. Только что батюшка приезжает в Гатчину, тот же час он введен в кабинет наследника. Павел Петрович, подходя к батюшке, три раза касается рукою до паркета, говоря: «Благодарю, что вы не хотите сделать из моих сыновей пустых людей». По вступлении Павла I на престол старшие внуки покойной императрицы вступили в действительную службу<sup>7</sup>, а отец был назначен министром-резидентом в Гамбург.

При тогдашних политических обстоятельствах<sup>8</sup> гамбургское посольство служило нашему правительству дипломатическим аванпостом. Первые переговоры нашего правительства с Французской республикой вел отец мой<sup>9</sup>. Профессор Гейдельбергского университета в своей истории Европы в XIX в. отзываясь с похвалой о деятельности на дипломатическом поприще отца моего в Гамбурге.

Большая часть французских эмигрантов съехались в Гамбург. Многие из них, бежав из отечества, лишились всего своего состояния, взялись за торговлю, за ремесла. Помню, как по утрам у нас в доме про маркиза де Романса говорили, что он, сын Людовика XV<sup>10</sup>, ходил в рабочей куртке, с фартуком, а потом в кафтане сидел за обедом с нами. Этот маркиз сделался обойщиком. Сын его, по ходатайству отца, был определен в первый кадетский корпус, выпущен из него офицером в Александрийский гусарский полк, которым начальствовал эмигрант граф Ламберт<sup>11</sup>. Полк прославился под его начальством. Брат графа Ламберта совершил с Бугенвилем<sup>12</sup> кругосветное плавание и был в Мадриде при батюшке секретарем при нашем посольстве. Молодой маркиз де Романс был убит под Аустерлицем<sup>13</sup>.

Революционное правительство французское требовало выдачи одного эмигранта, проживавшего в Гамбурге. Сенат гамбургский готовился выдать жертву, обреченную на смерть. Отец взял эмигранта под покровительство России и выпроводил его в Петербург. В инструкциях, данных батюшке об эмигрантах, не было вовсе о том упомянуто. За свое заступничество отец ждал быть отозванным или получить наистрожайший выговор. Отец имел анненскую ленту, единственный орден, который он имел. Павел остался совершенно доволен заступничеством, оказанным эмигранту. «M. Mouravieff à agi comme un Dieu» [Господин Муравьев действовал по-божески (фр.).—*Сост.*],— вот как выразился Павел о поступке моего отца.

Пятилетний мальчик в красной куртке, изображенный на нашей семейной картине<sup>14</sup>, был ярый роялист. Эмигранты рассказами своими о бедствиях, претерпленных королем, королевой, королевским семейством и прочими страдальцами, жертвами кровожадных террористов, сильно его смущали. Отец его садится бывало за фортепиано и заиграет «La Marseillaise» (Марсельезу), а мальчик затопает ногами, расплечется, бежит вон из комнаты, чтоб не слушать ненавистные звуки, которые сопровождали к смерти жертв революции.

Начальствующий французскими войсками в Голландии Дюмуре бежал и прибыл в Гамбург<sup>15</sup>. Батюшке поручено было от нашего правительства не приглашать его официальным образом в Россию, но дать уразуметь, что у нас его ждет благосклонная встреча. Чтобы успешно исполнить это поручение, батюшка угощал обедами генерала. Во время званых обедов нас, детей, приводили в гостиную, и гости вставали из-за стола. Дюмуре хотел взять за руки мальчика, чтоб его приласкать. Мальчик отскочил с негодованием и сказал: «Je déteste, monsieur, un homme qui est traître envers son roi et sa patrie» [Я ненавижу, милостивый государь, человека, который изменил своему королю и своему отечеству (фр.).—*Сост.*]. Можно себе представить неловкое положение дипломата при неожиданной выходке сына своего.

В бытность свою в Петербурге несколько дней сряду Дюмуре не был

у развода. Павел неотлагательно требовал от всех генералов, своих и чужих, чтобы они являлись ежедневно к разводу. Когда, наконец, Дюмуре явился, Павел, подозвав его, сказал гневным голосом: «Général, il y a plusieurs jours que je ne vous ai vu à la parade.— Sire, j'i fait ma cour aux grands de votre empire.— Général, apprenez qu'il n'y a de grands chez moi que ceux aux quels je parle et dans le moment seul où je leur parle» [Генерал, я несколько дней не видел вас на параде.— Государь, я навещал вельмож вашей империи.— Генерал, знайте, что вельможами у меня только те, с кем я говорю и только на то время, пока я с ними говорю (*фр.*).— *Сост.*].

Монье, живописец Людовика XVI<sup>16</sup>, находился между эмигрантами, проживавшими в Гамбурге. Помню, как с матушкой и с сестрою Екатериной Ивановной<sup>17</sup> я ездил к нему, и он снимал с нас портреты. Больше еще впечатлело в моей памяти эти посещения следующее обстоятельство: в один из наших приездов он угостил нас земляными грушами, привезенными незадолго перед тем в Европу из Америки. Монье был в Петербурге, снял портреты с дядюшки Михаила Никитича<sup>18</sup>, тетушки Екатерины Федоровны<sup>19</sup>, брата Никиты Михайловича<sup>20</sup> и со многих других. Портрет отца моего, писанный знаменитою Анжеликою Кауфман<sup>21</sup>, сгорел в московском пожаре 1812 г., гравюры не было сделано, и портрет погиб безвозвратно. Помню, с каким восторгом в Гамбурге праздновали победы Суворова в Италии<sup>22</sup>. Помню дамский головной убор, вроде каски с французской надписью над козырьком «Vive Souvoroff».

Когда по настоянию венского кабинета Павел вызвал Суворова из ссылки, чтоб его назначить главнокомандующим над нашими и австрийскими войсками в Италии, недоброжелатели звали Суворова стариком сумасшедшим. Павел хотел дать в дядьки Суворову генерала Германа<sup>23</sup>, который начальствовал над нашими войсками, высаженными на остров Джерзей<sup>24</sup>. Михаил Илларионович Кутузов должен был заменить Германа. М. И. Кутузов приехал в Гамбург, узнал о поражении Германа в Голландии, провел шесть недель в нашем доме и возвратился в Россию. Всю свою жизнь он был в дружеских отношениях с отцом моим.

Гатчинцы, эти опричники в царствование Павла I, много наделали хлопот отцу: часто приходилось краснеть за них. Назначенные к нашим войскам, высаженным на остров Джерзей, они на перепутьи останавливались в Гамбурге, где узнавали, куда им ехать. Один из гатчинцев просил батюшку, чтоб он его представил гамбургскому королю; просил, чтоб дано было знать на съезжей, что крепостной человек его, которого он прибил, бежал. Когда батюшка сказал, что в Гамбурге нет съезжей, гатчинец воскликнул: «Хорош город, в котором нет ни короля, ни съезжей!» Другой гатчинец хотел доехать до острова Джерзей сухим путем. Батюшка нам говорил, что мы никогда не пойдем громадного переворота, совершившегося у нас в России со вступлением Павла I на престол. Наши начальствующие генералы 1812 г. принадлежали царствова-

нию Екатерины II; обхождением и познаниями они резко отличались от александровских генералов.

По возвращении в Россию батюшка рассказал председателю Иностранной коллегии графу Ростопчину<sup>25</sup> проделки гатчинцев в Гамбурге. Граф Ростопчин отвечал, что и на его долю досталось немало хлопот от них. Один из гатчинцев, откланиваясь государю пред своим отъездом, пленил Павла своей наружностью, изображавшею неподражаемо верно прусского генерала во время Семилетней войны<sup>26</sup>, за что пожаловано ему пятьдесят червонцев. Гатчинец опять к Ростопчину с просьбой вновь быть представленным государю, чтобы благодарить за оказанную щедрость. «Этих денег вам не достанет, чтоб доехать до места», — замечает Ростопчин. — «Помилуйте, граф, — возражает гатчинец, — всякий извозчик доведет меня за девять рублей; я знаю городишко, я в нем стоял ротой». Гатчинец принимал уездный город Ямбург за Гамбург.

Наш первый кадетский корпус славился как лучшее учебное заведение в Европе. Фельдмаршал князь Николай Васильевич Репнин<sup>27</sup>, некогда объехавший всю Европу, поместил внука своего, которого он усыновил, князя Николая Григорьевича Волконского<sup>28</sup>, в первый кадетский корпус, где он окончил свое воспитание. Князь Николай Григорьевич Репнин своим образованием служил лучшею похвалою воспитанию, которым отличались наши офицеры. Прусская муштровка, соблюдаемая Павлом, Александром и Николаем, окончательно убила первый кадетский корпус. Из него стали выходить офицеры, которые едва умели подписать имя свое. Именованье Павловским первого кадетского корпуса напоминает слова, сказанные отцом нашим о громадности переворота, совершившегося у нас со вступлением Павла I на престол, переворота столь резкого, что его не поймут потомки.

В Москве  
28 октября 1869 г.

## УБИЙСТВО ПАВЛА I<sup>29</sup>

При Павле I все батальоны гвардейских полков назывались шефскими<sup>30</sup>. Семеновский полк находился под личным начальством своего шефа, наследника престола<sup>31</sup>. 11 марта 1801 г., ночью, когда зоря была уже пробита, Семеновскому 3-му батальону приказано было одеваться; его повели в Михайловский замок, чтоб сменить Преображенский батальон, занимавший караулы в замке. Эта смена совершилась под предлогом, что на другой день, 12 марта, Павел I будет рано смотреть Преображенский полк. Семеновцы заняли все посты в замке, кроме внутреннего пехотного караула, находящегося около залы, называемой уборной, смежной со спальней Павла I. Караул этот оставили из опасения, чтобы движением смены не разбудить императора.

На часах стоял рядовой Перекрестов и подпрапорщик Леонтий Осипович Гурко; последний потом рассказывал, что двери уборной заперли накрепко ключом и, не зная, куда спрятать его, не говоря ни слова, спустили ключ ему под белье; он не успел опомниться, как ощутил неприятное прикосновение металла, скользнувшего по его ноге. При этом часовым было строго приказано, безусловно, никого не пускать.

Известно было, что в спальне Павла I имелась опускающаяся дверь, замыкавшая потайную лестницу, ведущую в покои его жены<sup>32</sup>; эту дверь Павел приказал заделать, вступивши в связь с известной актрисой французского (в Петербурге) театра<sup>33</sup>. Говорили, что в последнее время своего царствования Павел I опасался жены, как и своего наследника, и грозил им заточением.

Императрица Мария Феодоровна, услышав шум, поспешила к мужу, к двери уборной. Но часовые, исполняя данное приказание, скрестили перед ней ружья. Императрице сделалось дурно. Ей подкатили кресло и подали стакан воды. Она протянула к нему руку. Перекрестов поспешил схватить стакан с подноса, выпил половину и, поставив назад, сказал: «Теперь пей, матушка, если ты должна умереть, я умру с тобой». В 1814 г. по возвращении из Парижа Перекрестов, прослужив лишние лета, вышел в отставку. Мария Феодоровна вспомнила о нем, и Перекрестов был определен камер-лакеем при ее дворе.

В темном коридоре, у дверей спальни Павла I, находилась икона; близ нее стоял на часах рядовой Агапеев. Когда заговорщики вступили в коридор, один из них, а именно граф Zubov<sup>34</sup>, ударил Агапеева саблей по затылку так сильно, что тот упал, обливаясь кровью. Затем постучались в спальню. Комнатный гусар, приоткрыв дверь, чтобы узнать, кто стучит, подвергся участи Агапеева.

Заговорщики вступили в спальню и не застали в постели Павла; но постель оказалась еще теплою. После тщетных поисков они отодвинули от камина экран, и пара ботфортов выдала Павла I. Они вывели его из камина, уложили в постель и потребовали подписать отречение от престола. Павел долго не соглашался на это, но наконец уступил настоятельным требованиям<sup>35</sup>.

Один из заговорщиков поспешил известить об этом Беннигсена<sup>36</sup>, оставшегося в смежной комнате и с подсвечником в руке рассматривавшего картины, развешанные по стенам. Услышав об отречении Павла, Беннигсен снял с себя шарф и отдал сообщнику, сказав: «Мы не дети, чтоб не понимать бедственных последствий, какие будет иметь наше ночное посещение Павла, бедственных для России и для нас. Разве мы можем быть уверены, что Павел не последует примеру Анны Иоанновны?»<sup>37</sup> Этот смертный приговор был решен. После перечисления всего зла, нанесенного России, граф Zubov ударил Павла золотой табакеркой в висок, а шарфом Беннигсена его задушили<sup>38</sup>.

Беннигсен, командуя Мариупольским гусарским полком, приехал в Петербург по делам службы в начале 1801 г. На одном из разводов он,

задумавшись, стоял среди манежа. Павел с поднятой палкой скакал прямо на него. Беннигсен схватился за рукоятку своей сабли. Павел, проезжая мимо, отсалютовал ему палкой. После такой нелепой выходки Беннигсен охотно согласился вступить в заговор против императора.

Солдаты внутреннего пехотного караула, при необыкновенном движении и шуме в замке, толковали между собой, удивляясь, что их не ведут унять буйнов. Тогда Преображенского полка поручик Сергей Никифорович Марин командовал солдатам своим «от ноги» и продержал под ружьем всю ночь внутренний пехотный караул. За это на другой день он был пожалован во флигель-адъютанты.

Главный караул занимал капитан Михайлов со своей ротой. Он был гатчинец, достойный образец этих офицеров: грубый, безграмотный и пьяница. Солдаты этого караула тоже подняли ропот, что их не ведут унять шумящих. Михайлов, потерявшись, обратился за советом к стоящему с ним вместе в карауле прапорщику Константину Марковичу Полторацкому. Понимая суть дела, тот отвечал, что не смеет давать совета своему командиру.

Михайлов вывел солдат из караульни. Поднявшись по парадной лестнице, на ее площадке ему встретился граф Зубов и спросил: «Капитанина, куда лезешь?» Михайлов ответил: «Спасать государя». Граф дал ему вескую пощечину и командовал: «Направо кругом». Михайлов с должным повиновением отвел своих солдат в караульню.

В 1801 г. Аргамаков был полковым адъютантом Преображенского полка и вместе с тем плац-майором Михайловского замка. Последний, как известно, выстроен в готическом стиле, окружен сплошными прудами и тогда был с подъемными мостами, имея вид средневекового замка. Устроившись таким образом, Павел I в своем замке считал себя находящимся вне Петербурга. Без содействия Аргамакова заговорщикам невозможно было бы проникнуть в ночное время в Михайловский дворец.

В 1820 г. Аргамаков в Москве, в Английском клубе, рассказывал, не стесняясь многочисленным обществом, что он сначала отказался от предложения вступить в заговор против Павла I, но великий князь Александр Павлович, наследник престола, встретив его в коридоре Михайловского замка, упрекал его за это и просил не за себя, а за Россию вступить в заговор, на что он и вынужден был согласиться.

11 марта Павел I весь день подходил к дворцовым зеркалам и находил, что лицо его отражается в них с искривленным ртом. Придворные из этого повторяемого замечания заключали, что заведующий дворцами князь Юсупов впал в немилость. Этому же числа вечером Павел долго беседовал с М. И. Кутузовым. Наконец, между ними разговор зашел о смерти. «На тот свет иттить—не котомки шить»,—были прощальными словами Павла I Кутузову.

В кампанию 1813 г. Агапеев находился в стрелковом взводе 3-й роты гренадерского 3-го батальона. Тогда М. И. Муравьев-Апостол собственно-



ручно ощупывал на его голове рубец от ужасной раны, нанесенной ему графом Zubовым в известную ночь с 11 на 12 марта.

Агапеев рассказывал, что в эту ночь Павел долго молился на коленях перед образом, прежде чем войти в спальню<sup>39</sup>.

## ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА<sup>40</sup>

1812 год

*(Стр. 386) 28 мая полк прибыл в Вильно и расположился на бивуаке, не доходя до города.*

Полк расположился не на бивуаке, а в самом городе.

*(Стр. 391) 12 прошли Витебск, 17-го Рудню, 20-го дошли до Смоленска.*

Под Витебском остановились. По-видимому, Барклай<sup>41</sup> хотел дать сражение, но приезд Николая Сергеевича Меншикова, адъютанта князя Багратиона<sup>42</sup>, заставил Барклая продолжать отступление<sup>43</sup>.

*(Стр. 391) Во время отступления случилось недоразумение между ними (т. е. между Барклаем и князем Багратионом).*

Барклай отделил князя Багратиона, который должен был отступать от Немана до Днепра перед неприятелем, подавляющим его чрезмерною численностью. Надо представить себе положение князя Багратиона. Слово «недоразумение» более нежели неуместно, оно рисует их отношения в ложном свете. Князь Багратион без всяких недоразумений прямо ругал Барклая за бессмысленные распоряжения. Наполеон не мог простить своему брату Жерому<sup>44</sup> непостижимо славного отступления князя Багратиона.

*(Стр. 394) Это событие<sup>45</sup>, действительное или вымышленное, осталось в народных преданиях как свидетельство надежд, возбужденных новым главнокомандующим.*

Это событие действительное, а не вымышленное. Я видел собственными глазами, как орел парил над головой главнокомандующего, который снял фуражку, перекрестился и закричал «ура»<sup>46</sup>.

*(Стр. 394) В день приезда Кутузова к армии командир полка Криднер заболел и должен был в транспорте больных уехать в Москву.*

Карл Антонович Криднер<sup>47</sup> не заболел. В Витебске Барклай намеревался остановиться. Позиция была выбрана, полк занял назначенное ему место. Приезд флигель-адъютанта князя Николая Сергеевича Меншикова, адъютанта князя Багратиона, заставил Барклая продолжать отступление внутрь края. Князь Багратион просил Барклая спешить на соединение в Смоленск.

В два часа пополудни мы выступили в поход ускоренным шагом и без дневков пошли в Смоленск. Полковой командир Карл Антонович Криднер, проезжая по дороге, по которой мы отступали, наехал на 9-ю роту, стоявшую в ружье. Поручик 9-й роты Павел Иванович Храповицкий

сидел, не тронувшись с места. Криднер с обыкновенной своей грубостью спросил, что он тут делает, когда рота его готова выступать в поход. Храповицкий отвечал, что вьюк только до него дошел и, чувствуя потребность подкрепиться, он завтракает. На это Криднер ему сказал: «Впрочем, все равно, вы ли стоите у своего взвода или другой болван». После этого офицеры Семеновского полка подали прошение о переводе в армию, наши полковники последовали их примеру<sup>48</sup>. На другой день наш корпусной командир цесаревич Константин Павлович приехал к нам, говорил о дисциплине. Все офицеры отвечали, что понимают важность дисциплины, но при такой грубости солдаты должны терять к ним всякое уважение. Великий князь отказал Криднеру от командования полком. Командир 1-го батальона Федор Иванович Постников заменил Криднера. Последний ехал за полком до Бородинской позиции. Увидев, что войско готовится дать сражение, Криднер сказался больным и уехал в Петербург.

*(Стр. 395) Даже магометане, язычники и евреи, говорит очевидец, не остались равнодушными.*

Евреев тогда не было в рядах русской армии.

*(Стр. 397) Поручик Татищев 1-й и прапорщик Оленин были вынесены запертво и в середине каре умерли; другой Оленин контужен ядром в грудь.*

Татищев и прапорщик Николай Алексеевич Оленин были наповал убиты одним ядром, Петр Алексеевич Оленин контужен в голову.

*(Стр. 397) В полночь получено было приказание<sup>49</sup> князя Кутузова отступить за Можайск.*

Когда кончилось Бородинское сражение, пришло приказание, чтобы солдаты ранцев не снимали, потому что на другой день возобновится бой. Получив донесение об убитых начальниках частей, главнокомандующий отменил намерение вновь сразиться с неприятелем. 27 августа мы пустились в поход рано поутру. Того же числа неприятель с особенным усилием атаковал наш арриергард, вероятно с тем, чтобы узнать, какое впечатление произвел на нас Бородинский бой. Командир 48-го егерского полка полковник Яков Алексеевич Потемкин<sup>50</sup> особенно отличился в этом деле, за что получил Георгия 3-й степени.

*(Стр. 398) Здесь наши простояли и весь следующий день.*

2 сентября мы остановились в селе Панки. Главнокомандующий приказал взять котлы и варить пищу солдатам. В 4 часа того же дня мы выступили по рязанской дороге. Не доходя переправы через Москву-реку, повернули направо и пошли по проселочным дорогам, перешли с рязанской дороги на старую калужскую, прошли 60 верст без привала. Одним словом, мы совершили знаменитое фланговое движение, которое не дозволило неприятелю отступать по южным не тронутым войной областям, вынудив его продолжать отступление по разоренной дороге, которою он шел в Москву.

*(Стр. 400) Снабдили боевыми припасами, сукнами, сапогами, валенками, полушубками и дали возможность исправить амуницию.*

Валенок и полушубков в 1812 г. мы не видели.

*(Стр. 400) Простые шалаши, сначала наскоро поставленные, становились обширнее и удобнее, в некоторых были даже каминь, для солдат были устроены бани в деревнях и пр.*

Бани солдаты устраивали не в деревнях, а в самом лагере в землянках. У офицеров были не шалаши, а тоже землянки, в которых были каминь.

*(Стр. 401) Через два дня<sup>51</sup> наши партизаны донесли, что неприятель очистил Москву и занял Боровск.*

Не наши партизаны донесли, а именно партизан полковник Сеславин<sup>52</sup> уведомил главнокомандующего о выступлении Наполеона из Москвы<sup>53</sup>.

*(Стр. 401) Семеновцы двигались в составе главных сил под личным предводительством фельдмаршала к Малоярославцу.*

Богданович положительно ошибается<sup>54</sup> — главнокомандующий отправился к Малоярославцу раньше движения наших войск, именно тотчас по донесении Сеславина и выступлении неприятеля из Москвы. В 7 часов утра<sup>55</sup> выступили из Тарутинского лагеря<sup>56</sup> и после полдня подошли к Малоярославцу. Несколько ядер пролетели над нашими головами, никому не причинив вреда. Полк остановился в виду Малоярославца, вне неприятельских выстрелов. К вечеру наступил сильный мороз.

*(Стр. 402) На долю штабс-капитана Кошкар<sup>57</sup> выпала честь приютить у себя Светлейшего.*

Наш полковник Александр Александрович Писарев<sup>58</sup> предложил главнокомандующему провести ночь в палатке поручика 9-й роты Александра Васильевича Чичерина<sup>59</sup>. Светлейший принял предложение и провел спокойно ночь в палатке Чичерина. Николай Иванович Кошкар<sup>60</sup> был батальонным адъютантом 2-го батальона.

*(Стр. 402) Канонада оказалась без всякого значения<sup>60</sup>.*

Канонада не могла быть без всякого значения, так как внутри города упорное сражение продолжалось целую ночь. К утру Дмитрий Сергеевич Дохтуров<sup>61</sup> заставил неприятеля отступить. Начались бедствия неприятеля от морозов, их замерзшие трупы стали нам попадаться по дороге, которой мы шли.

*(Стр. 402 и 403) Против холода можно было еще бороться благодаря розданным на большую часть людей тулупам и валенкам.*

Еще раз повторяю, что тулупов и валенок мы не видели во все продолжение зимнего похода.

*(Стр. 404) Прибывший туда<sup>62</sup> незадолго для занятия квартир Семеновского полка подпоручик Буйницкий внезапно вбежал в ту же избу (где был Кутузов).*

Подпоручик Буйницкий числился во 2-м батальоне. Князь Иван Дмитриевич Щербатов (внук историка)<sup>63</sup> был послан от 3-го батальона в главную квартиру за приказанием. Жиркевич заблуждается<sup>64</sup>: в избу внезапно вбежал прапорщик князь Иван Дмитриевич Щербатов и застал там главнокомандующего, а вовсе не подпоручик Буйницкий, и разговор главнокомандующего происходил с первым, а не с последним.

*(Стр. 405) Назните орлы пониже. Пускай кланяются молодым<sup>65</sup>.*

Кутузов приказал несшим знамена подъехать ближе и сказал про

орлов, «что они носы подняли». Тогда кавалеристы их опустили, вследствие чего знамена развернулись. На одном из них красовалась надпись: «Аустерлиц». Главнокомандующий указал на нее пальцем с словами: «Вот несчастный Аустерлиц, в котором, как перед богом, я не виноват»<sup>66</sup>.

Затем полковник Александр Александрович Писарев пригласил к себе главнокомандующего пить чай, причем офицеров не было. В свите главнокомандующего находился Василий Андреевич Жуковский<sup>67</sup>, который у Писарева за чаем прочел только что вышедшую басню Ивана Андреевича Крылова<sup>68</sup> «Волк на псарне». При словах «Ты сер, а я, приятель, сед» главнокомандующий снял с головы фуражку.

*(Стр. 405 и 406) В Питере скажут: хвастают.— Я получил выговор за то, что капитанам гвардейских полков за Бородинское сражение дал бриллиантовые кресты в награду.*

*— Не правда ли, как эта сцена походит на сцену из трагедии «Дмитрий Донской»?<sup>69</sup>*

*— Полноте, друзья, полноте, что вы, не мне эта честь.*

*— Ура, ура, ура! доброму русскому солдату!..*

*Сцен, подобной этой, за время похода было немало.*

О жалобе на Питер, о выговоре, будто бы полученном главнокомандующим за назначенные им [по] Бородинско[му] делу награды, кресты с бриллиантами, не было речи, как никаких сравнений и сцен трагедии «Дмитрий Донской». Жиркевич положительно увлекается своим авторским воображением. Никогда Кутузов не вставал на скамейку, не кричал «ура!». Во-первых, он был для этого слишком неповоротлив, стар и тучен; во-вторых, в его характере никогда не проявлялась театральность. Он всегда держал себя с достоинством, а мы никогда не забывали военное приличие. Вообще никаких балаганных сцен не было.

*(Стр. 406) В Копысе опять простояли три дня<sup>70</sup>. Сюда прибыл из Петербурга в. к. Константин Павлович и был тотчас же назначен командиром гвардейского корпуса.*

На биваках под Красным<sup>71</sup> мы узнали из приказных ротных книг, что генерал-майор Яков Алексеевич Потемкин назначается полковым командиром л.-гв. Семеновского полка. В Копысе Яков Алексеевич Потемкин праздновал с нами наш полковой праздник. Цесаревич в.к. Константин Павлович был назначен нашим корпусным командиром с самого начала кампании.

*(Стр. 407) Часто случалось видеть даже гвардейских солдат, замерзающих на дороге, хотя в Копысе получили полушубки.*

Опять повторяю, что у нас полушубков не было, и ни одного гвардейского солдата я не видел замерзшим или замерзающим. На ночь рота расстилала часть шинелей на снег и ложилась на них, тесно прилегая друг к другу, другая часть шинелей служила ей общим покровом. Мы, подпрапорщики, ложились между солдатами, проводили ночь спокойно, не чувствуя холода, и поутру вставали с общего ложа бодрыми и веселыми. Офицеры шили себе палатки, которые возились на выюках.

*(Стр. 407) Тогдашняя форма заключалась в так называемых кожаных крагах. Походом крагов не носили.*

*(Стр. 409) На третий день по приезде государя<sup>72</sup> его величество назначил командиром полка шефа 48-го Егерского полка генерал-майора Потемкина. Потемкин был назначен командиром полка в приказах под Красным.*

## 1813 год

*(Стр. 413) Во все время перемирия<sup>73</sup>, продолжавшегося до начала августа, полк оставался в Рейхенбахе<sup>74</sup>, где была и главная квартира главнокомандующего Барклая-де-Толли.*

Полк оставался не в Рейхенбахе, где была квартира Барклая-де-Толли, а в селе Ланг-Билау, которое простиралось на три версты.

*(Стр. 414) Повеление Барклая де Толли идти на Максен, если дорога в Богемии занята французами, застала Остермана<sup>75</sup> у Пирны в том самом положении, в каком он находился, когда шло Дрезденское сражение<sup>76</sup>, т. е. на позиции фронтом к Пирне, упираясь левым флангом в Эльбу, а правым в Цегист.*

При открытии военных действий в 1813 г.<sup>77</sup> я был причислен ко 2-му батальону. У Пирны стоял Вандам<sup>78</sup>, а мы были посланы против крепости Кенигштейн. Здесь после дрезденской неудачи<sup>79</sup> мы получили приказание идти ускоренным шагом на соединение с главной квартирой. Переходя через дорогу, ведущую из Пирны в Теплиц, наше начальство узнало, что Вандам отрядил часть своего корпуса, которая вступила в Богемские горы. Тогда мы не думали о соединении с главной квартирой и спешили догнать неприятеля. 3-й баталион вступил в горячее дело, цель которого — заставить неприятеля очистить занятую им вершину первой горы в проходе Богемских гор, чрез которую, как выше сказано, проложена дорога от Пирны к Теплицу. Наш 3-й баталион блистательно выполнил свою задачу — занял вершину горы.

Версты две от местности, где 3-й баталион встретился с неприятелем, находилась деревня, лежащая параллельно дороге, ведущей из Пирны к Теплицу, занятая неприятелем, обстреливавшим дорогу. Трем ротам 2-го баталиона приказано было занять эту деревню. Под командой капитана Геннадия Ивановича Казнакова, которого в начале перестрелки ранило пулей в голову (князь Броглио 2-й заменил Казнакова), деревня была нами занята. В это время прискакал казак и сказал, что большая дорога занята неприятелем. Нам пришлось отступать горами. Наступила ночь. После трудного перехода, где часто приходилось по пояс переходить горные ручьи, мы подошли к деревне, пред вступлением в которую нам представилось ярко освещенное здание. Подходя к нему со всей осторожностью, мы увидели, что это трактир, в котором собравшиеся жители пили пиво и, вероятно, толковали о слышанной ими канонаде. Наше внезапное появление их изумило. Князь Броглио потребовал проводника, обещая ему 12 червонцев, если он благополучно нас доведет до наших войск. Проводник обещал и исполнил обещанное. Яков Алексеевич Потемкин обрадовался,

когда мы явились к нему поздно ночью — баталионное знамя было с нами. Наши потери 16-го августа при занятии горы 3-м баталионом: командир 3-й роты Гаврила Семенович Окунев ранен в обе ноги пулею; поручик 9-й роты Александр Васильевич Чичерин смертельно ранен пулею в правый бок, скончался в Праге, где и похоронен на русском кладбище; князь Иван Дмитриевич Щербатов, легко раненный в ногу, оставался при своей команде.

Рано утром 17-го мы подошли к местности, где произошло 17 августа 1813 г. славное Кульмское сражение, которое дало военным действиям новый поворот, счастливый для нашего оружия.

С начала Кульмского дела графу Остерману оторвало ядром кисть правой руки. Его заменил Алексей Петрович Ермолов<sup>80</sup>. Мысль дать Кульмское сражение принадлежит графу Остерману. Алексею Петровичу Ермолову принадлежит слава Кульмского дела.

Андрей Иванович Яфимович, командуя сводной бригадой в 1812 г., под Кульмом командовал 2-м батальоном. При встрече неприятеля он был несколькими шагами впереди своего батальона, раненая рука не позволяла ему ехать верхом. Его ранило пулей в живот, после чего он через шесть дней умер и был похоронен со всеми военными почестями. Александр Павлович и прусский король<sup>81</sup> присутствовали на похоронах, солдаты плакали. Александр Павлович сказал: «Вы хороните родного отца».

Андрей Иванович Яфимович 14-ти лет вступил в военную службу при Павле Петровиче<sup>82</sup>. Ему поручено было привести в Петербург команду армейских солдат, переведенных в гвардию. Он прекрасно исполнил возложенное на него поручение, после чего был переведен Павлом Петровичем подпрапорщиком в Семеновский полк. Храбростью, любезностью характера Андрей Иванович был образцом русского офицера.

Прапорщик Арауджио де Сильва, сын португальского генерала, убитого французами в Португалии в 1808 г., скончался от раны в Праге, похоронен на русском кладбище (назван ошибочно Араджио Шубин).

Младший брат Карл Броглио и штабс-капитан маркиз де Мартре убиты. В полку служили три брата князя Броглио, старший был убит под Аустерлицем.

Узнав о смерти брата, князь Броглио заперся в своей палатке. 18 августа рано утром товарищи пришли его навестить и увидели князя спящего возле убитого брата. Ночью князь Броглио, терзаемый мыслью, что тело брата его брошено на съедение зверей, отправился отыскивать убитого брата. Для него было непонятно, каким образом он мог его отыскать: ночи в последних числах августа темны, наши батальоны в продолжение Кульмского сражения ходили несколько раз в штыки.

Под Аустерлицем Гаврила Семенович Окунев пустился также отыскивать тело убитого брата, но не смог отыскать.

Сыновья эмигрантов все воспитывались в 1-м кадетском корпусе, в совершенстве владели русским языком, отличались храбростью и были любимы как товарищами, так и солдатами.

1814 год

1 января 1814 г. в Базеле, в присутствии Александра Павловича, императора австрийского и прусского короля, мы перешли Рейн.

19 марта 1814 г. я вступил в Париж во главе стрелкового взвода 2-й гренадерской роты, которой командовал князь Броглио. Отец князей Броглио был обезглавлен в начале французской революции. В 1814 г., когда мы вступили во Францию, я служил прапорщиком в роте князя Броглио. При занятии квартиры хозяин дома, для нас отведенного, встретил нас стоя на коленях. Это был камердинер обезглавленного отца князя Броглио.

В Париже караульная служба была облегчена, офицеры не были обязаны постоянно находиться при карауле. Караульные офицеры навещали свой караул несколько раз в продолжение дня и когда им вздумается. Однажды я пришел известить караул и при вопросе «кто проезжал?» последовал пресерьезный ответ: «Проезжал Вязьмитинов»<sup>83</sup>. Я не догадался, что этот Вязьмитинов был...<sup>84</sup>

Мы выступили из Парижа 10 мая. Наш первый переход был С.-Жермен Анлэ (St.Germain Enlay), куда в первый же день прибыл курьер из Лондона (где в это время находился Александр Павлович). Мы узнали через него о нашем возвращении в Россию морем и получили приказание отправить наших больных в Париж.

Яков Алексеевич Потемкин поручил мне сопровождать и сдать больных парижскому военному госпиталю Филипп дю Руль, фобург С.-Оноре (Philippe du Roule, faubourg St.Honoré).

Явившись на другой день к нашему коменданту, полковнику Декруасар, бывшему адъютанту убитого под Дрезденом генерала Моро<sup>85</sup>, я получил от него дозволение пробыть неделю в Париже. Затем я догнал полк в Кане<sup>86</sup> (Caen).

После недельного пребывания в Шербурге пришла наша балтийская эскадра. Большая часть наших офицеров была в гостинице, где мы обыкновенно собирались. Неожданное свидание с нашими моряками, с которыми не видались три года, было самое дружеское. На четвертый день после прихода эскадры мы отправились в Англию для снабжения наших больных лекарствами. Наш госпиталь помещался на английском фрегате, 4-й баталион Семеновского полка помещен на линейном корабле «Три Святителя».

Выдержав шторм и бурю в Немецком море, мы достигли Кронштадта в последних числах июля 1814 г. Наше плавание продолжалось шесть недель.

---

...Каждый раз, когда я ухожу от настоящего и возвращаюсь к прошедшему, я нахожу в нем значительно больше теплоты. Разница в

обоих моментах выражается одним словом: любили. Мы были дети 1812 года. Принести в жертву все, даже самую жизнь ради любви к отечеству было сердечным побуждением. Наши чувства были чужды эгоизма. Бог свидетель этому...<sup>87</sup>

## БОРОДИНСКОЕ СРАЖЕНИЕ<sup>88</sup>

26 августа 1812 г. было еще темно, когда неприятельские ядра стали долетать до нас. Так началось Бородинское сражение. Гвардия стояла в резерве, но под сильными пушечными выстрелами. Правее 1-го батальона Семеновского полка находился 2-й батальон. Петр Алексеевич Оленин, как адъютант 2-го батальона, был перед ним верхом. В 8 час. утра ядро пролетело близ его головы; он упал с лошади и его сочли убитым. Князь Сергей Петрович Трубецкой<sup>89</sup>, ходивший к раненым на перевязку, успокоил старшего Оленина тем, что брат его только контужен и останется жив. Оленин был вне себя от радости. Офицеры собрались перед батальоном в кружок, чтобы порасспросить о контуженном. В это время неприятельский огонь усилился и ядра начали нас бить. Тогда командир 2-го батальона полковник Максим Иванович Де Дама (De Damas) скомандовал: «Г-да офицеры, по местам!» Николай Алексеевич Оленин стал у своего взвода, а граф Татищев пред ним у своего, лицом к Оленину. Оба они радовались только что сообщенному счастливому известию; в эту минуту ядро пробило спину графа Татищева и грудь Оленина, а унтер-офицеру оторвало ногу. Я стоял в 3-м батальоне под знаменем вместе с Иваном Дмитриевичем Якушкиным и, конечно, не смел отлучаться со своего места; следовательно, ядрами играть не мог<sup>90</sup>.

## СЕМЕНОВСКАЯ ИСТОРИЯ 1820 ГОДА<sup>91</sup>

Я встретился в первый раз после своего возвращения из Сибири со своим троюродным братом Н. Н. Муравьевым-Карским<sup>92</sup> на станции тверской железной дороги. По случаю польского бунта<sup>93</sup> вся Европа грозила войной России, тогда Николая Николаевича намеревались назначить главноначальствующим нашими войсками, поэтому он ехал в Петербург.

Наш первый разговор начался о нашем погибшем идеальном Семеновском полку.

— Да, брат,—говорил он,—теперь нет такого полка, каким был наш Семеновский.

Брату Сергею Ивановичу<sup>94</sup> по особенной доверенности Шварца<sup>95</sup> поручено было отводить роты раскассированного полка в Царское Село для передачи армейским офицерам, которые их отводили поротно. Перед



выступлением с последней ротой брат явился к Шварцу. Он взял его за руку, подвел к образу (Шварц был православный) и сказал:

— Бог свидетель, что я не виноват! Мне сказали, что полк этот состоит из бунтовщиков. Я, дурак, и поверил. Теперь сознаю, что я сам не стою последнего солдата полка, который я погубил.

1812, 1813 и 1814 гг. нас познакомили и сблизили с нашими солдатами. Все мы были проникнуты долгом службы. Добропорядочность солдат зависела от порядочности поведения офицеров и соответствовала им. Каждый из нас чувствовал свое собственное достоинство, поэтому умел уважать его в других. Служба отнюдь не страдала от добрых отношений, установившихся между солдатами и офицерами. Единодушие последних между собою было беспримерное. В 1815 г. по нашем возвращении в С.-Петербург какая-то подписка, покровительствуемая графом Аракчевым, была разослана по гвардейским полкам. Офицеры Семеновского полка как будто уговорились (не все они жили в казармах; по совести утверждаю, что уговору не было), не пожертвовали копейки в угоду всесильного временщика. Иван Дмитриевич Якушкин тогда же заметил, что это нам даром не пройдет.

С назначением генерал-майора Якова Алексеевича Потемкина нашим полковым начальником, доблестно служившего в прошедшую войну, любимого солдатами и уважаемого офицерами, человека доброй души и хорошего общества, наш полк еще более возвысился в нравственном отношении. Поэтому естественно, что телесные наказания (под которыми наши солдаты умирали в армии, как и в гвардии) после трехлетних заграничных походов были не только неизвестны, но и немыслимы в старом Семеновском полку, они были отменены по согласию всех ротных начальников и с разрешения Потемкина. Мыслимо ли было бить героев, отважно и единодушно защищавших свое отечество, несмотря на существовавшую крепостную зависимость, прославившихся за границей своею непоколебимою храбростью и великодушием.

Михаил Павлович<sup>96</sup>, только что снявший с себя детскую куртку, был назначен начальником 1-й пешей гвардейской бригады. Доброе сердце великого князя, о котором так много ныне пишут, было возмущено, узнав, что мы своих солдат не бьем. Он всячески старался уловить Семеновский полк в какой-нибудь неисправности своими ночными наездами по караулам в Галерный порт и неожиданными приездами по дежурствам. Все это ни к чему не послужило. Везде и всегда он находил полный порядок и строгое исполнение службы. Это еще более бесило и восстанавливало против ненавистного ему полка. Разумеется, великий князь не мог благоволить и к нашему генералу, с которым не имел ничего общего. Поэтому к нам начали придирааться, отыскивая во что бы то ни стало, правдой или неправдой, если не беспорядка, то по крайней мере каких-нибудь ошибок.

В 1817 г. флигель-адъютант Клейнмихель<sup>97</sup> был назначен плац-майором. Его обязанность заключалась в записывании ошибок, сделанных

во время учения, предшествовавшего разводу Александра I. Государь, как и его покойный отец, ставил себе в священную обязанность всегда присутствовать при разводе.

У нас тогда были шаги: Петербургские, Могилевские и Варшавские<sup>98</sup>. Разница между ними состояла в более или менее шагов в минуту. Музыкант держал в руках хронометр и по нем считал шаги.

Волосяные султаны в аршин длины были прикреплены к верхней наличной части кивера. Тогдашний мундир, пригонка амуниции, скатанная шинель, надетая через плечо, а сверх нее ранец; в этом положении требовалось от солдата, чтоб султаны во время учения при ходьбе, при ружейных приемах, не шевелились.

Генерал-адъютант, командир лейб-гвардии гренадерского полка Желтухин<sup>99</sup> (известный своей жестокостью) довел свой полк до этого идеального совершенства. При поступлении рекрут в полк он говорил ротным командирам: «Вот вам три человека, сделайте из них одного ефрейтора».

Замечания Клейнмихеля о шевелившихся султанах являлись через день после каждого развода. Эти замечания выпали на наш полк после 1812 г., когда Александр I сбросил с себя личину благодушия, в которую облакался до того времени.

Прошу проверить на третий день, шевелились ли султаны или нет! «Слева в колонну стройся!» Потом деплояда и контр-марш<sup>100</sup>.

Батальон выстроился во фронт. Клейнмихель заметил, что Николай Николаевич Толстой<sup>101</sup>, приведя свой взвод на место, не выровнял его, не скомандовал «Глаза направо!» Узнав об этом замечании, Толстой направился в комендантскую канцелярию и сказал Клейнмихелю, что замечание его несправедливо, что он службу знает и такой грубой ошибки не мог сделать. Клейнмихель упорствовал, не соглашаясь уничтожить свое ложное замечание. Тогда Толстой говорит ему: «После этого вы...» И замечание не явилось в приказе. С Хрущевым случилось то же самое. Он, по совету Толстого, ответил ему точно так же: «После этого вы» и проч. И этим тоже избавился от ложного обвинения.

Подобные ошибки, вызвавшие замечания Клейнмихеля, считались в то время за личное оскорбление царя.

В 1818 г. Леонтий Осипович Гурко<sup>102</sup> однажды вел по Пречистенке из Хамовнических казарм наш батальон в манеж. Он нам заметил, что на нас сердятся за то, что у нас на учении солдат не бьют. За что же было их бить, когда они знают свое дело и старательно его исполняют?

Этот самый Гурко в начале войны 1812 г. сказал в обществе офицеров Семеновского полка: «Что до меня касается, мне решительно все равно, будет ли в России царствовать Наполеон I или Александр I». Князь Александр Сергеевич Голицын<sup>103</sup>, прозванный «рыжим», жестоко напал за это на Гурко. Люди, подобные Гурко, за честь свою не стоят, у них ее нет. Дерзкая польская выходка не имела последствий.

Когда полк пришел в манеж, людям, как водится, дали поправиться,

затем учение началось, как всегда, ружейными приемами. Гурко заметил, что один солдат не скоро отвел руку от ружья, делая на караул, и приказал ему выйти пред батальоном, обнажить тесаки, спустить с провинившегося ремни от сумы и тесака.

Брат мой<sup>104</sup> повысил шпагу, подошел к Гурко, сказал, что солдат, выведенный из фронта, числится в его роте, поведения беспримерного и никогда не был наказан. Гурко так потерялся, что стал объясняться с братом перед фронтом по-французски. И солдат не был наказан.

Когда ученье кончилось, солдатам дали отдохнуть, а офицеры собрались в кружок пред батальоном, тогда я взял и поцеловал руку брата, смутив его такою неожиданною с моей стороны выходкой.

В то время солдатская служба была не служба, а жестокое истязание. Между всеми гвардейскими полками Семеновский полк был единственным, выведшим телесные наказания.

Жестокость и грубость, заведенные Павлом, не искоренялись в царствование Александра I и высоко ценились. Примером может служить флигель-адъютант, любимец Александра и великих князей Николая и Михаила, начальник гвардейского гусарского полка В. В. Левашев<sup>105</sup>.

Однажды в Царском Селе он приказывает вахмистру, чтоб на другой день его эскадрон был собран в манеж, затем Левашев уезжает в Петербург. Вахмистр передает его приказание эскадронному начальнику полковнику Злотвинскому. Последний говорит вахмистру, что завтра великий церковный праздник, и тоже отправляется в Петербург. Левашев, возвратившись на другой день в Царское Село, едет прямо в манеж и не застает там эскадрона. Приезжает к себе домой, он посылает за вахмистром и за палками; садясь обедать, приказывает его наказывать и кричит несколько раз: «Не слышу (палочных ударов)!». Когда он встал из-за стола, тогда вахмистра увезли в больницу, там старый заслуженный вахмистр вскоре скончался. Вся гвардия знала о поступке Левашева и о смерти вахмистра. Полковник Злотвинский вышел из полка вследствие сего убийства. Все это не помешало Левашеву по-прежнему быть любимцем, оставаться начальником гвардейских гусаров и пребывать в еще большей милости.

Николай Иванович Уткин (наш родственник), известный гравер, получив кафедру профессора, жил в здании Академии Художеств<sup>106</sup>. Я шел к нему через Исаакиевский мост, видел, как солдат гренадерского полка перелез через перила носовой части плашкоута<sup>107</sup>, снял с себя кивер, амуницию, перекрестился и бросился в Неву. Когда он все это снимал, я не понимал, что он делает. Мне не приходило в голову, что он собирается лишить себя жизни. Часто случалось, что солдаты убивали первого встречного, предпочитая каторгу солдатской жизни.

Нас преследовали за то, что мы не доводили людей до такой крайности. Михаил Павлович с Аракчеевым, наконец, добились замены Потемкина Шварцем (учеником Желтухина, перещеголявшим жестокостью своего наставника), представив Якова Алексеевича неспособным

по излишнему мягкосердию командовать полком. После этого Александр, прежде благоволивший к Потемкину, совершенно к нему охладел.

Шварц начальствовал Калужским гренадерским полком. Известно было, что он приказывал солдатам снимать сапоги, когда бывал недоволен маршировкой, и заставлял их голыми ногами проходить церемониальным маршем по скошенной, засохшей пашне; кроме того, наказывал солдат нещадно и прославился в армии погостом его имени.

Шварц принялся за наш полк по своему соображению. Узнав, что в нем уничтожены телесные наказания, сначала он к ним не прибегал, как было впоследствии; но недовольный учением, обращал одну шеренгу лицом к другой и заставлял солдат плевать в лицо друг другу; устроил учение; сверх того из всех 12 рот поочередно ежедневно требовал к себе по 10 человек и учил их для своего развлечения у себя в зале, разнообразя истязания: их заставляли неподвижно стоять по целым часам, ноги связывали в лубки, кололи вилками и пр. Кроме физических страданий и изнурения, он разорял их, не отпуская на работы<sup>108</sup>. Между тем беспрестанная чистка стоила солдату денег, это отзывалось на их пище, и все в совокупности породило болезни и смертность. К довершению всего Шварц стал переводить красивых солдат без всяких других заслуг в гренадерские роты, а старых заслуженных гренадер без всякой вины перемещать в другие, и тем лишал их не только денег, но и заслуженных почестей.

Михаил Павлович был чрезвычайно доволен Шварцем, поощрял его ежедневными посещениями, дарил лошадей, карету и проч. Офицеры не подстрекали негодования солдат, но оно было всеобщее и само собой вырывалось наружу. Угнетенные ожидали облегчения своей участи, надеясь на инспекторский смотр. Но до корпусного начальника уже доходили слухи о неудовольствии солдат на Шварца. Слабоумный Васильчиков<sup>109</sup> решился разом заглушить их ропот, отстранив жалобы собственным о них почином. Таким способом солдаты вынуждены были молчать, оцепенев от изумления. После смотра Васильчиков благодарил Шварца за опрятность, хорошее обхождение с подчиненными и отправился к нему завтракать.

Наша 1-я гренадерская рота, во всех отношениях образцовая, считалась главою полка. Она состояла из отборнейших старых заслуженных солдат, покрытых боевыми ранами, пользовавшихся привилегиями и лично известных Александру.

Эти почтенные ветераны после вечерней переключки через своего фельдфебеля просили своего ротного начальника капитана Николая Ивановича Кашкарова пожаловать в роту. Они объявили ему, что у них нет более ни сил, ни средств служить под начальством Шварца, поэтому просят принять их жалобу. Кашкаров уговаривал роту отложить жалобу до более благоприятного времени. Тогда они рассказали, что на последнем полковом смотре И. В. Васильчиков подъезжал к ним, говорил, что ему известно, что некоторые солдаты недовольны Шварцем, но если кто-

нибудь из них на смотре выскажет на него неудовольствие, тот умрет под палками. И рота повторила просьбу дать немедленный ход жалобе, чтоб знали, что не некоторые солдаты недовольны Шварцем, а весь полк им недоволен и 1-я рота уполномочена жаловаться от всего полка.

Кашкаров донес о случившемся полковнику И. Ф. Вадковскому<sup>110</sup>. Последний пробовал вразумить Шварца. Но тот сделал ему выговор за потачку солдатам и жаловался Михаилу Павловичу на солдат и офицеров своего полка, великий князь — дивизионному начальнику Паскевичу<sup>111</sup>, а тот — корпусному Васильчикову.

В третьем часу того дня<sup>112</sup>, как 1-я рота жаловалась, великий князь держал ее два часа на ногах, требуя выдачи бунтовщиков. Рота стояла, как вкопанная, — Михаил Павлович уехал домой, взбешенный неудачей.

На другой день вечером Васильчиков потребовал роту без амуниции к допросу в здание Главного штаба. Не доходя до ворот штаба, какой-то человек объявил, что в здании Главного штаба нет места, чтобы выстроить роту; тогда приказали роте идти в дворцовый манеж. Вступив в него, рота изумилась, что ворота с обеих сторон отворились и два взвода Павловского полка с заряженными ружьями вступили в манеж и взвели курки. Васильчиков отправил роту в Петропавловскую крепость.

Один конвойный павловский солдат пробежал по коридорам семеновских казарм, крича, что 1-я рота уведена в крепость.

Все остальные 11 рот Семеновского полка вышли на площадь, находившуюся перед их лазаретом. Солдаты в оскорблении и тревоге клялись друг другу, что постоят за своих стариков или погибнут с ними. Они надеялись на поддержку государя, полагая, что он не должен дать в обиду любимый им полк, который при Павле был под его личным начальством.

Явились Михаил Павлович и Васильчиков, скомандовали выстроиться. Солдаты отвечали, что где головы нет, там ноги не действуют. Великий князь, не отличавшийся находчивостью, спросил солдат: что побуждает их так действовать? — «То, что вы променяли нас на немцев,» — отвечал один из них.

Следственная комиссия<sup>113</sup> старалась узнать, кто отвечал на вопрос Михаила Павловича. Трех солдат приводили в комиссию. На вопрос председателя «Кто отвечал великому князю?» один из них сказал: «Ваше превосходительство, позвольте вас спросить, кто из нас троих первый вступил в комнату?» Председатель указал на одного из солдат. «Ваше превосходительство! Я первый вступил в комнату. Вы не могли этого заметить днем, то ночью, когда темно, возможно ли в толпе разглядеть кого-нибудь в лицо, чтобы после узнать его?» \*

Не предвидя облегчения своим страданиям, семеновцы в ожесточении искали убить Шварца, но он спрятался в навозную кучу.

---

\* Граф Гурьев, числившийся в 1812 г. в нашем полку, передал мне остроумный ответ солдата.

Васильчиков окончательно допрашивал их, чего они хотят. «Отдайте нам наших стариков<sup>114</sup> или посадите нас вместе с ними».

Ротам приказано идти в крепость. Вмиг солдаты построились по-батальонно и в полной тишине пошли в крепость. Только на другой день жившие на улицах, по которым они проходили, узнали, что Семеновский полк заключен в крепость.

Глубокомысленные соображения жалкого историка Богдановича, как следовало действовать, рассказ Жихарева, как Петр Яковлевич Чаадаев будто бы советовал Васильчикову, что говорить солдатам,—все это не что иное, как пустая болтовня людей, не знающих сути дела<sup>115</sup>.

Во время истории Семеновского полка Александр I находился в Лайбахе на конгрессе<sup>116</sup>. С.-Петербургский ареопаг решил на три дня остановить заграничную почту из Петербурга. Граф Лебцельтерн<sup>117</sup>, австрийский посланник, поспешил уведомить Меттерниха<sup>118</sup> о случившемся с Семеновским полком, отправив своего курьера в Лайбах.

Никто из нас не думал сетовать на Чаадаева за то, что он повез донесение в Лайбах, исполняя возложенное на него поручение.

Скажу, что он, как бы ни спешил, физически не мог предупредить иностранного курьера, посланного тремя днями раньше.

Чаадаев мне рассказывал о своем свидании с Александром. Первый вопрос государя: «Иностранные посланники смотрели ли с балконов, когда увозили Семеновский полк в Финляндию?»<sup>119</sup> Чаадаев отвечал: «Ваше величество, ни один из них не живет на Невской набережной». Второй вопрос: «Где вы остановились?»—«У князя А. С. Меншикова, ваше величество».—«Будь осторожен с ним. Не говори о случившемся с Семеновским полком».

Чаадаева поразили эти слова, так как Меншиков был начальником канцелярии Главного штаба е[го] и[мператорского] в[еличества].

Чаадаев мне говорил, что вследствие этого свидания с государем он решил бросить службу<sup>120</sup>.

Последняя надежда семеновцев рушилась: указом императора повелено всех нижних чинов раскассировать в полки, а 1-й батальон и Шварца предать военному суду.

Не перечислю всех бесчеловечных при этом поступков с солдатами и несправедливых с офицерами, потому что они достаточно выяснены в описании «Возмущение старого л.-г. Семеновского полка» К. Ф. Рылеева<sup>121</sup>.

Чаадаев не принадлежал и не мог принадлежать к нашему Союзу. Только пред своим отъездом за границу он узнал от И. Д. Якушкина о его существовании, пенял ему за то, что он не уведомил его об этом прежде, когда он был адъютантом князя Васильчикова, что он тогда постарался бы сделаться флигель-адъютантом и мог бы быть полезным Союзу<sup>122</sup>.

Н. Н. Раевский<sup>123</sup> и я, мы провожали Чаадаева до Кронштадта, видели, как он сел на корабль. Прежде чем с ним проститься, Раевский сказал мне: «Зачем это мы провожали Чаадаева?» Чаадаев про-

стился с нами, как будто мы должны с ним свидеться на другой день.

В 1814 г. Чаадаев во время нашего пребывания в Париже жил с П. А. Фридрихсом, о котором рассказывал, что тот делает выписки из Флориана<sup>124</sup>. Он жил с Фридрихсом собственно для того, чтобы перенять щегольский шик носить мундир. В 1811 г. мундир Фридрихса, ношенный в продолжение трех лет, возили в Зимний дворец на показ.

П. Я. Чаадаев вышел из Семеновского полка в Париже единственно для того, чтоб надеть гусарский мундир. Он вступил в Ахтырский полк. Чаадаев не особенно был известен Александру I. С А. Ф. Орловым<sup>125</sup> он не был на «ты». «La Russie n'a ni passé, ni avenir». [Россия не имеет ни прошедшего, ни настоящего<sup>126</sup> (*фр.*)—*Сост.*]. Человек, который участвовал в походе 1812 г. и который мог это написать, положительно сошел с ума. Понимаю негодование А. С. Хомякова, К. С. Аксакова<sup>127</sup> и всякого искреннего русского. Бедный Петр Яковлевич Чаадаев!

В 1838 г. статья Чаадаева в «Телескопе»<sup>128</sup> вызвала следующие стихи:

..... и вот  
В кипеньи совещанья  
Утопист, идеолог,  
Президент собрания,  
Старых барынь духовник,  
Маленький аббатик,  
Что в гостиных бить привык  
В маленький набатик.  
Все кричат ему привет  
С оханьем и писком.  
А он важно им в ответ  
Dominus vobiscum.

Д. В. Давыдов<sup>129</sup>

## С. И. МУРАВЬЕВ-АПОСТОЛ<sup>130</sup> (1796—1826 гг.)

Заметки по поводу его биографии

В «Русской старине» изд. 1873 г. (т. VII, с. 652—676) помещен за подписью Михаил Баллас биографический очерк под заглавием «С. Муравьев-Апостол». Автор статьи благодарит меня за содействие в составлении ее, из чего читатель вправе заключить, что признаю вполне подлинность выставленных в ней фактов, равно и в оценке их разделяю его взгляды. От подобной солидарности с ним я должен отказаться по следующим причинам: статья, как сказано в предпосланной заметке, составлена из разных материалов, между прочим из записок Вигеля<sup>131</sup>, Греча<sup>132</sup> и из истории царствования Александра I генерала Богдановича<sup>133</sup>. В них кроме многих неверностей касательно фактов и лиц замечу общую

им важную погрешность, а именно так называемая «Семеновская история», столь скорбная по своим последствиям, излагается не в настоящем ее виде. Можно утвердительно сказать, что, преднамеренно или по неведению, все, что писано об этом плачевном событии, дает ложное понятие как о причинах, возбудивших беспорядок, так и о виновности солдат. Упомянув о книге генерала Богдановича, не могу не выразить скорбного чувства, какое возбудило во мне повествование его о кампании 1812 г.<sup>134</sup>, когда я видел, что он не воздаст должной справедливости великим заслугам фельдмаршала Кутузова, между прочим обвиняя его в слабом преследовании Наполеона, бегущего без оглядки из Москвы. Автор утверждает, что войско снабжено было теплой одеждою; я же, служивший тогда в Семеновском полку, могу засвидетельствовать, что во всей гвардии не было ни одного полушубка, тем менее в армейских полках, и что я, как портупей-юнкер<sup>135</sup>, наравне со всеми рядовыми совершил весь поход в одном мундире и в солдатской шинели. Если б вздумали следить по пятам Наполеона форсированным маршем, то не уцелела бы и четвертая часть армии. Кроме того, в вышеупомянутом сочинении есть факт, лично меня касающийся и который по совести считаю обязанным опровергнуть. Говоря о Следственной комиссии, наряженной по случаю возмущения 14 декабря 1825 г. (в VI томе, глава XXX, с. 437, также и в приложении, с. 56, и в прим., § 32), г. Богданович ошибочно приписывает П. Н. Свистуну весьма важное показание<sup>136</sup>. Дело заключалось в пустых словах, которым нельзя было придать значения преступного намерения, хотя за самые слова подлежали мы каре закона. В этом разговоре, в котором участвовали Свистун и Вадковский, инициатива шла от меня, следовательно, на меня падала высшая доля ответственности<sup>137</sup>. Находясь во время следствия в таком душевном расстройстве, что мне чудились голоса, преследовавшие меня день и ночь, о чем я и жаловался самой комиссии, я без всякого к тому повода сделал показание, в коем, припомнив бывший разговор, придал ему преувеличенное значение. Я вообразил, что себя одного обвиняю, не бывши тогда в состоянии вообразить, что, обвиняя себя, увлекаю под роковую ответственность бывших моих собеседников. Свистун из дружбы ко мне, не желая для опровержения моего показания подвергнуться очной ставке со мною, подтвердил его письменно, хотя оно значительно усиливало его виновность, но показание шло собственно от меня<sup>138</sup>. Должен с признательностью заявить, что ни он, ни Вадковский, узнавши впоследствии о состоянии невменяемости, в котором я временно находился, никогда не пеняли на меня за эту оплошность.

Ворочусь к г. Балласу, которого я вовсе не знал. Он обратился ко мне с просьбой снабдить сведениями о брате моем и о событиях, в которых он принимал участие. Я охотно согласился поделиться с ним своими воспоминаниями, но, когда узнал, что он намеревается составить из них журнальную статью, я просил его сообщить мне вчерне, желая проверить, не изменила ли ему в чем память при изложении на бумаге



переданного ему мною изустно, на что он и согласился. К сожалению, он этого не сделал, чем вовлек меня в полемику, от которой охотно бы я устранился, если б приписанное мне сотрудничество в составлении этого очерка не возлагало на меня обязанность высказать, в чем я нахожу его несогласным с доставленными мною сведениями. За чужие описки и за чужие мнения никак не могу принимать на себя ответственности.

Шестистишие, выставленное в виде эпиграфа<sup>139</sup>, не следует называть пророческою строфою по той причине, что, если бы брат мой Сергей вздумал писать о себе, он выразился бы скромнее. Не придавая этим стихам неподобающего им значения, все-таки считаю нужным заметить, что в четвертом стихе лишний слог составляет отступление от правил стихосложения<sup>140</sup>, следует писать: «Ce n'est qu' un bout de ma carriere» \* [Лишь перед концом моим (фр.).— *Сост.*].

Стр. 654. Дед мой, Матвей Артамонович, женился не на внучке гетмана Даниила Апостола<sup>141</sup>, а на дочери его. Последний бездетный потомок гетмана как бы в вознаграждение за то, что бабка моя лишена была приданого отцом своим, исходатайствовал у государя в 1800 г. дозволение передать вместе с фамилиею «Апостол» родовое свое имение двоюродному брату своему Ивану Матвеевичу Муравьеву, моему батюшке. Он обратил на себя внимание императрицы Екатерины в 1792 г. не переводом шеридановского творения<sup>142</sup>, а сочинением русской комедии «Ошибки, или Утро вечера мудренее»<sup>143</sup>.

Стр. 654. Не в 1808, а в 1805 г. воротился батюшка мой из Мадрида в Петербург и не для личных объяснений, а потому, что был отозван из Мадрида по повелению государя. На место его назначен был посланником барон (впоследствии граф) Григорий Иванович Строгонов<sup>144</sup>. В то время как отец мой поступил на должность посланника при испанском дворе, ему поручено было поддерживать мадридский кабинет против честолюбивых замыслов Наполеона. Испанский министр Годой<sup>145</sup> вполне доверился русскому посланнику и в сношениях с Наполеоном держался политики, внушаемой ему представителем русского двора, что возбудило против отца сильное негодование Наполеона, высказываемое им в дипломатических нотах и на столбцах официальной французской газеты.

После Аустерлицкого сражения Годой, устранившись возраставшего преобладания французского императора, стал заискивать его милости и в угождение ему начал чуждаться русского посланника. В то же время между нашим кабинетом и французским шли переговоры о примирении, поэтому предстоящая перемена в отношениях наших к французскому двору повлекла за собой замещение нашего посланника в Испании. Отец мой, воротившись в Петербург, явился ко двору, где нисколько не чаемое холодное обращение с ним императора Александра I убедило его в утрате

---

\* Необходимо также исправить опечатку в третьем стихе: четвертое слово должно кончаться на «ъ».

царской милости, утрате, оставшейся и впоследствии необъяснимой для него. Он, покинув службу, уехал в Полтавскую губ[ернию], где поселился в своем имении — селе Бакумовке Миргородского уезда. До назначения его в Мадрид он находился посланником в Гамбурге, где ему посчастливилось снискать особенное благоволение императора Павла по случаю покровительства, им оказанного одному знатному французскому эмигранту<sup>146</sup>. Французская республика с угрозой требовала его выдачи, на что гамбургский сенат из страха согласился. Но представитель нашего двора, возмущенный таким наглым нарушением международного права, дал эмигранту приют у себя в доме и затем отправил его в Петербург. Рыцарский поступок русского посланника до того восхитил императора Павла, что он, восхвалив его самым лестным образом, пожаловал ему при этом орден Св. Анны 1-й степени. В 1807 г. батюшка мой, вступив в милицию, был назначен окружным начальником. Желая возобновить старое знакомство с Михаилом Илларионовичем Кутузовым, бывшим тогда киевским военным губернатором<sup>147</sup>, он заехал повидаться с ним и не мог не выразить ему своего удивления при виде такого знаменитого воина, занимавшего гражданскую должность в военное время. Отец рассказывал, что Михаил Илларионович, взяв его за руки, сказал: «Голубчик, настанет время, когда я и им на что-нибудь может быть пригожусь». Кому не известно, что сбылось его пророческое слово.

*Стр. 656.* О брате моем Сергее многое передано неверно. Он родился не в 1794 г. а в октябре 1796<sup>148</sup>. Весь офицерский класс корпуса путей сообщения, в котором брат находился, прибыл на службу в армию перед Бородинским сражением, в котором и участвовал. В 1813 г. поступил он в батальон, сформированный великою княгиней Екатериной Павловной<sup>149</sup> и носивший ее имя. В 1814 г. после неудачного дела под Провенсом (Province)<sup>150</sup> Н. Н. Раевский<sup>151</sup> заменил раненного графа Витгенштейна<sup>152</sup> в командовании авангарда, в составе которого числился батальон ее высочества. Н. Н. Раевский пожелал иметь при своем штабе офицера из этого батальона, и брат мой был назначен бессменным ординарцем при начальнике авангарда. По занятии Парижа брат мой Сергей опять поступил в строй батальона ее высочества, с которым и воротился в Петербург. В 1815 г., быв переведен поручиком в лейб-гвардии Семеновский полк, вознамерился оставить на время службу и ехать за границу слушать лекции в университете, на что отец не дал своего согласия.

*Стр. 659.* В сведениях, относящихся до тайного общества, многое следовало бы изменить и исправить. Не беру на себя этого труда. Замечу только, что Пестель никакого устава не писал<sup>153</sup>, а устав общества под наименованием «Союза благоденствия» составлен был Михаилом Николаевичем Муравьевым в 1818 г.

Помимо изложенных в разбираемой статье обстоятельств, побудивших к возмечтанию о реформах в России<sup>154</sup>, следует упомянуть о надежде на дарование политических прав, возбужденной либеральной политикой императора Александра Павловича, неоднократно им заявленной. О ней

свидетельствует воззвание его к германским народам в 1813 г.<sup>155</sup>. Затем в 1814 г., при первом свидании его с Людовиком XVIII в Рамбулье, всем стало известно высказанное им убеждение в необходимости при вступлении короля на престол учредить во Франции представительное правление. В следующем году на Венском конгрессе он, отстаивая либеральные учреждения, оспаривал ретроградную политику Меттерниха и Талейрана<sup>156</sup> и, вопреки их мнению, даровал Польше конституционное правление. Наконец, при открытии Варшавского сейма произнес речь, возбудившую неописанный восторг во всей мыслящей молодежи<sup>157</sup>. Нет сомнения, что неосуществившиеся надежды и, пожалуй, неосуществимые в данной эпохе нисколько не оправдывают преступных замыслов; но упомянуть о них необходимо как об обстоятельстве, характеризующем тогдашнее настроение умов.

*Стр. 661.* «Семеновскую историю» рассказать можно в коротких словах. Вскоре по возвращении гвардии из похода отменены были в полку телесные наказания с согласия всех ротных начальников и с разрешения полкового командира генерала Потемкина. Мера эта не только не ослабила дисциплины, но, возвысив нравственно людей, возбудила в них такое соревнование, что Семеновский полк во всех отношениях служил образцом для всей гвардии. Несмотря на то, графу Аракчееву такое нововведение представилось в виде зловещего признака; злоупотребляя доверием к нему императора, он выставил генерала Потемкина, всеми уважаемого и любимого, как человека, неспособного по излишнему мягкосердию командовать полком, и просил назначить на его место полковника Шварца, прославившегося в армии своей жестокостью. Безрассудные требования и варварское обращение последнего поразили ужасом семеновцев. Они, полагая, что о жестокостях его не ведает корпусной начальник, решились высказать ему свое безвыходное положение. Их жалобы признаны были бунтом, хотя инспекторский смотр установлен именно для выслушивания солдатских жалоб; но доказательством тому, что они не выходили из повиновения, служит факт, что без всяких принудительных мер, подчиняясь приказанию начальства, они безропотно отправились в крепость под арест. Многие были того мнения, что, если бы в то время командовал корпусом не Васильчиков, а граф Федор Петрович Уваров<sup>158</sup>, любивший солдат и пользовавшийся их преданностью и доверием, он бы принял во внимание справедливые их жалобы и признал бы в поступках Шварца явное злоупотребление властью. Я находился тогда в Полтаве при князе Репнине<sup>159</sup>; но мой брат Сергей, князь Трубецкой и другие мои однополчане подробно известили меня письменно о бедствии, постигшем наш полк. Во время моего ареста отобраны были все мои бумаги, которые впоследствии возвращены были сестре моей Екатерине Ивановне Бибиковой, но по смерти ее, к сожалению, были сожжены. Я бережно хранил письма, заключавшие в себе подробный рассказ о печальном событии, изложенном правдивыми очевидцами. Эти письма в настоящее время послужили бы редким

историческим памятником. Шварц перед образом клялся брату, что не виноват в случившемся беспорядке, а что имел несчастье послушаться уверявших его, что полк заражен духом неповиновения и буйства, к укрощению которого необходимы крайние меры строгости.

Отзыв, чересчур лестный, о брате моем и обо мне я бы, без сомнения, попросил автора выбросить из своей статьи<sup>160</sup>, если бы он, снисходя просьбе моей, сообщил мне ее предварительно. Замечу, что «душою общества» нельзя было назвать брата потому, что он, исключительно предавшись попечению о своей роте, навещал ее несколько раз в день, жил с солдатами, как со своими детьми, и не имел досуга бывать в свете.

Выражение «к аристократическим фамилиям»<sup>161</sup> заменил бы я менее пышным словом. У нас есть дворянство, но аристократия, полагаю я, существует лишь там, где законом установлено право первородства.

*Стр. 676.* Относительно казни, последовавшей за приговором Верховного уголовного суда, многое передано не так, как было. Сказано, между прочим: «... перед ними начали сооружать эшафот, но как не могли его скоро окончить, то их отвели опять назад». Эшафот был к означенному сроку сооружен, и пятерых, обреченных на смерть, привели на площадь лишь после того, как над остальными осужденными переломаны были шпаги и сожжены на пылавших кострах их эполеты и мундиры с орденами.

*Стр. 675.* В рассказе о последнем свидании брата с сестрою<sup>162</sup> выпущено одно обстоятельство, указывающее на необыкновенное спокойствие духа со стороны брата в роковую минуту. Сестра, едва оправившись от родов, была в полном неведении об участи, его ожидавшей; муж ее, не решившись сообщить ей грозной вести, посоветовал ей испросить дозволения на свидание с братом. Это было накануне казни. Она поспешно съездила в Царское Село, где, ради ходатайства генерала Дибича, получила на то высочайшее разрешение. Ночью за несколько часов до казни она, увидев брата, закованного в кандалы, залилась слезами; брат, чтоб ее утешить, сказал ей с спокойным видом, что напрасно ее так смущают оковы, что они ни чувства, ни языка его не связывают и поэтому не помешают им дружески побеседовать. Он сумел рассеять ее опасение и пробудить в ней надежду, так что касательно его участи она осталась в том же неведении; просил ее только позаботиться о брате.

Комендант Сукин<sup>163</sup> ошибочно назван «герой из солдат». Он принадлежал к древнему дворянскому роду. Вероятно, автор смешал его с генералом Скобелевым<sup>164</sup>, бывшим впоследствии комендантом Петропавловской крепости.

Москва.

25 мая 1873 г.

## ВОССТАНИЕ ЧЕРНИГОВСКОГО ПОЛКА <sup>165</sup>

... *Queaque ipse miserrima vidi...* <sup>166</sup>

Расскажу, что видел и что знаю о восстании в 1825 г. Черниговского полка.

Осенью 1825 г. получил отпуск князь Сергей Петрович Трубецкой, штаб-офицер при 4-м пехотном корпусе <sup>167</sup>. Брат Сергей Иванович приехал в Киев просить отъезжающего в Петербург князя Трубецкого, чтобы он всеми силами воспрепятствовал там всякой попытке к восстанию, предвидя лишь напрасные жертвы <sup>168</sup>.

В конце декабря Павел Иванович Пестель известил брата о кончине императора и о двух доносах, сделанных еще при его жизни <sup>169</sup>.

В декабре 1825 г. Михаил Павлович Бестужев-Рюмин узнал о смерти своей матери, нежно им любимой. Сочувствуя его горю, брат мой хотел попытаться выхлопотать ему отпуск. Бестужев, бывший офицер старого Семеновского полка, как и все его сослуживцы, переведен был в армию вследствие «Семеновской истории». Известно, что по распоряжению высшего правительства воспрещено было представлять их к повышению в следующий чин и что они лишены были права проситься в отпуск и выходить в отставку. Второй батальон Черниговского полка, коим начальствовал Сергей Иванович и в коем он вывел из употребления телесные наказания, считался образцовым во всем 3-м пехотном корпусе. Генерал Рот <sup>170</sup>, корпусный командир, до того благоволил к брату, что два раза представлял его в полковые командиры.

22 декабря 1825 г. брат отправился в корпусную квартиру с целью выхлопотать отпуск Бестужеву. На последней станции, не доезжая до Житомира, мы получили (я сопровождал брата) от сенатского курьера, развозившего присяжные листы, первое известие о деле 14-го декабря.

По приезде в Житомир брат поспешил явиться к корпусному командиру, который подтвердил слышанное от курьера. Об отпуске Бестужеву нечего было уже хлопотать. Рот пригласил брата отобедать у него. Во время стола не было другого разговора, кроме как о петербургском событии; поминали о смерти графа Михаила Александровича Милорадовича <sup>171</sup>. Когда брат возвратился на квартиру, коляска была готова, и мы поехали обратно в Васильков через Бердичев. На пути заехали к Петру Александровичу Набокову <sup>172</sup>, бывшему семеновскому офицеру, назначенному, до «Семеновской истории», командиром полка 8-й пехотной дивизии. Мы не застали Набокова дома, он отлучился по делам службы. В Троянове мы заехали к Александру Захаровичу Муравьеву, а потом в Любаре к брату его Артамону Захаровичу <sup>173</sup>. Потребовалась какая-то починка в коляске, мы бросили ее в Любаре и наняли жидовскую форшпанку <sup>174</sup>. Ночью в Бердичеве переменили лошадей и поехали дальше.

Не доезжая до Василькова, мы остановились в Трилесье, местораспо-

ложении пятой мушкетерской роты, числившейся в братнином батальоне. Она не возвращалась еще из Василькова, куда ходила по случаю второй присяги<sup>175</sup>. В Трилесье мы остановились на квартире А. Д. Кузьмина, командира пятой роты<sup>176</sup>.

Бестужев прискакал в Трилесье с уведомлением о том, что во время отсутствия брата жандармы приезжали из Петербурга и что, не найдя его в Василькове, забрали все его бумаги и поехали в Житомир. Мы узнали от Бестужева, что петербургские жандармы ждали брата, чтобы его задержать, и что в ту самую ночь, когда мы переменили лошадей, Бердичев был оцеплен войском и на всех выездах стояли часовые.

В ночь с 28-го на 29-е декабря командир Черниговского полка Гебель с жандармским капитаном Лангом, гнавшиеся за братом до самого Житомира, настигли его в Трилесье. После нескольких бессонных ночей, проведенных в дороге, разведшись, брат лег спать. Гебель просил нас одеться, чтобы выслушать высочайшее повеление. Оно заключалось в том, чтобы нас арестовать и препроводить в Петербург.

Мы пригласили Гебеля напиться чаю, на что он охотно согласился. Пока мы сидели за чаем, наступил день. Кузьмин с своей ротой возвратился из Василькова. Вместе с ним прибыли все ротные командиры второго батальона Черниговского полка, чтобы навеститься о своем батальонном начальнике. Гебель занялся расстановкою часовых вокруг хаты и поставил по два человека против каждого окошка хаты. Возвратившись в комнату и обращаясь к офицерам с тоном угрозы, он спросил их, что они тут делают. Кузьмин отвечал ему, что он у себя на квартире. «Как вы смели говорить с арестантом?» Такая неуместная выходка Гебеля возбудила в офицерах взрыв негодования. Кузьмин подошел к нему, грозя пальцем, и напомнил, сколько раз Сергей Иванович выручал его из беды. Гебель не выдержал укоров, вышел из комнаты; офицеры пошли за ним. Вскоре послышались громкие возгласы, крики. Испуганный жандарм, мужчина рослый, бросился на колени перед братом, прося его (на французском языке) пощадить его жизнь. Брат его успокоил, уверяя, что жизни его не угрожает ни малейшая опасность. Жандарм вышел из хаты и тут же выехал из Трилесья.

Хотя я не был свидетелем побоища, но утвердительно могу сказать, что раны, будто бы нанесенные штыком Гебелю в грудь и в бок, чистая ложь. Не поручусь в том, чтоб его не ударили ружейным прикладом. При таких ранах, о которых говорится в донесениях<sup>177</sup>, Гебель не мог бы немедленно возвратиться в Васильков.

Гебель за свое усердие и распорядительность был назначен вторым киевским комендантом. Несмотря на то, можно безошибочно сказать, что, будь на месте Гебеля полковым командиром Черниговского полка человек, заслуживающий уважения своих подчиненных и более разумный, не было бы ни возмущения, ни восстания.

Пятая рота, узнав об освобождении из-под ареста своего батальонного командира, приветствовала его громким криком «ура!». Брат приказал

солдатам разойтись по своим квартирам, собрать свои пожитки и готовиться к походу.

Неожиданные события, столь быстро следовавшие одно за другим: арест и затем немедленное освобождение вследствие возмущения офицеров — поставили брата в безвыходное положение.

Участвовавший в походах 1812, 1813 и 1814 гг., Сергей Иванович достаточно был сведущ в военном деле, чтобы не питать никакой надежды на успех восстания при силе, заключающейся в горсти людей. Но обстоятельства так сложились, что восстание, непредвидимое, неприготовленное, было уже совершившимся фактом вследствие грубого, безрассудного обхождения Гебеля с офицерами, уважения которых не умел он снискать. Солдаты ненавидели его, сочувствовали своим офицерам, питали к ним полное доверие, а тем более к Сергею Ивановичу. Они ему говорили, что готовы следовать за ним, куда бы он их ни повел. Офицеры, нарушившие закон военного повиновения, ожидали его решения. Покинуть их — значило бы отказаться разделить с ними горькую участь, их ожидавшую. Брат решился идти в поход для соединения с 8-ю пехотной дивизией, расположенной за Житомиром. В 8-й пехотной дивизии находились многие члены Тайного союза и Общества соединенных славян. В числе первых считалось несколько полковых командиров, на содействие которых можно было положиться<sup>178</sup>; несколько рот старого Семеновского полка переведены были в эту дивизию и вполне доверились брату<sup>179</sup>. Офицеры пешей 8-й артиллерийской бригады, когда до них дошла весть о смерти государя, дали знать Сергею Ивановичу, что у них все готово к походу и лошади подкованы на зимние шипы. К тому же надежда, что восстание на юге, отвлекая внимание правительства от товарищей-северян, облегчит тяжесть грозившей им кары, как бы оправдывала в его глазах отчаянность его предприятия; наконец и то соображение, что вследствие доносов Майбороды и Шервуда нам не будет пощады, что казематы — те же безмолвные могилы, — все это, взятое вместе, посеяло в брате Сергее Ивановиче убеждение, что от предприятия, по-видимому безрассудного, нельзя было отказаться и что настало время искупительной жертвы. Рота выступила из Трилесья. Ночлег наш был в селе Спиньки. 30 декабря около третьего часа пополудни роты дошли до Василькова. Против нас была выставлена цепь стрелков. Когда рота подошла к ней на такое расстояние, что можно было разглядеть лица солдат, стрелки с криком «ура!» соединились со своей пятой ротой и вместе с ней вступили в Васильков. По вступлении в город брат принял следующие меры: освободил из-под ареста М. А. Щепилу, барона Вениамина Николаевича Соловьева, Ивана Ивановича Сухинова<sup>180</sup>, возвратившихся накануне из Трилесья; усилены были караулы у острога и у казначейства; наряжен был оберегательный караул к дому, занимаемому Гебелем; отдан был приказ на всех заставах никого не впускать в город и не выпускать из него без ведома и разрешения брата. Ночь прошла спокойно. Несколько офицеров, ехавших в отпуск или возвращавшихся в свои полки, являлись

к Сергею Ивановичу и без задержки отправлялись далее. Проезжий жандарм задержан был ночью. 31 декабря второй батальон Черниговского полка в полном своем составе рано утром соединился в Василькове; две роты первого батальона присоединились тоже к нам. После продолжительного колебания полковой священник Черниговского полка согласился отслужить молебен и прочесть перед фронтом катехизис, составленный братом<sup>181</sup>. В нем излагались обязанности воина в отношении к богу и отечеству.

Роты, помолившись, готовились выступить из Василькова; тут подъезжает почтовая тройка, и брат Ипполит бросается в наши объятья. Ипполит только что выдержал блестящий экзамен, был произведен в офицеры Генер[ального] штаба и определен во вторую армию. Напрасно мы умоляли его ехать далее в Тульчин, место его назначения, он остался с нами.

31 декабря прибыли мы в Мотовиловку, где у нас была дневка по случаю Нового года.

2 января 1826 г. брат Сергей Иванович намеревался направиться на Бердичев, чтобы воспользоваться лесистой местностью. Узнав, что 18-й егерский полк, расположенный в Белой Церкви, выставлен против нас, он свернул в Житомир кратчайшею дорогой через Трилесье.

3 января 1826 г. на привале мы узнали, что кавалерийский отряд с конно-артиллерийскою ротою загораживает путь в Трилесье. Всеобщая радость: конно-артиллерийскою ротою командовал полковник Пыхачев — член Тайного общества<sup>182</sup>. В 1860 г., жительствовав в Твери, я только тогда узнал, что Пыхачев накануне того дня, когда его рота выступила против нас, был арестован. Мы снялись с привала, построились в ротные колонны и пошли далее. Местность оказалась самою невыгодною для пехоты, имеющей встретиться с кавалериею. Отряд, пушки в виду. Мыдвигаемся вперед. Раздается пушечный выстрел, за ним второй, ядро пролетело над головами. Мы все шли вперед. Открылась пальба картечью, у нас несколько человек пало: одни убитыми, другие ранеными, в числе первых — начальник шестой мушкетерской роты штабс-капитан Михаил Александрович Щепила. Тогда Сергей Иванович решился прекратить неравный бой и спасти свою команду от неминуемой гибели и приказал поставить ружья в козлы. Солдаты, повинаясь ему, не понимали, с каким намерением начальник остановил их на походе. Сергей Иванович им сказал, что виноват перед ними, что, возбуждая в них надежду на успех, он их обманул. Артиллеристам Сергей Иванович стал махать белым платком и тут же упал, пораженный картечью<sup>183</sup>. Ипполит, полагая, что брат убит, застрелился из пистолета.

Нас рассадили в сани; пришлось нам проехать мимо солдат, которые с соболезнованием смотрели на брата. Ни у кого из них на лице не проявился ни малейшего знака укора. После нашего отъезда кавалерия обступила черниговских солдат.

В Трилесье нас поместили в корчму, приставив к нам караул из



белорусских гусар. У брата рана не была перевязана, и нечем было перевязывать. Вещи наши и белье и прочее расхищено гусарами.

Наступила ночь, подали огонь. Кузьмин, лежавший на соломе против меня, просил меня подойти к нему. Я ему указал на раненую голову брата, лежавшую на моем плече. Кузьмин с видимым напряжением подполз ко мне, передал рукопожатье, по которому Соединенные славяне узнавали своих, простился дружелюбно со мною, дополз до своей соломы и тут же лежа застрелился из пистолета, спрятанного в сюртучном рукаве у него. Кузьмин скрыл от нас полученные им две картечные раны: одну — в бок, другую — в левую руку. Хочу сказать о нем несколько слов.

Анастасий Дмитриевич Кузьмин воспитывался в первом кадетском корпусе. В 1823 г. случилось мне заехать к брату Сергею Ивановичу в Васильков. Застал я его занятым с утра службою по случаю поступивших в его батальон рекрут, которых он сам лично обучал. Брат просил меня проехаться на его верховой лошади, чтобы ее объездить. На васильковской площади, по которой пролегает дорога из Киева на Бердичев и где беспрестанно снуют польские брички, я застал учебную команду Черниговского пехотного полка. Инструкторы, унтер-офицеры, держали в руках палки, концы которых измочалились от побоев. Я тогда еще находился на службе, приказал призвать к себе офицера, заведующего учебной командой. Ко мне явился Кузьмин. Напомнив ему о статье рекрутского устава, по которой запрещается при учении бить рекрут, я присовокупил: «Стыдитесь, г. офицер, доставлять польским панам потешное зрелище: показывать им, как умеют обращаться с их победителями». Затем я приказал бросить палки и уехал. Возвратившись к брату, я ему рассказал мою встречу с Кузьминым, от которого ожидал вызова. Брат предложил мне быть моим секундантом; требования удовлетворения не последовало. Проживши с братом еще три недели, поехал я в отцовское поместье, а там в Петербург. В 1824 г. я опять приехал навестить брата и застал у него Кузьмина, который бросился ко мне в объятия, благодаря меня за то, что я его образумил, выставивши пред ним всю гнусность телесного наказания. Брат мне рассказал, что Кузьмина нельзя узнать, что он вступил в солдатскую артель своей роты и что живет с нею, как в родной семье.

От выстрела, сделанного Кузьминым, с братом повторился обморок, которому он уже несколько раз до того подвергался вследствие потери крови из неперевязанной раны.

Утром 4 января 1826 г. рану перевязали, подали сани; приготовлен был конвой из мариупольских гусар, чтобы отвезти нас в Белую Церковь. Сначала начальник конвоя долго не соглашался на нашу просьбу дозволить нам проститься с братом нашим Ипполитом, потом повел нас к нежилой, довольно пространной хате. На полу лежали голые тела убитых, в числе их и брат наш Ипполит. Лицо его не было обезображено пистолетным выстрелом; на левой щеке под глазом заметна была небольшая опухоль, выражение лица было гордо-спокойное. Я помог раненому брату Сергею стать на колени; поглядели на нашего Иппо-

лита, помолились богу и дали последний поцелуй нашему убитому брату.

Меня посадили в сани вместе с раненым братом. Дорогою мы утешали себя мыслью, что и в Сибири, где бы мы ни были брошены, мы будем неразлучно вместе. Молодой мариупольский гусарский офицер, который был посажен на передке наших саней без вызова на разговор с нашей стороны заговорил о своем и своих сослуживцев сочувствии нам.

В Белой Церкви нас разместили по разным хатам и лишили меня тем последнего, так сказать, утешения — ухаживать за раненым братом Сергеем Ивановичем. Этим и оканчиваю свой рассказ о восстании в 1825 г. Черниговского пехотного полка.

---

Вот чем объясняется подкуп палача, о коем упоминается на с. 282 «Русского Архива» 1871 г. под заглавием «Бунт Черниговского полка»<sup>184</sup>.

Фланговый (по-тогдашнему — флигельман) первого батальона Черниговского полка, солдат храбрости испытанной, доброго поведения, бывший в походах и во многих сражениях, начал с 1823 г. совершать частые побеги. Когда ротный его командир после вынесенного им за новый побег ужасного истязания стал увещевать его, вспоминая его прежнюю службу, не подвергать себя мучениям, он отвечал, что, пока его не лишат солдатского звания, не накажут кнутом и не сошлют в Сибирь, он не прекратит побегов, что каторга легче службы. В то время после известного числа побегов провинившихся приговаривали к торговой казни и ссылке в Сибирь на каторжную работу. Фланговый первого батальона Черниговского полка достиг своей цели и был приговорен к кнуту и каторге. Брат пожалел старого солдата, поручил своему человеку передать деньги палачу, чтобы он пощадил приговоренного к казни. В те времена случалось, и неоднократно, что солдаты совершали убийства над первым попавшимся навстречу человеком, убивали даже детей, и все с единственной целью — избавиться от службы.

## ЗАМЕТКИ В КРЕПОСТИ<sup>185</sup>

20 января 1826 г. Как я счастлив был сегодня, получив письмо от отца! Бог мой! падаю ниц перед Тобою, Ты не оставляешь меня в скорби, Ты знаешь, как она велика; сердце мое истерзано. У меня не хватит сил перенести эти страдания! Как вы добры, дорогая маменька!<sup>186</sup> Как я благодарен вам за ваше Евангелие! Сколько раз смотрел я на два восковых пятна на переплете, и что за воспоминания они во мне возбудили: круглый стол в Хомутце, наше вечернее чтение... Все это кончено для меня — для меня нет больше счастья на земле. О, Господи! сократи мой путь и призови меня скорее. Я больше ни к чему не буду

годен. Я знал дружбу в здешней жизни, и у меня нет более друга. Те, что дружески расположены ко мне, должны радоваться, когда узнают, что я оставил юдоль скорби. Что касается меня, то я мог бы все перенести, может быть, даже мужественно, но...

Я сердца глубь пред Господом открыл—  
И о моем раскаянии Он знает,  
Он исцелил, Он дух мой укрепил:  
Ведь Он детьми несчастных называет!  
Мои враги сказали мне, смеясь:  
«Пускай умрет, а вместе с ним и слава!»  
Но Бог вещал, душе моей являсь:  
«Их злость—твоя опора и держава!»  
Их сонм друзьям твоим передает  
Свою вражду; кого, сам разоренный,  
Питаешь ты, твой образ продает,  
Его враждой и злобой очерненный.  
Но Бог, к кому раскаянье влечет  
Тебя, твой вопль, рожденный горем, слышит,  
Он, кто щадит ваш слабый смертный род  
И приговор чей благию дышит.  
Будь славен, Бог—Ты, возвративший мне  
Невинности и благородства силу  
И чей глагол, гремевший в вышине,  
Оберегать сойдет мою могилу.  
Несчастный гость на жизненном пиру,  
Я жил лишь день и умираю,  
И над моей могилой, как умру,  
Никто слезы не выронит, я знаю.  
Вам, зелень нив, зовущий мрак лесов  
И высь небес, души очарованье,  
Семьи людской лазоревый покров,  
В последний раз я шлю свое прощанье!  
Пусть сонм моих бесчувственных друзей  
На вас в тиши глаза покоит!  
Пусть смерть сойдет к ним на закате дней,  
И друг глаза, рыдая, им закроет!<sup>187</sup>

Я умру, как поэт, написавший эти стихи. Бедный Жильбер!

Дорогой Васинька<sup>188</sup>, есть возраст в жизни, когда, не успев еще перестрадать (ибо лишь страданье развивает наш ум—сама же природа действует лишь усилиями), мы применяем наш рассудок к тому, что не подлежит рассуждению. Я верю, потому что это нелепо—это весьма глубокая мысль. Ради бога, мой дорогой друг, избегай этого подводного камня, с которым всегда опасно бороться. Это моя последняя просьба к тебе. И верь, что я прошу тебя ради твоего собственного благополучия и, следовательно, ради того из наших родителей, которого ты должен любить всей своей любовью.

Прощай, дорогой Васинька, не забывай моей просьбы, потому что я считаю ее важной.

24 декабря 1825 года.  
 25 декабря (пятница). Мы приезжаем в Житомир<sup>189</sup>.  
 26 (суббота). У Александра Муравьева в Троянове.  
 27 (воскресенье). В Любаре. У Артамона Муравьева.  
 28 (понедельник). В Троянове — Гебель. Я неповинен, как и Сергей, в этом ужасном происшествии!!  
 29 (вторник). В Ковалевке.  
 30 (среда). В Василькове.  
 31 (четверг). Ипполит приезжает в Васильков и решается остаться с нами вопреки моим [уговорам]. Мы отправляемся в Мотовиловку.  
 1 января 1826 г. (пятница). Мы провели день в Мотовиловке.  
 2 (суббота). Мы ночуем в Пологах. Вечером у меня продолжительный разговор с Ипполитом о судьбе человека.  
 3 (воскресенье). Ипполит убит. Сергей ранен — мы захвачены.  
 4 (понедельник). Мы прибываем в Белую Церковь, где меня разлучают с Сергеем, которого я уже больше не видел до самой моей смерти.  
 8 (пятница).  
 10 (воскресенье). Я уезжаю в Могилев.  
 13 (среда). Я в Могилеве, вечером меня отправляют в Петербург. Добрый комендант главной квартиры.  
 16 (суббота). Я приезжаю в Петербург.  
 17 (воскресенье). Я вижу императора. Меня заключают в крепость.  
 20 (среда). Я получаю письмо от отца и это Евангелие от матери.  
 15 февраля 1826 г. Я узнал, что мне больше не разрешено писать родственникам. О, Боже!! Это известие оказалось неверным. Офицер, сообщивший мне его, плохо расслышал. Он не подозревает, какое зло он мне причинил.

Что же такое, наконец, жизнь, чтобы стоило ее оплакивать?

День за днем и час за часом...

Что один приносит нам, то отнимает другой.

Отдых, труд... болезнь и немного мечты...<sup>190</sup>

Это прекрасная вещь, если хорошо знать, какое дать ей назначение, и если иметь счастье пользоваться сладостью дружбы. Я никогда не любил Ламартина<sup>191</sup>, так как он вызывает безнадежность, как и нетерпимость.

Жан Батист Руссо, Расин, особенно Корнель, Лафонтен, Мильвуа, оба Шенье, Грессе, Делавинь — вот мои любимые поэты. Также Сумет<sup>192</sup>. Есть много предчувствия в музыке; есть арии, которые невольно приходят мне на память, а когда я услышал их впервые, они причинили мне бесконечную боль. В их числе музыка цингареллиевского «Ромео и Джульетта»<sup>193</sup>. Я всегда был убежден, что душа наша, как говорит Ламартин, — одна любовь и гармония. Есть французские романсы, которые так живо напоминают мне гостиную в Хомутце, камин, круглый стол<sup>194</sup>, что мне кажется, будто я там. И сердце мое сжимается.

22 февраля 1825 г. я в первый раз был в Кибинцах<sup>195</sup>. Последний год моей жизни был грустен и...

Из всех писателей, которых я читал в своей жизни, больше всего благодарности я питаю бесспорно к Стерну<sup>196</sup>. Я себя чувствовал более склонным к добру каждый раз, что оставлял его. Он меня сопровождал всюду. В первый раз я читал его в 1815 г., когда полк шел в Вильно. Он понял значение чувства, и это было в век, когда чувство поднимали на смех. Легкомыслие, всегда грубое и носящее личный характер,—это настоящий 18-й век. Я говорю о Франции и даже об Англии.

Самыми сладостными мгновениями своей жизни я обязан дружбе, которую питаю к родным. Когда мой дорогой Васинька вырастет и будет рассуждать самостоятельно, я советую ему читать Стерна в память его первого друга на земле. Речь о сознании очень глубока и очень трогательна. Это мой брат.

Христианская религия—религия чувства. Ее надо понимать сердцем, ибо сердцем обычно постигается великое.

Если бы провидению не было угодно, чтобы я таким образом закончил свою жизнь, я хотел бы удалиться в деревню, которую я очень люблю, и отдаться садоводству, я убежден, что сделался бы отличным садовником.

Хороший день всегда производит на меня сильное впечатление: тогда я начинаю сомневаться в существовании зла—все в природе полно такой гармонии! Как прекрасна весна в саду в Хомутце во время цветения плодовых деревьев! Но эти радости души требуют участия другого существа—и когда привык жить в другом и когда его уже нет. Господи, возьми меня скорее к себе—ведь так жить, значит умирать каждый день. Мой дорогой отец потерял больше, чем я, потому что он достойнее меня. Мой добрый, мой превосходный отец!

7 февраля, 10 февраля, 29 февраля, 3 марта.

Среди вещей, присланных мне отцом, наибольшее удовольствие доставили мне карманные носовые платки. Я помню их у отца.

Как бы я был счастлив умереть вблизи своих, окруженный друзьями! Я не боялся бы смерти, ибо я всегда уповал на бога. Душа моя будет с ними, ибо она их любила.

Я всегда завидовал смерти Сократа<sup>197</sup>; я убежден, что в последнее мгновение душа начинает постигать то, что раньше было от нее сокрыто.

Когда находишься между возможностью сохранить жизнь и позором, то это напоминает, что надо собраться в путь,—даже для тех, кто нас все еще любит. Капля воды в конце концов пробивает гранит, ливень<sup>198</sup>... Близ Хорола, в Хомутце, там, где разветвляется дорога из Хомутца в Бакумовку и Обуховку, есть источник; по малороссийскому обычаю здесь стоит деревянный крест. Возвращаясь<sup>199</sup>, я отдыхал у креста, и там бы я хотел быть похороненным.

Я дорожу воспоминаниями о своих. Но по воле судьбы я родился и умер в Петербурге<sup>200</sup>. Я убежден, что мои дорогие Екатерина, Анна, Елена не забудут меня. Для Дуняши, Лизаньки<sup>201</sup> и для самого Васиньки я буду лишь воспоминанием детства.

Завещаю своему брату Василию это Евангелие, которым я обязан моей доброй матери и которое было мне утешением в последние мгновения моей жизни. Прошу его вспоминать обо мне каждый раз, что он заглянет в него. Пусть он также говорит иногда о своих братьях с нашим добрым дорогим отцом и с моей дорогой матерью. Мне жаль, что я оставляю жизнь и не увижу своего брата Василия взрослым, а также не заслужу его расположения своим дружеским отношением. Прощай, мой дорогой Васинька! Будь счастлив и будь хорошим сыном!

1826. В Петропавловской крепости.

Единственное благо побежденных — не надеяться ни на какое спасение.

Я получил это Евангелие 20 января 1826 г. в Петропавловской крепости.

Чтение этой божественной книги пролило благодетельный бальзам на раны моего сердца. Только в горести наша святая религия предстает во всей своей красоте. Поняв все — а это свойство Божества, — делаешься снисходительным; только посредственность не умеет ни сострадать, ни прощать.

Матвей Муравьев-Апостол 1826 года.

Васиньке от его друга Матюши 15 марта 1826.

Приидите, благословения отца моего, наследуйте уготованно вам царствие от сложения мира — наг и одеяте мя; болен и посетите меня; в темнице бех и придосте ко мне. От Матфея 25—34, 36.

Брат Ипполит скончался 3 января 1826 г., в воскресенье, в три часа пополудни в деревне Трилесов Киевской губернии.

Брат Матюша<sup>202</sup> марта<sup>203</sup>. 1826 г. в<sup>204</sup>.

Брат ...<sup>205</sup>

## В СИБИРИ<sup>206</sup>

1 октября 1827 г. я выехал из Форта Славы<sup>207</sup>. Меня привезли в Шлиссельбургскую крепость; на другой день из каземата отвезли на гауптвахту, где уже был Ал[ександр] Бестужев (Марлинский).

Солдаты возились с кандалами, которые, мы предполагали, были приготовлены для нас, но вскоре показался комендант, объявивший нам обоим высочайшую милость, по которой избавляемся от работ и поступим прямо на поселение в Сибири. На Тихвинской станции ждал нас Корсаков<sup>208</sup> (масон), находившийся на службе при министре кн. Александре Ник[олаевиче] Голицыне<sup>209</sup> и которого я встречал иногда в доме графини Чернышевой<sup>210</sup>. Он упросил меня принять в виде ссуды 600 руб. на путевые издержки. Живое соболезнование его о постигшей нас участи глубоко тронуло меня, я чувствовал, что отказом я бы его оскорбил, к тому же ни я, ни спутник мой Бестужев не имели с собою вовсе денег.

Оказанную нам тогда услугу свято храню я в памяти по сию пору. Таких добрых людей немного, о них с радостью вспоминаем. Сестра моя Екатерина Ивановна Бибикова обнадежена была от имени государя обещанием свидеться со мною перед отправкой моей в Сибирь. Если бы ей дали возможность проститься со мной, не пришлось бы нам нуждаться в посторонней помощи.

Фельдъегерь вез нас через Ярославль, Вятку, Пермь и Екатеринбург. Тут остановились мы у почтмейстера, принявшего нас с особенным радушием. После краткого отдыха в зале открылись настежь двери в столовую, где роскошно накрыт был обеденный стол. Собралось все семейство хозяина, и мы после двух лет тяжкого и скорбного заточения, отвыкшие уже от всех удобств жизни и усталые от томительной дороги, очутились нежданно-негаданно среди гостеприимных хозяев, осыпавших нас ласками и угощавших с непритворным радушием. Осушались бокалы за наше здоровье, и хотя положение наше не предвещало нам радостей, но тронутые нежданным участием добрых людей, вовсе нам чуждых, мы забыли на час свое горе и от всей души заявили признательность свою за необъяснимое для нас радушие приема. Фельдъегерь, довезший нас до Тобольска и доложивший губернатору о нашем приезде, отправился обратно в Петербург просить нового назначения.

По распоряжению губернатора нас поместили на квартире полицеймейстера Алексева. Губернатор оказался известный писатель, мой давнишний знакомый, Дмитрий Ник[олаевич] Бантыш-Каменский, бывший правителем канцелярии у князя Репнина, при котором я четыре года состоял адъютантом. Он обошелся со мной так же дружески, как и в былое время, заставляя меня тем забыть о грустном моем положении; беседовал со мною откровенно и без всякой натяжки, но, вероятно, не желая меня огорчить, скрыл от меня назначенное мне место ссылки, и точно, Вилуйск, куда закинула меня судьба в лице петербургских распорядителей, помещается на краю света.

Любезности губернатора был я обязан снятием с меня каким-то местным живописцем портрета для доставления в Москву к сестре моей. Знавшие меня с давних пор губернаторские сестры Анна и Екатерина Николаевны, из которых первая была очень дружна с княгиней Репниной, часто заходили к полицеймейстеру Алексеву для свидания со мной. Погостивши в Тобольске около трех недель, пустились мы далее к востоку в сопровождении уже не фельдъегеря, а квартального из местной полиции. В Красноярске представились губернатору, известному автору романа «Семейство Холмских»<sup>211</sup>, у которого встретили весьма доброжелательный прием.

По дороге из Тобольска нас все время смущало неисполненное желание догнать ехавших перед нами товарищей наших, в числе коих находились двое братьев Бестужевых — Николай и Михаил<sup>212</sup>. Нетерпение Марлинского видаться с ними оборвалось на мне. Наш официальный спутник, приняв в соображение особое ко мне расположение тобольского

губернатора, обращался почтительно ко мне на всякой станции с вопросом: желаю ли я отдохнуть или приказать закладывать лошадей? Из этого Ал[ександр] Бестужев заключил, что от меня бы зависело уговаривать квартального доставить нам возможность повидаться с братьями; но, узнав от нашего пестуна, что ему строжайше предписано не съезжаться на станциях с опередившим нас поездом, и жалея его, я не решился вводить его во искушение. Разногласие это не раз возбуждало между нами горячие прения, не расстроившие, впрочем, нисколько наших дружеских отношений. При его впечатлительности и страстной натуре Ал[ександр] Бестужев одарен был любящим сердцем, с редкою уживчивостью.

За несколько станций до Иркутска случился эпизод, характеризующий существо отношения между населением и мелкими чиновниками. Известный по всей губернии богатый крестьянин Анкундинов содержал лошадей на нескольких почтовых станциях. Вздумалось нашему квартальному ударить одного из ямщиков; узнал об этом Анкундинов, ростом и дородством суший богатырь, вступился за своего рабочего и, осыпая упреками блюстителя порядка, оспаривал у него право дать волю рукам и не стесняясь высказал ему, что не будь этих господ,—указывая на нас,—с которыми он едет, расправился бы с ним по-своему; квартальный смиренно выслушал нравоучение, и тем дело кончилось без всяких последствий.

В конце ноября мы прибыли в Иркутск поздно вечером и остановились у крыльца губернаторского дома, где нас обьяло звуками бального оркестра. Мы тут долго ожидали распоряжения начальника губернии, наконец, выскочил на крыльцо какой-то вспотевший от танцев чиновник и приказал вести нас в острог. Отворились двери внутреннего арестантского помещения, и я, не переступая порога, успел только заметить, что там нас ждут Алексей Петрович Юшневский и Спиридов<sup>213</sup>, как вдруг чувствую, что меня кто-то обнял и лобызает; это был не кто иной, как часовой, стоявший с ружьем у дверей. Я признал в нем рядового Андреева, переведенного из старого Семеновского полка на службу в Сибирь вследствие разгрома, постигшего этот славный полк. Не раз случалось мне, как расскажу после, испытать на деле всю привязанность солдат к своим прежним офицерам.

Не без утешения бывает и самая горькая доля. На другой день подоспели к нам двое Бестужевых, Николай и Михаил, Ив[ан] Дм[итриевич] Якушкин, Антон Петрович Арбузов и Ал[ександр] Ив[анович] Тютчев.

Пожаловал к нам губернатор и после краткого известия извинился перед Ал[ександром] Бестужевым и мною, что нас по ошибке заключили в острог, на том основании, что мы избавлены от работ, и, хотя мы просили его не разлучать нас с товарищами, он, ссылаясь на какой-то закон, приказал поместить нас на квартиру. Горько показалось нам неуместное смягчение участи нашей.

Мы узнали от Цейдлера<sup>214</sup>, что Над[ежда] Ник[олаевна] Шереметева<sup>215</sup>



писала к нему, прося известить о ее прибытии Ив[ана] Дм[итриевича] Якушкина в Иркутск.

После трехдневного пребывания в Иркутске мы с Ал[ександром] Бестужевым отправились в сопровождении молодого казачьего урядника к месту своего назначения. Первый городок, встреченный нами в пути, был Киренск при устье Кирени, впадающей в Лену; тут виделись с Валерианом Голицыным и артиллеристом Веденяпиным, незадолго до того водворившимся в нем.

Дальше по Лене проехали через Витим, где поселены были М. А. Назимов и Ник[олай] Фед[орович] Заикин; за этим городком по Лене следует город Олекминск, куда сосланы были Андреев<sup>216</sup> и Чижев Ал[ександр] Ник[олаевич], мичман.

24-го декабря, накануне Рождества, наконец добрались до областного города Якутска, где пришлось мне расстаться с дорогим спутником моим Ал[ександром] Бестужевым, которому Якутск назначен местом заточения. Только тут узнал я, что ссылаюсь в Вилюйск.

До 6-го января пробыл я с Ал[ександром] Бестужевым, а в день Крещения сели мы верхом с урядником на почтовых лошадей и отправились в путь далее к северо-западу.

Из Якутска выехали во время крестного хода на Иордань и, проехавши с лишком 700-верстное расстояние, добрались до Вилюйска на берегу реки Вилюя, значительного притока реки Лены. Путешествие это верхом, при расстоянии между станциями 90—100 верст, к удивлению моему, вынес бодро и без утомления. Может быть, способствовало тому покойное английское седло, принадлежавшее областному начальнику г. Мягкову, который был так обязателен, что не только предложил мне воспользоваться его седлом до Вилюйска, но и разрешил служившему у него молодому чиновнику, брату вилюйского комиссара, сопутствовать мне до места назначения для свидания с братом. Он же позаботился снарядить меня надлежащим костюмом на заячем меху с ног до головы против сильного мороза, с коим предстояла мне отчаянная борьба. Въехали в Вилюйск в первом часу ночи и явились к комиссару Михайлову, должность и власть которого те же, что и у наших исправников. Для наблюдения за порядком вверенного ему обширного края ему приходилось беспрестанно объезжать огромные пространства, тем более что подвластные ему якуты живут отдельными семьями, разбросанными на огромном расстоянии.

Вилюйск нельзя было назвать ни городом, ни селом, ни деревней; была, впрочем, деревянная двухэтажная церковь, кругом которой расставлены в беспорядке и на большом расстоянии друг от друга якутские юрты и всего четыре деревянные небольшие дома, в которых помещались комиссар Михайлов, местный врач г. Уклонский, купец, торгующий мехами, и приказчик его. Пришлось мне поместиться временно у последнего, пока не купил себе юрты у тамошнего хорунжего, выпросившего с меня 300 р. ассиг. Юрты эти—четыреугольные строения из

крупных лиственных бревен, крыша деревянная, пол дощатый и образует двухсаженный квадрат; в моей юрте пристроены были небольшие сени. Осенью, до наступления морозов, стены снаружи обмазываются густым слоем глины, смешанной с пометом, а в начале зимы обкладываются снегом на сажень высоты. В чувале, как зовется безобразный татарский камин, дрова горят целый день, и над крышею выведена дымовая труба, которая закрывается снаружи на ночь. Отверстие для пяти окон в моей юрте закладывается льдинами. Устройство это так разумно приспособлено к суровому климату той северной широты, что в своей юрте я не ощущал холода в самые жестокие морозы, тогда как жившие в вышеупомянутых домах жаловались на стужу. Зимой день так короток и ледяные окна доставляют такой тусклый свет, что по необходимости приходится весь день сидеть со свечкой. Летом льдины заменяются рамами со стеклами.

Там проживал столяр, пробывший несколько лет в каторге и отпущенный по ненадобности к работе в «пропитанные», как принято называть тех, которым предоставляют право передвижения для приискания себе способов жизни. Он, как сказывал мне, имел несчастье в пьяном виде и в порыве гнева нанести жене своей удар, от которого последовала ее смерть. Он был силы необыкновенной и без слез не мог вспоминать о своей любимой жене. Не раз за побег из тюрьмы был наказан плетью, но в ту пору вел себя безукоризненно и в горькой своей доле никого не укорял, кроме самого себя; был замечательно честен и бескорыстен, в чем я убедился, расплачиваясь с ним за заказанные ему рамы к окнам, кровать, стол и стулья. В доказательство его нравственных достоинств мне сообщили следующее. Находился он несколько лет в услужении у якутского чиновника, который, вышел в отставку, умер, оставя сына-сироту, и к тому же идиота. Отец, умирая, поручил сына попечению слуги своего, назначив его опекуном над оставшимся имуществом. Он с этим несчастным идиотом жил в одной юрте комиссара Михайлова, бывшего вечно в разъездах.

Я редко сего последнего видел, но по отношению ко мне и по отзывам жителей я с удовольствием признал в нем порядочного человека. Его при мне еще перевели на должность казначея и Олекминск, о чем сильно горевали якуты, собиравшиеся подать просьбу о том, чтобы оставили у них «Мишу»\*. Тотчас по прибытии моем он вручил мне 1000 р., доставленные по почте из Иркутска, куда сестрой моей отправлены были из Москвы. Почта приходила к нам лишь каждые два месяца. Из Якутска в Вилюйск почтовую сумку возили верховые казаки, находящиеся в команде у комиссара и по очереди дежурившие у него. Вот по какому случаю я познакомился с казаком Жирковым: по приезде в Вилюйск, ночью, ступивши за порог комиссарского дома, я впотьмах оступился и чуть было не упал. Оказалось, что у самого порога лежал 16-ти лет мальчик,

---

\* Так называли якуты комиссара.

сын дежурившего казака; тут я упрекнул его в беспечности к сыну, но сожаление, выраженное мною к незавидному положению этого мальчика, тронуло отца его, Жиркова, который с тех пор оказывал мне всевозможные услуги; он таскал мне дрова и воду, закупал мясо, жене отдавал стирать мое белье и на ночь лазил на крышу закрывать трубу чувала; в этом чувале я сам готовил себе суп, а о жареной говядине и дичи заботилась для меня жена Жиркова.

Не нуждаясь в собеседниках, я легко свыкся с одинокою жизнью в своей юрте. Были у меня книги, и я занялся изучением английского языка. Разрешенная мне переписка с родными была для меня большим утешением.

Во всякую погоду выходил я ежедневно пройтись по воздуху не для удовольствия, а из опасения лишиться вовсе способности передвижения. Воротившись раз с своей гигиенической прогулки, застал у себя неожиданных гостей: три якута, скрестивши ноги, сидели на полу и грелись у чувала; они не обратили на меня никакого внимания. Как ни странно показалось мне такое бесцеремонное посещение, я счел долгом выказать свое гостеприимство и отрезал им по большому ломтю ржаного хлеба, до которого они очень лакомы. За мое угощение они даже и головой не кивнули, преспокойно, не торопясь, съели хлеб, не проронив ни крошки, и потом вышли из юрты, не удостоивши меня не только легким поклоном, но даже и взглядом, как будто кроме них никого в юрте не было. Хотя и забавным показалось мне обращение со мною этих дикарей, но я вывел из него заключение в их пользу. Они без спросу вошли в юрту погреться; потому что сами не воспретили бы никому воспользоваться их чувалом; за хлеб не благодарили, полагая, что я угощением этим подчиняюсь вошедшему в силу закона обычаю, а поклона не отвесили мне, не бывши со мною знакомы. Такое игнорирование принятых у нас правил общежития, избличая первобытную простоту нравов, окупается вполне редкими качествами: они крайне правдивы и честны, лукавства в них нет и воровства они не знают. В моем отсутствии они даже из любопытства ни к чему не прикоснулись.

Когда стало показываться весеннее солнышко, отсутствующее всю зиму, и под лучами его стал с изумительной быстротой в конце мая таять снег, я несказанно порадовался близкому возвращению теплых дней; хотя и предупредили меня, что летом комары одолевают, но я, уже давно знакомый с ними, нисколько этим не опечалился. Наступило наконец лето, и пришлось мне убедиться, что это настоящий бич, уподобить который можно лишь с египетскими язвами при фараоне. Страсть моя к купанью в реке заставила меня пренебречь всеми благими предостережениями; я пустился на отчаянный подвиг и в борьбе с насекомыми признал себя побежденным; не только что о купании и думать не приходилось, но даже из юрты нелзя было носа показать. Целые тучи комаров огромного размера облипают вас с ожесточением. Якуты надевают от них маски, плетенные из конских грив. В юрте от них спасаются посредством дыма от

навоза. Ставится корчага с углями, в нее всыпают кусками высушенную глину с пометом, которым осенью обмазывают снаружи юрту. Курение это, далеко не благовонное, не прекращается ни днем, ни ночью, благо чувал служит вентилятором, без которого пришлось бы задохнуться от дыма. Изобилие насекомых легко объясняется самым местоположением Вилюйска.

В нескольких саженьях от реки на невысоком холме, недоступном разливу внешней воды, возвышается церковь посреди нескольких десятков юрт, с придачей четырех скромных домиков; кругом бор с одними хвойными деревьями и болотистой почвой. По ту сторону реки опять бор непроходимый. Полей не видать, хлеба не сеют, овощей не разводят по той простой причине, что лето, хотя и нестерпимо знойное, продолжается не более шести недель. Поспевают лишь в изобилии ягоды в лесу: малина, смородина, морошка, которые приносили мне труженики якуты, и трава, растущая в прогалинах и доставляющая запас сена на всю зиму для нескольких коров. У меня была своя корова, которую Жирков помещал в своей юрте. Я отважился садить картофель, и попытка моя увенчалась полным успехом. Вздумал я посеять и просо, быстрый всход которого меня порадовал, но мороз не дал ему доспеть. Отсутствие всяких овощей доставляет ощутительное лишение и недостаточно вознаграждается изобилием дичи и рыбы. Областной начальник Мягков был так добр, что прислал мне в виде лакомства огромного размера туяз, по-нашему бурак, из березовой коры, с замороженными щами. Вид давно забытой капусты напомнил мне родину и былое время.

Высказанные мною неприглядные условия местности, находящейся по календарю на 63°—65° северной широты, заставляют заключить, что Вилюйск существует единственно в виду сбора ясака и добывания купцами пушного товара у якутов. Когда истощится эта отрасль промышленности, Вилюйск должен опустеть, как мало способный к оседлой жизни. Много лет после того прочел я в газетах, что близ Вилюйска открыты золотые прииски, вследствие чего он должен был во многом измениться, а приезд туда рабочих поселенцев несомненно вредно повлиял на нравы дикарей. Постройка церкви свидетельствует о благом намерении обратить дикарей в христианскую веру. Но сколько я мог заметить, мало в том успели, хотя при храме находятся три священника. Якуты соблюдают некоторые обряды, сохраняя при том заветное суеверие предков. Церковь была построена в царствование императрицы Екатерины. Приставленные к ней три священника мало пеклись об исполнении своего миссионерского призвания. Разъезжали они верхом по далеко раскинутой пастве и возвращались с собранными у якутов ценными мехами, составляющими весь их доход и единственный способ пропитания.

Пришлось мне с нетерпением ожидать конца лета и от души порадоваться наступлению холодных утренников, предвещающих возвращение вожделенной зимы. Простой народ называет Сибирь студеным, ледяным краем, ради его жестоких морозов, но кто пожил на крайнем

севере, тот благословляет этот спасительный мороз, доставляющий ему продолжительный отдых после мучительного лета.

Кроме постоянных моих занятий: чтения, изучения английского языка и письменной корреспонденции с родными и с товарищами я, в виде развлечения, могущего принести пользу и другим, выдумал учить детей грамоте. Ко мне стали ходить двое мальчиков: сын тамошнего приказчика и внук одного из священников, родители коих обрадовались предложению моему учить их детей.

По неимению в этой глуши часов пришлось придумать забавный способ для определения классного времени. Я над своей юртой выкидывал флаг, служивший знаком, что я жду своих учеников, и они на этот немой зов немедленно являлись с своей книгой.

Из числа тамошних моих знакомых не могу не вспомнить о местном враче Уклонском, воспитаннике Московского университета, выпущенном с золотой медалью. Он кроме латинского языка знал и французский, а потому мог пользоваться находившимися у меня французскими книгами. Русская же литература тогда вследствие непомерной цензурной строгости неспособна была удовлетворить любопытства мыслящего человека. Жалко было положение этого образованного и способного врача, брошенного в эту глушь, не имевшего при себе ни аптеки, ни фельдшера в помощники, не имевшего возможности приложить к делу приобретенные им знания. Да хотя бы и доставлены ему были надлежащие способы к врачеванию, пришлось бы ему несколько сот верст объехать верхом, чтобы навестить больного. Скука и праздность снесли его и заставили его прибегнуть к обычному у нас способу утешения: он пристрастился к вину до такой степени, что порой был неузнаваем. Зашед раз к нему, я ужаснулся, застав его в бессознательном состоянии, и признаюсь, понимая его безвыходное положение, не стало бы духа осудить его. Он возбуждал лишь глубокую жалость во всех, кто его знал и способен был оценить его добрые качества. Я, впоследствии живя в Ялуторовске, с удовольствием слышал, что он был переведен в Иркутск и получил место соответственного его познаниям и искусству.

Раз зашел ко мне наш комиссар. Я заметил, что он имеет мне что-то сообщить, а между тем не высказывается. Вследствие настоятельной просьбы моей не скрывать от меня полученной им вести он предупредил меня, что дошедший до него слух несомненно встревожит и огорчит меня. Ему писали из Якутска, что в Иркутске пронесся слух, будто товарищи мои, заключенные в Читинской тюрьме, силою вырвались из острога и бежали. Само собою разумеется, до какой степени смутил и огорчил меня его рассказ. Вспомнив о задушевных друзьях и близких моих родственниках, находившихся в числе читинских узников, я впал в несказанную тоску. Хотя я и силился успокоить себя тем, что слухи эти ложны и преувеличены, но, с другой стороны, приняв в соображение тяжелую участь, постигшую людей в том возрасте, когда кипят страсти, чувствуется избыток сил душевных и самое отчаянное предприятие кажется

осуществимым, я приходил к горькому заключению, что в этих слухах есть и доля правды. Благодаря бога недолго длилось мучение и скорбь моя. Вскоре узнали, что поводом к этим слухам послужила весть о случившемся в Нерчинских рудниках покушении каторжных к побегу и вооруженному восстанию. Во главе предприятия находился Сухинов, разжалованный офицер Черниговского полка. Цель была добраться до Читы и освободить заключенных там политических узников. Заговор был открыт, и Сухинов, приговоренный судом к смертной казни, повесился в тюрьме.

По вскрытии реки несколько оживлялся пустынный Вилуйск: к берегу пристают расшивы (огромного размера барки с одной мачтой), нагруженные мукой, солью и вином. Расшивы эти строятся в селе Качуге на Лене, в 200 верстах от Иркутска\*, спускаются по Лене до Якутска, снабжая провиантом находящиеся на пути города, тянутся потом вверх бичевою до Вилуйска, крайнего пункта их плавания. Прибытие этих расшив немало меня порадовало. Они доставили мне из Якутска отправленные по моей просьбе Алекс[андром] Бестужевым все съестные припасы и домашнюю посуду, лишение коих во всю зиму было для меня очень чувствительно.

Раз зашел ко мне в юрту высокий и красивый мужчина, приветствуя меня громким возгласом:

— Здравия желаю, ваше высокородие!

Это был разжалованный унтер-офицер лейб-егерского полка. В бытность мою в Петербурге случился побег арестантов посредством подкопа в губернское управление, где они содержались. Представившийся мне поселенец находился тогда в карауле и в числе других судим был за оплошность и сослан в Сибирь. Прибыв к нам на расшиве, он счел долгом навестить бывшего офицера Семеновского полка, вспомнив, что я бывал у знакомых мне офицеров в их казармах. Этот заслуженный воин был в строю и участвовал в войнах 1812, 1813 и 1814 гг.

В конце зимы якуты пригоняют оленей для продажи. Тут раскупают их и доставляют всюду, где ездят на оленях. В Якутске больше употребляется езда на собаках, для которой в каждом дворе держат целые стаи. Проведши там несколько дней, я слышал по ночам наводящий тоску вой их, выражающий жалобу на жестокий мороз и голод. Кормят их сушеной рыбой, которая там нипочем: не только Лена, но и Вилуй изобилуют лучшею рыбою. Ловятся осетра, стерляди, налимы и сиги — на якутском языке мегас.

Надеясь покинуть рано или поздно неприглядный Вилуйск, я вздумал

---

\* В этом селе случилось впоследствии несчастье, поразившее всех. В нем находился на поселении товарищ наш Репин, бывший гв. Финляндского полка капитан. Андреева из Олекминска вез хорунжий в Иркутск. На пути Андреев ночевал у Репина. Ночью вспыхнул пожар в доме, в котором оба и сгорели. Наряженное следствие ничего не открыло: был ли пожар следствием неосторожности или поджога. Мир праху вашему, бедные товарищи, безвременно почившие мученическою смертью!

воспользоваться пребыванием моим в этой глуши, чтобы принести ему какую-нибудь пользу. Прилегающее к селу кладбище не было огорожено и поэтому доступно нашествию не только домашних животных, но и хищных зверей, скрывающихся в окрестном бору. На этот предмет я предложил жителям составить подписку, и общими силами нам удалось построить прочную бревенчатую ограду.

В 1829 г., в марте месяце, поразило меня неожиданное появление в моей юрте лейтенанта норвежского флота Дуэ, приветствовавшего меня на французском языке в этой страшной глуши. Я, беседуя мысленно с сестрою, на письмо которой отвечал, слышал, что кто-то вошел в юрту, но не обернулся, чтобы взглянуть на вошедшего. Вдруг слышу за спиной у себя: «M-г Mouravieff, il y a longtemps que j'ai faim et soif de vous voir» [Господин Муравьев, я уже давно жажду вас видеть (*фр.*)—*Сост.*]. С первых слов его я признал в нем образованного человека и порадовался случаю побеседовать с умным европейцем и узнать от него о том, что делается на белом свете. Вот какими судьбами очутился он в Вилуйске.

Снаряжена была норвежским правительством ученая кругосветная экспедиция, которая, пробравшись из Петербурга через всю Сибирь до Иркутска, поручила лейтенанту Дуэ спуститься по Лене к северу для определения точного пункта магнитного полюса и, оставив его в Сибири, сама доехала до Охотска, откуда морем, пробороздивши два океана, Тихий и Атлантический, воротилась восвояси. Дуэ пробыл три дня в Вилуйске, и эти дни мы почти что безразлично провели вместе. Он дивился стряпне моей и моему кулинарному искусству. Я ему обязан представившимся случаем ознакомиться с тамошним шаманством. Он снабжен был открытым листом, в коем предписывалось всем местным властям оказывать ему всякую помощь и исполнять его требования. Наслышавшись о шаманах, он желал бы видеть хотя бы одного, но совестился беспокоить меня, призвавши его в мою юрту. Я просил его распоряжаться моей юртой как бы собственной. Случай видеть шамана представился очень легко: новый комиссар, заменивший Михайлова, в угождение Дуэ велел привести в Вилуйск знаменитого в округе чудесника. Надо заметить, что появление шамана в Вилуйске считалось небывалым происшествием, потому что им строго воспрещено показываться там, где есть церковь.

Его сопровождала толпа нескольких десятков якутов, оберегающих его от всякой беды. Вечером впустили его в мою юрту и с ним несколько якутов. Он сел на пол, поджавши ноги, и надел на себя род тюники, сплетенной из сыромятных ремней и обвешанной разными побрякушками, которые при всяком его движении трещали и звенели. Тюника эта, с узкими рукавами, в обтяжку, плотно облегала к телу, так что он ничего не мог скрыть под нею. Длинную косу свою он распустил вдоль плеч и, ударяя палкой в большие бубны, стал вызывать разных духов, приставленных кто к воздуху, кто к водам, кто к лесам (казак Жирков, говоривший по-якутски, объяснял нам все, что сказывал шаман), потом принялся он стонать и жаловаться, что медведь грызет его внутренности.

Не переставая колотить в бубны, усиливая и учащая удары, он стал метаться во все стороны, а по мере усиливающегося страдания голова его с поднятыми вверх волосами начала кружить над шеею с возраставшею быстротою, доведившею его до какого-то исступления. Потом как бы вследствие невыносимой боли он поднялся и стал ходить по юрте, жалобно стень. Вдруг показалась выступающая у него изо рта настоящая мохнатая медвежья лапа, которая сжималась, будто придавливая что-то когтями, и наконец исчезла из глаз мгновенно. Широкая эта лапа, чтобы выйти наружу, до безобразия растягивала ему рот. Тем и кончилось представление. Появление изо рта этой движущейся лапы и быстрое ее исчезновение ничем не могли мы объяснить, и не разделяя мнения тех, которые приписывают этого рода явления присутствию злого духа, мы должны были признать в этом шамане искуснейшего из фокусников.

Упомянув о моих зимних прогулках, я забыл рассказать о случившемся раз со мною. В шагах тридцати от меня завидел я якута, не двигавшегося с места, но указывавшего мне рукою на поставленный на дороге берестовый бурак, по-сибирскому туяк. Я никак не мог догадаться, чего хочет от меня якут с обращенной ко мне мимикой. Немало удивился я и пожалел о бедном якуте, когда узнал потом, что он одержим проказой и что, не смея даже приближаться к людям, в почтительном расстоянии от них умоляет их покормить его. И всякий по усердию своему и по достатку спускает в этот туяк кто молоко, кто похлебку, кто кашицу или рыбу, а кто и черный хлеб, составляющий там предмет роскоши. Тяжело, грустно подумать об отчаянном положении подобного отверженца из общества людей, и невольно укоришь себя в том, что жалуешься на судьбу свою, забывая о многих бездольных горемыках. Появление проказы между якутами объясняется всеми условиями их быта: и климат, и нищета, и отсутствие всяких гигиенических понятий способствуют к развитию кожных болезней, превращающихся в этот страшный недуг при более слабом организме. Они не знают ни белья, ни бани, и шуба их прикасается к голому телу. Я узнал, что не один, а несколько человек страдают проказой и прозябают, скученные в одной юрте.

Жирков, как было сказано выше, держал корову мою у себя в юрте, но в случае перевода его по службе куда-либо в другое место корова моя лишилась бы приюта, во избежание чего придумал я запастись другой юртой, в которой поместилось бы якутское семейство с обязательством ухода за скотиной и содержания ее в той же юрте, как вообще у тех из них, у которых есть домашний скот. Начал я строить другую юрту. Работа подвигалась медленно, так что по истечении нескольких дней я узнал, что и ямы для постановки столбов не выкопаны. Вздумалось сходить посмотреть, чем занимаются мои землекопы, и я убедился, что они нисколько не виноваты в замедлении постройки. Земля оттаивает летом лишь на несколько вершков, глубже того грунт никогда не отмерзает, так что им приходилось киркою и топором откалывать землю, уподобившуюся камню. По случаю этой постройки я неожиданно наткнул-



ся на редкую находку. Якуты, копавшие землю для постановки столбов, отрыли челюсть мамонтовой телушки, как они выражались, величиною по крайней мере в полтора аршина. Мне вздумалось предложить ее Дуэ, который с радостью принял этот подарок, намереваясь поместить его в музей норвежской столицы в память поездки его в сибирские тундры и упомянуть притом о случае, доставившем ему такую ископаемую редкость, а также о лице, пожертвовавшем ему эту находку.

Заметив, какую Дуэ придает ценность всему, что придется ему вывезти к себе в Норвегию из дальней дикой Сибири, я отдал ему парку (так назыв[аемый] самоедский костюм), пожертвованную мне тобольским губернатором Бантыш-Каменским. Этот самоедский костюм состоит из двух шуб, сшитых из оленьего меха; особенность верхней шубы состоит в том, что шапка и рукавицы с шубой составляют одно целое. К этому придал я еще целый мешок сердоликов, собранных мною во время моих прогулок по берегу Вилюя. Некоторые из них были замечательной величины. Река во время разлива выбрасывает их на берег. Подарки мои привели его в восторг, и он не мог надивиться моей щедрости. Я тут же сообщил ему к сведению о существующем в нескольких верстах от Вилюйска соляном источнике. Весной и в начале зимы струя соленой воды образует бьющий из земли фонтан в несколько футов высоты, из которой добывается превосходного качества горная соль. К источнику приставлен караул, оберегающий казенную собственность.

Пришлось мне расстаться с приятным собеседником, о пребывании которого в Вилюйске я всегда с удовольствием вспоминаю. Судя по письму Дуэ из Якутска в мае месяце, я убедился в живом и дружеском участии, какое он принимал в моей судьбе, равно и всех моих товарищей, поселенных вдоль по Лене, с которыми он успел сблизиться. Бестужев, Андреев, Веденяпин, Чижов, Назимов, Загорецкий, Заикин—все его полюбили, а последний, бывший хорошим математиком, по просьбе его взялся проверить сделанные им астрономические исчисления. Он радовался о предстоящем моем переезде в Бухтарминск, первое уведомление о котором я получил от Алекс[андра] Бестужева, надеясь свидеться со мною еще в Сибири, в чем он не ошибся. Я по пути встретил его в Иркутске и потом в Красноярске. В этом письме он сообщает мне следующие выведенные им числовые данные, которые я записал. Широта Вилюйска равняется  $63^{\circ}45'22,5$ . Отклонение магнитной стрелки к востоку  $0^{\circ}7'5$ . Наклонение  $76^{\circ}45'9$ .

Приняв исчисление степени магнитной силы в Якутске 1,689, Дуэ выводил ее для Вилюйска 1,759.

Доехав до Олекминска и желая доставить развлечение товарищу нашему Андрееву, Дуэ пригласил его совершить вместе с ним поездку вдоль берега Олекмы, где, между прочим, находятся значительные залежи слюды, употребляемой на севере вместо стекол в оконных рамах. Об этой экскурсии уведомил меня письмом несчастный Андреев, о плачевной кончине коего упомянуто выше.

Поводом к назначению пограничного города Бухтарминска новым для меня местопребыванием был следующий сообщенный мне случай. Сестра моя Ек[атерина] Ив[ановна] Бибикова, встретившая случайно у графини Лаваль<sup>217</sup> М. М. Сперанского, известного учредителя сибирского управления, и заговорив с ним о Сибири, услышала от него такое увлекательное описание климата и местности Бухтарминска, что решила подать на высоч[айшее] имя прошение о переводе меня в этот город, хотя я, переписываясь с нею, не раз упрасивал ее не беспокоить никого просьбами о переводе меня в другое место. Я как-то свыкся с своим положением, так что и уединение мое было мне не в тягость, и притом я считал благоразумным не напоминать правительству о себе. Но сестра, осведомляясь о моем житье-бытье, не могла вынести мысли, что в продолжение всей зимы окна в моей юрте заменялись льдинами; она из этого одного заключила, что положение мое должно быть невыносимо, и сочла своею обязанностью вырвать меня оттуда даже против моего желания. Я знал, что Чернышев<sup>218</sup> и Ал[ександр] Бестужев давно уже просили дозволения вступить на службу рядовыми в кавказскую армию. Наконец пришло о том разрешение, и Чернышев уехал первый, а накануне моего прибытия в Якутск увезли и Бестужева.

Как только сообщил мне местный комиссар о полученном им предписании отправить меня в Иркутск, я наскоро уложил в чемодан белье, платье и книги; юрту со всею хозяйскою утварью, равно как и корову, предоставил в полную собственность казака Жиркова; выстроенную же мною юрту отдал прокаженным, нуждающимся в более просторном помещении. Распоряжение это я совершил законным порядком, подписав о том объявление в комиссаровской канцелярии. Копия с моей дарственной записи вручена была Жиркову, заявления восторга и признательности которого много меня порадовали.

В первых числах июня, сколько помнится, в сопровождении наряженного ко мне казака пустился я верхом по дороге в Якутск. Услужливый и преданный мне Жирков счел долгом проводить меня до первой станции. Подъезжая к Якутску 11 июня, доехали мы до какого-то озера, простирающегося на 7 верст. Не видя на нем лодки и узнав от казака, что объехать озеро нам нельзя, я не мог понять, как мы верхом пустимся в воду, и тут узнал от него, что под водою, всего в два вершка глубиною, лед продержится все лето, и так крепок, что хоть пушку по нему вези. Доехавши до Якутска, я с прискорбием узнал, что нетерпеливо ждавший меня А. Бестужев выехал накануне с урядником, присланным за ним. Пришлось мне для отдыха пробыть два дня в этом жалком городке, в котором, к сожалению, никого знакомых не имел. Прежний областной начальник Мягков, который в 1827 г. был так обязателен и внимателен ко мне, перемещен был на другую должность.

От нечего делать я вздумал ознакомиться с местностью и зашел в монастырскую ограду, где кладбище прилегало к церкви, и заметил на одной гробнице надпись в несколько строк. Я прочел эту надгроб-

ную эпитафию, и стихи мне так понравились, что я тут же их списал. Стихи, написанные, как я впоследствии узнал, А. Бестужевым, помещаю здесь:

Неумолимая холодная могила  
Здесь седины отца и сына цвет сокрыла.  
Один под вечер дней, другой в полудни лет  
К пределам вечности нашли незримый свет.  
Счастливы! Здесь и там не знали вы разлуки,  
Не знали пережить родных тяжелой муки.  
Любовью родственной горевшие сердца  
Покой вкусили вдруг для общего венца.  
Мы плачем, но вдали утешный голос веет,  
Под горестной слезой зерно спасенья спеет.  
И все мы свидимся в объятиях Творца.

Якутск, 1828 года. Скончались Михалевы.

Из Якутска в сопровождении хорунжего отправился дальше вверх по Лене бичевой в небольшой почтовой лодке, на съедение комарам, до Качуги, где мы сошли на берег, чтобы на колесах доехать до Иркутска. По пути остановились на последней станции под Киренском в доме зажиточного крестьянина, желавшего угостить меня на славу; стол покрыт был скатертью безукоризненной белизны, приборы серебряные, стаканы и рюмки бемского стекла. Я счел долгом предупредить его, что он ошибается, если принимает меня за чиновника, что я не что иное, как сосланный государственный преступник; на это он возразил мне с поклоном, что очень хорошо знает, кого имеет удовольствие принять у себя в доме, и что он рад дорогому гостю. Я узнал от него, что он при Екатерине был сослан на каторгу и в силу милостивого манифеста, изданного по случаю рождения вел[икого] кн[язя], впоследствии императора, Александра Павловича, выпущен на поселение и водворен на пустынном берегу Лены на том месте, где со временем выстроилась целая деревня, населенная его сыновьями и внуками. Счастливый случай вывел в люди беспомощного одинокого поселенца; иркутский купец спускал по Лене расшиву, нагруженную мукой; на пути застала его зима, принудившая его пристать к безлюдному берегу, где он обрадовался встретить живого человека, которого просил принять и сберечь его ценный груз. Поселенец не употребил во зло оказанного ему доверия и в целости возвратил доверителю сбереженные и муку и судно его. В знак признательности купец тот сделал его комиссионером своим по торговле хлебом, что доставило ему способ опериться, а впоследствии и разбогатеть. Я при этом вспомнил о спорном вопросе между мною и Дуэ; он отстаивал необходимость смертной казни, мною всеми силами опровергаемой; я призвал рассказ моего хозяина веским аргументом в пользу моего мнения и, записав слышанное мною, просил хозяина передать Дуэ мою записку, когда на возвратном пути лейтенант остановится на станции.

В Иркутске остановился я у Ал[ександра] Ник[олаевича] Муравьева,

занимавшего должность полицеймейстера. Сосланный в Сибирь также по делу 14-го декабря, он пожелал вступить на службу и вскоре после того получил место исправляющего должность губернатора в Тобольске. Кроме существовавшего между нами родства, я с малолетства знал его и имел случай оценить его во время походов 1812, 13 и 14 годов, в которых оба мы участвовали; жена его, рожденная кн. Шаховская, и две свояченицы последовали за ним в Сибирь, доставляя ему тем утешение в семейной жизни.

Г[енерал]-г[убернатор] Лавинский<sup>219</sup>, к которому пришлось мне являться, подал мне совет проситься на Кавказ как бы в признательность за оказанную мне царскую милость, облегчившую мне участь после приговора Верховного суда. Не последовал я его совету потому, что, страдая от раны в ногу, полученной под Кульмом, я в пехотные солдаты не годился. Гостивши у Муравьева, я имел случай познакомиться с профессором, находившимся во главе норвежской ученой экспедиции, снаряженной по его инициативе, и часто нас посещавшим; иностранной фамилии его я, к сожалению, не могу припомнить. По вечерам собирались гости, составлявшие высший круг иркутского общества. Как-то раз сел за фортепиано ловкий и элегантный молодой человек; к удивлению моему, я узнал, что это был иркутский купец Баснин. В то время богатое купечество составляло местную аристократию и по образованию и обхождению далеко опередило купцов, встречавшихся нам по ту сторону Урала. Торговля наша с Китаем, заключающаяся в обмене чая и шелковых материй на наши сибирские меха, добываемые у якутов за бесценок, доставляла в конце прошлого и начале нынешнего века огромную наживу, тем более, что находилась в руках небольшого круга торговых фирм, не допускавших конкуренции со стороны московских купцов. При таких-то благоприятных условиях основались в Иркутске и Нерчинске богатые торговые дома, в которых старики, скоро убедившись в пользе образования, не щадили ни денег, ни забот для воспитания детей.

В Иркутске я пробыл 6 недель. А. Н. Муравьев не отпускал меня, а я так приятно проводил время в кругу доброго семейства, что охотно согласился с ним, что на новое место ссылки всегда во время поспею. Отправился я в сопровождении полицейского чиновника Соболевского, получившего впоследствии место городничего в г. Кургане Тобольской губернии. Он рассказал мне в доказательство неустрашимости, с какою А. Н. Муравьев преследовал воровство и грабеж, следующий его подвиг: до сведения его дошло, что в Иркутске скрывается шайка разбойников, грабивших прохожих и проезжих в темные осенние вечера и ночи. Личный состав полиции был ненадежен. Узнав, что притон разбойников в таком-то подвале, он ночью, взяв с собою Соболевского, пошел в указанный ему дом и застал врасплох шайку в полном сборе, делившую добычу. Его появление так их поразило, что они тут же повинились, полагая, что полицеймейстера сопровождает военная сила. Они с места не тронулись, пока Соболевский не привел солдат, проводивших их в острог.

В Красноярске я застал лейтенанта Дуэ, ехавшего обратно в Петербург, и навсегда с ним простился. Томск, следующий город по пути, славился уже тогда своим торговым значением, хотя далеко не представлял того богатства и роскоши, до каких дошел впоследствии, ради золотопромышленников, поселившихся в нем как в устроенном пункте посреди приисков. Доехали до Омской крепости, местопребывания областного начальника. Генерал Сен-Лоран, бывший дивизионным начальником в Полтаве, сын французского эмигранта, воспитывавшийся в 1-м кадетском корпусе, до того обрусел, что французского языка вовсе не знал. Он против воли был назначен управлять Омскою областью, хотя область эта была мало населенною. Он рассказывал Степ[ану] Мих[айловичу] Семенову<sup>220</sup>, о котором дальше будет речь, что, когда он умаливал государя не назначать его на должность, к которой он вовсе не способен, он получил следующий ответ: «Ты хорошо командовал дивизиею, значит, можешь и краем управлять, это дело немудреное. Я был дивизионным начальником, а пришлось управлять целым государством, как видишь, не хуже другого».

Сен-Лоран пользовался на службе прекрасною репутациею; он слыл человеком отлично-храбрым, честным, правдивым и всеми любим. Во время войны 1812, 13 и 14 годов он командовал егерским полком. Меня он принял как нельзя более ласково. При нем были дочери его, взрослые девицы, воспитывавшиеся в Смольном монастыре в одно время с сестрами моими Анной Ив[ановной] Хрущевой и гр[афиней] Еленой Ив[ановной] Капнист.

Из Омска доехали до Усть-Каменогорска, где я нашел Степ[ана] Мих[айловича] Семенова, недавно туда прибывшего и занимавшего должность писаря в канцелярии коменданта де Лианкура. О судьбе, его постигшей, имею рассказать многое, не лишенное интереса, но сперва необходимо кое-что сказать об оригинальной личности де Лианкура, француза-эмигранта, командовавшего у нас некогда полком, но, когда в 1805 г. пришлось ему выступить в поход против французов, он отказался участвовать в войне против соотечественников и поэтому был назначен комендантом в Усть-Каменогорск. Там он женился на казачке, которую называл «Матрон Иванов», не подчиняясь нисколько правилам русской грамматики и не заботясь об изучении русского языка. Чиновников, являвшихся к нему, он приветствовал всегда весьма лаконически следующим образом: «Рюмку водки и пошел вон!» Много мне передавали про его странности.

Образованный по старому методу, он читал на память стихи из Вергилия и Горация, а дочерей своих не учил и грамоте на том основании, что им в Сибири придется выйти замуж за дураков, как он выражался. На одной из его дочерей женился впоследствии советник тобольского губ[ернского] правления. Насчет военной формы он позволял себе странные отступления: сшил себе мундир вместо зеленого из синего сукна потому только, что какой-то купец принес ему в дар кусок такого цвета

сукна. Здоровьем был так крепок, что в зиму ходил в летней шинели. На знакомство был далеко не притязателен. У него был список всех жителей с обозначением дня их именин. Он являлся к ним в тот день и говорил, что пришел отведать у них именинного пирога. Раз ему доложили о появлении какого-то татарина Муратки. Он засуетился и велел его арестовать, вообразив себе, что это бежал я, Муравьев, из Бухтарминска.

Всё это доказывает, как неразборчивы были у нас в назначении полковых командиров и комендантов в начале нынешнего века. Чужестранцев так высоко ценили, что допускали командовать полком людей, вовсе не знавших русского языка.

О товарище моем Степане Михайловиче Семенове, с которым в появившихся доселе записках не упоминается, считаю нелишним передать, что знаю. Бывший доцент Моск[овского] университета, он был одно время воспитателем молодого кн. Никиты Трубецкого, младшего брата нашего Сергея Петровича; потом поступил в канцелярию министра народ[ного] просвещения кн. Ал[ександра] Ник[олаевича] Голицына. Следующий случай свидетельствует о доверии к нему министра. До государя Александра Павловича дошла весть об убийстве, случившемся в Курской губ[ернии], в коем молва обвиняла местную помещицу и приходского попа. Граф Аракчеев уверял государя, что по следствию они признаны непричастными к делу, тогда как кн. Голицын утверждал, что следствие ведено было неправильно. Известно, что между этими двумя любимцами царя существовало соперничество в преданности его особе. Чтобы разрешить возникший между ними спор, государь предложил им послать, каждый от себя, доверенное лицо для раскрытия истины. Выбор кн. Голицына пал на Семенова, которого он предупредил, что, зная его честность, он уверен, что отвергнет всякого рода подкуп, но в таком случае он предостерегся бы от отравы. Семенову пришлось во время следствия питаться яйцами и чаем с булками, им же самим на базаре купленными. По следствию подозреваемые оказались подлежащими суду, и князь Голицын высоко [о]ценил услугу Семенова, доставившего ему победу над Аракчеевым.

Сен-Лоран, вступив в управление Омскою областью, очутился, по словам его, как в лесу. Не имея никакого понятия ни о порядке гражданского делопроизводства, ни о состоянии края, не имея при себе человека сведущего, на которого мог бы положиться, он при своей добросовестности тяготился своим положением и не скрывал его. Кто-то, сжалившись над ним, надоумил его призвать к себе в Усть-Каменогорск Ст[епана] Мих[айловича] Семенова, причастного к делу 14-го декабря, но не лишенного ни чина, ни звания и не по суду, а лишь административным порядком назначенного исправлять в Сибири должность канцелярского служителя. Сен-Лоран тотчас выписал его и вскоре убедился, что он приобрел в нем дельного и в высшей степени честного помощника. В 1829 г. знаменитый Александр Гумбольдт<sup>221</sup> отправился в Сибирь с целью исследовать естественные богатства обширного края, и из Петербурга было предписано по высочайшему повелению всем местным правителям

отряжать чиновников для сопровождения ученой знаменитости. Сен-Лоран назначил Семенова, который и сопровождал Гумбольдта по всей Омской области. По возвращении его в Петербург, на вопрос императора Николая, насколько он доволен своим путешествием, Гумбольдт, между прочим желая угодить, отзывался с похвалою о его чиновниках и выразил удивление, что даже в Сибири сопровождавший его оказался человеком высокообразованным. Государь, узнав, что восхваленный чиновник был Семенов, сделал выговор Сен-Лорану, а Семенову велел довольствоваться должностью канцелярского служителя, вследствие чего тот возвратился опять в Усть-Каменогорск, а впоследствии в г. Туринск Тобольской губ[ернии]. По расстроенному здоровью Семенов просил дозволения приехать в Тобольск посоветоваться с медиками. Тут губернатор Повалов-Швейковский, заслуженный моряк, сблизился с ним и воспользовался опытностью его по делам администрации. Затем кн. Горчаков, желая иметь его при себе, вызвал его в Омск, куда переведено было главное управление Западной Сибири, назначил его начальником отделения и поручил ему рассмотреть дела, решенные Талызиным в бытность последнего омским областным начальником, которого кн. Горчаков, не успевши распознать, назначил губернатором в Тобольск. Это тот же Талызин, которому Ал[ексей] Петр[ович] Ермолов, у которого он был адъютантом, говаривал, что не одобровать ему. Семенов, просмотревши дела, решенные Талызиным, отзывался о них неодобрительно, указавши в них явное отступление от закона, чем нажил себе в Талызине непримиримого врага. Последний стал писать в Петербург, что Западною Сибирью управляет государственный преступник. Из III отделения сообщили этот донос кн. Горчакову, который, испуганный, показал это письмо Семенову. Впрочем, сам Горчаков подавал повод этим слухам: раз у себя за столом он упрекал служащих при нем в распространении молвы, будто Семенов всем управляет у него, на что Семенов заметил князю, что делая выговор Попову, заведывавшему приказом о ссыльных, он прибавил, что выговор исходил не от него, а от Семенова, чем сам подтвердил носившийся слух. Надо сказать, что Горчаков, вполне доверяя Семенову, призывал его к себе по несколько раз в день, совещаясь с ним по делам всех 4-х отделений, так что бедному Семенову, больному и уже пожилому человеку, становилось не по силам, в чем он сознавался Горчакову, не раз упрашивая его отпустить его на покой в Тобольск, где бы он мог занять скромную должность советника губернского правления. При этом случае он возобновил свою просьбу, которую кн. Горчаков охотно уважил, желая доказать тем, что напрасно его подозревают в Петербурге способным подчиняться влиянию кого бы то ни было. Прослуживши несколько лет в Тобольске, Семенов, после краткой болезни, скончался там на руках любивших его товарищей по ссылке. Все тобольское общество, и знатные и малые люди, любовь и уважение которых он заслужил, проводили гроб его до кладбища.

Я прибыл в Бухтарминск после приезда Гумбольдта. Меня привез туда

казачий офицер и рядовой казак. Комендант Федор Степанович Шевнин приказал отвести мне квартиру у казака Щербакова, имевшего свое хозяйство. Я условился с ним, чтобы он меня кормил.

Бухтарминск стоит при впадении реки Бухтармы в Иртыш. В Усть-Каменогорск ездят оттуда на пароме по Иртышу. Недалеко от Бухтарминска был расположен штаб 8-го казачьего полка; командовал им Евграф Иванович Иванов. Ожидали приезда Сен-Лорана. Комендант Маков, старый, заслуженный воин и человек отлично добрый, страдал недугом, известным у нас под именем запоя. Жена его при одной мысли, что Сен-Лоран застанет мужа ее в нетрезвом виде, приходила в отчаяние, предвидя от того гибельные последствия для своего мужа. Зная наши хорошие с ним отношения, она упросила меня понычаться с ним и во что бы то ни стало отрезвить его. Пришлось мне целую ночь возиться с ним, и несмотря на его мольбы, жалобы, ругательства и даже угрозы, я продержал его до утра без капли водки. Когда поступил новый таможенный начальник Крок, сменивший Шевнина, он предложил мне перейти к нему на казенную квартиру, каковою он пользовался. Его сменил Макаров, пригласивший меня к себе на именины. Во время обеда прибежал сосед мой с известием, что казака моего потребовали к следователю на допрос, что дверь настежь открыта и никого не осталось на квартире. Следствие наряжено было по случаю доноса плац-адъютанта Стражникова, относившегося ко мне недоброжелательно за то, что я не вел с ним знакомства; он обвинял начальника за то, что он назначил мне казака в прислугу. Следствие обнаружило разные незаконные действия адъютанта, который и был отставлен от службы. Впоследствии он ослеп. Оставляя Бухтарминск, я заходил к нему проститься; его раскаяние искренно тронуло меня.

Спустя два года я купил дом у отставного чиновника Зелейщикова. У него от паралича отнялся язык; он пришел ко мне и на аспидной доске умолял меня о помощи. Ему пришлось ходить ко мне каждый день, и мое лечение (магнетизм) было настолько действительно, что он стал говорить.

С 1815 г. я стал знакомиться с магнетизмом, читая все, что о нем писалось. Первый опыт мой был над моим камердинером, который во время ясновидения просил у меня ревеню (он страдал постоянно от тошноты). Покойный брат мой Сергей, бывший сложением крепче меня, безуспешно его магнетизировал. Известный бородинский герой Н. Н. Раевский<sup>222</sup> многих излечил посредством магнетизма. Больной его А. Н.<sup>223</sup>, не признававший целебной силы магнетизма, по моей просьбе согласился испытать его действие. Я ему помог, но он уговорил меня не говорить о том отцу его. Известно, что государь Александр Павлович, не жалуя Раевского, отнял у него командование корпусом, высказав, что не придется корпусному командиру знакомиться с магнетизмом.

В Бухтарминске я вообще много лечил и многим помогал, пользуясь указаниями лечебника Каменецкого. У чиновника Зелейщикова лошадь рассекла копытом щеку кучеру, он обратился ко мне за помощью, я



приложил пластырь к ране, и она скоро зажила. Тот же чиновник, вообразив меня искусным врачом, просил меня помочь соседке его, старой казачке, сыновья коей находились на службе и у которой пальцы на ноге отваливались, пораженные гангреной. Бог помог мне и ее вылечить, прикладывая уголь к ранам. Кроме того, убедившись, что она страдает худосочием, я доставил ей свежую пищу вместо тухлой соленой рыбы, которою она по бедности питалась, и тем успел восстановить ее здоровье. Порадовавшись этому успеху, я сообщил о том сестре моей.

Из III отделения поступил запрос к г[енерал]-г[убернатору] Вельяминову<sup>224</sup> о причинах беспомощного положения жителей, одержимых болезнью. Бухтарминский комендант в виде оправдания себя доложил, что мое лечение объясняется интимными отношениями моими с одной солдаткой. Г[енерал]-г[убернатор] Вельяминов предписывает оштрафовать меня двухнедельным домашним арестом. В квартире моей был поставлен часовой с ружьем, которого каждые два часа сменял ефрейтор.

Ко мне хаживал старый семеновский солдат, переведенный в Сибирский батальон, Ермолай Алексеев, услужливый и редкой честности. Я говорил о нем с бригадным командиром Литвиновым, навещавшим меня всякий раз, как бывал в Бухтарминске. Он командовал некогда батальоном в лейб-егерском полку.

По распоряжению свыше начальникам предоставлялось право служивших несколько лет беспорочно нижних чинов переводить из Сибири на место их родины. Литвинов представил Ермолая к переводу в Тверскую губ[ернию], но в Главном штабе вместо Тверской губ[ернии] назначили его в город Бийск, чем на много лет отдалили его от родины. Причина тому та, что Алексеев, как старый семеновский солдат, лишался всякой льготы и считался в опале.

## ПИСЬМА М. И. МУРАВЬЕВА-АПОСТОЛА

1. С. И. МУРАВЬЕВУ-АПОСТОЛУ

3-го ноября 1824 г.<sup>225</sup>

Я был крайне неприятно поражен, дорогой друг, тем, что вы мне пишете в вашем последнем письме. Я с нетерпением ждал вас, а теперь приходится отказаться от надежды скоро увидеть вас. Что касается меня, милый друг, я непременно приехал бы. Я бросил бы свои купанья. Но мне было строго приказано не ездить к вам. Мой отец заставил меня дать ему положительное обещание, что я не поеду, после того, как он получил предостережение от Николая Назаровича<sup>226</sup>, а вы знаете, как этот последний хорошо осведомлен. Правительство теперь постоянно настороже, и если оно не действует так, как следовало бы ожидать, то у него на то свои причины. Юг сильно привлекает его внимание, оно знает, какой там царит дух, и меня крайне огорчает то, что вы так действуете, словно

прекратились всякие подозрения. Доказательством тому служит хотя бы посещение меня неким г-ном Лорером<sup>227</sup>, с которым я был едва знаком в Петербурге и коего Пестель прислал мне бог весть зачем, как старого знакомого. Мы еще далеки от того момента, когда благоразумно рисковать; а риск несвоевременный ведет лишь к тому, что мы теряем людей и что дело оттягивается до бесконечности. Он говорил мне, что у вас в полках назначен срок один год<sup>228</sup>. Правду сказать, все это приводит меня в недоумение, и если бы я не знал, что одиночество способствует экзальтации чувств, а это дает преимущества некоторым молодым вертопрахам, которые при других обстоятельствах были бы только смешны, то я считал бы вас всех сумасшедшими.

Сей г-н Лорер рассказал мне о ваших знакомствах или, вернее, о вашем знакомстве<sup>229</sup>. Он сообщил мне, что вы говорите об этом не иначе, как со слезами на глазах, что с первого знакомства ваш мнимый друг сказал ему, что вы связаны тесной дружбой, что он все время летает то туда, то сюда, что, служа в другом полку, он был постоянно вместе с вами, что его частые поездки в Киев совместно с вами были причиной того, что вам запретили туда ездить, и т. д.

Вы знаете мои принципы, знаете, что согласно моим воззрениям нет такого чувства, которое требовало бы большей деликатности, чем дружба, которое при этом так исключало бы тень тщеславия. Впрочем, вы могли убедиться, что я с довольно-таки большим постоянством порицаю ваш образ действий. Если дело не касалось спокойствия вашего, а следовательно, и моего собственного, я бы махнул на все это рукой, и это мне, в сущности, нетрудно сделать. Я предоставил бы времени разорвать эту завесу, которая питала ваш рассудок со времени слишком известных контрактов 1823 г.<sup>230</sup> Но не забудьте, что если вы не будете постоянно принимать меры, дела не останутся в таком положении, и горе вам, если правительство этим воспользуется; все это так шито белыми нитками, что ему было бы легко спутать вас вашими же сетями. Я не сержусь на вас, не пеняю на вас, мой дорогой Сережа, хотя был бы вправе рассчитывать на большее доверие к себе с вашей стороны. Приписывая мне такие качества, которых у меня вовсе нет, вы отказываете мне в том, на которое я только и претендую. Я имел сильную склонность к преждевременной зрелости ума—все разнообразные события, коих я был жертвой, послужили мне впрок, дав мне некоторое знание людей, поэтому-то я искренне благодарю бога за то, что он соизволил испытать меня; когда-же я вспоминаю, что я отчасти виновен во всем происшедшем, то испытываю такие душевные муки, которые невозможно передать. Дай бог, чтобы события не оправдали моих слов. Зачем вы посетили Вадковского?<sup>231</sup>

Пользуюсь настоящей верной оказией, чтобы высказать вам свою *profession de foi* [исповедание веры (*фр.*)—*Сост.*]. Я вполне убежден, что пока ничего нельзя сделать, ничего не сделать и в Петербурге для оправдания наших друзей. Скажу более: самый опыт показывает, что тут ничего не поделаешь.

Визиты, которые там были сделаны, породили разлад — иначе и быть не могло<sup>232</sup>, с одной стороны, выражали чувства, с другой — высказывали предположения насчет вероятностей, а это последнее вышло очень уж холодно. К чести тамошних, я должен сказать, что они с уважением отзываются о вас, чего с вашей стороны я не вижу. И все это делается из ничтожного тщеславия, ради того, чтобы тоном учителя навязать писанные гипотезы<sup>233</sup>, о которых одному лишь богу известно, применимы они или нет. Раздел земель<sup>234</sup>, даже как гипотеза, встречает сильную оппозицию. И я спрашиваю вас, дорогой друг, скажите по совести: возможно ли привести в движение такими машинами столь великую инертную массу? Наш образ действий, по моему мнению, порожден полным ослеплением; не забывайте, что образ действия правительства отличается гораздо большей положительностью. У великих князей в руках дивизии<sup>235</sup>, и они имели достаточно мудрости, чтобы создать себе креатур. Я не говорю о их брате<sup>236</sup>, у которого больше сторонников, чем это обыкновенно думают. Эти господа дарят участки земли, деньги, чины..., а мы что делаем? Мы сулим отвлеченности, обещаем дать государственных деятелей из прапорщиков, которые даже не умеют себя вести. А между тем плохая действительность в данном случае предпочтительнее, чем блестящая неизвестность. Допустим даже, что вам легко будет пустить в дело секиру революции, но поручитесь ли вы в том, что сумеете ее остановить? Армия первая изменит вашему делу. Приведите мне хотя бы один факт, который бы, не скажу, доказывал, а лишь позволил бы предполагать противное. Нашелся ли хотя бы один офицер Семеновского полка, который подверг себя расстрелянию?<sup>237</sup> Вы меня спросите, зачем им подвергать себя этому, но дело идет не о той пользе, которую это принесло бы, а о стремлении к другому порядку вещей. Признаюсь, я еще более недоволен вашими переговорами с поляками. Вы с ними в таких отношениях, которых никогда не следовало допускать, судя по тому, что вы мне говорили. Вы неосмотрительно прибегли к фактору, который неминуемо должен был создать такое панибратство. Я первый буду противиться тому, чтобы разыграли в кости судьбу моей родины<sup>238</sup>.

Наши силы — чисто внешние, у вас нет ничего надежного. Нам нечего спешить, и в данном случае я не понимаю, как можно произносить это слово.

Чтобы построить большое здание, нужен прочный фундамент, а о нем-то менее всего думают у вас. Будет ли нам дано пожать плоды нашей деятельности — это в руке Провидения; мы же должны исполнять долг — не более. Разумеется, не следует творить ребячества, не следует принимать армейских офицеров, пока ни к чему не пригодных; вот когда придет время пустить их в дело, тогда нужно повелительно двинуть их вперед, не спрашивая, угодно это им или нет.

Г. Лорер сказал мне также, что Юшневский<sup>239</sup> принял за принцип «проучить молодых людей», чтоб они не кричали в комнатах, а на улицах, на площадях. Уговорите его пустить себе кровь, он болен, уверяю вас; по

крайней мере реагируйте энергично против него ради безопасности тех несчастных, коих может без нужды сделать таковыми их господин. Мне пишут из Петербурга, что царь в восторге от приема, оказанного ему в тех губерниях, которые он недавно посетил.

На большой дороге народ бросался под колеса его коляски, ему приходилось останавливаться, чтобы дать время помешать таким проявлениям восторга. Эти будущие республиканцы всюду выражали свою любовь, и не подумайте, чтобы это было подстроено. Исправники не принимали в этом участия и не знали, что предпринять. Я знаю это от вполне надежного лица, друг которого участвовал в этой поездке.

Я был на маневрах гвардии; полки, которые подверглись таким изменениям, не дают больших надежд. Даже солдаты не так недовольны, как мы думали. История нашего полка совершенно забыта<sup>240</sup>.

Проезжая через Москву, я видел двух лиц, которые сказали мне, что еще ничего не сделано, да и делать нечего, благоразумного, разумеется. Вот, милый друг, что я хочу вам сообщить при свидании, которое, я надеялся, должно было вскоре состояться. Не удивляйтесь перемене, прошедшей во мне, вспомните, что время — великий учитель.

Я провожу время в совершенном одиночестве, погода так дурна, что я, как говорится, не показываю носа из дому. Я занят чтением, и такой образ жизни мне не кажется скучным. Я даже доволен им, когда подумаю, что в настоящее время моему отцу предстоят большие расходы; у меня не хватает духу с своей стороны увеличивать их. Если вы увидите А. Репнина, он даст вам сведения о Елене и более подробные, чем я. Аннета теперь в Бакумовке — вот все, что я знаю<sup>241</sup>. Вы правильно заметили, что *fatta la frittata* [каша заварена (*um.*) — *Сост.*], и чтобы вы могли судить о том, как суров мой нрав в подобных случаях, скажу вам, что я отдаляюсь от нее из благоразумия, чтобы не быть вынужденным резко порвать отношения в том случае, если бы мы были более близки. Я бы не мог не считать новшеством то, что мне казалось бы таковым, а если известный господин оспаривал это право у моего отца, то как бы он принял это от меня? Ваши взгляды на Аннету несколько романтичны, судя по тому, что вы мне пишете о ней в одном из ваших писем. Она молода, неопытна и должна была воспринять идеи своего мужа, что она и сделала по счастью для себя.

Г-жа Плачи была больна раньше, чем ее муж увез ее. Аннета сообщала о ней сведения лишь тогда, когда я приходил к ней и посылал справляться о ее здоровье. Самый дом поставлен на такую ногу, и она не раз жаловалась на бедного Замбони, что ей не дают супу.

Все это так, потому что так положено, и еще скажу, в пользу житейской прозы: хорошо, что это так. Никогда ни муж ни жена не посылают ко мне справиться, получил ли я вести от отца; ни он, ни она ни разу не справлялись ни о Екатерине<sup>242</sup>, ни о ее детях, ни о ее муже, ни даже об Ипполите<sup>243</sup>; этот господин ведет список своих неудовольствий против моего отца.

Не выводите из всего этого заключения, дорогой друг, что я возненавидел людей и добродетель; вы сильно ошиблись бы. Я привык раскрывать пред вами душу и потому излагаю вам те причины, которые побуждают меня действовать так, а не иначе. На будущей неделе, а то и раньше, если будет возможно, я пришлю вам тулупы для ваших людей; приказанья ваши не были до сих пор исполнены вследствие всевозможных междоусарствий, которые произошли в истории хомуецкой экономии. Трубецкие выражают большую дружбу к вам во всех письмах, которые я от них получаю. Я ничего не знаю о Екатерине; вы правы, ей предстоит роды.

Искренно молю бога, чтобы она счастливо разрешилась от бремени. Я люблю их всем сердцем. Ипполит не пишет, а так как я с некоторых пор не имею вестей от Бибикова<sup>244</sup>, а он один сообщает мне об Ипполите, то я ничего не могу сказать о нем.

Целую вас тысячу и тысячу раз, дорогой друг. Будьте счастливы, здоровы и не забывайте меня.

Ваш брат М. Муравьев-Апостол.

Портфель Пестеля<sup>245</sup> сильно беспокоит меня за вас. Вы же говорили мне, что не будет писанных документов. Видите, как вы увлечены тем течением, коего вы не сможете сдержать.

## 2. ИВ[АНУ] ДМ[ИТРИЕВИЧУ] ЯКУШКИНУ<sup>246</sup>

*Хомуец, 27 мая 1825 г.*

Последнее время я был в разъездах и вот это-то и заставило меня сохранить молчание по отношению к вам. По возвращении в деревню я нашел ваше письмо, дорогой друг, от 13 марта—последнее, которое вы мне адресовали. Надо признаться, что разлука у нас—дело более жестокое, чем где-либо. Медленность, с которою доходят письма по назначению, сама уже по себе способна отнять у переписки ту нежную пылкость, которая порою заставляет ее походить на болтовню.

Не этому ли же я обязан краткостью ваших писем? Позвольте мне, дорогой друг, сделать вам по этому поводу несколько упреков. Чтобы мотивировать их, я возьму за исходную точку фразу из вашего последнего письма. Вы мне пишете: «Вы, может быть, не знаете, что я способен быть лентяем». Это требовало некоторого пояснения с вашей стороны, ибо эта фраза мне непонятна. Я спрашиваю себя, чему приписать эту склонность вашей души к лени,—и задаю себе этот вопрос тщетно. Что разумеете вы под ленью? Ведь это же не есть источник школьного горя—та лень, строго говоря, даже и не есть лень, это действие юного, пылкого воображения, которое в нашем детстве постоянно уносит нас вдаль и заставляет жить в очаровательном мире, украшенном всеми чарами надежды. То сочувствие, которое оказалось между вами и мною, когда мы рука об руку весело выступили на жизненный путь, приводит меня к

заклучению, что наше детство должно быть схоже. Я боюсь разгадать смысл, который вы связываете со словом «лень». Бога ради, старайтесь себя в этом отношении побороть и не успокаивайтесь ранее, чем вы не одержите над собою победы. На известной ступени развития все бытие существует только в мысли. Надо допустить, что вы сильно изменились (а этого не дай бог) для того, чтобы подобное состояние подошло и к вашему уму и к вашему сердцу. Хотите, чтобы я стал еще яснее? Возьмите сочинение моего отца о Крыме<sup>247</sup> и прочтите письмо, приведенное там на стр. 176, если только я не ошибаюсь, не имея книги перед глазами. Вы найдете там полное разъяснение моей мысли. Несмотря на отсутствие, дружба, которую я к вам питаю, слишком жива, чтобы я не желал видеть вас вполне добрым безо всякой подмеси, которая всегда негодна. Что касается меня, я провожу время настолько приятно, чтобы не познать чувства скуки, в котором, мне кажется, таится больше суетности, чем обыкновенно думают. Я съездил повидаться с братом Сергеем и имел удовольствие провести с ним несколько дней. Видел С. Трубецкого, который основался в Киеве, как вы о том уже, вероятно, знаете. Мне нечего вам говорить, что было между нами переговорено и о вас. Его жена воистину очаровательна и соединяет с значительным умом и развитием неистощимый запас доброты, что по преимуществу является типичною чертою в женском характере. Она о вас отзывается как о старом знакомом. Почему не живем мы в эпоху паломничеств—тогда, вероятно, Киев святой привлек бы к себе и вас, и я несколько дней провел бы с вами вместе. Я рассчитывал пробыть некоторое время с моими обеими сестрами Хрущевой и Капнист, которым предстоит на днях разрешиться от бремени. Но весть, сообщенная мне братом с нарочным по эстафете, заставила меня спешно вернуться в Киев. Брат жены Трубецкого после крупной карточной игры, которую он вел в Москве, и постигшего его там проигрыша поселился в имении матери, но и тут повстречался опять с игроками, которые и заставили его еще более увеличить тот проигрыш, которому он подвергся еще в Москве,—коротко сказать, это довело его до отчаяния, и он не придумал ничего лучшего, как пустить себе пулю в голову. Я трепещу за его сестру, когда она узнает эту весть, которая уже в силу ее религиозных верований покажется ей особенно страшною. Я еду к ним в Киев, и выезжаю в четверг, т. е. завтра. Вот плод даваемого у нас воспитания: развивают в вас елико возможно всю суетность, которую вы можете в себе вместить, и после того, как ввергнут юношу, несмотря на его сопротивление, в «свет», удивляются потом, если молодой человек наделает глупостей. Вместо того, чтобы протянуть руку помощи, думают, будто выказыванием ему презрения можно будет с большим успехом вернуть его на прямой путь, не компрометируя самих себя. А презрение порождает лишь отчаяние и равнодушие; таким образом, на кого же падает вина, если юноша ухватится за способ, кажущийся ему наикратчайшим, чтобы сразу избавиться от гнетущего положения? Вы имеете сына, милый друг,

думайте же и размышляйте побольше о его воспитании—оно ведь повлияет на все его существование. После войны 1814 г. страсть к игре, так мне казалось, исчезла среди молодежи. Чему же приписать возвращение к этому столь презренному занятию?

Расскажите мне подробнее о Петре Чаадаеве. Прогнало ли ясное итальянское небо ту скуку, которою он, по-видимому, столь сильно мучился в пребывание свое в Петербурге перед выездом за границу. Я его проводил до судна, которое должно было его увезти в Лондон. Байрон наделал много зла, вводя в моду искусственную разочарованность, которою не обманешь того, кто умеет мыслить<sup>248</sup>. Воображают, будто скукою показывают свою глубину,—ну пусть это будет так для Англии, но у нас, где так много дела, даже если живешь в деревне, где всегда возможно хоть несколько облегчить участь бедного селянина, лучше пусть изведают эти попытки на опыте, а потом уж рассуждают о скуке. Что делает М. Чаадаев?<sup>249</sup> Видаете ли вы его иногда? Неужели он совсем меня забыл? Он был бы неправ, ибо я всегда думаю о нем с удовольствием. Правда ли, что княгиня Елизавета ездила на свидание с братом, а тот не захотел даже ее и принять? Я видел его во время последней моей поездки в Петербург—он был тогда довольно покоен. Идея же не желать видеться с сестрою указывает на тревожное настроение, и это меня печалит за него, ибо он чрез это только усугубит тягостность своего положения. Опишите мне все это подробнее, ибо, как вы можете себе представить, прошу я об этом не из праздного любопытства. Поцелуйте за меня вашего сына; передайте мои приветствия вашей супруге. Напомните о моем существовании вашей теще, тетушке и дядюшке поклонами от меня. Жму сердечно вашу руку.





# ВОСПОМИНАНИЯ А.В.ПОДЖИО





## ЗАПИСКИ

Отец мой, Виктор Яковлевич Поджио, был выходец из Пьемонта. Темные сказания матери моей не объяснили мне ясно причины, побудившей его оставить свое отечество. Я мог догадываться, что, преследуемый за нанесенную опасную рану, в порыве ревности, какому-то счастливому сопернику в любви, он воспользовался предложением Рибаса<sup>1</sup>, отплыл с ним из Ливорно и таким образом избежал преследования уже и без того ненавистного ему правительства.

Тогда же Рибас участвовал в экспедиции графа Орлова<sup>2</sup>, которому он оказал большое содействие в похищении Таракановой<sup>3</sup>. Эта гнусная, вероломная проделка была прикрыта, как водится, всею важностью государственного дела, а потому деятели этой плачевно кончившейся драмы были не опозорены во мнении общественном, но превозносимы, как будто упрочившие право, всегда шаткое, похитительницы престола<sup>4</sup>. Вот начало сношений моего отца с Рибасом — сношений, которые продолжались до конца его жизни.

Во время прибытия отца моего в Россию неопределенная будущность нашего юга волновала все умы. Екатерина бредила Византиею и направила на нее все свои помыслы и силы<sup>5</sup>. Мы видим, как, вслед за мановением ее мыслей, стеклась туда лучшая молодежь того времени, все знаменитые французские эмигранты и выходцы всех земель. Увлеченный потоком этих рыцарей-странников, восставших против иноверцев, отец мой отправился, как принято было, волонтером, после чего вступил в действительную военную службу. Не знаю, какие его были подвиги и служба вообще: знаю только, что он участвовал в турецкой кампании, был при взятии Измаила, всегда с гордостью носил этот крест<sup>6</sup> и вышел в отставку секунд-майором. Знаю, в чем я впоследствии и мог убедиться, что он своей честностью и правотою на службе приобрел уважение и дружбу многих замечательных лиц того времени. Не говоря о Рибасе и его братьях, которые постоянно исключительно к нему были расположены, могу назвать герцога де Ришелье<sup>7</sup>, графа Ланжерона<sup>8</sup>, князя Григория Семеновича Волконского (тогда еще в здравом уме и наводящего страх на турок<sup>9</sup>) и самого Суворова<sup>10</sup>, который постоянно останавливался у него проездом через Одессу. Помню рассказы матушки о посещении этого

полководца — чудака великого. Как, в угодность ему, выносились из каменного нашего дома, едва ли не единственного тогда в Одессе, все зеркала и позолоченная мебель, обшитая штофом, вывезенная из Неаполя, и на место этой мебели становились простые скамьи. Ему готовилась самая простая пища; с каким горячим увлечением говаривал он с матушкой по-итальянски!

Отец был один из первых четырех обитателей, или, правильнее сказать, основателей Одессы, тогдашнего Хаджибея: инженерного генерала Ферстера, полковников Вердеревского и Ивашева (отец того Ивашева, который подвергнут одинаковой со мной изгнаннической участи <sup>11</sup>).

.....

Десятого июля 1826 г. <sup>12</sup>, часов в 11 утра, явился ко мне плац-адъютант с обыкновенным словом «пожалуйте!». Этим словом выражалось приглашение являться в Комитет <sup>13</sup>. Такое приглашение в необычный час (в Комитет нас всегда водили ночью, с какой-то таинственностью, набрасывая на голову платок) меня несколько удивило; но вскоре, взойдя по боковому крыльцу в одну из комнат дома коменданта Сукина, я и товарищи, которых я там нашел, догадались, что дело наше приходило к концу. За нами вводились и другие, незнакомые для меня лица; наконец, захопнувшаяся дверь возвестила нам, что число наше ограничится присутствующими. Здесь находились: Трубецкой, Оболенский, Барятинский, Якубович, Вадковский, близкие мне друзья, и кроме их — члены Славянского общества, для меня вовсе неизвестные, именно братья Борисовы, Горбаческий, Спиридов, Бечасный <sup>14</sup>. Предполагая по данному ходу дела, что Трубецкой и Оболенский были обвиняемы более многих других, мы удивились встрече с людьми, действия которых были нам совершенно неизвестны, а что еще более нас сбивало в наших догадках — это отсутствие главных членов общества, т. е. Пестеля, Сергея Муравьева и некоторых других.

Едва успели мы обняться и передать друг другу наши догадочные заключения, как растворилась противоположная дверь и вошел к нам со спокойным видом священник Божанов. Протянув горячо руку Трубецкому и Оболенскому, которых он так часто посещал в темнице, принося им утешение в вере, он сказал: «Господа, вам будет читаться приговор, но будьте покойны, государь не хочет смертной казни, сердце царево в руке божией» <sup>15</sup>. После этих слов он поспешно удалился, имея, вероятно, передать поручение и в другие комнаты, где также были собраны члены общества по категориям, как мы узнали это впоследствии. Нельзя не смутиться при мысли, что забыв святость сана священника, его же употребили быть вестником такой гнусной лжи, как впоследствии оказалось при казни пятерых.

Вскоре потребовали нас в соседнюю комнату, из которой мы могли слышать какие-то громкие, прерывающиеся слова, которых смысл объяс-

нился нам после, прочтением приговора смертной казни над пятью лицами, осужденными на смерть. То были: Пестель, Сергей Муравьев, Бестужев-Рюмин, Рылеев и Каховский.

Когда все смолкло, нас начали называть поименно и ввели по одному в комендантскую залу, вытянули вдоль по стенке в стройную шеренгу, имевшую по бокам у каждой двери и каждого сзади нас окна по два павловских гренадера с ружьями у ноги. Павловские гренадеры, вроде потешных и позже лейб-компанцев, были в ходу<sup>16</sup>. Построение нас в шеренгу при застрельщиках направо и налево и при мерах такой вызванной безопасности должно было быть крайне одобрено фрунтовиками-судьями. Здесь-то, наконец, стала выясняться вся эта таинственная задача, более любопытная, чем мучительная. До того все эти движения, передвижения и все неожиданности подстрекали наше вдруг воскресшее чувство к жизни. Все это так неожиданно представившееся зрелище нас не только не смутило, а скажу, напротив, вновь оживило какими-то уснувшими у нас силами. Правда дела, все наши убеждения, верования как будто опять ожили, расшевелились, воспрянули при виде такого бесправия, беззакония и насилия назначенного над нами суда, неизвестного для нас. Как! Самоуправная власть назначает суд, произвольно назначает судей, облакает их чудовищным правом жизни и смерти над ста двадцатью подсудимыми, и эти подсудимые не знают, не ведают даже о таком назначении. И первый, и последний произвол его существования, его действий выразился смертным приговором! Спросите хоть одного из этих поддельных, заказных судей: ужели, прежде чем обмакнуть свое перо в кровавую чернильницу, не дрогнула его совесть и не почувствовалось ее угрызение? Ужели до того забиты были в нем все чувства человечества, что не пришло ему на ум для своего же успокоения выслушать, прослушать хотя бы одного из нас? Ведь знали же они все, что подсудимые не имели никаких ограждений для своей защиты, что все почти обвинения основывались более на словах, чем на действиях, и ни один из них не отозвался в пользу всех этих чудных юношей, обреченных заранее на явную гибель<sup>17</sup>. Спрашивается, какой судья решится приговорить к смерти самого лютого убийцу, разбойника, не выслушав его и не проверив следствия? Спрашивается, ужели предсмертный, великий возглас Рылеева<sup>18</sup> не поколебал более чем совесть одного, если бы этот великий гражданин, достойный другого времени и поприща, был допущен лично к оправданию или защите своей перед судом? Нет, суд этот, при глубоко заданном себе чувстве какого-то зверства, не только не умел, не хотел руководствоваться первоначальными понятиями о справедливости, но как будто ругался ими, даже не сохраняя и приличия, требуемого правосудием, хотя бы и искаженным произволом. Здесь я не говорю о тех ограждениях, с которыми защищались подсудимые во всех хотя несколько благоустроенных государствах; не говорю я уже о свободе слова и печати, о защите законного ходатая—нет. Положим, что эта роскошь права для России лишняя, но можно ли было пренебрегать, отвергать самые

первоначальные понятия о процессе и можно ли было этому суду основать все свои приговоры на решениях одной Следственной комиссии, представившей все показания наши за подписью нашей?<sup>19</sup>

Посмотрим теперь вкратце, насколько эта комиссия заслуживала к себе такого слепого доверия, какое оказал ей Верховный уголовный суд. Начнем с состава лиц.

Председателем был назначен военный министр граф Татищев. Если выбор для такого места должен был пасть на человека, вовсе чуждого к исследованию дела, то, конечно, лучшего назначения для этой цели не могло и быть. Всегда безмолвный и, вероятно, углубленный в свои министерские дела, он равнодушно смотрел и на нас и на все бешеные выходки.

Чернышев — главный двигатель всего следствия. Пообок его заседает... кто же? Михаил Павлович!

Несмотря на его, так скажу, истинно рыцарские выходки относительно Пестеля, Кюхельбекера и в особенности меня<sup>20</sup>, нельзя не подивиться встретить его в деле, столь близком как для него, так и для всего своего семейства. Вопрос главный был чисто династический и он, неслыханное дело, был, как говорят французы, *juge et partie*, т. е. судья в собственном своем деле! Какое ограждение для виновника, чтобы не встретить здесь непримиримое пристрастие!

Александр Николаевич Голицын, человек quasi-духовный и выдвинутый из опалы, — он должен был заглаживать грехи старого усердия грехами нового<sup>21</sup>.

Дибич, всегда военный, как он это воображал, редко являлся и заявлял всегда свое присутствие, ударяя не на центр, который находился в крепости, а во фланг дела, растянутого по России. Так он допытывался всегда об участии Николая Николаевича Раевского и Ермолова, лавры которых лишали его сна<sup>22</sup>. Влияние его на ход следствия было односторонне, рассматривая его в отношении лишь военном.

Александр Христофорович Бенкендорф — плоть и кость династическая — не способен был отделять долг привязанности личной от долга к родине, хотя для него и чужой.

Павел Васильевич Кутузов, бывший забулдыга и, что еще ужаснее или достойнее, как хотите, заговорщик, на этот раз успевший в убийстве отца<sup>23</sup>, должен был, конечно, оправдываться, заявлять себя поборником его сына. Когда Кутузов заметил Николаю Бестужеву, обвинявшемуся в умысле предположенного цареубийства, говоря: «Скажите, капитан, как могли вы решиться на такое гнусное покушение?» — «Я удивляюсь, — отвечал ему Бестужев с обычным и находчивым своим хладнокровием, — что это *вы* мне говорите».

Бедный Кутузов почти что остоленел. Сын убитого отца был здесь<sup>24</sup>. Как бы то ни было, Кутузов за успешное убийство достиг всех почестей русского мира, а Бестужев умер в изгнании!..

Там была une *revolution de serail* [типично дворцовая революция

(фр).— *Сост.*], переворот гнусного царедворца, переворот личного побуждения, здесь — переворот целый, общественный. Но об этом в другом месте.

Был еще г-н Потапов, всегда сдержанный, благородный, также имевший слабое влияние на тот же ход следствия<sup>25</sup>.

Итак, двигатель, и, можно сказать, единственный, всего дела, был кто же? Чернышев!<sup>26</sup> Достаточно одного этого имени, чтобы обесславить, опозорить все это следственное дело. Один он его и вел, и направлял, и усложнял, и растягивал, насколько его скверной, злобной душе было угодно! Нет хитрости, нет коварства, нет самой утонченной подлости, прикрытой маскою то поддельного участия, то грозного усугубления участи, которых бы ни употреблял без устали этот непрестанный деятель для достижения своей цели. Начавши дело с самого Таганрога<sup>27</sup> и ведя его сам лично, он знал, что только с нашей гибелью он и мог упрочить свою задуманную им будущность. Он так далеко зашел, успел так увлечь за собой Николая, подготовленного и весьма способного к восприимчивости системы и казней и гонений во всем ее объеме, что пятиться назад было невозможно и необходимо было идти вперед по верно проложенному кровавому пути. И этот путь прокладывать где же? По России. По этой подобоострастной смиреннице, чуждой всяких тех потрясений, которыми отличаются от нее государства Европы<sup>28</sup>.

И каким образом все эти судьи, зародившиеся при Екатерине и возникшие при Александре, не были проникнуты духом кротости этих двух царствований, чтоб так скоро, внезапно отказаться от всего прошедшего и броситься, очертя голову, в пропасть казней и преследований!<sup>29</sup> Каким образом решились они так быстро, необдуманно перейти эту черту, так резко отделявшую правление милосердное, человеколюбивое от правления жестокого, бесчеловечного! Скажите, где и когда они видели во всю свою долголетнюю жизнь и эти виселицы, и эти каторги в таком числе и в таком размере? Что могло их подвинуть к такому резкому перелому всей нашей правительственной системы? Положим, что по оказавшимся мнениям, как видно из дела, были затронуты их собственные интересы; что цель ограничения монархической власти лишала их важной для себя опоры; что с введением представительного правления и вообще выборного начала по всем отраслям управления значение их и всей господствующей едиnobюрократии весьма ослабело бы; что с предположенным уничтожением рабства они были задеты в самом жизненном условии; что последний вопрос касался их ближе всякого другого. Но одни ли мы так думали, и все эти, наконец, всплывшие по времени вопросы, взятые вместе, не требовали ли тогда же обсуждения необходимо здорового, хладнокровного, долгого, чем одним почерком пера убить не только тех, но и дух их оживлявший? Убили и что же? Власть при Александре хотя была и дремлющая, но при Николае она сделалась притеснительною и, достигши до высшей степени своевластия, она тяжело и непробудно залегла смертным гнетом на все мыслящее в России! И мы

ли не слыхали, еще в отдаленной Сибири, слабые отголоски забитого слова и печати, все жалобные отзывы о подавленном развитии всех сил России! И когда понадобились для нашей же России эти силы, оказались ли они где и в чем-нибудь? Бездарность, бессилие, неспособность высказались повсюду, и Николай, могучий, всеобъемлющий, сделался метой всех упреков, всех нареканий, причиною всех причин.

Николай, нет, не он один был виновник всего пройденного, а виновники были именно те судьи, перед которыми я стоял и от которых я на время отклонился, чтобы возвратиться к ним с большим знанием дела.

Перед судом истории Николай стоять будет не один, стоять будут и все эти государственные чины, присутствовавшие при зарождении его на царство. Николай был не более не менее как бригадный командир; свыкшись с таким скромным званием, мог ли он в пределах своих действий приобрести опыт в делах высшего управления, мог ли он, имел ли он малейшее влияние на тогдашние умы, к какому кругу или сословию они ни принадлежали? Мог ли он усвоить все те привычки, слабости и даже страсти, которые не врожденны в нас, а приобретаются при данных условиях и при данной среде? Вы приняли скромного бригадного командира в свои объятия, возвели его на престол и своим низкопоклонством, потворствуя положенным, закрывшимся уже дурным наклонностям, дали им развиться, упрочиться и дали возможность сделать из него того созданного вами Николая, который так долго тяготел над Россиею, над вами самими. Николай был, повторяю, вашим творением, в нем отражаются ваши опасения, надежды и проч. Трудно решить вопрос, кто из вас кем руководил: он ли вами, или вы им; дело в том, что вы шли с ним рука об руку; путем произвола дошли до бесправия, до бессилия, до бесславия России и собственного вашего и его. Иди он с нами, отдайся нам или возьми нас с собой путем права, мы повели бы его к славе России и всех нас вместе. Мы хотели ограничения его власти, вы же — ее расширения. Вы начали его отравление, упрочив его власть, он покончил его. Вашим путем он медленно пошел на смерть, нашим же пошел бы он к бессмертию и остался бы незабвенным при другом значении<sup>30</sup>.

Но вы кончили свой путь земной, и к вам я лично не злопамятен и прощаю за себя, но не прощу за выключенных славных людей из числа живых и не прощу вам за Россию, вами отданную безответственно Николаю.

Однако ж я увлекся через меру и замечаю, что из подсудимого превратился сам в судью и, быть может, при таком же бесправии, в котором сам их упрекаю. Если могу я им сказать: «Кто ты такой, что судишь других?», то не в праве ли они обратить тот же вопрос ко мне? Смиряться пред неисповедимым определением судеб. И знаем ли по истине мы, что в сущности творим? Кто прав, кто виноват? Где и в ком именно искомая истина? Почему она под такой, а не другой широтой? Почему она там, а не здесь? Почему сегодня, а не вчера? Бедное человечество, долго ли оно будет искать разрешения своих судеб?.. Долго ли будет все и вся



раздваиваться, не находя должного понятия в мнениях и в действиях? И при таких расходящихся целях вправе ли я осуждать моих судей, упрекать их в злоумышленном каком-то настроении ума, находить действия, странно, решительно направленные к подавлению зарождающихся в России новых идей, и, одним словом, заподозрить их в преследовании какой-нибудь общепринятой ими цели — цели, выражающей многие начала такой или другой политической партии, всегда существующей и выдающейся в других государствах.

Нет, все подобные умствования, выводы не применимы к этому собранию. Скажем просто и вернее: все эти люди были людьми своего русского времени; люди, взрослые, созревшие под влиянием узкого, одностороннего, государственного тогда военного духа. Они служили верным отпечатком того времени, вместе славного и жалкого! Все являли в себе все противоположности, все крайности образовавшихся тогда характеров общественных. Одностороннее, исключительное, поверхностное военное образование, при условиях неперемнной отчаянной храбрости, второстепенного честолюбия, грубого обращения с низшими и низкопоклонства со старшими и вместе с тем проявление полного великодушия к врагу-иностранцу. Какое-то относительное благородство, жалость, доброта и всегда тот же разгул русского человека, с свойственным ему и буйством, и беспечностью, и безумною расточительностью. Жизнь их протекла в походах; они ходили и на черкеса, и на турка, а более всего на француза<sup>31</sup>. В промежутках, особенно в последние дни Александра, занимались чтением военного артикула, изучением наизусть военного устава, этого единственного мерила всех достоинств тогдашнего офицера. Следили неумолимо за военными приказами, занимались построениями, маневрами; но выше всего ставили первенствующую над всеми другими способность постановки и выправки, как говорилось тогда, солдата. На этом одном начале остановилась военная наука; на нем одном сосредоточивались все умственные и телесные занятия, которые должны были довести солдата и офицера до такого превосходного совершенства, так жалобно заявившегося в последовавшие кампании<sup>32</sup>. К этому времени должно отнести зародившийся класс офицеров, прославивших себя именем служак-фрунтовиков и так обесславившихся, когда, по выходе из манежа, должно перейти на поле битвы.

Надо было того времени быть свидетелем, очевидцем всего того, что творили с солдатами и офицерами, чтобы поверить в возможность тех неистовых проявлений, коими ознаменована эта эпоха, справедливо названная фронтоманиею. Высшее варварство в истязании человека, в способе его обучения, в непрестанном его движении, передвижении, в отказе ему застывать, задумываться, недодача ему и сукна, и холста, и обуви, наконец и самого содержания — все эти причины, взятые вместе, и довели Константина Павловича до следующего мудрого изречения: «Дурной тот солдат, который доживает срок свой двадцатипятилетний до отставки». Хороший солдат, усердный, [не] должен был, да и не мог

дослужиться до увольнения. «Убей двух, поставь одного!» — говорил он; а другие повторяли и доказывали усвоение этого правила на деле. Все это делалось спроста, по убеждению.

Я говорил — истязание. И кто не помнит, по крайней мере по преданию, господ Желтухина лейб-гренадерского<sup>33</sup>, Головина лейб-егерского<sup>34</sup>, Шварца семеновского<sup>35</sup>, Сухозанета<sup>36</sup>, Арнольди<sup>37</sup> и сотни других, наводивших страх и ужас на своих товарищей-однополчан. «Влепить сотню, две, три, закатать его!» — было любимым выражением замашистых офицеров. Палки и побои, побои и палки были одним *ultima ratio* [последний довод (*лат.*) — *Сост.*], одним двигателем всего упрощенного по сему военного механизма. Палками встречали несчастного рекрута при вступлении его на службу, палками его напутствовали при ее продолжении и с палками его передавали в ожидавшее его ведомство после отставки. Побои и род палок входили в неотъемлемое право каждого какого бы ни было начальника и в каком бы он чине ни был. Солдат был собственною принадлежностью каждого. Били его и ефрейтор, и унтер-офицер, и фельдфебель, и прапорщик, и так далее до военачальника. Не было ему суда, и всякая приносимая жалоба вменялась ему в вину, и он наказывался как бунтовщик. Однажды г. Головин делал инспекторский смотр и на вопрос: «Всем ли вы довольны?» — «Никак нет-с, ваше превосходительство, мне не додали холста, и мы не знаем счета артельных денег». — «Поди-ка сюда, молодец», — и, выдвинув его из рядов, начал выслушивать его просьбу следующими вопросами: «Так ты не доволен? Что, ты не одет и не обут? Что, не голоден ли ты? И государь не платит тебе жалованья? Бедный ты, а? Палок!..» Его разложили, живого на носилках вынесли, а другой день он умер в госпитале. Некоторые передовые офицеры (вступившие после в общество) — Норов, Оболенский и другие — распустили молву по городу, многих взорвало, но тем и кончилось.

Тому же Головину на походе в Вильно донесли, что рота зароптала на капитана. Он догнал роту на ходу, остановил и тут же велел рыть могилу и до мертва засек одного бунтовщика и... Дело случилось после семеновского бунта<sup>38</sup>, и нужны были такие примеры. Малейшие проступки подвергались шпицрутенам, после которых следовало калечье, вчистую самая смерть. Не думайте, чтобы меры такого укрощения касались одних проступков против нравственности или порядка военного; нет, эта гнусная бесчеловечность, строгость преследовала солдата на каждом шагу тогда, когда вся жизнь его состояла именно в одних шагах! С самого раннего утра начиналась выправка этого мученика-солдата. Во-первых, учили его стойке, т. е. неподвижности болвана, не заявляя ни малейшего движения, за исключением глаз, которые должны были для встречи начальника приучаться правильному повороту справа налево! Любопытно было всматриваться в выражение таких остолбеневших, остекляненных глаз, заучивая при этом наизусть и сливая в один голос три дозволенные дикие крика: «Здравия желаю!» на «Здорово, ребята!», «Рады стараться!» на редкое «Спасибо» и «Ура!» по данному знаку. После того начиналось

выгибание, растягивание ног, как самых важных членов для достижения усовершенствования знаменитого в то время церемониального марша. Этот марш служил оселком, проверкой достоинства полкового. Здесь лично государь поверял неподвижность рук, плеч, равновесие султанов, ружей и наконец вытягивание носков при требуемом уровнении одного и того же шага по всей армии. Кларнетист нашего Преображенского полка Шелгунов был облечен полным доверием государя, и ему предназначено было право вводить однообразный по времени шаг. Для этого он становился впереди полковой музыки и, не спуская глаз с своих часов и правой рукой ударяя себя по бедру, давал должный размер шагу. Г-н Шелгунов, как верховный установитель церемониального марша, должен был приобрести вскоре значение соответственно духу того великого времени. Честили его полковые командиры гвардии и в частую выписывали его командиры частей армии. Он даже был вызываем на маневры и принимал в них участие с часами верными в руках.

Такая личность, при полученном им значении, служит характеристикой, чертой, определяющей не только направление, но и уровень ходившего тогда военного ума. Какую важность придавали судам, пересудам при разборе этого церемониального шествия! Надобно было видеть вытянувшиеся лица стоявшего, например, у развода генералитета, объятых каким-то страхом до разрешения вопроса, быть или не быть торжеству или неудаче бранного учения! Здесь, в зимнем манеже, начал флигель-адъютант капитан Клейнмихель<sup>39</sup>, числившийся в Преображенском полку, свою верную службу: прервал все сношения свои с однополчанами, чтобы стать выше всякого подозрения, он следил беглым шагом за всеми построениями, вносил их в книжечку и по окончании развода подносил ее с своими заметками. Тут слышались поздравления, отрывистые похвалы или же роковые порицания. Все эти подробности, схваченные с искаженной природы, вовсе не так мелочны и ничтожны, как они с первого взгляда кажутся. В этих подробностях отражается и заключается вся умственная деятельность того времени. Направленная и сосредоточенная в пределах самого узкого и ограниченного воззрения, она не могла выдвигать из среды военных ни способных, ни даровитых людей. Будущие полководцы, люди боя, были немыслимы, невозможны; они впоследствии не оказались, и не оказались потому именно, что введен был учебный шаг. Как ни ничтожна эта причина, но она произвела те всеобъемлющие в правлении действия, которых будем мы свидетелями и жертвами. Шаг этот имел все то чисто историческое значение, которое я ему приписываю; ибо это был первый шаг, сделанный правительством по тому бессмысленному пути, по которому оно думало вести неподвижную Россию. Чтоб объяснить данное мною значение в смысле гражданском военному этому шагу, чтобы понять, каким образом такая кажущаяся с первого взгляда маловажная, ничтожная сама по себе причина могла иметь такие ломкие последствия, нужно выследить от самого первоначального его появления в России.

Но я уклонился от своего предмета, или, лучше сказать, от своих судей, спокойно, смиренно расположившихся в своих креслах. Такое отступление в моем рассказе было более естественно, чем умышленно. Переступив порог и взойдя в это судилище, я невольно должен был, прежде всякого другого ощущения, осмотреться, где я, с кем я и что это за пестреющая картина, так эффектно раскинутая передо мною? Что это за разночинные, разноплеменные личности, вставленные в нее? Признаюсь, после шестимесячного одиночного тайного заключения, почти одичалый, я при виде такой картины подвергся невольно, не скажу смущению, а скорее, какому-то тревожному и даже радостному чувству, свойственному и доступному только одному заключенному, на мгновение выведенному из темницы в мир живых. Невозмутимо также я бросил испытующий свой взор на всю эту невежественную, позорную толпу судей и, спокойно возвратя его на самого себя, пришел к тому в высшей степени страдательному заключению, что люди, которых я почти всех знал если не лично, то по их общественной известности, уронят, погубят нас, себя, царя, а с ним и всю Россию! Отступление мое, выше сделанное, объясняется этим воззрением; я должен был при виде этих судей общими чертами выказать среду, из коей они были выдвинуты и назначены, должен был вкратце проследить и дух того времени, и людей, выразивших не токмо невежественный застой мысли, но и малейшее проявление ее в смысле гражданского преуспеяния.

Обложив их, как я сказал, этой жалкой данью, я должен был также проверить и себя и перенестись к тому времени, и предстать перед судьями при тогдашних еще свежих моих верованиях. Нет! никакие десятки лет, никакие последовавшие ослабления телесные и душевные, никакие горькие разочарования не могут изгладить впечатления, вынесенного нами по выслушивании приговора!..

Человек, т. е. подсудимый, живет, так сказать, только в этот момент! Для осужденного это предел его духовной жизни, за которым прекращается весь процесс его действующей воли, без которой человек перестает быть бесконечно всеобъемлющей причиной, а остается только слабым и не всегда верным ее следствием. Я останавлиюсь на значении этого окончательного действия будто бы мнимого правосудия, выражающегося общепринятою формой, или приговором. Здесь я говорю исключительно о взводимых преследованиях чисто политических. Ряд этих поступков, преступлений имеет или должен иметь особый отдел, не подлежащий непреложному, неизменному какому-нибудь установленному узаконению. Во всяком гражданском, уголовном деле действия, проступки, преступления довольно ясно определяются и не подлежат истолкованиям, оспаривающим самую сущность дела. Воровство, поджоги, убийство и пр. везде будут преследоваться и подвергаться наказаниям. Способ преследования и меры наказания только могут отличать законоположение государства одного с законоположением другого. Чем выше стоит уровень образования, тем выше стоит и нравственность; чем более имеет человек

ограждений, тем более он их охраняет; чем более он имеет прав, тем более их он чтит в другом; чем более он имеет, тем более дорожит своим достоянием и тем менее он падок на какие бы то ни было противозакония. Уголовная статистика многих благоустроенных государств своими фактами может, несомненно, служить основным доказательством. Итак, понятия относительно уголовного и гражданского проступка почти сходятся, почти сливаются и, более или менее, приближительны к истине. Но таковы ли отношения к истине политической? Здесь расходятся вконец и мыслители, и друзья человечества, и отъявленные его враги. Здесь все подчинено таким или другим условиям господствующей в государстве власти.

Какие резкие противоположности в устройстве общественном одной страны с другой. За речкой, например, слышится свободное слово и, прислушиваясь, вы услышите всегда громкое слово здравого смысла, заглушающего слово желчное, страстное, не соответственное установленному порядку; там же и свобода печати восстанет против всякой лжи и обнаружит и козни и направления, зыблющие страну. Какие бы ни были подняты вопросы, все они обслуживаются гласно, а потому здраво и благонамеренно. Право сходок содействует к освещению и разрешению возникающих новых интересов земли. За речкой или за океаном — вопрос один и тот же (прошли те поверия, которыми утверждалось, что другая или иная широта необходима для условного развития человеческой мозговицы); выборное начало применено как к законодательной, так и к исполнительной власти; там всякий для себя, как все для всякого; там блюститель за всех и за всеми — народ весь, действующий посредством своих выборных, за которых он и порука и ответчик; он один и повышает свои власти, и сменяет, и понижает, оказывая им доверие или лишая их оно. Там судебная власть стоит самостоятельно, отдельно, не подчиняясь никакому другому влиянию, как влиянию совести и закону, установленному законным большинством. Там суд присяжных, применяемых к делам гражданским, уголовным, политическим (если только могут они возникнуть) и делам печати, служит ограждением прав каждого. Там законодательная палата, свободно избранная большинством неподкупным, решает полновластно возникшие общественные вопросы, оберегает народное имущество, составляет, утверждает сметы, обнимает в своих действиях все отрасли государственного управления; она одна двигает, направляет, устанавливает ход, непременно вращающийся в данном кругу, правительствующего снаряда. Там исполнительная власть, законом ограниченная, действует всегда правильно в данных пределах и по тому самому слагает с себя всякую личную ответственность, облекая лицо, ее представляющее, в какую-то неприкосновенную святость, которою весь народ дорожит превыше всего. Лицо это, поставленное вне домогательств временщиков, таких или других сторонников, всегда будет для них чуждо, оставаясь верным одному народу, одному общему благу. “The king cannot wrong!” [Король не может делать зла! (англ.). — *Сост.*] — гласит англий-

ская хартия<sup>40</sup>. И подлинно: «Всем добро, никому зла!» — говорит и у нас песенка, но ведь это только песенка!

Завидная участь тех избранных на царство, понявших свое истинное значение. И как жизнь этих лиц, обставленных законом, и счастлива, и спокойна, и безмятежна! Завидная, право, их участь, хотя, конечно, прямых мыслителей на престоле было и есть мало! Спрашивается, почему же это число так мало? Лица ли лично виноваты, или люди, или среда, в которой они кружатся до первой случайности, до первой ломки? Во всяком случае, скажу и я с другими, что народ имеет то правительство, которое он переносит, а потому и заслуживает. Я, по справедливости, а может быть по чувству чистой зависти, заглядывая в чужое и невольно восклицал: «Там-то, там хорошо и подручно и то, и другое, а у нас-то!» Теперь воскликну, наконец: «Да! У нас-то, у себя, на дому, на Руси!..» Господи! прости нам более чем согрешение, прости нам нашу глупость! Да, знать не знаем и ведать не ведаем, что сотворили, и это в течение тысячи лет!.. Обок нас соседи, современники этого времени, двигались, шли и опережали нас, а мы, только и славы, что отделались от татар, чтобы ими же и остаться. Посмотрим на наших просветителей.

Петр, например, как тень выступает из царства этих мертвых! Конечно, он велик! В нем были все зародыши великого, но и только. Предпринятая ломка отзывалась той же наследственной татарщиной. Он не понимал русского человека, но видел в нем двуногую тварь, созданную для проведения его цели. Цель была великанская, неуместимая в бывших границах России, и взял он ее, сироту, и, связав ей руки и ноги, окунул головой в иноземщину и чуть-чуть не упустил ее из длани и под Нарвою, и под Полтавою, и на Пруте<sup>41</sup>. Счастье вынесло его на плечах и выбросило его целым во всей его дикой наготе на открытый им и им заложный берег. Волны его смущали и обнимали страхом, который он не мог и не умел побороть. Берег, напротив, его одушевлял, окрылял его воображением и придавал ему нужные силы. Там, на берегу, хотя пустынном, зарождались его мечты, замыслы и пророческие вдохновения. Там он вздумал отложиться от прошлого, от всего русского и заложить основание новой России<sup>42</sup>. Он бросил старую столицу, перенес свое кочевье на край государства только для того, чтоб жить всем, и ему в особенности, по-своему и заново!

Бросить Москву было немыслимо, но для него возможно. Москва еще стояла при всей своей вековой, исторической святости, и это послужило ей в гибель. Все бывшее его раздражало, язвило, и он, не выносив попов, начал с храмов. Там священнодействует патриарх — он сан патриарший хочет уничтожить и для этого православно заявить себя главой церкви!..<sup>43</sup> Там великолепные царские терема, напоминающие византийский склад и вместе строгость нравов царей; он хочет завести свое зодчество, свои нравы, и пойдут пирушки, ассамблеи и вместе весь иноземный разврат... Там стояла изба, куда стекались выборные от всех городов, от всей русской и решали в земской думе, чему быть<sup>44</sup>; он не хотел этой старины,

он заведет и свой синод, и свои коллегии<sup>45</sup>, и свой сенат!<sup>46</sup> Здесь будет все собственно свое и все свои! Там были стрельцы; он их перебьет тысячами и разгонит<sup>47</sup>; у него на болоте и в заводе их не будет; наконец, там одно чисто русское, а русские-то ему не под руку. Не с нами же ему ломку ломать, да и не с нами же жить!<sup>48</sup> Он обзаведется и немцами, и голландцами, и одними чужими людьми! Москве не быть, а быть на болоте Петербургу, сказал он себе, и быть по сему. Назвав кочевье свое не градом, а бургом, он не Петр, а уже Pitter, да и говорит, и пишет по-русски уже языком ломаным французско-немецким и т. д. И чего стоит это задуманное на чужбине кочевье, сколько тут зарыто сокровищ, казны, как говорили, а еще более—сколько тут зарыто тысяч тел рабочих, вызванных из отдаления и падших без помещения от холода и изнурительных работ! Нужны были пути сообщения, правда, сам он лично бродит по болотам, по лесам; сам он решает меты, ставит вехи,—но сколько здесь пало народу! Нужна была для этой цели его творения стальная длань при помощи мягкой восковой руки русской! Но пусть Москва, пусть народ молча глядит и переносит всю тяжесть ломки—то было их время и то были люди того времени; но мы, отдаленные их потомки, прямые наследники, с одной стороны, этого чудовищного бесправного своеволия, с другой—этого подобострастия, которое не допустило нигде и ни в чем выразиться ни малейшему сопротивлению, могли ли мы, сочувствуя всем бедствиям, перенесенным Россией, и свидетели таких последствий Петрова строя, могли ли мы не отнестись с должным вопиющим негодованием против того печального прошедшего, из которого вырабатывался так последовательно жалкий, плачевный русский быт настоящего времени? Ненавистно было для нас прошедшее, как ненавистен был для нас Великий, заложивший новую Россию на новых, ничем не оправданных основаниях<sup>49</sup>. Ломовик-преобразователь отзывался какою-то дикостью, не соответствующею условиям призвания человека на все творческое, великое! Он был варвар бессознательно, был варвар по природе, по наклонности, по убеждению! Характер его сложился и развивался при обстоятельствах, тогда же вызванных, но не менее того раздражительно на него действовавших. Он шел неуклонно, безустально к заданной себе цели и везде, и всегда, до конца жизни, он видел... нет, ему чудились поборники всего старого, а он, как неусыпный страж своего нового дела, должен казнить, преследовать мнимых или действительных врагов своих. Воля его росла, укоренялась наравне с неистовой жестокостью. Сердце его не дрогнет даже над участью собственного сына, и он приносит его в жертву с какой-то утонченной злобою! То был не порыв страсти, быть может, оправданный мгновением, запальчивым бешенством, понятным в такой натуре,—нет, это было действие долгого мышления, и холодно, и зверски исполненного—ужасно<sup>50</sup>.

Каков он был к сестре<sup>51</sup>, к сыну и вообще ко всей своей семье, таков он был и к большой семье русской... Он, как вотчину, точно любил Россию, но не терпел, не выносил и, что еще более, не уважал собственно

Русских. Достаточно было вида одних бород, зипуна, а не немецкого кафтана, чтобы приводить его в преобразовательную ярость. Нет, он не только не уважал, но презирал во всю привитую себе немецкую силу все тех же Русских.

Всегда пьяный, всегда буйный, он неизменно стоит тем же Pitter'ом и в совете, и на поле битвы, и на пирушках! Не изменит он себе и останется себе верен до конца; и какой конец! Конец самый позорный, самый поучительный для потомков и разъяснивший, будто бы, загадочную душу Великого! Здесь, на смертном его одре, мы его слышали, проследили и разгадали великую его ничтожность. Великий отходит, отходит не внезапно, но долго, при больших страданиях, но при своем, как всегда, уме. Часы торжественные, предсмертье. Здесь человек, как будто сбрасывая свою земную оболочку, облекается в обеленные ризы предстоящего суда (он же и был главой Христовой церкви) и высказывает свое последнее, заветное слово. Слушаем не мы одни, а вся вздрогнувшая Россия, ожидавшая этого царского слова... «Да будет венчан на царство, кто будет более его достоин!» И вот каким неразгаданным, неопределенным словом подарил Великий несчастную, презренную Россию. И это слово было произнесено при ком? При том же неопределенном пока Данилыче<sup>52</sup> и при той же Катише, незадолго перед тем не без умысла коронованной!<sup>53</sup> Слово это выказало Петра во всей его государственной или, лучше сказать, правительственной ничтожности; тут он выказал свое могучее «я» во всем отвратительном, укоризненном смысле. Явление, объясняющее чисто одно эгоистическое чувство в любви к России. Как человек, обнимавший все отрасли государственного управления, конечно, насколько они были доступны для его полуобразования, человек, который силился все вводить и упрочивать (все-таки по своим недозревшим понятиям), и этот самый человек не думал и не хотел думать об установлении и упрочивании монархического после себя престолонаследия<sup>54</sup>. Такое упущение мысли мы объясняем его собственным развратом и чувством того презрения к Русским, которое, по несчастью, без правильной, законной передачи престола, он умел передать и тем, которые случайно завладели на произвол брошенным им престолом.

Разврат его, как ни был он постоянно велик, превзошел все пределы, когда, не уважая ни себя, ни Русских, он взял Катишу в наложницы, а под конец сочелся с ней браком.

Человек, чувствуя за собой способности, как Сатурн, пожирать своих детей<sup>55</sup>, должен был, хотя бы с целью предусмотрительности, взять женщину свежую, целомудренную, с силой производительной, а не развратную чухонку, переходящую из рук в руки его любимцев и не способную к деторождению. Он отходит, и нет ему наследника; наследника зарыли в могилу<sup>56</sup>. Есть наследник прямой, но он мал и не поднять, и не нести ему выпадающего из охладевшей руки тяжелого скипетра. К тому же и обойти Катю, ту самую, которую хотел некогда казнить<sup>57</sup>, но не имел духу и не имел также духу обречь ее на царство.



«Пусть,—сказал он,—венец достанется достойнейшему». И сколько в этих словах все того же прежнего произвола. Во-первых, он отвергал законное право на престолонаследие в лице внука, Петра II<sup>58</sup>; во-вторых, таким беззаконием он узаконил все происки, все домогательства к захвату престола, предоставленного произвольным случайностям, и, наконец, ввергал Россию во всю пропасть преследований, ссылок и казней, ознаменующих всякое воцарение. С этой поры началась, как мы видели, постыдная эра женского правления, исполненная безнравственными примерами, столь омерзительными, сколько и пагубными государству. С этой поры начал входить в состав высшего правительственного слоя целый ряд временщиков, получавших свое значение в царских опочивальнях. Число этих вводных лиц возрастало с каждым царствованием и, наконец, образовало поддельный класс той аристократии, богатство которой служит свидетельством, до какой степени допускалось грабительство и расхищение народного достояния. Так чувство презрения Петра к Русским переходило по наследству к каждому преемнику с возрастающей силой, и мы видим, до чего оно доходило в царствование Екатерины, второй по имени, но шестой по своему полу<sup>59</sup>. В жизни народов есть такие явления, которые никак не подходят под какое-нибудь приложение такого или иного исторического начала. Спрашивается, каким образом мог вторгнуться, без всякой естественной причины, этот являющийся вовсе новым небывалый женский элемент в неперменном условии вводимого управления? Ужели это была варварская случайность, или же обдуманная система государственными людьми того времени? Шесть сряду правительниц царят в течение почти целого века, и каждая из них при особенных обстоятельствах произвольно возводится на престол, и при соблюдении условленных приличий будто бы закона заведывает государством! При таких непрерывных случайностях, при таком отсутствии всякого законного права на престол можно спросить себя (конечно, не их): нет ли тут навевания польского духа и престол Русский не обратился ли в престол избирательный? И проследя этот жалкий факт в шести позорных картинах, не вправе ли каждый отчасти мыслитель придти к этому заключению? Избирательный престол (положим, хотя бы и входило это начало своекорыстных временщиков, вельмож того времени),—но где же те условия, которые освящают избрание? Петр вымолвил—достойнейшего после себя: но кто же будет определять это достоинство и кому передал он это право? Ужели все тот же всесильный грабитель Данилыч, человек, которого он дважды судил, засуживал, за все прощая, ужели, говорю я, он, Меншиков, будет один решать, кому быть? И кому же и не быть, как не той же опять Екатерине! Вот на чем остановилась, конечно, предсмертная мысль Петра. Его презрение к Русским не пошатнулось в нем и в последний, торжественный час его жизни. Он знал Русских, знал в этот момент и себя! Не имея ни воли, ни духа гражданского, он сложил с себя гласную ответственность перед потомством и дело порешил на смертном одре. Тут Питер, Катиша и Данилыч в этом навсегда позорном

триумвирате (это таинственное число имеет всегда поверхностный и временный успех)<sup>60</sup> условились, чему быть и кому быть, и тихо, и быстро! И бедная Россия, со введением начала ничем не узаконенного избирательного престола, подверглась испытанию тех нравственных потрясений, которые так тяжко, так безотчетно отзывались на ее общественный быт. И разве Петр не мог отвратить этого зла? Разве не было у него внука, и если он находил его малолетним, то не мог ли он назначить ему соправителей? Если он и тут затруднялся, разве не было у него Синода и Сената и достаточно государственных чинов, на которых он должен был возложить обязанности такого назначения, или же назначить временного, до совершеннолетия внука, соправителя? Нет, не стало, как говорится, Петра на такое дело, и Русские, истинно Русские, давно заклемили должными порицаниями—между прочим и действиями—и действие, по счастью, последнее его жизни. Петр был уже невыносим для России; он слишком был своеобразен, ломок, а пожалуй, говоря односторонне, и велик. Велик! Но не в меру и не под стать; он с Россией расходился во всем; он выражал движение, другая же—застой. За ним была сила, не им открытая и созданная, а подготовленная, и он ее умел усилить к окончателюму порабощению. Преобразования его не есть творчество вдохновительной силы, которая истекала бы из него самого. Нет, он не творитель, а подражатель и, конечно, могучий; но как подражатель полуобразованный и вместе полновластный, введенные им преобразования отзываются узким, ложным воззрением скороспелого государственного человека! Впечатлительный, восприимчивый, и нося в себе, неоспоримо, все зачатки самобытного призвания, он не мог, при азиатской своей натуре, постигнуть истинно великое и ринулся, увлекая за собою и Россию, в тот коловорот, из которого и поднесь не находится спасения! Так глубоко запали и проросли корни надменной иноземщины. Способность его подражательности изумительна. Настойчивость его воли придавала ему силу исполнения, и мы видим, как все приемы его были и решительны, и объемны; но вместе с сим мы чувствуем, насколько его нововведения были и насильственны, и не современные, и не народны. Не восстают ли теперь так гласно, так ожесточенно против так называемой немецкой интеллигенции, подавляющей русскую вконец? А кто же выдумал немцев, как не тот же Петр? Не он ли сказал: «Придите и княжите, онемечьте Россию, и да будет вам благо!»<sup>61</sup> И подлинно, на первых же порах за княжил Остерман (вполне острый ман)<sup>62</sup> и давай играть русским престолом и судьбами России! Тут же вскоре и Бирон<sup>63</sup>, но этот уже не за княжил, а за царствовал и давай Русских и гнуть, и ломать, и замораживать целыми волостями, выводя их босыми ногами на мороз русский! Чего вы, мои бедные Русские, не вынесли от этих наглых безродных пришельцев! Но пришельцы эти были вызваны, водворены (они все были бездомные) великим преобразователем для затейного им преобразования. Но что это за звание, или призвание преобразователя? Есть ли это высокое вдохновение, свыше данное собственно лицу,

отделившемся от человечества, или же это есть обязанность, назначение каждого, отдельно взятого, из царской касты, вступающего на престол? Что касается до меня, то, не вдаваясь ни в какие догадочные умозаключения относительно преобразователей заморских, я, не выходя из пределов наших и основываясь на выводах исторических, чисто русских, скажу, что дух преобразовательный обнимает не одно лицо в силу каких-нибудь предопределений, а каждую и каждого, появляющегося на царство.

Петр — первый заявил себя ломким преобразователем, первый имел эту манию и мания эта же, не с такой силой, конечно, стала занимать, волновать, обуревать всех последовавших ему венценосок и венценосцев! Нет ни одной, ни одного из них, который бы не задумал себя показать и хоть чем-нибудь да прославить себя, конечно, не расширением прав народных, но расширением собственных своих в виде изменения одного другим! Проследите повествования наши, за исключением обычного указа о возвращении сосланных в Сибирь, о прощении недоимок и о перемене, конечно, не формы правления, а формы мундира, вы усмотрите ряд изменений, назначений, наград, и весь этот деятельный шум и треск, сопровождающий всякое новое царство<sup>64</sup>. Такая мания одинаково будет действовать, в большем или меньшем размере, в увеличивании налогов, а главное — пределов империи. Таким образом все они, волей или неволей, и преобразователи, и завоеватели. Достойные, право, люди исторической памяти! Но для них не настало время истории.

Итак, Петр заявил себя неуклонным, упорным преобразователем! Но что же вызвало и навело его на такое сложное и трудное поприще? Вопрос естественный и крайне любопытный, но, признаюсь, не входящий в мое исследование. Здесь надобно бы призвать на помощь и самую психологию, она же оставалась для меня всегда какою-то *terra incognita* [земля неизвестная (*лат.*) — *Сост.*], и потому не нахожу надобности зарываться в глубь этого человека. К тому же весь он и дела его налицо! Из таинственных причин, подействовавших на его впечатлительный ум, есть все-таки одна сторона, оставшаяся как бы не выслеженною, а именно: первоначальные, заронившиеся в нем религиозные зачатки. Как человеку исключительно властолюбивому патриарх ему мешал, и он заранее думал и мечтал об уничтожении такого равносильного ему явления. Меня всегда приводило в раздумье, какая мысль влекла его в Саардам<sup>65</sup>, почему он, слагая с себя императорский сан, превращается вдруг из Романова в Михайлова<sup>66</sup>. Почему этот неуч, не жаждущий науки, взялся за топор, а не за книгу? Ведь он в Голландии, под рукой Гаага, и Лейден, а также Амстердам, средоточие тогдашнего движения умов; там гремели уже учения нового права, там... но он не ищет пера, а ищет секиру, и находит ее. Но что это за пример смирения в этом Михайлове, изучающем плотничье мастерство? Не так ли заявил себя и плотник Назаретский?<sup>67</sup> Нет ли тут искренней, чистой религиозности и не увидим ли мы в нем нового пророка или последователя Христа? Да, он заявит себя пророком, и долго, долго пророчество его будет служить путеводною

звездой для его преемников. Да, он предрек падение патриарха и сам своевластно заменил его и силою собственного указа признал себя главою церкви! Таким образом он подчинил не свободную, а раболепную церковь государству не свободному, а раболепному. Таким образом русское духовенство утратило навсегда право на приобретение возможности влияния на общество и осталось так же невежественно, как оно было и как сие и требовалось.

Спрашивается, какое же могли иметь влияние пастыри такого рода на паству в отношении нравственного, христианского преуспеяния? Ничтожно, неподвижно и безответно стоит и о сию пору духовенство. И нет его в час нравственного распада, или же невзгоды и общего горя. Но цель достигнута: духовенство не вызывает опасения, двигателей против единодержавия и одним врагом меньше для него<sup>68</sup>. Впрочем, допуская невежество, слитое с суеверием и фанатизмом, конечно, такие меры более чем необходимы; но при духовном образовании, освещенном духом истинного христианства, найдется в нем не помощь, а целая сила для поддержания разлагающегося чисто общественного организма.

Пророчества Петра обняли почти все отрасли правления, и во всей своей ломке он вносил дух, поистине ему свыше вдохновенный<sup>69</sup>. Как объяснить хотя бы и подвиг, совершенный против патриарха, подвиг, равнявшийся в то время величайшему святотатству, если не допустить в нем усвоения свыше посланного ему призвания для совершения такого дела? Есть люди, так странно и наскоро, вероятно, сколоченные, что трудно их подвести под уровень самого ясного умственного мерила. Люди эти, по большей части, вынесенные судьбой на плечах народных, достигая некоторой степени высоты, подчиняются законам какой-то новой для них формации и всем явлениям процесса перерождения. Тут, теряя бывшую точку земной опоры, они отделяются от человечества и, сближаясь с искомым божеством, поступают в его непосредственное ведение. С этой поры не ищите в них воли собственной; они действуют, как страдательные существа, по воле найденного ими по себе бога. Они делают безответными и требуют слепой покорности и повиновения не к себе, а к тому божеству, к которому они сопричастны! И мало ли в истории появлений таких странно перерожденных личностей!

Как обильна история этими примерами!

Иудеи жили на особенных правах, и потому они не могут служить мне подтверждением моего довода. К слову: есть, однако же, и у нас одно сближение с этими евреями—это именно то, что как они, так и мы о сию пору не поняли истинного Христа. Итак, примемся хотя бы за Македонского!

Посмотрите его в Греции, а впоследствии в Индии; там он сын Филиппа, здесь—самого уже Юпитера<sup>70</sup>.

Магомет посредством архангела Гавриила оцепляет современный ему мир<sup>71</sup>.

Александр благословенный, полуживым народом отрытый из-под

пепла московского и им же выброшенный в Париж, поставленный выше царей земных, не довольствуется такой высотой и для дальнейших своих видов стяжает славу другую, а именно: вступает сам на службу, как понимал он ее по-своему. Для этого он не содрогнулся изорвать свой старый формулярный список, исписанный хотя и не большими подвигами любви к народам, однако же довольно свидетельствовавший прежние его стремления.

У старца Нумы была какая-то Эгерия<sup>72</sup>—Александр нашел себе если не нимфу, в строгом смысле слова, то почти ей подходящую, а именно баронессу Крюденер<sup>73</sup>. Вот его путеводная вдохновительница; она его помирила с самим собою, определила к новой службе и сблизила с богом, избравшим его своим орудием, исполнителем верховной воли! Не ищите его бывшей высочайшей воли; нет, он смирился, преобразовался, обновился другою плотью и отказался от бывшего себя!

Волю он будет выражать, но не свою. Под высшей над ним волей он перестает быть ходатаем прав народных и делается угнетателем и преследователем нарождающихся тогда стремлений к свободе. Облеченный в ризы нового Верховного Жреца, Александр образует новый Священный союз<sup>74</sup>. Охранение веры, прав царских и бесправия народов служило основанием этому союзу, наравне бесчеловечному и безрассудному, как союз Пильницкий<sup>75</sup>, столь пагубный по своим кровавым и поднесь еще последствиям.

С какой бы точки зрения ни рассматривался этот союз, все стороны его равно узки, насильственны и неестественны.

Та же вера, которую он силился толковать в свою пользу, его засудила как несоответствующего любви и терпимости христианской.

Братство царей уничтожилось ими же самими. Происки, козни тут же стали тайно появляться именно против главного основателя, которого не выносили из-за полученного им в Европе влияния. Они опасались найти в Александре другого Наполеона особенного рода. Союз против него был тут же заложен, хотя и тайный, но заявлявший себя в продолжение многих лет<sup>76</sup>.

Меттерних, выбивший Александра из строя либералов, избил его нравственно вконец. В Вероне, еще могучий, он торжественно заявляет, что господь ему вверил 700 000 штыков, конечно, для умиротворения Европы, т. е. подавления всех народных тогда стремлений и даже любимой им и Россиею... кого же?— Греции!<sup>77</sup>

Вот до чего этот человек изменил себе и тому человечеству, которому он хотел посвятить все силы, все свои умственные и душевные стремления. Стремления? Но были ли они его собственными, и насколько он был ими проникнут? Вот вопросы, возникшие при начале его царствования и получившие грустное свое разрешение, когда настало время выступить ему всецельно, своеобразно на поприще эры возрождения народов. Восемьдесят девятый год прогремел при той осветительной и изгоняющей мрак молнии; народы вздрогнули и стали внимать новому слову, новому

праву<sup>78</sup>. За словом начаясь ломка всего старого, отжившего, неприменимого к обновляющемуся обществу, но ломка первоначально производилась с достойною решительностью и в пределах возможного при таком перевороте благоразумия. Противодействия, конечно, как присуще старому строю, должны были возникать и препятствовать естественному ходу данного движения. Но все эти противодействия бессильно замерли бы и не помешали бы законно и мирно водвориться новому искомому порядку. Вздрыгнули народы, говорил я, но вздрыгнули вместе и их правители, затронутые в своих насильно увековеченных правах. Они вздрыгнули и взялись не за слово, а за оружие! И здесь-то является тот грозный замысел скучившихся государей, замысел страшный по своему объему, по силам, которыми они насильно распоряжались, по вмешательству в чужое дело и, наконец, по заложению начала кровавой борьбы правителей с народом. Вот какими пагубными, незаконными началами ознаменовался замысел, обнаружившийся под системою Пильницкого союза. Этот исторический памятник, воздвигнутый хилыми руками, как ни силились правители его поддержать в целости, рушился, наконец, в виде позорных для того времени обломков! Эти обломки свидетельствуют о тех кровавых бурях, которые поднялись народами для низвержения памятника, сложенного из человеческих костей. Пильниц, как тот же сфинкс, стоит еще в истории. Нет, он недостаточно разгадан, недостаточно разобран в бесчисленных его последствиях на судьбу народов и цивилизации. Вообще Пильниц хотел своротить, попятить движение века, и он этого не смог сделать и был сам утоплен в вызванном им потоке крови. 89-й год правильно, бесстрастно совершает свое преобразовательное движение, как вдруг раздается перед ним дикий голос Пильницкого зверя, и вскоре, раздраженный со всею силой мстительной страсти, этот смиренный 89-й год превращается в ожесточенный 92-й<sup>79</sup>. Пильниц раздвоил Францию, и одна из них должна погибнуть; погибнет слабый Людовик, поддавшийся иностранному внушению, погибнет королевское семейство и все сторонники древнего порядка<sup>80</sup>. Ожесточение вызвало страсти, страсти—гонения, и явился Конвент<sup>81</sup> в пылу мстительного патриотизма; он действует беспощадно, зверски,—гибель людей—ничтожный исход при спасении лишь одних начал! Конвент должен подавить внутреннего и внешнего врага! Эшафот против первого, 14 армий против другого! Революция изменяет свой вид, но характер движения остается все прежний. Наполеон все тот же революционер, тот же представитель нового времени. «Лучший день моей жизни,—пишет он из Италии,—будет день водворения эры республиканской». И пока он искренно или поддельно идет к этой цели, народы в каком-то ожидании почти ему сочувствуют! Как новый человек, он все старое громит и громит старых ничтожных правителей, которые замыслили уничтожение Франции. Наполеон выказал всю ломкость тогдашних престолов; он обнаружил всю слабость, ничтожность тогдашних народовладельцев, и до какой степени они прикосновенны и удобовзвимы! И не было ему ни предела, ни препон! За Пиренеями, за Альпами,

за Рейном он всех их равно поражает, равно срывает с них личину и выставляет в жалкой, презрительной наготе! Казалось, что час старины ударил—и возникнуть, и быть новому миру на новых началах. Нет! Наполеон не понял духа времени, не понял своего назначения и пал, как падают и все строители на песке, т. е. на властолюбивом бесправии. Отуманенный громкими, но легкими успехами и удачами небывалыми, объясняемыми ничтожною посредственностью ему современных соперников, Наполеон становится тылом к революции и ищет силы другой, силы божией, которой он стал верить. Сбрасывает с себя фригийскую шапку (о которой он вспоминает, но уже поздно, на острове Елены)<sup>82</sup> и хватается за венец, и за какой же другой, как не императорский? Такое превращение требовало помощи свыше, и он делается восстановителем не столько веры, церкви, но нужного для его целей духовенства. Он хочет венчаться на царство, как истый католик и сын церкви, и должен призвать для освящения своего того же Пия VII, которого, как сын той же церкви, он впоследствии позорно схватит и заточит<sup>83</sup>.

Восстановитель империи и престолов кончил под историческою тяжестью, и если он оказал человечеству услугу, то она состояла в разрушении Пильницкого союза. Повторяю, не без умысла, союз этот влек вызов на бой народов—вызов, ими принятый со всеми ожесточениями угнетенных против притеснителей; вызов страстей во Франции ответил самыми отчаянными порывами. Союзники сбили с пути слабого короля, завлекли его, Австрийку<sup>84</sup> и всех знатных в пропасть смерти! Они вызвали свой эшафот, вызвали все те меры, поражающие нас своими ужасами, потому что и люди—деятели и время то для нас остались еще неразгаданными; они вызвали тот поголовный взрыв, образовавший 14 армий, которые и служили после честолюбию Наполеона, так же вызванного обстоятельствами...

Франция, предоставленная сама себе, без вмешательства, совершила бы, быть может, свой революционный путь при других, конечно, условиях и Наполеон был бы немислим и за ним и все те войны, которые отзывались одинаковыми зверствами, как и уличные побоища в Париже! Но эти мы клеймим печатью варварства, первые же—печатью славы! Все ужасы Франции ограничиваются семьюдесятью тысячами человек, тогда как войны уносили миллионы!

Немыслим был Наполеон, говорю я, немислим был и сам Александр, оевропеившийся в ущерб некогда своей России. Наполеон был чисто произведением случайным случайных обстоятельств, а по тому самому, почему не объяснить факт его возвышения фактом, выходящим из непрменных исторических законов? Заподозренный и неопеняемый, он хотел удалиться из Франции и идти искать счастья в Турцию и даже в Россию. 13-го вандемьера он удачно покартечничал парижан и расчел, что число их достаточно и для будущих уличных его приемов<sup>85</sup>.

Мыслим ли был Александр таковым, как мы его видели впоследствии? Мирный, кроткий, почти юноша, чуждый порывам честолюбия или власти

(все это было за ним), вдруг превращается в какого-то несозревшего воина и ищет славных приключений. Осторожность его уронила в глазах собственных и в глазах соотечественников. С тех пор заронила в нем та пагубная страсть к военному делу, обратившаяся со временем в неотразимую манию. Тут же Александр, по несчастью, осуществляется и делается жалкою действительностью не только для России, которую он бросил, но и для Европы, которую он думал и усмирить, и устроить, и пр. Он дважды пойдет еще на своего противника, удалит Сперанского<sup>86</sup>, сдаст Москву, взойдет в Париж. Целый год свободничает, велит хилому Бурбону дать Франции конституцию<sup>87</sup>, слушает лекции Вильмена<sup>88</sup>, едет в Лондон<sup>89</sup>, слышит оппозиционную речь Брома (Brougham), поздравляет его, жмет ему руку, обещает немедленно завести и в своем государстве оппозицию<sup>90</sup> (он ее и встречает в Чугуевском бунте<sup>91</sup> и в других местах), едет на Венский конгресс, поражает всех своими свободолобивыми речами. 13-я статья конгресса вся в сущности его<sup>92</sup>; присваивает себе Польшу<sup>93</sup> и, только под могучим своим влиянием, склоняет противников согласиться на право, требуемое им неуклонно, дать этой Польше конституцию<sup>94</sup>.

Дойдя до конца тетрадки, я только опомнился и ужаснулся перед длинными моими отступлениями. Забыл, что я перед судом и как составители этого суда нетерпеливо меня ожидают! Но должен сказать, что я счетов своих не кончил с Петром и с Александром еще менее. Возвращусь к ним на досуге.

В отступлениях моих я не ищу оправдания в неправильном изложении мыслей. Я нисколько не думал и не думаю себя стеснять заданным себе предметом в таких-то формах или границах. Нет, я пишу на особенных правах человека, вынесшего на себе все следы болезненного воображения. Печать темницы не изглаживается, и память сердца сильнее всякой другой<sup>95</sup>. Вы слышали, как заточение отзывается на умственных способностях узника. Как часто он падает в борьбе и нисходит на степень бессмыслия! Иначе и быть не может. Человек при жизни не может не жить, т. е., не мыслить<sup>96</sup>. Убить, так сказать, эту способность, пока я жив, не может та сила, которая думает меня на ходу остановить. При данном допущенном движении мысли никакие затворы не воспрепятствуют ее духовному действию. Темница, заключая человека в вещественное бездействие, не только не притупляет способность мышления, а как бы служит возбуждающим, более усиленным средством к ее деятельности. Мысль собственно питается действием; действие есть тот условный клапан, без которого снаряд наш мозговой не может правильно и действовать. При отсутствии такого клапана два неминуемые следствия: или же этот снаряд должен непременно лопнуть, или же, при меньшем напоре мыслей, даст скважины, сквозь которые они будут просасываться, отделяться болезненною сукровицей. Увы, и самая мысль имеет свое вещественное и свойство и начало, а с мыслями соприкосновенна и душа, явление которой так сбивчиво при одних или других условиях ее неперемennых действий. Я говорил о неминуемых следствиях заключения



на умственные способности узника и заявил два главных из них, а именно: или снаряд нашего мышления лопнет, или станет неправильно, судорожно действовать. Эти два вида резко выразились в нашем деле на первых же порах. Я не стану обращаться к тысяче других примеров. Кавалергард Поливанов, замешанный по нашему делу, вскоре по содержанию в крепости впал в такое умственное расстройство, что, из приличия к благоустроенному Павловскому заведению, перевезли его в военную сухопутную больницу, где он и скончался<sup>97</sup>. Этот юноша, полный жизни, превосходных душевных качеств, при блестящей общественной обстановке, умер жертвою какого-то алчного, ни на чем не основанного преследования!! О Чернышев!!\*

Несчастный Булатов подвергся той же участи! Не вынес он одиночного заточения, предался в своем раскаянии до такого неистовства, что вздумали было успокоить его присутствием детей. Малютки, при виде страшного, изнуренного лица, заросшего бородой, вскрикнули, зарыдали, и несчастный, при настроенном воображении ко всему чудесному, увидел здесь перст божий, и грешник возопил: «Господи, даже дети мои меня отвергают и не узнают!» Он вскоре скончался<sup>99</sup>.

И вот случай заметить кстати, насколько разнится мужество гражданское от военного! Насколько он был блистательно храбр в поле, настолько был мрачно малодушен в темнице. Как одно, так и другое—дело убеждения! В этих наскоро взятых примерах мы видим взрывы целого снаряда: есть и другие примеры, относящиеся до другого явления, т. е. когда снаряд, хотя еще и в целости, но явно повреждается от неуместимости напора мыслей без выхода. К этому разряду можно отнести то число ознаменовавших себя разными неестественными приемами к лишению себя жизни. Некоторые глотали пуговицы, ели стекло, бились головой об стену, морили себя голодом и, наконец, вешались—и все попытки смерти не удавались, а только более распаляли воображение! Но то были временные лишь проявления невыносимого подчас состояния ума; но были припадки другого рода, припадки, не зависящие от нас и как бы

---

\* Этот возглас напоминает мне такой же, но, конечно, при других ощущениях и обстоятельствах!

Однажды Александр Павлович, производя в зимнем манеже, с обычною государственной важностью, развод какого-то, не помню, гвардейского полка, позвал довольно громко поодаль сидевшего на коне Ф. П. Уварова<sup>98</sup>. Чернышев, для скорейшей передачи услуги и желая выказать близость свою к обоим (он был генералом-адъютантом и некогда адъютантом Ф. П. Уварова), подхватил зов и звонким своим голосом прокричал: «Уваров!» Тогда всегда важный, хладнокровный Уваров шагом направился к государю и, поравнявшись с Чернышевым, в свою очередь, громко обратился к нему и по складам вымолвил: «Чер-ны-шев!», приподнял руку и погрозил ему расстановочно указательным пальцем, в виду государя, всего генералитета и всех офицеров. Эта выходка старика была более чем эффектна и крайне смешала всегда дерзкого и самодовольного любимца государя, но не наших воинов. В нем что-то было отталкивающее, et le beau Tartare était déjà russe même part lionnes du temps [и этот превосходный татарин был уже настоящим русским для тогдашних светских львиц (фр.).—Сост.].

вызванные извне, припадки, обнаруживавшие не острые признаки болезненного воображения, а целый ряд последовательных, продолжительных указаний на повреждения умственного снаряда.

Каким образом пояснить все эти вопросы, путавшие в конце подсудимых по их многочисленности и несообразности обстоятельств; допросы, вызывавшие те многие показания, противоречившие самой истине по времени и по свойству указания лиц и случайностей? Каким образом пояснить эти сознания, признания, эту чисто русскую откровенность, не допускающую коварной, вероломной цели в допросителях? Как объяснить, что люди чистейших чувств и правил, связанные родством, дружбой и всеми почитаемыми узами, могли перейти к сознанию на погибель всех других? Каким образом совершился этот резкий переход в уме, сердце этих людей, способных на все благородное, великодушное? Какие же тут затронуты были пружины, какие были пущены средства, чтобы достигнуть искомой цели: разъединить это целое, так крепко связанное, и разбить его на враждующие друг другу части? Употреблялись пытки, угрозы, увещания, обещания и поддельные, вымышленные показания!

Пытки заключались в наручных цепях; они наложены были на Якубовича, Петра Борисова<sup>100</sup>. Других во время следствия сажали на хлеб и на воду и в особенные темные сырые казематы.

Угрозы?—Сам Николай, выслушав меня, взошел в бешенство и велел меня своими царскими устами судить военным судом и расстрелять в 24 часа. По приезде в крепость комендант Сукин мне сказал: «Извините и не взыщите, мне велено содержать вас строго»<sup>101</sup>. И точно, засадили меня в такой каземат, что Степан Степанович Стрекалов<sup>102</sup>, обходя заточенных, ужаснулся, и на другой день я, обязанный ему, был переведен в другой каземат и впервые тут узнал, что есть степень лучшая и между смрадными жилищами.

«Мы заставим вас говорить, мы имеем средства заставить вас говорить!» и т. д. Вот слова, которыми щеголяли высокие следователи.

Увещания были производимы и духовными, и служебными, и частными лицами, с намерением допускаемыми. Вопрос более чем щекотливый определял искренность или вероломство посещавших нас увещателей! Изведав на деле увещателей, следователей, я не коснусь их на этот раз; относительно посторонних—бог да будет им судья! Сущность их увещания состояла всегда на том же милосердии царя, на желании знать одну лишь истину и пр. Все высшее и следующее будет много, подробно исследовано в разборе критическом нашего дела<sup>103</sup>. Скажу на этот раз, что прочерченные наскоро причины, взятые вместе, имели то пагубное влияние, что воспользовались нашим слепым доверием. Мы пустились в чистосердечие, в русскую откровенную болтовню и дали им повод к оправданию допущенных ими зверских наказаний. Достаточно было того знаменитого дня, когда после взводимых показаний брата на брата, друга на друга мы, собранные все вместе в павловском каре для вывода нас на

место казни,—мы, в объятиях самых горячих, забыли горе, и страдания, и судьбу, нас ожидавшую. Здесь проложен рубеж и стоит черта, резко нас отделявшая от прошлого с настоящим и нашей будущностью! С этой поры мы обновились новыми силами... и если в виду двух столбов с перекладинами и замерли наши сердца, то это для того, чтобы забиться боем правильным, возрастающим и непрерывным до конца!..

Много, много нам будет испытаний, но мы их вынесем победно! Наши верования не ослабнут, а окрепнут, и мы останемся верными себе и той России, которая нас так громко отвергала, как тихо и забыла. Пусть время, под вашим еще ожесточенным дуновением, стирает одно за другим наши имена, пусть оно затрет наше дело, так слабо поднятое и так накрепко заколоченное в гроб забвения, пусть!.. Но нет, есть начала, есть причины, не подвергающиеся порче и как проводники, хотя и схороненные, остаются истинными! Будет им и их время. Вера в бога, вера в человечество, вера и в его будущность—после нас и вас!..

Темница, говорил я, не тушила, а разжигала; чем более суживается предел для движения тела человека, тем более дух его ищет себе шири, простора. Мысль пробивается сквозь стены, затворы; всегда вольная, свободная, но недовольная и раздраженная, она более всего врывается, и как бы вы думали?—в чертоги царские! Там за стенами, в полном вооружении не таится, не скрывается, нет! Во весь великанский рост видимо стоит не баснословный, а чисто исторический сфинкс, предлагающий мне денно и ночью на разрешение загадки своего существования. Вопрос столь близкий мне, столь связанный с моим бытом, что он сделался как бы присущим мне. Как преступник государственный, а не другой, не естественно ли мне, тут же, при моем осуждении, обратиться к той власти, которая так люто меня казнила, меня—человека!

Вор, убийца и вообще общественный преступник впадает и следует другому разряду и мыслей, и ощущений; он ожесточается, но как бы ни закаменели в нем начала порчи, вряд ли он станет себя оправдывать и взводить на судей несправедливую вину. Он знает, что он преступник, и при человеколюбивом, христианском за ним уходе может легко обратиться, пожалуй, и в честного человека, как и видим мы там, где закон за казнью преступника ведет и обязанность об улучшении его нравственности! Он может обратиться, да оно и возможно, и утешительно, и таким обращением он не только возвысится в глазах общества, но возвысится собственно в своих. Он обновился, переродился. Но при тех ли условиях считает свои отнятые у него дни государственный преступник в темнице? Мыслимо ли в этом случае обращение и, допуская даже случайный такой переход ума, можно ли допустить искренность и чистосердечие? Такой перелом в понятиях невозможен, он не только противоречит чести, совести, но и самому здравому рассудку, сложившемуся при таких, а не других принятых и усвоенных убеждениях. Убеждения здесь-то, в темнице, и крепнут! Здесь, в виду и при испытании всех действий этой беспощадной, произвольной, насильственной власти, я еще более ожесто-

чаюсь и вооружаюсь против нее всеми умственными моими силами! Здесь я разгадал загадочного сфинкса и от души пожалел, что не служил с Эдипом для его низвержения<sup>104</sup>. Да какая же это сила, и если она была порывистая, каким образом она обратилась в силу непоколебимую, скажем, пожалуй, и законную? Каким образом эта миллионная численность повинется слепо, безропотно, кому же? — одному!! Каким образом все это движется, живет так противоестественно по мановению одного, и когда являются люди, исповедующие все начала освобождения народа от гнетущего его ига, то самый этот народ их отвергает и как будто содействует их казни? Понятно, что всякое правительство из чувства (ложного, понятно) самосохранения восстает на них всеми силами, понятно, что господствующий класс чиновников, дворян вторит такому преследованию, но народ, народ, где он? Забитый, невежественный, он смотрит даже не пытливо на зрелище заклания и расходится бессознательно по домам. Народ коснел в рабстве, в невежестве, и мы избегали его, избегали этого взрыва, который уподобился бы пороховому заговору в Англии<sup>105</sup>. Военные поселения, варварские обращения некоторых помещиков и общее всем самоуправление с крестьянами — какие были бы для нас силы, — но мы их обошли, чтобы не ввергать общество в неминуемые смуты до правильного впоследствии их устройства. Все эти силы находились, таились, выражались частными бунтами, но стихали при нашем появлении: так дики, не выработаны были стремления народа к тому, не понимаемому им лучшему! Такое отчуждение народа смягчало и отчасти мирило меня, не говорю с нашей неудачей (удачи и быть не могло), а с той мыслию, что народ, оставаясь в стороне, оставался при своем бесправии, а поэтому при прежней своей силе! Сила эта до того росла, что вынудила, наконец, правительство осуществить на деле цель, которую наше Общество преследовало, а именно освобождение крестьян<sup>106</sup>.

Спрашивается, почему эта цель не вменена была нам в преступление и почему так молча обошли этот вопрос и судьи, и люди большие и малые? Верно, не стало духу выказать нас с этой преступной стороны!<sup>107</sup> И если мы впервые поклонились 19-му февраля перед Верховным Освободителем<sup>108</sup>, то могли ли мы, Декабристы, не видеть как пророчески и государственно выступила тень Пестеля с «Русской Правдою» в руках? Освобождение с землей — так и быть, и хвала тому, кто понял и привел в исполнение эту спасительную мысль для России. Пусть так!.. Но вырвать такую славную страницу из нашего дела, отнять у Пестеля единственную праведную славу, одному ему принадлежащую, — не есть ли это вероломство, искажение исторической истины и не есть ли это явный грабеж ума и сердца? Многие ходили у нас проекты и мысли относительно освобождения крестьян, и все принимали личную свободу при вознаграждении денежном владельцам, но мысль освобождения крестьян с землею принадлежала Пестелю одному<sup>109</sup>.

Обращаюсь к моему заточению. Я думаю, что хотя и поверхностно,

но достаточно себя выказал, под каким настроением ума я находился и почему ум мой, несмотря ни на какие последовавшие влияния, должен был сохранить свой особенный отпечаток. Тюрьма налагает свою неизгладимую печать, я сказал,—печать эту ношу и поднесь. Конечно, время, опыт принудили и меня измениться, но основа все та же, и я так же стою твердо теперь, как стоял и прежде. Воззрения другие, но преобладающая точка все та же; средства к общественной цели могут быть другие, но цель все та же. Все то же ограничение всякой власти, искоренение произвола, в каком бы виде и в каком бы лице он ни проявлялся, единую избирательную, законодательную палату и введение выборного начала по всем отраслям правления [так в тексте.—*Сост.*], при всеобщем голосовании. Подразумеваю, конечно, суд присяжных, свободу слова, печати и сходов. Вот и все и, кажется, немного. При таком воззрении, конечно, я буду казаться рассказчиком и жестоким, подчас и неприличным, но как же мне быть? Не могу же я мыслить и чувствовать другим умом и сердцем, как не своим! Какой вороне мне не быть, а павлиных перьев не взять. Впрочем, послушайте, что мне прогремят, и вы сами рассудите, что я за чудовище-человек! Слушайте; я, помнится, говорил, что нас вытянули в шеренгу в зале комендантского дома. На правом фланге стоял Трубецкой, за ним Оболенский, Матвей Муравьев-Апостол, два брата Борисовых, Спиридов, Горбачевский, Бярятинский, Поджо 2-й, Артамон Муравьев, Вадковский и Бечасный—всего 12 человек<sup>110</sup>.

Странно, каким образом людей, подведенных к одной казни, к одной участи, не подвели под ранжир и таким образом не соблюли правил военного строя при взятюм в зале военном распоряжении?—Упущение 1-е. Во-2-х, взойдя в эту залу, конечно, самое естественное движение было окинуть всю эту, так неожиданно раскинувшуюся картину, и первую мыслью было то, что это был по всем вероятностям суд над нами. Но боже мой! Сколько же тут на меня грешного накинется судей! И что, подумал я, если вздумается каждому из них мне предложить хотя бы по одному вопросу? Я несколько, признаюсь вам, смешался и стал с быстротою молнии обдумывать образ своей защиты. Надо вам сказать, что в таких случаях мозговой аппарат действует с неимоверною быстротою, пробегает, право, едва ли не в минуту все то пространство, на котором раскинуты задачи нашей жизни и для объема которых нужно время целой жизни!

Терять жизнь! Какой, не для вас, но для меня, вопрос! И могу ли я признать право на эту жизнь за кем-нибудь и еще более за этими людьми, восседавшими надо мной? Как они гордо, спокойно, самонадеянно расселись вокруг этого стола, там поставленного! Тут лица и духовные, и военные, и гражданские: все три высшие класса, государственные, высшие члены и пр. Их так много, этих высоких, что они не уселись за столом, а должно было их разместить на возвышенном помосте, устроенном в углу правой стороны<sup>111</sup>. Для такого торжества решительно объем залы не соответствовал, оно было и предвидено; но всякое другое избранное помещение вне фортеции найдено было неприличным и не

совместным с тою таинственностью, которою в таком государстве, как Русское, облакают дела такого рода! Итак, по количеству столпившихся здесь лиц и по малому размеру комнаты, судьи, подсудимые, стражи — все мы стеснены, взяты в тиски. Все выходы заняты: двери на замок, окна на крючки, гренадеры охраняли те и другие (мог кто-нибудь пробиться в дверь или выскочить в окно!). Стало жарко, невыносимо душно, солнце 10-го июля!<sup>112</sup> И суд начинается при таких условиях! Что если сибариты, мои судьи, потеряют спокойствие духа и начнут наскоро метать свои вопросы? Запутают себя и нас! Министр юстиции Лобанов-Ростовский<sup>113</sup> первый перед нами; он волнуется на стуле и беспрестанно то вскакивает, то садится. Впрочем, он был известен по всегдашней своей суетливой горячности, он же, как видно, и хозяин дома и дела — он один распоряжается, начальствует и дает всему направление и движение. Боевой генерал второстепенного разряда, он отличался в особенности бескорыстием и честностью, но в деле правосудия, не знаю, насколько мог он быть ему полезен. Это был тот самый Лобанов, которого императрица Мария Федоровна<sup>114</sup> и прозвала «la justice» [юстиция (*фр.*) — *Сост.*], до того прославился князь в ее глазах в смысле правосудия. Как бы то ни было, но эта justice, или Фемида<sup>115</sup>, облеклась в свой полный генеральский мундир и вместо отложенных на время весов держала в руках большой сверток бумаг, который, разбирая по частям, вручала стоящему около обер-прокурору Журавлеву (будущему сенатору), в свою очередь, тут же передававшему его какому-то юноше-чиновнику, расположившемуся перед налом, установленным у его ног. Белокурый, щеголеватый господин, имя которого я не знал и знать, пожалуй, не хотел, развертывает листы и громким, звонким голосом начинает, как вы думаете — подпевать нам подготовленную уже лебединую песенку! Да, не стало случайности счастливой, и настала эта зловещая случайность, при которой, возможно ли вообразить себе, сотня судей без допросов, без суда засудила более сотни молодых людей на самые позорные и лютые казни! Зачем нас свели, поставили лицом к лицу к этим судьям-истуканам, не подавшим ни одного не только голоса человеческого, но и малейшего признака хотя бы животного зверства! Пропитанные духом лучших учителей права, в особенности я, поклонник моего любимого Руссо<sup>116</sup>, присвоивший себе законодательные истины Бекариа<sup>117</sup>, Филанжиера<sup>118</sup>, Бентама<sup>119</sup>, могли ли мы не смутиться и в полном смысле слова не возмутиться при таком заявляемом презрении к правам защиты всякого обвиненного! Здесь мы только разгадали свойство так нагло, беспощадно, бессовестно восставшего на нас врага и здесь мы, в свою очередь, вооружились всеми вызванными силами пробудившегося в нас русского достоинства и обрелись на то стяжание мученичества, которое вынесли до конца!

И так суд не состоялся в виде даже русского законовещения: мы не были допрошены, заслушаны, не требованы к оправданию, к защите, дозволенной, указанной законом. Верховный уголовный суд счел такой способ действия обременительным для людей, столь озабоченных государ-

ственными делами, и нашел гораздо удобнее положиться на указания Следственной комиссии и принять их в неизменное руководство. Вполне освещенные указаниями Комиссии, чересчур убежденные ее доводами и выводами, вперед направленные к неременному обвинению всех нас, судьи эти не могли и не должны были требовать от нас ни дополнений, ни объяснений, ни оправданий. Для них в этих тысячах показаний, вызванных под гнетом стольких вероломных и понудительных влияний, в этих показаниях, говорю я, столько ясности, столько юридической, строго разобранной и представленной истины, что следовало только подвести итоги приговоров и казней!

Заметить надо, что здесь был, однако же, соблюден порядок судебного следствия; а именно: приговоры были предъявлены до приведения казней в исполнение. Молодой, белокурый господин, которого я назову экспедитором, так он спешил отправлять свою должность, вероятно, заблаговременно усовершенствовался в заданном ему уроке. Читал он звонко, с убеждением; голос его был тверд и очень искусно ставил запятые и даже точки, когда следовало отделять одно слабое преступление от высшего; а преступлений, сколько их собрано и каким числом они ложились на каждого отдельно!!!

Трубецкой первый выслушал свой приговор, а за ним и прочие другие. Я здесь сделаю невольное упущение, а именно умолчу о содержании приговоров, взятых отдельно и в подробности<sup>120</sup>. Несмотря на десятки лет, пройденных с того времени, и переходя к нему, я не могу, коснувшись такого кровавого предмета, говорить с должным спокойствием! К тому же я пишу для немногих, и если из этих немногих найдется человек, который вздумает пополнить грустные некоторые пробелы, то пусть он потрудится прибегнуть к официальным печатанным доносам, донесениям, докладам и пр.

Признаюсь, сверх желания избежать болезненного чувства говорить (на этот только раз) о подробностях приговоров есть также сдержанность—боюсь выказать себя почти что с отвратительной стороны, в особенности если, не зная меня, верить им на слово; я и все мы выказаны людьми крови, какими-то чудовищами, карикатурами, безумцами и пр., и вот почему (только на этот раз) отклонюсь от подробностей до времени их разбора. Скажу только, что приговоры так сходны были, как по содержанию, свойству и числу преступлений, сходны между собой, что трудно уяснить себе, каким образом преступники обозначались номерами и почему первый не сделался пятым или двенадцатым; так точно почему 12-й не зачислялся пятым или же первым? Судьи наши, конечно, должны были быть одаренными большими психологическими вдохновениями, чтоб определять такие числительные оттенки. Впрочем, мы увидим после, до какой степени в распределении наказаний судьи эти предавались случайным, сбивчивым по рассудку, по совести решениям... Экспедитор спешно, бегло прочел общий приговор: присуждение к смертной казни, с отсечением головы на плахе; причем он оказал свое драматическое дарование: он

умышленно остановился на этой картине—где голова отсекается от тела—и думал такую расстановкою потрясти нас вконец. Спустя добрую минуту он возвысил опять свой голос и стал дочитывать недоконченный период: «...но государь, в милосердии своем и т. д., заменил смертную казнь ссылкой в вечную каторжную работу»<sup>121</sup>. С этими словами он очень ловко повернулся к нам на правой ножке и как будто откланялся. Журавлев взял бумаги, передал их министру, который вскочил со стула, и—маленький, живой человечек поднял правую ручонку—и подал знак, указывая на выходную дверь!..

Какой-то командир подошел к нам, что-то прошептал приличным полголосом и, повернув нас направо, стал всех спускать по лестнице. Внизу и по бокам лестницы образовалась какая-то молчаливая публика, сзади которой выказывалась голова неизбежного Мелина (человека всех церемоний, гульбищ, званых обедов, приятеля всей гвардейской молодежи), и тут же Якубович громким своим голосом пустил ему какую-то драгонаду, т. е. остроу (как называл он, находясь на службе в Нижегородском драгунском прославленном на Кавказе полку). Острота, вероятно, имела успех, потому что за ней последовал общий хохот. Какая черта русского характера, выразившаяся такой выходкой удали в такой не совсем располагающий к веселью момент!

Нас повели в Кронверкскую куртину<sup>122</sup>. Прежних обитателей казематов не было; они выведены были для выслушивания приговоров, и нас разместили поодиночке в опустевших на время стойлах. Завели меня, теперь поистине животного, в смрадное это стойло, дверь захлопнулась, замок заскрипел и я очнулся наедине с самим собою! Какая встреча! И в какой момент жизни и моего «быть или не быть»!<sup>123</sup> Не знаю, случилось ли вам вскакивать ночью бессознательно с одра при виде во сне пожара или пропасти? Случалось ли вам и наяву вдруг неожиданно завидеть свое распадение и всеми силами оставшегося ума броситься в самого себя? Разыскивать, допытывать самого себя глаз на глаз, искать, допрашивать спасительного ответа? Всякое замедление губительно, весь успех в решении скором, быстром, вопроса. Тогда только может высказаться убеждение, а с убеждением и самая сила. Задумывались, конечно, и вы в частую, и как при бывалых превратностях своевольной судьбы не побеседовать, уединившись, сосредоточившись с самим собою! Не посчастливилось в одной службе, не перейти ли в другую? Удалиться в провинцию, или же повертеться еще по передним в столице? Пуститься ли во взяточничество дозволенное, или же слегка дозволенное? Обойдут ли крестиком, чином, то вынести ли афронт<sup>124</sup> смиренно, или же заявить себя истым патриотом, нахмуриться, подуться, не говоря слова? Если же лишали места, или отказывали таковое, то не домогаться ли исподволь другого, или же примкнуть, в порывах высшего патриотизма, к числу недовольных, называемых либералами? Выйти даже в отставку и начать ту заносчивую брань, вполголоса конечно, брань, касавшуюся высших государственных чинов, не исключая не только Аракчеева, но и самой



глухой тетери! <sup>125</sup> Вот до какого неистовства доходили либералы нашего времени и до каких решительных моментов вызывался тогда русский человек и как часто, вынужденный углубиться в самого себя, он должен был выказываться невольно существом, по-тогдашнему самостоятельным. Сколько таких и много других вопросов предстояло решить каждому из нас! И как скоро, опрометчиво, на русский лад мы их решали! Сего дня решишь одно, посмотришь завтра—другое, а там и третье; лагерей не было, а мнений установленных и подавно; везде одна военщина и ее понятия; гражданственность, пожалуй, и зарождалась, но под наносными, иноземными влияниями, зарождалась без гласности, без данного направления, а потому вышла бесцельно, врозь, и каждый был безответно сам себе судья, сам себе вожак! В решительные минуты жизни человек допрашивает одного себя, не принимая в расчет внешних условий, если противоречат его корыстной или попорченной цели! Я, да, я и только я; вот бывший наш единственный двигатель во всех помышлениях и действиях наших! Вот почему современники мои и я сам так скоро и могли решиться на одно или другое; относя все к своему собственному интересу, объем других обязанностей нас не связывал, и мы, как говорилось, выходили из этой с самими собой беседы почти всегда с торжественной победой! Не так ли и я, относясь к самому себе, к убеждениям своим собственным, пожалуй и к честолюбию моему особенного рода, не так ли я, не испытав, не взвесив ни чужих, ни своих сил, но углубившись несколько в самого себя, выступил не по силам на то поприще, на ту борьбу, которая, наконец, меня сломила! Но все это мы делали, творили при условии какого-то ограждения; была, пожалуй, и некоторая свобода действий на этой бесконечной шире родины, где мог я невозбранно любоваться моим еще солнцем, дышать своим еще воздухом! А теперь, пожалуй, божий для всех мир—не мой, он, необъятный для всех—для меня заключается в двух квадратных саженьях! И вот на каком пространстве и при каких условиях я очнулся один и должен был развернуть все силы свои, и умственные, и нравственные, против своего торжествующего врага. Здесь не бой и не борьба, нет; выпавший меч здесь бессилен, а нужна одна броня, броня, о которую будут притупляться, разбиваться все наносимые мне удары! Броню, сказал я, найду, и нашел ее! Но при каких усилиях и при каком сначала изнеможении достиг я искомого состояния моего упавшего духа! Я не пишу во всеуслышание; пишу для немногих, без всяких предварительных, заданных себе целей. Не думаю и не хочу служить никому примером, ни образцом; не думаю, читатель, о вашем назидании или обращении и, представляя вам всю свободу мыслей, прошу взамен позволить и мне мыслить и свободно, и безответно. Если вы не были в моем положении, если вы не понесли на деле каких-либо утрат условленной жизни, то вы будете чтецом, пожалуй, но судьей моим никогда! Можете допускать, отвергать такие или другие мнения; но подвергать меня, тайник мой, вашему суду—нет, нет, никогда! Это право не дается и не приобретается ни в гостиной, ни у письменного стола, даже ни в

заседании Верховного суда, а приобретается, знаете, где и при каких условиях? Нет; вам там не быть и не пройти вам всю гамму человеческих страданий!.. Не испытавши их, вы их и не поймете! Знайте, что если вам нужны эксперты для обсуживания всякого отдельного производства, то еще более нужны бывалые эксперты в продуктах политического материала. Нет, вы не мои эксперты; я вас отвергаю как судей. Говорить буду откровенно и перенесусь в те памятные для меня схватки с силой, выразившейся так бесщадно, безумно и дико! Я, помнится, сказал, что подсудимый, особенно политический, является почти что двумя противоположными личностями, а именно: личность, взятая до приговора, и та же личность, противоположная первой, после последовавшего приговора.

Подсудимый ввергается, как водится, в темницу; там, как водится, и сыро, и темно; зеленым цветом окрашенная деревянная кровать; плоский тюфяк, набитый грубою мочалкой; плоская подушка из той же мочалки; все это обтянуто грязною толстою дерюгой; у кровати столик с оловянной кружкой; в углу деревянная шайка, шесть замазанных стекол в окне за железной решеткой, дверь с одностеклянной форткой, в которую страж мог бы наводить свой мучительный для затворника взор, и дверь та на затворах; вот принадлежности, не совсем очаровательные, нового вашего жилища, и не надо забыть, что я взят по одному только подозрению и при своих всех сословных правах! Признаюсь, когда стражник мой меня завел в этот хлевок и, не сказав ни одного слова, повернулся и захлопнул дверь, громко повернув два раза ключом, я просто вздрогнул и безотчетно чего-то устрасился! Не мог себе поверить, себя узнать при такой раскрывшейся моей ничтожности. Однако ж эта ничтожность до того выказалась резко и болезненно, что я едва мог придти в себя! Как!— говорил я себе,—вчера на двух тройках прикатил я к дворцу, на одной сидел я с адъютантом генерала Нагеля, поручиком Свечниковым, на другой следовал за мной при унтер-офицере находящийся у меня в услужении шляхтич: пан Ян Соколовский; вчера еще обслуживали мне офицеры Преображенского моего же полка; они меня на гауптвахте осматривали, раздевали, одевали; вчера еще я был и почевал во дворце (большая комната в нижнем этаже против Адмиралтейства, от государева крыльца направо. Там было три-четыре дивана по углам с ширмами, отделяющими вводимого гостя от других); сегодня я беседовал в Эрмитаже с В. В. Левашевым (допросы его более походили на беседу, так были они вежливы и малонастойчивы); сегодня же представлялся кому же?— самому государю; сам он, хотя и удостоил меня обещанием расстрелять в 24 часа, но все-таки был милостив, не гнушался мной, а говорил!.. А теперь, теперь заброшен в эту смрадную яму и никто, никто не отзывается: все от меня отворачиваются, бегут и, как от прокаженного, затворяются! Какая же это сила, спросил я себя, которая так чародейно, мгновенно могла подействовать, чтобы ввергнуть меня в такую пропасть бессилия? Каким образом совершается и возможен этот процесс насилия над существом, над человеком, наполненным одними высшими челове-

скими стремлениями, и этот человек отчуждается от всего мира и заживо погребается! И нет этому политическому лицу ограждения; нет для него ни защиты, ни оправдания; нет суда — он заранее обречен на казнь; казнь будет его кровью и плотью! Такое сознание ничтожности своей, при таких условиях неизбежной гибели, есть высшее оскорбление, высшая обида, какая только может быть нанесена властью истинно русскому государственному преступнику! Нет, не страх его возмущает, ни утрата жизненных условий, положения — нет. Здесь задето его самолюбие, к добру направленное; здесь глубоко потрясено его высокое человеческое достоинство. Я не убийца, и не вор, и не разбойник, для которых весы и мера, при разных изменениях, одни и те же во всех государствах, — нет — я политический, как вы называли меня, преступник, и у меня мерило не ваше, а свое.

Самые святые начала истины христианской и гражданской, начала, исповедываемые целыми народами, вы мне их вменяете в целый ряд преступлений, и я, при моих укоренившихся убеждениях, сознаваться должен в своих заблуждениях и должен переменять свою светлую, вечную истину на гнусную ложь! Первый шаг мой в темнице был первым шагом моим к следованию предназначенного мне рокового пути; я его понял, разгадал, и вот почему этот шаг был для меня до того впечатлителен и резок, что все последующие за ним шаги были только последовательными и не имели на меня уже того первого, раздражительного влияния.

Были дни невыносимо тяжелые, но дни эти падали прямо на сердце исключительно и не касались того умственного достоинства, которого меня хотели лишить в первый день моего заточения. Как бы то ни было, я должен был вынести это новое, непредвиденное испытание и выдержать этот натиск всех взведенных вдруг унижений и уничтожений!.. Я чувствовал приближение решительного нравственного распада и, как-то, устыдя самого себя, стал обращаться, прибегать к силам, и не собственно моим, которых я не находил, а к силам внешним и — увы! — уже чужим: и почему мне не сознаться в моих ослаблениях, когда могу еще воспринять и воспринять... Человек, в особенности общественный, и при заданном направлении, всегда влечется к уподоблению себя с данными или предвзятыми им образцами. Такие путеводные звезды есть у каждого из нас, как бы мы ни выказывали себя малосостоятельными. Мы, как опоздавшие деятели, вступили в ряды человечества уже как последствия, а не начала; волей или неволей в нас будет всегда отражаться будущее при низвержении прошедшего. Я чувствовал, как говорю, свое распадение и должен был себя подкрепить, одушевить силами других, — но где же эти другие? Знал я их и поклонялся им... но то были не русские, а мне хотелось, как русскому и по русскому делу, непременно ворваться в свою отечественную Историю. При возбужденном воображении такие розыски делаются скоро, бегло; недолго мне было пройти мысленно по главным событиям и, наконец, прийти к странному заключению: какие же были смуты, бунты, восстания? Все они имели особенный, по большей части

местный, временный характер, не имеющий никакой связи, никаких отношений с общим характером страны! Соковнин<sup>126</sup>, Стенька Разин<sup>127</sup>, Пугачев<sup>128</sup>—сами они и дела их не подходят нам. Были, конечно, перевороты, но перевороты дворцовые, в которых принимали участие одни временщики, или же вельможи, своекорыстно преданные личности одной или другой. Люди, косневшие в злоупотреблениях и чуждые всякому благому стремлению, они гибли, губили друг друга, шли славно на смерть, на истязания,—но люди опять не подходящие и, заплатив им дань сострадания, невольно отворачиваешься от них! Было одно движение при воцарении Анны Иоанновны, но тут же оно и заглохло среди общего крика: «Цари, цари самодержавно!»<sup>129</sup> Были даже цареубийства! Убивают Петра III: «Он немец,—говорят,—а нам давай немку!» Он дает некоторые льготы дворянству, народу; он прекращает безрассудную разорительную войну с Пруссией; издает некоторые указы, поощряет промышленность, торговлю!—«Бейте, душите его!»<sup>130</sup> Орлов, Барятинский, Теплов и Пассек! Вы извели законного царя, но вас судить не станут... вас наградят богатствами и почестями<sup>131</sup>; а ты, Орлов, ты будешь, как ни скуден умом, первым государственным человеком и как убийца—можешь требовать руки убийцы!<sup>132</sup>

Иван Антонович, юноша, предназначенный на царство, заключен в крепость<sup>133</sup>. Не взять ли его в пример мужества? Нет, полуотравленный, он впал в какое-то животное, бессмысленное состояние! Мирович был послан будто бы спасти его и возвести на престол; он не видел его и не прикасался к нему, правда; но его, Мировича, повесят<sup>134</sup>, стражей-убийц за верность наградят!

Павел первый обратил милостивое внимание на несчастный быт крестьян и определением трехдневного труда в неделю оградил раба от своевольного произвола<sup>135</sup>, но он первый заставил вельмож и вельможниц, при встрече с ним, выходить из карет и посреди грязи ему преклоняться на коленях, и Павлу не быть! Пьяная, буйная толпа заговорщиков врывается к нему и отвратительно, без малейшей гражданской цели, его таскает, душит, бьет... и убивает! Совершив одно преступление, они довершили его другим, еще ужаснейшим. Они застрашали, увлекли самого сына, и этот несчастный, купив такую кровью венец, во все время своего царствования будет им томиться, гнущаться и невольно подготавливать исход несчастный для себя, для нас, для Николая!<sup>136</sup>

Убийцы были награждены; за ними был легкий, жалкий успех. Нет, они нам не пример; то были действительные убийцы, убийцы прославленные, мы же... доскажу впоследствии; но я искал для себя образцов и не обрел их. Русское наше общество не развивалось по особенным законам, а стояло неподвижно на своей славянско-татарской почве, не заявляя никаких потребностей, стремлений народных. Странно и то, что, нуждаясь в примерах, оказанных в заточении, я заметил, что эта кара именно и была изъята из числа прочих. Владыки наши как-то чуждались этого рода наказания; находили ли они его крайне жестоким, или чересчур мягким,

или же слишком общеупотребительным в других странах Европы, не хотели его допустить у себя; но дело в том, что они предпочитали ему, может быть, и по привычке и чтобы не изменять порядку, ссылку в отдаленные остроги, обитатели, если только не подвергались преступники четвертованию, колесованию, отрезыванию языка, вырыванию ноздрей, клеймлению, пытке, правежу, ломке членов, наказанию кнутом, батоном, плетями и проч.

И как мужественно выносили несчастные все эти истязания; но мужество это не по мне, как неприменимое к причинам, его вызывающим, и я, не находя себе образцов в былом, стал их допрашивать, доискиваться вокруг себя! Здесь, пообок меня, томятся так же, как и я, страдальцы по темницам. По длинному каземату, разделенному на кельи, я мог пересчитать затворы каждой из них и убедиться, что здесь полуживые мои товарищи-друзья переживают, а может быть, доживают последние дни, отсчитанные не промыслом небесным, а земным! Я не один! Здесь сотня избранных, и нам ли унывать!..

«Сторож!» — крикнул я. — Молчание. — «Часовой!» — молчание. — «Унтер-офицер!» — думал польстить, но тоже молчание. — «Попросите ко мне плац-офицера». — Голос не отозвался, но послышались шаги. Вдруг ключ заскрипел в замке, дверь растворилась и входит сторож (они все на один покрой) и расставляет на столе миску оловянную со щами — одну, другую с гречневой кашей и тарелку, на которой разложены четыре кусочка высохшей телятины.

«Это обед?» — спросил я. — Молчание. — «Дай же, — я сам себе отвечал, — произведаю эту стряпню!»

Щи — что за капуста! Что за жир, вдобавок подгорелый! Не могу пропустить, да и только. Посмотрим телятину, на воде жаренную; на каше должен был остановиться; горчайшее сливочное масло до того меня покривило, что сторож, кажется, счел меня за бунтовщика, так скоро вынес почти не тронутый обед.

«Скверно, — подумал я, — герой-то я, герой духом, а привычки все верх берут!» Право невыносимо, хочется и того, не хочется этого, просто чад в голове, и только!

«Авось, не будет ли другое!» — и при этом пожелании явился плац-адъютант.

— Что вам угодно?

— Прикажете внести мой чемодан, так же и трубки и табак.

— Здесь этого не полагается.

— Что вы хотите этим сказать?

— Что здесь этого не положено!

— Ясно, очень ясно, нечего сказать. Прошу вас доложить плац-майору, что я желаю его видеть!

— Через час он будет обходить караулы и, вероятно, зайдет и к вам! Мое почтение, — промолвил он и вышел.

После обеда я чуть-чуть не бросился на кровать поотдохнуть но,

испугавшись такого порыва, на этот раз еще воздержался от этого прикосновения и начал ходить и приводить в порядок рассеянные свои мысли. Дело предстояло важное: встреча с новым вполне отцом-командиром—плац-майором крепости. Надо же было мне поразведать кое-что о своих правах, чтобы знать черту, за которою требование не обращалось в просьбу, чего я не хотел допустить. И здесь, в этой могиле, отзывается все то же жалкое существо, при всей суетности своей дворянской! Шутка! а я-то именно и буду вести всю свою защиту под этим оставленным мне щитом.

Краснощекый, лысый толстяк, пожилой Подушкин предстал предо мной, или, вернее, я перед ним!

— Вы, верно, помните меня, майор?

— Я-с? извините, никак нет-с,—ответил он мне, оглядываясь во все стороны.

— Как же, я очень вас помню; два года тому назад я бывал у вас на гауптвахте, где содержался товарищ мой, Бологовский, по случаю дуэли, и думал ли я тогда?..

— Бог милостив!

— Знаю, да вы как-то не милостивы; я солдатского, черного хлеба не могу есть, а в белом мне отказали.

— Булка положена за чаем.

— А табак? что за дворянин, согласитесь, без трубки в зубах! Ведь я еще дворянин?

— Не положено-с.

— Если в дарованной дворянской грамоте не упомянуто о праве курения табака, то это потому, что это право само собой подразумевается за дворянином.

— Это так-с! Но, вот видите, у нас...

— Да ведь так же у нас в России, где законы все одни и те же. Майор улыбнулся.

— Сердце царево в руке божией, повремените, пожалуйста, потише! «Какой религиозный человек!—подумал я.—Счастливец—он верующий».

После объяснились его слова.

— А довольны ли вы обедом?

— Чрезвычайно; но жирен больно!

— Да, уж мы не жалеем!

— Но пожалейте вы меня! Нельзя ли заменить эти жирные щи кашницей, и кашу мне подавать без масла?

— А, батинька, извольте, извольте! (Надо знать, что все продовольствие наше было в ведении плац-майора и деньги на продовольствие определялись по чинам арестантов. Генералу определялось 5 р. с., штаб-офицеру—3 р. 50 к., обер-офицеру—2 р. 50 к. Значительная сумма, которую, кажется, по сердолобию плац-майор умел крайне уравнивать и подвести всех под одинаковую отвратительную пищу).

— Позвольте у вас спросить: секут у вас, конечно, на месте,—но скажите, где расстреливают?

— Что вы? что вы говорите? Когда же это бывало? Бог с вами!

— К кому же я могу обратиться в случае надобности?

— Потерпите, повремените; все будет, сами узнаете, сами увидите.

— И скоро?

— Скоро, скоро, до свидания.

— Чемодан с бельем, с платьем и деньги мои 1500 руб. доставлены ли вам?

— Не знаю, не знаю, до свидания.

— Трубку, трубку!—кричу ему вслед.

— Сердце царевы в руке божией.

Видно, эта заученная фраза служив разрешением заданных вопросов этим болванам, которым вставили и мозговицу, и язык—установленные атрибуты этих личностей, составляющих особый тип в разряде словесных животных.

С чем пришел, с тем и ушел, как говорится. Мое положение не только не уяснилось, а как бы еще более омрачилось неизвестностью. «Скоро, скоро,—сказал он,—увидите, узнаете, сами!» Нечего делать, давай опять думать да размышлять; время же за мной!

Под вечер принес мне сторож кружку чаю, четыре кусочка сахару и ломоть булки. Поделившись со сторожем чаем и сахаром, булку оставил для себя, как единственную подпору для поддержания моих сил. Надо было, наконец, вооружиться новым родом мужественного отчаяния, надо было—и не шутите—почувствовать весь упадок сил до изнеможения, чтобы коснуться, улечься на этом загрязненном, страшном, с клопами, блохами ложе. Мучения, которые я на нем испытывал, давали мне понятие о прокрустовом одре<sup>137</sup>. Но у меня медвежья шуба была с собой и я ее употребил, пока не сделалась она гнездом сгустившихся блох, и я должен был даже отказаться и от нее!

Пусть эта первая ночь пройдет бесследно; зачем, к чему выводить все грустные думы, на меня навалившиеся; к чему описывать все эти видения, сны, обуревавшие прерывающиеся часы отдыха бедного узника в первую ночь его заточения; ужели и в эти скорее минуты, чем часы, нет для него успокоения и забвения? Нет! Сон есть самое тяжелое его испытание, конечно, после высшего страдания, т. е. пробуждения в той же темнице, при тех же затворах, при том же безвыходном, унижительном положении. Помню я, помнит, вероятно, и каждый узник, первый день и первую ночь своего заточения.

Но как благодетельно создан русский человек! Как он от природы уклончив и покладист! Как скоро он применяется к нуждам голода, жажды; как он, говоря без всякого хвастовства, переносит не только все новые лишения, но и новые в разных видах угнетения! Допросите многочисленных наших бывших стражей—все они в один голос скажут, как мы, русские, умели, в должных границах своего достоинства,

ограждать себя, как умели мы и самих начальников держать в должной к нам строгости и вместе уважении! Враг наш личный — Николай — отдавал нам справедливость, как он ни был злопамятен, как он ни был неумолим и жесток! Никогда, однако же, не подвергал нас какому-нибудь унижительному испытанию, так он уважал тех, которые умели выносить все испытания, но не относились с просьбами, ни письменно, ни словесно, к его помилованию! И он мог употребить такое средство и не пустил его в ход! Спасибо ему!.. Он понял нас поздно; целую пропасть проложил между нами, таким образом мы с ним и расстались!

После первого дня настал другой и третий, и все наши впечатления понемногу стирались, все жестокое смягчалось, все неровности как-то сгладились, расстояние между началом преследования и защиты сокращалось и как всегда под конец какой-то гул смягчения страстей раздавался не только по темницам, но носился и вне их стен. Обращение с нами наших следователей, содержание последних допросов, мягкость слова и слога — все вело нас к надежде скорого исхода дела! Исход последует, конечно, несомненно; но чем он обозначится и как он отзовется на будущность не нас одних? Этот вопрос разрешился не одной судьбой нашей, но и судьбой всей России! Признанием начал, которых были мы, отчасти, представителями, или же отвержением их во всем объеме определялось свойство характера предстоящего царствования. Обветшалые примеры ссылки на пресловутую Бабку<sup>138</sup> уже были неуместны и смешны, как по духу времени, так и по заявившимся, хотя и слабо, стремлениям русского ума. Движение было; оно оказалось дико, одностороннее, но медлить было не время и нужно было направить, идти к цели и идти вперед! Такое движение при взятой точке исхода от Александра не раз представлялось нам, затворникам, и, понятно, действовало прямо на наше воображение.

В другом отделе я буду говорить подробно о ходе всего дела и какими путями, под влиянием нашего крепостного мира, мы врывались в мир другой и думали предугадать судьбу его, вместе и нашу, нераздельно с ним связанную. Да, мы со всеми увлечениями подсудимого до своего приговора мечтали, обманывались, надеялись. Стойте! Выслушайте и поймите!

Надеялись, да! Мы не ожидали повышений, ни наград, а должного, соразмерного наказания, соответственного не столько собственно нашей виновности, как вопиющим интересам государства.

Бывшие и теперешние судьи (их всегда так у нас обильно) спрашивали и спросят, вероятно: «Каким образом вы до того оплошались, до того обезумели в тюрьме, что могли допустить исход другой, чем тот, который последовал?» Справедливо; мы, было, вашим умом и начали! Сначала, когда стали на нас злобно напирать, и мы пошли, было, в отпор и держались насколько было сил, но когда борьба стала невозможна против истины доносов и самых действий, вы, строгие судьи, оставались в своих кабинетах, и легко вам было судить да рядить затворников, отвергнутых и вами, и всеми! К тому же обещанные расстреливания не состоялись; мы



как-то стали свыкаться с своими следователями, взведенные ужасы теряли свое значение, и мы мало-помалу пришли к тому заключению, что дело должно будет принять оборот более разумный! Казалось, что дело, возникшее при прежнем правлении и при других обстоятельствах, должно было при новом царствовании утратить свое прежнее значение и подвергнуться не преследованию, а исследованию, более соответствующему благоразумной цели, в обязанность поставленной всякому вступающему на престол венценосцу. Мы думали так (простится нам эта простота ума!), что и вы, судьи наши, промолвите за нас, представителей близких и для всех начал, хоть одно доброе, общественное словечко, и мы впоследствии только узнали, как вы своими возгласами сочувствовали взбесившейся власти и как вы вторили во всеуслышание крику мщения! Но оставим этот крепостной мир, где все так превратно чудилось, и перейдем к высшему разряду уставных соображений и посмотрим, не послужит ли и он к выше реченному нашему заключению. Не отыщем ли мы истинно виновных?

Жило-было общество. Начинается, как сказка; сказка и есть, слушайте. Общество называется Тайным. Кто назвал его тайным и почему оно так именовалось — не известно. Тайное — и только, и где же — в России! Русский человек, каков ни есть, весь налицо: он на даль не годится, он хорош и берет только накоротке; так и оказалось на деле! Бывало, соберутся люди-братья. Сколько тут шуму, и бойкости, и решимости; но нет действия — и люди расходятся, и опять затишье в тех же умах, которые испытуются лишь на деле... Русского трудно раскатать, сдвинуть с места; но, однажды тронувшись, ему без дела и не прожить. Без него он не станет воспаляться, а только все более и более остывать. При таких свойствах ума и духа русского человека вы получите уяснение тех загадочных видоизменений, которым подвергалось общество в течение восьмилетнего своего странного, долгого бездейственного существования!

Возьмите исторический ход всех тайных обществ, просуществовавших в других государствах. Какое упорство, какую настойчивость вы увидите для достижения хотя бы самой отвлеченной цели! Если цель сокровенная и утаивается, зато гласная, ходовая всегда одинакова и одинаково, но слабее преследуется. Возьмите хотя бы масонов, иллюминатов, мартинистов и скажите, мыслимы ли они у нас?<sup>139</sup> Не только образование таких обществ, но самое зарождение подобных личностей, как Сен-Мартин, Вейсгаупт, Сведенборг<sup>140</sup> и пр. и пр. Нет, русский человек не идеолог, ему подавай все осязаемое, он родится позитивистом. <...>



# СТАТЬИ И КОММЕНТАРИИ

## Н. В. БАСАРГИН И ЕГО «ЗАПИСКИ»

Николай Васильевич Басаргин, автор публикуемых «Записок», не принадлежал к блестящей элите офицеров, которые задавали тон в декабристском движении. С 1819 г. он был ординарным членом Союза благоденствия, а с марта 1821 г. — членом Южного общества.

Взгляды и практическая деятельность Н. В. Басаргина достаточно интересны, поскольку позволяют познакомиться с обликом рядового декабриста. Вместе с тем на примере Н. В. Басаргина отчетливо прослеживается эволюция дворянской революционности, как в сторону демократизма, так и в сторону либерализма, в бурные годы первого демократического натиска и падения крепостного права.

Николай Васильевич Басаргин родился в 1799 г. в семье владимирского помещика средней руки. Кроме него у родителей было еще трое детей: старшие сыновья Иван и Александр и дочь Ольга. О родителях будущего декабриста известно мало. Мать его Екатерина Карловна — дочь известного архитектора К. И. Бланка — умерла, когда ему исполнилось всего четырнадцать лет. О своем воспитании Н. В. Басаргин на следствии писал: «Воспитывался до 14 лет у родителей, и учителя ходили ко мне по урокам. Потеряв в это время мать мою, воспитание мое было остановлено до 17 лет» (Восстание декабристов, т. XII. М., 1969, с. 310. Далее сокращенно: ВД).

17-летним юношей Н. В. Басаргин приехал в Москву с намерением поступить вольнослушателем в университет. Однако ему это не удалось. Дальнейшую судьбу юноши определила встреча с А. А. Тучковым (будущим членом Союза благоденствия). Он помог Н. В. Басаргину поступить в школу колонновожатых, которую учредил и возглавлял генерал-майор Николай Николаевич Муравьев. Школа колонновожатых была очень серьезным частным учебным заведением, на основе которого впоследствии была организована Академия Генерального штаба.

С декабря 1817 г. по февраль 1819 г. Н. В. Басаргин прошел курс обучения в школе колонновожатых. За отличные успехи был аттестован прапорщиком и на год оставлен преподавателем «математических лекций». В марте 1820 г. Басаргин получил назначение на должность адъютанта начальника штаба 2-й армии генерал-майора П. Д. Киселева, а с октября 1821 г. в звании поручика стал старшим адъютантом последнего. Штаб-квартира 2-й армии находилась в Тульчине.

Исполнительный, скромный и вместе с тем общительный и знающий офицер, Н. В. Басаргин быстро завоевал уважение и дружеское расположение товарищей по службе. В числе лиц, входивших в «общество Главной квартиры 2-й армии», Н. В. Басаргин называет С. Г. Волконского, сына главнокомандующего молодого Л. П. Витгенштейна, П. И. Пестеля, А. П. Юшневского, А. П. Барятинского, братьев Крюковых, В. П. Ивашева, И. Г. Бурцова.

Поименованный Басаргиным состав лиц, входивших в так называемое «общество Главной квартиры», показывает, что ведущую роль в последнем играли члены Тульчинской управы Союза благоденствия. Не случайно поэтому Басаргин особо подчеркивает влияние Пестеля на офицерскую молодежь, а характер времяпрепровождения молодых вольнодумцев, старавшихся, как об этом сказано в воспоминаниях, «употребить свободное от службы время

на умственное и нравственное свое образование», соответствовал требованиям 1-й части «Зеленой книги» — официального устава тогдашней организации дворянских революционеров.

К моменту приезда Н. В. Басаргина в Тульчин (март 1820 г.) местная управа Союза благоденствия была одной из наиболее многочисленных и активных в тайном обществе. Этому способствовали настойчивые теоретические искания Пестеля, результаты которых в виде «Записок о государственном правлении» и «Краткого умозрительного обозрения государственного правления» стали достоянием членов организации. Важной вехой в деятельности Тульчинской управы стало решение Коренной управы Союза благоденствия о признании республики наилучшей формой государственного устройства России. По возвращении из Петербурга в мае—июне 1820 г. Пестель поставил о нем в известность своих товарищей по обществу («сие заключение было сделано Коренной Думой яко Законодательной властью Союза») и «тогда же было положено сообщить об этом всем частным Думам» (ВД, т. IV. М.—Л., 1927, с. 154—155). Сначала о решении «насчет республиканского правления» было сообщено «Юшневскому, Вольфу, Ивашеву, Комарову и Бурцову, а потом узнали о сем заключении также и Аврамов, Басаргин, князь Барятинский, и оба Крюковых, когда были в общество приняты» (там же, с. 177).

Четкая постановка определенной политической цели общества способствовала организационному совершенствованию и оживлению деятельности Тульчинской управы Союза благоденствия, в которую Н. В. Басаргин официально вступил, судя по показаниям Пестеля, вскоре после возвращения последнего из Петербурга в мае—июне 1820 г. В «Записках» Н. В. Басаргин умалчивает о том, что стал членом Союза благоденствия еще в 1819 г. в Москве; этот пробел в «Записках» частично восполняется показаниями Н. В. Басаргина во время следствия по делу декабристов. В показаниях он писал: «...в конце 1819 или в начале 1820 года приглашен я был чиновником Бруннером ко вступлению в масонское общество благоденствия. Цель сего общества состояла в том, чтобы стараться, сколько есть возможности, помогать ближним, соблюдать все обязанности хорошего гражданина, не нарушать правосудия, стараться искоренить злоупотребления и дать согласие на уничтожение подданства крестьян. Он хотел дать мне прочесть книгу, в коей заключалась подробно цель учреждения сего общества и обязанности каждого члена, но по короткости моего пребывания в Москве не успел сего исполнить. Я дал ему согласие вступить в сие общество и вскоре потом откомандирован был в Главную квартиру 2-й армии. Причины, побудившие меня вступить в общество сие, суть следующие. Желание быть полезным, возможность сблизиться с людьми благомыслящими и, как мне тогда казалось, хорошая цель оного» (ВД, т. XII, с. 283—284). При приеме Н. В. Басаргина Бруннер сказал ему, что членами общества являются полковник квартирмейстерской части А. Н. Муравьев, его двоюродный брат штабс-капитан Генерального штаба Н. М. Муравьев и поручик Христиани. У следователей ни на минуту не возникло сомнения в том, что названная Н. В. Басаргиным масонская ложа благоденствия, в которую его принял Бруннер, была в действительности Союзом благоденствия. В записке «О силе вины» Н. В. Басаргина читаем: «В 1819 году принят Бруннером в Союз благоденствия, который почитал масонскою ложею» (там же, с. 317).

Сообщая подробности о приеме его Бруннером в конспиративную организацию, Н. В. Басаргин писал: «При сем долгом поставляю донести, что расписки на вступление в общество я ему не давал, а дал оную в Тульчине полковнику Бурцову при вторичном моем согласии вступить в Общество благоденствия» (там же, с. 305). Как это произошло, явствует из следующего показания Н. В. Басаргина: «Будучи [...] откомандирован во 2-ю армию, я нашел там много членов сего общества [речь шла о Союзе благоденствия.— И.П.] и мне не трудно было войти с ними в связь. Полковник Бурцов, с коим я прежде всего познакомился, будучи членом сего общества, ввел меня в общество бывших там членов» (ВД, т. XII, с. 290; ср. с. 294—295, с. 297). Здесь Н. В. Басаргин узнал, что целью общества было «водворение свободного правления в России» (там же, с. 295). И хотя позднее, на следствии, Басаргин попытается доказать, что эта цель «побочная», а «главная же была та, что мы находились весьма тесно связанными друг с другом» (там же, с. 303), но так или иначе он становится в 1820 г. членом Тульчинской управы.

По свидетельству Пестеля, когда он «возвратился из Петербурга в 1820 г. в конце мая или начале июня», «Тульчинская дума не имела своих заседаний устроенными и не имела ни

Председателя, ни Блюстителя». «Устроение заседания Думы завелось в конце 1820 г., месяца за два или полтора до назначения Московского съезда» (ВД, т. IV, с. 177). В это время и Н. В. Басаргин принимает самое живое участие в делах Тульчинской управы. Он не только постоянно присутствует на встречах-совещаниях членов управы, но и приглашает в тайное общество поручика Бобрищева-Пушкина 1-го.

Наиболее близкими Н. В. Басаргину людьми во 2-й армии, как идейно, так и в житейском смысле, были полковники И. Г. Бурцов, П. В. Аврамов, ротмистр В. П. Ивашев и штаб-лекарь Ф. Б. Вольф. «Из них полковник Бурцов, доктор Вольф и ротмистр Ивашев,— заявил на следствии Н. В. Басаргин,— доказали мне на опыте свою ко мне привязанность» (ВД, т. XII, с. 302).

Все эти лица принадлежали к числу умеренных членов тайного общества. Наиболее выдающимся среди них, безусловно, был И. Г. Бурцов, о котором Н. В. Басаргин писал: «Соблюдая правила умеренные, он сначала деятельно способствовал распространению Общества благоденствия, но, переменяв образ мыслей в 1821 году, отстал от оного и обратился к обязанностям службы. Сначала он имел большое влияние на общество» (там же, с. 298).

«Перемена» образа мыслей И. Г. Бурцова в 1821 г., о чем пишет Н. В. Басаргин, связана с одним из решающих переломных моментов в деятельности тайных обществ. Речь идет о мартовских событиях в Тульчине, приведших к учреждению Южного общества. В январе 1821 г. в Москве состоялся съезд руководителей Союза благоденствия, на котором было принято решение о роспуске Союза. Обо всем происшедшем вслед за этим подробно рассказывает Пестель.

«По возвращении Бурцова и Комарова из Москвы узнали мы все там происшедшее от Комарова, прежде нежели Бурцов по поручению о том в Думе объявил. По сему прежде собрания Думы был у нас о том разговор с Юшневским. Из неудовольствия всех членов нашей Думы о Московском происшествии видно уже было, что большая часть склонна не признавать объявленного уничтожения Союза. По сему обстоятельству говорил мне Юшневский прежде собрания Думы, что он намерен в оной представить обо всех опасностях и трудностях предприятия, дабы испытать членов и удалить всех слабосердных, говоря, что лучше их теперь от Союза при сем удобном случае удалить, нежели потом с ними возиться. Когда Дума была собрана и Бурцов объявил о Московском уничтожении Союза, а потом вышел и за ним Комаров, тогда Юшневский проговорил свою речь, которая не только никого не удалила от Союза, но, напротив того, самолюбие каждого подстрекнула, и полковник Аврамов первый сказал, что ежели все члены оставят Союз, то он будет считать его сохраненным в себе самом. После его все члены объявили намерение остаться в Союзе, и тут было замечено, что Московская Чрезвычайная Дума имела поручение преобразовать Союз и потому преступила границы своей власти, объявляя Союз уничтоженным.

А потому Тульчинская Дума признает Союз существующим с прежней целью и в прежнем значении. То и другое было подтверждено, и при том сделаны некоторые перемены в образовании Союза. Все тогда присутствовавшие члены приняли название **Бояр Союза** и выбрали в председатели Юшневского, меня и Никиту Муравьева, предполагая, что он, подобно нам, не признает уничтожения Союза, ибо он не был в Москве. Вот самое вернейшее и подробнейшее повествование всего сего происшествия» (ВД, т. IV, с. 108—109).

И далее Пестель писал: «Вскоре после того получили мы известие от Никиты Муравьева, что многие члены в Петербурге точно так же поступили, как Тульчинская Дума. Вот начало Северного и Южного округов того же самого Союза благоденствия, продолженного и притом исправленного. Членами Тульчинской управы были тогда Юшневский, Аврамов, Вольф, Ивашев, адъютанты Крюков 1-й, князь Бяратинский, Басаргин, свитский Крюков 2-й, князь Волконский, Василий Давыдов и я» (там же, с. 109).

Таким образом в числе первых членов—учредителей новой тайной организации, «Бояр Союза», находился и Н. В. Басаргин. Здесь следует подчеркнуть, что Николай I и Следственная комиссия придавали возникновению Южного и Северного обществ решающее значение в деятельности заговорщиков. В специальной инструкции о том, как нужно составлять на каждого из подследственных декабристов записку о «силе» их вины, читаем: «I. Обстоятельства, принадлежащие к силе вины: 1. Учреждение общества.

*Примечание.* 1. Эпохой учреждения должно принимать не первое основание его в виде Союза спасения или Союза благоденствия, но когда уже возникли виды переворота» (ВД, т. XII, с. 316).

Цитируемый документ объясняет, кстати, почему следователи в малой степени интересовались ранними декабристскими союзами, сосредоточив основное внимание на Южном и Северном обществах.

На следствии Басаргин вначале пытался отрицать свою принадлежность к Южному обществу. Позднее под давлением неопровержимых свидетельств он вынужден был признать в этом: «...в 1821 г., когда объявлено было уничтожение Союза благоденствия, дал согласие остаться в преобразованном обществе и одобрил: а) избрание начальниками Пестеля и Юшневского, б) цель сего общества— **введение республиканского правления** и в) революционный способ достижения ее с **упразднением престола и в случае крайности с изведением тех лиц, кои представляют в себе непреодолимые препоны**» (там же, с. 315—316; ср.: ВД., т. IV, с. 156).

Стремясь по возможности уменьшить степень виновности, Н. В. Басаргин объяснял свое вступление в Южное общество следующим образом: «Когда в 1821 г. мне было объявлено, что некоторые члены удалились, то я объявил согласие остаться. Причина же моего согласия, смею уверить Комитет, высочайше учрежденный, была ложный стыд и боязнь быть укоряемым в малодушии» (ВД, т. XII, с. 295). И все же несравнимо весомее и значительней оказывается в данном случае сам вынужденно констатируемый факт, нежели его нравственно-психологическое обоснование.

В начальный период деятельности Южного общества было положено, как справедливо отмечал Басаргин, «ограничиться умножением членов, оставив дальнейшие действия в распоряжении директоров», а именно Пестеля и Юшневского (там же, с. 296). При этом все члены Южного общества, и в том числе Басаргин, единодушно признавали решающую роль Пестеля, как в делах Тульчинской управы Союза благоденствия, так и Южного общества. На организационном собрании, которое состоялось на квартире Пестеля, он, по словам Басаргина, «увлек всех силою своих рассуждений» (там же). Вообще «одаренный от природы способностями выше обыкновенных», Пестель, как утверждал Басаргин, «был главною причиною действий общества» (там же, с. 298). Вместе с тем Басаргин позднее, на следствии (а потом и в «Записках»), отмечал сложный характер руководителя Южного общества, его нетерпимость по отношению к тем, кто не соглашался с его взглядами, излишнюю категоричность. Например, в показании Н. В. Басаргина о Пестеле значится: «Он один имел большое влияние в обществе, но, к счастью, не имел способности привлекать, ибо, излагая слишком неосторожно свои правила, он был тогда же оставляем теми, кои им увлекались» (там же).

Пока Пестель жил в Тульчине, Басаргин, так же как и другие местные члены тайной организации, испытывал на себе его гипнотическое воздействие. С назначением 15 ноября 1821 г. Пестеля командиром Вятского пехотного полка и переездом в Линцы влияние его на определенную часть «южан» ослабло. Басаргину даже казалось, что с удалением Пестеля из Главной квартиры «общество как бы кончилось» (там же). Не отличавшийся большой активностью в делах организации, Басаргин в течение 1822 г. все более и более, вместе с Ф. Б. Вольфом, В. Ивашевым и П. Аврамовым, отходит от тайного общества. Думается, что к ним в равной степени может быть применима характеристика, данная секретарем Следственной комиссии А. Д. Боровковым Ф. Б. Вольфу: «Вообще *Вольф* замечается более разделившим тайные замыслы, нежели действующим лицом по обществу и желавшим или отстать от оного, или чтобы оно уничтожилось» (там же, с. 132). В охлаждении и отчуждении от дела этих и некоторых других членов общества определенную роль сыграли арест члена Кишиневской управы Союза благоденствия майора В. Ф. Раевского 6 февраля 1822 г. и именной указ Александра I от 1 августа 1822 г. «О уничтожении масонских лож и всяких тайных обществ», которым предписывалось: «Все тайные общества, под коими бы названиями они ни существовали, как-то: масонских лож или другими, закрыть и учреждения их впредь не дозволить» (ПСЗ, т. XXXVIII, с. 579). Кроме того, все лица, находившиеся на государственной или военной службе, должны были дать подписку о непринадлежности к тайным обществам.

Скорее всего, лишь по инерции Басаргин в 1822 г. еще участвовал в совещании членов Южного общества в Тульчине, которое, видимо, по поручению Пестеля, уехавшего в Линцы, проводил Волконский.

В сентябре 1824 г. Басаргин женился на княгине Мещерской. Накануне свадьбы он открыл будущей жене, что принадлежит к тайному обществу.

Недолгое счастье совместной жизни с любимой женщиной трагически оборвалось в августе 1825 г. смертью жены Н. В. Басаргина от простуды вскоре после благополучных родов. На руках у овдовевшего отца осталась месячная дочь. Потеря самого дорогого человека буквально сразила Басаргина. 12 сентября 1825 г. он пишет душевраздирающее письмо П. Д. Киселеву с просьбой способствовать ему в перемене места службы, так как для него невыносимо оставаться там, где все исполнено напоминанием об утрате.

Какой результат имела бы просьба Басаргина при нормальном ходе жизни, можно только предполагать. Вероятно, П. Д. Киселев удовлетворил бы ее. Но неожиданное стечение обстоятельств решительным образом изменило всю последующую судьбу Басаргина. Весь сентябрь месяц он тяжело проболел (отнялись ноги). В октябре, получив отпуск, уехал к родным, сначала в Москву, а затем во Владимирскую губернию. По окончании отпуска, направляясь к месту службы, Басаргин 25 декабря в Могилеве услышал от главнокомандующего 1-й армии графа Сакена о восстании в Петербурге.

В Тульчин Басаргин вернулся вечером 27 декабря. Здесь он узнает от Вольфа о доносе Майборода, приезде Чернышева из Таганрога, аресте Пестеля, Юшневского, Барятинского и др.

30 декабря 1825 г. Басаргин представил на имя генерала Киселева официально востребованный рапорт, в котором категорически отрицал свою принадлежность к тайному обществу. В тот же день он был арестован и 6 января 1826 г. вместе с Вольфом отправлен в Петербург. Сопровождал их жандармский унтер-офицер Холмышев, который позволил арестованным ехать в одном возке.

14 января 1826 г. арестованных доставили в Петербург и поместили на Главной гауптвахте. 15 января 1826 г. Басаргин дал свое первое показание генерал-адъютанту Левашеву, чему предшествовало строгое словесное наизидание царя: «Говорите всю правду [...], если скроете что-нибудь, то пеняйте на себя» (см. с. 39 наст. изд.).

Процедура следствия, усугубляемая вмешательством Николая I, была очень мучительной, и кое-кто из арестованных декабристов не выдержал этого испытания, потеряв чувство собственного достоинства и ударившись в излишнюю откровенность, граничащую с доносительством.

Что касается Басаргина, во время следствия он не назвал ни одного имени члена организации, которого бы Следственная комиссия не знала. При более пристальном изучении показаний Басаргина можно установить избранную им тактику самозащиты и проследить ее эволюцию в ходе разбирательства его дела.

Вначале Басаргин отрицал какую-либо причастность к тайному обществу. Более того, он пытался выдать себя за жертву необоснованного навета. Такая позиция была характерна для Басаргина с первого письменного рапорта от 30 декабря 1825 г. на имя генерала Киселева, где утверждалось: «...как о существовании какого-либо тайного общества я никогда не слыхал [...], так и предложения ко вступлению в оное [...] не имел» (ВД, т. XII, с. 281).

Такую линию, с оговоркой, что в 1819—1820 гг. он состоял в Союзе благоденствия, Басаргин проводил до 9 марта 1826 г., когда Следственная комиссия, опираясь на показания восьми членов тайной организации, потребовала от него в ультимативной форме чистосердечного раскаяния. Естественно, Следственную комиссию не могли удовлетворить уклончивые ответы Басаргина, которые она квалифицировала как заперательство и нежелание быть откровенным в признании. Сам Басаргин в конце концов согласился с тем, что первые ответы его были неискренними. Поняв, что дальнейшее заперательство только усугубит сложность его положения, Басаргин меняет тактику. Он старается убедить наиболее авторитетных членов Следственной комиссии, что готов дать самые откровенные показания. В подтверждение сказанному Басаргин признает свою формальную принадлежность к Южному обществу. Но одновременно он настойчиво доказывает, что «4 года тому назад»

порвал всякие конспиративные связи и потому: во-первых, за давностью лет не помнит, как все происходило в начальный период становления Южного общества, а во-вторых, ничего не знает о деятельности тайной организации в 1823—1825 гг., поскольку не принимал в ней участия. И эту линию он выдержал до конца судебного разбирательства. Следователи с удовлетворением констатировали признание Басаргина в принадлежности к Южному обществу. Однако они одновременно отметили, что он, хотя «ему были известны все замыслы и намерения оного, не сознается» в этом (там же, с. 450).

При вынесении Басаргину приговора было принято во внимание то, что в последние годы он отошел от активного участия в делах тайной организации. Вместе с тем в решении его судьбы определенную роль сыграла и продуманная им самозащита. Басаргин был отнесен ко 2-му разряду и после конфирмации приговора Николаем I 10 июля 1826 г. осужден на 20 лет каторжных работ.

По коронационному манифесту от 22 августа 1826 г. осужденным по 2-му разряду убавили 5 лет каторжных работ.

Просидев в Петропавловской крепости более 6 месяцев, Басаргин ночью 21 января 1827 г. вместе с М. А. Фонвизиним, Ф. Б. Вольфом и А. Ф. Фроловым—членом Общества соединенных славян—в сопровождении фельдъегеря Воробьева был отправлен в Сибирь. В марте 1827 г. Басаргин и его товарищи были доставлены в Читу, которая входила в Нерчинский горный округ. Сюда, пока на Петровском заводе по приказу Николая I строили специальную, без окон, тюрьму для осужденных, свозили декабристов из разных мест заключения.

В июле—августе 1830 г. находившиеся в Читинском остроге декабристы совершили пеший переход в Петровский завод, к месту постоянного заключения. Начался новый период сибирской жизни декабристов.

Несмотря на тяжелые тюремные условия Петровского завода, каторжане-декабристы не потеряли твердости духа, в чем немалая заслуга принадлежала женам, приехавшим к своим мужьям в Сибирь. Кроме того, постоянное общение в остроге и взаимная поддержка были очень важным фактором сохранения осужденными идейной убежденности и высоких моральных качеств.

Постепенно декабристы, приговоренные к меньшим срокам каторжных работ, стали выходить на поселение. В начале 1833 г. этим правом воспользовались: М. А. Фонвизин, М. М. Нарышкин, Н. И. Лорер, П. В. Аврамов, П. С. Бобринцев-Пушкин, братья Беляевы, А. И. Одоевский, П. И. Фаленберг.

Наконец, наступил срок отъезда и Басаргина.

В 1836 г. Н. В. Басаргин вместе с В. П. Ивашевым был обращен на поселение в город Туринск, куда 17 октября 1839 г. приехал на жительство И. И. Пущин. В Туринске Н. В. Басаргин в августе 1839 г. женился на дочери подпоручика местной инвалидной команды 18-летней Марии Елисеевне Мавриной. «Она его любит, уважает, а он надеется сделать счастье молодой своей жене...»—писал о браке Басаргина И. И. Пущин (Пущин И. И. Записки о Пушкине. Письма. М., 1956, с. 130). Но семейная жизнь Басаргина с М. Е. Мавриной оказалась отягощенной трагическими событиями и была непродолжительной.

В мае 1840 г., вскоре после рождения, умер их сын Александр. Судьба второго сына от этого брака не ясна. Можно предполагать, что и он умер малолетним. Тяжелым ударом для Басаргина явилась смерть давнего и верного друга В. П. Ивашева, последовавшая 27 декабря 1840 г. В 1846 г. в возрасте 25 лет скончалась Мария Елисеевна.

Ранее, в марте 1842 г., Н. В. Басаргин с семьей переехал в г. Курган. Здесь он прожил вместе с Щепиным-Ростовским, Бригеном, Повало-Швейковским и Башмаковым до января 1846 г. Затем Басаргин определяется на службу в канцелярию пограничного управления сибирских киргизов и переезжает в г. Омск.

В феврале 1848 г. Басаргина по его просьбе перевели на службу в Ялуторовский земский суд. В Ялуторовске тогда проживали М. И. Муравьев-Апостол, И. И. Пущин, Е. П. Оболенский, А. В. Ентальев, В. К. Тизенгаузен, И. Д. Якушкин, с которым у Басаргина были особенно близкие отношения.

Эти декабристы, возглавляемые Якушкиным, развернули активную просветительскую



деятельность. Самое живое участие в ней принял и Басаргин. В Ялutorовске ими были открыты мужская и женская школы, где они преподавали. Верная идеям устава Союза благоденствия — «Зеленой книги» — ялutorовская колония декабристов, как справедливо отмечено в советской историографии, «оставила глубокий след в культурной жизни Западной Сибири, в том числе в развитии просвещения» (Копылов А. Н., Малышева М. П. Декабристы и просвещение Сибири в первой половине XIX в. — В сб.: Декабристы и Сибирь. Новосибирск, 1975, с. 102).

Характеризуя взаимоотношения декабристов, проживавших в Ялutorовске, Н. В. Басаргин писал: «Все мы были чрезвычайно дружны между собой. Не проходило дня, чтобы мы не виделись, и сверх того раза четыре в неделю обедали и проводили вечера друг у друга. Между нами все почти было общее, радость или горе каждого разделялось всеми — одним словом, это было какое-то братство — нравственный и душевный союз» (ЦГАОР, ф. 279, оп. 1, ед. хр. 168, «Журнал» Н. В. Басаргина (Воспоминания о возвращении в Россию), октябрь 1856, л. 3).

Так в дружеском общении, взаимной поддержке прожили ялutorовские декабристы-поселенцы, и в их числе Басаргин, вплоть до расставания. В Ялutorовске в 1848 г. Н. В. Басаргин женился на Ольге Ивановне Медведевой, урожденной Менделеевой, сестре великого ученого-химика, с которой и прожил до самой своей смерти.

Неожиданная кончина 18 февраля 1855 г. Николая I вселила надежду оставшимся в живых декабристам-поселенцам на возвращение из Сибири. Но Александр II не торопился прощать врагов своего отца.

О подлинных настроениях правительства при амнистировании «государственных преступников» выразительно говорит выбор лиц, которым Александр II доверил подготовку коронационного манифеста. «Во главе всего дела стоял шеф жандармов А. Ф. Орлов, а позже — сменивший его князь Долгоруков. [...] Ближайшим их помощником был председатель Государственного совета Блудов — автор пресловутого «Донесения Следственной комиссии», явившегося главным обвинительным документом против декабристов» (Сокольский Л. А. Возвращение декабристов из сибирской ссылки. — В сб.: Декабристы в Москве. М., 1963, с. 222 — 223).

Из-под пера этих «никolaевских орлов», как называл Герцен сподвижников «незабвенного», вышел куций коронационный манифест 26 августа 1856 г. «Амнистия, — писал Герцен, — тощая, скупая, бедная, жалкая» (Герцен А. И. Т. XXIV, с. 67). Созвучно Герцену высказывался и Н. В. Басаргин: «Впечатление, которое произвела на нас и особенно на меня эта полуамнистия, определить трудно. Радоваться было нечему» (ЦГАОР, ф. 279, оп. 1, д. 174, л. 5). И все же амнистия, хотя и в урезанном виде, восстанавливала гражданские права амнистированных декабристов и давала им возможность вернуться в родные места.

Н. В. Басаргин не сразу и не без колебаний принял решение возвратиться в Европейскую Россию. «Не знаю еще, на что решусь, — писал он в октябре 1856 г., — поеду ли в Россию, или останусь в Сибири? В первой нет уже никого из близких мне людей... С другою я свылся, полюбил ее» (ЦГАОР, ф. 279, оп. 1, ед. хр. 168, л. 1). И все же в ноябре 1856 г. Н. В. Басаргин решил возвратиться в Центральную Россию. Однако местная администрация не спешила с удовлетворением его просьбы о выезде. Лишь 21 февраля 1857 г. Басаргин с женой и воспитанницей Поленькой выехали из Ялutorовска. «В день нашего отъезда, — писал впоследствии Басаргин, — все знакомые собрались проводить нас. Явились и из простонародья все те, которые или служили нам, или имели какие-то с нами сношения. Тут я не мог не заметить с особенным чувством искреннего их к нам доброжелательства и привязанности» (там же, л. 2об).

Путешественники ехали через Шадринск, Челябинск, Златоуст на Казань, куда добрались в условиях российского бездорожья за одиннадцать дней. Далее их путь лежал на Нижний Новгород. Здесь их в середине марта радушно встретил местный генерал-губернатор А. Н. Муравьев, в прошлом один из организаторов Союза спасения и видный член Союза благоденствия.

В Нижнем возок заменили на тарантас. Выехали из города 20 марта и через два дня Басаргины были во Владимире, а на третий день — в д. Липки, родовом имении отца.

26 марта 1857 г. Басаргины приехали в Москву и остановились у Якушкиных, «с тем, чтобы приискать себе подле них небольшую квартиру» (там же, л. 5).

Однако по распоряжению московского генерал-губернатора графа Закревского Басаргину, так же как и ранее приехавшему И. Д. Якушкину, запрещалось оставаться в Москве на жительство. Это «притеснение», формально исходившее от царского сановника, на самом деле совершенно отвечало намерениям самого Александра II.

Вместе со своими близкими 2 апреля 1857 г. Н. В. Басаргин через Серпухов, Тулу и Орел направился в Курск, куда прибыл 6 апреля. В Курске они прожили до 25 апреля и снова двинулись в дорогу, держа путь на Киев. 3 мая они приехали в Киев, где побыли 4 дня, переехав затем в имение сестры, находившееся в 40 верстах от города. Отсюда Н. В. Басаргин съездил в Тульчин на могилу своей первой жены. С августа 1857 г. Басаргины проживали в с. Алексино, Дорогобужского уезда, Смоленской губернии, принадлежавшем полковнику Барышникову — давнему другу Н. В. Басаргина. Тяжело переживая отсутствие постоянного пристанища, Н. В. Басаргин даже подумывал вернуться в Сибирь. От этой мысли он отказался лишь в феврале 1858 г., побывав в Москве и получив разрешение приезжать в столицу. С апреля 1858 г. Н. В. Басаргин обосновывается во Владимирской губернии. Однако и здесь у него нет своего угла. Между тем болезнь Басаргина (сердечная астма) с каждым днем прогрессировала. В конце 1860 г. по состоянию здоровья он переезжает в Москву, где 3 февраля 1861 г. умирает...

В некрологе на смерть Басаргина Герцен писал: «Еще один из наших старцев сошел в могилу — **Николай Васильевич Басаргин**. Правительство и его взыскало своей милостью. На похороны московский обер-полицеймейстер послал переодетого квартального и четырех жандармов. У родственников покойного тайная полиция делала обыск. А ведь как не выкрадывать истину, историю вам не украсть!» (Герцен А. И. Т. XV, с. 85).

Николай Васильевич Басаргин оставил немалое литературное наследие.

Перу Басаргина принадлежат рассказ «Мария», посвященный женщине, которая служила у него кухаркой, статьи: «О будущем России и ее политике», «Старообрядцы в Западной Сибири», «Об устройстве железной дороги от г. Тюмени до р. Камы в г. Перми», написанные в Сибири, и др. Главное место в литературном наследии Н. В. Басаргина, безусловно, должно быть отдано его воспоминаниям — «Запискам». История их создания весьма интересна. В появлении «Записок» важную роль сыграл сын декабриста И. Д. Якушкина Е. И. Якушкин. Как заметил Н. Я. Эйдельман, «без Евгения Ивановича Якушкина значительная часть мемуаров деятелей тайных обществ вообще никогда не появились бы» (Эйдельман Н. Я. Тайные корреспонденты «Полярной Звезды». М., 1966, с. 53).

Е. И. Якушкин дважды приезжал к отцу в Ялуторовск. Первый раз в 1853 г., а второй — в августе 1855 г. и прожил там до весны 1856 г. Во время посещений Ялуторовска между ним и Н. В. Басаргиным, который издавна был близок с И. Д. Якушкиным, установилась взаимная привязанность.

Это укрепило Е. И. Якушкина в намерении обратиться к Н. В. Басаргину с настоятельной просьбой написать воспоминания. Помимо общего интереса к декабристскому прошлому Е. И. Якушкина очень привлекала личность П. И. Пестеля, с которым Н. В. Басаргин был близко знаком. Е. И. Якушкин «...решился сделать нападение на Пушкина, Басаргина и Оболенского: первый мог сообщить много любопытного о Пушкине, с которым он был вместе в лицее и был очень дружен после; от второго мог узнать некоторые подробности о Пестеле [выделено мною. — И. П.], так как он жил последнее время в Тульчине; третий был коротко знаком с Рылеевым» (Декабристы на поселении. Из архива Якушкина. М., 1926, с. 33).

Сразу же после смерти мужа, 17 февраля 1861 г., Ольга Ивановна Басаргина обращается с письмом к Е. И. Якушкину. Письмо проясняет многое касательно роли Е. И. Якушкина в рождении этих записок и особенно в отношении их последующего распространения и появления в разных вариантах. «Н[иколая] В[асильевича] схоронили подле Ивана Дмитриевича [Якушкина. — И. П.], и я только приняла последний вздох его и закрыла глаза ему и сказала, что все его записки принадлежат вам — более мне уже нечего прибавить о том, что я понимаю связь наших милых умерших и отношение к живым [...] Барышникову я не могла отказать, и он переписал их [слово неразборчиво. — И. П.], думаю, что он не будет иметь права их напечатать... Передаю вам все права на них, вы лучше знаете, что делать. [...]

Он писал их с большим чувством, легко, проникнутый своими убеждениями, и о чем рассуждал, то было умно и справедливо. Он говорил: когда умру, тогда моим запискам более дадут цену. Чтобы передать их вам, это он мне говорил много раз и я твердо помню. Смутно припоминаю, что он хотел оставить в нескольких экземплярах что-то и о том, чтобы довести до государя, но ничего не сделал...» (ЦГАОР, ф. 279, оп. 1, ед. хр. 458, л. 3—4).

Письмо О. И. Басаргиной не только касается распространения в списках «Записок» ее мужа, но и дает материал к истории их написания. Важнейшее дополнение по истории создания басаргинских мемуаров содержится в неопубликованном авторском предисловии к «Запискам». Не называя прямо имени Е. И. Якушкина, которого он, скорее всего, по конспиративным соображениям наименовал «прежним товарищем по службе», Н. В. Басаргин так изложил разговор, состоявшийся между ними: «Пишешь ли ты свои Записки?» — спросил меня один из моих прежних товарищей по службе, случайно посетивший меня в изгнании.

Я ответил, что хотя мне и часто приходило на мысль набросать кое-что из прежних воспоминаний, но я боялся приступить к этому. С одной стороны, я далеко не литератор и пером владею плохо, с другой — не могу быть уверен в своем беспристрастии, столь необходимым при суждении о людях и событиях, о которых мне пришлось бы говорить.

Именно эта неуверенность, возразил он, есть лучшее ручательство в том, что ты не напишешь ничего такого, что бы не подтвердила твоя совесть. Если рассказ твой и суждения будут носить отпечаток твоей личности, то это несколько не уменьшит к тебе доверия, а, напротив, покажет твою добросовестность. Что же касается до слога, то, не имея претензий на литературную известность, ты, конечно, можешь писать и думать, как говоришь. На это, вероятно, у тебя достанет грамотности. Ведь сочинишь ты же письма?

Далее, прибавлял он, грешно бы было каждому из вас не оставить по себе памяти молодым вам близким и лишить потомков ваших возможности знать об вас более того, что сказано в отчете Комитета [Следственного. — *И. П.*] и в официальных объявлениях правительства. Это повредило бы даже общему об вас мнению, показав, что в продолжение 30-летней вашей ссылки вы не хотели взять на себя труд представить истину в отношении вас самих и ваших действий. Ручаюсь тебе, заключил он, что записки каждого из вас, как бы они ни были изложены, в особенности если будут добросовестны, покажутся гораздо интереснее для мыслящего человека, чем большая часть иностранных мемуаров и повестей, так жадно читаемых у нас в России.

Расставшись с приятелем моим, думал я об этом разговоре и во многом соглашался с ним, но неуверенность в самом себе не позволила мне следовать его совету. Наконец, по долгому размышлению, я решился, но дал себе слово писать свои воспоминания только в том случае, если провидению угодно будет продлить жизнь мою до нового царствования. Оно настало. Россия с любовью и восторгом приветствовала восшествие нового государя. Ее озарила надежда на лучшую будущность. Первым подвигом его было прекратить кровопролитную войну, и подвигом величайшим, потому что он должен был отказаться от политики предшествующих царствований и сделать уступки. Начинания его показывают, что он желает царствовать не для себя, а для России, и дай бог только, чтобы препятствия и затруднения, которые он необходимо встретит при исполнении своих предначертаний по благу России, не охладили его деятельности и его высоких, благодетельных побуждений.

Это именно направление нового царствования показало мне также, что я не ошибался в моих суждениях о прежнем, и как бы утвердило принятое мною намерение начать эти записки. Трудно мне было припомнить давно минувшее, многое уже ускользнуло из моей памяти и, следовательно, многое будет неполно, непоследовательно. За одно только во всяком случае могу поручиться — это за совершенную добросовестность и возможное беспристрастие» (ЦГАОР, ф. 279, оп. 1, ед. хр. 167, л. 2—2 об.).

Значение этого предисловия состоит в том, что оно, во-первых, передает основной смысл доводов Е. И. Якушкина в пользу написания Н. В. Басаргиным воспоминаний, во-вторых, излагает авторские принципы мемуариста и, в-третьих, обосновывает решение вопроса о времени написания «Записок».

Итак, судя по тексту «Предисловия», Н. В. Басаргин начал писать воспоминания после смерти Николая I. Эта дата вполне соответствует приведенным ранее данным о разговоре

Е. И. Якушкина с Н. В. Басаргиным относительно «Записок», состоявшемся в августе 1855 г. В пользу того, что «Записки» были написаны в 1856—начале 1857 г., имеется два авторитетных свидетельства. Одно из них принадлежит самому Н. В. Басаргину, который в «Журнале», описывая свое короткое пребывание в Москве после возвращения из Сибири (26/III—2/IV 1857 г.), сообщал, что познакомился у Якушкиных «со многими московскими литераторами: Бабстом, Забелиным, Коршем, Кетчером, Павловым, Дмитриевым и многими другими. По просьбе их я читал им свои записки, которые, конечно, из вежливости они одобряли» (там же, л. 6).

Другое свидетельство принадлежит известному ученому, историку, фольклористу, издававшему в 1857—1861 гг. библиографические записки,—А. Н. Афанасьеву. В его неопубликованном дневнике имеется следующая запись, относящаяся к октябрю 1857 г.: «Басаргин, декабрист, написал превосходные и подробные записки истории тайного общества и своей ссылки; язык, говорят, превосходный и любопытного бездна» (там же, ед. хр. 1060, л. 188об).

Таким образом, не вызывает сомнения, что в основном «Записки» были написаны в 1856—начале 1857 г. Однако Н. В. Басаргин не переставал работать над своими воспоминаниями, о чем говорят остающиеся доньше в архиве рукописи его «Журнала», «Записки о современных событиях деревенского жителя, возвратившегося из ссылки» (1857—1860), а также опубликованные в 1925 г. характеристики И. Д. Якушкина, И. И. Пущина, М. К. Кюхельбекера, П. И. Пестеля, М. П. Бестужева-Рюмина и С. П. Трубецкого (ЦГАОР, ф. 279, оп. 1, ед. хр. 168, 171, 174. Ср.: Якушкин Е. Е. Неизданная рукопись декабриста Н. В. Басаргина.—«Каторга и ссылка», 1925, кн. 18, с. 161—173).

«Записки» Н. В. Басаргина еще до своего появления в печати получили распространение в списках. Об этом позаботились сам автор и его близкие. Как явствует из ранее приведенного письма О. И. Басаргиной, ее муж «хотел оставить в нескольких экземплярах» свои «Записки». Кроме того, текст «Записок» был переписан Барышниковым.

О существовании «Записок» Н. В. Басаргина знал А. И. Герцен, который трижды в «Колоколе» в 1862 г. публиковал заметку-объявление, где говорилось: «Мы предполагаем издавать «Записки» отдельными выпусками и начать с «Записок» И. Д. Якушкина и князя С. П. Трубецкого. Затем последуют «Записки» Оболенского, Басаргина, Штейнгеля, Люблинского, Н. Бестужева...» (Герцен А. И. Т. XVI, с. 237). Однако осуществить свое намерение в отношении «Записок» Н. В. Басаргина Герцену не удалось. Видимо, он их просто не получил.

О довольно широком хождении в рукописных вариантах «Записок» Н. В. Басаргина свидетельствует следующий факт, отмеченный М. К. Азадовским. В 1869 г. в 8-й и 10-й книжках «Отечественных записок» была опубликована статья С. В. Максимова «Государственные преступники», позже в несколько измененном виде вошедшая в его книгу «Сибирь и каторга». «Источником для Максимова послужили наряду с прочим [...] в то время не опубликованные, но известные ему в рукописи воспоминания Басаргина, Горбачевского, Штейнгеля и др.» (Воспоминания Бестужевых. Редакция, статьи и комментарии М. К. Азадовского. М.—Л., 1951, с. 798).

«Записки» Н. В. Басаргина были впервые опубликованы в 1872 г. в 1-й книге историко-литературного сборника «Девятнадцатый век», издававшегося П. И. Бартеневым. В том же году в типографии Ф. Иогансона с них были сделаны отдельные оттиски. Инициатива этих изданий принадлежала все тому же Е. И. Якушкину. В архивном деле под названием «Записки Басаргина (Воспоминания)» имеются счет, наборная рукопись воспоминаний, беловой и черновой автографы «Записок», соответствующие печатному варианту «Девятнадцатого века». Эти автографы могут быть условно названы «Якушкинским вариантом».

В 1917 г. П. Е. Щеголев осуществил новое издание «Записок» «по рукописи, сохранившейся в роде Менделеевых» (Записки Н. В. Басаргина. Пг., 1917, с. III), местонахождение которой в настоящее время не установлено.

Это издание отличается большей полнотой. В него включены страницы, посвященные Сибири, истории о том, как в 1820 г. Н. В. Басаргин участвовал в освобождении двух крепостных девушек. Кроме того, П. Е. Щеголев в ряде случаев восстановил цензурные купюры, имевшиеся в первой публикации.

В настоящем издании «Записки» и воспоминания об «училище колонновожатых» воспроизводятся по тексту, опубликованному П. Е. Щеголевым, как наиболее полному. Вместе с тем учтены архивные автографы их, что позволило провести дальнейшее восстановление цензурных сокращений и расшифровать отдельные криптонимы. В комментариях приводятся наиболее существенные разночтения «Якушкинского» и «Щеголевского» вариантов.

Текст мемуаров Н. В. Басаргина подготовлен к печати И. В. Порохом. Им же написана статья о Н. В. Басаргине и его воспоминаниях. Комментарии к тексту мемуаров составлены И. В. Порохом при участии Вас. И. Пороха.

\* \* \*

<sup>1</sup> Эти воспоминания печатаются в настоящем издании (с. 144—161).— 15

<sup>2</sup> 2-я армия в то время являлась наиболее многочисленным войсковым соединением в России. Охраняя юго-западные границы страны, 2-я армия дислоцировалась на обширной территории Украины и Молдавии.— 15

<sup>3</sup> Петр Христианович *Витгенштейн* (1768—1842)—боевой генерал, участник войны с Францией (1805—1807 гг.). В Отечественной войне 1812 г. командовал отдельным корпусом, прикрывавшим Петербург. 28 апреля 1813 г. после смерти М. И. Кутузова был назначен главнокомандующим русскими войсками. Из-за неудачи под Люценом и Бауценом был заменен М. Б. Барклаем-де-Толли (29 мая 1813 г.). Проявил большое личное мужество во время сражений при Дрездене и Лейпциге. В 1818 г. Витгенштейн принял от генерала от кавалерии Л. Л. Беннигсена командование 2-й армией. В 1826 г. ему было присвоено звание фельдмаршала. В 1828 г. руководил русскими войсками в войне против Турции. В 1829 г. ушел в отставку; в 1834 г. получил княжеский титул.— 15

<sup>4</sup> Павел Дмитриевич *Киселев* (1788—1872)—граф, участник Отечественной войны 1812 г. С 1819 г.—начальник штаба 2-й армии. После русско-турецкой войны (1828—1829 гг.) управлял Молдавией и Валахией в качестве наместника. В 1835 г. возглавлял секретный комитет по крестьянскому делу. С 1837 г.—министр вновь учрежденного Министерства государственных имуществ. Провел реформу управления государственными крестьянами (1837—1841 гг.). В 1856—1862 гг.—посол в Париже.

В «Якушкинском варианте» записок Н. В. Басаргина вместо слов «нынешний министр государственных имуществ» написано: «...теперь чрезвычайный посол при французском дворе» (ЦГАОР, ф. 279, оп. 1, ед. хр. 167, л. 3. Далее в скобках указываются только листы дела).— 15

<sup>5</sup> В «Якушкинском варианте» вместо слов «уже около 1820 г.» значится: «уже после 1820 г.». Кроме того, к этому месту текста воспоминаний имелось зачеркнутое карандашом (вероятно, самим мемуаристом) примечание следующего содержания: «Вот судьба всех этих лиц в настоящее время: князь Волконский в ссылке в Сибири, молодой Витгенштейн в отставке полковником, Пестель повешен [последние два слова в рукописи замазаны черными чернилами.— И. П.], Юшневский умер в ссылке в Сибири, князь Барятинский тоже, Крюков 1-й в ссылке в Сибири, Ивашев умер в ссылке, Рудомоев умер феоdosийским градоначальником, Клейн в отставке, Будберг—генерал-адъютант, князь Салтыков в отставке, Барышников—полковником в отставке [друг Басаргина, к которому он приезжал после амнистии.— И. П.], Аврамов 1-й умер в ссылке, Чепурнов умер генералом, об Языкове не знаю, Бурцов убит генералом в Малой Азии, князь Трубецкой—сенатор и генерал-лейтенант [Имеется в виду Петр Иванович Трубецкой (1798—1871); генерал от кавалерии: смоленский, затем орловский военный губернатор.— И. П.], князь Урусов—сенатор и генерал-лейтенант, граф Ферзен—тайный советник и церемонмейстер, барон Миллер-Закомельский, кажется, генералом, Штейбен умер генералом, два брата Бобрисевых-Пушкиных возвращены в Россию нынешним государем—первый в помешательстве, Лачинов был разжалован в солдаты, дослужился до офицерского чина, а теперь в отставке, Колошин умер, Горчаков в отставке, Крюков 2-й умер в ссылке, Аврамов 2-й умер в ссылке, барон Ховен сенатором и генерал-лейтенантом, Черкасов возвращен из ссылки солдатом на Кавказ, дослужился до офицера и [здесь зачеркнуто слово «живет».— И. П.] умер в отставке, барон Ливен—генерал-адъютантом и квартирмейстером Главного штаба, Пушкин в отставке, Петров умер

генералом на Кавказе, барон Мейндорф—тайный советник, Фаленберг в ссылке в Сибири, Филиппович умер в Тульчине прежде нашего дела, фон Руге—генералом, Новосильцев в отставке, Львов был губернатором и застрелился, Юрасов не известно, Комаров был действительным статским советником и застрелился, Шлегель умер президентом Академии, Вольф умер в Сибири» (л. 5).

Не вошедшее в печатный текст, это примечание содержит ценные сведения о лицах, составлявших дружественный кружок единомышленников Н. В. Басаргина при штабе 2-й армии, среди которых многие состояли членами тайного общества.— 16

<sup>6</sup> Имеется в виду Венский конгресс (IX 1814 г.—VI 1815 г.), который подвел итоги войны крупнейших европейских государств против наполеоновской Франции. По заключительному акту Венского конгресса, подписанному 9 июня 1815 г. Россией, Австрией, Англией, Пруссией, Францией и рядом других государств, была перекроена карта Европы без какого-либо учета национальных интересов многих европейских народов.

Страны-победители, действительно, делили «Европу как свое достояние». Решения Венского конгресса закрепили политическую раздробленность Италии и Германии, а также расчленение Польши между Россией, Австрией и Пруссией. По определению Ф. Энгельса, это был «большой конгресс крупных и мелких деспотов», на котором «народы покупались и продавались, исходя только из того, что больше отвечало интересам и намерениям их правителей» (Энгельс Ф. Положение в Германии.—Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 2, с. 568).

Созданная Венским конгрессом система международных отношений была дополнена учреждением 26 сентября 1815 г. Священного союза, имевшего своей целью борьбу против национально-освободительного и революционного движения на европейском континенте.— 18

<sup>7</sup> Тайная революционная организация карбонариев (в переводе с итальянского—угольщиков) возникла в Италии в начале XIX в. Члены ее боролись за национальное освобождение своей родины от французского, а позднее австрийского ига, за объединение Италии в демократическое государство, что подразумевало уничтожение феодально-абсолютистских режимов в отдельных итальянских государствах.

Центром деятельности карбонариев, составлявших в различных городах и землях ложи—венты, было Королевство обеих Сицилий, где в 1821 г. генерал Пепе возглавил военную революцию против династии Бурбонов. Карбонарии положили начало также революции в Пьемонте в 1821 г. В Италии карбонарии просуществовали до конца 40-х годов XIX в.

Во Францию карбонаризм пришел из Италии в 1820—1821 гг. Целью французских вент карбонариев было свержение династии Бурбонов. Однако все попытки французских карбонариев поднять восстание потерпели неудачу. В 30-е годы французские карбонарии вошли в различные тайные республиканские общества.

Декабристы, конечно, учитывали опыт карбонариев. Есть данные о связи итальянских и французских карбонариев с дворянскими революционерами России (см.: Семевский В. И. Политические и общественные идеи декабристов. Спб., 1909, с. 362—376).

В современной историографии справедливо утверждается, что в 20-е годы XIX в. и движение карбонариев и движение декабристов складывались в рамках «общеевропейской истории» и, уходя каждое корнями в родную почву, в то же время питались общими интересами и идеями эпохи. И то и другое движения приняли типичные для того времени заговорщические формы, опирались на кадры армии, делали ставку на военную революцию; «оба движения, выступая под антиабсолютистскими знаменами, добивались конституционного переустройства общества, одним словом, носили военный, буржуазно-либеральный характер» (Мизиано К. Ф. Итальянское расстройство и передовое общественное движение в России XIX в.—В сб.: Россия и Италия. М., 1968, с. 99).

Иного свойства, чем революционные венты карбонариев, был немецкий «Союз добродетели»—Тугендбунд. Он был основан с ведома прусского правительства 16 апреля 1808 г. в Кенигсберге. Первоначальный вариант устава Тугендбунда был написан профессором Леманом. Целью общества было возрождение «национального духа» и свержение французского ига. Выражая приверженность королю и правительству, Тугендбунд действовал с учетом их интересов. В составе организации насчитывалось 738 членов—

представителей либерального дворянства, буржуазной интеллигенции, чиновничества. Тугендбунд издавал газету «Народная свобода», занимался просветительской и филантропической деятельностью. Союз был официально распущен 10 января 1810 г. на основании указа короля Фридриха-Вильгельма III от 31 декабря 1809 г. из-за боязни вызвать недовольство Наполеона.

Первая редакция устава Тугендбунда была опубликована в журнале «Freimüthige Blätter» (1815, Heft 4; 1816, Heft 5). Этот текст использовали декабристы при составлении первой части «Зеленой книги» — устава Союза благоденствия (см.: Пыпин А. Н. Общественное движение в России при Александре I. Спб., 1900, изд. 3-е, с. 367—380, 547—567; Семевский В. И. Политические и общественные идеи декабристов. Спб., 1909, с. 416—428). — 19

<sup>8</sup> Декабристов отличала исключительная начитанность и осведомленность в передовой политической и экономической западноевропейской литературе. Влияние ее сказалось и на конституционно-теоретических сочинениях Пестеля, Н. Муравьева, и на формировании взглядов дворянских революционеров. В их показаниях на следствии из западноевропейских мыслителей чаще всего упоминались имена Бентама, Беккариа, Вольтера, Дзюто де Траси, Константа, Делольма, Макиавелли, Монтескье, Руссо, Сея, Сисмонди, де Сталь, Филанджери и некоторых других (см.: Семевский В. И. Политические и общественные идеи декабристов. Спб., 1909; Ланда С. С. Дух революционных преобразований... 1816—1825. М., 1975).

Примечательно, что Н. В. Басаргин на следствии, стремясь скрыть свой интерес к политическим сочинениям, все же показывал: «Из книг, хотя я читал много, но политические весьма редко и то такие, кои не запрещены правительством, как творения М. Stail, Philangeri, Bentham и тому подобные» (ВД, т. XII, с. 310). — 19

<sup>9</sup> «Зеленая книга» — устав Союза благоденствия; названа так по цвету переплета, который был выбран не случайно. Зеленый цвет символизировал надежду. Первая часть «Зеленой книги», пронумерованная и прошнурованная, имела печать в виде улья и пчел вокруг него. В первой части излагались основные организационные принципы тайного общества и обязанности его членов. «Сокровенная цель» Союза благоденствия, состоявшая во введении представительного правления и в уничтожении крепостного права, была означена во 2-й части «Зеленой книги», которая формально не была принята декабристами и до нас не дошла. — 19

<sup>10</sup> Мемуарист действительно допускает неточность, заявляя, что «в составлении «Зеленой книги» и в первоначальном учреждении общества» [речь идет о Союзе благоденствия. — И. П.] участвовал Пестель. Последнего не было в Москве, когда вследствие неудачи так называемого «Московского заговора» осенью 1817 г. прекратил свое существование Союз спасения, костяк которого явился основой Союза благоденствия (см.: Порох И. В. Деятельность декабристов в Москве (1816—1825 гг.). — В сб.: Декабристы в Москве. М., 1963). Возможно, Н. В. Басаргин произвольно связал слышанные им рассказы об активной деятельности Пестеля в написании устава Общества верных и истинных сынов отечества (Союза спасения), а также о его роли в создании Тульчинской управы Союза благоденствия с историей возникновения самого тайного общества в целом. — 20

<sup>11</sup> И. Г. Бурцов после смертельного ранения, полученного в сражении против турок при Байбурте, скончался 23 июля 1829 г. — 20

<sup>12</sup> В собственноручной записке П. Д. Киселева о тайном обществе читаем: «Бурцова, Аврамова, Басаргина считал до последней минуты как людей мне преданных, честных и со мною откровенных — ошибся. Пестеля почитал человеком умным, но безнравственным, шуткой, по сходству лица его, называл его Макиавелли и в часы отдохновения любил его общество, но никогда не замечал вольнодумства» (ИРЛИ, ф. 143, (П. Д. Киселев), ед. хр. 29.6.139). — 20

<sup>13</sup> 13 февраля 1820 г. седельщик Пьер Лувель убил кинжалом наследника Бурбонов, племянника Людовика XVIII герцога Беррийского, желая тем самым в дальнейшем прекратить правление ненавистной династии.

Следствием убийства явилась отставка правительства Деказа (1780—1860) и приход к власти кабинета герцога Ришелье (1766—1822). В стране началась полоса ультрароялистской и дворянско-клерикальной реакции, известной под названием «третьей реставрации».

29 июля 1820 г. вступил в силу новый избирательный закон, согласно которому

значительно расширилось представительство крупных землевладельцев в палате депутатов (см.: Пугачев В. В. Луи-Пьер Лувель и движение декабристов.— В сб.: Освободительное движение в России. Саратов, 1978, вып. 7; История Франции. М., 1973, т. 2, с. 183).— 20

<sup>14</sup> Национально-освободительное восстание в Греции началось в марте 1821 г. под руководством А. Ипсиланти, возглавлявшего тайное революционное общество «Филики Этерия» (гетерия), созданное в 1814 г. в Одессе греческими патриотами.— 20

<sup>15</sup> Фридрих Вильгельм III (1770—1840)—король Пруссии с 1797 г. Под давлением общественного мнения вынужден был в 1807 г. освободить крестьян от крепостной зависимости, правда, без земли, а также ввести новое городское управление.— 21

<sup>16</sup> Клемент Венцель Лотар Меттерних (1773—1859)—князь, реакционный австрийский государственный деятель и дипломат. В 1809—1821 гг.—министр иностранных дел, в 1821—1848 гг.—канцлер. Являлся одним из главных организаторов Священного союза.— 21

<sup>17</sup> Карл Людвиг Занд (1795—1820)—студент богословского факультета Тюбингенского университета; заколол в 1819 г. кинжалом в Мангейме драматурга и романиста Августа Коцебу—апологета Священного союза—за издевательское отношение к немецкой молодежи и по подозрению, что он написал сочинение, направленное против академических свобод в немецких университетах. Казнен по приговору, утвержденному герцогом Баденским.

Аналогия убийства А. Коцебу с дворцовым заговором в России, о котором знал Александр I и в результате которого в ночь с 11 на 12 марта 1801 г. погиб его отец Павел I, является искусственной и неоправданной.— 21

<sup>18</sup> Басаргин не совсем точно передает суть позиций крупнейших европейских держав по отношению к греческому восстанию. В частности, Англия не собиралась оставаться в стороне от событий. Заявление министра иностранных дел Англии Джорджа Каннинга, сделанное 25 марта 1823 г., о том, что Англия признает греков и турок воюющими сторонами, из чего следовало, что правительство Великобритании считает восстание греков законным, было нацелено против Священного союза. Дипломатический ход Д. Каннинга должен был обеспечить господство английской буржуазии на ближневосточном рынке за счет ослабления экономического и политического влияния России. Александр I поначалу колебался в подходе к восстанию в Греции. Он не мог не учитывать ту безусловную поддержку, которую пользовалось греческое движение в общественном мнении России, и те политические и стратегические перспективы, которые открывались перед Россией в условиях греко-турецкого конфликта. Но принцип легитимизма, лежащий в основе политики Священного союза, в конце концов взял верх, и Александр отказал в поддержке восставшим грекам.— 21

<sup>19</sup> Следует подчеркнуть, что в качестве важной причины роспуска Союза благоденствия Басаргин называет и чисто конспиративные соображения, на что в советской историографии не всегда делается должный акцент.— 22

<sup>20</sup> Ланкастерские училища, или школы, строились по принципу взаимного обучения. Первое русское училище, устроенное по методу английского педагога Юзефа Ланкастера (1771—1838), было учреждено графом Румянцевым в Гомеле в 1819 г. В том же году в Петербурге образовалось «Общество учреждения училищ по методу взаимного обучения». Ланкастерская система была деятельно использована декабристами в армии.— 22

<sup>21</sup> Владимир Федосеевич Раевский (1795—1872)—член Союза благоденствия; арестован 6 февраля 1822 г. за революционную пропаганду среди солдат; был первым декабристом, представшим перед царским судом. Разбирательство его вины продолжалось в течение 6 лет в четырех специальных комиссиях и в Следственной комиссии по делу декабристов. Документы судебного дела В. Ф. Раевского и причастных к нему лиц составляют 40 томов и находятся в 13 архивохранилищах страны. Первая судная комиссия под председательством командира 6-го пехотного корпуса (в состав которого входила 16-я пехотная дивизия) генерала И. В. Сабанеева приговорила В. Ф. Раевского к смертной казни. Да и в дальнейшем ему угрожала самая суровая кара. Но он удивительно мужественно и умело вел себя во время следствия и не признавал предъявляемых ему обвинений, храня тайну революционного заговора. В конце концов Следственная комиссия под председательством генерала В. В. Левашева представила царю проект приговора. После его утверждения Николаем I 15 октября 1827 г. В. Ф. Раевский был лишен дворянства, офицерского чина, всех наград и сослан на



поселение в Сибирь (см.: Щеголев П. Е. Владимир Раевский (первый декабрист).— В кн.: Щеголев П. Е. Декабристы. М.—Л., 1926; Бригген А. А., Федосеева Е. П. Судебный процесс декабриста В. Ф. Раевского.— В сб.: Освободительное движение в России. Саратов, 1981, вып. 11).— 23

<sup>22</sup> Незадолго до смерти Н. В. Басаргин, скорее всего по просьбе Е. И. Якушкина, снова вернулся к характеристике вождя Южного общества, повторив в принципе то, что писал о нем ранее. Однако он дополнил ее важным выводом об исторических заслугах П. И. Пестеля перед русским освободительным движением.

«Обладая замечательным умом, даром слова и в особенности даром ясно и логически излагать свои мысли, он,— писал Н. В. Басаргин о П. И. Пестеле,— пользовался большим влиянием на своих товарищей по службе и на всех тех, с кем он был в коротких сношениях... Но при всем уме своем Пестель имел также недостатки. Желание подчинить своим идеям убеждения других было одним из них. Кроме того, он часто увлекался и в серьезных политических разговорах доходил до крайних идеалов своих выводов и умозаключений... Нельзя также не упомянуть здесь о том, что он не имел способности внушать к себе полного доверия... Исключая этих недостатков, я не знаю, в чем можно было упрекнуть Пестеля. Сколько я теперь не припоминаю его поведение [...] он действовал прямо, честно, без всякой задней мысли в отношении себя... Как член же общества, как деятель политический, первый раз задумавший в России общественный переворот не в пользу лица, а в пользу общественного блага,— он... был, по моему мнению, вполне безукоризнен» (Якушкин Е. Е. Неизданная рукопись декабриста Н. В. Басаргина.— «Каторга и ссылка», 1925, кн. 18, с. 169).— 23

<sup>23</sup> В «Якушкинском варианте» вместо криптонимов «Р» и «К» написано: «Рудзевичем и Корниловым» (л. 19).— 26

<sup>24</sup> Алексей Андреевич Аракчеев (1769—1834)—русский государственный деятель, временщик при Павле I и Александре I, генерал от артиллерии. В 1808—1810 гг.—военный министр, с 1810 г.—председатель Департамента военных дел Государственного совета; главный начальник военных поселений с 1817 г., т. е. с момента их возникновения. Пользовался особым доверием Александра I, олицетворял собою дух деспотизма и грубой военщины («аракчеевщина»).— 26

<sup>25</sup> Михаил Андреевич Милорадович (1771—1825)—известный боевой генерал, герой Отечественной войны 1812 г. После заграничных походов командовал гвардейским корпусом; был петербургским военным генерал-губернатором. Во время восстания декабристов 14 декабря 1825 г. на Сенатской площади был смертельно ранен П. Г. Каховским.— 27

<sup>26</sup> Иван Иванович Дибич-Забалканский (Иоганн Карл Фридрих Антон) (1785—1831)—русский военный деятель, генерал-фельдмаршал с 1829 г. Сын прусского офицера, перешедшего в 1798 г. на русскую службу. И. И. Дибич, будучи офицером Семеновского полка, участвовал в войне с Францией (1805—1807 гг.). В 1812—1813 гг.—обер-квартирмейстер корпуса, а затем—генерал-квартирмейстер армии П. Х. Витгенштейна. С 1815 г.—начальник штаба 1-й армии. В 1821 г. сопровождал Александра I на Лайбахский конгресс Священного союза. С 1823 г.—начальник Главного штаба и управляющий квартирмейстерской частью. Был с Александром I в Таганроге и присутствовал при его кончине. Информировал вступившего на престол Николая I о заговоре декабристов, руководил их арестом во 2-й армии и принимал участие в политическом процессе над ними. Фактически командовал русской армией в войне с Турцией в 1828—1829 гг. Командовал войсками, направленными в 1830 г. на подавление восстания в Польше. Умер в 1831 г. от холеры.— 27

<sup>27</sup> Александр Иванович Чернышев (1785—1857)—князь, русский военный и государственный деятель, участник Отечественной войны 1812 г., генерал-адъютант (1812), генерал от кавалерии (1826). Пользовался особым расположением и доверием Александра I и Николая I. Ему было поручено арестовать П. И. Пестеля и забрать его бумаги, что он и выполнил при содействии надворного советника Вахрушева 13 декабря 1825 г. В 1826 г.—активный член Следственной комиссии по делу декабристов, 1832—1852 гг.—военный министр, 1846—1856 гг.—председатель Государственного совета.

Адам Петрович Ожаровский (1766—1855)—генерал-адъютант. Во время Отечествен-

ной войны 1812 г. командовал отдельным корпусом. Позднее член Государственного совета, сенатор.— 27

<sup>28</sup> Михаил Семенович *Воронцов* (1782—1856)— князь, генерал-фельдмаршал, сын известного дипломата в годы царствования Екатерины II и Александра I; рескриптом Александра I от 7 мая 1823 г. был назначен Новороссийским генерал-губернатором и полномочным наместником Бессарабской области.— 27

<sup>29</sup> Алексей Ираклиевич *Левшин* (1799—1879)— в 1823 г. служил в канцелярии М. С. Воронцова, с 1831 по 1837 г.— градоначальник Одессы; основал «Одесский вестник» и публичную библиотеку. В 1854—1859 гг. был товарищем министра внутренних дел и принял активное участие в подготовке крестьянской реформы. А. И. Левшину принадлежит проект рескрипта Назимову от 20 ноября 1857 г., положившего начало официальным мероприятиям правительства по освобождению крестьян.

Филипп Иванович *Бруннов* (1797—1875)— граф, русский дипломат. В 1823 г. служил в канцелярии М. С. Воронцова. Участвовал под его началом в русско-турецкой войне 1828—1829 гг. В 1829—1831 гг.— один из ближайших помощников министра иностранных дел Нессельроде. На посту посланника России в Лондоне (1840—1854; 1858—1874) проводил политику англо-русского сближения.— 28

<sup>30</sup> Басаринская характеристика Пушкина очень субъективна; кроме того, в нее влетаются явно гипертрофированные слухи, распространяемые о поэте его недоброжелателями. Вопрос об отношении декабристов к Пушкину, как справедливо считает Н. Я. Эйдельман, «требует новых углубленных конкретных разысканий, сопоставлений, размышлений» (Эйдельман Н. Я. Пушкин и декабристы. М., 1979, с. 152).— 28

<sup>31</sup> Конгресс Священного союза в Вероне (Северная Италия) проходил с 20 октября по 14 декабря 1822 г. В нем участвовали Александр I, австрийский император Франц I, прусский король Фридрих Вильгельм III, правители Неаполитанского и Сардинского королевств и многочисленные дипломатические представители России, Австрии, Пруссии, Франции и Великобритании. Главный итог конгресса— решение о вооруженной интервенции Франции против революционной Испании.— 28

<sup>32</sup> Франсуа Рене *Шатобриан* (1768—1848)— французский писатель и политический деятель. В 1803 г. по предложению Наполеона Бонапарта принял на себя обязанности посла в Риме, однако, когда последний провозгласил себя императором (1804), Шатобриан ушел в отставку. Во время второй реставрации Бурбонов (1815—1830)— посол в Берлине и Лондоне, управлял Министерством иностранных дел (до 1829 г.). После 1830 г. отошел от политической деятельности. ...*Риго схвачен*.— Речь идет о подавлении испанской революции, возглавляемой Риго.— 30

<sup>33</sup> Южные поселения, располагавшиеся на территории Слободско-Украинской, Херсонской и Екатеринославской губерний, возникли в 1817 г. и составляли 20 кавалерийских полков.— 31

<sup>34</sup> Иван Осипович *Витт* (1781—1840)— генерал от кавалерии. Участник Отечественной войны 1812 г. и заграничных походов 1813—14 гг. 19 августа 1814 г. назначен начальником украинской казачьей дивизии. В 1817 г. ему поручили формирование южных кавалерийских поселений, начальником которых Витт стал с 1823 г.

В мае—июне 1825 г. через своего агента херсонского помещика А. К. Бошняка сумел узнать о существовании тайного общества на юге России, о чем лично сообщил Александру I в Таганроге 18 октября 1825 г. Участвовал в подавлении польского восстания 1830—1831 гг. 29 августа 1831 г. был назначен Варшавским военным губернатором. С апреля 1832 г. состоял инспектором всей поселенной кавалерии. П. И. Багратион называл Витта «лжецом и двуличкой», а Ф. Ф. Вигель считал, что «всякого рода интриги были стихией этого человека» («Красный архив», 1925, т. 2(9)).— 31

<sup>35</sup> На петербургской встрече Пестеля с руководителями Северного общества (Н. М. Муравьев, Н. И. Тургенев, Е. П. Оболенский и др.), состоявшейся весной 1824 г., обсуждались вопросы об организационном объединении Северного и Южного обществ, о единой политической программе декабристов, о совместных революционных действиях. Вопреки мнению, господствующему в буржуазной историографии (В. М. Довнар-Запольский), советскими исследователями установлено, что Пестелю удалось достигнуть

определенных успехов. Так было принято в принципе решение о взаимном членстве «южан» и «северян» до созыва объединительного съезда, о создании комиссии по выработке согласованной программы движения, о взаимной поддержке в случае непредвиденного вооруженного выступления какого-либо из обществ ранее намеченного на 1826 г. срока восстания (см.: Захаров Н. С. Петербургское совещание декабристов в 1824 г.— В сб.: Очерки из истории движения декабристов. М., 1954, с. 113—114).— 32

<sup>36</sup> Александр Осипович *Корнилович* (1800—1834)—штабс-капитан Генерального штаба, декабрист, историк, писатель. Участвовал в ряде литературных объединений: «Общество громкого смеха», «Вольное общество любителей Российской словесности», которые являлись легальными филиалами Союза благоденствия. В день восстания находился на Сенатской площади. Осужден по 3-му разряду. В 1832 г. отправлен рядовым на Кавказ и определен в Ширванский полк.— 32

<sup>37</sup> Поэма была написана в 1824 г. и опубликована в 1825 г. в Москве в издательстве С. Селивановского (см.: Рылеев К. Ф. Стихотворения. Статьи. Очерки. Докладные записки. Письма. М., 1956, с. 372—373).— 33

<sup>38</sup> Близкие по содержанию и звучанию слова вложил А. С. Грибоедов в уста героини комедии «Горе от ума» Софьи Фамусовой: «Счастливые часов не наблюдают».— 33

<sup>39</sup> О состоянии Н. В. Басаргина красноречиво говорит письмо к Киселеву, уже упомянутое выше (см. с. 287 наст. изд.).

«Несчастье, меня постигшее, дает мне смелость беспокоить Ваше превосходительство. Я весьма ошибся, думая перенести потерю жены моей с большим хладнокровием — чем более проходит времени после сего ужасного происшествия, тем более и физика и нравственность мои ослабевают под бременем горести. Все мысли мои устремлены к предмету, более не существующему. Каждая вещь напоминает мне и счастье, которым я наслаждался, и всю великость моей потери. Впрочем, описывать состояния моего Вашему превосходительству я не нахожу нужным. Вы сами имеете супругу и сами можете чувствовать, как велико несчастье с нею навсегда разлучиться.

В моем теперешнем положении место, где жена моя навсегда меня оставила, не может быть моим пребыванием, и если Ваше превосходительство не окажете мне помощи в сем случае, то я совершенно не буду знать, что с собой делать. Будучи так много вам обязан, я не имею никакого права что-либо от вас требовать, но, зная вас, я твердо уверен, что вам утешительно будет помочь в несчастье и возратить спокойствие человеку, который гордился своею к вам преданностью.

Генерал Бахметьев назначается генерал-губернатором в Российские губернии и Вашему превосходительству не трудно будет доставить мне при нем место по особым поручениям. Не имея в виду в сем случае никаких выгод по службе, я ищу только одного спокойствия и удаления из Тульчина. В кругу родных моих, живущих в тех губерниях, куда А. Н. назначается, я найду более средств хотя несколько изгладить из памяти случившееся со мною.

Не стану говорить Вашему превосходительству, как тяжело мне будет перейти к другому начальству. В продолжение шести лет вы узнали мои правила и, как кажется, отдавали им справедливость, а потому я надеюсь, что при занятии другого места вы вспомните человека, который беспрекословно и с удовольствием старался исполнить свои обязанности.

При перемене места я желал бы сохранить военное звание и остаться в том же полку. Это более для того, чтобы в повышении иметь одну только линию и не обязывать протекцией и особенным вниманием моего начальства» (ИРЛИ, ф. 143, ед. хр. 29.60.80).— 33

<sup>40</sup> Официальные документы об отречении от престола великого князя Константина и манифест о вступлении на царствование Николая I были опубликованы 16 декабря 1825 г. в газете военного министерства «Русский инвалид», где их и мог прочесть Н. В. Басаргин.— 34

<sup>41</sup> К ноябрю 1825 г. усиления М. М. Нарышкина в Могилеве, где находилась штаб-квартира I-й армии, была создана управа Северного общества, в которую входили адъютанты главнокомандующего генерала от инфантерии Ф. В. Сакена поручик П. П. Титов и капитан В. А. Мусин-Пушкин, а также офицеры квартирмейстерской части подполковник Гвоздев и поручик А. А. Жемчужников. В декабрьские дни 1825 г. могилевские декабристы

оказались бездейственными, а после разгрома восстаний в Петербурге и на Украине управа перестала существовать. Титов и Мусин-Пушкин вместе с другими декабристами предстали перед Следственной комиссией.— 34

<sup>42</sup> Речь идет о членах тайного общества Александре Александровиче Крюкове (1-м) и Николае Александровиче Крюкове (2-м).— 34

<sup>43</sup> Сведения Н. В. Басаргина о двух доносителях на декабристов — об Аркадии Ивановиче Майбороде и Иване Васильевиче Шервуде — отличаются достоверностью и точностью. Действительно, Майборода был переведен в Вятский полк из 34-го егерского. В Вятском полку в чине капитана командовал 1-й гренадерской ротой. В августе 1824 г. Пестель принял его в Южное общество. Растратив полковые деньги и пытаясь уйти от военного суда, капитан Майборода 25 ноября 1825 г. написал донос на имя Александра I, который и направил через генерал-лейтенанта Л. Рота — командира 3-го пехотного корпуса — в Таганрог, не зная о смерти царя. В виде награды был переведен в том же чине в лейб-гвардии Гренадерский полк, откуда вновь вернулся в армию. Дослужился до полковника, командовал Апшеронским полком. В начале 1844 г. в Темир-Хан-Шуре окончил жизнь самоубийством.

Унтер-офицер 3-го Украинского уланского полка Шервуд (1798—1867), по национальности англичанин, из-за неосторожности Ф. Ф. Вадковского узнал о существовании тайного общества, о чем при посредничестве Аракчеева и Клейнмихеля лично сообщил Александру I 14 июля 1825 г. в Петербурге. Получил задание продолжать тщательное наблюдение. В ноябре 1825 г. послал Дибичу в Таганрог подробный рапорт о достигнутых результатах. Был произведен в прапорщики, а затем в поручики; указом Сената от 1 апреля 1826 г. повелено было ему именоваться «Шервуд-Верный». Дослужился до полковника (1833). За ложный донос посажен в Шлиссельбургскую крепость. С 1851 г. находился под секретным надзором. В связи с коронацией Александра II 30 июля 1856 г. помилован.— 35

<sup>44</sup> На вопрос Следственной комиссии, в связи с показаниями Вольфа, Н. В. Басаргин отвечал: «В проезд мой в С.-Петербург действительно штаб-лекарь Вольф говорил мне, чтобы не открывать нахождения моего в обществе. Представляя причину, что как в продолжение последних годов существование Тульчинского общества почти прекратилось, и мы никакого участия не принимали, то и можем отрешиться по справедливости в непринадлежности к сему обществу. Но одно собственное убеждение в незнании действий общества решило меня не сделать полного показания, и я в сем сознаюсь откровенно» (ВД, т. XII, с. 294).— 38

<sup>45</sup> Павел Яковлевич *Башуцкий* — генерал-лейтенант, комендант Петербурга. За особое усердие в день 14 декабря 1825 г. получил звание генерал-адъютанта. Позднее член Верховного уголовного суда по делу декабристов.— 38

<sup>46</sup> Как установлено, слуга Н. В. Басаргина, помещенный в середине февраля 1826 г. в рабочий дом Приказа общественного призрения «для прокорма», затем находился под присмотром в Сводном батальоне и в конце июля того же года отправлен был в «Веневский уезд Тульской губ., где он был записан по ревизии и где находились его родители» (Рахматуллин М. А. Рядом с декабристами. — «История СССР», 1979, № 1, с. 190).— 38

<sup>47</sup> В издании П. Е. Щеголева говорится, что в опубликованном тексте «Записок» допущена опечатка и что вместо фамилии Граббе следует читать Габбе (с. 294). На самом деле Н. В. Басаргин не ошибся, и в его воспоминаниях речь шла именно о командире Северского конно-егерского полка члене Союза благоденствия Павле Христофоровиче Граббе, которого он мог видеть вместе с А. Н. Муравьевым 14 января 1826 г. По официальным данным все они в это время оказались на Главной гауптвахте. Кроме того, следует учесть, что командир 16-го егерского полка полковник Михаил Андреевич Габбе, которого имеет в виду П. Е. Щеголев, вообще не привлекался к следствию по делу декабристов и, следовательно, не мог находиться в числе арестованных (см.: Пушкин Б. Арест декабристов. — В сб.: Декабристы и их время. Т. II, М., 1933, с. 385, 391, 398. Ср.: ВД, т. VIII, М.—Л., 1925, с. 60—61, 301).— 38

<sup>48</sup> Василий Васильевич *Левашев* (1783—1848) — генерал-адъютант, генерал от кавалерии. Был председателем Комиссии военного суда, учрежденной при Петропавловской крепости 21 октября 1820 г. в связи с волнением солдат Семеновского полка. Во время процесса над декабристами являлся правой рукой царя. В 1833 г. был возведен в графское

достоинство. В 1847—1848 гг.—председатель Государственного совета и Комитета министров.— 39

<sup>49</sup> По политическим соображениям и личным мотивам кроме названных мемуаристом Л. П. Витгенштейна, А. А. Суворова, П. П. Лопухина, С. П. Шипова, М. Ф. Орлова были освобождены А. С. Грибоедов (по просьбе «отца-командира», как называл Николай I генерала И. Ф. Паскевича), братья В. А. и Л. А. Перовские, Н. И. Депрерадович, сыновья Н. Н. Раевского и некоторые другие.

Всего из 579 человек, причастных к следствию, 34 были освобождены с оправдательным аттестатом (ВД, т. VIII, с. 13).— 39

<sup>50</sup> 15 декабря 1825 г. Николай I обратился с приказом к гвардейским войскам, в котором говорилось: «Храброе российское воинство! Верные защитники царя и отечества!

...В самые дни горести вы, верные храбрые воины, приобрели новую, незабвенную славу, равную той, которую запечатали вы своею кровью, поражая врагов царя и отечества, ибо доказали своим поведением, что вы и твердые защитники престола царского на поле брани, и кроткие исполнители закона и воли царской во время мира» (Шильдер Н. К. Император Николай I, его жизнь и царствование. Т. 1, Спб., 1903, с. 309). Этим убеждениям и оценкам Николай действительно оставался верен до последней минуты. В предсмертном обращении к жене, детям и ближайшим сподвижникам он сказал: «Благодарю славную верную гвардию, которая спасла Россию в 1825 г.» (Мелкие рассказы М. М. Попова.— «Русская старина», 1896, т. 86, кн. VI, с. 612. Ср.: Барсуков Н. Жизнь и труды М. П. Погодина. Т. VIII, Спб., 1894, с. 389).— 39

<sup>51</sup> Александр Яковлевич Сукин (1764—1837)—генерал от инфантерии, генерал-адъютант; во время процесса над декабристами был комендантом Петропавловской крепости и членом Верховного уголовного суда.— 40

<sup>52</sup> 17 декабря 1825 г. по приказу Николая I был учрежден «Тайный комитет для изыскания соучастников злоумышленного общества» под председательством военного министра А. И. Татищева. В его состав вошли великий князь Михаил Павлович, А. Х. Бенкендорф, П. В. Голициев-Кутузов, А. Н. Голицын, В. В. Левашев, а позднее В. Д. Adlerберг, И. И. Дибич, А. Н. Потапов, А. И. Чернышев. Правителем дел был назначен А. Д. Боровков. С 14 января 1826 г. Комитет определено не называть «тайным», а с мая 1826 г. он переименован в «Комиссию». В Комитете (потом «Комиссии») было проведено свыше 140 заседаний, в итоге чего составлено пресловутое «Донесение Следственной комиссии».— 41

<sup>53</sup> Аудитор (лат.—слушатель)—чиновник военно-судебного аппарата.— 42

<sup>54</sup> Петр Николаевич Мысловский (1777—1846)—священник Казанского собора; получил поручение навещать в Петропавловской крепости арестованных декабристов. Пользовался доверием и расположением многих из них (Е. П. Оболенского, Н. И. Лорера, И. Д. Якушкина и др.). Вместе с тем ряд декабристов относился к нему настороженно и даже отрицательно (М. С. Лунин, Д. И. Завалишин, П. А. Муханов). К их числу принадлежал и Н. В. Басаргин. По мнению сестры декабриста П. А. Муханова, Мысловский был «агентом государя, шпионом, который испортил жизнь многих доверившихся ему» (Дневник Е. Шаховской.— «Голос минувшего», 1920—1921, с. 108).— 42

<sup>55</sup> Александр Иванович Татищев (1763—1833)—генерал от инфантерии, в 1824—1827 гг.—военный министр. За особое усердие на посту председателя Следственной комиссии по делу декабристов получил в 1826 г. графский титул.— 43

<sup>56</sup> Александр Николаевич Голицын (1773—1844)—государственный деятель; в 1805—1806 гг.—обер-прокурор Синода, в 1817—1824 гг.—министр народного просвещения и духовных дел, позже—главноуправляющий почтовым департаментом.— 43

<sup>57</sup> Александр Христофорович Бенкендорф (1783—1844)—русский военный и государственный деятель. Участник войн против Франции (1805—1807 гг.), Турции (1806—1812 гг.), Отечественной войны 1812 г. и заграничных походов 1813—1814 гг. В 1819—1821 гг. являлся начальником штаба гвардейского корпуса. На основе доноса М. К. Грибовского в 1821 г. представил Александру I записку о деятельности Союза благодетеля. Активный участник подавления восстания 14 декабря 1825 г., видный член Следственной комиссии по делу декабристов. В январе 1826 г. составил проект создания центрального органа политического сыска, использованный при учреждении 3 июля 1826 г. III отделения

собственной его императорского величества канцелярии, начальником которого Бенкендорф был со дня его основания и до конца своей жизни. Являлся одним из самых ближайших сподвижников и доверенных лиц Николая I.— 43

<sup>58</sup> Михаил Павлович (1798—1849)—великий князь, младший сын Павла I, генерал-инспектор по инженерной части (1825), главный начальник военно-учебных заведений (1831), главнокомандующий гвардейскими и гренадерскими корпусами (1844). Представлял от царствующей фамилии в Следственной комиссии по делу декабристов.— 43

<sup>59</sup> Павел Васильевич Голенищев-Кутузов (1772—1843)—граф, генерал-адъютант, главный директор кадетского корпуса (1823—1826), член Государственного совета (1825), петербургский генерал-губернатор (1825—1830). Был членом Следственной комиссии по делу декабристов, руководил казнью П. И. Пестеля, К. Ф. Рыльева, С. И. Муравьева-Апостола, М. П. Бестужева-Рюмина и П. Г. Каховского.— 43

<sup>60</sup> Алексей Николаевич Потапов (1772—1847)—дежурный генерал Главного штаба. Член Следственной комиссии по делу декабристов. С 1825 г.—генерал-адъютант. Командовал резервным кавалерийским корпусом, член Государственного совета.— 43

<sup>61</sup> Владимир Федорович Адлерберг (1791—1884)—царский сановник, генерал-адъютант (1828), граф (1847). Член Следственной комиссии по делу декабристов; в 1842—1857 гг.—главноуправляющий почтовым департаментом, в 1852—1870 гг.—министр императорского двора и уделов.— 43

<sup>62</sup> Дмитрий Николаевич Блудов (1785—1864)—граф (1842), русский государственный деятель. Благодаря активному участию в Следственной комиссии по делу декабристов быстро выдвинулся. Блудовым был написан обвинительный доклад, известный под названием «Донесение Следственной комиссии», представленный Николаю I 30 мая 1826 г. и опубликованный в приложении к газете «Русский инвалид» от 12 июня 1826 г. (№ 138).

В 1826—1828 гг.—товарищ министра народного просвещения, в 1830—1831, 1838—1839 гг. управлял Министерством юстиции, в 1832—1838 гг.—министр внутренних дел, в 1839—1862 гг.—главноуправляющий 2-го (кодификационного) отделения собственной его императорского величества канцелярии, в 1855—1864 гг.—председатель Государственного совета и Комитета министров.— 43

<sup>63</sup> Речь идет о конституционном проекте П. И. Пестеля, который являлся предметом особого интереса царских следователей. В конце концов Следственной комиссии удалось заполучить в свои руки этот документ, и он сыграл немалую роль в обвинении Пестеля.— 44

<sup>64</sup> В «Якушкинском варианте» после слова «Комитета» имеется следующая фраза: «Я отвечал на некоторые из них, остерегаясь сказать лишнее слово, чтобы не повредить кому-либо» (л. 43).— 44

<sup>65</sup> Речь идет о «первом декабристе» В. Ф. Раевском. См. Басаргин, прим. 21.— 45

<sup>66</sup> Конец этой фразы в «Якушкинском варианте» звучит так: «нужно в этом случае его откровенное признание» (л. 54).— 45

<sup>67</sup> Павел Петрович Мартынов (1782—1838)—генерал-майор, командир 3-й бригады 2-й гвардейской дивизии; с 15 декабря 1825 г.—генерал-адъютант.

Николай Гаврилович Сазонов (1782—?)—генерал-майор, начальник инженерной службы гвардейского корпуса.

Степан Степанович Стрекалов (1782—1856)—генерал-майор, личный порученец Николая I; с 15 декабря 1825 г.—генерал-адъютант.— 47

<sup>68</sup> Н. В. Басаргина вызвали в Следственную комиссию для очной ставки с Пестелем 22 апреля 1826 г. (ВД, т. XII, с. 305).— 47

<sup>69</sup> Действительно, Н. В. Басаргин на следствии подписал показания Пестеля, не допуская до очной ставки с ним (ВД, т. XII, с. 305—306).— 47

<sup>70</sup> Тенденциозный и даже фальсификационный характер «Донесения Следственной комиссии» не вызывает сомнений.

В специальном исследовании, посвященном политическому процессу над декабристами, говорится, что «творение» Д. Н. Блудова, «подтасовывая факты, делало выводы, желательные комиссии, акцентируя внимание на показаниях, подтверждающих обвинение, и оставляя в тени те из них, которые защищали декабристов, пытаясь очертить их в глазах общественного мнения» (Артемьев С. А. Следствие и суд над декабристами.— «Вопросы истории»,

1970, № 3, с. 113). И тем не менее этот официальный документ был вскоре изъят из обращения и запрещен цензурой. Ограничительный цензурный запрет на «Донесение Следственной комиссии» был снят лишь в дни лорис-меликовской «диктатуры сердца» в начале 1881 г. (ВД, т. VI, М.—Л., 1929, с. XXXII—XXXIII).— 48

<sup>71</sup> Этой сноски в издании П. И. Бартенева нет.— 48

<sup>72</sup> Тело покойного императора Александра I было привезено 11 марта 1826 г. в Царское Село, откуда 18 марта переправлено в Казанский собор Петербурга. В течение семи дней к нему был открыт доступ. 25 марта 1826 г. состоялось захоронение тела Александра I в соборе Петропавловской крепости (см. Русский биографический словарь. Т. 1, СПб., 1896, с. 381—382).

Его жена, императрица Елизавета Алексеевна (1779—1826), умерла в г. Белеве 4 мая 1826 г., возвращаясь из Таганрога. Похоронена в Петербурге.— 49

<sup>73</sup> Речь идет о Крымской войне, к событиям и социально-историческим урокам которой декабристы обращаются в своих мемуарах постоянно.— 50

<sup>74</sup> После начала деятельности Верховного уголовного суда из его состава, по предложению М. М. Сперанского, 7 июня была выбрана Ревизионная комиссия, которой формально была поручена проверка предварительного следствия. Каждому из подсудимых было задано всего три вопроса: 1) Его ли рукой подписаны показания? 2) Добровольно ли подписаны? 3) Были ли даны очные ставки?

В состав Ревизионной комиссии вошли: от Государственного совета—генерал-адъютант А. Д. Балашев, граф К. А. Ливен, князь К. Н. Салтыков; от Сената—Д. О. Баранов, В. И. Болгарский, И. П. Лавров; от военных и гражданских чинов—граф Ю. А. Головкин, граф К. О. Ламберт, генерал-лейтенант Н. М. Бороздин. Кроме того, по распоряжению Николая I, в нее были введены А. Х. Бенкендорф, В. В. Левашев и А. И. Чернышев—наиболее доверенные ему лица.

Ревизионная комиссия закончила работу в течение двух дней, опросив 120 человек и подтвердив действия Следственной комиссии.— 50

<sup>75</sup> Речь идет об одном из стихотворений известного английского поэта-романтика Томаса Мура (1779—1852), вошедшего в его лирический сборник «Мелодии», опубликованный в 1804 г.— 52

<sup>76</sup> 10 июня 1826 г. была утверждена Разрядная комиссия в составе: П. А. Толстого (председатель), М. М. Сперанского, И. В. Васильчикова, Г. А. Строганова, С. С. Кушников, В. И. Энгеля, Д. О. Баранова, П. И. Кутайсова, Е. Ф. Комаровского. Через семнадцать дней—27 июня—Комиссия завершила разбивку подсудимых на 11 разрядов, поставив пятерых декабристов—П. И. Пестеля, К. Ф. Рыльева, С. И. Муравьева-Апостола, М. П. Бестужева-Рюмина и П. Г. Каховского—вне разрядов.— 52

<sup>77</sup> Н. В. Басаргин употребил древнеславянское название зеркала—«зерцало».— 52

<sup>78</sup> Подписанный Николаем I 1 июня 1826 г. указ Сенату определял состав Верховного уголовного суда, в который вошли: 18 человек—членов Государственного совета, 36 сенаторов, 3 митрополита от Синода и 15 человек особо назначенных высших военных и гражданских чинов. Всего в него входило 72 человека, представлявших собой высшую бюрократию.

Председателем суда был назначен князь П. В. Лопухин, его заместителем—князь А. Б. Куракин, а обязанность генерал-прокурора была возложена на министра юстиции князя Д. И. Лобанова-Ростовского.— 52

<sup>79</sup> Экзекутор—судебный чиновник.— 52

<sup>80</sup> Михаил Михайлович *Сперанский* (1772—1839)—русский государственный деятель, граф (1839). В 1803—1807 гг.—директор департамента Министерства внутренних дел, с 1807 г.—статс-секретарь Александра I. Автор «Введения к уложению государственных законов» (1809). В конце 1811 г. подвергся опале и оказался в ссылке (1812—1816). Был пензенским губернатором (1816—1818) и генерал-губернатором Сибири (1819—1821). В конце 1821 г. возвращен в Петербург. Сыграл решающую роль в выработке судебно-процессуальных норм во время следствия и суда над декабристами. С 1826 г. фактически возглавлял 2-е отделение собственной его императорского величества канцелярии, занимавшееся кодификацией законов. С 1838 г.—председатель департамента законов Государственного совета.— 52

<sup>81</sup> Жестокий, несообразный «с виновностью» приговор Басаргину формировался следующим образом. Предварительное решение членов Верховного уголовного суда о Басаргине состоялось на утреннем заседании 3 июля 1826 г. Мнения разделились: «6 человек полагают по 1 разряду казнить смертью.

1 — написать в рядовые с выслугой.

1 — внести в 10 разряд.

2 — по 10 разряду лишить чинов и дворянства, написать в солдаты без выслуги.

14 — по 3 разряду вечную каторгу.

1 — вечную ссылку.

4 — по 4 разряду.

2 — расстрелять.

4 — по 8 разряду.

1 — по 9 разряду.

25 — политическая смерть»

(ЦГАОР, ф. 48, оп. 1, д. 458. Своды голосов членов Верховного уголовного суда о наказаниях, определяемых каждому преступнику порознь, л. 90.)

Небезынтересно заметить, что расстрела требовали генералы Башуцкий и Бистром, готовые применить эту меру наказания к любому заключенному декабристу. Среди тех, кто высказался за казнь, был председатель Верховного уголовного суда князь П. В. Лопухин. — 53

<sup>82</sup> Евгений Александрович Головин (1782—1858) — генерал от инфантерии. Во время событий 14 декабря 1825 г. в звании генерал-майора командовал 4-й бригадой 2-й гвардейской дивизии и помогал прийти на помощь восставшим офицерам и солдатам Финляндского полка. В 1828—1837 гг. был варшавским военным губернатором, в 1838—1841 гг. командовал на Кавказе Отдельным корпусом, в 1845 г. был назначен генерал-губернатором Прибалтийского края. С 1848 г. — член Государственного совета. — 54

<sup>83</sup> Речь идет об Александре Николаевиче Муравьеве. — 54

<sup>84</sup> В печатном тексте Щеголева опущено выражение начиная со слова «такое» и до слов «самодержавной власти». — 54

<sup>85</sup> В планах государственного переворота, разрабатываемых декабристами, большое внимание уделялось созданию временного правительства. В числе кандидатов в члены временного правительства фигурировали имена М. М. Сперанского, Н. С. Мордвинова, А. П. Ермолова, Н. Н. Раевского, И. М. Муравьева-Апостола, Д. А. Столыпина, Д. О. Баранова и некоторых других (см.: Нечкина М. В. Движение декабристов. Т. II, М., 1955, с. 237).

Александр I знал об общественной популярности этих лиц. В записке, написанной незадолго до смерти, он отмечал, что «дух вольномыслия получил широкое распространение», вследствие чего возникли тайные общества, «которые имеют [...] секретных миссионеров для распространения своей партии: Ермолов, Раевский, Киселев, Михаил Орлов, Дмитрий Столыпин и многие другие» (Шильдер Н. К. Император Александр I. Его жизнь и царствование. Т. IV, СПб., 1905, с. 330).

В ходе процесса над декабристами имена сановных лиц, подозреваемых в связях с заговорщиками, очень интересовали следствие. Личный осведомитель Николая I из состава Следственной комиссии генерал В. И. Болгарский сообщил в одном из донесений царю о дошедших до него слухах: «...усердные патриоты не могут верить, чтоб одна молодежь предпринимала такую важную в государстве перемену, не имея скрытых и осторожных, но важнейших сообщников. Слишком много толков о подозрении на адмирала Мордвинова, Сперанского и Булакова» (ЦГАОР, ф. 109, С — А, д. 3174, л. 15). — 55

<sup>86</sup> Здесь Н. В. Басаргин еще раз возвращается к урокам Крымской войны, обнаружившей всю гнилость самодержавно-феодального социально-политического строя России. — 55

<sup>87</sup> В «Якушкинском варианте» читаем: «У двоих из них, кажется, Пестеля и Каховского...» (л. 30 об.). — 56

<sup>88</sup> Петербургский генерал-губернатор П. В. Голенищев-Кутузов, руководивший казнью декабристов, доносил Николаю I после ее свершения: «Экзекуция кончилась с должною тишиною и порядком как со стороны бывших в строю войск, так и со стороны зрителей, которых было немного.



По неопытности наших палачей и неумению устраивать виселицы при первом разе трое, а именно Рылеев, Каховский и Муравьев, сорвались, но вскоре опять были повешены и получили заслуженную смерть» («Красный архив», 1926, т. 4(17), с. 181. Подлинник хранится: ЦГАОР, ф. 782 (Коллекция Зимнего дворца), оп. 1, д. 1446, л. 30).— 56

<sup>89</sup> В печатном тексте П. Е. Щеголева отсутствуют слова «но ведущий к высокой цели». Они восстановлены по «Якушкинскому варианту» (л. 31).— 56

<sup>90</sup> Петр Васильевич *Лопухин* (1753—1827)—русский государственный деятель, князь. При Екатерине II—ярославский и вологодский генерал-губернатор; при Павле I—генерал-прокурор (1798—1799); при Александре I—министр юстиции (1803—1810), председатель департаментов гражданских духовных дел, законов Государственного совета, председатель Комитета министров (1816—1823); председатель Верховного уголовного суда по делу декабристов.— 57

<sup>91</sup> *Вальтер Скотт* (1771—1832)—выдающийся английский писатель, создатель жанра исторического романа. Наиболее известные романы: «Уэверли» (1814), «Пуритане» (1816), «Роб Рой» (1818), «Айвенго» (1820), «Квентин Дорвард» (1823).

Джеймс Фенимор *Купер* (1789—1851)—американский писатель. Наиболее известные произведения: «Пионеры» (1823), «Последний из Могикан» (1826).— 58

<sup>92</sup> Николай Иванович *Тургенев* (1789—1871)—один из видных деятелей Союза спасения, Союза благоденствия и Северного общества; известный ученый-экономист, автор книги «Опыт теории налогов» (СПб., 1818), действительный статский советник, крупный чиновник Министерства финансов.

В мае—июне 1824 г. уехал на лечение за границу, и во время событий 14 декабря 1825 г. его не было в России. Он отказался выполнить требование Следственной комиссии и вернуться на родину. Осужден был заочно по I разряду и приговорен к каторжным работам навечно.

В 1847 г. издал в Париже книгу «Россия и русские» (т. 1—3, на фр. яз.). По вступлении на престол Александра II обратился к нему 4 июля 1856 г. с прошением о помиловании. Амнистирован полностью 26 августа 1856 г. Дважды приезжал в Россию, привлекая к себе общественное внимание.

Первый раз он приехал из-за границы в Москву в мае 1857 г.; за ним был установлен секретный полицейский надзор. Видимо, чувствуя это, Н. И. Тургенев через месяц попросил выдать ему заграничный паспорт. На запрос об этом московского генерал-губернатора А. А. Закревского начальник III отделения В. А. Долгоруков ответил: «Удовлетворение ходатайства Тургенева было бы преждевременно. Он только что возвратился в Россию». Однако Александр II разрешил выдать Н. И. Тургеневу заграничный паспорт (ЦГИАМО, ф. 16, оп. 47, ед. хр. 76, л. 7, 9). 22 июля 1857 г. в III отделение поступило из Нижнего Новгорода донесение, в котором сообщалось о слухах относительно того, что вернувшегося в Россию Н. И. Тургенева хотят сделать министром финансов (ЦГАОР, ф. 109, С-А, оп. 5, 1857, ед. хр. 43, л. 3).

Достоверно известно, что Н. И. Тургенев был еще в России в июле 1859 г. В письме к Е. И. Якушкину из Твери от 19 июля 1859 г. М. И. Муравьев-Апостол сообщал, что у него были: А. В. Поджио, Г. С. Батеньков, а также Н. И. Тургенев, который «приезжал из Парижа получить наследство от своей сестры» (ЦГАОР, ф. 279, оп. 1, ед. хр. 603, л. 1).— 60

<sup>93</sup> Несмотря на настоятельные и неоднократные просьбы разрешить ей поехать в Сибирь и разделить с мужем все тяготы, выпавшие на его долю, Анастасия Васильевна Якушкина (1806—1846) не получила разрешения. По словам Е. Е. Якушкина, внука декабриста, «попытка А. В. Якушкиной уехать к мужу в Сибирь имеет длинную и не совсем ясную историю с печальным концом» (См. его примечания к «Запискам» И. Д. Якушкина. М., 1925, с. 180). Вероятно, разлука с горячо любимым мужем явилась одной из причин ранней смерти А. В. Якушкиной.

Роковую роль в ее судьбе сыграл Николай I, запретивший поездку в Сибирь (см.: Щеголев П. Е. Николай I и декабристы. Пг., 1919, с. 37; Порох В. И. К истории отправки декабриста Ивана Дмитриевича Якушкина в Сибирь.— В сб.: В сердцах отчества сынов. Иркутск, 1975, с. 235—239). Протоиерей Мысловский в письме к матери А. В. Якушкиной Н. Н. Шереметевой от 29 июня 1832 г. писал: «Государь решительно не хочет, чтобы ваша

Настя и все подобные ей жены ехали отныне к мужьям. Не теряйтесь в придумывании причин на сие: во сто лет не нападете на них» (ЦГАОР, ф. 279, оп. 1, ед. хр. 138, л. 1).— 63

<sup>94</sup> Дмитрий Николаевич *Бантыш-Каменский* (1788—1850)—историк, автор «Словаря достопамятных людей земли русской», «Истории Малороссии», а также других трудов. В 1825—1828 гг. был тобольским, а с 1836 по 1838 г.—виленским губернатором. Являлся членом совета министра внутренних дел (1839) и членом Департамента уделов (1840).— 63

<sup>95</sup> Александр Степанович *Лавинский* (1776—1844)—тайный советник; входил в состав тайного комитета по исполнению приговора над декабристами, осужденными на каторгу и ссылку в Сибирь.— 69

<sup>96</sup> Станислав Романович *Лепарский* (1754—1837)—генерал-лейтенант; в 1810—1826 гг. командовал Северским конно-егерским полком, шефом которого был Николай I. 24 июня 1826 г. получил предложение занять место коменданта Нерчинских рудников, куда на каторжные работы царь намеревался отправить осужденных декабристов. В качестве коменданта проявил гибкость, неуклонно выполняя волю царя и проявляя терпимость по отношению к декабристам.— 69

<sup>97</sup> Причина непонятного для Н. В. Басаргина распоряжения местных властей относительно Д. И. Завалишина объяснена последним в его «Записках», где читаем: «В Тобольске произошла смена провожатого. Фельдъегеря заменил чиновник, жандармов—казаки. Так доехали мы до Томска, где остановились так же, как и в Тобольске, в доме полицмейстера. Вдруг входит фельдъегерь Воробьев из числа тех, которые сопровождали всегда самого государя. Меня отделяют от товарищей и передают ему. Дело в том, что в Петербурге вспомнили, что незадолго перед тем, возвращаясь из Калифорнии, я проезжал через Сибирь, и произвел там проезд мой сильное впечатление. Поэтому, опасаясь моего влияния и моих сношений в Сибири, послали за мной вдогонку самого надежного и самого быстрого фельдъегеря для того, чтобы привезти меня отдельно и как можно скорее» (Записки декабриста Д. И. Завалишина. СПб., 1906, с. 257).— 69

<sup>98</sup> Юридические права жен декабристов, последовавших за своими мужьями в Сибирь, были определены «высочайше утвержденным» предписанием от 1 сентября 1826 г. Согласно ему декабристки теряли свое прежнее звание и впредь должны были именоваться «женами ссыльно-каторжан», а дети, рожденные в Сибири, записывались в разряд казенных крестьян. Далее следовало распоряжение отправлять письма «не иначе, как только через коменданта» и категорическое запрещение «отлучаться от места, где будет пребывание» (Щеголев П. Е. Жены декабристов и вопрос об их юридических правах.— В кн.: Исторические этюды. СПб., 1913, с. 397—441). Однако родственные и личные связи жен декабристов в высшем свете позволяли им в Сибири нарушать эти предписания, что дало повод некоторым мемуаристам, и в том числе Басаргину, писать о том, что они «пользовались всеми правами своими».— 72

<sup>99</sup> Н. В. Басаргин имеет в виду экспедиции 1854 и 1855 гг. по Амуру от истоков до устья, которые были проведены под руководством генерал-губернатора Восточной Сибири Николая Николаевича Муравьева (1809—1881), получившего после этого титул графа Амурского.— 74

<sup>100</sup> Гаврила Степанович *Батеньков* (1793—1863) действительно находился в разных тюрьмах в течение 20 лет и только 14 февраля 1846 г. был доставлен в Томск на поселение.

Вильгельм Карлович *Кюхельбекер* (1797—1846) просидел в крепостях до декабря 1835 г., после чего был обращен на поселение в г. Баргузин.

Иосиф Викторович *Поджио* (1792—1848) явился жертвой происков своего знатного тестя сенатора, генерал-лейтенанта А. М. Бороздина, в результате которых находился в тюремном заключении до июля 1834 г. Водворен на поселение в Усть-Куду 5 сентября 1834 г.— 77

<sup>101</sup> Н. В. Басаргин имеет в виду русско-иранскую войну 1826—1828 гг. и русско-турецкую войну 1828—1829 гг.— 77

<sup>102</sup> Свое послание декабристам Пушкин передал А. Г. Муравьевой, которая в начале января 1827 г. уехала из Москвы в Сибирь к своему мужу Н. М. Муравьеву.— 77

<sup>103</sup> В пушкинском тексте—«меч».— 78

<sup>104</sup> В другом авторитетном списке стихотворения вместо слова «там» значится «том» (Одоевский А. И. Собрание стихотворений и писем. М.—Л., 1934, с. 151).— 78

<sup>105</sup> Впервые стихотворение «Кн. М. Н. В-ой» было напечатано в 5-й книге «Библиографических записок» за 1861 г., с. 132.— 78

<sup>106</sup> Полина (Прасковья) Егоровна Анненкова, урожденная Гебль (1800—1876), приехала в Читинский острог к И. А. Анненкову в марте 1828 г. Ей принадлежат воспоминания (см. Записки жены декабриста П. Е. Анненковой. Пг., 1915).— 79

<sup>107</sup> О побеге П. Высоцкого см.: Дьяков В. А., Кацнельсон Д. Б., Шостакович Б. С. Петр Высоцкий на сибирской каторге (1835—1836).— В кн.: Ссылные революционеры в Сибири. Вып. IV. Иркутск, 1979.— 81

<sup>108</sup> Речь идет о братьях Александре Петровиче Беляеве (1-м) и о Петре Петровиче Беляеве (2-м).— 85

<sup>109</sup> Речь идет об Андрее Ивановиче и Петре Ивановиче Борисовых.— 85

<sup>110</sup> Федор Богданович *Фишер* (1782—1854)—известный ботаник. В 1812—1823 гг.— адъюнкт-профессор Московского университета, затем директор императорского ботанического сада, академик. Ему принадлежит описание многих новых видов растений.— 85

<sup>111</sup> Николай Михайлович *Карамзин* (1766—1826)—известный писатель-сентименталист, публицист, историк. Автор «Истории государства Российского» (в 12 томах, 1816—1829 гг.).— 85

<sup>112</sup> Константин Николаевич *Батюшков* (1787—1855)—известный русский поэт-романтик.— 85

<sup>113</sup> Декабристу С. Г. Волконскому (1788—1865) принадлежат очень интересные воспоминания, в которых центральное место занимает рассказ о военных событиях 1805—1814 гг. (см. Записки Сергея Григорьевича Волконского. Спб., 1902).— 86

<sup>114</sup> Михаил Никитич *Муравьев* (1757—1807)—общественный деятель, писатель. В 1785 г. был приглашен Екатериной II преподавателем к великим князьям Александру и Константину Павловичам по словесности, истории и нравственной философии.

В 1800 г. назначен сенатором, в 1801 г. Александр I определил его секретарем в собственный кабинет для принятия прошений. В 1802 г. назначен товарищем министра, с 1803 г. одновременно являлся попечителем Московского университета. Организовал при университете ряд научных обществ, хирургический, клинический, повивальный (акушерский) институты, ботанический сад, музей натуральной истории. Принимал участие в выработке нового устава университета. Являлся ярким представителем сентиментализма в русской литературе; автор «Эклоги», «Басен в стихах», «Похвального слова Ломоносову». Полные собрания его сочинений в стихах и прозе издавались в 1819—1820, 1847, 1857 гг.— 86

<sup>115</sup> Сергей Семенович *Уваров* (1786—1855)—ученый, государственный деятель, граф (1846). Почетный член Петербургской академии наук (1811). Занимался классической древностью и археологией. В 1811—1822 гг.— попечитель Петербургского учебного округа. В 1810—начале 1820-х годов общался с К. Н. Батюшковым, Н. М. Карамзиным, В. А. Жуковским, Н. И. Гнедичем, братьями А. И. и Н. И. Тургеневыми, входил в литературное общество «Арзамас». В 1818—1855 гг.— президент Академии наук. В годы царствования Николая I—один из столпов реакции. С его именем связано оформление теории официальной народности. С 1832 г.—товарищ министра, а с 1838 по 1849 г.—министр народного просвещения.— 86

<sup>116</sup> Алексей Николаевич *Оленин* (1763—1843)—археолог, историк, палеограф, художник, член Государственного совета. С 1804 г.—почетный член Академии художеств, с 1817 г.—ее президент. С 1841 г.—директор Петербургской публичной библиотеки. Им написан ряд работ, из которых наиболее известны: «Письмо к графу А. И. Мусину-Пушкину о камне тмутараканском...» (Спб., 1806), положившее начало научной палеографии и эпиграфике, а также «Рязанские русские древности...» (Спб., 1833) и «Опыт об одежде, оружии, нравах и степенях просвещения славян...» (Спб., 1832). Составил план издания летописей («Краткое рассуждение об издании полного собрания деесписателей».—«Сын Отечества», 1844, т. 12, № 7).— 86

<sup>117</sup> Никита Петрович *Панин* (1770—1837), которого в данном случае имеет в виду Н. В. Басаргин, был одним из ярких представителей аристократической оппозиции. В 26 лет стал генерал-майором. В 1797 г. перешел на дипломатическую службу. Был посланником в Берлине, в 1799 г. назначен вице-канцлером. В конце 1800 г. по приказу Павла I был уволен

от должности и сослан в свое подмосковное имение. Явился одним из вдохновителей заговора против Павла I, хотя непосредственного участия в нем не принимал (см.: Эйдельман Н. Я. Герцен против самодержавия. М., 1973, с. 135). По воцарении Александра I был возвращен из ссылки и восстановлен в должности вице-канцлера, но вскоре ушел в отставку. Согласно авторитетным свидетельствам Н. П. Панин составил конституционный проект, направленный на ликвидацию в России «дикой неурядицы падишахского управления» (см.: Эйдельман Н. Я. Указ. соч., с. 126). Пользовался большим уважением у декабристов.— 86

<sup>118</sup> 27 июля 1830 г. в Париже вспыхнуло вооруженное восстание, которое явилось следствием тяжелого положения трудящегося люда, испытывавшего на себе промышленный кризис и неурожай 1828—1829 гг. Главной движущей силой восстания явились рабочие и ремесленники, получившие поддержку мелкой и средней буржуазии, а также радикальной части интеллигенции (особенно студенчества). 29 июля восставшие овладели Тюильрийским дворцом. Власть в столице перешла в руки «муниципальной комиссии», в состав которой входили представители умеренно-либерального крыла крупной буржуазии (генерал Лабо, банкиры Ж. Лаффит и К. П. Перье, а также командующий Национальной гвардией М. Ж. П. Лафайет).

В результате Июльской буржуазной революции 1830 г. была свергнута династия Бурбонов. 2 августа Карл X отрекся от престола, а 7 августа королем Франции был провозглашен герцог Луи Филипп Орлеанский, тесно связанный с крупной финансовой и земельной буржуазией.— 86

<sup>119</sup> Восстание в Польше началось 29 ноября 1830 г. и закончилось поражением восставших 8 сентября 1831 г.— 100

<sup>120</sup> Свадьба В. П. Ивашева с Камиллой Петровной Ледантю (1808—1839) состоялась 16 сентября 1831 г.— 104

<sup>121</sup> Поручики Литовского пионерского батальона Александр Иванович Вегелин и его двоюродный брат Константин Густавович Игельстром являлись членами тайного общества «Военных друзей и по приговору военного суда от 15 апреля 1827 г. были сосланы на каторжную работу в Сибирь сроком на 10 лет, которую отбывали вместе с декабристами в Чите и Петровском заводе. По указу 8 ноября 1832 г. обращены на поселение.— 105

<sup>122</sup> В конце XVIII в. в Оренбурге возник кружок, имевший первоначально масонский характер. В начале 20-х годов XIX в. он превратился в тайное общество, напоминающее декабристские организации. Во главе его стояли директор оренбургской таможни П. Е. Величко, а после его смерти чиновник и писатель П. М. Кудряшов. Он «завербовал нескольких молодых людей, служивших в тамошнем гарнизоне» («Полярная звезда», 1862, кн. 7. Факсимильное издание. М., 1968, с. 92). Среди них были: портуней-прапорщик Василий Павлович Колесников (1803—после 1874), впоследствии автор «Записок несчастного, содержащего путешествие в Сибирь по канату» (последнее издание— Челябинск, 1975); прапорщик Дмитрий Петрович Тапиков (около 1797—после 1862), Хрисанф Михайлович Дружинин (1808—после 1862) и некоторые другие.

Все они стали жертвами провокации Ишюлита Иринарховича Завалишина, сосланного в начале 1827 г. в оренбургский гарнизон солдагом. По его доносу в апреле 1827 г. члены Оренбургского кружка были арестованы и преданы военному суду. 12 августа 1827 г. Николай I подписал приговор, по которому Колесникова, Тапикова и Дружинина осудили на каторжные работы в Сибирь сроком от 3 до 6 лет. Такая же судьба постигла и провокатора-доносчика И. И. Завалишина. Все они отбывали наказание вместе с декабристами вначале в Чите, а затем в Петровском заводе.— 107

<sup>123</sup> Александр Лукич Кучевский (около 1780—1871)— майор Астраханского гарнизонного полка; был арестован 13 января 1822 г. по подозрению в антиправительственной деятельности. Ему вменили в вину составление тайного общества в Астрахани, за что военным судом 13 января 1827 г. он был лишен чинов, дворянства и сослан на каторжные работы в Нерчинские рудники. После неудавшегося заговора И. И. Сухинова (см.: Нечкина М. В. Заговор в Зерентуйском руднике.— В кн.: В сердцах Отечества сынов. Иркутск, 1975) переведен в Петровский завод. С 1839 г. на поселении в Тугуевской слободе.— 107

<sup>124</sup> Николай Семенович Сулима (1777—1840)— генерал-лейтенант. Участвовал в войнах против Наполеона, в русско-турецкой войне 1828—1829 гг. и в подавлении польского

восстания 1830—1831 гг. В 1833—1835 гг. был генерал-губернатором Восточной, а с 1835 по 1837 г.— Западной Сибири.

Семен Богданович *Броневский* (1786—1858)—генерал-лейтенант, сенатор. С января 1835 по 1837 г. был генерал-губернатором и командующим войсками Восточной Сибири.— 107

<sup>125</sup> Константин Владимирович *Чевкин* (1802—1875)—генерал-адъютант, начальник штаба Горного корпуса (1834—1845), сенатор (1845), главноуправляющий путями сообщения и публичными зданиями, председатель Департамента государственной экономии Государственного совета (1863—1871), председатель комитета по делам Царства Польского (с 1872 г.).

Александр Федорович *Багговут* (1806—1883)—генерал от кавалерии, участник русско-иранской войны 1826—1828 гг.; участвовал в подавлении польского восстания 1830—1831 гг. и национально-освободительного движения в Венгрии (1849). В Крымской войне командовал всей русской кавалерией.— 108

<sup>126</sup> Имеется в виду Джордж Вашингтон (1732—1799)—первый президент США (1789—1797), командующий армией колонистов в борьбе за независимость в Сев. Америке, приведшей к ликвидации английского колониального господства и провозглашению независимости США; председатель конвента по выработке конституции США.— 110

<sup>127</sup> Общества трезвости в России стали создаваться с августа 1858 г. вначале в Виленской и Ковенской губерниях, а затем распространились на 32 северо-западные, центральные и поволжские губернии. Они были по сути организованным протестом податного сословия против откупной системы в связи с повышением косвенного налога на водку и вылились в так называемое трезвенное движение, ставшее одним из проявлений антикрепостнической борьбы масс. С мая 1859 г. крестьяне и городские низы от отказа употреблять водку перешли к разгрому питейных заведений. Активные действия происходили в 15 губерниях, где трезвенное движение было усмирено при участии войск. 780 зачинщиков были преданы военному суду, наказаны шпицрутенами и сосланы в Сибирь. Под непосредственным влиянием трезвенного движения указом от 26 октября 1860 г. объявлялось об отмене откупной системы с 1 января 1863 г.— 122

<sup>128</sup> В «Якушкинском варианте» далее следует: «Расскажу здесь одну меру правительства, которая явно показывает, до какой степени оно старалось истребить в обществе всякое об нас воспоминание (вопреки даже естественным понятиям) и вместе с тем желание явить пример своего милосердия и правосудия» (л. 79).— 128

<sup>129</sup> Примечательно, что в официальной справке за январь 1843 г. о поведении Н. В. Басаргина говорится: «Из каторжной работы на поселении с 1836 года, сначала в городе Туринске, потом в 1842 году переведен в город Курган. Занимается чтением духовных книг, ведет себя хорошо, в образе мыслей скромнен» (ЦГВИА, ф. 1, оп. 1, д. 14174, л. 1).— 130

<sup>130</sup> Текстовая купюра в «Щеголевском варианте», сделанная, скорее всего, цензурным комитетом, восстанавливается по «Якушкинскому варианту»: «От всей души желал бы и желал собственно для него, чтобы в эту торжественную минуту, отложив свои помыслы о земном величии, он сделался из умирающего царя простым христианином, готовым предстать перед судом всевышнего. Но, кажется, не так оставил он этот мир» (л. 80об.).— 130

<sup>131</sup> В «Якушкинском варианте» вместо «в прошедшие времена» значится «в прошедшее царствование» (л. 80об.).— 130

<sup>132</sup> Осип-Юльян Викентьевич *Горский* (1766—1849)—с 1804 г. на военной службе юнкером. Отличился в Отечественной войне 1812 г., имел награды. В 1816 г. получил чин полковника, в 1818 г. вышел в отставку. В 1819 г. назначен кавказским вице-губернатором и произведен в статские советники, но в 1822 г. за злоупотребления уволен со службы. Не будучи декабристом, Горский 14 декабря 1825 г. оказался, имея при себе пистолет, в толпе восставших. Хотя мотивы поведения Горского на Сенатской площади были не ясны, в ночь с 14 на 15 декабря он был арестован. На следствии давал противоречивые по содержанию и вызывающие по форме показания, Верховный уголовный суд не вынес Горскому никакого приговора и представил дело на высочайшее усмотрение. 5 марта 1827 г. Горский отправлен в Березов под надзор полиции. 21 июня 1831 г. по состоянию здоровья переведен в Тобольск, а оттуда в Тару. Позднее жил в Омске, где и умер 7 июля 1849 г. Известен как обманщик и авантюрист. Эпизод, о котором рассказывает далее Н. В. Басаргин (конфискация имущества

Горского), скорее всего один из многочисленных «обманов», к которым был склонен Горский.— 131

<sup>133</sup> Станислав Август Понятовский (1732—1798)—последний польский король (1764—1795), избран при поддержке Екатерины II и прусского короля Фридриха II. После третьего раздела Польши отрекся от престола (25 ноября 1795 г.) и доживал свои дни в России.— 132

<sup>134</sup> Иван Александрович Вельяминов (1771—1837)—генерал от инфантерии; участник войн с Наполеоном в 1806—1814 гг. С 1827 г.—командир Отдельного сибирского корпуса и генерал-губернатор Западной Сибири.— 133

<sup>135</sup> Александр Николаевич Муравьев исполнял должность тобольского губернатора в 1832—1834 гг.— 133

<sup>136</sup> Петр Дмитриевич Горчаков (1789—1868)—генерал от инфантерии, командир Отдельного сибирского корпуса и генерал-губернатор Западной Сибири (1837—1851).— 134

<sup>137</sup> Начальником III отделения и шефом жандармов в 1826—1844 гг. был генерал-адъютант А. Х. Бенкендорф, а после его смерти (1844), до 1856 г.—князь Алексей Федорович Орлов (1786—1861).— 134

<sup>138</sup> Вероятно, речь идет об Александре Федоровиче Голицыне (1796—1864), который в царствование Николая I был председателем комиссии прошений на высочайшее имя.— 134

<sup>139</sup> Имеется в виду вдова Павла I, мать Александра I, императрица Мария Федоровна (1759—1828).— 141

<sup>140</sup> Училище колонновожатых возникло в Москве по инициативе и на средства генерал-майора Н. Н. Муравьева. Оно образовалось из общества математиков, организованного в 1810 г. его сыном М. Н. Муравьевым, студентом университета. В доме Н. Н. Муравьева частным порядком читались публичные лекции по математике и военным наукам, которые были необходимы офицерам квартирмейстерской части. В 1815 г. по предложению начальника Главного штаба князя П. М. Волконского 44 слушателя муравьевских лекций после сдачи экзаменов были аттестованы офицерами и приняты на службу колонновожатыми. В 1816 г. курсы Н. Н. Муравьева преобразовали в Московское учебное заведение для колонновожатых, которое хотя и оставалось по-прежнему на его содержании, но получило значение государственного учреждения, так что все преподаватели и учащиеся считались состоявшими на военной службе. С 1816 по 1823 г. училище окончило 138 человек. В 1823 г. Н. Н. Муравьев по состоянию здоровья отказался от заведования училищем. Оно было переведено в Петербург и просуществовало до 1826 г. Училище заложило учебно-организационные основы созданной 26 ноября 1832 г. императорской военной академии Генерального штаба.— 144

<sup>141</sup> Николай Николаевич Муравьев (1768—1840)—генерал-майор, общественный деятель, писатель, отец Александра Николаевича Муравьева—организатора Союза спасения, писателя Андрея Николаевича Муравьева, Н. Н. Муравьева-Карского, а также М. Н. Муравьева-Вилenskого («вешателя»). Служил на флоте, в армии, в московской милиции. В 1812 г. был начальником штаба 3-го округа ополчения.— 144

<sup>142</sup> Н. В. Басаргин мог ознакомиться со статьей под названием «Николай Николаевич Муравьев», написанной Н. В. Путятой, В. Х. Христиани и другими выпускниками школы колонновожатых, подготовленной для 5-й книжки «Современника» за 1852 г.— 144

<sup>143</sup> Иван Андреевич Гейм (1758—1821)—профессор, специалист в области истории и статистики; с 20 июня 1808 г. по 26 февраля 1819 г. был ректором Московского университета.— 145

<sup>144</sup> В «Якушкинском варианте» дана расшифровка криптонимов, за которыми скрывался Алексей Алексеевич Тучков (1800—1879).— 145

<sup>145</sup> Михаил Николаевич Муравьев (1796—1866)—граф, генерал от инфантерии, государственный деятель. Участник войны 1812 г. В молодости принадлежал к декабристскому движению и состоял членом Союза спасения и Союза благоденствия. После восстания Семеновского полка (16—18 октября 1820 г.) отошел от тайного общества.

Во время следствия по делу декабристов 12 января 1826 г. подвергся аресту. Однако 2 июня 1826 г. был освобожден с оправдательным аттестатом. В 1827 г.—витебский вице-губернатор, в 1828—1829 гг.—могилевский губернатор. В 1830—1831 гг.—один из самых рьяных усмирителей польского восстания. В 1831—1834 гг.—гродненский, а затем

курский губернатор. В 1835—1839 гг.—директор Департамента разных податей и сборов, а с 1842 г.—сенатор и управляющий Межевым корпусом, затем министр государственных имуществ. Являясь членом Главного комитета по крестьянскому делу, занимал открыто крепостническую позицию. В 1863 г. в качестве генерал-губернатора Северо-Западных губерний подавлял восстание в Литве и Белоруссии. В 1866 г.—председатель Верховной комиссии по делу Д. В. Караковского.— 148

<sup>146</sup> Среди учащих в школе колонновожатых были будущие декабристы.— 149

<sup>147</sup> Вероятнее всего, Н. В. Басаргин подразумевает великого князя Константина Николаевича (1827—1892).— 152

<sup>148</sup> Название игры — «бары» произошло, видимо, от «барывакися» — древнерусского слова, обозначающего борьбу (Словарь русского языка XI—XVII вв. М., 1975, с. 76).— 153

<sup>149</sup> Перечисляются инструменты для топографических съемок местности.— 153

<sup>150</sup> Василий Андреевич Жуковский (1783—1852)—выдающийся русский поэт. Начав как сентименталист, стал одним из создателей русского романтизма. Основные произведения — баллады «Людмила» (1808), «Светлана» (1807—1812). Перевел «Одиссею» Гомера, произведения Ф. Шиллера, Дж. Байрона.

Федор Николаевич Глинка (1786—1880)—русский поэт. Участник Отечественной войны 1812 г.; член Союза спасения, один из руководителей Союза благоденствия. Басаргин имеет в виду здесь «Письма русского офицера» (1815—1816) Ф. Н. Глинки.

Владислав Александрович Озеров (1769—1816)—известный русский драматург.

Михаил Трофимович Каченовский (1775—1842)—русский историк, критик, сторонник классицизма; с 1837 г.—ректор Московского университета; в 1805—1830 гг. (с некоторыми перерывами)—редактор журнала «Вестник Европы».— 154

<sup>151</sup> Александр Петрович Тормасов (1752—1819)—боевой генерал. В Отечественную войну командовал 3-й армией. В 1814 г. назначен членом Государственного совета и главнокомандующим в Москве. 30 августа 1816 г. получил графское достоинство.— 156

<sup>152</sup> Петр Александрович Толстой (1761—1844)—граф, генерал от инфантерии. В 1806—1807 гг. участвовал в войне против Наполеона. В 1807—1808 гг.—чрезвычайный посол в Париже. В 1812 г.—командующий войсками Казанской, Нижегородской, Пензенской, Костромской, Симбирской и Вятской губерний. Руководил формированием ополченских полков. В 1813 г. во главе корпуса отличился под Дрезденом. С 1818 г. командовал в Москве 5-м пехотным корпусом. В 1828 г.—главнокомандующий в Петербурге и Кронштадте. Был в числе умиротворителей польского восстания 1830—31 гг.— 156

<sup>153</sup> Александр Иванович Михайловский-Данилевский (1790—1848)—военный историк, генерал-лейтенант, сенатор (1835), член Российской Академии наук (1841). В 1812 г. вступил в Петербургское ополчение, был адъютантом М. И. Кутузова. В 1812—1815 гг. вел журнал боевых действий русской армии. В 1823—1825 гг. командовал бригадой. С 1826 г. занялся написанием истории войн России первой четверти XIX в. Его исторические сочинения носят описательный характер и страдают откровенной тенденциозностью, выражающейся в явном преувеличении заслуг Александра I в военных успехах России. См. о нем: Тартаковский А. Г. 1812 год и русская мемуаристика. М., 1981.— 157

<sup>154</sup> Сарагоса была осаждена войсками французских оккупантов во время войны в Испании и в течение августа 1808—февраля 1809 г. героически оборонялась. Эпизоды этой обороны запечатлены в офорте Ф. Гойи «Какое мужество!» и в повести Переас Гальдоса «Сарагоса».— 157

<sup>155</sup> Александр Сергеевич Меншиков (1787—1869)—военный и государственный деятель, генерал-адъютант (1817), адмирал, князь. С 1817 г. исполнял обязанности генерал-квартирмейстера Главного штаба. В 1824 г. вынужден был уйти в отставку, вызвав недовольство Александра I составлением записки об отмене крепостного права. В 1827 г. при Николае I назначен начальником Главного морского штаба. В 1853 г. возглавил дипломатическую миссию в Константинополь. В 1853—1855 гг. был главнокомандующим сухопутными и морскими силами в Крыму. Проявил себя бездарным военачальником и был отстранен от должности. В 1855—1856 гг.—генерал-губернатор Кронштадта, после чего—в отставке. Во время подготовки крестьянской реформы, фрондируя против сторонников освобождения крестьян с земель, защищал интересы крепостников.— 157

## М. И. МУРАВЬЕВ-АПОСТОЛ И ЕГО ВОСПОМИНАНИЯ

Матвей Иванович Муравьев-Апостол родился 25 апреля 1793 г. в Петербурге. Он был старшим сыном Ивана Матвеевича Муравьева (1762—1851) от его первого брака с дочерью сербского генерала Черносивича Анной Семеновной (умерла в 1810 г.). В 1800 г. И. М. Муравьев после смерти своего бездетного двоюродного брата Михаила Даниловича Апостола получает в наследство богатое имение Хомулец в Миргородском уезде Полтавской губернии. Перед смертью М. Д. Апостол взял с И. М. Муравьева клятву присоединить к своей фамилии его — Апостол. Так появилась фамилия Муравьевых-Апостолов.

И. М. Муравьев-Апостол был одним из образованнейших людей своего времени: занимался переводами античных авторов, пробовал писать и свои сочинения. Его комедия «Ошибки, или Утро вечера мудренее» была поставлена в 1793 г. в Эрмитаже. Литературными трудами И. М. Муравьев обратил на себя внимание Екатерины II, которая назначила его «кавалером» (воспитателем) своих двух старших внуков — великих князей Александра и Константина Павловичей. При Павле I И. М. Муравьев-Апостол был назначен послом в Гамбург, где успешно выполнял сложные дипломатические поручения русского двора. По возвращении И. М. Муравьева-Апостола в 1800 г. в Петербург Павел I награждает его орденом за успешную дипломатическую службу и назначает вице-президентом иностранной коллегии. При новом царе Александре I И. М. Муравьева-Апостола в 1801 г. назначают послом в Мадрид, но в 1805 г. он впал в немилость у царя, был отозван из Мадрида и уволен в отставку. На этом и закончилась дипломатическая карьера И. М. Муравьева-Апостола. Три его сына — Матвей, Сергей и Ипполит — стали декабристами, активными участниками восстания на юге России. Матвей был сослан в Сибирь, Сергей казнен, Ипполит покончил с собой в день разгрома восстания. Лишившись трех сыновей, И. М. Муравьев-Апостол в 1826 г. выехал за границу. В 1851 г. он умер во Флоренции в возрасте 89 лет.

И. М. Муравьев-Апостол дал своим детям блестящее образование. До 1808 г. Матвей Иванович Муравьев-Апостол вместе с братом Сергеем учился в частном пансионе Гикса в Париже. Отец воспитывал своих детей в духе глубокого патриотизма: сам он придерживался либеральных взглядов, хотя и был предан престолу. От Матвея и Сергея скрывали существование в России крепостного права. Возвратившись в 1809 г. в Россию, они были поражены существованием позорного явления рабства, когда люди торгуют людьми. В 1810—1811 гг. молодой М. И. Муравьев-Апостол участвует в «Юношеском братстве», в которое входили братья Лев и Василий Перовские, Артамон и Николай Муравьевы. Участники этого «братства» мечтали о создании на о. Сахалине республики «Чока», по принципам «общественного договора» Руссо (см.: Нечкина М. В. Движение декабристов, т. 2, М., 1955, с. 103—104).

В 1811 г. отец определил Матвея Ивановича в училище инженеров путей сообщения. Как после показывал М. И. Муравьев-Апостол на следствии, в этом училище он находился всего «два-три месяца». «...узнавши, что война будет с французами, я просил о переводе моем в лейб-гвардии Семеновский полк» (ВД, т. IX, М., 1950, с. 217). С Семеновским полком, куда он был принят в ноябре 1811 г. в чине подпрапорщика, М. И. Муравьев-Апостол прошел всю кампанию 1812 г. За героизм при Бородине «по большинству голосов нижних чинов седьмой роты полка» его награждают «знаком военного ордена» (солдатским георгиевским крестом) и производят в прапорщики. Матвей Иванович переносит все тяготы сурового зимнего похода с боями от Тарутина до Вильны: вместе с солдатами ночует на снегу, терпит голод и холод, участвует в боях полка с отступавшими французскими войсками при Малоярославце, под Красным, при Березине. В составе своего полка М. И. Муравьев-Апостол сражается при Люцене и Бауцене, 16—17 августа 1813 г. при Пирне и Кульме. Под Кульмом ранен в бедро пулей навылет. За участие в сражениях награждается орденом св. Анны и прусским железным крестом. В 1814 г. Матвей Иванович участвует во взятии Парижа. В том же году в составе Семеновского полка морем из Шербурга он возвращается в Петербург.



Отечественная война 1812 г. и заграничные походы русской армии 1813—1814 гг. оказали глубокое влияние на формирование мировоззрения М. И. Муравьева-Апостола (как и других декабристов). Отвечая на вопросы Следственного комитета о причинах его «вольномыслия», Матвей Иванович напишет: «Первые вольнодумческие и либеральные мысли я получил во время нашего пребывания в Париже в 1814 году [...] Любовь к отечеству, которое мы спасли от ига Наполеона, меня одушевляло» (ВД, т. IX, с. 216—217). Служебная карьера М. И. Муравьева-Апостола складывается благополучно. В 1816 г. его производят в подпоручики, в следующем году в поручики, а с 1 января 1818 г. назначают адъютантом к малороссийскому генерал-губернатору кн. Н. Г. Репнину. В 1819 г. Матвей Иванович произведен в штабс-капитаны, в 1821 г. переведен в л.-гв. Егерский полк, а в 1822 г. в чине майора — в Полтавский пехотный полк. Тяжело переживает Матвей Иванович расправу над восставшим в 1820 г. л.-гв. Семеновским полком, где он прослужил 7 лет.

В сентябре 1822 г. Матвей Иванович подает рапорт об отставке «за ранюю», а в начале 1823 г. он выходит в отставку в чине подполковника и поселяется в своем имении Хомутое.

В публикуемых записках М. И. Муравьев-Апостол скупо говорит о своем участии в делах тайного общества. Правда, эта сторона его биографии достаточно полно раскрывается в материалах следствия, которые представляют Матвея Ивановича одним из самых деятельных членов всех декабристских организаций. Вместе с братом Сергеем, С. П. Трубецким, И. Д. Якушкиным, А. Н. и Н. М. Муравьевыми он основывает в феврале 1816 г. в казармах Семеновского полка первое тайное декабристское общество — Союз спасения. Он присутствует на совещании руководства Союза спасения осенью 1817 г. в Хамовнических казармах в Москве, где было сделано предложение о царевубийстве. Матвей Иванович — активный член новой декабристской организации — Союза благоденствия, возникшей в 1818 г. после роспуска Союза спасения. Он причастен ко второй (не дошедшей до нас), «сокровенной» части устава Союза благоденствия — «Зеленой книги», в которой говорилось о необходимости свергнуть абсолютизм и установить представительное правление в России. Он принимает в тайное общество новых членов.

Находясь на службе в Полтаве, а затем проживая в Хомутое, М. И. Муравьев-Апостол не теряет связей с тайным обществом: он в курсе всех его дел — совещаний, проектов, намерений; он посвящен в предложение М. С. Лунина совершить покушение с «партией в масках» на царскосельской дороге на Александра I, знает содержание прений на Московском съезде Союза благоденствия в январе 1821 г., знает о планах «Бобруйского» (1823 г.) и «Белоцерковского» (1824 г.) заговоров декабристов. В 1823 г. Матвей Иванович получает от «Южной Директории» (Южного общества) поручение ехать в Петербург «и открыть сношение с Северным обществом». Как он показывал на следствии, «цель сих сношений была стараться соединить оба общества, согласить Северное на избрание одного директора и возбудить в членах сего последнего более рвения и деятельности потому, что Петербург предназначался главным пунктом действия» (ВД, т. IX, с. 281). М. И. Муравьев-Апостол пробыл в Петербурге как полномочный представитель Южного общества с июня 1823 по август 1824 г. Он приложил много усилий для объединения обоих обществ, работал над созданием их общей программы и плана общего выступления, участвовал в заседаниях Северного общества у И. И. Пущина, Е. П. Оболенского, М. М. Нарышкина в 1824 г. Через Матвея Ивановича шла конспиративная переписка между Северным и Южным обществами. Он переписывает конституционный проект Никиты Муравьева и пересылает его руководству Южного общества. После Петербургских совещаний весной 1824 г. П. И. Пестеля с руководством Северного общества Матвей Иванович получает поручение Пестеля «продолжать сношения с Северным обществом и тайно от него учредить особенное общество». Такое общество (управа Южного общества в Петербурге) было учреждено: М. И. Муравьев-Апостол принял в него несколько офицеров Кавалергардского полка. В августе 1824 г. М. И. Муравьев-Апостол вернулся из Петербурга в свое имение Хомутое, но продолжал сохранять связи с Северным и Южным обществами через М. П. Бестужева-Рюмина, Н. И. Лорера и своего брата Сергея. Осенью 1824 г., не получая долго писем от горячо любимого брата Сергея, полагая, что общество раскрыто правительством, а Сергей арестован, он в состоянии «душевного смятения» решил совершить акт царевубийства, о чем говорил Ф. Ф. Вадковскому и П. Н. Свистуну (ВД, т. IX, с. 259). 3 ноября 1824 г.

Матвей Иванович из Хомуцка посылает письмо брату Сергею. Это — редкий документ конспиративной переписки декабристов, посвященный делам тайного общества. Письмо свидетельствует о переживаниях М. И. Муравьевым-Апостолом сильных колебаниях. Его томит мысль о трудностях выступления, он предостерегает брата о надзоре правительства над обществом. В принципе Матвей Иванович не против выступления, но считает его неготовым. Он требует, чтобы риск был оправдан, дабы напрасно не потерять людей и тем самым «не оттянуть дело до бесконечности». Его тревожит и отсутствие единства между северной и южной организациями, отсутствие общей программы, общего плана, нерешенность многих вопросов, существующий «разлад». Он сомневается, что народ благоприятно воспримет их акцию, требует соблюдения строгой конспирации. Впоследствии, после встречи с М. П. Бестужевым-Рюминым, Матвей Иванович в письме П. И. Пестелю подтвердил свою верность планам и замыслам Южного общества и принял на себя поручение уговорить С. П. Трубецкого «к действию на 4 корпус»; он просит Трубецкого по приезду в Петербург «стараться склонить Северное общество к соединению [с Южным — В. Ф.] и объявить о решительном намерении начать действия в 1826 году» (ВД, т. IX, с. 282). В октябре 1825 г. М. И. Муравьев-Апостол принимает в своем имени А. Ф. Бриггена, А. О. Корниловича, М. М. Нарышкина, которые подробно информируют его о подготовке тайных обществ к восстанию. Матвей Иванович в курсе агитационной деятельности своего брата среди солдат, переговоров М. П. Бестужева-Рюмина с Обществом соединенных славян о присоединении этого общества к Южному, переговоров Южного общества с Польским патриотическим обществом насчет совместных действий во время готовившегося восстания.

Весть о восстании 14 декабря 1825 г. в Петербурге и его поражении дошла до Матвея Ивановича 25 декабря, когда он вместе с братом Сергеем приехал в Житомир. В это время уже был отдан приказ об аресте обоих братьев, уже гнался за ними следом полковой командир Черниговского полка полковник Г. И. Гебель вместе с жандармами. Арест Гебелем братьев Муравьевых-Апостолов и насильственное освобождение их членами Общества соединенных славян 29 декабря 1825 г. явились началом восстания Черниговского полка, которое возглавил С. И. Муравьев-Апостол. Об этом восстании Матвей Иванович подробно пишет в своих очерках «С. И. Муравьев-Апостол» и «Восстание Черниговского полка».

После разгрома восстания 3 января 1826 г. Матвей Иванович был арестован и привезен в Белую Церковь, где 7—9 января был снят с него первый допрос. 13 января он был привезен в Могилев, а 15 января доставлен в Петербург и помещен первоначально на Главную гауптвахту. После допроса его в Зимнем дворце В. В. Левашевым и Николаем I 17 января М. И. Муравьев-Апостол был отправлен в Петропавловскую крепость со следующей сопроводительной запиской царя коменданту крепости А. Я. Сукину: «...присылаемого Муравьева, отставного подполковника, посадить по усмотрению и содержать строго». В каземате крепости М. И. Муравьев-Апостол впал в полное отчаяние и решил уморить себя голодом. Только поддержка брата Сергея, который написал ему ободряющее письмо (опубликованное на французском языке и в русском переводе в «Русской старине», 1886, № 9, с. 521—524 и в «Русском архиве», 1887, № 1, с. 52—54), спасла Матвея Ивановича. Следственному комитету М. И. Муравьев-Апостол дал откровенные и подробные показания о своем участии в тайном обществе, сообщил важные сведения о работе членов Южного общества среди солдат накануне восстания, о связях общества с Польским патриотическим обществом, о восстании Черниговского полка.

Верховным уголовным судом М. И. Муравьев-Апостол был отнесен к первому разряду и осужден «к смертной казни отсечением головы». В приговоре при перечислении главных «видов» его преступлений значится: «Имел умысел на царевубийство и готовился сам к совершению оного, участвовал в восстановлении деятельности Северного общества и знал умыслы Южного во всем их пространстве, действовал в мятеже и взят с оружием в руках» (ВД, т. XVII. М., 1981, с. 226). По царской конфирмации от 10 июля 1826 г. смертная казнь М. И. Муравьеву-Апостолу заменялась, «по уважению совершенного и чистосердечного его раскаяния», 20-летней каторгой и последующим пожизненным поселением в Сибири. Коронационным манифестом 22 августа 1826 г. срок каторги сокращался до 15 лет, однако по личному повелению Николая I Матвей Иванович был отправлен прямо на поселение в далекий Вильюйск, где он прожил три года фактически в полном одиночестве. Об этих годах

своей ссылки М. И. Муравьев-Апостол подробно рассказывает в мемуарном очерке «В Сибири». 13 марта 1829 г. по ходатайству сестры Матвея Ивановича Екатерины Ивановны Бибиковой последовало распоряжение о переводе его из Вилуйска в крепость Бухтарминск на Иртыше. Генерал-губернатор Западной Сибири И. А. Вельяминов разрешил ему жить в доме статского советника Зелейщикова близ крепости. В 1832 г. М. И. Муравьев-Апостол женился на дочери священника М. К. Константиновой (1811—1872). У них родился сын, который умер младенцем. Матвей Иванович взял на воспитание двух дочерей ссыльных офицеров.

В июне 1836 г. последовало повеление царя о переводе М. И. Муравьева-Апостола в Ялуторовск Тобольской губернии. Вскоре туда же были переведены И. Д. Якушкин, Н. В. Басаргин, Е. П. Оболенский, И. И. Пущин, А. В. Ентальцев, В. К. Тизенгаузен. Каждое воскресенье в доме Матвея Ивановича собирался кружок ссыльных декабристов. В созданной в Ялуторовске И. Д. Якушкиным школе Матвей Иванович преподавал французский язык. В Ялуторовске Матвей Иванович и провел 20 лет ссылки до самой амнистии декабристов.

В январе 1857 г. М. И. Муравьев-Апостол вернулся из ссылки и поселился в подмосковной деревне Зыковой. В апреле 1857 г. он переехал в Тверь, а в 1860 г. обосновался в Москве. В Москве Матвей Иванович неоднократно встречался с Л. Н. Толстым, который в это время собирал материал для романа «Декабристы». В. Е. Якушкин вспоминает, как Толстой «приходил к Матвею Ивановичу для того, чтобы расшевелить его, брать у него записки его товарищей». Сам М. И. Муравьев-Апостол впоследствии говорил В. Е. Якушкину, что он сомневался в том, «сможет ли Толстой изобразить избранное им время, избранных им людей». Чтобы выполнить эту задачу, говорил Матвей Иванович Якушкину, «надо изобразить истинное положение тогдашней России, нужно в точности изобразить все страшные бедствия, которые тяготели тогда над русским народом, а изобразить вполне эти бедствия гр. Л. Н. Толстому будет нельзя, не позволят, если бы он даже и захотел» («Русская старина», 1886, № 7, с. 158).

Матвей Иванович Муравьев-Апостол умер 21 февраля 1886 г. в возрасте 93 лет в Москве и погребен на Новодевичьем кладбище. М. И. Муравьев-Апостол не изменил декабристским традициям и убеждениям. Близо знавший его В. Е. Якушкин писал о нем: «Матвей Иванович до конца оставался верен своему прошлому не только по своему о нем воспоминанию и по горячей любви к этому прошлому и к своим товарищам, но также и по верности своим высоким гуманным принципам» (там же, с. 168).

Публикуемые в настоящем издании записки М. И. Муравьева-Апостола написаны им в разное время и по разному поводу. До глубокой старости Муравьев-Апостол обладал хорошей памятью. Его записки отличаются объективностью и точностью оценок.

Большинство записок М. И. Муравьева-Апостола было опубликовано при его жизни, в 70—80-е годы прошлого века, в журналах «Русский архив» и «Русская старина». В 1911 г. был опубликован его рассказ об убийстве Павла I. Впервые записки и письма М. И. Муравьева-Апостола были собраны и опубликованы в отдельном сборнике С. Я. Штрайхом под названием «Декабрист М. И. Муравьев-Апостол. Воспоминания и письма» (Пг., 1922). Впоследствии записки М. И. Муравьева-Апостола не переиздавались, и осуществленная С. Я. Штрайхом публикация давно уже стала библиографической редкостью. При воспроизводстве текстов записок и писем М. И. Муравьева-Апостола в настоящем издании взята за основу публикация С. Я. Штрайха, сверенная с прижизненными изданиями записок, а также с сохранившимися рукописями. В иных случаях источник указывается в комментариях. Текст записок подготовлен для печати В. А. Федоровым. Он же автор настоящей статьи о М. И. Муравьеве-Апостоле и комментарий к тексту его воспоминаний.

\* \* \*

<sup>1</sup> Рассказ М. И. Муравьева-Апостола «Воспоминания детства», написанный им по желанию его молодых родственников 28 октября 1869 г., должен был, по замыслу М. И. Муравьева-Апостола, послужить прежде всего повествованием о лицах, изображенных на старом семейном портрете (этот портрет упоминается в рассказе). Рассказ не окончен.

Впервые он был напечатан в «Русском архиве» (1888, № 11, с. 368—372) под названием «Из рассказов Матвея Ивановича Муравьева-Апостола». Рукопись-автограф рассказа была передана издателю «Русского архива» П. И. Бартеневу воспитанницей М. И. Муравьева-Апостола А. П. Сазонович.— 165

<sup>2</sup> ...*государыня*...— Имеется в виду Екатерина II (1729—1796)—русская императрица (1762—1796).— 165

<sup>3</sup> См. с. 298 наст. изд.— 165

<sup>4</sup> Константин Павлович женился в 1796 г. на принцессе саксен-кобургской Юлиане-Генриетте (Анне Федоровне). Брак оказался неудачным. Великая княгиня покинула Россию в 1801 г., а в 1820 г. Константин Павлович добился официального развода со своей женой.— 165

<sup>5</sup> Николай Иванович *Салтыков* (1733—1816)—граф, впоследствии князь; генерал-адъютант, позже генерал-фельдмаршал и член Государственного совета; с 1783 г. был воспитателем великих князей Александра и Константина Павловичей.— 165

<sup>6</sup> Имеется в виду Павел Петрович (1754—1801)—русский император (1796—1801).— 165

<sup>7</sup> Александр Павлович в 1796 г. был определен петербургским военным генерал-губернатором, инспектором с.-петербургской пехоты и кавалерии, а с 1798 г. назначен председателем Военного департамента. Константин Павлович в 1796 г. был назначен шефом Измайловского полка, а в 1797 г.—генерал-инспектором всей кавалерии.— 165

<sup>8</sup> При *тогдашних политических обстоятельствах*...— Имеются в виду первые коалиционные войны феодальных государств Европы против революционной Франции, а также последующий разрыв в 1800 г. России с Англией и сближение Павла I с первым консулом Франции Наполеоном Бонапартом.— 165

<sup>9</sup> Речь идет именно о начавшемся сближении Павла I с Наполеоном Бонапартом в 1800 г. и связанных с этим дипломатических мероприятиях.— 165

<sup>10</sup> *Людовик XV* (1710—1774)—французский король (1715—1774).— 166

<sup>11</sup> Карл Осипович *Ламберт* (1772—1843)—генерал-адъютант; впоследствии член Верховного уголовного суда над декабристами.— 166

<sup>12</sup> Луи Антуан *Бугенвиль* (1729—1811)—французский мореплаватель. В 1766—1769 гг. совершил кругосветное путешествие и открыл Соломоновы острова. Самый крупный остров этого архипелага назван его именем.— 166

<sup>13</sup> Имеется в виду сражение при Аустерлице между французской и русско-австрийской союзнической армией 20 ноября (2 декабря) 1805 г., увенчавшееся победой Наполеона.— 166

<sup>14</sup> Семейный портрет, о котором говорит М. И. Муравьев-Апостол, был написан в 1799 г. Позже хранился в семье Бибиковых. «Пятилетний мальчик в красной куртке»—сам М. И. Муравьев-Апостол в детстве.

<sup>15</sup> Шарль Франсуа *Дюмуре* (1739—1823)—генерал революционной Франции, под командованием которого французские войска одержали крупные победы в 1792 г. при Вальми и Жемаппе. В 1793 г. изменил революции и перешел к австрийцам.— 166

<sup>16</sup> Жан Лоран *Монье* (1746—1808)—французский живописец.

*Людовик XVI* (1754—1793)—французский король (1774—1792). Свергнут народным восстанием 10/VIII 1792 г. Осужден Конвентом и казнен.— 167

<sup>17</sup> Имеется в виду сестра Матвея Ивановича Муравьева-Апостола Екатерина Ивановна—в замужестве Бибикова.— 167

<sup>18</sup> Речь идет о Михаиле Никитиче Муравьеве—см. Басаргин, прим. 114.— 167

<sup>19</sup> *Екатерина Федоровна* Муравьева (1771—1848)—жена Михаила Никитича Муравьева, урожденная баронесса Колокольева.— 167

<sup>20</sup> Имеется в виду Никита Михайлович Муравьев, двоюродный брат М. И. Муравьева-Апостола, известный в будущем декабрист.— 167

<sup>21</sup> *Анжелика Кауфман* (1741—1807)—немецкая художница, представительница классицизма. Основные ее картины написаны на мифологические, историко-религиозные и бытовые сюжеты. Известны ее портреты государственных деятелей, писателей, ученых.— 167

<sup>22</sup> ...*победы Суворова в Италии*.— Речь идет об итальянском и швейцарском походах А. В. Суворова в 1799—1800 гг. и победах, одержанных им при Треббии, Адде, Нови над французскими войсками.— 167

<sup>23</sup> ...генерал Герман—генерал-квартирмейстер русской армии при А. В. Суворове.— 167

<sup>24</sup> Остров Джерсей (Джерзей) был сборным пунктом русских войск во время войны против Французской республики в 1799 г.— 167

<sup>25</sup> Федор Васильевич *Ростопчин* (1763—1826)—при Павле I заведовал иностранными делами России; впоследствии генерал от инфантерии, московский генерал-губернатор, в 1812—1814 гг. главнокомандующий в Москве; член Государственного совета.— 168

<sup>26</sup> *Семилетняя война* (1756—1763)—война между Австрией, Францией, Россией, Испанией, Саксонией и Швецией, с одной стороны, и Пруссией, Англией, Португалией—с другой. Россия вышла из этой войны в 1762 г., когда вступивший на престол император Петр III, ярый поклонник прусского короля Фридриха II, заключил с ним мир и союз.— 168

<sup>27</sup> *Николай Васильевич Репнин* (1734—1801)—известный екатерининский вельможа и государственный деятель: дипломат, посол в Польше; участник русско-турецких войн 1768—1774 и 1787—1791 гг. и заключения мирных договоров с Турцией.— 168

<sup>28</sup> *Николай Григорьевич Волконский* (Репнин)—старший брат декабриста С. Г. Волконского.— 168

<sup>29</sup> Рассказ М. И. Муравьева-Апостола об убийстве Павла I впервые был опубликован в газете «Утро России» 21 декабря 1911 г. Там же были приведены и обстоятельства появления рассказа. «В прошлом номере нашей газеты, в сообщении о хранящихся у М. И. Зензинова реликвиях декабристов, мы упомянули об имеющейся здесь рукописи с неопубликованным нигде и мало известным, но полным крупного исторического интереса рассказом об известной драме 11 марта 1801 года. Это описание было найдено среди бумаг покойного декабриста М. И. Муравьева-Апостола, который в 1860 году поселился в Москве, где и скончался (а не в Киеве, как у нас упоминалось) в 1886 году. Этот рассказ об убийстве Павла I М. И. Муравьев-Апостол слышал по возвращении из сибирской ссылки в Россию от служившего в Твери К. М. Полторацкого, который в чине прапорщика был в карауле в Михайловском дворце в ту роковую ночь. М. И. Муравьев-Апостол взял с К. М. Полторацкого слово, что все рассказанное последним будет им подробно описано, но вскоре после этого престарелый Полторацкий скончался, не выполнив своего намерения. Тогда сам М. И. Муравьев-Апостол продиктовал этот рассказ своей воспитаннице г-же Сазонович, дополнив его многими подробностями, слышанными им в Москве в Английском клубе еще в 1820 г. от другого участника этого трагического события, полкового адъютанта Преображенского полка и плац-майора Михайловского замка Артамонова, впоследствии директора казенной московской лосиной фабрики». (Новые данные об убийстве Павла I.—«Утро России», 1911, № 293).— 168

<sup>30</sup> ...*все батальоны гвардейских полков назывались шефскими*.—Т. е. они назывались по имени шефствующих над ними членов царской фамилии и вельмож.— 168

<sup>31</sup> Имеется в виду великий князь Александр Павлович.— 168

<sup>32</sup> Имеется в виду императрица Мария Федоровна. См. Басаргин, прим. 139.— 169

<sup>33</sup> Вероятно, речь идет о французской певице Шевалье.— 169

<sup>34</sup> *Николай Александрович Зубов* (1763—1805)—ober-шталмейстер Павла I, активный участник заговора против Павла I и дворцового переворота 1801 г.— 169

<sup>35</sup> *Павел долго не соглашался на это [отречение.— В. Ф.], но, наконец, уступил настоятельным требованиям*.—Историк С. Б. Окунь, специально исследовавший обстоятельства дворцового переворота 1801 г., пишет: «Сведения, сообщаемые в некоторых мемуарах о том, что заговорщики долгое время препирались с Павлом, пытаясь заставить подписать отречение и тем самым спасти свою жизнь, маловероятны... Расправа с Павлом продолжалась очень недолго, так как подоспевшая вторая партия заговорщиков напугала первую, решившую, что явился кем-то вызванный караул. В суматохе некоторые бросились бежать, затем возвратились обратно, кто-то сбросил ночник, и в темноте Павла прикончили» (Окунь С. Б. Очерки истории СССР. Конца XVIII—первая четверть XIX в. Л., 1957, с. 112).— 169

<sup>36</sup> *Леонтий Леонтьевич (Левин Август Теофил) Беннигсен* (1745—1826)—генерал от кавалерии, активный участник заговора против Павла I, командующий русской армией в 1807 г. в войне с Францией, в августе—ноябре 1812 г. начальник штаба русской армии; уволен за интриги Кутузовым.— 169

<sup>37</sup> В 1731 г., вступая на русский престол, Анна Иоанновна вынуждена была подписать «кондиции» (условия), поданные ей «верховниками» (членами Верховного тайного совета) и ограничивающие ее власть. Почувствовав поддержку дворянского большинства, Анна Иоанновна разорвала кондиции, а сами «верховники» впоследствии подверглись опале и жестокой расправе.— 169

<sup>38</sup> По другой версии Н. А. Зубов переломил Павлу руку, а затем Павел долго подвергался избиениям; наконец был задушен шарфом, снятым с А. В. Аргамакова (Исторический сборник вольной русской типографии в Лондоне, кн. 1. Лондон, 1859, с. 55—57). По третьей версии Н. А. Зубов ударил Павла золотой табакеркой в левый висок, а затем Павел был задушен шарфом Аргамакова (см. Указ. соч., кн. 2, Лондон, 1861, с. 48).— 169

<sup>39</sup> Воспитанница М. И. Муравьева-Апостола Сазонович сделала к тексту рассказа собственноручное примечание: «Матвей Иванович Муравьев-Апостол обедал в Английском клубе вместе с М. А. Фонвизным, сам слышал этот рассказ Аргамакова (тот был тогда директором Казенной Московской фабрики). Такая откровенность в обществе, по его словам, в их время никого не удивляла. Всякий свободно выражался, потому что шпионство еще не процветало» («Утро России», 1911, № 293). В записках М. А. Фонвизина «Обозрение проявлений политической жизни в России» (Общественные движения в России в первую половину XIX века. Спб., 1905, с. 133—143) повествование об убийстве Павла I совпадает в деталях с рассказом, переданным со слов Аргамакова.— 171

<sup>40</sup> Данный текст представляет собой заметки М. И. Муравьева-Апостола, продиктованные им своей воспитаннице А. П. Сазонович в 1883 г. по поводу книги П. Н. Дирина «История Семеновского полка», опубликованной в 1883 г. В том же году в связи с 200-летием л.-гв. Семеновского полка М. И. Муравьев-Апостол передал рукопись заметок в музей полка. В свое время копию с этих заметок снял А. А. Сиверс. Несколько выдержек из этих заметок позднее было опубликовано С. П. Аглаимовым в кн. «Отечественная война 1812 г.» (Полтава, б. г.).

Впервые наиболее полный текст заметок был опубликован С. Я. Штрайхом в кн. «Декабрист М. И. Муравьев-Апостол. Воспоминания и письма» (с. 32—40) по копии Сиверса (подлинный текст рукописи заметок пока не разыскан). Курсивом в настоящем издании напечатаны цитаты из книги П. Н. Дирина, к которым Муравьев-Апостол предпосылает свои дополнения и коррективы, а также обозначения соответствующих страниц из книги П. Н. Дирина.— 171

<sup>41</sup> Михаил Богданович Барклай-де-Толли (1761—1818)—генерал от инфантерии; с 1814 г.—генерал-фельдмаршал, с 1815 г.—князь. Командующий 1-й армией, затем главнокомандующий всей русской армией в Отечественную войну 1812 г.—до назначения главнокомандующим М. И. Кутузова. При Бородине командовал правым крылом русской армии. После смерти М. И. Кутузова 28 апреля 1813 г. назначен командующим соединенной русско-прусской армии.— 171

<sup>42</sup> Петр Иванович Багратион (1765—1812)—князь, генерал от инфантерии, участник итальянского и швейцарского походов 1799—1800 гг. А. В. Суворова, командующий Молдавской армией в 1809—1810 гг. В Отечественную войну 1812 г. командовал 2-й армией, смертельно ранен при Бородине.— 171

<sup>43</sup> Советский военный историк П. А. Жилин пишет: «Под Витебском был какой-то момент, когда Барклай-де-Толли вновь задумался над вопросом, не пойти ли на сражение. К тому были довольно резонные мотивы. Во-первых, французские войска, двигаясь главными силами по одной дороге, слишком растянулись и не могли соединить свои силы к Витебску; во-вторых, только что прошедший бой у Островно показал, что русские войска отлично бьют французов и в обороне, и в наступлении; наконец, в-третьих,—и это, пожалуй, главное—Барклай надеялся, что скоро подойдут из Орши войска Багратиона.

Но действительность внесла серьезные коррективы в расчеты Барклая. В тот момент, когда диспозиция к наступлению была уже готова и ее собирались разослать командирам корпусов, в штаб 1-й армии прибыл адъютант Багратиона поручик Меньшиков с донесением о занятии Могилева войсками Даву, о неудачной попытке войск 2-й армии пробиться на север и о решении Багратиона отступить к Смоленску» (Жилин П. А. Гибель наполеоновской армии в России. М., 1974, с. 110—111.).— 171

<sup>44</sup> Жером Бонапарт (1784—1860)—младший брат Наполеона I, король Вестфальский.

Командовал одним из корпусов наполеоновской армии в 1812 г.— 171

<sup>45</sup> После того как по прибытии к армии в 1812 г. Кутузов сделал объезд войск, по словам П. Н. Дирин, «с быстротою молнии во все концы России разнеслась весть, будто бы в то самое время орел вознесся над головою Кутузова, сопровождая его при объезде лагеря».— 171

<sup>46</sup> Далее следует отсутствующая в копии А. А. Сиверса, но напечатанная в кн. С. П. Агламова «Отечественная война 1812 г.» заметка М. И. Муравьева-Апостола: «Кутузов отправился в лагерь верхом в сюртуке без эполет и в белой с красным околышком фуражке с шарфом через одно плечо и с нагайкой на ремне через другое. Войска встречали Кутузова, знакомого всем старым служивым, дружным «ура».— 171

<sup>47</sup> *Карл Антонович Криднер*—командир л.-гв. Семеновского полка в 1809—июле 1812 г. В 1827 г. в чине генерал-майора вышел в отставку.— 171

<sup>48</sup> ...наши полковники последовали их примеру.—Демонстративно подали в отставку командиры 1—3-го батальонов Семеновского полка.— 172

<sup>49</sup> *В полночь получено было приказание...*—в ночь после Бородинской битвы с 26 на 27 августа.— 172

<sup>50</sup> *Яков Алексеевич Потемкин* (1781—1831)—впоследствии командир л.-гв. Семеновского полка; генерал-майор, позже генерал-лейтенант. Весной 1820 г. за «мягкое обхождение» с солдатами был по настоянию А. А. Аракчеева лишен командования Семеновским полком и заменен жестоким солдафоном Ф. Е. Шварцем.— 172

<sup>51</sup> *Через два дня...*—т. е. 8 октября 1812 г.— 173

<sup>52</sup> *Александр Никитич Сеславин* (1780—1858)—известный герой Отечественной войны 1812 г., адъютант Барклая-де-Толли, командир партизанского отряда; с 1813 г.—генерал-лейтенант и командир Сумского гусарского полка.— 173

<sup>53</sup> Наполеон оставил Москву 6(18) октября.— 173

<sup>54</sup> *Модест Иванович Богданович* (1805—1882)—генерал-лейтенант, военный историк и писатель, автор трудов «История Отечественной войны 1812 года по достоверным источникам» (т. 1—3. СПб., 1859—1860) и «История царствования императора Александра I и России в его время» (т. 1—6. СПб., 1869—1871).

Здесь П. Н. Дирин ссылается на работу М. И. Богдановича «История Отечественной войны 1812 года по достоверным источникам».— 173

<sup>55</sup> Речь идет о событиях 12 (24) октября 1812 г.— 173

<sup>56</sup> *Тарутинский лагерь*—укрепленный военный лагерь у с. Тарутино Калужской губернии, где сосредоточивалась и пополнялась резервами русская армия после оставления Москвы. Основные силы русской армии вступили в Тарутино 21 сентября, лагерь просуществовал до начала октября 1812 г. Отсюда началось контрнаступление русских войск.— 173

<sup>57</sup> *Николай Иванович Кошкар*ов (Кашкаров)—командир 1-й гренадерской роты л.-гв. Семеновского полка. Впоследствии в связи с волнением Семеновского полка в 1820 г. в числе других офицеров был переведен в армию (в чине майора в Бородинский пехотный полк).— 173

<sup>58</sup> *Александр Александрович Писарев*—полковник (с 1807 г.) л.-гв. Семеновского полка. В 1813 г. назначен командиром Киевского гренадерского полка.— 173

<sup>59</sup> *Александр Васильевич Чичерин*—поручик л.-гв. Семеновского полка (с 1811 г.); умер от ран в 1813 г.— 173

<sup>60</sup> *Канонада оказалась без всякого значения.*—Речь идет о сражении при Малоярославце 12 октября 1812 г.— 173

<sup>61</sup> *Дмитрий Сергеевич Дохтуров* (1756—1816)—генерал от инфантерии; в битве при Бородине командовал центром русской армии, заменил смертельно раненного Багратиона. В марте 1813 г. назначен командующим гарнизоном Варшавы. В кампанию 1813 г. участвовал в битве при Лейпциге, Дрездене и в осаде Магдебурга.— 173

<sup>62</sup> *Прибывший туда...*—Речь идет о прибытии в Вязьму.— 173

<sup>63</sup> *Иван Дмитриевич Щербатов*—поступил в л.-гв. Семеновский полк в 1811 г. в чине прапорщика. Участвовал во всех сражениях полка в 1812—1814 гг. В 1821 г. переведен в Тарутинский пехотный полк майором. В том же году предан военному суду по обвинению в причастности к волнению солдат Семеновского полка в 1820 г. Дело кн. И. Д. Щербатова

тянулось до 1826 г., когда по приказу Николая I от 27 февраля Щербатов был лишен «чинов, орденов и дворянства» и сослан рядовым в Отдельный Кавказский корпус «вплоть до выслуги». Умер в 1829 г. И. Д. Щербатов был внуком известного историка, общественного и государственного деятеля Михаила Михайловича Щербатова (1733—1790), автора известной «Истории Российской от древнейших времен».— 173

<sup>64</sup> П. Н. Дирин в своей книге ссылается на «Записки» И. С. Жиркевича, опубликованные в «Русской старине» за 1874—1878 гг.— 173

<sup>65</sup> После сражения под Красным 3—6(15—18) ноября 1812 г. М. И. Кутузов, проезжая мимо Семеновского полка, скомандовал при виде отобранных у французов знамен с орлами на древках: «Нагните орлы пониже, пусть кланяются молодым».— 173

<sup>66</sup> См. Муравьев-Апостол, прим. 13. Сражение при Аустерлице было дано вопреки мнению Кутузова, который, будучи командующим союзнической русско-австрийской армии, вынужден был выполнять волю Александра I и австрийского императора Франца.— 174

<sup>67</sup> См. Басаргин, прим. 150.— 174

<sup>68</sup> Иван Андреевич Крылов (1769—1844)—выдающийся русский писатель, баснописец.— 174

<sup>69</sup> «Дмитрий Донской»—трагедия известного русского драматурга В. А. Озерова (1769—1816).— 174

<sup>70</sup> В Копысе опять простояли три дня.—Русская армия прибыла в г. Копыс (Смоленской губернии) 14 ноября и находилась в нем до 17 ноября 1812 г.— 174

<sup>71</sup> Красное—уездный центр Смоленской губернии, где произошло сражение между русскими и французскими войсками 3—6(15—18) ноября 1812 г., закончившееся поражением французских войск.— 174

<sup>72</sup> Александр I прибыл к армии 8 декабря 1812 г.— 175

<sup>73</sup> Во все время перемирия...—Имеется в виду Плевисское перемирие с 4 июня по 28 июля 1813 г., заключенное между Наполеоном и русско-прусской коалицией.— 175

<sup>74</sup> Рейхенбах—город в Германии, где 15 и 27 июня 1813 г. Россия заключила союзные конвенции с Австрией и Англией.— 175

<sup>75</sup> Александр Иванович Остерман-Толстой (1770—1857)—генерал-адъютант, генерал от инфантерии, герой Бородина и Кульма. В 1812—1813 гг.—командир 4-го пехотного корпуса.— 175

<sup>76</sup> Сражение под Дрезденом произошло 15 августа 1813 г.— 175

<sup>77</sup> При открытии военных действий в 1813 г. ...—Военные действия русской армии в кампанию 1813 г. начались с занятия после упорного боя 4 января г. Кенигсберга—центра Восточной Пруссии.— 175

<sup>78</sup> Жозеф Доминик Вандам (1770—1830)—граф, генерал-лейтенант французской армии, в 1813 г. командовал 1-м французским корпусом: взят в плен под Кульмом.— 175

<sup>79</sup> ...после дрезденской неудачи...—Имеется в виду неудачное для союзных русско-прусских войск сражение с французами 15 августа 1813 г. под Дрезденом.— 175

<sup>80</sup> Алексей Петрович Ермолов (1772—1861)—генерал от артиллерии, начальник Главного штаба 1-й армии в Отечественную войну 1812 г.; с декабря 1812 г.—начальник всей артиллерии русской действующей армии. В 1816 г. назначен командующим Отдельным Кавказским корпусом. В 1827 г. уволен в отставку.— 176

<sup>81</sup> Имеются в виду Александр I и прусский король Фридрих Вильгельм III.— 176

<sup>82</sup> ...при Павле Петровиче...—т. е. при Павле I.— 176

<sup>83</sup> Сергей Козмич Вязьмитинов (1749—1819)—генерал от инфантерии, в 1812 г.—главнокомандующий с.-петербургского гарнизона; одновременно управляющий Министерством полиции и с сентября 1812 г.—председатель Комитета министров.— 177

<sup>84</sup> Далее в тексте М. И. Муравьева-Апостола—пропуск.— 177

<sup>85</sup> Жан Виктор Моро (1763—1813)—талантливый военачальник, главнокомандующий французской армии в Италии в 1799 г. Замешанный в связях с врагами Наполеона, был в 1804 г. арестован и выслан из Франции. В 1813 г. был приглашен на русскую службу: смертельно ранен в битве под Дрезденом.— 177

<sup>86</sup> Кан—город в Нормандии, где в 1814 г. стоял Семеновский полк.— 177

<sup>87</sup> Этот отрывок, опубликованный В. Е. Якушкиным в его биографической статье о



М. И. Муравьев-Апостол в «Русской старине» (1886. № 7), взят им из несохранившейся записной тетради М. И. Муравьева-Апостола, посвященной событиям 1812 года.— 178

<sup>88</sup> Заметка «Бородинское сражение» продиктована М. И. Муравьевым-Апостолом А. П. Сазонович в 1885 г. в связи с прочтением им воспоминаний о войне 1812 г. Н. Н. Муравьева-Карского, опубликованных в том же году в журнале «Русский архив» (№ 10). Она является дополнением к заметкам М. И. Муравьева-Апостола об Отечественной войне 1812 г.— 178

<sup>89</sup> Имеется в виду Сергей Петрович *Трубецкой* (1790—1860)—видный деятель декабристского движения.— 178

<sup>90</sup> ...следовательно, ядрами играть не мог.— Здесь М. И. Муравьев-Апостол опровергает свидетельство Н. Н. Муравьева-Карского.— 178

<sup>91</sup> По свидетельству В. Е. Якушкина, М. И. Муравьев-Апостол, прочитав описание волнения в л.-гв. Семеновском полку в 1820 г. в книге П. Н. Дирина «История л.-гв. Семеновского полка» (т. 1. СПб, 1883), обнаружил в нем немало неточностей. М. И. Муравьев-Апостол был возмущен и тенденциозной оценкой события, которую дал Дирин. «Матвей Иванович,—пишет В. Е. Якушкин,—был вообще недоволен существующими в литературе рассказами о Семеновской истории. По поводу последнего из них в «Истории л.-гв. Семеновского полка» г. Дирина Матвей Иванович продиктовал свои воспоминания о происшествии 1820-го года в Семеновском полку и рукопись эту передал в полковую библиотеку» («Русская старина», 1886, № 7, с. 161). Как сообщил С. Я. Штрайх, «воспоминания эти, в подлинной рукописи автора», хранились «в собрании М. М. Зензинова, который представил их для напечатания в журн. «Голос минувшего» (1914, № 1)» (Декабрист М. И. Муравьев-Апостол. Воспоминания и письма, с. 41). С этой публикации воспроизвел рассказ М. И. Муравьева-Апостола и С. Я. Штрайх (подлинник рукописи оказался утраченным). С этой публикации воспроизводится рассказ М. И. Муравьева-Апостола о волнении в Семеновском полку и в настоящем издании (Из записок декабриста М. И. Муравьева-Апостола.— «Голос минувшего», 1914, № 1, с. 132—141).— 178

<sup>92</sup> Николай Николаевич *Муравьев-Карский* (1794—1866)—один из основателей и участников первого декабристского общества—Союз спасения. В 1817 г. ушел на службу на Кавказ и отошел от общества. Впоследствии генерал от инфантерии. В Крымскую войну главнокомандующий Кавказским корпусом; руководил в 1855 г. взятием Карса, за что получил звание «Карский», наместник на Кавказе.— 178

<sup>93</sup> Речь идет о польском восстании 1863 г.— 178

<sup>94</sup> *Сергей Иванович* Муравьев-Апостол в чине капитана командовал 1-й фузелерной ротой Семеновского полка.— 178

<sup>95</sup> Федор Ефимович *Шварц* (178(?)—1867)—полковник, командир л.-гв. Семеновского полка в 1820 г. Отличался крайней жестокостью в обращении с солдатами, что и послужило поводом к волнению в полку 16—18 октября 1820 г. «За неумение поведением своим удержать полк в должном повиновении» Шварц был предан военному суду, но фактически не понес наказания: 3 сентября 1821 г. был уволен со службы, но 30 августа 1823 г. по рекомендации А. А. Аракчеева был вновь принят на службу (в военном поселении) тем же чином. В 1850 г. Шварц, уже дослужившийся до чина генерал-лейтенанта, вновь был предан суду за жестокие истязания солдат. На этот раз Шварц был уволен навсегда из военной службы с воспрещением въезда в обе столицы.— 178

<sup>96</sup> Имеется в виду великий князь Михаил Павлович. См. Басаргин, прим. 58.— 179

<sup>97</sup> Петр Андреевич *Клейнмихель* (1793—1869)—граф, при Аракчееве начальник штаба военных поселений; в 1842—1855 гг.—главноуправляющий путями сообщения и публичными зданиями; фаворит Николая I. В 1855 г. уволен за злоупотребления по службе.— 179

<sup>98</sup> ...*шаги: Петербургские, Могилевские и Варшавские.*—Церемониальные марши во время парадов и разводов караулов отличались строго фиксированным количеством шагов в минуту.— 180

<sup>99</sup> Петр Федорович *Желтухин* (1777—1829)—генерал-майор, командир л.-гв. Гренадерского полка (до 1820 г.).— 180

<sup>100</sup> *Деплояд и контрмарш*—развертывание воинского подразделения и наступление развернутым строем.— 180

<sup>101</sup> *Николай Николаевич Толстой*—поручик гренадерского взвода л.-гв. Семеновского полка.— 180

<sup>102</sup> *Леонтий Осипович Гурко*—полковник, командир 3-го батальона л.-гв. Семеновского полка, старший брат декабриста В. О. Гурко, также служившего в Семеновском полку.— 180

<sup>103</sup> *Александр Сергеевич Голицын*—подполковник л.-гв. Семеновского полка.— 180

<sup>104</sup> Имеется в виду С. И. Муравьев-Апостол.— 181

<sup>105</sup> См. Басаргин, прим. 48.— 181

<sup>106</sup> *Николай Иванович Уткин* (1780—1863)—художник, член Академии Художеств.— 181

<sup>107</sup> *Плашкоут*—несамоходное грузовое судно малых размеров, используемое для перегрузочных работ и устройства наплавных мостов.— 181

<sup>108</sup> Летние работы гвардейских солдат по найму «на стороне» составляли для них значительное денежное подспорье. Запрещение Шварца заниматься этими работами резко ухудшило материальное положение солдат Семеновского полка.— 182

<sup>109</sup> *Илларион Васильевич Васильчиков* (1776—1847)—с 1831 г. граф, с 1839 г. князь, генерал-адъютант, генерал от кавалерии, шеф л.-гв. Конноегерского полка, член Государственного совета, фаворит Николая I. Во время волнения Семеновского полка был командиром гвардейского корпуса.— 182

<sup>110</sup> *Иван Федорович Вадковский* (1792—?)—командир 1-го батальона л.-гв. Семеновского полка в 1820 г. 29 августа 1821 г. вместе с другими семеновскими офицерами: капитаном Кашкаровым, майором Щербатовым и подполковником Ермолаевым—был предан военному суду за причастность к волнению семеновских солдат. Дело Вадковского и других семеновских офицеров тянулось до 1826 г. От Вадковского добивались откровенных показаний о «посторонних причинах», вызвавших волнение в полку (Александр I полагал, что волнение—дело рук тайного общества), с обещанием «полного прощения» за таковые показания. Однако ничего добиться от Вадковского не удалось. 27 февраля 1827 г. Николай I приказал отправить Вадковского в Отдельный Кавказский корпус, «предварительно выдержав его в крепости два с половиной года». Впоследствии Вадковский оставил «Записки о событиях в Семеновском полку» («Русская старина», 1873, № 5).— 183

<sup>111</sup> *Иван Федорович Паскевич* (1782—1856)—генерал-адъютант, генерал-лейтенант, впоследствии генерал-фельдмаршал; с 1828 г.—граф Эриванский. Командующий русской армией в русско-иранской войне 1826—1828 гг.; командующий русской армией во время русско-турецкой войны 1828—1829 гг.; командующий русской армией при подавлении восстания в 1830—1831 гг. в Польше, с 1831 г.—светлейший князь Варшавский, наместник Царства Польского; руководил подавлением восстания в Венгрии в 1848—1849 гг. В Крымскую войну 1853—1856 гг. командовал войсками на Дунае. Фаворит Николая I. Был известен своей бездарностью и жестокостью по отношению к солдатам.— 183

<sup>112</sup> *В третьем часу того дня...*—т. е. 17 октября 1820 г.— 183

<sup>113</sup> Для расследования причин и обстоятельств волнения в Семеновском полку и выявления «зачинщиков» 21 октября в Петропавловской крепости под председательством В. В. Левашева начала работу следственная комиссия над солдатами 1-го батальона полка. К следствию было привлечено 802 солдата. Солдаты держались стойко. Следственная комиссия ничего не могла открыть и навлекла на себя недовольство Александра I, который 31 мая 1821 г. назначил новую следственную комиссию под председательством полковника Жуковского. Этой комиссии удалось вырвать имена восьми «зачинщиков», которые потом по приговору суда были прогнаны сквозь строй и сосланы на каторжные работы в Сибирь.— 183

<sup>114</sup> *Отдайте нам наших стариков...*—1-я гренадерская («государева», «головная») рота Семеновского полка состояла в основном из старых заслуженных ветеранов полка.— 184

<sup>115</sup> Здесь М. И. Муравьев-Апостол имеет в виду статью М. И. Богдановича «Беспорядки в Семеновском полку в 1820 г.» («Вестник Европы», 1870, № 11) и воспоминания С. П. Жихарева, опубликованные в том же журнале (1871, № 7).— 184

<sup>116</sup> Речь идет о конгрессе Священного союза. Первоначально конгресс заседал в австрийском г. Троппау (23 октября—24 декабря 1820 г.), затем был перенесен в Лайбах (ныне Люблина), где заседал с 11 января по 12 мая 1821 г.— 184

<sup>117</sup> Людвиг *Лебцельтерн*—посол австрийского императора при русском дворе; свояк декабриста С. П. Трубецкого (оба они были женаты на родных сестрах, урожденных гр. Лаваль).— 184

<sup>118</sup> См. Басаргин, прим. 16.— 184

<sup>119</sup> 2-й и 3-й батальоны л.-гв. Семеновского полка до распределения их по армейским полкам были временно размещены в финляндских крепостях; 2-й батальон морем был направлен в Свеаборг, а 3-й—в пешем строю в Кексгольм.— 184

<sup>120</sup> 2 января 1821 г. П. Я. Чаадаев писал своей тетке, княгине А. М. Щербатовой: «Этот раз я положительно подал просьбу о моем увольнении; надобно вам сказать, что она произвела сильное впечатление на некоторые личности; по возвращении императора меня должны были назначить флигель-адъютантом к нему; я счел более забавным пренебречь этой милостью; мне было приятно выказать пренебрежение людям, пренебрегающим всеми; как видите, все это чрезвычайно просто: мне невозможно оставаться в России по некоторым причинам» (французский текст письма—в кн. «Сочинения и письма П. Я. Чаадаева». Т. 1, М., 1913, с. 3—4.). Письмо было перехвачено полицией на почте и показано Александру I. Когда к Александру I поступило прошение Чаадаева об отставке, то он повелел отпустить его без повышения чина.— 184

<sup>121</sup> Декабристы тщательно собирали сведения о волнении в Семеновском полку в 1820 г. Накануне восстания 14 декабря 1825 г. К. Ф. Рылеев со слов очевидцев составил подробное и наиболее точное описание этого события. Оно было опубликовано в 1906 г. под названием «Возмущение старого лейб-гвардии Семеновского полка в 1820 г.» Еще раньше состоялась публикация в герценовской «Полярной звезде» (3-я книга за 1858 г.) под названием «Семеновская история (1821)». Однако если прежде ее авторство считалось совершенно определенным (Рылеев), то в настоящее время высказываются и иные версии (Муравьев-Апостол).— 184

<sup>122</sup> М. И. Муравьев-Апостол, вероятно, не знал, что П. Я. Чаадаев был принят в Союз благоденствия (по-видимому, в январе 1821 г., после своей отставки и накануне роспуска этой организации). Интересно свидетельство декабриста И. Д. Якушкина в его мемуарах. Чаадаев, пишет Якушкин, согласившись вступить в тайное общество, «пенял», что его не приняли раньше, «так как тогда он не вышел бы в отставку и постарался бы попасть в адъютанты к великому князю Николаю Павловичу, который, может быть, покровительствовал бы под рукой тайному обществу, если бы ему внушить, что это общество может быть для него опорой в случае восшествия на престол старшего брата» [Константина Павловича.— В. Ф.] (Записки, статьи, письма декабриста И. Д. Якушкина. М., 1951, с. 46.). К следствию Чаадаев не был привлечен, его велено было «оставить без внимания» (ВД, т. VIII, Л., 1925, с. 202).— 184

<sup>123</sup> Николай Николаевич *Раевский* («младший») (1801—1843)—сын известного героя Отечественной войны 1812 г. генерала Николая Николаевича Раевского («старшего»). Полковник Харьковского драгунского полка в 1825 г.; с сентября 1826 г.—полковой командир Нижегородского драгунского полка, в 1837 г.—генерал-лейтенант и начальник береговой Черноморской линии, уволен со службы в 1841 г. Привлекался к следствию по делу декабристов. Освобожден с «оправдательным аттестатом».— 184

<sup>124</sup> Петр Андреевич *Фридрихс* (1786—1855)—генерал-майор, командир л.-гв. Московского полка.

Жан Пьер *Флориан* (1755—1794)—французский писатель-драматург, представитель классицизма; автор «Галатеи», «Эстеллы», «Телемака», «Нумы Помпилия»; переводчик Вергилия и Горация.— 185

<sup>125</sup> Имеется в виду Алексей Федорович *Орлов* (1786—1861)—младший брат декабриста Михаила Федоровича Орлова, генерал-адъютант; с 1826 г.—граф, с 1856 г.—князь, фаворит Николая I. Сыграл важную роль в подавлении восстания 14 декабря 1825 г.; в 1844—1856 гг. начальник III отделения и шеф жандармов.— 185

<sup>126</sup> «Россия не имеет ни прошедшего, ни настоящего».—Неточная цитата из «Философического письма» П. Я. Чаадаева (см. о «Философическом письме» ниже, Муравьев-Апостол, прим. 128).

<sup>127</sup> Константин Сергеевич *Аксаков* (1817—1860) и Алексей Степанович *Хомяков*

(1804—1860)—известные славянофилы и публицисты 40—50-х годов XIX в.— 185

<sup>128</sup> Речь идет о «Философическом письме» П. Я. Чаадаева, которое было опубликовано в журнале «Телескоп» в 1836 г. (М. И. Муравьев-Апостол ошибочно датирует публикацию «Письма» 1838 годом). Безысходный пессимизм, мрачный взгляд на прошлое, настоящее и будущее России, которым проникнуто «Философическое письмо», безусловно навеяны поражением декабристов и суровой николаевской реакцией. Вместе с тем в этой форме П. Я. Чаадаев выразил свой протест против деспотизма и рабства. Публикация «Письма» вызвала закрытие журнала, ссылку его редактора Н. И. Надеждина в Усть-Сысольск, официальное объявление П. Я. Чаадаева «сумасшедшим».— 185

<sup>129</sup> Здесь М. И. Муравьев-Апостол приводит отрывок из стихотворения Д. В. Давыдова «Современные песни». Стихотворение было написано в 1836 г. и опубликовано в альманахе «Утренняя заря» за 1840 г. В последней публикации стихотворений Д. В. Давыдова (см. Давыдов Денис. Сочинения. М., 1962, с. 161) первая строфа отрывка звучит так:

Все вокруг стола—и скок  
В кипень совещанья  
Утопист, идеолог,  
Президент собрания.

В другом варианте:

Все вокруг стола—и вот  
Шарк на совещанье,  
Метафизик, верхолет,  
Президент собрания.

«Маленький аббатик» (так Д. В. Давыдов называет здесь П. Я. Чаадаева), а также слова *Dominus vobiscum* [с вами бог (лат.).]—намеки на приверженность П. Я. Чаадаева к католицизму.— 185

<sup>130</sup> Данная статья М. И. Муравьева-Апостола представляет собой критические замечания на опубликованную в № 5 «Русской старины» за 1873 г. (М. И. Муравьев-Апостол ниже ошибочно указывает вместо № 5-го № 7-й) статью Михаила Балласа «С. И. Муравьев-Апостол. Биографический очерк». Сама статья М. И. Муравьева-Апостола была опубликована именно в № 7 названного журнала за тот же год и имела название «Сергей Иванович Муравьев-Апостол. 1796—1826. Заметки по поводу его биографии М. И. Муравьева-Апостола».— 185

<sup>131</sup> Филипп Филиппович *Вигель* (1786—1856)—чиновник Министерства иностранных дел, впоследствии чиновник Департамента иностранных исповеданий; автор известных «Записок», неоднократно издававшихся (первое издание вышло в 1854—1865 гг. в Москве, последнее— М.—Л., 1928). «Записки» Ф. Ф. Вигеля представляют собой яркую картину эпохи. Сам автор придерживался консервативных взглядов.— 185

<sup>132</sup> Николай Иванович *Греч* (1787—1867)—русский журналист, писатель и издатель, редактор журнала «Сын отечества» и официозной газеты «Северная пчела», реакционный публицист; автор «Записок о моей жизни» (первая публикация— Спб., 1866, последняя— М.—Л., 1930).— 185

<sup>133</sup> См. Муравьев-Апостол. прим. 54.— 185

<sup>134</sup> Имеется в виду 3-й том «Истории царствования императора Александра I и России в его время» М. И. Богдановича (Спб., 1869), где излагается ход военных действий в 1812 г.— 186

<sup>135</sup> *Портупей-юнкер*—установленное в 1788 г. звание для юнкеров, отличившихся успешной учебной и исполнением служебных обязанностей; присваивалось начальником училища.— 186

<sup>136</sup> В своей статье М. Баллас ссылается на 6-й том «Истории царствования императора Александра I и России в его время» М. И. Богдановича. Петр Николаевич *Свистунов* (1803—1889)—корнет Кавалергардского полка, член Южного и Северного обществ. Верховным уголовным судом отнесен ко 2-му разряду и приговорен к бессрочной каторге, впоследствии замененной 20-летней, затем сокращенной на 15-летнюю с последующим пожизненным поселением в Сибири. По возвращении из ссылки принимал участие в подготовке и проведении крестьянской реформы в Калужской губернии; был членом

губернского комитета по «устройству быта помещичьих крестьян». — 186

<sup>137</sup> Речь идет об уже упомянутом выше (см. с. 299 наст. изд.) факте. В 1824 г. М. И. Муравьев-Апостол, не получая известий об С. И. Муравьеве-Апостоле, решил, что заговор раскрыт, а С. И. Муравьев-Апостол арестован. «Терзаемый горестью, страхом,— говорил он в своих показаниях,— хотел сам покуситься на жизнь государя и объявлял о своем намерении кавалергардским офицерам Вадковскому, Свистуну и Муравьеву [речь идет об Артамоне Захаровиче Муравьеве.— В. Ф.]. Я тогда говорил Федору Вадковскому и Свистуну, что я намерен посягнуть на жизнь покойного государя, не хотят ли они также мне содействовать. Мне Федор Вадковский говорил, что, живши в Новой Деревне и имея духовое ружье, ему мысль пришла посягнуть на жизнь покойного государя... Федор Вадковский и Свистун были согласны, но я им сказал, что, если получу известие от брата, я это намерение оставляю» (ВД, т. IX, с. 259). — 186

<sup>138</sup> Следственный комитет 22 апреля 1826 г. сделал П. Н. Свистуну специальный запрос о предложении покуситься на жизнь Александра I. В своем ответе Свистун доказывал, что «предложение [М. И. Муравьева-Апостола.— В. Ф.] было сделано для того, чтобы испытать смелость нашу» (ВД, т. XIV, М., 1976, с. 347—349). — 186

<sup>139</sup> *Шестистишие, выставленное в виде эпитафии*. — Речь идет о стихотворении С. И. Муравьева-Апостола:

Je passerai sur cette terre  
Toujours rêveur et solitaire  
Sans que personne m'aie connue.  
Ce n'est qu'à la fin de ma carrière  
Que par un grand trait de lumière  
On verra ce qu'on a perdu.  
Задумчив, одинокий,  
Я по земле пройду незнаемый никем.  
Лишь пред концом моим внезапно озаренный  
Узнает мир, кого лишился он.

Перевод М. С. Лунина. — 187

<sup>140</sup> Имеется в виду приведенная Балласом строка: "Ce n'est qu'à la fin de ma carrière". — 187

<sup>141</sup> Даниил Павлович Апостол (1654—1734)—малороссийский гетман. — 187

<sup>142</sup> Подразумевается «Школа злословия» Р. Б. Шеридана (1751—1816)—известного английского драматурга. — 187

<sup>143</sup> См. с. 165 наст. изд. — 187

<sup>144</sup> Григорий Иванович Строгонов (1769—1857)—действительный тайный советник, член Государственного совета. — 187

<sup>145</sup> Мануэль Годой (1767—1851)—глава испанского правительства в 1792—1798, 1801—1808 гг. В 1808 г. арестован и выслан во Францию. — 187

<sup>146</sup> См. с. 166 наст. изд. — 188

<sup>147</sup> М. И. Кутузов был военным генерал-губернатором в Киеве в 1807—1808 гг. — 188

<sup>148</sup> С. И. Муравьев-Апостол родился 28 сентября (8 октября) 1796 г. — 188

<sup>149</sup> Екатерина Павловна—великая княгиня, сестра Александра I; была замужем за королем Виртембергским Вильгельмом I. — 188

<sup>150</sup> Речь идет о военных действиях между французской и русской армиями 6 (18) февраля 1814 г. на подступах к Парижу. — 188

<sup>151</sup> Николай Николаевич Раевский (старший) (1771—1829)—генерал от кавалерии, участник войны со Швецией в 1808—1809 гг.; в Отечественную войну 1812 г. командовал корпусом; участник сражений под Смоленском, Бородиным и Малоярославцем; отец декабристов А. Н. и Н. Н. Раевских. — 188

<sup>152</sup> См. Басаргин, прим. 3. — 188

<sup>153</sup> ...*Пестель никакого устава не писал*. — У М. Балласа сказано: «Многие члены, будучи недовольны уставом общества «Спасения», написанным Пестелем...» («Русская старина», 1873, № 5, с. 660). Как свидетельствует М. В. Печкина, устав Союза спасения

(уничтоженный впоследствии декабристами) был написан «комиссией» в составе П. И. Пестеля, С. П. Трубецкого и И. А. Долгорукого (см.: Нечкина М. В. Движение декабристов, т. 1. М., 1955, с. 154).— 188

<sup>154</sup> Имеются в виду упомянутые М. Балласом: отмена введенных Павлом I телесных наказаний для дворян, подтверждение «Жалованной грамоты дворянству», возвращение ссыльных и опальных в павловское царствование, прекращение раздачи крестьян частным владельцам, издание указа 1803 г. о «вольных хлебопашцах», учреждение в 1802 г. министерств и пр.— 188

<sup>155</sup> Имеется в виду воззвание, подписанное М. И. Кутузовым в Калише 13(25) марта 1813 г. от имени союзных монархов (Александра I и Фридриха Вильгельма III),— «О восстановлении политической самобытности владетелей и народов Германии».— 189

<sup>156</sup> Шарль Морис Талейран (1754—1838)—видный французский государственный деятель, дипломат, министр иностранных дел при Директории, при Наполеоне (1799—1807), при Людовике XVIII (1814—1815).

<sup>157</sup> Имеется в виду речь Александра I, произнесенная им 18 марта 1818 г. при открытии сейма в Варшаве, где Александр I прозрачно намекал о своем намерении ввести конституцию в остальных (кроме Польши) частях Российской империи, «провидением ему вверенных».— 189

<sup>158</sup> Федор Петрович Уваров (1769—1824)—генерал от кавалерии, командующий гвардейским корпусом, член Государственного совета.— 189

<sup>159</sup> Николай Григорьевич Репнин (1779—1845)—князь, генерал-адъютант, малороссийский губернатор, член Государственного совета.— 189

<sup>160</sup> М. И. Муравьев-Апостол имеет в виду фразу у М. Балласа: «В среде офицеров этого полка выделялись два брата Муравьевы-Апостолы, Матвей и Сергей Ивановичи; они пользовались всеобщим уважением» («Русская старина», 1873, № 5, с. 661).— 190

<sup>161</sup> М. И. Муравьев-Апостол имеет в виду следующее выражение М. Балласа: «Большинство воспитанников [Института инженеров путей сообщения, где учился М. И. Муравьев-Апостол.— В.Ф.] принадлежало к самым лучшим аристократическим и иностранным фамилиям» («Русская старина», 1873, № 5, с. 658).— 190

<sup>162</sup> Речь идет о свидании в Петропавловской крепости С. И. Муравьева-Апостола и Екатерины Ивановны Бибиковой.— 190

<sup>163</sup> См. Басаргин, прим. 51.— 190

<sup>164</sup> Иван Никитич Скобелев (?—1845)—генерал от инфантерии.— 190

<sup>165</sup> Эти воспоминания были продиктованы М. И. Муравьевым-Апостолом в 1871 г. после прочтения опубликованных в том же году в «Русском архиве» (№ 1, с. 257—288) официальных документов о восстании Черниговского полка 29 декабря 1825 г.— 3 января 1826 г. В 1871 г. воспоминания М. И. Муравьева-Апостола были опубликованы в том же журнале (№ 6, с. 229—238). Впоследствии были переизданы С. Я. Штраймом в книге «Декабрист М. И. Муравьев-Апостол. Воспоминания и письма» (с. 50—56).— 191

<sup>166</sup> «...Все то ужасное, что я видел» (лат.).— 191

<sup>167</sup> С. П. Трубецкой осенью 1825 г. находился в Киеве, куда был переведен в конце 1824 г. на должность дежурного штаб-офицера при 4-м пехотном корпусе. От руководства Северного общества имел поручение установить прямую связь с Южным обществом.— 191

<sup>168</sup> Существовало два принципиальных плана действий декабристов: 1-й, разработанный руководителями Васильковской управы Южного общества С. И. Муравьевым-Апостолом и М. П. Бестужевым-Рюминым, согласно которому предполагалось начать восстание на юге (конкретные формы этого проекта— «Бобруйский» заговор 1823 г. и два «Белоцерковских» заговора 1824 и 1825 гг.), и 2-й, разработанный в 1824 г. руководителем Северного общества К. Ф. Рылевым, по которому следовало начать восстание в Петербурге («средоточии властей»), а «юг» должен был поддерживать это восстание. М. И. Муравьев-Апостол говорит о попытке своего брата уговорить С. П. Трубецкого отказаться от плана К. Ф. Рылева.— 191

<sup>169</sup> Ошибка или описка М. И. Муравьева-Апостола. Известие П. И. Пестеля о смерти Александра I могло иметь место в конце ноября, а не в «конце декабря». П. И. Пестель был арестован 13-го декабря 1825 г.

...и о двух доносах, сделанных ещё при его жизни.— Речь идет о доносах Майбороды и Шервуда (см. Басаргин, прим. 43).— 191

<sup>170</sup> Логгин Осипович *Рот* (1780—1857)—генерал-лейтенант, командир 3-го пехотного корпуса 2-й армии; впоследствии руководил арестами декабристов на юге.— 191

<sup>171</sup> См. Басаргин, прим. 25.

<sup>172</sup> *Петр Александрович Набоков* (179(?)—1847)—полковник, командир Кременчугского полка.— 191

<sup>173</sup> *Артамон Захарович Муравьев* (1794—1846)—полковник, командир Ахтырского гусарского полка; член Союза благоденствия и Южного общества. Верховным уголовным судом приговорен по 1-му разряду к смертной казни, замененной пожизненной каторгой, затем сокращенной до 20 лет с последующим поселением в Сибири. В 1832 г. каторга сокращена до 13 лет. По отбытии каторги был обращен на поселение в с. Елань Иркутской губернии.— 191

<sup>174</sup> *Форшпанка* (форшпан)—длинная повозка.— 191

<sup>175</sup> *Вторая присяга*—присяга Николаю I после присяги, принесенной Константину Павловичу.— 192

<sup>176</sup> *Анастасий Дмитриевич Кузьмин* (?—1826)—поручик, член Общества соединенных славян. После разгрома Черниговского полка 3 января 1826 г., будучи ранен картечью, застрелился.— 192

<sup>177</sup> *При таких ранах, о которых говорится в донесениях...*—Вероятно, М. И. Муравьев-Апостол имел в виду официальные сообщения о восстании Черниговского полка и ранении Гебеля, опубликованные в газете «Русский инвалид» (от 27 и 29 января 1826 г.) и в «Донесении Следственной комиссии».— 192

<sup>178</sup> Имеются в виду командиры полков 8-й дивизии, члены Южного общества: полковник Артамон Захарович Муравьев—командир Ахтырского гусарского полка, полковник Иван Семенович Повало-Швейковский—командир Саратовского пехотного полка, полковник Василий Карлович Тизенгаузен—командир Полтавского пехотного полка, полковник Павел Васильевич Аврамов—командир Казанского пехотного полка.— 193

<sup>179</sup> Имеются в виду рассказированные после волнения 1820 г. солдаты л.-гв. Семеновского полка, которые служили в 8-й дивизии и посещали С. И. Муравьева-Апостола. Через посредство бывших семеновских солдат С. И. Муравьев-Апостол и другие члены тайного общества вели антиправительственную агитацию среди остальных солдат 8-й дивизии, подготавливая их к предстоящему выступлению.

Особенно выделялись личности рядовых Федора Анойченко, Федора Николаева, Петра Малафеева, которые, по определению следствия, «были главными содейственниками Муравьеву в его изменнических замыслах». Военный суд приговорил этих солдат прогнать сквозь строй через тысячу человек 12 раз.— 193

<sup>180</sup> Речь идет о членах Общества соединенных славян, активных участниках восстания Черниговского полка. Михаил Алексеевич *Шепилла* (Шепилло, Шипилло)—поручик, командир 6-й мушкетерской роты Черниговского полка; убит 3 января 1826 г. во время подавления восстания.

*Вениамин Николаевич Соловьев* (1798—1871)—штабс-капитан, командир 2-й мушкетерской роты Черниговского полка; был приговорен к смертной казни, замененной пожизненной каторгой, умер в Рязани.

*Иван Иванович Сухинов* (1795—1828)—поручик Александровского гусарского полка. После разгрома восстания пытался бежать. Арестован 15 февраля 1826 г. в Кишиневе. Приговорен к смертной казни, замененной вечной каторгой. Каторгу отбывал в Зерентуйском руднике. В мае 1828 г. принял участие в заговоре ссыльно-каторжных, пытавшихся бежать с каторги, но был выдан провокатором. Военным судом был приговорен к расстрелу; 1 декабря 1828 г. (накануне исполнения приговора) повесился в тюремной камере.— 193

<sup>181</sup> Имеется в виду «Православный катехизис»—агитационный документ, написанный С. И. Муравьевым-Апостолом при участии М. П. Бестужева-Рюмина. В нем на основе текстов священного писания, в виде вопросов и ответов, проводились антиправительственные и антицаристские идеи (см. текст этого документа—ВД, т. VI, с. 128—129).— 194

<sup>182</sup> *Матвей Иванович Пыхачев* (1792—?)—капитан, член Южного общества. Привлекал

ся к следствию; после двухмесячного содержания в крепости был переведен в 1-ю конноартиллерийскую роту тем же чином, впоследствии подполковник и помощник управляющего на Ижевском оружейном заводе. В 1836 г. поселился в Казани.— 194

<sup>183</sup> Высланный против восставшего Черниговского полка конноартиллерийский отряд генерала Гейсмара С. И. Муравьев-Апостол и его товарищи сначала приняли за тех, кто шел к ним на соединение. Черниговский полк, как пишет М. В. Нечкина, «увидел вооруженный конноартиллерийский отряд, к нему приближавшийся. Немедленно воскресла первоначальная надежда Муравьева, что посланный против них отряд к ним же присоединится... Настроение солдат поднялось, в высшей степени напряглось ожидание. Но раздался залп. В рядах восставших стали падать убитые и раненые» (Нечкина М. В. Движение декабристов, т. 2. М., 1955, с. 376—377).— 194

<sup>184</sup> М. И. Муравьев-Апостол имеет в виду эпизод из опубликованных официальных материалов «О бунте Черниговского полка» («Русский архив», 1871, № 1).— 196

<sup>185</sup> Эти заметки сделаны М. И. Муравьевым-Апостолом на чистых страницах Евангелия, доставленного ему в крепость. 6 чистых страниц Евангелия исписаны им по-французски, по-русски написаны имена родных и названия местностей. Евангелие хранится в Отделе рукописей и редкой книги Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде (ф. 710, Собр. книг и автографов, № 31, Евангелие от Матфея, Марка, Луки и Иоанна. СПб., 1819, 402 с.). Впервые они были опубликованы (в переводе на русский язык) С. Я. Штрайхом (Декабрист М. И. Муравьев-Апостол. Воспоминания и письма, с. 11—17).— 196

<sup>186</sup> Имеется в виду Прасковья Васильевна Муравьева-Апостол, урожденная Грушницкая (1780—?),—мачеха М. И. Муравьева-Апостола.— 196

<sup>187</sup> Это одно из последних стихотворений французского поэта Николая Жильбера (1751—1780) «Ему нет места на пиру жизни», созвучное тогдашним чувствам и настроениям, владевшим М. И. Муравьевым-Апостолом. В настоящем издании оно воспроизводится по публикации С. Я. Штрайха, который дал его в переводе Н. В. Гербеля (Полное собрание стихотворений Жильбера. т. 2. СПб., 1882, с. 18—19). У М. И. Муравьева-Апостола опущена пятая строфа стихотворения:

Я для тебя в грядущем разбужу  
Уснувшие любовь и справедливость  
И от всего очистить укажу,  
Чем честь твою затмила их кичливость.— 197

<sup>188</sup> Василий Иванович Муравьев-Апостол (1817—1867)—младший брат М. И. Муравьева-Апостола от второго брака отца.— 197

<sup>189</sup> М. И. Муравьев-Апостол с братом Сергеем прибыли 25 декабря 1825 г. в г. Житомир к командиру 3-го пехотного корпуса генерал-лейтенанту Роту, где узнали о восстании 14 декабря 1825 г. в Петербурге.— 198

<sup>190</sup> Оригинал этого стихотворения, как он записан М. И. Муравьевым-Апостолом, по-французски звучит следующим образом:

Qu'est ce donc que la vie pour valoir qu'on la pleure.  
Un soleil, un soleil, une heure et puis une heure.  
Ce qu'une nous apporte une autre nous l'enleve,  
Repos, travail, douleur, et quelquefois un rêve.

Перевод сделан С. Я. Штрайхом.— 198

<sup>191</sup> Альфред Ламартин (1790—1869)—французский поэт.— 198

<sup>192</sup> Жан Батист Руссо (1670—1741)—французский поэт, сатирик; Жан Батист Расин— (1639—1699)—великий французский драматург; Пьер Корнель (1606—1684)—великий французский драматург; Жан Лафонтен (1621—1695)—французский баснописец; Шарль Мильвуа (1782—1816)—французский поэт, Андрей Шенье (1762—1794)—французский поэт; Жозеф Шенье (1764—1811)—французский поэт и драматург; Георг Грессе (1709—1777)—французский поэт, сатирик и драматург; Жан Казимир Делавинь (1793—1843)—французский поэт; Александр Сумет (1788—1845)—французский поэт.— 198



<sup>193</sup> Имеется в виду опера Никола Антонио Цингарелли (1752—1837) «Джюльетта и Ромео» (1796).— 198

<sup>194</sup> Далее в тексте слово неразборчиво.— 198

<sup>195</sup> *Кибицы*—имение екатерининского вельможи Д. П. Трощинского в Полтавской губернии, где нередко собирались окрестные помещики, в том числе и Муравьевы-Апостолы.— 198

<sup>196</sup> Лоренц *Стерн* (1713—1768)—английский писатель, один из основоположников сентиментализма.— 199

<sup>197</sup> *Сократ* (470—399 гг. до н. э.)—древнегреческий философ.— 199

<sup>198</sup> Далее в тексте слово неразборчиво.— 199

<sup>199</sup> Далее в тексте слово неразборчиво.— 199

<sup>200</sup> В тот момент М. И. Муравьев-Апостол был уверен в своей близкой смерти.— 199

<sup>201</sup> Здесь М. И. Муравьев-Апостол говорит о своих сестрах.— 199

<sup>202</sup> Далее в тексте зачеркнуто слово «февраля».— 200

<sup>203</sup> Далее в тексте оставлено место для даты.— 200

<sup>204</sup> Далее в тексте оставлено место для названия города.— 200

<sup>205</sup> Здесь М. И. Муравьев-Апостол имел в виду С. И. Муравьева-Апостола.— 200

<sup>206</sup> Эти воспоминания были продиктованы М. И. Муравьевым-Апостолом в 1883 г. его другу декабристу А. П. Беляеву; впервые опубликованы в «Русской старине» (1886, № 9, с. 525—552).— 200

<sup>207</sup> *Форт Слава*—крепость в Финляндии, куда 17 августа 1826 г. был переведен из Петропавловской крепости М. И. Муравьев-Апостол.— 200

<sup>208</sup> Михаил Матвеевич *Корсаков* (?—1872)—штабе-капитан гренадерского полка; привлекался по делу декабристов; переведен в Куринский полк под надзор полиции.— 200

<sup>209</sup> См. Басаргин, прим. 56.— 200

<sup>210</sup> Имеется в виду Александра Григорьевна Чернышева—жена декабриста Н. М. Муравьева.— 200

<sup>211</sup> Имеется в виду Дмитрий Никитич Бегичев (1786—1855).— 201

<sup>212</sup> *Николай* Александрович *Бестужев* (1791—1855)—капитан-лейтенант 8-го флотского экипажа; член Северного общества и участник восстания 14 декабря 1825 г. *Михаил* Александрович *Бестужев* (1800—1871)—штабе-капитан л.-гв. Московского полка, член Северного общества, участник восстания 14 декабря 1825 г.— 201

<sup>213</sup> Михаил Михайлович *Спиридов* (1796—1854)—член Южного общества, майор Пензенского полка. Осужден Верховным уголовным судом по I-му разряду к смертной казни, замененной бессрочной каторгой. В 1839 г. выпущен на поселение в д. Жрокиной близ Красноярска.— 202

<sup>214</sup> Иван Богданович *Цейдлер* (1780—1853)—иркутский гражданский губернатор в 1821—1835 гг.— 202

<sup>215</sup> *Надежда* Николаевна *Шереметева*—теща декабриста Ивана Дмитриевича Якушкина.— 202

<sup>216</sup> Андрей Николаевич *Андреев* (?—1831)—подпоручик л.-гв. Измайловского полка, член Северного общества. Осужден на бессрочную ссылку в Сибирь.— 203

<sup>217</sup> Имеется в виду графиня Александра Григорьевна Лаваль (урожденная Козицкая)—мать Екатерины Ивановны Трубецкой, теща С. П. Трубецкого.— 212

<sup>218</sup> Имеется в виду Захар Григорьевич Чернышев (1796—1862)—граф, ротмистр Кавалергардского полка, член Южного общества.— 212

<sup>219</sup> См. Басаргин, прим. 95.— 214

<sup>220</sup> *Степан* Михайлович *Семенов* (1789—1852)—член Союза спасения и Союза благоденствия, деятельный член Северного общества. Вместе с И. И. Пуцным был во главе Московской управы Союза благоденствия, затем Московской управы Северного общества. Как «отставший от общества» после 1821 г. не привлекался к судебной ответственности, а понес наказание в административном порядке—отправлен на службу в Сибирь с установлением над ним полицейского надзора. Умер в Тобольске.— 215

<sup>221</sup> *Александр* Гумбольдт (1769—1859)—известный немецкий ученый, естествоиспытатель, географ, путешественник, основатель Берлинского университета. В 1829 г. предпринял

путешествие по Уралу и Сибири, во время которого встречался со ссыльными декабристами.— 216

<sup>222</sup> Речь идет о Николае Николаевиче Раевском («старшем»). См. Муравьев-Апостол. прим. 151.— 218

<sup>223</sup> А. Н.— Александр Николаевич Раевский, сын Н. Н. Раевского («старшего»).— 218

<sup>224</sup> См. Басаргин, прим. 134.— 219

<sup>225</sup> Письмо М. И. Муравьева-Апостола к брату Сергею Ивановичу от 3 ноября 1824 г. было захвачено вместе с бумагами С. И. Муравьева-Апостола при его аресте. Это письмо впервые было опубликовано как в оригинале (на французском языке), так и в переводе на русский язык в «Русском архиве» (1886, № 5, с. 143—144). Впоследствии опубликовано М. В. Довнар-Запольским в книге «Мемуары декабристов», Киев, 1906 (французский текст — с. 268—272, русский перевод — с. 273—278), С. Я. Штрайхом (Декабрист М. И. Муравьев-Апостол. Воспоминания и письма, с. 79—82) и в кн. «Восстание декабристов. Материалы. Т. IX. (М., 1950), на французском языке (с. 207—210) и в русском переводе (с. 210—212). В данном издании письмо воспроизводится с его русского перевода, опубликованного в книге «Восстание декабристов», т. IX.— 219

<sup>226</sup> Николай Назарович Муравьев — родственник Муравьевых-Апостолов.— 219

<sup>227</sup> Николай Иванович Лорер (1795—1873)—майор Вятского пехотного полка, член Южного общества; был близок к П. И. Пестелю. Верховным уголовным судом осужден к 15-летней каторге и последующему пожизненному поселению в Сибири. Каторгу отбывал в Нерчинских рудниках и на Петровском заводе. В 1832 г. был обращен на поселение в г. Курган Тобольской губернии. В 1837 г. определен рядовым на Кавказ, а в 1842 г. был уволен со службы в чине прапорщика. Поселился сначала в Херсоне, а с 1851 г. получил разрешение приезжать в Москву и Петербург. Умер в Полтаве. Оставил ценные воспоминания (последняя публикация их М. В. Нечкиной в 1931 г.).— 220

<sup>228</sup> Здесь имеется в виду план выступления Южного общества в 1825 г. (так называемый «Белоцерковский заговор» 1825 г.) в связи с намечаемым «высочайшим смотром» войск. Предполагалось, что инициативу на себя возьмет Васильковская управа Южного общества во главе с С. И. Муравьевым-Апостолом и М. П. Бестужевым-Рюминым. Для ареста императора было решено использовать поставленных к нему в караул бывших солдат Семеновского полка, которые были раскассированы по полкам 2-й армии. Многие из этих солдат были связаны с членами тайного общества. План не был реализован, так как правительство по разным причинам отменило «высочайший смотр».— 220

<sup>229</sup> Речь идет, по-видимому, о взаимоотношениях С. И. Муравьева-Апостола и М. П. Бестужева-Рюмина.— 220

<sup>230</sup> Имеются в виду ежегодно собиравшиеся начиная с 1822 г. в январе на «киевских контрактах» (киевской контрактной ярмарке) съезды Южного общества. Всего состоялось четыре съезда — в 1822, 1823, 1824 и 1825 гг. На съезде 1823 г. рассматривался первоначальный вариант конституционного проекта Южного общества — «Русская правда» П. И. Пестеля — и обсуждался ряд организационных вопросов.— 220

<sup>231</sup> Имеется в виду Федор Федорович Вадковский (1800—1843)—прапорщик Нежинского конноегерского полка, член Северного и Южного обществ.— 220

<sup>232</sup> Речь идет о поездках членов Южного общества в Петербург для переговоров с руководством Северного общества: в 1823 г.—А. П. Барятинского, а весной 1824 г.—самого П. И. Пестеля.— 221

<sup>233</sup> ...писанные гипотезы...—Имеется в виду «Русская правда» П. И. Пестеля.— 221

<sup>234</sup> Раздел земель ...—Имеется в виду аграрный проект П. И. Пестеля о разделе всего земельного фонда страны на земли в частном и общественном владении. По этому проекту предполагалась для пополнения общественного земельного фонда частичная конфискация крупных помещичьих латифундий: отобрание половины земли от владений свыше 10 тыс. десятин (безвозмездно) и половины (с денежной или натуральной компенсацией) от владений менее 10 тыс., но не более 5 тыс. десятин.— 221

<sup>235</sup> У великих князей в руках дивизии...—Великий князь Николай Павлович в то время командовал 2-й гвардейской дивизией, а его брат Михаил—1-й гвардейской дивизией. Старший брат Николая и Михаила Павловичей, цесаревич Константин Павлович, в это время

командовал Литовским корпусом, являлся генерал-инспектором всей кавалерии и наместником царя в Варшаве.— 221

<sup>236</sup> Речь идет об Александре I.— 221

<sup>237</sup> М. И. Муравьев-Апостол имеет в виду поведение членов тайного общества— офицеров Семеновского полка, которые во время возмущения полка в 1820 г. не выступили на стороне солдат, хотя и сочувствовали им.— 221

<sup>238</sup> Речь идет о переговорах членов Южного общества с представителями Польского патриотического общества, в которых принимал участие и С. И. Муравьев-Апостол.

В предварительных условиях (1824 г.) русско-польского революционного союза под пунктом 2-м значилось: «Будет сделано новое начертание границ, и области, недовольно обрусевшие, чтобы душевно быть привязанными к пользе России, возвратить Польше» (ВД, т. IX, с. 63). Вполне вероятно, что М. И. Муравьев-Апостол, будучи хорошо осведомленным о ходе и содержании этих переговоров, имел в виду именно этот пункт обязательства членов Южного общества перед поляками.— 221

<sup>239</sup> Имеется в виду Алексей Петрович Юшневский (1786—1844)—генерал-интендант 2-й армии, член Южного общества и один из его «директоров» (руководителей).— 221

<sup>240</sup> Речь идет о волнении в Семеновском полку в 1820 г.— 222

<sup>241</sup> Речь идет о младших сестрах М. И. Муравьева-Апостола—Елене Ивановне (замужем за С. В. Капнистом) и Аннете Ивановне (замужем за А. Д. Хрущевым).— 222

<sup>242</sup> Речь идет о Екатерине Ивановне Бибиковой—сестре М. И. Муравьева-Апостола.— 222

<sup>243</sup> Речь идет об Ипполите Ивановиче Муравьеве-Апостоле—младшем брате М. И. Муравьева-Апостола.— 222

<sup>244</sup> Имеется в виду Иван Михайлович Бибиков—муж сестры М. И. Муравьева-Апостола Екатерины Ивановны.— 223

<sup>245</sup> *Портфель Пестеля*...—Речь идет о хранившихся в портфеле Пестеля секретных бумагах тайного общества. Власти впоследствии тщетно пытались захватить эти бумаги. Во время обыска на квартире Пестеля портфель оказался пустым, все хранившиеся в нем конспиративные бумаги были накануне сожжены.— 223

<sup>246</sup> Письмо И. Д. Якушкину—другу и однополчанину М. И. Муравьева-Апостола—впервые было напечатано в переводе с французского по копии, хранившейся в собрании П. Е. Щеголева, С. Я. Штрайхом (Декабрист М. И. Муравьев-Апостол. Воспоминания и письма, с. 83—86).— 223

<sup>247</sup> Имеется в виду сочинение И. М. Муравьева-Апостола «Путешествие по Тавриде» (СПб., 1823).— 224

<sup>248</sup> Джордж Ноэл Гордон Байрон (1788—1824)—английский поэт-романтик. В своей поэме «Паломничество Чайльда Гарольда» (1812—1818), восточных поэмах 1813—1816 гг. («Гяур», «Лара», «Корсар») вывел разочарованного индивидуалиста-бунтаря, носителя общественных умонастроений начала XIX в. («байронизм»).— 225

<sup>249</sup> Имеется в виду Михаил Яковлевич Чаадаев—младший брат П. Я. Чаадаева.— 225

## А. В. ПОДЖИО И ЕГО «ЗАПИСКИ»

Александр Викторович Поджио—автор публикуемых «Записок»—личность, безусловно, незаурядная, яркая, импульсивная. В документе Следственной комиссии о нем говорилось: «Поджио вообще является пламенным членом общества, неукротимым в словах и суждениях» (ВД, т. XI. М., 1954, с. 86).

Человек горячего темперамента, он вместе с тем легко поддавался колебаниям и сомнениям. А. В. Поджио нельзя отнести к числу негнимогаемых заговорщиков. Он неизбежно прошел через тягостное испытание следствия, внешне раскаявшись в своих действиях и

замыслах. Но позднее, в «Записках», А. В. Поджио вновь поднимается до высот подлинной дворянской революционности, граничащей у него в годы падения крепостного права с демократизмом.

А. В. Поджио интересен своей одновременной принадлежностью к Южной и Северной организациям декабристов, и он немало способствовал объединению их действий.

На следствии А. В. Поджио заявил, что имел склонность к математике и истории. Увлечение последней весьма выразительно проявилось в его «Записках», которые справедливо характеризуются как «идеологическая исповедь одного из наиболее ярких представителей буржуазного радикального крыла декабристов» (Гессен С. А. В. Поджио и его «Записки». Воспоминания и рассказы деятелей тайных обществ 1820-х годов, т. 1. М., 1931, с. 20).

Александр Викторович Поджио родился 27 апреля 1798 в г. Николаеве. Отец его, Виктор Яковлевич Поджио,— уроженец Пьемонта. В конце 70-х годов XVIII в. по приглашению адмирала Дерибаса он уехал из Италии.

В качестве волонтера В. Я. Поджио участвовал в русско-турецкой войне (1787—1791 гг.), отличился при взятии Измаила 22 декабря 1790 г., за что получил награду и чин секунд-майора. С 1783 г. жил в Одессе, где и умер 29 августа 1812 г., оставив жене Магдалине Осиповне и детям небольшое имение в с. Яновке, Чигиринского повета, Киевской губернии, и 398 душ крепостных крестьян. В семье Поджио было двое сыновей: старший— Иосиф (1792 г. рождения) и младший— Александр (оба— будущие декабристы). Старший воспитывался в Петербургском иезуитском пансионе, а младший— в Одесском училище, учрежденном дюком де Ришелье. «Сие училище относительно к наукам и получаемому в нем образованию ума и нравственности,— показывал на следствии А. В. Поджио,— было самое ничтожное. Я, 12 лет, достиг успеха моими высший класс... 13 лет, покойный родитель мой взял из института с намерением отвезти меня в пансион к иезуитам для усовершенствования моих наук; но смерть, постигшая его, воспрепятствовала сему моему назначению. До 16-го года моего я пробыл дома при матери моей, не имея уже учителей. Здесь я занимался только тем, чему учился, и потому преуспевавший в науках никаких не делал. На 16-м году отправился на службу» (ВД, т. XI, с. 36).

Военную службу А. В. Поджио начал 1 марта 1814 г. подпрапорщиком во вновь сформированном Гвардейском резерве. 27 августа того же года его перевели в лейб-гвардии Преображенский полк, который стоял в крепости Новогеоргиевской (Модлин), находящейся северо-западнее Варшавы при слиянии Вислы с Бугом и Наревом.

А. В. Поджио не был непосредственным участником Отечественной войны, но отголоски «грозы 12 года», общение с теми, кто перенес все ее тяготы, оказали на него сильное влияние.

Время своего идейного «прозрения» А. В. Поджио определяет точно. «В 1819-м году,— писал он в показаниях,— начался мой ропот, а с 1820 года мое первоначальное вольнодумство» (ВД, т. XI, с. 37; ср. с. 35). Решающим фактором идеологического поворота А. В. Поджио считал общение с членами тайного союза. «Я стал отклоняться от общества [г. е. от своего обычного окружения.— И. П.], сближаться с людьми, с мнениями и с целью тайного общества. С сим предубеждением уже взялся я за учение всего, что только мог, и тут книги возымели свое влияние над умом, получившего уже *направление*. Политическая экономия, права, одним словом, все, что касается до составления и управления общества вообще— все это я пожирал с умом жадным и любопытным. После сего перешел я к управлению государств, каждого порознь стал вникать в образ правления каждого из них, для чего и прибегнул к Делолму, Констану, Филанжеру и прочим... Обратил внимание к политике тех времен; увидел время, где дух преобразования взволновал народы. Испания, Неаполь, Пьемонт, Греция вслед одни за другими приняли образ свободного правления; с тех пор журналы с рук моих не сходили, и я с величайшим вниманием следовал до малейшего происшествия. Следовал все прения палаты депутатов во Франции и всем суждениям издателей «*Constitutionnel*» [французская газета.— И. П.], не упускал ход английского парламента, одним словом, я был в духе тогда монархического представительного правления» (там же, с. 37).

Отвечая на вопрос Следственной комиссии, А. В. Поджио рассказывает о своих встречах и связях с декабристами: «Еще с 1820-го года я бывал в сношениях с полковниками

Шиповыми, у которых я встречался с Никитой и Сергеем Муравьевыми, с Чедаяевым [Чаадаевым.— И. П.]. Не говоря о обществе, говорили часто о правительстве. Я довольно понимал цель разговоров, хотя никем из них не был принят в общество. В 1821-м году я встретился с Луниным в Бельмонте, где он тогда проживал. Так как вышепоясненные лица были ему из родных и коротких друзей, то коснувшись к ним, коснулись и к образу мыслей их и нашего собственного. П. Шипов (речь идет о И. П. Шипове.— И. П.) до того мне говорил там же, что он его знал как весьма свободомыслящего и весьма умного человека. Все это меня с ним сблизило, а дней несколько спустя мне Шипов предложил, не хочу ли я вступить как членом в общество. Я на то скоро, то есть сейчас же, согласился, будучи еще прежде к тому склонным, и приехав вместе к Лунину, он, Шипов, о мне Лунину говорил. Лунин сказал, что он очень рад, поедет в Петербург и внесет меня в книгу, после чего я буду признан членом общества. Не помню, при Шипове или без него, говорили о мерах и цели общества, не помню именно, как свое ли мнение или целью общества, он мне говорил о покушении на жизнь покойного государя, но я с сим согласен был...» (там же, с. 81<sup>а</sup>—82).

По возвращении из Петербурга, куда Лунин ездил для получения назначения, он не виделся более с А. В. Поджио. «Таким образом,—показывал последний на следствии,—я остался, не зная и поднесь, включено ли было мое имя в Зеленую книгу» (там же, с. 82).

Из показания Поджио следует, что И. П. Шипов и М. С. Лунин, не получив информации о решении Московского съезда, собирались в апреле—мае 1821 г., во время учения гвардии в западных губерниях, принять А. В. Поджио в Союз благоденствия. Но формальный самороспуск этой декабристской организации не позволил выполнить задуманное. Подготавливая А. В. Поджио к приему в тайное общество, М. С. Лунин рассказал ему о предшествующей конспиративной деятельности, в том числе о «Московском заговоре» осенью 1817 г. членом Союза спасения.

Условный прием А. В. Поджио в Союз благоденствия способствовал последующему приобщению молодого вольнодумца к декабристскому движению. В период организационного оформления Северного общества один из его основателей—Н. М. Муравьев—явно рассматривал А. В. Поджио как человека, достойного быть членом нового конспиративного союза. Об этом свидетельствует поручение, которое Н. Муравьев дал ему, по всей видимости, летом 1823 г., написать устав тайной организации. Однако А. В. Поджио вступил официально не в Северное, а в Южное общество. «В 1823-м году,—писал он на следствии,—проезжая через Киев, я остановился в доме Василия Давыдова по старому моему с ним знакомству. Я имел поручение от Никиты Муравьева вручить ему или одному из Муравьевых конверт под фальшивым адресом для доставления к Пестелю. Сим подав мне сомнение и на любопытство мое открыли они мне соединение их для достижения цели... Тут я был принят Давыдовым и Муравьевым и общал им свое содействие. Побудило меня взойти в их общество связь моя прежняя с ними и убеждение тогда мое в необходимости участвовать в предприятии даровать свободу и права народу нашему» (там же, с. 47—48).

Вступление А. В. Поджио в Южное общество, которое состоялось в конце января—начале февраля 1823 г., когда он был в отпуске, привело его «в самое воспалительное положение» (там же, с. 81). На него «возложено было привести петербургскую управу к возобновлению и содействию поспешному» (там же, с. 40). А. В. Поджио очень энергично взялся за порученное дело. Тем более что руководители Северного общества, не оформив официально А. В. Поджио в рядах своей организации, все же считали его «северянином», отсюда, кстати, и предложение Н. Муравьева написать устав тайной организации. Сам А. В. Поджио также полагал, что имеет прямое отношение к Северному обществу, и считал себя вправе даже принять в него своего сослуживца по Преображенскому полку поручика В. М. Голицына.

Итак, «южане» и «северяне» видели в А. В. Поджио своего товарища по обществу. Однако самому А. В. Поджио все же больше импонировали активная деятельность и республиканизм П. И. Пестеля и его соратников. Видимо, подспудно зреющее намерение перебраться на юг, «в родные места», окрепло в связи с неудачей его проекта устава Северной организации. Проект устава, написанный А. В. Поджио, не удовлетворил «северян».

Одни считали его повторением «правил» Союза благоденствия, другие находили

неполным. Общим недостатком проекта была «недостаточная четкость политических формулировок» (Азадовский М. К. Затерянные и утраченные произведения декабристов.— «Литературное наследство», т. 59. М., 1954, с. 643).

В декабре 1823 г. А. В. Поджио, оставив в качестве эmissара южан в Петербурге М. И. Муравьева-Апостола, выехал в Киев к месту новой службы и на встречу с Пестелем, имея к нему бумаги от Никиты Муравьева. Однако в дороге А. В. Поджио заболел и добрался до места назначения только 26 января, не застав уже Пестеля в Киеве. В отсутствие руководителя «южан» А. В. Поджио сообщил А. П. Юшневскому, как второму директору общества, и находившимся в Киеве В. Л. Давыдову, С. И. Муравьеву-Апостолу, С. Г. Волконскому и М. П. Бестужеву-Рюмину свое мнение относительно состояния дел в Петербурге. На вопрос Юшневского— «какая же цель общества?»— А. В. Поджио сказал: «Мнение разделено...—иные хотят республику с покушением на жизнь всей царской фамилии, а... другие ... отвергнули республику» (ВД, т. XI, с. 74). А. В. Поджио особо настаивал на том, чтобы сменили Никиту Муравьева, который, как руководитель организации, по убеждению А. В. Поджио, бездействовал.

Получив назначение в Днепровский полк 18-й пехотной дивизии, А. В. Поджио естественно вошел в ряды Каменской управы, во главе которой стояли генерал С. Г. Волконский и полковник в отставке В. Л. Давыдов.

А. В. Поджио становится заметной фигурой в Южном обществе. Горячий, исполненный решительной готовности на самые отчаянные поступки, он привлек к себе внимание Пестеля. Мало с кем вождь «южан» был так откровенен, как с А. В. Поджио. Известен их разговор, который в идейном смысле оказался для А. В. Поджио кульминационной точкой его политического радикализма. Разговор этот состоялся в сентябре 1824 г. в Линцах, на армейских учениях, т. е. уже после Петербургского совещания Пестеля с руководителями Северного общества.

Пестель, обосновав все отрицательные стороны монархического правления, ввел А. В. Поджио «в свою республику», основанную на народном представительстве, и добился от своего собеседника ее признания. Позднее речь зашла о цареубийстве как средстве достижения поставленной политической цели, а также о других сторонах тактического решения государственного переворота. Пестель насчитал тринадцать членов императорской фамилии, которых в интересах революционного переворота следовало лишить жизни. И А. В. Поджио, хотя и ужаснулся при этом перечне, согласился с Пестелем. Для осуществления этого акта, который Пестель назвал «заговором», необходимо было создать специальный отряд цареубийц. Пройдет немного времени—и Поджио заявит М. П. Бестужеву-Рюмину, что «готов быть одним из заговорщиков», проявив тем самым, по словам молодого руководителя Васильковской управы, «характер истинно римский» (там же, с. 55).

В разговоре Пестеля с А. В. Поджио был затронут вопрос о временном верховном правлении, о его составе, а также о министерствах. «Пестель,—показывал А. В. Поджио на следствии,—мне читал отрывки Русской правды в 1824-м году при начале его сочинения. Помню, читал мне статью о разделе земель и вольности мужиков, составление волостей общественных, что занимало его более всего, как он мне говорил» (там же, с. 49).

Пестель рекомендовал А. В. Поджио «обработать» Майбороду, Лорера и Старосельского, а также узнать, проезжая через Орел, что за волнения произошли там в Екатеринославском кирасирском полку, и, если возможно, основать Восточную управу и возглавить ее.

Однако А. В. Поджио «мимоездом через Орел ни с кем не виделся и потому ничего не сделал» (там же, с. 78).

Пережив после встречи с Пестелем в Линцах взлет революционных настроений, А. В. Поджио вскоре оказывается во власти разочарований, следствием чего явилось его решение выйти в отставку. В ответ на официальное прошение, поданное в декабре 1824 г., 31 марта 1825 г. А. В. Поджио был «по домашним обстоятельствам уволен от службы подполковником» (там же, с. 32—33). Однако он не прерывал связей с тайным обществом. В январе—феврале 1825 г. он присутствует на очередном контрактном съезде «южан» и вновь встречается с Пестелем. Вождь «южан» выразил свое неудовольствие по поводу решения А. В. Поджио выйти в отставку. А. В. Поджио узнал о переговорах с представителем Польского патриотического общества князем Яблоновским. На следствии А. В. Поджио

признался: «...при прощании моем с Пестелем я ему говорил, я всегда буду вашей партии и если я вам нужен буду, то напишите мне два слова» (там же, с. 79).

Лето 1825 г. А. В. Поджио намеревался провести на Кавказе. Ранее, в апреле месяце, в Киеве состоялась его встреча с М. И. Муравьевым-Апостолом, который просил его разузнать о грузинском тайном обществе. «После того в мае месяце,— показывал А. В. Поджио,—отправился я на Кавказ, где более удостоверился, что общества там не существовало никакого—ибо сколько я там ни видел людей, сего в них не замечал, кроме приверженности невероятной почти к генералу от артиллерии Ермолову,—но сие не есть к тому заключение» (там же, с. 79).

В конце сентября 1825 г. А. В. Поджио возвращается с Кавказа и попадает в накаленную и тревожную обстановку. Над заговорщиками сгустились тучи. Повышенный интерес к членам Южного общества, проявленный начальником южных военных поселений генералом Виттом, насторожил Пестеля. Были и другие настораживающие сигналы относительно обнаружения правительством тайной организации. Роковой удар не заставил себя ждать, хотя события, ускорившие его, были, конечно же, непредвиденными. В ноябре 1825 г. в Таганроге неожиданно скончался Александр I. Сложилась ситуация междоусобицы—при двух возможных претендентах на престол, великих князьях Константине и Николае,—не было законного царя. И на Юге и на Севере началась напряженная работа по мобилизации революционных сил. Правда, в начале декабря 1825 г. Пестель через Давыдова «объявил решение управы не начинать ничего, если в Петербурге не приступит общество к действию» (там же, с. 79). Правительство опередило «южан». 13 декабря 1825 г. был арестован Пестель, а вслед за ним—Юшневский и Барятинский, возглавлявший в последнее время Тульчинскую управу. Правое общество оказалось обезглавленным. В этот критический момент только руководители Васильковской управы и А. В. Поджио предпринимали смелые попытки перейти к решительным действиям. С. И. Муравьев-Апостол возглавил восстание Черниговского полка. А. В. Поджио через С. Г. Волконского пытался «возмутить» 19-ю пехотную дивизию. «21-го числа декабря,—рассказывал А. В. Поджио на следствии по этому поводу,—приехал я к генералу Давыдову на званый обед. Здесь находились Давыдов, Лихарев и Янтальцев. Давыдов первый объявил мне о приезде Волконского с известием о арестовании Пестеля, Юшневского, Крюкова и сослании князя Барятинского под арестом к генералу от инфантерии Сабанееву. Час спустя прибыл туда и Янтальцев, которого Волконский застал в Болтышке. Сей подтвердил выше сказанное Давыдовым, с добавлением, что общество все открыто с именованьем 80 членов оного [...] [разговоры] клонились о неизбежной нашей гибели и о сожалении нашем о Пестеле. Янтальцев особенно жалел Юшневского. После обеда сейчас все развлеклись всякой к себе для сожжения бумаг иных—важных ни у кого не было, сие я знаю. Приехав домой и вспомнив обещание мое ехать к Муравьеву, я хотел иметь достоверное решение о намерении Южной управы. В сем намерении писал я письмо к князю Волконскому, где, говоря ему, что гибель наша неизбежна при открытии общества, посягнувши на такую цель, что казни ожидают всех, когда в такое время гонения начались, убеждал его с средствами, им имеющими, спасти Пестеля [...] 22-го числа прочел я сие письмо брату моему, который убеждал меня оставить его, но я с письмом отправился к Янтальцеву [...] Ответ известный сказал мне Янтальцев: как вы к князю сие пишете, вы знаете его, он действовать не будет [...] Я Янтальцеву прочел письмо, также и записку особенную, в которой заключил предприятие в случае действия Южной управы, мне Пестелем объявленное еще в 24-м году, в бытность мою у него. То есть двинуться с успевшими к тому склониться полками 19-й пехотной дивизии, полагая присутствие князя Волконского, мое и капитана Фохта достаточным к склонению полков 1-й бригады, а что за ней последуют и другие, соединить с стоящим смежно Вятским полком и, сделав нападение на Тульчин, арестовать главные лица Главной квартиры 2-й армии. Я говорил Янтальцеву, чтобы он сие напомнил князю, которому, верно, Пестель сие сообщал...» (там же, с. 58—59).

23 декабря А. В. Поджио вновь приехал к Давыдову, где застал своего брата и подпоручика Лихарева, которому прочел копию письма к Волконскому. А. В. Поджио послал за подорожной, чтобы ехать к С. И. Муравьеву-Апостолу. Время шло, а Волконский молчал. Наконец, 26-го декабря Янтальцев передал ему слова самого Волконского, «что он

ничего не станет делать [...] Тут убеждения брата и собственно мои остановили меня, и я решился никуда не ехать и ожидать участи своей у себя в деревне» (там же, с. 61). Лишенная поддержки революционная решимость А. В. Поджо была исчерпана. А ведь в пылу возбуждения он говорил о своем намерении поехать в Петербург в случае, если на Юге не решатся действовать, и совершить цареубийство.

3 января 1826 г. А. В. Поджо был арестован в своем поместье, д. Яновке, генерал-майором Набелем, который при этом сказал, «что дело кончено Муравьева» (там же, с. 63), имея в виду подавление восстания Черниговского полка правительственными войсками. В тот же день из г. Звенигородка А. В. Поджо под конвоем повезли в Петербург, куда он прибыл 11 января и по распоряжению дежурного генерала был «отправлен к генерал-адъютанту Башуцкому для содержания под арестом на Главной гауптвахте» (ЦГВИА, ф. 35, оп. 9, д. 92). 12 января он был заключен в Петропавловскую крепость. Начался тюремно-следственный период его жизни.

Во время политического процесса А. В. Поджо избрал довольно своеобразную линию поведения и самозащиты. Возможно, его тактика была следствием грубого вмешательства царя в ход дознания.

Учитывая создавшуюся обстановку, А. В. Поджо не запирался, был в отношении себя предельно откровенен, полагая, видимо, таким образом создать у Следственной комиссии впечатление о своем полном раскаянии. Он неоднократно писал пояснительные и саморазоблачительные письма генералу Левашеву. В конце концов А. В. Поджо добился своей цели, но излишней откровенностью усугубил и без того тяжелое положение Пестеля и С. И. Муравьева-Апостола. В официальной записке Следственного комитета в разделе «Обстоятельства, принадлежащие к ослаблению вины» говорится: «Готовность при первых допросах раскрыть все известное ему, Поджо, и раскаяние в поступках его» (ВД, т. XI, с. 88). Тем не менее А. В. Поджо был отнесен к I-му разряду и по конфирмации приговора царем 10 июля 1826 г. осужден на каторжную работу навечно. По коронационному манифесту Николая I от 22 августа 1826 г. срок каторжных работ был сокращен до 20 лет.

После объявления приговора осужденных на каторжные работы рассредоточили до отправки в Сибирь мелкими группами по разным тюрьмам (Шлиссельбург, Динабург, Выборг, Кексгольм, Свеаборг, Бобруйск и др.). А. В. Поджо был отправлен 27 июля 1826 г. в Кексгольм вместе с Ф. Вадковским, В. Кюхельбекером, Барятинским, Горбачевским.

12 октября 1827 г. А. В. Поджо вместе с И. И. Пушным и П. А. Мухановым отправился в дальний путь к месту сибирской каторги. 25 октября А. В. Поджо с товарищами в Кунгуре догнал группу Якушкина, Тютчева, Арбузова. «Мы ехали все шестеро вместе около двух суток,—вспоминал впоследствии И. Д. Якушкин,—потом наш фельдъегерь, добрый Миллер, увез нас троих вперед...» (Записки, статьи, письма декабриста И. Д. Якушкина. М., 1951, с. 97). 24 ноября группы прибыли в Иркутск, а 15 декабря 1827 г.—к месту назначения в Читу, где уже находилось 76 человек.

В соответствии с высочайшим распоряжением декабристы содержались «во всех отношениях по установленному каторжному положению». Ежедневно их водили на работу, которую они проделывали, имея постоянно на руках и ногах кандалы. Кормили заключенных скудно и однообразно. «Обед приносили к нам,—писал впоследствии Н. И. Лорер,—на носилках, очень грязных, на которых, вероятно, навоз выносили когда-то...» (Записки декабриста Н. И. Лорера. М., 1931, с. 135).

После выполнения работ, когда имелось свободное время, А. В. Поджо учил своих товарищей по заключению итальянскому языку. Получив в 1828 г. разрешение иметь огород, многие из декабристов с увлечением занялись выращиванием овощей. В Забайкалье местное население сажало тогда только капусту и лук. «А. В. Поджо первый,—писал А. Е. Розен,—возрастил в огороде нашего острога огурцы на простых грядках, а арбузы, дыни, спаржу и цветную капусту и кольраби—в парниках, прислоненных к южной стене. Жители с тех пор с удовольствием стали сажать огурцы и употреблять их в пищу» (Розен А. Е. Записки декабриста. СПб., 1907, с. 149).

В Чите декабристы прожили до начала августа 1830 г., когда пешим ходом двинулись в Петровский завод, где для них была выстроена специальная тюрьма.

Осужденным по I-му разряду, к которым принадлежал А. В. Поджо, дважды (4



февраля 1828 г. и 8 ноября 1832 г.) сокращали сроки каторжных работ (сначала до 15, а затем до 13 лет). 10 июля 1839 г. А. В. Поджио направился на жительство в маленькую деревушку Усть-Куда, расположенную в 23 верстах от г. Иркутска, недалеко от Ангартского тракта, при впадении реки Куды в Ангару. Выбор им места поселения был неслучайным. С 1834 г. в Усть-Куде жил его старший брат Иосиф, осужденный по 4-му разряду и просидевший 8 лет в Шлиссельбургской крепости.

После смерти брата 8 января 1848 г. в Иркутске А. В. Поджио особенно остро почувствовал одиночество, и все же его деятельная, кипучая натура восторжествовала. Не располагая средствами и не имея материальной поддержки от родственников, А. В. Поджио вынужден был своим трудом зарабатывать на жизнь. Он воспользовался правом получить при выходе на поселение 15 десятин земли в качестве душевого надела. По свидетельству Н. А. Белоголового, А. В. Поджио «с большими заботами выращивал всякую редкую в Сибири зелень и особенно ухаживал за дынями и канталупами, которыми очень гордился» (Белоголовый Н. А. Воспоминания и другие статьи. М., 1901, с. 45—46). Кроме того, А. В. Поджио имел под покос луг, известный под названием «Выгородки», в 2—3 верстах от деревни на р. Куде.

В 1851 г. в жизни А. В. Поджио «произошла капитальная перемена... он женился на классной даме иркутского девичьего института Ларисе Андреевне Смирновой, девушке лет 26-ти, урожденной москвичке и без всякого состояния, но чрезвычайно доброй, и эта доброта и большой здравый смысл сглаживали разницу, которая была заметна в образовании, вкусах и самих натурах обоих супругов, и сделали брак этот счастливым» (там же, с. 66). В конце октября 1854 г. родилась дочь, которую назвали Варей. В дом много пережившего человека пришла радость, но вместе с тем необходимо было найти «новые источники доходов для удовлетворения самых скромных потребностей своей жизни» (там же). Поддавшись весьма распространенному влечению, Поджио решил заняться золотоискательством. Но он не был удачлив в поисках, хотя истратил на них все свои весьма ограниченные средства. В нужде, среди разных тягот, А. В. Поджио не терял интереса к жизни, к политическим событиям в России и Европе. Сын декабриста Е. И. Якушкин писал жене 10 декабря 1855 г.: «Поджио [...] — итальянец, сохранивший весь жар и все убеждения юношества. Эта пылкость в человеке уже пожилым имеет какую-то особенную прелесть, но грустно становится, когда подумаешь, что такая энергия уже тридцать лет стеснена тюрьмой и ссылкой. Сколько бы пользы она могла принести, ежели бы ей был дан простор» (Декабристы на поселении. М., 1926, с. 53—54).

С горячностью и настойчивостью А. В. Поджио брался за любую деятельность. Много времени и сил отдавал он педагогическим занятиям. Одним из его учеников был известный впоследствии хирург и общественный деятель Николай Андреевич Белоголовый (1834—1895), в жизни которого А. В. Поджио «играл роль второго отца».

Узнав об амнистии в связи с коронацией 26 августа 1856 г. Александра II, А. В. Поджио первое время не хотел расставаться с Сибирью. Однако вскоре он приходит к мысли, «что в Иркутске уроками нельзя добыть порядочного куса хлеба, а тем менее обеспечить жену и ребенка на случай своей смерти. В это время он получил от старшего своего племянника А. О. Поджио [...] предложение переехать к нему в петербургское имение, где ему представлялись и спокойное доживание своего века и материальное довольство для семьи ... Александр Викторович, не видя перед собой другого выхода, решил принять это предложение» (Белоголовый Н. А. Указ. соч., с. 76—77).

2 мая 1859 г. А. В. Поджио с женой и дочерью выехали из Иркутска и в июне были в Москве. Пробыв здесь недолго, А. В. Поджио направляется в Петербург и по пути заезжает в Тверь, чтобы навестить М. И. Муравьева-Апостола.

Из Петербурга семья А. В. Поджио переехала на жительство в имение племянника, находившееся в Торопецком уезде Псковской губернии, где А. В. Поджио рассчитывал найти «покой и отдохновение от своей скитальческой жизни [...] Но его ждало разочарование» (там же, с. 86). Между ним и племянником, человеком сухим, расчетливым, воспитанным в консервативных убеждениях, не было ничего общего. А. В. Поджио с семьей «поселили в мрачных, темных комнатах небольшого флигеля», и хозяева имения «давали ему постоянно и в разных мелочах чувствовать, что его содержат, как бедного родственника, на хлебах из

милости. Вот этого-то унижения и постоянных оскорбительных уколов не мог он вынести» (там же, с. 86—87).

После решительного объяснения с племянником Поджио покидает «негостеприимный кров, прожив в нем всего-навсего несколько месяцев» (там же, с. 87). А. В. Поджио снова едет в Москву в поисках средств к существованию. У него даже возникла мысль вернуться в Сибирь. 19 декабря 1859 г. М. И. Муравьев-Апостол сообщил Е. И. Якушкину из Москвы: «Поджио возвращается в Иркутск» (ЦГАОР, ф. 279, оп. 1, д. 601, л. 8). Однако в это время разбогатевший иркутский знакомый А. В. Поджио К. Я. Дараган предложил ему место управляющего в подмосковном имении Никольском. А. В. Поджио согласился, и отъезд в Иркутск не состоялся. Правда, удовлетворения от своей новой должности он не получил. Обреченный на безделье в усадьбе Дарагана, А. В. Поджио тяготился своим положением. Ко всему добавилась болезнь—острое воспаление почек. Получив разрешение от нового генерал-губернатора древней столицы П. А. Тучкова, сменившего печально известного А. А. Закревского, приезжать для лечения в Москву, А. В. Поджио зимой 1860/61 г. неоднократно им пользовался. Судя по письму М. И. Муравьева-Апостола Е. И. Якушкину от 10 мая 1861 г., А. В. Поджио в это время снова решает вернуться в Сибирь, «чтобы заняться каким-то промыслом» (ЦГАОР, ф. 279, оп. 1, д. 601, л. 100б).

Посвященный в тяжелое положение А. В. Поджио и зная его настроения, Н. А. Белоголовый, встретившись в июне 1861 г. в Париже с Герценом, рассказал ему обо всем. 16 июля 1861 г. в разделе «Смесь» 103-го листа «Колокола» появилась заметка под названием «А. В. Поджио и его племянники», в которой говорилось: «Известный декабрист Александр Викторович Поджио, по возвращении из Сибири, нашел свое имение в руках родных племянников Александра и Льва Осиповичей, весьма богатых помещиков. Они не возвратили старцу его имения, стоящего не больше 35 000 рублей, и он, обремененный семьей, остался без средств. Если племянники не опровергнут этого, то имя их не должно забыться в наших летописях» (Герцен А. И. Т. XV, с. 229). Незадачливые племянники были весьма сконфужены гласным разоблачением их скаредности и жестокости и вернули А. В. Поджио небольшую часть наследственного капитала в сумме 15 000 руб.

Несмотря на преклонный возраст, А. В. Поджио хотелось принять посильное участие в деле освобождения крестьян. 24 сентября 1861 г. М. И. Муравьев-Апостол писал Е. И. Якушкину: «Поджио оставил намерение ехать в Сибирь с целью золотоискательства и взял в аренду имение Молчановых в 50-ти верстах от Москвы» (ЦГАОР, ф. 279, оп. 1, д. 601, л. 16—160б). Имение находилось в селе Шуколово Дмитровского уезда. Владелец имения, малолетний Молчанов, был внуком С. Г. Волконского. Его мать Елена Сергеевна, в замужестве Кочубей, «как опекушка попросила Поджио взять на себя нелегкий труд управлять этим имением на [...] переходное время, с тем, чтобы составить и ввести уставные грамоты... Поджио с величайшей готовностью принял это предложение: забыв о болезни и забрав семью, он осенью того же 1861 г. переселился из Никольского в уединенное и захолустное Шуколово. С пылом молодого человека и в то же время с сознательным благоговением старца, призванного на склоне своей жизни к осуществлению заветных идеалов всей этой длинной жизни, принялся он за изучение положения, за старательное ознакомление с местными условиями, боролся с поднимавшимися на каждом шагу препятствиями, недоверием к себе бывших рабов, но не падал духом и бодро старался привести дело к удовлетворительному концу» (Белоголовый Н. А. Указ. соч., с. 94).

В конце марта 1863 г. у А. В. Поджио побывал Н. А. Белоголовый. Его поразили неблагоприятные условия жизни беспокойного управляющего. Но это не помешало последнему успешно завершить составление уставной грамоты. Осенью 1863 г. А. В. Поджио вместе с женой и дочерью едет в Италию в качестве сопровождающего семью Елены Сергеевны, муж и сын которой, будучи тяжело больными, нуждались в лечении. Позднее А. В. Поджио принимает решение переселиться в Швейцарию для лечения и для того, чтобы дать приличное образование своей дочери. Об этом он написал 12 августа 1864 г. Н. А. Белоголовому в Иркутск.

В январе 1865 г. в Женеве состоялась встреча А. В. Поджио с Герценом. В письме Н. П. Огареву Герцен так описал ее: «Часов в 11 [...] явился старец с необыкновенным, величаво энергическим видом. Мне сердце сказало, что это кто-то из декабристов. Я

посмотрел на него и, схватив за руки, сказал: «Я видел ваш портрет». — «Я Поджио» ... Этот сохранился еще энергичнее Волконского (который при смерти, болен). Господи, что за кряж людей! Иду сейчас к нему» (Герцен А. И. Т. XXVIII, с. 8). По авторитетному свидетельству Н. А. Белоголового, «отношения между Герценом и Поджио с первой встречи установились самые теплые и естественные, основанные на взаимном уважении. Герцен встретил Поджио с тем восторженным почетом и увлечением, на какие способна была его страстная натура. Со своей стороны Поджио слишком высоко ценил громадный публицистический талант Герцена, чтобы не отозваться горячо на это сближение» (Белоголовый Н. А. Указ. соч., с. 117—118).

О самом уважительном и сердечном отношении Герцена к А. В. Поджио говорит дарственная надпись, сделанная Искандером на книге, подаренной дочери декабриста Варе, гласившая: «От одного глубокого, глубокого почитателя вашего отца в знак памяти о Жене» (Герцен А. И. Т. XXVIII, с. 263).

Примерно за месяц до смерти А. В. Поджио вернулся в Россию. Умер он 6 июня 1873 г. в доме С. Г. Волконского в с. Воронках Черниговской губернии и похоронен рядом с самыми близкими ему друзьями — владельцем имения и его женой М. Н. Волконской.

Перу А. В. Поджио принадлежат весьма оригинальные «Записки», первые сведения о которых сообщил Н. А. Белоголовый — его ученик-воспитанник. «После смерти Поджио, — читаем в воспоминаниях Н. А. Белоголового, — я получил от семьи его несколько тетрадок, найденных в его вещах. Очевидно, он хотел набросать свои записки о процессе декабристов, но мысль эта возникла у него поздно, за год или за два до смерти, судя по неразборчивости почерка; он остановился в самом начале ее осуществления, и хотя найденная рукопись не представляет ничего цельного и законченного, я счел не лишним поместить ее в заключение моих воспоминаний, чтобы дать читателю возможность самому познаться более непосредственно с личностью этого старого декабриста» (Белоголовый Н. А. Указ. соч., с. 155). Воспоминания Н. А. Белоголового увидели свет уже после смерти автора, вначале в выдержках («Вестник Европы», 1896, № 11), а затем в 1897, 1898 и 1901 гг. в отдельных изданиях. Но текст «Записок» А. В. Поджио в них отсутствовал, видимо, из-за цензурных препятствий.

Дочь декабриста Варвара Александровна, до того как они с матерью передали Н. А. Белоголовому подлинник «Записок» А. В. Поджио, по всей видимости, сняла с них копию. Впоследствии она была кем-то разборчиво переписана, и этот вариант в качестве дарственного попал через Е. С. Некрасову — известную собирательницу мемуарного и эпистолярного наследия деятелей XIX в. — в рукописное собрание Румянцевского музея (ныне рукописный отдел Государственной публичной библиотеки СССР им. В. И. Ленина). На вставном листе, предворяющем текст «Записок», рукой Е. С. Некрасовой написано: «Неоконченные записки декабриста А. Поджио, пожертвованные «в команду людей 40-х годов» его дочерью Варварой Александровной, в замужестве Высоцкой, живущей во Флоренции... «Записки» писаны для немногих, а не для печати. Автор не смирился и после Сибири, как прочие декабристы, — он по возвращении из Сибири (в особенности в этих «Записках») выступает еще более горячим поборником свободы и человеческих прав, чем был ранее [...]» (РОЛБ, ОР, п. 59, № 6, л. 1).

К тексту «Записок» была написана В. А. Поджио (Высоцкой) вступительная заметка следующего содержания: «Скоро минет 4 года, как умер один из декабристов Александр Викторович Поджио. Случай доставил нам в руки тетрадь его «Записок», писанных в самые последние годы его жизни и представляющих, очевидно, начало труда, задуманного по весьма широкому плану. Мы были одно время в нерешительности, печатать ли эти скорее наброски отрывистые, не представляющие фактического интереса для дела декабристов и притом не представляющие труда законченного. Но с другой стороны, мы считаем себя не вправе уничтожить их или держать под спудом. Несмотря на свою отрывочность, записки своей, так сказать, субъективностью представляют большой интерес, обрисовывая до некоторой степени столь симпатичный русскому обществу тип декабриста с его воззрениями и политической программой; читая их, нужно помнить, что это писал человек, вынесший 30-летние преследования правительства Николая, и писал их, будучи уже 70-летним старцем. Но кроме этого интереса общего, побуждавшего нас печатать, был еще, если можно так

выразиться, интерес частный, который нас обязывал к тому. Личность Александра Викторовича была обаятельная; все, кому выпадало счастье с ним встретиться, невольно попадали под обаяние, которое вызывал этот характер, живой, страстный, горячо отзывавшийся на все прекрасное и в то же время отличавшийся большой терпеливостью даже в 70 лет, когда физические страдания уже значительно подрывали его силы. Это редкое сочетание симпатичных свойств характера Александра Викторовича делало то, что у него было много друзей и еще больше поклонников—и в отношении этих-то друзей и поклонников было бы с нашей стороны большой несправедливостью не напечатать рукопись и этим лишить их этих загробных записок, при чтении которых местами образ покойного рисуется как живой с его страстной фразировкой и складом речи» (там же, л. 11—11об).

Приведенный текст не поднимает полностью завесы над историей создания «Записок». Вместе с тем В. А. Поджио (Высоцкая) сообщает ценные сведения о времени написания «Записок» (последние годы жизни А. В. Поджио), о широких планах мемуариста, которые оказались нереализованными. Неслучайно последние страницы из дошедшего до нас текста «Записок» представляют собой неразвернутые фрагменты, намечавшие сюжетно-тематическое развитие дальнейшего повествования. Поскольку «Записки», по всей видимости, писались за границей и уже после неоднократных встреч с Герценом, возникает предположение о том, что последний и натолкнул А. В. Поджио на мысль рассказать о себе и об эпохе.

«Записки» позволяют представить взгляды А. В. Поджио после 14 декабря 1825 г. и в особенности в годы подготовки и проведения крестьянской реформы. Если исходить из содержания «Записок», то очевидно, что у А. В. Поджио не было целостной, законченной политической концепции. В его суждениях о Петре I, о русском народе, у которого якобы отсутствуют революционные задатки, звучат славянофильские интонации, а в критическом отношении к Западу проскальзывает влияние Герцена.

Последнее обстоятельство, кстати, не должно затушевывать идейных противоречий между Герценом и А. В. Поджио. Главная линия их расхождений определялась тем, что Герцен был «крайним радикалом», по терминологии людей второй половины XIX в., или революционным демократом, и уповал на кардинальную ломку существовавшего строя, а А. В. Поджио «все надежды возлагал на добрую волю правительства, думая, что оно, в последовательном ходе собственных реформ, само неизбежно придет к сознанию необходимости дальнейших реформ, если только никто ему не будет в том мешать; а такими помехами Поджио считал все нараставшие противодействия как со стороны реакционной партии, так и со стороны радикальной печати, подпольной и заграничной, а стало быть, в том числе и «Колокола»; он находил также несвоевременным восстание в Польше и непрерывное брожение среди учащейся молодежи, (Белоголовый Н. А. Указ. соч., с. 11).

Таким образом, А. В. Поджио в своих политических симпатиях и антипатиях выступал как либерал-демократ, что естественно отразилось на содержании «Записок». Последние отмечены обличительной заостренностью в оценке царствования Николая I и достаточно лояльным отношением к реформаторским потугам Александра II.

А. В. Поджио настойчиво подчеркивал, что главной целью деятельности декабристов было освобождение крестьян.

Приветствуя реформу 1861 г., он с горечью констатировал, что и после нее «рабство еще в полном, подземном разгаре».

Весьма характерным для «Записок» А. В. Поджио является акцентация на верности идеалам юности, которая окрепла в тюрьме. Эти идеалы, эволюционируя со временем, не менялись в основе.

Исходя из того, что русское общество не готово к политической самостоятельности, А. В. Поджио видел единственное средство достижения цели в создании общественного мнения.

Взгляды и практическая деятельность А. В. Поджио после амнистии обнаруживают сложность процесса приобщения дворянских революционеров к демократической идеологии. Полного слияния так и не произошло. Но определенные освободительные традиции, заложенные декабристами, способствовали политическому прозрению русского общества в годы первой революционной ситуации.

Вводная заметка дочери мемуариста, датируемая 1877 г., дает основание предполагать, что именно тогда впервые подготавливалось издание «Записок». Но оно не было осуществлено. Не удалось опубликовать «Записки» и в 1890 г., когда, вероятно, вторично встал вопрос об их издании. Обе эти попытки потерпели неудачу, скорее всего, из-за цензурных препон.

После смерти Н. А. Белоголового (1895 г.) находившийся в его бумагах авторский экземпляр «Записок» А. В. Поджио оказался утраченным. Поэтому первая публикация их, осуществленная А. И. Яковлевым в 1913 г. («Голос минувшего», кн. I—III), явилась воспроизведением копии, подаренной Е. С. Некрасовой Рукописному отделу Румянцевского музея. В 1930 г. с той же копии «Записки» А. В. Поджио были напечатаны в издательстве «Молодая гвардия» отдельной книжкой. Первые два издания страдают серьезными погрешностями, являющимися следствием небрежного и невнимательного прочтения текста.

В 1931 г. «Записки» А. В. Поджио, квалифицированно подготовленные С. Я. Гессеном, были включены в первый том «Воспоминаний и рассказов деятелей тайных обществ 1820-х годов». В настоящем издании в сокращении воспроизводится этот текст «Записок», сверенный составителем с писарской копией, принадлежавшей В. А. Поджио (Высоцкой). Статья «А. В. Поджио и его «Записки» написана И. В. Порохом. Комментарии к тексту «Записок» А. В. Поджио составлены И. В. Порохом при участии Вас. И. Пороха.

\* \* \*

<sup>1</sup> Осип Михайлович *Рибас* (Дерибас) (1749—1800)—адмирал русского флота; выходец из Италии (родился в Неаполе). По приглашению графа А. Г. Орлова-Чесменского в 1772 г. прибыл в Россию и поступил на службу в Черноморский флот. Командовал Мариупольским полком (1780 г.). Отличился во время русско-турецкой войны 1787—1791 гг. При его непосредственном участии были взяты крепости Березанская и Хаджибей, на месте которой по проекту Рибаса была заложена Одесса. В честь его главная улица города была названа «Дерибасовской». При Павле I управлял Лесным департаментом; составил проект укрепления Кронштадта.— 229

<sup>2</sup> Алексей Григорьевич *Орлов* (1737—1807)—активный участник дворцового переворота 1762 г., приведшего к власти Екатерину II; фаворит Екатерины II. Во время войны России против Турции 1769—1774 гг. командовал русской эскадрой в Средиземном море. За победы в сражениях у Наварина и Чесмы (1770 г.) получил титул князя Чесменского. При Павле I попал в опалу и жил за границей. Вернулся в Россию в 1801 г. после вступления на престол Александра I.— 229

<sup>3</sup> Похищение авантюристки, известной под именем Елизаветы Таракановой (1745—1775), а также под именами Франк, Шаль Тремуиль, Али Эмете, княгини Волдомир, графини Пиннеберг, Зелинской, объявившей себя в 1772 г. в Париже дочерью императрицы Елизаветы и тем самым претенденткой на российский престол, было осуществлено в Италии в феврале 1775 г. Доставленная в Петербург мнимая княжна Тараканова была заключена в Петропавловскую крепость, где 4 декабря того же года умерла от туберкулеза. Версия о ее гибели при наводнении 1777 г., которая нашла художественное воплощение в картине К. Д. Флавицкого «Княжна Тараканова» (1846 г.), не соответствует действительности.— 229

<sup>4</sup> Под «похитительницей престола» А. В. Поджио имеет в виду жену Петра III, которая в результате дворцового переворота 1762 г. захватила власть и стала императрицей России Екатериной II.— 229

<sup>5</sup> Основными объектами внешнеполитических акций Екатерины II на юго-востоке были степное Причерноморье с Крымом и Северный Кавказ. В результате двух победоносных войн против Турции 1768—1774 и 1787—1791 гг. Россия по Кучук-Кайнарджийскому и Ясскому договорам приобрела Крым, Керчь, Еникале, укрепились на Черном море и в устье Днестра.— 229

<sup>6</sup> Измаил являлся опорной турецкой крепостью на левом берегу Дуная. В крепости Измаиле находился сильный турецкий гарнизон, насчитывавший 25 тыс. человек и 265 орудий. Крепость считалась неприступной. Однако Суворов, назначенный в ноябре 1790 г. командующим русскими войсками, сумел 11(22) декабря того же года взять Измаил штурмом. За участие в боях при взятии крепости В. Я. Поджио был награжден.— 229

<sup>7</sup> Арман Эмманюэль дю Плесси *Ришелье* (1766—1822)—французский герцог, русский государственный деятель. Во время революции 1789 г., будучи ярким монархистом, бежал в Россию, где поступил на военную службу. В 1790 г. участвовал в штурме Измаила, в 1793—1794 гг.—в коалиционной войне против революционной Франции. С 1803 г.—градоначальник Одессы, в 1805—1814 гг.—генерал-губернатор Новороссийского края. Много сделал для развития и хозяйственного освоения Северного Причерноморья. В 1814 г. после реставрации Бурбонов вернулся во Францию, где занимал пост министра иностранных дел.— 229

<sup>8</sup> Александр Федорович *Ланжерон* (1763—1831). Во время Великой французской революции эмигрировал из Франции в Россию и поступил на военную службу, генерал от инфантерии. Отличился в 1790 г. при взятии Измаила, а в 1810 г.—Силистрии. В 1812—1814 гг. командовал корпусом, в 1815 г.—генерал-губернатор Новороссийского края и одновременно главный начальник бугских и черноморских казаков и всей пограничной линии. Способствовал развитию г. Одессы, где одна из улиц была названа «Ланжероновской».— 229

<sup>9</sup> Григорий Семенович *Волконский* (1742—1824)—участник русско-турецких войн, позже оренбургский военный губернатор; член Государственного совета; отец декабриста С. Г. Волконского.— 229

<sup>10</sup> Александр Васильевич *Суворов* (1729 или 1730—1800)—великий русский полководец.— 229

<sup>11</sup> А. В. Поджио имеет в виду своего товарища по Южному обществу Василия Петровича Ивашева (1794—1840), осужденного по 2-му разряду.— 230

<sup>12</sup> Здесь и далее Поджио допускает ошибку в датировке событий. Приговор Верховного уголовного суда был объявлен декабристам 12 июля 1826 г., а рано утром 13 июля приведен в исполнение.— 230

<sup>13</sup> Речь идет о Следственном комитете. См. Басаргин, прим. 52.— 230

<sup>14</sup> Общество соединенных славян возникло в 1823 г. в г. Новоград-Волынский по инициативе офицеров 8-й артиллерийской бригады братьев Петра и Андрея Борисовых, а также польского шляхетского революционера Ю. К. Люблинского, высланного из Варшавы за причастность к антиправительственной деятельности.

В сентябре 1825 г. во время учений 3-го пехотного корпуса 1-й армии (в который входила и 8-я артиллерийская бригада), проходивших в м. Лещино, недалеко от г. Житомира, члены Общества соединенных славян в результате активного воздействия на них руководителей Васильковской управы Южного общества С. И. Муравьева-Апостола и особенно М. П. Бестужева-Рюмина вошли в состав конспиративной организации «южан». Естественно, что за короткий срок их принадлежности к Южному обществу (сентябрь—декабрь 1825 г.) А. В. Поджио, входивший в Каменскую управу последнего, не успел лично познакомиться с ними.— 230

<sup>15</sup> А. В. Поджио спутал Василия Борисовича Бажанова (1800—1883)—духовника Николая I—со священником П. Н. Мысловским, постоянно навещавшим декабристов в Петропавловской крепости (см. о нем Басаргин, прим. 54).— 230

<sup>16</sup> Речь идет о репутации привилегированного войскового подразделения. Такими подразделениями были «потешные» полки Петра I, а позже лейб-компанцы. Указом от 31 декабря 1741 г. гренадерской роте лейб-гвардии Преображенского полка, которая помогла Елизавете Петровне захватить престол, было присвоено название «лейб-компания». Петр III 21 марта 1762 г. упразднил лейб-компанию, однако Екатерина II впоследствии восстановила ее статус.— 231

<sup>17</sup> Из 72 членов Верховного уголовного суда только один—адмирал Н. С. Мордвинов—высказался против казни декабристов, поставленных вне разрядов. В «особом мнении» он писал: «...полагаю: лиша чинов и дворянского достоинства и положив голову на плаху, сослать в каторжную работу» (Литературное наследство. М., 1954, т. 59, с. 211).— 231

<sup>18</sup> В отношении поведения и тех или иных последних слов, сказанных в предсмертные мгновенья приговоренными к казни декабристами, существуют разные версии. Никто из авторов воспоминаний не был и не мог быть непосредственным свидетелем происходящего. Возможно, что Поджио имеет в виду слова, сказанные (по некоторым сведениям) Рылеевым, после того как он сорвался с виселицы и пришел в себя: «Я счастлив, что дважды за

отечество умираю» (Записки М. Н. Волконской. М., 1977, с. 22).— 231

<sup>19</sup> См. Басаргин, прим. 74.— 232

<sup>20</sup> Под «рыцарскими выходками» великого князя Михаила Павловича А. В. Поджио имеет в виду явно рассчитанные на внешний эффект жесты заступничества. Так, например, Михаил Павлович «по-христиански» ходатайствовал о смягчении меры наказания В. К. Кюхельбекеру, который 14-го декабря на Сенатской площади целился в него.— 232

<sup>21</sup> См. Басаргин, прим. 56.— 232

<sup>22</sup> См. Басаргин, прим. 26.— 232

<sup>23</sup> П. В. Голенищев-Кутузов был в числе заговорщиков, принимавших участие в убийстве Павла I.— 232

<sup>24</sup> А. В. Поджио имеет в виду здесь великого князя Михаила Павловича—члена Следственной комиссии.— 232

<sup>25</sup> См. Басаргин, прим. 60.— 233

<sup>26</sup> А. В. Поджио безусловно преувеличивает значение А. И. Чернышева в следственном разбирательстве и тем самым объективно снижает роковую роль подлинного двигателя процесса, каким был Николай I.— 233

<sup>27</sup> Сопровождая Александра I во время его поездки в Крым и Таганрог, Чернышев, после смерти царя, действительно одним из первых узнал о содержании доносов Шервуда и Майбороды, следствием чего и явился, в частности, арест Пестеля 13 декабря 1825 г.— 233

<sup>28</sup> Поджио имеет в виду, что Россия оставалась в то время в стороне от буржуазных революций, прокатившихся по всей Европе. В характеристике исторической обстановки в России, предлагаемой Поджио, сказывается недооценка борьбы народных масс против деспотизма и угнетения. Начало XIX в. в России ознаменовалось разными формами социального протеста (крестьянские бунты, восстания в военных поселениях, волнение в Семеновском полку и т. п.).— 233

<sup>29</sup> А. В. Поджио идеализирует царствования Екатерины II и Александра I.— 233

<sup>30</sup> А. В. Поджио обыгрывает в тексте широко распространенное среди декабристов ироническое прозвище, данное ими Николаю I,— «незабвенный».— 234

<sup>31</sup> А. В. Поджио имеет в виду военные мероприятия, осуществляемые Россией на Кавказе, русско-турецкие войны, участие в кампаниях против революционной Франции, а также войны с Наполеоном.— 235

<sup>32</sup> А. В. Поджио имеет в виду поражение России в Крымской войне, обнаружившее отсталость русской армии.— 235

<sup>33</sup> См. Муравьев-Апостол, прим. 99.— 236

<sup>34</sup> См. Басаргин, прим. 82.— 236

<sup>35</sup> См. Муравьев-Апостол, прим. 95.— 236

<sup>36</sup> Иван Онуфриевич *Сухозанет* (1785—1861)—генерал-адъютант. Во время восстания 14 декабря 1825 г. командовал артиллерией гвардейского корпуса в звании генерал-майора.— 236

<sup>37</sup> Иван Карлович *Арнольди* (1780—1860)—генерал-лейтенант, сенатор.— 236

<sup>38</sup> Имеется в виду волнение в Семеновском полку в октябре 1820 г.— 236

<sup>39</sup> См. Муравьев-Апостол, прим. 97.— 237

<sup>40</sup> А. В. Поджио, скорее всего, подразумевал «Билль о правах», принятый парламентом Англии в октябре 1689 г. и закрепивший победу крупной буржуазии и части земельной аристократии над феодально-королевским абсолютизмом в результате «Славной революции». «Билль о правах» ограничивал власть королей и гарантировал права парламента. Однако в тексте нет формулировки, дословно совпадающей с фразой, приведенной А. В. Поджио (Конституции буржуазных государств Европы. М., 1957, с. 174—183). Не исключено, что она появилась вследствие чтения мемуаристом «Философских (или английских) писем» Ф. Вольтера, в которых последний заявлял: «Английская нация является единственной на земле, которая сумела, все время оказывая сопротивление королям, отрегулировать их власть и которая, делая усилия за усилием, наконец, установила это мудрое правительство, при котором государь, всемогущий делать добро, имеет свои руки связанными, чтобы делать зло» (Voltaire F. Oeuvres completes, t. V. Paris, 1869, p. 41. Lettres sur les Anglais, ou lettre philosophiques. Lettre VIII).— 240

<sup>41</sup> А. В. Поджио имеет в виду важнейшие вехи в военно-политической истории царствования Петра I.

19(30) ноября 1700 г. плохо организованные и необстрелянные русские войска потерпели от шведов под Нарвой сокрушительное поражение. Сражение русских и шведских войск под Полтавой 27 июня (8 июля) 1709 г. закончилось полной победой Петра I.

Во время Прутского похода (1711) русские войска попали в окружение. Однако турецкая армия не смогла нанести им поражение, и 12 июля 1711 г. между Россией и Турцией был заключен мир, по которому русские войска получили свободный выход из Молдавии, но взамен Турция возвращала себе Азов и ликвидировала русские крепости на Азовском море и на Днепре (Таганрог, Каменный затон и др.).— 240

<sup>42</sup> Слова А. В. Поджио о Петре I и основании им Петербурга перекликаются с известными строками из «Медного всадника» А. С. Пушкина: «На берегу пустынных волн...», «...Здесь будет город заложен».— 240

<sup>43</sup> В октябре 1700 г. после смерти патриарха Адриана (1627—1700), стоявшего в скрытой оппозиции Петру I и не пользовавшегося его расположением, преемника покойному решено было не назначать. Во главе управления церковью был поставлен рязанский митрополит Стефан Яворский с титулом местоблюстителя патриаршего престола. В течение 20 лет под руководством Феофана Прокоповича разрабатывалась новая форма управления церковью. 1 января 1721 г. Петр I учредил Синод—коллективный орган управления церковью.— 240

<sup>44</sup> В старину на Руси слово «изба» было нередко равнозначно «палате». В свое время «избами» назывались приказы. В данном случае, говоря об «избе» и «земской думе», А. В. Поджио, видимо, подразумевал Грановитую палату, где собирался Земский собор.— 240

<sup>45</sup> Коллегии—центральные государственные учреждения в России, ведавшие отдельными отраслями государственного управления. Были созданы Петром I вместо приказов. В 1715 г. начала работать первая коммерц-коллегия. В 1717 г. учреждено еще 10 коллегий. Просуществовали до начала XIX в., когда были упразднены в связи с созданием министерств (1802 г.).— 241

<sup>46</sup> Правительствующий Сенат был создан Петром I 22 февраля 1711 г. для управления текущими делами государства в отсутствие царя.— 241

<sup>47</sup> После стрелецкого восстания в 1698 г. стрельцы были подвергнуты жесточайшим карам. По авторитетным данным, с сентября 1698 г. по февраль 1699 г. было казнено 1182 человека. Стрелецкие полки, не принимавшие участия в восстании, были расформированы и высланы из Москвы.— 241

<sup>48</sup> А. В. Поджио преувеличивает иностранное влияние при дворе Петра I. Среди ближайших сподвижников Петра I были А. Д. Меншиков, П. П. Шафиров, И. И. Ягужинский, Б. П. Шереметев, Г. И. Головкин, Б. И. Куракин, А. В. Макаров и др.— 241

<sup>49</sup> Преобразования Петра I, вопреки мнению А. В. Поджио, отвечали назревшим потребностям дальнейшего развития России. Правда, Петр I, как отмечал В. И. Ленин, «ускорял перенимание западничества варварской Русью, не останавливаясь перед варварскими средствами борьбы против варварства» (Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 36, с. 301).— 241

<sup>50</sup> Старший сын Петра I от его брака с Е. Ф. Лопухиной царевич Алексей (1690—1718) ненавидел отца и был лидером реакционной оппозиции. В конце 1716 г. он бежал за границу, однако в январе 1718 г. Петр I угрозами и обещаниями заставил Алексея вернуться в Россию. В результате дознания вскрылись факты, изобличающие Алексея в прямой измене. 24 июня 1718 г. Верховный суд приговорил его к смертной казни. Бытует версия, что в ночь на 26 июня 1718 г. он был тайно задушен в Петропавловской крепости по указанию Петра I (Казнь царевича Алексея Петровича.—«Русская старина», 1905, кн. VIII). Согласно другой версии царевич Алексей умер накануне казни.— 241

<sup>51</sup> Речь идет о Софье Алексеевне (1657—1704). Петр вынужден был вести суровую борьбу за власть с Софьей, которая объявила себя «правительницей». После знаменитого бегства в Троицу и победы над партией Милославских и Софьей Петр подверг Софью опале. Причастность Софьи к стрелецкому мятежу 1698 г. еще более усугубила ее положение. Она



была пострижена в монахини под именем Сусанны и умерла в монастыре.— 241

<sup>52</sup> Александр Данилович Меншиков (1673—1729)—русский государственный и военный деятель. Сын придворного конюха; в начале своей карьеры был денщиком (1686) Петра I. Человек умный, энергичный, он завоевал расположение Петра I преданностью и усердием. После смерти Лефорта (1699) выдвинулся в число ближайших сподвижников царя. Отличился во время Северной войны, командуя кавалерией. За успешные действия под Полтавой был произведен в фельдмаршалы. За многочисленные злоупотребления и хищения постоянно с 1714 г. находился под следствием и подвергался огромным штрафам. После смерти Екатерины I по приказу Петра II 8 сентября 1727 г. был арестован и сослан в Березов, где и умер.— 242

<sup>53</sup> Екатерина Алексеевна (1684—1727)—дочь литовского крестьянина Марта Скавронская; вскоре после того, как попала в русский плен, стала фактической женой Петра I. Их брак был церковно оформлен в 1712 г., и официальная коронация состоялась в 1724 г. От брака с Петром I у нее было восемь детей, из которых в живых остались лишь две дочери—Анна и Елизавета. После смерти Петра I, не назвавшего наследника, была возведена на престол гвардией, которой командовал А. Д. Меншиков. Незадолго до смерти Екатерины I подписала завещание о передаче престола Петру Алексеичу, внуку Петра I.— 242

<sup>54</sup> В 1722 г. Петр I в отмену старого порядка наследования престола по старшинству в семье издал новый указ, согласно которому император сам избирал наследника престола. Однако реализовать этот указ сам Петр I не сумел. Исторические свидетельства представляют версию смерти Петра иначе, чем она предлагается в интерпретации Поджо. В последние минуты жизни Петр, по-видимому, хотел назвать наследника в завещании, но он успел написать лишь два слова: «Отдать все...» И здесь перо выпало из его рук.— 242

<sup>55</sup> В римской мифологии Сатурн—бог посевов и земледелия, отождествленный с греческим Кроном (или Кроносом)—младшим из титанов, свергшим своего отца и захватившим власть над миром. Ему было предсказано, что он, в свою очередь, будет свергнут своими детьми. Чтобы предупредить это, он тотчас по рождении ребенка проглатывал его. Жене Крона удалось спасти маленького Зевса, который и сверг отца (см.: Гесиод. Теогония, 452 и сл.).— 242

<sup>56</sup> А. В. Поджо имеет в виду сына Петра I Алексея.— 242

<sup>57</sup> ...которую хотел некогда казнить... А. В. Поджо подразумевает, видимо, события осени 1724 г., связанные с именем Виллима Монса. Виллим Монс, брат бывшей фаворитки Петра I Анны Монс, состоял при Екатерине Алексеевне в качестве ее камергера и вотчинного управителя. В ноябре 1824 г. он был арестован, обвинен в ряде хищений и казнен. Скоропалительность процесса, жестокость кары молва объясняла тем, что Петр заподозрил Виллима Монса в связи с Екатериной. Отношения между Петром и Екатериной после происшедшего резко ухудшились.— 242

<sup>58</sup> Петр II Алексеевич (1715—1730)—российский император с 1727 г. Умер от оспы. С ним в мужском колене кончился род Романовых.— 243

<sup>59</sup> А. В. Поджо ошибся, посчитав Екатерину II шестой женщиной на русском троне. После смерти Петра обладательницами русского престола были: Екатерина I (1725—1727), Анна Иоанновна (1730—1740), Анна Леопольдовна (17.Х 1740—25.ХІ 1741) и Елизавета Петровна (1741—1761).— 243

<sup>60</sup> ... в этом навегда позорном триумvirате (это таинственное число имеет всегда поверхностный и временный успех)...— А. В. Поджо мог в данном случае подразумевать политические триумvirаты в Древнем Риме или, что еще вероятней, историю своеобразного консульского триумvirата во Франции, который возник в результате переворота 18 брюмера (9 ноября 1799 г.), произведенного Наполеоном. В состав триумvirата в качестве консулов вошли: Наполеон Бонапарт, граф П. Р. Дюко (1754—1816) и Э. Ж. Сийес (1748—1836). Они были избраны сроком на 10 лет. Но 2 августа 1802 г. первый консул Наполеон провозгласил себя пожизненным консулом Франции, а позднее—императором.— 244

<sup>61</sup> Возможна перефразировка известного летописного свидетельства о призвании варяжских князей: «Земля наша велика и обильна, а наряда в ней нет. Да поидете княжить и володети нами» (Повесть временных лет. М.—Л., 1950, с. 18).— 244

<sup>62</sup> Андрей Иванович *Остерман* (Генрих Иоганн Фридрих) (1686—1747)—русский государственный деятель, дипломат. Сын лютеранского пастора из Вестфалии. С 1703 г. на русской службе. Ловкий интриган, возвысившийся при Екатерине I и особенно при Анне Иоанновне. Воспитатель Петра II, член Верховного тайного совета. С 1731 г. фактический руководитель внешней политики России. С воцарением Елизаветы Петровны был предан суду и приговорен к смертной казни, замененной пожизненной ссылкой в Березов, где и умер. Поджою иронически обыгрывает его фамилию: ман (Mann)—«человек» (нем.).— 244

<sup>63</sup> Эрнст Иоганн *Бирон* (1690—1772)—курляндский дворянин, фаворит Анны Иоанновны. По его имени назван режим (бироновщина), установившийся в России в 30-е годы XVIII в. и ознаменовавшийся засильем немцев во всех областях государственной и общественной жизни, хищнической эксплуатацией народа и разграблением богатств страны, жестокими репрессиями и казнями. Обвиненный в попытке захватить престол после смерти Анны Иоанновны, Бирон был приговорен к смертной казни, замененной ссылкой в Пелым. Петр III вернул Бирона в Петербург, а Екатерина II восстановила его в качестве управляющего Курляндией.— 244

<sup>64</sup> Здесь у Поджою прежде всего дается ироническая оценка коронационного манифеста Александра II от 26 августа 1856 г. и первых преобразований нового царя.— 245

<sup>65</sup> *Саардам*—город в Северной Голландии, где в 1697 г. жил и учился корабельному делу Петр I.— 245

<sup>66</sup> Возглавляя фактически в 1697—1698 гг. русскую дипломатическую миссию в Западную Европу, получившую название «великого посольства», Петр I по политическим соображениям входил в нее под именем Петра Михайлова—десятника волонтеров. Официально руководителями «великого посольства» значились Ф. Я. Лефорт, Ф. А. Головин, П. Б. Возницын.— 245

<sup>67</sup> Речь идет о герое христианской легенды Иосифе, супруге Марии.— 245

<sup>68</sup> А. В. Поджою преувеличивает самостоятельное значение русской церкви и силу ее «противостояния» государственной власти. Даже в период наибольшего могущества официальная русская церковь не помышляла о борьбе и соперничестве с абсолютизмом.— 245

<sup>69</sup> Возможно, что здесь использована строка из поэмы А. С. Пушкина «Полтава»: «Тогда-то свыше вдохновенный...».— 246

<sup>70</sup> Александр *Македонский*, Александр Великий (356—323 гг. до н. э.)—выдающийся полководец и государственный деятель. Сын македонского царя Филиппа и его жены Олимпиады. Зимой 332—331 гг. занял Египет. Жрецы назвали его царем, что по египетским представлениям означало признание его сыном бога Солнца, т. е. Юпитера. Это обстоятельство и имеет в виду А. В. Поджою, правда соотнося его с завоеванием Индии.— 246

<sup>71</sup> А. В. Поджою подразумевал предание о том, как Магомет (Мохаммед) стал основателем ислама. Согласно легенде, Магомет уединился с семьей на дикой горе Хира, вблизи Мекки, и в пещере ему представилось однажды небесное существо (архангел Гавриил, по мнению мусульман), которое повелело ему выступить в качестве пророка-проповедника.— 246

<sup>72</sup> *Нума Помпилий* (по традиции 715—673/672 гг. до н. э.)—второй после Ромула царь Древнего Рима. Ему приписывается упорядочение календаря и разделение года на 12 месяцев (вместо 10), раздача жителям участков земли и приобщение их к земледелию, учреждение различных культов, жреческих и ремесленных коллегий.

Согласно легенде царю в его государственных делах помогала нимфа Эгерия, открывавшая ему в ночных беседах волю богов. Это придавало установлениям царя священный авторитет. По смерти Нумы нимфа от слез обратилась в источник.— 247

<sup>73</sup> Варвара Юлия *Криденер* (или Крюднер), урожденная Фитингоф (1764—1825)—проповедница мистического суверенитета.— 247

<sup>74</sup> См. Басаргин, прим. 6.— 247

<sup>75</sup> Пильницкая декларация была подписана 27 августа 1791 г. в замке Пильниц (Саксония) австрийским императором Леопольдом II и прусским королем Фридрихом Вильгельмом II. Декларация призвала всех европейских монархов объединиться для борьбы против Великой французской революции.— 247

<sup>76</sup> 3 января 1815 г. во время работы Венского конгресса был подписан Венский

секретный договор между Австрией, Англией и Францией. Договор был направлен против Пруссии и России.— 247

<sup>77</sup> См. Басаргин, прим. 31.

Среди итогов Веронского конгресса следует отметить решение о продлении австрийской оккупации в Неаполитанском и Сардинском королевствах и осуждение национально-освободительного восстания греков против турецкого ига.— 247

<sup>78</sup> Речь идет о Великой французской буржуазной революции, начавшейся 14 июля 1789 г. взятием Бастилии.— 248

<sup>79</sup> Второй этап Великой французской революции начался 10 августа 1792 г. мощным народным восстанием, свергнувшим монархию, и завершился 2 июня 1793 г. новым народным выступлением, следствием которого было изгнание жирондистов из Конвента.— 248

<sup>80</sup> В соответствии с Пильницкой декларацией в феврале 1792 г. был заключен австро-прусский военный союз, положивший начало коалиции европейских монархов против революционной Франции. В апреле 1792 г. Франция объявила войну Австрии, деятельно подготавливавшей интервенцию. В том же году в войну с Францией вступили Пруссия и Сардинское королевство, а в 1793 г.— Великобритания, Нидерланды, Испания, Неаполитанское королевство и другие государства. Внешняя и внутренняя контрреволюции взаимно помогали друг другу. Будучи главой французского государства, король Людовик XVI настойчиво вел секретные переговоры с контрреволюционной эмиграцией и иностранными державами—врагами Франции. 21 сентября 1792 г. Конвент на своем первом заседании принял решение об аресте Людовика XVI и о предании его суду по обвинению в составлении заговора против свободы нации. 11 января 1793 г. в Конвенте начался суд. 20 января 1793 г. большинством голосов (383 против 310) Людовик XVI был приговорен к смертной казни и 21 января гильотинирован.— 248

<sup>81</sup> *Национальный Конвент*—высший законодательный и исполнительный орган Первой французской республики; был создан 20 сентября 1792 г. путем выборов, в которых принимали участие все мужчины, достигшие 21 года; просуществовал до 26 октября 1795 г.

Народное восстание 31 мая—2 июня 1793 г. передало всю полноту власти в Конвенте, а затем и в стране якобинцам. Якобинский Конвент стал органом якобинской диктатуры и вместе с Комитетом общественного спасения и Комитетом общественной безопасности стремился содействовать дальнейшему развитию революции и защите отечества от иностранной интервенции. А. В. Поджоно имеет в виду прежде всего решительные и суровые действия якобинского Конвента. 17 сентября 1793 г. под давлением масс Конвент принял закон о «подозрительных», расширявший права революционных органов в борьбе с контрреволюционными элементами, активно выступавшими против республики. 10 июня 1794 г. Конвент, по настоянию Робеспьера, принял еще один закон, усиливший «красный террор». В течение шести недель после издания этого закона революционный трибунал выносил ежедневно до 50 смертных приговоров.— 248

<sup>82</sup> ...*фригийскую шапку*...—Фригийский колпак—головной убор в годы Великой французской революции, заимствованный якобинцами из античности и символизировавший свободу и равенство.

...*на острове Елены*...—В июне 1815 г. после поражения под Ватерлоо и вторичного отречения от императорского престола Наполеон был сослан на отдаленный остров Св. Елены в Атлантическом океане, где и умер в 1821 г. «Наконец, когда все уже было в прошлом, на острове Святой Елены он говорил о том, что любил революцию, отзывался всегда уважительно о Робеспьере и о его младшем брате» (Манфред А. З. Наполеон Бонапарт. М., 1972, с. 389).— 249

<sup>83</sup> *Пий VII* (1742—1823)—римский папа с 1800 г. В 1801 г. заключил конкордат с наполеоновской Францией, в 1804 г. короновал Наполеона. Позднее отказ Папского государства присоединиться к континентальной блокаде привел к тому, что в 1809 г. Наполеон лишил католическую церковь светской власти, арестовал Пия VII и продержал в заточении до 1814 г. Венский конгресс восстановил Пия VII в правах светского государя.— 249

<sup>84</sup> Речь идет о Марии Антуанетте (1755—1793)—младшей дочери австрийского императора, жене Людовика XVI, французской королеве, приговоренной Конвентом за государ-

ственную измену к смертной казни. 16 октября 1793 г. Мария Антуанетта была гильотинирована.— 249

<sup>85</sup> После контрреволюционного переворота 9—10 термидора Наполеон, прославившийся ранее взятием Тулона, из-за своих связей с казненными Робеспьерами (прежде всего с Огюстом Робеспьером) оказывается в опале и под подозрением. Он вынужден довольствоваться скромной службой в топографическом отделе военного министерства и бедствовать. Судьба Наполеона меняется к лучшему после событий 13 вандемьера 1795 г. В этот день (5 октября) Наполеон проявил энергию, решительность и беспощадность, руководя подавлением монархического мятежа, организованного роялистами, и применив для их усмирения пушки.— 249

<sup>86</sup> См. Басаргин, прим. 80.— 250

<sup>87</sup> Речь идет о Станиславе Ксаверии, графе Прованском (1755—1824), ставшем после падения Наполеона I и при реставрации Бурбонов королем Франции (1814—1824) под именем Людовика XVIII. Уступая усиленным настояниям Александра I, заявившего, что, пока Людовик XVIII не даст формального обещания ввести конституционные порядки, он, Александр I, не допустит его въезда в Париж, Людовик XVIII подписал составленную Талейраном декларацию, где говорилось и о даровании конституции, и 3 мая 1814 г. торжественно въехал в Париж. Однако, оказавшись королем Франции, Людовик XVIII забыл все обещания.— 250

<sup>88</sup> Франсуа Вилльмен (1790—1870)— французский критик и историк литературы.— 250

<sup>89</sup> Александр I в сопровождении прусского короля и блестящей свиты совершил поездку в Англию с 26 мая (7 июня) по 14(26) июня 1814 г.— 250

<sup>90</sup> Генри Бром (1788—1868)— английский либеральный публицист и государственный деятель.

Во время пребывания в Англии Александр I выразил симпатию представителям партии вигов, которые находились в оппозиции к правящей партии тори. Более того, в беседе с лордом Греем он выразил пожелание иметь в России оппозиционную партию и просил собеседника написать проект ее создания (см.: Шильдер Н. К. Император Александр I. Его жизнь и царствование. Т. III. СПб., 1905, с. 393).— 250

<sup>91</sup> Восстание Чугуевского полка, входившего в состав Слободско-Украинских поселений, началось в июне 1819 г. К нему присоединился Таганрогский полк. Восставшие требовали вернуть их в прежнее состояние государственных крестьян, захватывали земли, изгоняли начальников. Восстание было подавлено с помощью войск, которыми руководил А. А. Аракчеев. Последовала жестокая расправа.— 250

<sup>92</sup> Поджиро допускает здесь неточность. XIII статья конгресса, о которой говорит мемуарист, гласит: «Из сих общих постановлений относительно конфискаций исключаются все те случаи, в коих повеления или окончательные приговоры уже совершенно приведены в исполнение и не были уничтожены впоследствии» (Собрание трактатов и конвенций, заключенных Россией с иностранными державами. Составил Ф. Мартенс. Т. III. СПб., 1876, с. 243). Текст ее не связан с размышлениями А. В. Поджиро.— 250

<sup>93</sup> По решению Венского конгресса к России отошла большая часть герцогства Варшавского.— 250

<sup>94</sup> 15(27) ноября 1815 г. Александр I даровал Царству Польскому конституцию, учреждавшую автономное самоуправление, при условии что конституционно-монархическая Польша будет навсегда соединена с Российской империей. «Конституционный устав» 1815 г. просуществовал до польского восстания 1830 г.— 250

<sup>95</sup> Эти слова Поджиро перекликаются со строками К. Н. Батюшкова из стихотворения «Мой гений»:

О память сердца! ты сильней

Рассудка памяти печальной.

Стихотворение было написано в 1815 г. и впервые опубликовано в «Собрании образцовых русских сочинений и переводов в стихах» (СПб., 1816, ч.V).— 250

<sup>96</sup> Эта фраза по сути воспроизводит афористическое изречение Р. Декарта: «Мыслю, значит я существую» (Cogito, ergo sum).— 250

<sup>97</sup> Отставной полковник Кавалергардского полка Иван Юрьевич Поливанов, член

Северного общества декабристов, умер в результате психического расстройства 5 сентября 1826 г. в Сухопутном госпитале, в возрасте 29 лет.— 251

<sup>98</sup> См. Муравьев-Апостол, прим. 158.— 251

<sup>99</sup> Алексей Михайлович Булатов (1793—1826)—полковник, служил в лейб-гвардии Гренадерском полку, в 1823 г. назначен командиром 12-го егерского полка, стоявшего в г. Керенске Пензенской губернии; член Северного общества. В Петропавловской крепости пытался покончить жизнь самоубийством. Умер 19 января 1826 г. в Петербургском военном госпитале от сотрясения мозга.— 251

<sup>100</sup> Наручные кандалы были также наложены на Цебрикова, Семенова, Якушкина, Андреева 2-го, Бестужева-Рюмина и др. Всего подобного рода наказанию был подвергнут из последственных 21 человек.— 252

<sup>101</sup> В сопроводительной записке коменданту Петропавловской крепости генералу Сукину Николай I распорядился: «Присылаемого Поджио содержать под строжайшим арестом, где удобнее».— 252

<sup>102</sup> См. Басаргин, прим. 67.— 252

<sup>103</sup> Намек на «Разбор Донесения, представленного российскому императору тайной комиссией в 1826 г.», написанный М. С. Луниным при участии Н. М. Муравьева.— 252

<sup>104</sup> Эдип—герой античной мифологии и греческих трагедий. По преданию, в Фивах чудовищный Сфинкс пожирал людей, которые не могли разгадать его загадку: «Какое существо утром ходит на четырех ногах, в полдень на двух, а вечером на трех?» Эдип разгадал загадку, сказав, что это существо—человек, после чего Сфинкс бросился со скалы и разбился. В благодарность за избавление страны от несчастья фиванские граждане сделали Эдипа царем. Под загадочным Сфинксом А. В. Поджио подразумевает здесь русское самодержавие вообще и Николая I в частности.— 254

<sup>105</sup> Пороховой заговор—заговор католиков с целью покушения на жизнь английского короля Иакова I Стюарта, открытый 5 октября 1605 г. План заговорщиков, во главе которых стоял иезуит Гернет, заключался в том, чтобы взорвать здание парламента в день открытия заседания и погубить короля, его сына и важнейших сановников. После раскрытия заговора многие его участники бежали, намереваясь поднять восстание католиков, но были разбиты, взяты в плен и казнены.— 254

<sup>106</sup> Понимая свою оторванность от народа, что было основной причиной поражения декабристов, А. В. Поджио в данном случае правильно видит в народе главного носителя социального протеста. В крестьянской реформе 19 февраля 1861 г. заключалось, по мнению Поджио, исполнение важнейшей цели декабристского движения.— 254

<sup>107</sup> Умышленное замалчивание правительством освободительных намерений членов тайных обществ 20-х годов в отношении крестьян было отмечено М. С. Луниным, который в «Разборе» донесения Следственной комиссии дал этому глубокое объяснение. Он писал: «Комиссия умалчивает об освобождении крестьян, долженствовавшем возвратить гражданские права нескольким миллионам наших соотечественников... Приступая к этим вопросам, она бы возбудила народное участие, которое надлежало подавить...» (Декабрист М. С. Лунин. Сочинения и письма. Пг., 1923, с. 75).— 254

<sup>108</sup> Речь идет о реформе 19 февраля 1861 г. и об Александре II.— 254

<sup>109</sup> Аграрный проект Пестеля получил в свое время очень высокую оценку А. И. Герцена, который писал: «Пестель понимал революцию совсем иначе, чем его петербургские друзья. «Вы можете провозгласить республику,—говорил он на одном заседании,—это явится только переменной названия. Необходимо затронуть земельную собственность. Совершенно необходимо дать землю крестьянам, только тогда революция будет совершена». И далее: «Все заговорщики страстно желали освобождения крестьян; однако мы видим, что один лишь Пестель хотел, чтобы революция опиралась на народ и на экономическое начало» (Герцен А. И. Т. XIII, с. 133, 144).— 254

<sup>110</sup> Всего по 1-му разряду был осужден 31 человек.— 255

<sup>111</sup> См. Басаргин, прим. 78.— 255

<sup>112</sup> См. Поджио, прим. 12.— 256

<sup>113</sup> Дмитрий Иванович Лобанов-Ростовский (1758—1838)—князь, генерал от инфантерии, министр юстиции (1817—1827).— 256

<sup>114</sup> См. Басаргин, прим. 139.— 256

<sup>115</sup> *Фемида*—в древнегреческой мифологии богиня правосудия, жена Зевса. Изображалась с повязкой на глазах (символ беспристрастия) и весами в руках.— 256

<sup>116</sup> Жан Жак Руссо (1712—1778)—великий французский философ, писатель. Приверженец и горячий пропагандист теории естественного права. В трактате «Общественный договор» (1762) доказывал, что необходимым условием подлинной свободы людей должно являться их политическое и имущественное равенство.— 256

<sup>117</sup> Чезаре Беккариа (1738—1794)—итальянский просветитель, юрист и публицист, автор книги «О преступлениях и наказаниях» (1764), сыгравшей серьезную роль в формировании буржуазно-демократических принципов уголовного права в европейских государствах XVIII—XIX вв.— 256

<sup>118</sup> Гаэтано Филанджери (Филанджиери) (1752—1788)—итальянский просветитель. В семитомном труде «Наука законодательства» критиковал феодализм с буржуазных позиций; сторонник реформ.— 256

<sup>119</sup> Иеремия Бентам (1748—1832)—английский социолог, родоначальник утилитаризма в английской философии. Изложил свою теорию в сочинениях «Введение в основание нравственности и законодательства», «Принципы законодательства», «Деонтология, или наука о морали».— 256

<sup>120</sup> По делу А. В. Поджо, на утреннем заседании Верховного уголовного суда 2 июля 1826 г., когда выносился ему приговор, 1 человек высказался за отправку его на каторжные работы, 13 человек—за то, чтобы четвертовать, 47—повесить и 1—за то, чтобы расстрелять (ЦГАОР, ф. 48, оп. 1, д. 458, л. 35).— 257

<sup>121</sup> 10 июля 1826 г. царь подписал «Указ Верховному уголовному суду», в котором говорилось: «Рассмотрев доклад о государственных преступниках, от Верховного уголовного суда нам поднесенный, мы находим приговор, оным постановленный, существу дела и силе законов сообразным.

Но силу законов и долг правосудия желая по возможности согласить с чувством милосердия, признали мы за благо определенные сим преступникам казни и наказания смягчить нижеследующими в них ограничениями.

1. Преступников первого разряда, Верховным уголовным судом к смертной казни осужденных [...] даровав им жизнь, по лишении чинов и дворянства, сослать вечно в каторжную работу» (ВД, т. XVII. М., 1980, с. 244). Николай I не помиловал декабристов, поставленных вне разрядов: П. И. Пестеля, К. Ф. Рыльева, С. И. Муравьева-Апостола, М. П. Бестужева-Рюмина и П. Г. Каховского.— 258

<sup>122</sup> *Куртина*—крепостной вал, соединяющий бастионы. Внутри Кронверкской куртины находилось 35 камер для заключенных.— 258

<sup>123</sup> А. В. Поджо подразумевает здесь слова Гамлета из одноименной трагедии В. Шекспира (1564—1616).— 258

<sup>124</sup> *Афронт*—от фр. «affront» —устаревшее слово, означающее неожиданную неприязнь, оскорбительный, резкий отпор.— 258

<sup>125</sup> Под «глухой тетерей» А. В. Поджо подразумевает Александра I, глухота которого была общеизвестна и служила поводом к разного рода шуткам и сарказмам.— 258

<sup>126</sup> Скорее всего, здесь имеется в виду Алексей Прокофьевич Соковнин, ведавший Разрядным и Конюшенным приказами. Противник нововведений, А. П. Соковнин питал личную ненависть к Петру I за то, что последний не давал ему боярства. Вместе с подполковником стрелецких войск И. Е. Цыклером и стольником Ф. Пушкиным замыслил убить Петра I. Заговорщики были выданы в 1697 г. стрельцами Елизарьевым и Силиным. 4 марта 1697 г. А. П. Соковнин был казнен (см.: Богословский М. М. Петр I. Материалы для биографии. Т. I. М., 1940, с. 385—393).— 262

<sup>127</sup> Степан Тимофеевич Разин (1630—1671)—донской казак, предводитель восставших в Крестьянской войне 1670—1671 гг. Казнен в Москве.— 262

<sup>128</sup> Емельян Иванович Пугачев (1740—1775)—предводитель восставших в Крестьянской войне 1773—1775 гг. Казнен в Москве.— 262

<sup>129</sup> А. В. Поджо имеет в виду эпизод с «кондичиями», предложенными членами Верховного тайного совета Анне Иоанновне при вступлении ее на престол.

«Цари, цари самодержавно!» — А. В. Поджио подразумевает голос подавляющего большинства офицеров гвардии и дворянства в защиту самодержавной монархии, сыгравший решающую роль в утверждении Анны Иоанновны на русском престоле. См. также Муравьев-Апостол, прим. 37.— 262

<sup>130</sup> *Петр III* Федорович (1728—1762)—сын Анны Петровны и внук Петра I, русский император (1761—1762). Начал свою деятельность мероприятиями, которые при других условиях могли бы создать ему популярность. В 1762 г. издал указ «о волюности дворянской», явившийся предшественником «Жалованной грамоты дворянству» Екатерины II (1785). Другим указом уничтожил Тайную канцелярию. Окруженный голштинцами, стал перестраивать на прусский лад армию, чем вызвал недовольство в гвардии. 26 июня 1762 г. гвардейские офицеры произвели дворцовый переворот, посадив на престол жену Петра III Екатерину II. Петр III был отвезен в Ропшу, где 7 июля 1762 г. его «извели» (скорее всего, отравили).

В целом А. В. Поджио рисует образ Петра III несколько идеализированно.— 262

<sup>131</sup> Имеются в виду активные участники дворцового переворота 1762 г.— Григорий Григорьевич *Орлов* (1734—1783), Иван Сергеевич *Барятинский* (1740—1822), Григорий Николаевич *Теплов* (1720—1770), Петр Богданович *Пассек* (1736—1804).— 262

<sup>132</sup> А. В. Поджио подразумевает отношения, сложившиеся у Г. Г. Орлова с Екатериной II.— 262

<sup>133</sup> *Иван VI Антонович* (1740—1764)—сын Анны Леопольдовны (племянницы Анны Иоанновны) и герцога Антона Ульриха Брауншвейгского. Номинально значился российским императором (17.X. 1740—25.XI.1741) при регентстве Э. Бирона и Анны Леопольдовны; 25 ноября 1741 г. свергнут Елизаветой Петровной и заточен в Шлиссельбург. Убит 5 июня 1764 г. в Шлиссельбургской крепости при попытке офицера Мировича освободить его.— 262

<sup>134</sup> Василий Яковлевич *Мирович* (1740—1764)—подпоручик Смоленского пехотного полка. Предпринял окончившуюся неудачей попытку освободить Ивана Антоновича и вернуть ему престол. Казнен 15 сентября 1764 г. по приговору Сената.— 262

<sup>135</sup> 5 апреля 1797 г., в день своей коронации, Павел I, желая ослабить антикрепостническую борьбу крестьян, издал указ о трехдневной барщине, который, однако, по сути дела не исполнялся и положения крестьян не облегчил.— 262

<sup>136</sup> Александр I знал о заговоре против своего отца и поддерживал его.— 262

<sup>137</sup> ... о *прокрустовом одре*.— Прокрустово ложе — в греческой мифологии ложе, на которое великан-разбойник Прокруст насильно укладывал путников: тем, кому ложе было коротко, обрубал ноги; тех, кому было длинно, вытягивал (отсюда имя Прокруст — «растягивающий»).— 265

<sup>138</sup> В Манифесте от 12 марта 1801 г. по поводу своего вступления на престол Александр I объявлял о намерении управлять «богом врученным» ему «народом по законам и по сердцу бабки [...] покойной государыни Екатерины II».— 266

<sup>139</sup> *Масоны* — последователи масонства, франкмасонства (от фр. franc-maçon — вольный каменщик) — религиозно-этического движения, возникшего в начале XVIII в. в Англии и распространившегося затем во Франции, Германии, Испании, Швеции, США и других странах. Первоначально в движении преобладали буржуазно-просветительские мотивы (идея морального совершенствования), позднее — мистицизм. В России масонство получило развитие в конце XVIII — в начале XIX в.

*Иллюминаты* — члены общества, основанного в мае 1776 г. в Баварии А. Вейсгауптом, который пытался превратить свой Орден с участием масонов в тайную организацию просветительского толка.

*Мартинисты* — мистическая секта, основанная в XVIII в. Мартинесом Паскалисом. Члены ее считали себя визионерами, т. е. людьми, способными иметь сверхъестественные видения.

<sup>140</sup> *Сен-Мартен* (Сен-Мартин) (1743—1803) — французский философ, мистик, теософ. Адам *Вейсгаупт* (1748—1830) — основатель Ордена иллюминатов, правовед. Эммануил *Сведенборг* (1688—1772) — ученый-натуралист, впоследствии духовидец, мистик, популярный теософ.— 267

# ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ \*

- Аврамов И. Б. 16, 20, 107, 129  
Аврамов П. В. 16, 20, 23, 36, 79  
Агапеев, солдат 169, 171  
Адлерберг В. Ф. 43, 44  
Аксаков К. С. 185  
Анкундинов, крестьянин 202  
Александр I 15—19, 21, 23, 27, 31, 32, 34, 35, 60, 86, 168, 170, 176, 177, 180—182, 184, 185, 187, 188, 212, 216, 218, 233, 235, 246, 247, 249—251, 266  
Александр II 254  
Алексеев, полицмейстер 63, 201  
Алексеев Ермолай, солдат 219  
Андреев Алексей, солдат 202  
Андреев А. Н. 54, 57, 203, 208, 211  
Анна Иоанновна 169, 262  
Анненков И. А. 70, 79, 84, 104, 109, 129  
Анненкова П. Е. 79, 84, 86, 104  
Апостол Д. П. 187  
Аракчеев А. А. 26, 31, 70, 179, 181, 189, 216, 258  
Арбузов А. П. 129, 202  
Аргамаков И. А. 170  
Арнольди И. К. 236  
Арсеньев А. И. 102  
  
Багговут А. Ф. 108  
Багратион П. И. 171  
Байрон Д. Г. Н. 225  
Балашов А. Д. 50, 51  
Баллас М. К. 185, 186  
Бантыш-Каменский Д. Н. 63, 201, 211  
Барклай-де-Толли М. Б. 171, 175  
Барышников А. И. 16, 126  
Барятинский А. П. 16, 20, 34, 230, 255  
Барятинский И. С. 262  
  
Басаргин Н. В. 25, 35, 36, 44, 82  
Басаргина (Мещерская) 32  
Баснин, купец, 214  
Батеньков Г. С. 77  
Батюшков К. Н. 85, 154  
Бахметев Н. В. 146, 149  
Бацуцкий П. Я. 38  
Беккария Ч. 256  
Беляев А. П. 85, 107, 129, 130  
Беляев П. П. 85, 107, 129, 130  
Бенкендорф А. Х. 43, 47, 83, 85, 108, 232  
Беннигсен Л. Л. 169, 170  
Бентам И. 256  
Беррийский, герцог 20  
Бестужев (Марлинский) А. А. 129, 200—202, 208, 211, 212  
Бестужев М. А. 201, 202  
Бестужев Н. А. 53, 129, 201, 202, 232  
Бестужев-Рюмин М. П. 46, 48, 51, 56, 191, 192, 231  
Бечасный В. А. 129, 230, 255  
Бибилова Е. И. 188, 212, 223  
Бирон Э. И. 244  
Блудов Д. Н. 43  
Бобрищев-Пушкин Н. С. 16, 20, 56, 125, 129, 130  
Бобрищев-Пушкин П. С. 16, 20, 107, 125, 129, 130  
Богданович М. И. 173, 184—186  
Божанов (Бажанов) В. Б. 230  
Борисов А. И. 85, 129, 230, 255  
Борисов П. И. 85, 129, 230, 252, 255  
Бригген А. Ф. 77, 129  
Бологовский, прапорщик 264  
Броглио А. О. 177  
Броглио К. В. 176  
Бром Г. 250  
Броневский С. Б. 107, 125
- \* Именной указатель составлен Вас. И. Порохом и проф. В. А. Федоровым.



Бруннов Ф. И. 28  
Будберг, генерал-адъютант 16  
Бугенвиль Л. А. 166  
Буйницкий, подпоручик, 173  
Булатов А. М. 251  
Бурцов И. Г. 16, 20, 22, 25—27, 32, 36, 47  
Быстрицкий А. А. 129

Вадковский И. Ф. 183  
Вадковский Ф. Ф. 129, 186, 220, 230, 255  
Вандам Ж. Д. 175  
Василий, денщик 38  
Васильчиков И. В. 182, 183  
Вашингтон Дж. 110  
Вегелин А. И. 105  
Веденяпин А. В. 203, 211  
Вейсгаупт А. 267  
Вельяминов А. И. 133—135, 219  
Вельяминов-Зернов, штабс-капитан 149  
Вергилий 215  
Вердеревский, полковник 230  
Вигель Ф. Ф. 185  
Вильмен Ф. 250  
Витгенштейн Л. П. 16, 17, 39, 47, 50  
Витгенштейн П. Х. 15, 16, 188  
Витгенштейн (Снарская) 17  
Витт И. О. 31  
Волконская М. Н. 77, 78, 104  
Волконский Г. С. 229  
Волконский Н. Г. 168, 189  
Волконский С. Г. 16, 20, 39, 84, 86, 88, 109, 110, 129  
Вольф Ф. Б. 16, 20, 23, 25, 26, 34, 37, 38, 52, 61, 100, 105, 106, 108, 129  
Воронцов М. С. 27, 28  
Выгодский П. Ф. 79  
Высоцкий И. 81  
Вяземский А. Н. 130  
Вязьмитинов С. К. 177

Гебель Г. И. 192, 193, 198  
Гейм И. А. 145  
Герман И. И. 167  
Глебов М. Н. 105, 129  
Глинка С. Н. 154  
Глухов, поручик 61  
Годой М. 187  
Голицын А. Н. 43, 200, 216, 232  
Голицын А. С. 134, 180  
Голицын В. М. 203  
Головин Е. А. 54, 236  
Гораций 215  
Горбачевский И. И. 129, 230, 255  
Горчаков А. М. 16  
Горчаков П. Д. 134, 217

Граббе П. Х. 38  
Граббе-Горский О. В. 131, 134—136  
Грессе Г. 198  
Греч Н. И. 185  
Громницкий П. Ф. 109, 129  
Гумбольдт А. 216, 218  
Гурко Л. О. 169, 180, 181  
Гурьев, офицер 183

Давыдов В. Л. 129  
Давыдов Д. В. 185  
Де-Дама М. И. 178  
Декруассар, полковник 177  
Депрерадович Н. И. 58  
Диаконов, капитан 149  
Дибич И. И. 27, 28, 31, 43, 44, 190, 232  
Дохтуров Д. С. 173  
Дружинин Х. М. 107  
Дубинин, подпоручик 76, 77  
Дуэ, лейтенант 209, 211, 213, 215  
Дюмурье Ш. Ф. 166, 167

Екатерина I 242, 243  
Екатерина II 86, 165, 168, 187, 206, 213, 233, 243, 266  
Екатерина Павловна, вел. кн. 188  
Ентальцев А. В. 79, 130  
Ентальцева А. В. 70  
Ермолай, крестьянин 65—68  
Ермолов А. П. 55, 149, 217, 232

Желтухин П. Ф. 180, 181, 236  
Жером Бонапарт 171  
Жильбер Н. 197  
Жиркевич И. С. 173, 174  
Жирков, казак 204—206, 209—212  
Жихарев С. П. 184  
Жуковский В. А. 154, 174  
Журавлев И. Ф. 256, 258

Завалишин Д. И. 53, 54, 69, 70, 79, 81, 84, 129  
Загорецкий Н. А. 79, 130, 211  
Заикин Н. Ф. 203, 211  
Занд К. Л. 21  
Зелейщиков, чиновник 218  
Злотвинский, полковник 181  
Зубков, прапорщик 149  
Зубов Н. А. 169—171

Иван Антонович 262  
Иванов Е. И. 218  
Иванов И. И. 107

Ивашев В. П. 16, 20, 52—54, 57, 58, 68, 79,  
81—83, 85, 88, 104, 105, 108, 109, 125,  
126, 129, 130, 230

Ивашев П. Н. 230

Ивашева К. П. 83, 101, 104, 105, 108, 125,  
126, 130

Игельстром К. Г. 105, 130

Инзов И. Н. 28

Казимирский Я. Д. 110

Казнаков Г. И. 175

Капнист Е. И. 215, 224

Карамзин Н. М. 85, 86, 154

Кауфман А. 167

Каховский П. Г. 56, 231

Каченовский М. Т. 154

Киреев И. В. 109, 129

Киселев П. Д. 15, 17, 20, 24—35, 37, 55

Киселева С. 27

Клейн, штаб-офицер 16

Клейнмихель П. А. 179, 180, 237

Кожевников А. П. 58

Колесников В. П. 107

Колошин (Калошин) П. И. 16, 149

Комаров П. Н. 16, 20, 22, 50

Константин Павлович, цесаревич 34, 58, 86,  
165, 171, 174, 235

Корнель П. 198

Корнилов П. Я. 24

Корнилович А. И. 32, 79

Корсаков М. М. 200

Кошкар (Кашкаров) Н. И. 173, 182

Краснокутский С. Г. 125, 129

Кривцов С. И. 79, 130

Криднер К. А. 171, 172

Крок, таможенный начальник 247

Крылов И. А. 174

Крюднер В. Ю. 247

Крюков А. А. 16, 34, 52, 70, 129

Крюков Н. А. 34, 52, 70, 129, 149

Кузьмин А. Д. 192, 195

Купер Ф. 58

Кутузов М. И. 167, 170—174, 186, 188

Кутузов П. В. 43, 44, 232

Кучевский А. Л. 107

Кюхельбекер В. К. 77, 129, 232

Кюхельбекер М. К. 105, 129

Лаваль А. Г. 212

Лавинский А. С. 69, 214

Ламартин А. 198

Ламберт, граф 166

Ламберт К. О. 50

Ланг, поручик 192

Ланжерон А. Ф. 229

Лаппа М. Д. 54

Лафонтен Ж. 198

Лачинов Е. Е. 16, 20, 149, 160

Лебцельтерн Л. 184

Левашев В. В. 39, 40, 43, 181, 260

Левшин А. И. 28

Лепарский О. А. 110

Лепарский С. Р. 69, 87, 107

Лианкур, комендант 215

Ливен, барон 16

Липранди И. П. 22

Лисовский Н. Ф. 79, 129

Литвинов, генерал 219

Лихарев В. Н. 79, 129, 130

Лобанов-Ростовский Д. И. 256

Лопухин П. В. 57

Лопухин П. П. 39

Лорер Н. И. 107, 129, 130, 220, 221

Лоскутов, исправник 66, 112

Лунин М. С. 85, 109

Людвик XV 165

Людвик XVI 167, 248

Людвик XVIII 189, 250

Майборода А. И. 34, 35, 193

Макаров, таможенный чиновник 218

Маков, комендант 218

Марин С. Н. 170

Мария Федоровна 169, 256

Мартынов П. П. 47

Масленников, ссыльнопоселенец 103, 104

Мейендорф, барон 16

Мелин 258

Меллер-Закомельский, барон 16

Меншиков А. Д. 242, 243

Меншиков А. С. 157, 184

Меншиков Н. С. 171

Меттерних К. В. Л. 21, 184, 189, 247

Милорадович М. А. 27, 191

Мильвуа Ш. 198

Мирович В. Я. 262

Миронов, полковник 135

Митьков М. Ф. 54, 109, 129

Михаил Павлович, вел. кн. 43, 179, 181—  
183, 232

Михайлов, капитан 170

Михайлов М. 203, 204

Михайловский-Данилевский А. И. 157

Мозгалеvский Н. О. 129

Мозган П. Д. 107, 129

Монье Ж. Л. 167

- Мордвинов Н. И. 24—26  
Мордвинов Н. С. 55  
Моро Ж. В. 177  
Муравьев Александр З. 191, 198  
Муравьев Артамон З. 108, 129, 191, 198, 255  
Муравьев А. М. 70, 107, 109, 129  
Муравьев А. Н. 19, 38, 133, 134, 213, 214  
Муравьев М. А. 187  
Муравьев М. Никитич 86, 167  
Муравьев М. Николаевич 149, 188  
Муравьев Н. М. 15, 19, 59, 70, 75, 76, 86, 88, 100, 106, 109, 129, 167  
Муравьев Н. Назарович 219  
Муравьев Н. Николаевич 144, 145, 148, 149, 150, 152—154, 156, 158, 160  
Муравьев-Амурский Н. Н. 74  
Муравьев-Апостол В. И. 197—200  
Муравьев-Апостол И. И. 194, 195, 198, 200, 222  
Муравьев-Апостол И. М. 166, 187  
Муравьев-Апостол М. И. 130, 170, 199, 200, 209, 216, 219, 223, 255  
Муравьев-Апостол С. И. 45, 51, 56, 57, 178, 187—189, 191—196, 198, 218—220, 224, 230, 231  
Муравьев-Карский Н. Н. 178  
Муравьева А. Г. 70, 75, 76, 86, 106, 110  
Муравьева-Апостол А. И. 199  
Муравьева-Апостол Е. И. 199  
Муравьева-Апостол (Бибикина) Е. И. 167, 189, 201, 222, 223  
Муравьева-Апостол Евд. И. 199  
Муравьева-Апостол Ек. Ф. 167, 199  
Муравьева-Апостол Елиз. И. 199  
Муханов П. А. 79, 81, 83, 85, 104, 107, 129  
Мысловский П. Н. 42, 51, 56, 230  
Мягков, окружной начальник 203, 206, 212
- Нагель (Набель), генерал 260  
Набоков П. А. 191  
Назимов М. А. 54, 129, 130, 211  
Наполеон I 18, 19, 171, 173, 180, 186, 187, 203, 247—249  
Нарышкин М. М. 27, 46, 88, 107, 129, 130  
Нарышкина Е. П. 70  
Николай I 23, 34, 35, 54, 128, 130, 168, 181, 217, 233, 234, 252, 262, 266  
Новосильцов П. П. 16  
Норов В. С. 236
- Оболенский Е. П. 129, 230, 236, 255  
Одоевский А. И. 57, 77, 78, 107, 129, 130  
Ожаровский А. П. 27  
Озеров В. А. 154  
Окунев Г. С. 176
- Оленин Н. А. 172, 178  
Оленин П. А. 86, 172, 178  
Орлов А. Г. 229  
Орлов А. Ф. 58, 85, 185  
Орлов Г. Г. 262  
Орлов М. Ф. 22, 23, 39  
Остерман А. И. 244  
Остерман-Толстой А. И. 175, 176
- Павел I 165, 171, 176, 181, 183, 188, 262  
Панин Н. П. 86  
Панов Н. А. 129  
Паскевич И. Ф. 183  
Пассек П. Б. 262  
Перекрестов, солдат 169  
Пестель П. И. 16, 17, 19, 20, 22, 23, 32, 34, 35, 47, 48, 51, 56, 188, 191, 220, 223, 230, 231, 232, 254  
Пестов А. С. 104, 106, 110  
Петр I 240—246, 250  
Петр II 243  
Петр III 262  
Петров 16  
Пий VII 249  
Писарев А. А. 173, 174  
Повало-Швейковский И. С. 129  
Повало-Швейковский Х. Х. 217  
Поджио А. В. 77, 129  
Поджио В. Я. 229, 255  
Поджио И. В. 77, 179  
Подушкин Е. М. 61, 264  
Поливанов И. Ю. 251  
Полторацкий К. М. 170  
Понятовский Станислав Август 132  
Попов, чиновник 217  
Постников Ф. И. 172  
Потапов А. Н. 43, 233  
Потемкин Я. А. 172, 174, 175, 177, 179, 181, 182, 189  
Потоцкая О. 27  
Потоцкий М. 15  
Пугачев Е. И. 262  
Пушкин А. С. 16, 28, 77  
Пушкин И. И. 129  
Пушкин М. И. 54  
Пыхачев М. И. 194
- Раевский А. Н. 218  
Раевский В. Ф. 22, 23, 45  
Раевский Н. Н. (старший) 188, 218, 232  
Раевский Н. Н. 184  
Разин С. Т. 262  
Расин Ж. Б. 198  
Репин Н. Г. 54, 105, 208  
Репнин А. 222

Репнин Н. В. 168  
Репнин Н. Г. См. Волконский Н. Г.  
Репнина, княжна 201  
Рибас де О. М. 229  
Риго Р. 29, 30  
Ришелье А. Э. 229  
Розен А. В. 86, 88  
Розен А. Е. 54, 56, 105, 129  
Романс де, маркиз 166  
Ростопчин Ф. В. 168  
Рот Л. Ф. 191  
Рубановский, штабс-капитан 24  
Руге Е. К. 16  
Рудзевич А. Я. 21, 24, 29  
Рудомоев 16  
Руссо Ж. Б. 198  
Руссо Ж. Ж. 256  
Рылеев К. Ф. 32, 33, 56, 184, 231  
  
Сабанеев И. В. 22, 30  
Сазонов Н. Г. 47  
Сакен Ф. В. 34  
Салтыков Н. И. 16, 165  
Самойлович 154—156  
Сведенберг Э. 267  
Свечников, поручик 260  
Свистунов П. Н. 70, 109, 129, 186  
Семенов С. М. 215—217  
Сен-Лоран 215—218  
Сен-Мартен 267  
Сеславин А. Н. 173  
Скобелев И. Н. 190  
Скотт В. 58  
Смолянинов С. И. 84  
Смолянинова Ф. О. 84  
Соболевский, полицейский чиновник 214  
Соковнин А. П. 262  
Соколовский Я. 260  
Сократ 199  
Соловьев В. Н. 129, 193  
Сомов П. Д. 132—134  
Сперанский М. М. 52, 55, 212, 250  
Спиридов М. М. 129, 202, 230, 255  
Степанов А. П. 64  
Степанов, городничий 64  
Степанов, поручик 69, 70  
Стерн Л. 199  
Стрекалов С. С. 47, 252  
Стражников, плац-адъютант 218  
Строгонов (Строганов) Г. И. 187  
Суворов А. А. 39  
Суворов А. В. 229  
Сукин А. Я. 40, 61, 190, 230, 252  
Сулима Н. С. 107

Сумет А. 198  
Сутгоф А. Н. 129, 130  
Сухинов И. И. 193, 208  
Сухозанет И. А. 236  
  
Талейран Ш. М. 189  
Талызин И. Д. 217  
Тапиков Д. П. 107  
Тараканова, «княжна» 229  
Татищев, граф 171, 178  
Татищев А. И. 43, 232  
Теплов Г. Н. 262  
Тизенгаузен В. К. 79, 130  
Толстой В. С. 79  
Толстой Н. Н. 180  
Толстой П. А. 156  
Тормасов А. П. 156  
Торсон К. П. 70, 129  
Трубецкая Е. И. 77, 86  
Трубецкой Н. И. 216  
Трубецкой С. П. 88, 129, 178, 189, 191,  
216, 223, 224, 230, 255  
Тургенев Н. И. 20, 60  
Тютчев А. И. 109, 129, 202  
  
Уваров С. С. 86  
Уваров Ф. П. 189, 251  
Удом, генерал 29  
Уклонский, врач 203, 207  
Урусов, князь 16, 35  
Уткин Н. И. 181  
  
Фаленберг П. И. 16, 107, 129  
Ферзен, граф 16  
Ферстер Е. Х. 230  
Филанджиери Г. 256  
Филипович Н. И. 16  
Фишер Ф. Б. 85  
Флориан Ж. П. 185  
Фонвизин М. А. 20, 61—63, 69, 88, 107,  
125, 129, 130  
Фонвизина Н. Д. 70  
Фохт И. Ф. 129  
Франк, посланник 28  
Фридрих Вильгельм III 21  
Фридрихс П. А. 185  
Фролов А. Ф. 61, 109, 129  
  
Ховен, ван-дер И. 16  
Хомяков А. С. 185  
Храповицкий П. И. 171, 172  
Храповицкий, генерал 32

Христиани В. Х. 149, 154  
Хрущев, офицер 180  
Хрущева А. И. 215, 224

Цебриков Н. Р. 54  
Цейдлер И. Б. 202  
Цингарелли Н. А. 198

Чаадаев М. Я. 225  
Чаадаев П. Я. 184, 185, 225  
Чевкин К. В. 108  
Чепурнов 16  
Черкасов А. И. 16, 20, 79, 130  
Чернышев А. И. 27, 29, 34, 36, 43, 44, 46,  
47, 50, 51, 56, 85, 232, 233, 251  
Чернышев З. Г. 75, 76, 79, 130, 212  
Чернышева А. Г. 200  
Чижов А. Н. 203, 211  
Чичерин А. В. 173, 176

Шатобриан Ф. Р. 29  
Шаховской Ф. П. 149  
Шварц Ф. Е. 178, 179, 181—184, 189, 190,  
236  
Шелгунов, кларнетист 237  
Шенье А. 198  
Шенье Ж. 198  
Шервуд И. В. 35, 193  
Шереметева Н. Н. 63, 202  
Шипов С. П. 20, 39

Шишков А. А. 107  
Шлегель, президент Медицинской академии  
16, 36  
Штейбен 16  
Штейнгель В. И. 109, 129  
Шумский М. А. 31

Щепилло М. А. 193, 194  
Щепин-Ростовский Д. А. 129  
Щербаков, казак 218  
Щербатов И. Д. 173, 176  
Щербатов М. М. 173

Юрасов И. Ф. 16  
Юсупов Н. Б. 170  
Юшневский А. П. 16, 20, 22, 34, 129, 202,  
221  
Юшневская М. Н. 86, 88

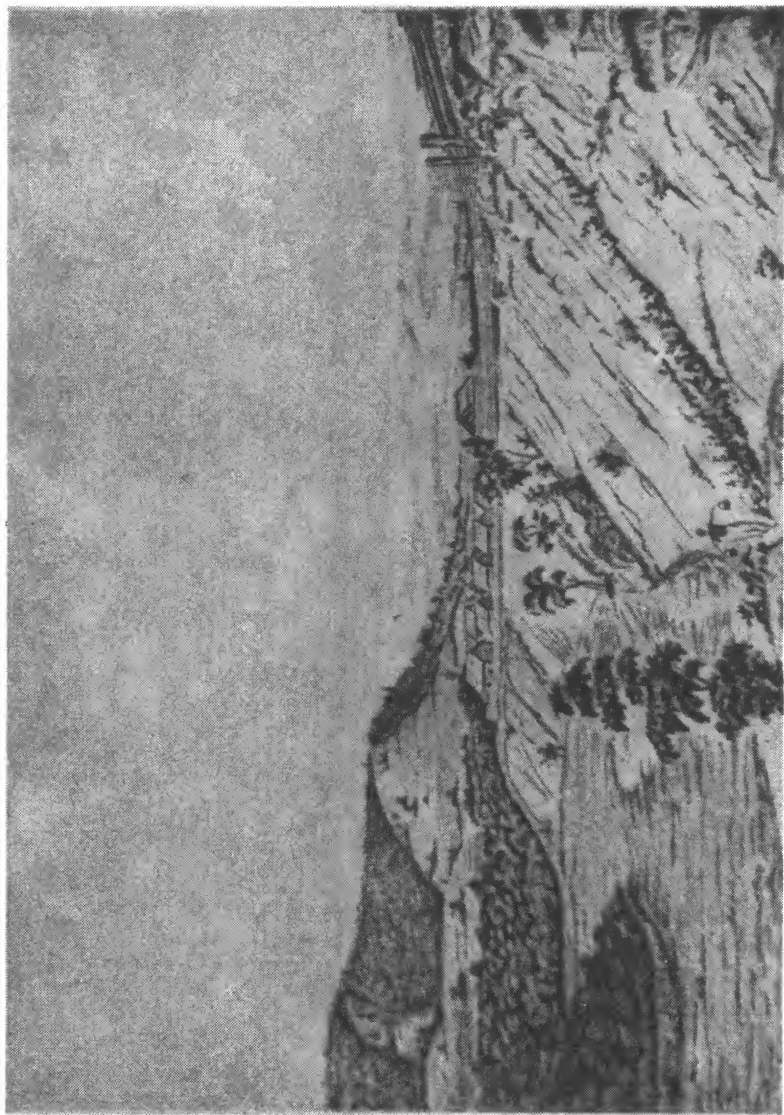
Языков 16  
Якоби (Якобий) И. В. 84  
Яковлев, старший адъютант Главного шта-  
ба 38  
Якубович А. И. 129, 230, 252, 258  
Якушкин И. Д. 63, 84, 85, 130, 178, 179,  
184, 202, 203, 223  
Якушкина А. В. 63  
Ярошевицкий, подполковник 24  
Яфимович А. И. 176





Островъ  
Внутренности Читинскаго острога  
Мастерские  
Юнцевскаго острога  
Зимняя.

Внутренность Читинскаго острога: острог, мастерские, дом И. П. Пущина и А. П. Юнцевскаго.  
Акварель.

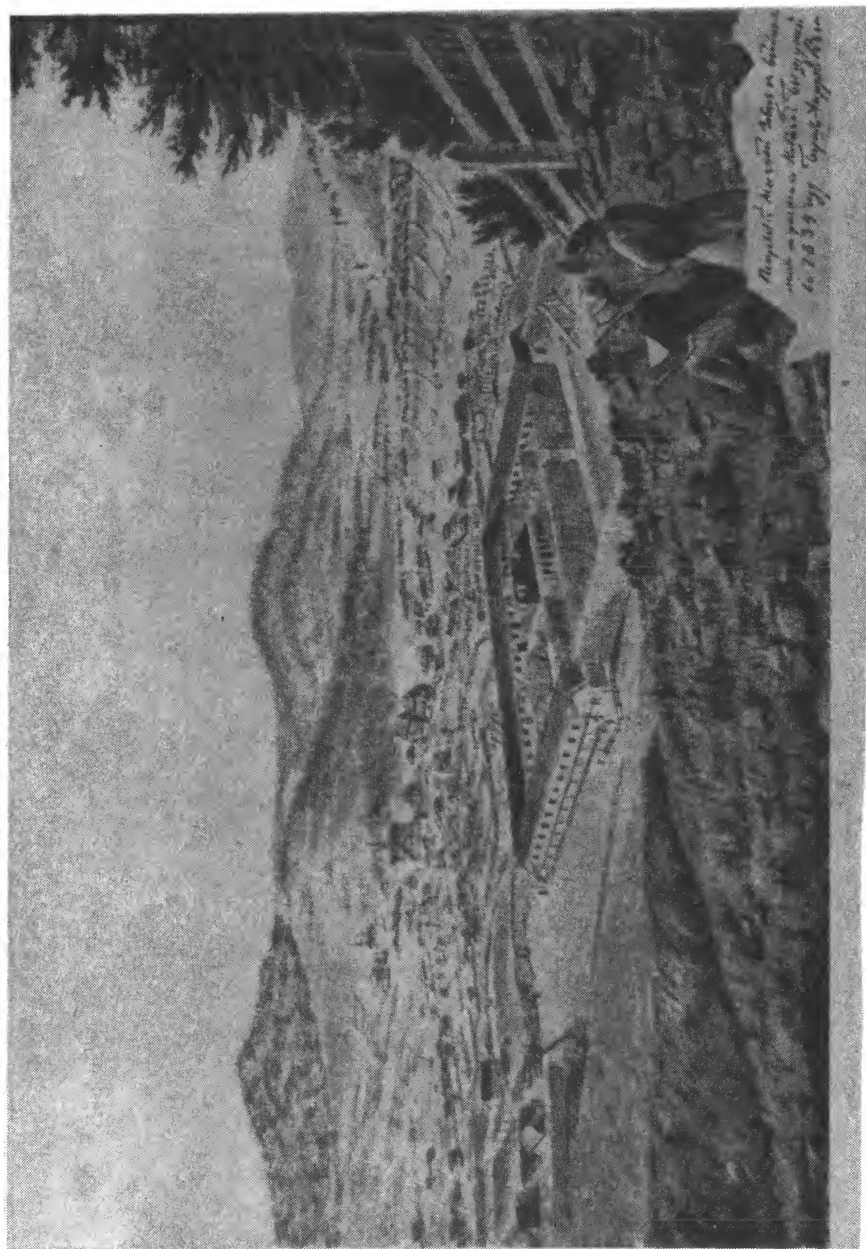


*Речка Чита. — И. А. Бсстуева. — Соч. П. И. Фаленберга. — Восточный вестник. —*

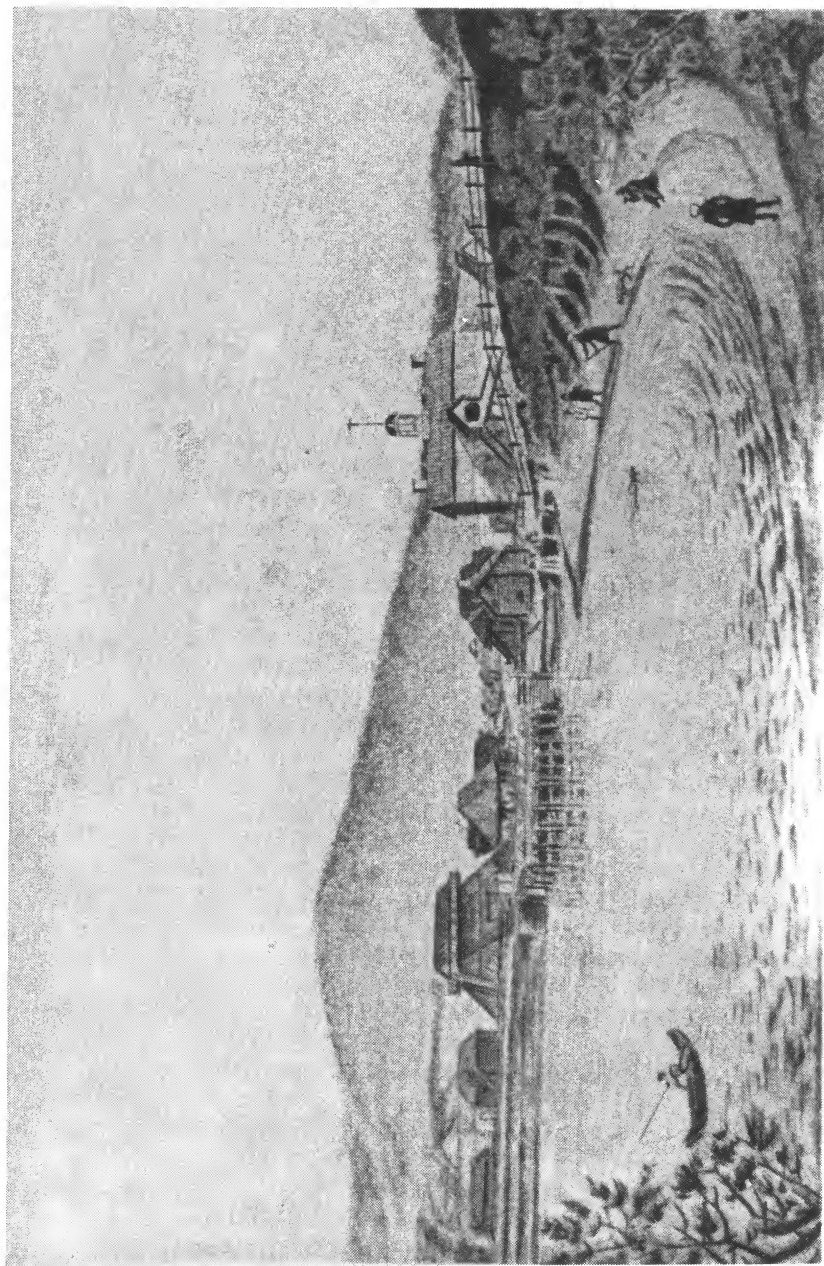
Речка Чита — место купания декабристов.

Акварель работы Н. А. Бсстуева по чертежу П. И. Фаленберга.





Петровский железный завод за Байкалом.  
Акварель работы Н. А. Бестужева.



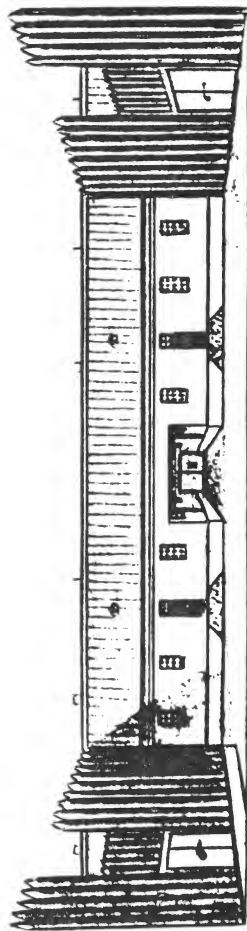
Многоэтажный  
Петровский завод за Байкалом.

Здание  
Петровского  
завода.

А. А. Артемьев  
Кавалерийский завод

Петровский железный завод за Байкалом.

Акварель работы Н. А. Бестужева.



Допущено: Экспертная группа 00 ВУУ № 01.0000

Н. П. Писарев. Восток и Запад. 1890 г.

**Петровский железный завод за Байкалом: фасад и внутренняя часть каземата. Акварель.**



Декабристы И. Д. Якушкин, П. С. Бобрищев-Пушкин и М. К. Кюхельбекер на Петровском заводе.

Акварель.

# СОДЕРЖАНИЕ

<i>Предисловие</i> .....	5
<b>Воспоминания Н. В. Басаргина</b> .....	13
Записки .....	15
Воспоминания об учебном заведении для колонновожатых и об учредителе его генерал-майоре Николае Николаевиче Муравьеве .....	144
<b>Воспоминания и письма М. И. Муравьева-Апостола</b> .....	163
Воспоминания детства .....	165
Убийство Павла I .....	168
Отечественная война	
1812 год .....	171
1813 год .....	175
1814 год .....	177
Бородинское сражение .....	178
Семеновская история 1820 года .....	178
С. И. Муравьев-Апостол (1796—1826 гг.) .....	185
Восстание Черниговского полка .....	191
Заметки в крепости .....	196
В Сибири .....	200
Письма М. И. Муравьева-Апостола .....	219
1. С. И. Муравьеву-Апостолу .....	219
2. Ив[ану] Дм[итриевичу] Якушкину .....	223
<b>Воспоминания А. В. Поджио</b> .....	227
Записки .....	229
<b>Статьи и комментарии</b> .....	269
Именной указатель .....	338

МЕМУАРЫ ДЕКАБРИСТОВ  
ЮЖНОЕ ОБЩЕСТВО

Заведующий редакцией  
*Н. М. Сидорова*

Научный редактор *М. И. Шлаин*

Редактор *В. В. Михеева*

Художники *И. С. Клейнард,*  
*А. А. Новиков*

Художественный редактор  
*Л. В. Мухина*

Технический редактор  
*З. С. Кондрашова*

Корректоры  
*Н. В. Тютина, С. Ф. Будаева*

Тематический план 1982 г. № 189  
ИБ № 875

Сдано в набор 12.03.81. Подписано к печати 05.11.81. Л-97695. Формат 70×90 1/16. Бумага тип. № 2. Гарнитура таймс. Офсетная печать. Усл. печ. л. 25,76. Уч.-изд. л. 27,6. Тираж 100 000 экз. Заказ 2646. Цена 1 р. 80 к. Изд. № 1029.

Ордена «Знак Почета» издательство Московского университета 103009, Москва, ул. Герцена, 5/7. Отпечатано с фотонабора ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени Первой Образцовой типографии им. А. А. Жданова, 113054, Москва, Валовая ул., 28 в Кишиневском полиграфкомбинате, 277004, Кишинев, ул. Тома Чорбы, д. 32. ~~Зак.~~ 20919











